

Ю. А.
Бахрушин

ВОСПОМИНАНИЯ



Ю. А.
Бахрушин
—
ВОСПОМИ-
НАНИЯ









**БИБЛИОТЕКА
ИСТОРИЯ
МОСКВЫ**

**С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН
ДО НАШИХ ДНЕЙ**

Авторизованная
машинопись рукописи
хранится
в Государственном центральном
театральном музее
им. А. А. Бахрушина





Ю. А.
Бахрушин
—
ВОСПОМИ-
НАНИЯ



Москва
«Художественная литература»
1994

ББК 84(2Рос=Рус)6
Б 30

Издание выпущено при
поддержке Международного фонда
«Культурная инициатива» и при участии
Московского фонда «Наука»

Подготовка текста,
вступительная статья
и комментарии
Н. Сочинской

Оформление художника
А. Моисеева

Художник
Ф. Барбышев

Б 4702010204-050 КБ-28-42-1992
028(01)-94

ISBN 5-280-02442-2

- © Рукопись является собственностью Государственного центрального театрального музея им. А. А. Бахрушина. 1994.
- © Сочинская Н. И. Подготовка текста, вступительная статья, комментарии. 1994.
- © Моисеев А. Художественное оформление. 1994.

Слово о России

Писать об этой книге чрезвычайно трудно, настолько она обширна по материалу, в ней представленному. Это не только история детства и отрочества самого автора, но и история знаменитой купеческой семьи Бахрушиных, история российского коллекционирования и создания Театрального музея, и шире — история русской жизни во всем ее многообразии. Но в центре воспоминаний Ю. А. Бахрушина, без сомнения, сам Театральный музей, от которого тянутся многочисленные нити к прекрасным образам и лицам, которыми так щедро наполнены страницы этой книги.

Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина, что находится в Москве, на улице, носящей имя его создателя, бывшей Лужнецкой, напротив старинного Павелецкого вокзала, и теперь поражает красотой своего внешнего облика и богатством своих собраний. Это памятник театральному искусству и памятник его создателю — Алексею Александровичу Бахрушину.

Жизнестроительство, созидание было у Бахрушиных в крови. Это были люди, на которых держалось русское общество, от которых зависело его процветание и процветание всей России. Четыре поколения славного купеческого рода оставили свой след, свою мету в жизни Отечества. Юрий Алексеевич Бахрушин, автор

этих воспоминаний, был сыном создателя музея, общественного и театрального деятеля, крупного кожевенного фабриканта-миллионера А. А. Бахрушина. Родился он в 1896 году, и к моменту революции ему был 21 год. Юрию Алексеевичу выпало великое счастье видеть в доме отца на знаменитых бахрушинских субботах самых талантливых представителей столичной и провинциальной театральной жизни. Мастер литературного портрета, он оставил нам живые свидетельства их разговоров, привычек, внешнего облика. Чего стоят, скажем, описания посещения музея старейшими актрисами Малого театра Г. Н. Федотовой или Н. А. Никулиной, «мага и чародея» М. В. Лентовского, В. И. Сурикова и М. А. Врубеля.

Крупный балетовед, историк театра, он преподавал в хореографическом училище Большого театра и в ГИТИСе, работал с К. С. Станиславским в его музыкальной студии, имел многочисленных учеников. В музее сохранилась его обширная переписка, по которой можно судить, как высоко он был ценим в театрально-художественно-балетных кругах. Среди его корреспондентов можно встретить имена К. С. Станиславского, М. П. Лилиной, В. И. Немировича-Данченко, М. С. Сарьяна, Ф. Ф. Федоровского, А. Ф. Кони, А. Н. Бенуа, Е. В. Гельцер и др. Ученики, по отзывам очевидцев, его обожали, и нам легко в это поверить, потому что облик, встающий со страниц этой книги, действительно необычайно привлекательный. Старые работники музея все еще живо помнят этого светлого, как они говорят, святого человека: «Он весь светился, был как пасхальное яичко». Человек очень скромный, он долгие годы прожил в коммунальной квартире в Леонтьевском переулке, получил однокомнатную незадолго до своей смерти в 1973 году и до конца жизни оставался простым членом ученого совета музея, хотя по завещанию А. А. Бахрушина, почетного попечителя

музея, «после его смерти звание это переходит к его супруге, а затем к сыну»¹.

Личность самого создателя музея Алексея Александровича Бахрушина является центральной фигурой воспоминаний Ю. А. Бахрушина. В русской культуре она занимает одно из почетных и значительных мест. Он был не только создателем музея, но и крупным театральным и общественным деятелем. «Потомственный почетный гражданин, мануфактур-советник, московский представитель Императорского русского театрального общества, член комитета по сооружению музея 1812 года, один из владельцев кожевенного завода, «Т-ва Алексея Бахрушина и с-ья», Алексей Александрович Бахрушин состоит городским гласным с 1901 года. <...> А. А. Бахрушин является одним из виднейших членов нашего городского управления. Просвещенный, деятельный, развитой, прямодушный, независимого образа мыслей, либерал по складу ума, А. А. Бахрушин особенно силен в той сфере, где доминирует сердце. В этом отношении он с честью поддерживает старую славу бахрушинской семьи, издавна известной Москве широкой отзывчивостью к человеческому горю и крупной благотворительностью. Стараясь всегда оставаться в тени при передаче сотен тысяч рублей от семьи Бахрушиных на просветительные нужды города, А. А. Бахрушин невольно обращает на себя внимание общества своей неутомимой деятельностью на том же поприще. Он <...> организатор вербных базаров, доставляющих крупную материальную поддержку городским попечительствам о бедных, он — создатель успеха городского народного театра, он — администратор, антрепренер и чуть ли не дирижер и декоратор дешевого и здорового летнего театра, открытого недавно городским управлением в Сокольни-

¹ «Русское слово», 2 декабря, 1912 г.

ках и пользующегося громадным успехом у небогатого населения. (...) А. А. Бахрушин известен, между прочим, не только в Москве, но и во всей России как владелец богатого, полного редкостями театрального музея»¹. После революции А. А. Бахрушин работал в ТОО Наркомпроса в театральной секции ГАХН, был председателем исторической подсекции.

Датой открытия музея А. А. Бахрушин считал 29 октября 1894 года, когда коллекция впервые была показана артистам, литераторам, художникам, всем, кто интересовался театром. В книге Ю. А. Бахрушина подробно рассказано, как собирался музей, о первых его коллекциях, о роли близких и друзей дома, о постоянных его вкладчиках, таких, как писатель Е. Н. Опочинин, хранитель Оружейной палаты В. К. Трутовский, родственник Бахрушиных, лекционер В. В. Постников, актеры Малого театра Н. И. Музиль, М. П. Садовский, режиссер Малого театра А. М. Кондратьев и многие другие.

В 1913 году Литературно-театральный музей (как он тогда назывался) был передан А. А. Бахрушиным в дар государству, в ведение Российской академии наук. Торжественный акт передачи состоялся в доме на Лужнецкой, куда съехались члены попечительного совета Вл. И. Немирович-Данченко, К. С. Станиславский, В. А. Рышков, В. К. Трутовский, И. А. Бунин, А. И. Сумбатов-Южин, М. Н. Ермолова, А. А. Яблочкина, С. И. Зимин, А. Н. Веселовский и др. во главе с президентом Академии наук великим князем Константином Константиновичем. Акт передачи проходил торжественно, было много благодарственных речей, сам же А. А. Бахрушин так охарактеризовал свое решение: «Когда во мне утвердилось убеждение, что собрание мое достигло тех пределов, при которых распоря-

¹ Гаа. «Копейка», 1912, 21 сент.

жаться его материалами единолично я не считал себя вправе, я задумался над вопросом, не обязан ли я, сын великого русского народа, предоставить это собрание на пользу этого народа».

В создание музея А. А. Бахрушин вложил не только много умения, души и любви к театру, но и громадные деньги. Это был музей, о котором говорили, что Европа не знает подобных театральных палат. Здесь было собрано решительно все, относящееся к театру, от личных вещей актеров до высоких творений мастеров: Брюллова, Тропинина, Репина, Коровина, Врубеля, Васнецова, Поленова, Судьбинина. «У Бахрушина, — признавали все, знавшие его, — был необычайный дар собирательства, вещи к нему шли, как ручные. У него был зоркий глаз и цепкие руки».

После революции, лишившись миллионов, Бахрушин продолжал дело своей жизни. Как писали газеты после его смерти, «он умел добиваться облюбованного им предмета настойчиво и неотступно. При этом он был бережлив к казенной копейке. Он считал каждый советский грош и умел на скудные средства бюджета пополнять непрерывно и без того полные музейные сундуки»¹. Жалованья же получал 43 рубля. А. А. Бахрушин умер в возрасте шестидесяти четырех лет, слишком рано для этого крепкого рода, представители которого жили долго и трудились до самого конца. На смерть А. А. Бахрушина откликнулся из Парижа А. А. Плещеев, критик и историк балета, давний друг и постоянный вкладчик в собрание (сейчас в рукописном фонде музея хранится его ценнейший архив). Слова, сказанные им более 60 лет назад, актуальны и сегодня: «Зная близко все драгоценности музея Бахрушина — я часто посещал его и был членом его

¹ Волков. Памяти А. А. Бахрушина // Литературная газета. 1929. 25 июня.

попечительного совета,— могу с точностью засвидетельствовать, что равного собрания, главным образом по театру, в России не имеется. Больше скажу: за границей такого театрального музея нет»¹.

После смерти А. А. Бахрушина заведование музеем стало переходить из рук в руки, иногда не только равнодушные, но и преступные. Еще при жизни его вдовы Веры Васильевны Бахрушиной началось планомерное уничтожение музея. Сдирались и сбивались потолки, рушились уникальные камины, перестраивались комнаты. В 1937 году было принято решение перевести музей в подвальное помещение Политехнического музея. Наступили времена, когда само существование музея ставилось под вопрос. Но каждый раз кто-то заступался, хлопотала сама Вера Васильевна, и музей удавалось сохранить. Вообще, роль Веры Васильевны Бахрушиной в становлении и сохранении музея огромна. Дочь крупного суконного фабриканта Василия Дмитриевича Носова, она в 1895 году становится женой Алексея Александровича Бахрушина, а чуть позже — хозяйкой замечательного особняка на Лужнецкой. И с той поры театральное собирательство, музей становятся целью жизни и для Веры Васильевны.

А была она человеком с самыми разнообразными интересами. Как много она умела! Интересовалась и любила технику и производство (в юности даже хотела работать на заводе отца), увлекалась фотографией, занималась живописью, за короткий срок освоила пишущую машинку, переплетное дело, тиснение на коже, резьбу по дереву, хорошо плела и вязала кружево, великолепно вышивала гладью, прошла специальный курс кулинарного искусства, плела корзины, тачала сапоги. Больше всего на свете любила садовод-

¹ Плещеев А. На смерть А. А. Бахрушина // Возрождение. Париж. 1929. 12 июня.

ство, сельское хозяйство, серьезно увлекалась философией. Как говорил о ней Ю. Бахрушин, «...мать лихорадочно копила знания, чтобы быть нам полезною». Собственные интересы Веры Васильевны уходили на второй план, на первом же — всегда были интересы мужа и детей. «Серьезное отношение к жизни, — писал в своих воспоминаниях Ю. Бахрушин, — излишняя, подчеркнутая и чисто внешняя холодность, абсолютно не являвшаяся чертой ее характера, сугубая сдержанность, стремление к максимальному самообразованию и жизнь чужими интересами — свойства, не покидавшие ее до самой смерти». Надо сказать и о том, что, будучи дочерью и женою миллионеров, Вера Васильевна жила довольно скромно. На хозяйство ей выделялась строго определенная сумма, в которую она обязана была уложиться, никаких особых нарядов, увеселений. Ежегодные поездки всей семьей за границу имели главной целью закупки образцов для музея и становились как бы рабочими, необходимыми для дела. Сугубая расчетливость в домашней жизни и миллионные пожертвования на пользу общества — это одна из характернейших черт русского просвещенного купечества.

Неприхотливость в быту, умение жить внутренним, а не внешним помогли Вере Васильевне выжить в тяжелые послереволюционные годы. Умерла она в 1943 году, до самого конца оставаясь с музеем, живя его интересами, насколько позволяли обстоятельства.

Как уже говорилось, воспоминания Ю. А. Бахрушина обширны и касаются очень многих сторон дореволюционной российской жизни. Особую ценность придает им описание русского купечества, набравшего силу после реформы 1861 года. «Правительство официально признавало наступление новой исторической эпохи — эпохи русского капитализма», — отмечает мемуарист.

Простые гуртовщики¹ и прáсолы² из Зарайска, Бахрушины к 1917 году входили в первую пятерку самых могущественных купеческих московских семей, наряду с Морозовыми, Третьяковыми, Щукиными и Найденовыми, обессмертивших свое имя благотворительной и культурной деятельностью.

Родоначальник Алексей Федорович начал с маленького перчаточного дела в Кожевниках в Москве, а сын его Петр (будущий миллионер), привезенный из Зарайска в корзине для кур, уже подросший, ходил на Мытный двор на сенный торг, где за гривенник-пятиалтынный провожал купленный воз с сеном до двора покупателя, чтобы не разворовали в пути. Вот так начиналось дело одной из самых крупных и богатых фирм в Москве — торгового дома братьев Бахрушиных, владельцев кожевенного и суконного производства. Но, описывая путь восхождения семьи, Ю. А. Бахрушин никогда не забывает о нравственной стороне дела. Высокое чувство собственного национального и человеческого достоинства отличало этих людей. Польза Отечеству — вот что ставилось во главу угла при всех их начинаниях. Прадед Алексей Федорович никогда не был практическим дельцом американского типа. Он, «во-первых, был романтиком и фантазером, во-вторых, пламенным патриотом — недаром он был современником знаменательного 1812 года. Во всех его коммерческих предприятиях главной целью было не личное обогащение, а польза России, об этом он постоянно твердил в своих письменных высказываниях и доказывал поступками». Три его сына, а затем и внуки унаследовали эту родовую черту. Свыше трех с половиной миллионов отдали братья Бахрушины на благотворительные цели. Размах этой деятельности поистине

¹ Гуртовщики — погонщики гуртов скота.

² Прáсол — торговец скотом.

велик и разнообразен. Недаром в извещении о смерти Александра Алексеевича Бахрушина, отца создателя музея, в первую очередь указывалось, что умер известный благотворитель и почетный гражданин Москвы.

В начале 1880-х годов братья Бахрушины (сыновья родоначальника Алексея Федоровича. — *Н. С.*) совершили свой первый благотворительный акт — пожертвовали около полумиллиона рублей на больницу для хронических больных. Затем были построены родильный приют, амбулатория, а позже к больнице приросло еще одно учреждение — дом для призрения неизлечимых больных.

Бахрушины жертвуют также большие деньги на устройство детского приюта, жертвуют не формально, а проявляют заботу о будущем детей-сирот. К своему совершеннолетию «выходить в люди» они должны с приобретенной специальностью, с какой-либо профессией, поэтому при приюте создаются не только школа, но и мастерские для обучения ремеслам. Приют находился в Сокольничьей роще, где дети жили группами в отдельных небольших домиках. Создавая то или иное благотворительное учреждение, Бахрушины думали о его дальнейшей судьбе. Так, например, в завещании Александра Алексеевича на развитие приюта было отведено несколько сот тысяч.

На пожертвование Бахрушиных был также выстроен на Софийской набережной дом бесплатных квартир для вдов и учащихся девушек. В доме — общие рабочие комнаты с бесплатно предоставленными швейными машинами. Для детей вдов устроены школы — начальная и две ремесленные, для детей дошкольного возраста — детский сад. Тут же бесплатная столовая для девушек, московских курсисток. Полмиллиона рублей было пожертвовано на колонию для беспризорных детей в Тихвинском имении, полмиллиона на устройство народных домов.

Член Государственной думы А. Алферов после смерти Александра Алексеевича Бахрушина в 1916 году писал в «Русских ведомостях»: «Коренной москвич, почетный гражданин Москвы в ней прожил почти целое столетие. <...> Я знал его уже глубоким стариком, он ходил, опираясь на палку, медленно передвигал ноги, был приветлив и всегда, хотя и с трудом, поднимался с кресла, чтобы приветствовать входящего гостя; взгляд его уже слабых глаз никогда не был рассеян; в них была видна сосредоточенность и работающая мысль. Много лет бывший московским гласным, он надеялся на московское городское самоуправление и все свои щедрые пожертвования направлял неизменно под крыло Москвы. Свои пожертвования он обыкновенно всесторонне обдумывал, вынашивая долго в себе свои предположения. Много пожертвовал на приюты и дело просвещения. Особенно охотно он отдавал свои средства на профессиональное образование. Его интерес к общественному делу оставался вечно живым. <...> Незадолго до своей смерти, в самые последние дни, А. А. очень был обрадован приездом Государя в Государственную думу, перекрестился, пожелал единения Царя с народом, а затем с интересом слушал, когда ему из газет читали думские речи.

Это был очень скромный человек. Он не любил говорить о своих пожертвованиях, и, например, его родной сын узнал о том, что он участвовал своими средствами в создании Московского коммерческого института, только после смерти отца. О скромности Александра Алексеевича говорит его последнее предсмертное решение. Он давно задумал и сделал уже пожертвование на учреждение в г. Зарайске больницы, родильного дома и амбулатории имени Алексея и Натальи Бахрушиных и сыновей. Перед кончиной он выразил твердое желание, чтобы имя Бахрушиных было снято с этого учреждения и чтобы оно называлось «Во

имя св. Николая-чудотворца». Он пожелал, чтобы его воля была выражена письменно, и он, уже совсем слабый, потребовал, чтобы ему дали документ на подпись. Я видел эту подпись. Видно, что она далась с огромным трудом угасавшему человеку. Она мало даже похожа на подпись: несколько дрожащих черточек, среди которых только две буквы довольно разборчивы»¹.

Генетический код этой породы людей необычайно устойчив, с восхитительным «однообразием» передаются из поколения в поколение такие добродетели, как скромность, патриотизм, доброта, сердечность, при наличии громадной энергии и целеустремленности. Читая переписку А. А. Бахрушина, создателя музея, изучая его деловые бумаги, поражаешься разнообразию его интересов, объединенных одним общим делом. Идет ли речь о делах фабрики или о покупке той или иной вещи для музея — это деловой человек, с прицельным взглядом, не позволяющий себя провести и надуть. Дело свое он знает хорошо. Трезвость делового человека его никогда не подводила. Сегодня нам очень может помочь изучение такой уникальной человеческой породы, как русские купцы-промышленники. Сочетание деловой хватки, холодной головы, сугубой расчетливости с беспредельной сердечностью, домовитостью, религиозностью, щедростью и создает этот уникальный тип. И книга Юрия Алексеевича в этом смысле замечательная, потому что она как нельзя лучше знакомит читателя с характером русского купечества, его бытом и бытием.

Из дневника В. В. Бахрушиной. 22 апреля 1900 года.

«Сегодня у нас были Сальвини вместе с Чекатто. <...> Удивительно любезен и с большим интересом смотрит собрание, хотя почти все оно состоит из арти-

¹ А л ф е р о в А. Русские ведомости. 1916. 17 февр.

стов русских и ему, конечно, не знакомых. Спрашивает Леню (А. А. Бахрушина. — Н. С.): «Вы давно этим занимаетесь?» — «Восемь лет». — «Perbacco! ¹ Значит, у Вас больше нет никакого дела?» — «У меня большая фабрика, которой я заведу». — «Perbacco!» ²

Большую роль в расцвете русской промышленности играл так называемый семейный характер ее предприятий. Дело переходило из рук отца к сыновьям, и те были заинтересованы в наилучшем его функционировании. Семьи были большие, в основном дружные, да по-другому и быть не могло, так как любая ссора и несогласие прежде всего вредили делу. Только благодаря спаянности семьи Бахрушиных после смерти главы рода Алексея Федоровича стало возможным их дальнейшее процветание. То же можно сказать и о других славных купеческих династиях Прохоровых, Морозовых, Мамонтовых, Солдатенковых, Носовых, Щукиных, Боткиных и многих других.

Кроме того, важной являлась и семейная патриархальная атмосфера, царившая на самих фабриках. Ю. Бахрушин рассказывает о порядках, введенных еще его прадедом, когда рабочие не отчуждались от своих хозяев, а входили как бы в одну большую общую семью. В этом сказывался артельный, созидательный дух производства, издревле существовавший на Руси. Такая сердечность и неформальность отношений во многом способствовали успеху дела. Рабочим важно было знать, что при любых обстоятельствах хозяева о них позаботятся, поэтому не было страха болезней, старости, сиротства. В этом смысле факты, которые нам приводит Ю. А. Бахрушин, достаточно красноречивы. Взять хотя бы судьбу дворника Михеича или незнакомой женщины, случайно повстречавшейся автору,—

¹ Черт возьми! (ит.)

² Театральная жизнь. 1990. № 23.

ей, ребенком оставшейся сиротой, Бахрушины оказали помощь и поддержку. Фабричные территории в Москве не представляли собой лишь место работы, в их состав входили церковь, больница, школа, фабричная лавка, детский сад, иногда и театр. Таким образом, создавалась уже среда обитания, которая объединяла людей и облегчала им существование. Поражает также мудрость и прозорливость П. А. Бахрушина, отпустившего в 1905 году рабочих в свои деревни, дабы не вводились во искушение вседозволенности и распущенности.

Устойчивость характера русского купечества в огромной степени объясняется и его религиозностью, убежденностью, что труд всегда освящен Богом. Религиозность русского купечества почти не знала таких испытаний, которые претерпевали дворянское и разночинное сословия. На примере семьи Бахрушиных, приверженной строгому неукоснительному исполнению своего религиозного долга, можно судить об атмосфере многих купеческих домов. «На свою деятельность смотрели не только или не столько как на источник наживы, а как на выполнение задачи, своего рода миссию, возложенную Богом или судьбою. Про богатство говорили, что Бог его дал в пользование и потребует по нему отчета, что выражалось отчасти и в том, что именно в купеческой среде необычайно были развиты и благотворительность, и коллекционерство, на которые смотрели, как на выполнение какого-то свыше назначенного долга»¹.

Но не всему купеческому сословию было свойственно высокое понимание этого долга перед Богом и людьми. Расслоение внутри этого класса особенно стало ощущаться в начале нынешнего века с появлением крупных акционерных обществ, банков, трестов,

¹ Б у р ы ш к и н П. А. Москва купеческая. М., 1990. С. 100.

молниеносно разорвавших мелкие торгово-промышленные предприятия. Со сказочной быстротой богатели ловкие дельцы, которые, не стесняясь, наживались на всякого рода финансовых спекуляциях и которые меньше всего заботились о благе Отечества. «Оба моих деда весьма неодобрительно относились к этим новым явлениям, называя народившихся богачей тунеядцами, лодырями, загребающими деньги чужими руками. Новоиспеченные богатеи с обожанием взирали на американских миллиардеров и стремились во всем им подражать». Слепое подражание Западу никогда не было свойственно Бахрушиным, так же как не были свойственны им замкнутость и сосредоточенность лишь на своем, отечественном. Глубоко образованные, с широким культурным кругозором, они живо интересовались европейскими научными достижениями и перенимали на Западе все то, что могло пригодиться на родине. «За три года до рождения отца дед предпринял длительную поездку за границу, чтобы детально ознакомиться с новейшими достижениями западноевропейской промышленности. Не знаю, была ли это его первая поездка в чужие края, но в этот раз он пробыл за рубежом более двух месяцев, детально осматривая кожевенные производства Англии, Франции и Германии и делая ежедневные подробные записи в свою карманную книжечку обо всем виденном. Его интересовало все, касающееся кожевенного дела. Наряду с описанием новых машин и усовершенствованных способов выделки кожи, он записывал свои мысли, возникшие по тому или иному случаю. (...) Из своей поездки он возвратился с большими впечатлениями и разнообразными планами. Основная мысль во всех планах сводилась к тому, чтобы ничего не покупать и все продавать, то есть все необходимое для производства выделывать у себя на заводе и здесь же перерабатывать все отходы. Таким образом возникает собственная клееварка, мыловарка, а затем

вырастает уже и мощный суконный завод, не говоря уже о всяких скобяных, слесарных и прочих мастерских».

Когда в своих воспоминаниях Ю. А. Бахрушин говорит о том, что семья его мало жертвовала на церкви, то это не совсем верно. Документы говорят совершенно о другом. «Вчера, 2 ноября, в храме св. Василия Исповедника, что в Новой деревне, было совершено освящение придела в честь св. мученика Александра, сооруженного усердием благотворителя А. А. Бахрушина» (старшего. — *Н. С.*). «Вчера, 4 апреля, в храме св. Троицы, что в Кожевниках, было совершено освящение главной церкви, великолепно возобновленной усердием ктитора¹ А. А. Бахрушина. Древний шестиярусный иконостас, сооруженный около двухсот лет тому назад, вновь реставрирован и вызолочен. Святые иконы возобновлены, стены храма вновь украшены живописью по вызолоченному фону, возобновлена церковная утварь и т. д. (...) Ктитору церкви А. А. Бахрушину была поднесена в дорогом серебряном вызолоченном окладе с эмалью икона св. Троицы с надписью: «Церковному старосте Московской Троицкой, что в Кожевниках, церкви Александру Алексеичу Бахрушину от признательных прихожан за усердие и труды по возобновлению и благоуукрашению этого Храма». При подписании иконы был прочитан приветственный адрес». Так писали газеты в 1900-х годах. Бахрушины строили храмы и в родном Зарайске, недаром все колокола ликующе звонили в их честь, когда они приезжали в свой родной город. Почти при каждом их благотворительном учреждении и в Москве и в Зарайске воздвигались церкви.

Замечательно описаны Ю. Бахрушиным ежегодный торжественный прием Великим Постом в их доме

¹ К т и т о р — церковный староста.

чудотворной иконы Иверской Божьей матери, паломничество к мощам великого русского святого Серафима Саровского, традиционные поездки в торжественные семейные дни в Кремль поклониться московским святыням.

Хочется особо остановиться на ритуальном характере и освященных традициях всей прошлой русской жизни, что придавало ей особую устойчивость и красоту. «По раз заведенному обычаю...» — эта фраза повторяется в воспоминаниях очень часто. Что привлекает во всем укладе старой дореволюционной жизни, так это четкое разграничение прав и обязанностей каждого: в семье, производстве, в крестьянской жизни. Каждый занимался своим делом: крестьяне сеяли, врачи лечили, рабочие трудились на фабриках, женщины рожали много детей и были неутомимыми хранительницами домашнего очага.

Примерно об этом же, но в несколько ином ключе сказал в своих воспоминаниях Г. Адамович о Бунине: «Он был символом связи с прошлым, <...> как с миром, где всему было свое место, где не возникало на каждом шагу безответное недоумение, где красота была красотой, добро — добром, природа — природой, искусство — искусством...» И еще: «...я никогда не мог смотреть на Ивана Алексеевича, говорить с ним, слушать его без щемящего чувства, что надо бы на него наглядеться, надо бы его послушаться, — именно потому, что это один из последних лучей какого-то чудного русского дня»¹.

Ю. А. Бахрушин также один из свидетелей, если так можно выразиться, последних дней России, и книга его поэтому приобретает особое, щемяще-ностальгическое звучание. Это как бы песнь уходящей России, ее празд-

¹ А д а м о в и ч Г. Бунин. Воспоминания // Знамя. 1988. № 4. С. 190—191.

никам, деловой жизни, ее привычкам, причудам, ее традициям. Россия предстает перед нами как единое живое тело, как единая живая душа. Россия как дом, как общий для всех дом, теплый, хлебосольный, расцвеченный живыми и яркими красками. Это особенно ощущается в той части книги, где Ю. Бахрушин описывает путешествие со своим дядей В. В. Постниковым по Смоленской губернии, по мелким дворянским поместьям в поисках предметов старины. Уже тогда, в 1910-е годы, Бахрушины ясно отдавали себе отчет, что это «последняя страница истории дворянско-усадебного быта». Какие типы предстают перед нами, какое вселенское гостеприимство, когда, не спрашивая гостя о цели приезда, сразу начинают его потчевать и предлагать у них пожить, а прощаясь, выкатывают ему в дорогу громадные сыры. Описаны эти люди с некоторым снисходительным юмором, но нам грустно, ибо мы знаем, что потом стало и с их усадьбами и с ними самими. Интересен рассказ о Терлецких, «последышах» старых бар, у которых Бахрушины жили в Гирееве. Весь уклад жизни — барский, допотопный. Повсюду видны приметы уходящего навсегда быта вместе с причудами хозяина, с его разудальством и ширью, с праздниками и фейерверками.

Описание путешествий занимает в книге довольно большое место. Париж, Ницца, Германия, Испания, а также великое множество российских городов и деревень описаны красочно, подробно, со знанием дела. Интересны свидетельства о знаменитых российских усадьбах: Ивановском, Студенце, Новоселках — бывшем имении отца Фета А. Шеншина, впоследствии принадлежавшем дяде Ю. Бахрушина И. Енгальчеву. А от Фета уже тянутся нити к Льву Толстому, Тургеневу, и мы в который раз удивимся тому, насколько в русской жизни было все взаимосвязано и неразрывно. Несомненно, что людям, занимающимся историей рус-

ского усадебного быта, будут интересны и подробные исторические описания усадьбы Жодочи, которую посещали Н. М. Карамзин, П. А. Вяземский, Д. В. Веневитинов, И. И. Дмитриев, и рассказ о сельце Воскресенки, в свое время принадлежавшем А. В. Сухово-Кобылину, где он и жил, будучи под следствием. С большой достоверностью и точностью Ю. А. Бахрушин показывает нам и многие стороны крестьянской жизни, разнообразные человеческие типы, их взаимоотношения. Удивителен рассказ о крестьянах Новоселок, об их умении веселиться, петь, танцевать, о тех крестьянских культурных традициях, которые оказались впоследствии утраченными. Рассказ о талантливой сельской плясунье Марье, о секретах творчества и вдохновения, наверно, один из лучших в книге.

Надо сказать, что воспоминания Ю. А. Бахрушина написаны неровно, не всем фактам, в них изложенным, следует слепо доверять, но это ни в коей мере не говорит о недобросовестности автора, а скорее о его чрезвычайно увлекающейся натуре, склонной к преувеличениям. Но чем была бы память без воображения: сухим изложением, фактографичностью событий, лиц, положений? Мы благодарны Юрию Алексеевичу за эту увлеченность, благодарны за его память, сохранившую мельчайшие детали ушедшего навсегда быта. Мы вместе с ним плывем по этой широкой реке, называемой русской жизнью, и нам тепло и покойно в ее водах. Как тут опять не вспомнить Ивана Алексеевича Бунина: «Наши дети и внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то (то есть вчера) жили, которую мы не ценили, не понимали всю эту мощь, сложность, богатство, счастье...»¹

¹ Б у н и н И. А. Окаянные дни. М., Советский писатель, 1990. С. 44.

Почти с первых страниц воспоминаний Ю. Бахрушина предстает перед нами крохотная часть этой жизни — события, происходящие на Валовой улице, которая просматривалась из детской дома Бахрушиных. По утрам в воскресенье, пока родители спали, мальчик развлечения ради смотрел в окно. А развлечься было чем: «Это созерцание улицы крепко врезалось в мою память». Конки с лихими мальчишками-форейторами, пожарные в сияющих золотых касках «на звероподобных лошадях», свадебные поезда, похоронные процессии; на Святках и Масленице гуляющие москвичи на саниах; ленты, бумажные цветы, бубенцы, смех, веселье. Гнали и арестантов в таганскую тюрьму, везли бочки с водой, тянулись обозы с различными товарами, и еще многое и многое другое. Сейчас часть окон Театрального музея по-прежнему выходит на Валовую улицу, но какое серое однообразие ждет тебя, читатель, если тебе вздумается поглядеть из этих окон... Но вернемся к тем временам, когда и Лужнецкая и Валовая помнят совсем иное. Пасха, Масленица, Святки, вербное воскресенье, семейные праздники — все это предстает перед нами зримо, выпукло, подробно.

Хочется сказать еще об одной стороне книги. Жизнь, прожитая в советское время, отложила свой неизгладимый отпечаток на личность автора. Этим отчасти объясняются странные его характеристики некоторых исторических событий того времени и особенно характеристики царствующих особ. Говоря, скажем, о Николае II, он впадает в какой-то иронично-шутливый тон, и слова «злополучный последний венценосец» по отношению к царю-мученику кажутся сейчас просто кощунственными. Таких примеров можно привести множество — тут и «стольщинская реакция» и легковесное описание зверского убийства великого князя Сергея Александровича и т. д. Но в це-

лом воспоминания поражают почти полной свободой изложения.

Около сорока лет рукопись пролежала в музее, но ее читали сотрудники, изучали исследователи, она была живым памятником с той минуты, как Ю. А. Бахрушин принес ее в музей, в фонд своей семьи. Обширный этот архив — интереснейший. Семейная переписка Бахрушиных свидетельствует о душевной близости, которая существовала между всеми членами этой большой семьи. Уважение к адресату, забота о его душевном состоянии, здоровье, советы, исповеди, отчеты о делах. Первое письмо сыну Юрию было написано А. А. Бахрушиным, когда тому было всего три года, а в 1917 году рвущемуся на фронт сыну он советует не спешить, а постараться быть полезным в полку в Петрограде, обращаясь по совести и с любовью к солдатам. Наверно, эти два понятия — жить по совести и приносить пользу — и есть главные критерии жизни этой семьи.

П. Бурьшкин писал: «У Бахрушиных в крови было два свойства: коллекционерство и благотворительность»¹. Вообще тяга просвещенного купечества к собирательству была в те времена очень распространена. В истории России сияет несколько имен, принесших славу отечественной культуре: это братья Третьяковы, братья Щукины, С. Т. и И. А. Морозовы, С. И. Мамонтов, С. И. Зимин, Солдатенковы, К. С. Алексеев (Станиславский) и, конечно, А. А. Бахрушин, создатель первого в мире театрального музея. Еще юношей он вращался в таких кругах, где к собирательству относились в высшей степени серьезно. Одним из его наставников был двоюродный брат Алексей Петрович Бахрушин, известнейший коллекционер древних рукописей и старопечатных книг, старинных эмалей, брон-

¹ Бурьшкин П. А. Москва купеческая. М., 1990. С. 127.

зы, миниатюр, изделий из фарфора, фаянса, предметов женского рукоделия. Мы должны быть благодарны ему, так же как и другим собирателям древних русских рукописей и старопечатных книг А. И. Хлудову, Ф. Ф. Мазурину, за сохранение древнерусской культуры. Да разве только им?! И собирателям древнерусской иконописи И. С. Остроухову, С. Н. Рябушинскому, П. И. Щукину.

В 1892 году Алексей Петрович Бахрушин написал книгу «Кто что собирает», где рассказал только лишь о 35 российских коллекционерах с подробным описанием их коллекций, среди которых встречались совершенно экзотические, — например, редактор журнала «Вестник воспитания» Е. А. Покровский владел собранием колыбелей со всего света.

А. П. Бахрушин завещал свою богатейшую коллекцию Историческому музею. Образ этого человека, так же как и образ другого Бахрушина — коллекционера, родного брата создателя Театрального музея Сергея Александровича, в воспоминаниях Ю. А. Бахрушина дан необычайно рельефно. Это типичные коллекционеры, цель и смысл жизни которых — собирание. Характерен эпизод, описанный А. П. Бахрушиным: «Один собиратель (чего — не знаю, но это все равно, дело не в предмете собирания, а в той силе, которая так крепко связала сердце человека с собираемыми им предметами) во время пожара своего дома, когда уже загорелась комната с его собранием, вынести которое было нельзя, — не пожелал выйти из дома, хотя имел еще полную возможность, и сгорел вместе со своим собранием»¹. Не так ли в горящей в 1917 году России остался и А. А. Бахрушин вместе со своим музеем, не уехал, не бросил, не увез? Подвижнической была его

¹ Кто что собирает (из записной книжки А. П. Бахрушина). М., 1916. С. 27—28.

жизнь, как и жизнь его предков. Подвижнической оказалась и жизнь Юрия Алексеевича Бахрушина, написавшего летопись своего рода. И если музей является памятником его создателю, то книга Ю. А. Бахрушина — это уже второй памятник делу и жизни Бахрушиных. И еще — это трепетное, полное любви и преклонения слово о России.

Н. Сочинская

Это издание посвящено столетию (1994 г.) Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина (бывший Литературно-театральный музей императорской Академии наук имени Алексея Бахрушина в Москве).

За свою вековую деятельность Театральный музей стал одним из крупнейших и известнейших музеев не только в России, но и в мире, памятником истории и культуры международного значения. Хранящаяся в нем национальная театральная коллекция насчитывает 1,5 миллиона подлинных уникальных экспонатов, системно рассказывающих об истории театра всех видов и жанров, от его зарождения до наших дней.

Сотни театральных выставок, созданных сотрудниками музея, с огромным успехом показываются не только в России, но в Нью-Йорке и Риме, Берлине и Стокгольме, Амстердаме и Сан-Франциско, Мадриде и Мюнхене, Венеции и Праге, Париже и Гаване, Лос-Анджелесе и Дели. Ни одна выставка по общей истории искусства России у нас или за рубежом не проходит без участия Бахрушинского музея. Многие кинофильмы, теле- и радиопередачи, публикации, труды, связанные с историей театра, базируются на материалах музея им. А. А. Бахрушина. Со всего мира для работы в фондах музея приезжают исследователи и театральные деятели.

Надеемся, что предлагаемая книга будет интересна читателям, каждого из которых мы с радостью приглашаем продолжить знакомство с А. А. Бахрушиным и его театральным наследием у нас в музее — в Москве, на улице Бахрушина, 31.

*В. В. Губин, директор
Центрального театрального
музея им. А. А. Бахрушина*



ВОСПОМИ-
НАНИЯ

Памяти незабвенных родителей



От автора

Заранее предвижу, что меня будут упрекать и в идеализации прошлого, и в чрезмерно доброжелательном отношении к отдельным людям. Подобные обвинения сейчас обычны. Не собираюсь оправдываться, тем более, что считаю их имеющими основание. Однако все же хочу объяснить по этому поводу с читателем.

Во-первых, дело в том, что когда человеку перевалит за половину его жизни, то годы юности всегда представляются ему какими-то необыкновенно хорошими. Не у всякого эта юность была одинаковой — у одного она была любящей, заботливой матерью, у другого — строгой, но справедливой воспитательницей, у третьего — жестокой, бессердечной мачехой. Но во всех случаях она была юностью — периодом первого знакомства с жизнью и первых мечтаний, когда все кажется интересным и необыкновенным, и предстоящий жизненный путь представляется столь бесконечным, что не вызывает ни малейших опасений, что его не хватит для достижения всего задуманного. Поэтому-то любой автор, даже тот, для которого юность была мачехой, неизменно найдет в ней моменты, которые будет невольно идеализировать.

Во-вторых, по своему происхождению я принадлежал к привязанному классу. Я, право, в этом не виноват, так же как и в том, что моя юность оказалась для меня любящей, заботливой матерью. Дети, как известно, не вольны выбирать себе родителей, впрочем, если бы мне даже и представился подобный необыкновенный случай, я бы им не воспользовался.

В-третьих, я стремился говорить о событиях и людях так, как я воспринимал их в то время. Правда, мне не всегда это удавалось, но иначе поступать я не мог. А мы знаем, что в юном возрасте многое представляется нам не так, как в зрелом. Всякого мальчишку пленяет героика войны, а не ее ужасы, фееричность стихийного бедствия, а не его печальные последствия и т. д.

В-четвертых, я руководился тем соображением, что наш советский читатель достаточно хорошо умеет сопоставлять факты и делать из них соответствующие выводы. Он уже вышел из того возраста, когда ему надо было все толковать и обязательно выводить мораль. Теперь он уже легко и без этого увидит между строк написанного и пустоту жизни тогдашнего «избранного круга» людей, и все уродливые стороны действительности того времени, сколь бы припудрены они ни были патриархальными традициями.

Что же касается идеализации отдельных личностей, то в этом отношении я всегда предпочитал и предпочитал думать о людях лучше, чем, может быть, они есть на самом деле. Весьма возможно, что это и неверно, но с этим я и умру.

Несколько строк о написанном мною. Предлагаемое — лишь первая часть моих воспоминаний. Для того, чтобы их закончить, надо написать еще таких же книги четыре. Удастся ли мне это — не знаю.

Ведь кто-то как-то заметил, что люди начинают писать свои мемуары в двух случаях — либо в моменты сильного нервного напряжения, как в моем случае.

либо когда им от жизни уже нечего ждать, ну а я еще не сложил оружия и продолжаю ждать много интересного в будущем.

Все, о чем рассказывается в этой первой части, несмотря на незначительный срок, отодвинулось так далеко назад, что стало чем-то фантастическим и еле различимым. Это и побудило меня назвать первую книгу моих воспоминаний древним русским геральдическим термином «Из мрака времен».

Введение



уровые московские дни октября — ноября 1941 года. Люди серьезны и молчаливы. Они наскоро кончают повседневные дела и забираются скорее в свои норы.

Уже смеркалось. Мы сидим в комнате у матери и пьем чай, сдабривая его ломтиками черного хлеба и какими-то доисторическими конфетами, привезенными тридцать лет назад из Ниццы и где-то случайно завалившимися. Мать каждый раз встревоженно прислушивается, когда на улице, набавляя ход, заурчит спешащий троллейбус. Все ждут, когда начнется, — вопрос, будет или не будет, давно отпал, — известно, что прилетят обязательно. Чай давно отпит, но никто не расходится. Некуда и не к чему. Изредка наведываемся ощупью в незатемненный мрачный коридор и глядим в окно на улицу. За растрескавшимися от взрывов и пожаров зеркальными стеклами беспросветная тьма. Лишь изредка грязное осеннее небо мигнет далеким отсветом — то ли это запоздавший трамвай, то ли где-то далеко-далеко стреляют.

Наконец ночное безмолвие нарушается первыми звуками ожидаемого. Сперва — вой глухой и жидкий, затем он делается все гуще, пронзительнее, настойчивее и, наконец, доходит до истерического фальцета, до истошного надрыва. Наспех гасим свет, зачем-то на-

вьючиваем на себя противогазы, надеваем какие-то, специально на этот случай приготовленные верхние вещи и готовимся покинуть свою нору, закопаться еще глубже. Захожу в свою комнату, осматриваю ее — быть может, вижу в последний раз — и жду мать в коридоре. Остальные уже громяют в темноте вниз по лестнице.

Ночное небо за окном уже пестрит огненными цветами разрывов и голубыми восклицательными знаками прожекторов. Где-то глухо-глухо погромыхивает канонада. Мать собирается долго, тщательно проверяет, все ли сделано, что предписывается, молится. Наконец и она готова. Идем вниз в музей. Там в глубине тускло освещенного коридора хрипло и уже устало продолжает завывать радио-репродуктор. Замдиректора музея, поджарый, седовласый, с моложавым, породистым лицом, в боевой бекеше, отдает последние распоряжения постовым. На верхнем этаже топочут кованные сапоги поселившихся там милиционеров, хлопают двери, урчит вода в канализации. Все занимают излюбленные, насиженные места. Грязный, вонючий и лохматый пес Васька прибежал первым, как только раздался вой сирены, лапой открыл входную дверь и уже перестает нервничать в своем углу под рукомойником в уборной. На последней высокой ноте обрывается радио. Когда-то оно заговорит вновь? Начинается царство тревожной тишины. Все почему-то говорят шепотом, где-то из темноты раздается приглушенный вздох, кто-то шаркает ногой. Почему люди собираются здесь в музей — неизвестно. Тут так же опасно, как и на улице. Тем более на дворе есть щель, но ею никто не пользуется, кроме двух столяров, которые на всякий случай с вечера ложатся там спать. Но здесь приглушены все звуки, а в данных обстоятельствах звук раздражает более всего. Над городом витает смерть и грозно требует тишины — прерогативы своей власти. Но вот люди начинают перечить смерти, нарушать ее права на без-

молвие, отгонять ее прочь. Вначале они делают это робко — где-то неуверенно бухают раза два, три, словно захлопывают тяжелую входную дверь. Затем трескотня делается все назойливее, увереннее, деловитее, точно сыпают картошку в глубокий подвал по деревянному лотку. Под конец люди стервенеют — они низводят грома с небес, потрясают оконными рамами и стучат сталью по железным крышам. Как морская волна хлещет грохот по городу, но отогнать смерть не так легко... А мы в музее ждем, когда она наконец отступит.

Я медленно хожу по неосвещенному коридору — сорок два шага — и дверь, сорок два шага обратно и дежурная лампа. Жду боя часов, вот они пробили половину одиннадцатого, одиннадцать, половину двенадцатого... Часы тянутся томительно долго. Скоро наступит путаное время: будет бить половина первого, час и половина второго — потеряешь представление о часе, и придется идти и смотреть, скоро ли рассвет. А чего, собственно говоря, волноваться, нервничать — все ведь дело случая. Начинаешь вспоминать незначительные эпизоды прошлого, которые впоследствии играли решительную роль в жизни. Затем припоминаешь свою жизнь вообще, восстанавливаешь то, что творилось в этих местах много лет тому назад.

Все выступает из прошлого так отчетливо и ясно в окружающем мраке. Увлекаешься своими мыслями, ноги устали ходить по клетке, садишься и думаешь дальше... А почему только думать, а не записывать?! Преступно растрачивать бесценное время — ведь жизнь может оборваться в любой момент! Порассказать есть о чем!.. В последующие бессонные ночи я уже шел в музей, захватив с собой тетрадь и перо. Где-то бурлил бой и витала смерть, а я вызывал к жизни мирные тени далекого прошлого...

...Так родились эти воспоминания.



ноябре 1862 года высочайший двор прибыл в Москву. Это была еще пора розовых мечтаний и зеленых надежд. В ушах еще не замер ликующий трезвон герценовского «Колокола», провозгласившего Александра II идеалом монарха. Одновременно это была и пора начала расцвета российского капитализма, когда купечество, осознав свою роль и место в государственной машине страны, стало принуждать правительство считаться с силой золота.

На высочайший выход в Большом Кремлевском дворце были собраны все первые персоны стольного города. В Андреевском зале стояло дворянство, в Георгиевском — военные, во Владимирском — купечество.

Под колокольный звон и постукивание церемониймейстерских жезлов новый царь шествовал по залам своего дворца, приветливо улыбаясь и милостиво заговаривая с присутствующими. Рабленно склонялось перед ним дворянство, тянулась военщина и отвешивало степенные поклоны купечество. Со всех сторон Владимирского зала на Александра II были устремлены взоры седебородых, в длиннополых сюртуках представителей новой народившейся государственной силы.

Московский городской голова Михаил Леонтьевич Королев подал царю хлеб-соль на серебряном блюде работы Сазикова. Царь благосклонно принял подношение, поблагодарил, передал адъютанту и, обратясь к голове, спросил:

— Как твоя фамилия?..

— Благодарение Господу, благополучны, ваше величество, только хозяйка что-то малость занедужила, — серьезно ответил Королев.

Произошло неловкое замешательство, но Александр II быстро сообразил, что не знакомый с новыми тонкостями галлицизмов голова понял слово «фамилия» в его старинном значении — «семья».

— Ну, кланяйся ей, — улыбнувшись, ответил царь и под влиянием внезапного наития добавил, — да скажи ей, что я со своей хозяйкой приеду ее проведать...

Милостивые слова государя молниеносно облетели зал и произвели на купечество впечатление разорвавшейся бомбы — царь при всех, громко обещал приехать в гости к купцу! Это было неслыханно в истории России. Скептики пожимали недоверчиво плечами и сомневались в подлинности рассказов присутствовавших на выходе.

Но Александр II сдержал слово. Одним солнечным зимним днем, 4-го декабря 1862 года, его парные сани с толстым кучером остановились у подъезда королевского дома... Толпы сбежавшегося народа на улице и цвет московского купечества, собранный головой, встречали императора. Он приветливо и долго запросто говорил с купцами, а царица сидела в гостиной и пила чай с сухариками, подаваемый ей смущенной супругой-хозяйкой.

Событие это, как открытое всенародное признание правительством значения купечества, нашло себе широкое и всестороннее отображение в прессе. По заказу Королева два эпизода — приезд царя и чаепитие —

были запечатлены художником на полотне и украсили стены отныне исторического дома...

Годы шли своей чередой. Купцы, воспитанные по старинке в традициях предыдущей эпохи, должны были постепенно уступать свои места молодым просвещенным мануфактуристам, говорившим на иностранных языках и ездившим изучать производство за границу.

Эту молодежь впервые отметила пресса, когда общала об обеде, данном Королевым министру внутренних дел П. А. Валуеву вскоре после упомянутого визита царя.

〈Среди присутствовавших «было несколько молодых людей из купечества, — писала газета «Наше время», представителей новой эпохи и нового воспитания. Многие из них жилали за границей, и человек, не бывавший в их среде, удивился бы, слушая их. Разговор зашел, между прочим, об итальянской опере, и молодые люди говорили о музыке не только с живым интересом, но явно обогащенные специальными знаниями».〉

Российская «шестая держава» попала в явный просак. За множеством дел она не заметила, как рядом с ней незаметно вырос и окреп новый класс людей, на которых она привыкла смотреть как на папуасов.

С ростом купечества росла и конкуренция. Королев разорился, и его наследники продали исторический дом. Почти ровно через тридцать четыре года после описанных событий в знаменитой комнате, где Татьяна Андреевна Королева дрожавшими руками подавала поднос с корниловскими чашками государыне Марии Александровне, в одно январское раннее утро я впервые увидел свет.

Роды у моей матери были тяжелые. Отец сидел рядом в комнате вместе со своим ближайшим приятелем.

лем — мужем своей сестры, молодым вдовцом В. В. Постниковым и волновался... Акушер выходил время от времени от роженицы, успокаивал неопытного супруга и уговаривал его «выпить коньячку». В. В. Постников также успокаивал будущего отца неизменной фразой:

— Мон шер, все обойдется благополучно, вышей-ка лучше для храбрости.

— Словом, — как мне впоследствии рассказывал дядя, — к тому времени, как ты родился, мы с папой уже созрели так, что только бы до дивана добраться...

Родился я хилым и слабым. Увидавший меня впервые дед — отец моей матери — явно меня не одобрил, чем навсегда крайне разобидел свою дочь.

К довершению неприятностей, связанных с моим неудовлетворительным физическим состоянием, шести недель от роду я заболел тяжелой формой дифтерита. Вокруг меня был собран целый ареонаг врачей, но ничего не помогало. Наконец эскулапы принуждены были сообщить моим родителям, что надежд на выздоровление почти нет и что единственный человек, который, быть может, в состоянии меня спасти, — это доктор Габричевский.

Габричевский, тогда молодой еще врач, начал в Москве экспериментальные работы по противодифтеритной вакцине, давшие уже первые результаты.

Делать было нечего. Отец велел кучеру закладывать лошадь и в первом часу ночи отправился к указанному врачу. Уже после часа он звонил у его подъезда. После долгих разговоров с прислугой через цепочку он был ввущен в переднюю, но доложить о нем было категорически отказано, так как доктор уже лег спать. В это время Габричевский, проснувшись от шума в передней, спросил, в чем дело. На объяснения и просьбу отца приехать помочь умирающему ребенку доктор ответил, что он с визитами не ездит и что его противодифтеритная вакцина находится еще в стадии экспериментов,

так что применять ее в широких масштабах он не вправе.

Отец продолжал умолять. Наконец Габричевский, раздосадованный назойливостью позднего посетителя, отказал наотрез, но заинтересовался узнать фамилию назойливого просителя. Отец назвал себя. Последовала пауза. Затем совсем другим голосом доктор проговорил: «Подождите меня, сейчас я еду. К вам — я обязан ехать».

Уже сев в сани, Габричевский объяснил отцу значение своей фразы. Когда он, впервые увлекшись идеей противодифтеритной вакцины, начал экспериментировать и ему понадобились деньги, всюду, куда бы он ни обращался, получал отказ — единственный человек, который сразу пошел к нему навстречу, был мой дед.

Габричевский сделал мне прививку и лишний раз доказал эффективность своего нового способа лечения дифтерита.

Я быстро поправился, и моя болезнь через некоторое время совершенно изгладилась из памяти моих родителей.

〈В 1899 году, когда мне было три года, они решили предпринять заграничное путешествие, оставив меня на попечение отца матери и ее сестер — барышень.

Именно с этого периода начинаются мои отрывочные воспоминания.

Весьма вероятно, конечно, часть этих воспоминаний осталась в памяти благодаря возобновлению тех же впечатлений впоследствии.

Характерно, что в моих воспоминаниях того времени люди играли самую последнюю роль и для меня они все немые — я не помню ни что они говорили, ни звука их голоса, ни даже их наружности... Звери — собаки, кошки, птицы — остались больше в памяти, но тоже довольно смутно. Ярче всего запомнились комнаты,

вещи и непонятные звуки, вроде игры на рояли или цокание бильярдных шаров.<...>

Семья деда жила на другом конце города на Введенской площади в Преображенском, в старинном доме — особняке. Вход в дом был со двора в небольшую прихожую, оттуда несколько ступенек вели вверх, сбоку стояла жардиньерка с растениями — ее особенно хорошо помню. Затем была какая-то нелепая комната вроде гостиной, откуда был ход в кабинет деда — это было святое святых дома — там было много интересного, множество разных карандашей и ручек, аккуратно разложенных на столе, чучела волков и какая-то сложная электрическая машина с железной щеткой для зажигания папирос, которая, по-моему, не действовала. Далее были еще какие-то комнаты, которых не помню. Наша детская половина помещалась в другом конце дома. Ее помню плохо. Хорошо помню комнату моих теток барышень со множеством котильонных значков, пришпиленных к стене, — это были предметы моей зависти. Помню узкую лестницу, с перилами в виде бархатных шнуров, которая вела вниз — по ней ходили в столовую. Перед столовой была курительная комната с гобеленами на стенах, изображавших сцены охоты. Столовая была огромная комната, в которой стоял рояль, на которой иногда играли тетки и дядя. Со стороны сада в столовой был витраж — на цветных стеклах были изображения каких-то людей. Где-то еще помещалась бильярдная, и я помню, как иногда дядя с кем-то катал палкой по зеленому столу большие белые шары, издававшие сухой лязгающий звук. Помню большую собаку, сенбернара Бенгура, но это был страшный зверь, с которым короткого знакомства я не вел. В более близких отношениях я был с канарейками, висевшими у домоуправительницы деда, старушки Варвары Семеновны. Помню отдельные вещи, дверные ручки в виде птичьих лап светлой бронзы, держащих граненые

хрустальные шары, плевательницы из орехового дерева, стоявшие по углам с медными нажимами внизу. Было очень интересно хлопнуть по ним ногой, чтобы плевательница открыла рот. Помню какой-то ореховый стол, под которым на нижнем перешлете в центре была мягкая темно-красная, стеганая штофная подушка для ног. Хорошо осталась в памяти обивка стульев со сценами из китайской жизни. Китаезы на ней делали всякие забавные штуки — удили рыбу, ходили гулять, пили чай и т. д.

Помню обширный сад с оранжереями, фруктовыми деревьями, речкой Синичкой, конюшнями и царней, где была масса охотничьих собак деда и дяди. На речку и на пруд на фабрику дед ходил ловить рыбу.

Вот, пожалуй, все, что я помню от того далекого времени...

О первом своем житье у деда Носова, почти непосредственно после моей тяжелой болезни, я, естественно, ничего не помню. Тогда мои родители покинули Москву на короткий срок — они уехали в Нижний Новгород, подкинув меня сестрам матери, а главным образом домоуправительнице деда Варваре Семеновне, так как дед сам также ездил на открытие ярмарки.

Родители никогда бы не отважились оставить меня одного в Москве, если бы предстоящее событие не было столь большой исторической значительности. В этом, 1896 году, впервые в истории России, царь лично открывал ярмарку-выставку. Это было уже не интимное признание значения купечества исподтишка, типа посещения Александром II головы Королева, а широко разрекламированным событием государственного, даже мирового значения. Правительство официально признавало наступление новой исторической эпохи — эпохи русского капитализма.

Купечество отдавало себе полный отчет в значимости происходящего. На этот раз весь его цвет собрался

в городе Минина. Из молодого поколения купцов была выделена личная охрана царю. Молодежь отбиралась по росту, по пригожести, по отесанности. Все они были одеты в костюмы рынд и стояли в почетном карауле по пути следования императорского шествия. Тончайшего белого сукна, дорогого горностаевого меха и подлинных драгоценных самоцветов не пожалели старики, чтобы одеть своих наследников. Ради такого события тряхнули мощной и пустили пыль в глаза скудеющему дворянству: дескать — знай наших! В числе этой охраны был и брат матери, мой дядя — Василий Васильевич Носов. Молодой царь тогда очаровал купечество простотой своего обхождения и личного обаяния. В то время в него верили, на нем строили свои надежды на будущее.

Видимо, и выставка произвела впечатление на царя, не ускользнули от его внимания и красавцы рынды, его охранявшие. Не явился ли отголоском этого впечатления знаменитый костюмированный бал в Зимнем дворце, данный царем более десяти лет спустя.

После приезда моих родителей из своего заграничного путешествия 1900 года они переехали со мной в новый, только что отстроенный дом, в котором и протекла моя последующая жизнь.)

Дом этот был воздвигнут рядом со старым зданием, в котором я родился на месте знаменитых королевских садов, занимавших целый квартал. Сад этот был того же типа, что и деда Носова, но еще более обширный, также с оранжереей, огородом, фруктовым садом, беседками, цветниками и прочими купеческими затеями, вызванными игнорированием дач и нелюбовью к передвижениям. Старуха Королева, продавая владенье, как особым достоинством своей земли хвасталась перед покупателями наличием поглощающих колодцев. Конечно, это сообщалось по секрету, так как это «достоинство» уже преследовалось тогда законом. Поглощающие ко-

лодцы были своеобразные скважины в земле, обладавшие способностью всасывать в почву все, что в них попадало. Благодаря этому владельцы участков с такими особенностями грунта были избавлены от трат по вывозу мусора со своего владения. Вся эта отвратительная грязь сваливалась в колодец и исчезала. А там дальше владельцу было наплевать, что впоследствии это попадало в подземные ключи, питавшие многочисленные тогда колодцы питьевой водой. Впоследствии эти поглощающие скважины чуть не сыграли с нами дурную шутку.

В этом новом доме мои воспоминания постепенно начали принимать более конкретные формы.

Вначале они были как бы продолжением первых воспоминаний. Помню процедуру топки печей и заправки керосиновых ламп, помню дворовых шавок Мухтара и Мушку, помню оказии к деду Носову — телефона тогда не было и если надо было что-либо сообщить из Кожевников в Лефортово, то посылался посыльный с той или другой стороны. Затем в памяти постепенно возникают образы моей няньки Марии Ананьевны, толстой, неповоротливой старухи, дочери аракчеевского кантониста;¹ кухарки Авдотии Степановны, когда-то крепостной, жены бывшего николаевского солдата — севастопольского героя. Он был большой мастак соорудить мне игрушки и рассказывать необыкновенные вещи, но помню лишь, к сожалению, процесс рассказывания и слушания, но не содержание. Кроме того, помню столяра Василия, степенного, аккуратного и дотошного мастера своего дела, явившегося как бы старостой всей прислуги. Он держался старинных правил — не разрешал молодой прислуге хохо-

¹ Кантонист — солдатский сын, прикрепленный со дня рождения к военному ведомству и несущий службу в особой низшей военной школе.

тать и громко смеяться во время общего обеда — выгонял из-за стола, ходил каждую субботу в баню, имел очень длинную черную бороду, которую не стриг и почему-то стеснялся и, заворачивая ее вдвое, прятал за ворот рубашки. Он носил очки с тесемкой сзади, был лыс и толст, за что назывался дядей Василием Пузаносом. Помню, меня поражало его собственное достоинство и ровность обращения — он одинаково говорил и с прислугой и с отцом. Мы с ним были большие друзья, и он часто мастерил мне между делом какой-нибудь пустяк по моему заказу или рассказывал о Суворове, Балакиреве и Илье Муромце.

Вспоминаю еще съезд к отцу и матери гостей в субботу вечером и в воскресенье. Помню звонки в передней, которые меня всегда живо интересовали. В воскресенье я всегда пытался побежать и посмотреть, кто приехал, но меня не пускала нянька, так как парадная лестница была очень крутой и без перил. Тогда я своим умом дошел до маленькой хитрости: когда начинались звонки, я ласкался к няньке и просил ее поиграть со мной. Нянька с оханьем и кряхтеньем садилась на пол и начинала строить со мной какой-нибудь город из кубиков. Тогда надо было только дожждаться очередного звонка и опрометью вскочить и бежать в переднюю вниз, по большой лестнице. Пока нянька вставала и добиралась до цели моих стремлений, я уже шел обратно.

Однажды я был застигнут на месте преступления моей матерью и отведен, как сейчас помню, в буфетную, поставлен рядом с раковиной на мойку и выпорот — единственный раз в жизни. После этого я перестал бегать вниз, а отец, во избежание скандала, сделал сверху лестницы железную стальную решетку.

Субботние съезды к родителям в то время остались у меня в памяти только в ранние часы — часов в во-

семь я отправлялся спать, а разгар наезда гостей начинался только часов в 11.

От тех дальних дней запомнилось мне два человека — толстый, добродушный и спокойный актер Малого театра Вл. Ал. Макшеев и приятель отца, мой дядя В. В. Постников.

Вл. Ал. Макшеев, когда не бывал занят в театре, приезжал обычно рано, садился в верхнем кабинете отца в удобное кресло с высокой спинкой и вел беседу с матерью. Отец занимался в это время в нижнем кабинете. Мать обычно посылала меня вниз сообщить отцу, что приехал дядя Володя. Так как дядь Володей в обыходе нашего дома было много, то я молча недоумевал, что, очевидно, отражалось на моем лице, так как Макшеев всегда добавлял: «Скажи, что приехал дядя Володя толстый».

В воскресенье утром родители вставали поздно. Мне было скучно с нянькой дожидаться их выхода к утреннему кофе. Я по нескольку раз бегал к дверям спальни прислушиваться, нет ли признаков вставания отца с матерью, так как в положительном случае можно было постучаться, войти и присутствовать при их одевании. Обычно за дверью спальни царил тишина, и я печально отправлялся обратно к няньке.

Дабы меня развлечь, она предлагала мне посмотреть в окно. Это созерцание улицы крепко врезалось в мою память. Напротив наших окон был дровяной склад. За дощатым забором в штабелях лежали горы дров, а у ворот под синей вывеской стоял сам хозяин с небольшой седой бородкой, в поддевке, важно и степенно раскладываясь со знакомыми и сразу оживляясь при появлении покупателя. Мимо дома, по Вальной улице ходила конка. По своим прогулкам я знал, что там дальше у Краснохолмского моста к вагону припрягалась еще пара лошадей с мальчишкой-форейтором, и тогда вся эта упряжка с гиканьем и криком мигом взлетала на

крутую Таганскую гофу. Я тогда завидовал судьбе этих форейторов и мечтал, когда подрасту, обязательно упробить родителей определить меня на эту должность. Правда, тогда меня соблазняла еще и другая профессия — не менее заманчивым казалось стать пожарным, чтобы в сиявшей золотом каске вихрем мчаться по улицам на звероподобных лошадях. Но, пожалуй, все же служить форейтором на конке было заманчивее. Там было больше самостоятельности. Уж если в пожарные, то передовым, тем, что скачет верхом впереди и трубит в трубу.

Громыхая по булыжникам железными шинами, тащилась по улице извозчики или же длинной, бесконечной цепью тянулись ломовые с полками, груженными товарами. Иногда улица оживлялась свадебным поездом — в открытой пролетке с пристяжкой, впереди катили разряженные шафера с флердоранжем в петлицах, затем ехала карета с молодыми, вся зеркальная, обитая белым шелком, с лакеями на запятках, а за ней следовали провожатые. Прохожие тогда снимали шапки и крестились, желая молодоженам совета и любви. А порой мимо дома проходила погребальная процессия с торжественной траурной колесницей под балдахинем, влекомая шестеркой или восьмеркой лошадей под сетчатыми попонами. Впереди несли венки, шествовали певчие и пошы, по бокам шли факельщики с зажженными фонарями в белых цилиндрах и неленых белых же балахонах, а сзади тянулись экипажи — сперва кареты, затем пролетки, а совсем в хвосте линейки с поминальниками — бедным людом, порой даже не знавшим покойника, приобретающим право своим присутствием на похоронах принять участие в поминальной трапезе по окончании церемонии. При встрече с подобным шествием прохожие также творили крестное знамение, желая усопшему царствия небесного.

На святках и на масленице грохот улицы смолкал.

Бесшумно летели мимо окон быстрые сани. Лошади гулявших москвичей, украшенные лентами и бумажными цветами, издали возвещали о своем приближении мелодичным звяканьем бубенцов. Рабочий люд шел гурьбой по тротуарам с песнями и с заливом гармоник. Рано утром и поздно вечером мимо наших окон громы-хал обоз с бочками — на козлах, укрепленных длинными эластичными жердями к ходу полка, тряслись «золоторотцы»¹, меланхолично понукая лошадей и со вкусом закусывая на ходу свежим калачом или куском ситного. Прохожие тогда отворачивались, затыкали носы и бормотали: «Брокер едет»². Часто в эту пору мелькали на улицах бочки с питьевой водой, развозившие свой товар по домам, лишенным удобства водопровода. В эти же ранние часы гнали мимо дома арестантов в таганскую тюрьму в грязных черных куртках, с круглыми ермолками на наполовину обритых головах. По бокам шли конвойные с обнаженными шашками, а прохожие лезли в карманы и подавали проходящим несчастным свою посильную помощь.

Наконец родители вставали и начинался воскресный день.

Съезд гостей к завтраку бывал к часу дня. С утра, после традиционной поездки к Сухаревке, обычно приезжал В. В. Постников. Иногда он являлся вместе с моим отцом, который в таких случаях вставал рано, раньше меня. Ближе к часу, кроме почти постоянного В. А. Макшеева, подъезжали чаще всего С. В. Максимов, известный писатель-народник, Н. И. Музиль — актер Малого театра, В. К. Трутовский — археолог, хранитель Оружейной палаты, С. Н. Опочинин — историк театра и литератор, художник С. И. Ягужинский,

¹ Золоторотцы — ассенизаторы.

² «Брокер» была фирма известных духов. (Примеч. Ю. Бахрушина.)

учитель сцены и бывший певец Большого театра С. Е. Павловский, старый опереточный актер П. А. Волховской, режиссер Вл. И. Немирович-Данченко и Н. А. Попов, а также молодой журналист Н. Е. Эфрос.

К завтраку неизменно подавалась традиционная кулебяка с гречневой кашей — излюбленное блюдо Макшеева и носившее название «макшеевской» и «папашинская» водка — зверский, но целительный настой чуть ли не на двадцати разнообразных травах, перешедший в наш дом из дома деда Бахрушина. Там ее ввел в употребление какой-то весьма уважаемый в семье священник, и она в честь его называлась «батюшкина водка». В доме деда бывало много офицеров московского Гренадерского корпуса, ухаживавших за сестрами отца. Они переименовали водку в «папашинскую», предполагая, что название «батюшкина» являлось лишь купеческой номенклатурой отца. Как бы там ни было, а это название в нашем доме привилось крепче основного, первого.

К концу обеда подавалось обычно красное вино. Максимов брал меня на колени и на предложение старших выпить вина неизменно отвечал: «Нет, мы уж с Юрием Алексеевичем — лучше беленького», — и наливал в мою рюмочку и в свой лафитник молока — вина он не пил. Максимов в те отдаленные времена подарил мне свою книгу «Куль хлеба» с трогательной надписью.

После обеда до чая все отправлялись в нижний кабинет отца, и тут начиналось самое для меня интересное.

На стол клался альбом отца, и С. И. Ягужинский обычно в него что-либо рисовал — я замороженными глазами следил за его уверенным карандашом и за тем, как потом рисунок оживал от прикосновения кисти акварельными красками.

Когда гостей бывало мало, то В. В. Постников,

любивший поспать после обеда, удалялся в дальнюю комнату и располагался на диване. Я обычно находил его и всячески надоедал и мешал отдохнуть. Ища спасения, он вскоре выдумал остроумную тактику — идя спать, он приглашал меня с собой, уверяя, что будет играть со мной в новую игру. Уложив меня на соседний диван, он объяснял правила игры — выигрывает тот, кто первый заснет. Владимир Васильевич играл на верняка, без малейшего риска, но и я вначале часто понадался на эту удочку, и через час, полтора нас обоих приходилось усиленно будить к чаю.

Разъезжались гости обычно рано, часов в шесть. За этим следовал быстрый ужин, и отец с матерью уезжали в гости или еще чаще в театр, в балет. Разумеется, для меня было первым удовольствием присутствовать при туалете матери: следить, как парикмахер причесывал ее волосы, как она надевала нарядное платье, как нацепляла на себя всякие драгоценные безделушки и окончательно превращалась в красавицу — недаром она считалась таковой в Москве того времени.

В воскресенье, днем, после обеда часто заходил к нам мой дед Бахрушин. Он никогда не засиживался, оставаясь у нас не более чем минут на двадцать. На предложение еще посидеть он неизменно отвечал: «Нет, зашел, посмотрел, что вы все, слава богу, живы и здоровы, и хватит, нечего вас стеснять». Это был замечательный старик, о котором мне еще придется говорить отдельно. Меня он обычно сажал на колени и давал послушать свои теплые ¹ золотые часы с репетитором. Помню, что мне очень нравился мелодичный звон часов.

В табельные дни именин, рождений или больших праздников мы всей семьей отправлялись к деду. Жил он в своем особняке в Кожевниках, бок о бок с коже-

¹ Так в подлиннике.

венным заводом и насупротив суконной фабрики. Дом у деда был обширный, но нелепый по расположению комнат. Рассказывали, что это некогда был загородный охотничий замок Потемкина, но от тех отдаленных времен в доме остались лишь двухаршинной ширины стены, усадебные въездные ворота в виде столбов с огромными каменными ядрами на вершине да довольно большой пруд с островом в саду, где еще в мое время водились престарелые, выродившиеся караси. Вся остальная часть бесконечного некогда сада-парка отошла под заводские строения, а в старинных флигелях помещалась контора и жили служащие. В центральном доме помещался дед и многодетная семья его старшего сына. Строй жизни там был иной, чем у деда Носова, и отсутствовала та своеобразная теплота, вносимая младшими сестрами матери, зато налицо была большая детская самостоятельность, вытекавшая из того обстоятельства, что нижняя половина дома была почти полностью предоставлена детям.

Особенно памятен мне дом деда в праздник Пасхи. По семейным традициям в этот день должны были собираться к деду все члены семьи. Начинался праздник, естественно, с пасхальной заутрени, к которой все съезжались в церковь Троицы в Кожевниках, где дед был старостой. Помню зябкое ощущение прерванного сна, разряженная в белое мать с шелковым пестрым ридикулем, в котором помещались крашеные яйца для христосования, отца, облаченного в сюртук при белом галстуке, и себя самого в белой шерстяной матроске. Недалекий путь лежал по темным замоскворецким улицам, скупо освещенным тусклыми керосиновыми фонарями. Бывало, пригреешься в пролетке и клонит ко сну... Огромная церковь, битком набитая рабочим людом, сияет огнями в преддверии великого праздника. В церкви у каждого свое место — мы, потомство Александра Алексеевича, стоим налево от

входа на местечке, обтянутом красным сукном; потомство Петра Алексеевича стоит на таком же местечке справа от входа, два деда Александр Алексеевич и Василий Алексеевич стоят где-то впереди на клиросах; дядя Сергей Александрович — на клиросе придела, двоюродный дядя Константин Петрович где-то в алтаре, а дядя Владимир Александрович — с певчими. Когда из церкви величественно выливался крестный ход, то двоюродный дядя Константин Петрович, щеголяя своей неимоверной физической силой, обязательно нес одной рукой на вытяжке тяжеленное Евангелие. С крестным ходом мы не ходили, а терпеливо ждали в церкви его возвращения. Сквозь окна на улице видны были пылающие площадки, прыгающие шутихи, рассыпающиеся ракеты, слышались отнюдь не благоговейные выкрики мальчишек и разухабистый звон колоколов. Пасхальная служба даже в малолетстве мне не была скучна — изобилие действий священнослужителей и постоянное пение увлекали невольно. Когда кончалась заутреня, члены нашей семьи начинали ходить друг к другу с визитами — христосоваться. В этом занятии проходила половина обедни. Вторая половина также не была тягостна, так как протекала в предвкушении разговения. От обедни, уже при свете раннего весеннего рассвета все, то есть прямое потомство деда, ехали к нему разговляться, — остальные разъезжались по своим родоначальникам, чтобы днем снова нанести друг другу визиты. У деда все собирались в столовой и ждали его возвращения, — дело в том, что мы все с родителями — молодое поколение, возвращались из церкви на лошадях, а дед, по раз и навсегда заведенной традиции, шел пешком. Когда он входил в столовую, все садились за стол и начинали разговляться. Многочисленная женская половина семьи дяди готовила несколько самостоятельных пасок и куличей по собственным рецептам, и необходимо было попробовать

от каждой, чтобы не обидеть стряпух. Лишь часов в семь утра мы возвращались домой и ложились спать, а днем надо было обязательно снова нанести визит деду.

Несмотря на то что после заутрени и разговления мы ложились спать под утро, долго спать не полагалось.

Утреннее кофе подавалось в комнате матери — столовая же была занята сервированными столами для визитеров. Перед кофе вся прислуга собиралась наверху в буфетной. Все были одеты по-праздничному, женщины расфуфырены и завиты барашками, мужчины в новых рубашках, в белоснежных фартуках, с расчесанными маслом волосами. Отец, мать и я шествовали в буфетную, где стояло большое блюдо с покрашенными яйцами, а рядом горой лежали праздничные подарки. Начинался обряд христосования. Отец, мать и я троекратно целовали каждого, одаривая его яйцом и подарком. По окончании этой церемонии мы наскоро проглатывали свой завтрак и спешили в Кожевники к деду.

Принимал он в своем кабинете. Визит длился не более десяти — пятнадцати минут. В конце его дед говорил: «Ну, ну — у вас, наверно, свои гости, вам пора домой», — и затем он лез в свой письменный стол и доставал оттуда запечатанные конверты. Один он передавал отцу, а другой матери — это были денежные подарки к празднику. Потом подзывался я, которому вручался золотой десяти- или пятнадцатирублевого достоинства, извлекаемый из жилетного кармана деда.

Родителям действительно уже было пора домой, так как у нас в это время должен был уже начаться праздничный прием.

В нашей большой столовой накрывались два длинных стола. На центральном, занимавшем две трети комнаты, располагалась всевозможная закуска, водки, вина. Перпендикулярно к нему ставился другой стол,

меньшего размера, на котором сервировался чай со всякими вкусными вещами. За этим столом сидела мать.

Приезд визитеров начинался обычно часов с одиннадцати утра. Первыми являлись попы, которые служили молебен празднику, — приезжало несколько попов из приходской церкви, из Кожевников, где мы встречали праздник, из театрального училища, где отец был старостой, а впоследствии, когда мы жили на даче, и поп сельский, но этот обыкновенно на второй день. Все они после отправления требы¹ приглашались закусить и выпить чаю. За попами следовали старшие приказчики с фабрики и из амбаров, затем появлялись ближайшие родственники, жившие неподалеку: дяди двоюродные, троюродные и родные. Часов с двенадцати и до пяти визитер шел густо. Каждые несколько минут сменялись люди, с которыми отец и мать встречались по делу службы или с которыми были просто знакомы. Все одеты были по-праздничному в сюртуках, фраках или вицмундирах, в орденах, а военные — в парадных формах. Почему-то особенно ярко помню на этих приемах главного дирижера Большого театра И. К. Альтани, главного хормейстера того же театра У. О. Авранека, известного скрипача В. В. Безикирского и актера Малого театра Н. И. Музиля. К концу дня приезжали наиболее близкие знакомые, которые оставались и на вечер, не спеша попить чайку и пообменяться с отцом и матерью впечатлениями дня. Поздно обычно никто не засиживался, все разъезжались по домам часов в девять, так как на другой день прием продолжался, но менее многолюдный.

Помню и другой обычный ежегодный прием, происходивший в нашем доме, как правило, Великим

¹ Отправлять требы — совершать богослужебный обряд.

постом. Он был совершенно другого характера — это был прием чудотворной иконы Иверской Божьей матери, величайшей московской святыни. За несколько дней до посещения иконы мать, иногда со мной вместе, заезжала в контору часовни у Иверских ворот и договаривалась о дне и времени посещения святыни. К назначенному дню в доме все принимало торжественно-праздничный вид. Комнаты начищались, полы натирались, мебель облачалась в чистые чехлы. Все домашние также приводили себя в порядок и одевались в лучшее платье. В большой столовой, в углу под иконой ставилась мягкая скамья, накрытая белой скатертью, а перед ней также накрытый белой скатертью ломберный стол с миской, наполненной водой, и три маленьких подсвечника с восковыми свечами. Когда все это было приготовлено, начиналось ожидание иконы. Разодетые дворники ждали у открытых дверей подъезда, а я с женской прислугой у окна постинной. Наконец, влекомая шестерней лошадёй с форейтором, показывалась долгожданная огромная карета. Впереди скакал верховой с зажженным церковным фонарем. Степенно из кареты вылезал священник, а затем в дом кверху по лестнице усилиями всех домашних мужчины вносили тяжелую громадную икону. На мою долю приходилось несение фонаря перед иконой. Начинался молебен с водосвятием. Потом следовало угощение священнослужителей, после чего полагалось обнести икону по всем комнатам дома и все их окропить освященной водой. В службы — каретный сарай, конюшни и прочее — икону не носили, но обязательно брызгали в них святой водой. Затем тем же порядком икона уезжала. При ее отъезде моя нянька обязательно заставляла меня подлезть под икону, когда ее несли, и сама также с кряхтением подлезала под нее, — это называлось «осениться благодатью». Столь же необходимым считалось посидеть в молчании несколько секунд на мягкой скамье, на которой стояла

икона. День посещения Иверской считался в доме праздником, и соответственно соблюдался праздничный ритуал.

Раз или два в год бывали у нас званые вечера. Мать и отец, часто выезжая в гости на обеды, были обязаны, по правилам гостеприимства, соответственно звать к себе всех тех, у кого они бывали в течение сезона. Это были собрания уже совершенно иного порядка.

С утра к нам в дом приезжали повара одного из лучших московских ресторанов «Эрмитажа» или «Метрополя» со своими продуктами и кухонным оборудованием и начиналась стряпня к вечеру. Затем являлись садовники из магазина живых цветов Ноева, которые убрали столовую и обеденный стол. Монтеры осматривали всю проводку, заменяли перегоревшие лампочки и проводили свет в цветы. Приезжали музыканты, или, вернее, музыкант (звуки оркестра считались чересчур резкими) — особенно славившийся в Москве цимбалист Стефанеско, который во время обеда играл на своем инструменте в зимнем саду, рядом со столовой, с тем расчетом, чтобы музыка доносилась оттуда приглушенной и не мешала разговорам. Большого труда для отца и матери стоила рассадка во время обеда — надо было все досконально продумать, чтобы всем было и весело и приятно и не было бы обид, хотя таковые все же иногда и бывали. Список приглашенных также тщательно фильтровался.

Московская «купеческая аристократия», к которой мы принадлежали, была очень щепетильна в отношении тех лиц, которые принимались или не принимались в ее узкий круг. Так, считалось недопустимым принимать на званых вечерах выскочек, то есть быстро разбогатевших на удачных спекуляциях купцов без купеческих родословных или купцов, получивших дворянство. Таких можно было принимать, но отдельно.

Помню, например, представителей одной известной московской купеческой семьи. По русским законам владельцы фирм, просуществовавших сто лет, автоматически получали дворянство. Обычно было принято отказываться от подобного перехода из сословия в сословие. Представители этой фамилии не соблюли традиционного правила и не отказались от дворянского звания. Немедленно все двери лучших купеческих домов, где они раньше всегда бывали желанными гостями, наглухо и навсегда захлопнулись перед ними. Бывали у нас иногда не на званых обедах и представители другого купеческого рода, состоявшего даже с нами в родстве. Эта семья сказочно разбогатела в течение последних двадцати лет. В начале этого столетия она фактически владела уже двумя городами, но ее представители также не принимались в узкий круг купеческой знати. Столь же предосудительно было жениться или выходить замуж за дворян, или, еще хуже, за титулованных. Подобным бракам, если они совершались, всегда предшествовали семейные драмы. Одна из старших сестер моей матери вышла замуж за князя Енгальчева. То, что происходило в семье деда перед ее свадьбой, лучше всего видно из письма моей матери к ее подруге по гимназии.

«Сестра, — писала мать в 1894 году, — полтора месяца проплакала, прежде чем ей позволили выйти за ее князя. А отчего? Именно оттого, что он — князь. Папа — купец, всякий гордится своим, и он не желал, чтобы его дочь выходила за князя».

Нужен был весь исключительный такт и обаяние моего нового дяди, чтобы со временем сгладить этот неравный брак.

На наши званые обеды приглашалось человек тридцать — сорок отборной купеческой знати. Съезд бывал часам к восьми, после обеда играли в карты, пили чай и вино, разговаривали и сидели часов до трех-четырёх

утра, после чего и разъезжались. Весело на этих вечерах никогда особенно не бывало.

Полной противоположностью этих официальных вечеров были наши еженедельные субботы. Это был день, когда у нас устраивался открытый стол для всех лиц, имевших то или иное отношение к искусству. Приезжали званые и незваные, знакомые и незнакомые. Карт в этот день не полагалось. Начинались субботы часов в девять, затем гости расходились по музею или просто беседовали или спорили о чем-либо, часа в два ночи сервировался простой, домашний ужин, после которого зачастую устраивались импровизированные артистические выступления, писали и рисовали в домашнем альбоме. Разъезжались часов в пять утра.

Табельные дни рождений и именин обычно проводились семейно, и в гости приезжали лишь самые близкие люди и родные. Эти дни также имели свой ритуал. За несколько дней до семейного торжества мать, обычно взяв меня с собой, ехала в город закупать подарки для всей прислуги. Покупались отрезки на платье, брюки и рубашки. Рано утром в торжественный день мы отправлялись в Кремль в соборы поклониться московским святыням. Волнительно действовали таинственный полумрак и парное тепло заиндевелых зимних соборов. Впоследствии благодаря этим поездкам соборы московского Кремля всегда напоминали мне детство и по сей день остались мне родными и близкими.

Тщетно стараюсь припомнить тот момент, когда прошлая жизнь перестала являться передо мной в виде отдельных кадров, а потекла неразрывной лентой. Безусловно это было связано с каким-то сильным впечатлением.

Быть может, это была свадьба сестры матери, моей крестной, где я был мальчиком с иконой. Помню, как я присутствовал при укладке приданого невесты, когда

в каждый угол массивного дубового сундука клали баранки и золотые монеты, дабы грядущий домашний очаг был чашей полной. Помню, как мой дядя, шафер невесты, стоя на одном колене, обувал свою сестру в белые атласные туфли, предварительно кладя ей под пятку по золотому, чтобы она всю жизнь ступала по золоту. Помню себя, смущенного и беспомощного, в белой матроске с иконой в руках, сидящего насупротив знакомой матери крестной с белой фатой и чужого дяди с блестящим черным цилиндром на коленях. В белоснежной зеркальной карете мы катили куда-то от Красных ворот на старую Басманную в зимние московские сумерки, помню, наконец, свадебный обед, заздравные тосты, пьяные выкрики, огромную свадебную конфету, подаренную мне, и безумное желание спать. Но мне кажется, что не это было моим первым сознательным впечатлением далекого прошлого, а что это произошло в связи с первым посещением театра.

Мы сидели в ложе. Шел балет «Спящая красавица». Танцевала некрасивая, но очаровательная Рославлева, в которую я немедленно влюбился. Фею Карабос играл В. Ф. Гельцер, дирижировал Рябов. Гениальная музыка Чайковского проникала во все мое существо, бессмертная панорама А. Гельцера заставляла меня забыть, что я в театре. Мне хотелось, чтобы балет шел без антрактов и продолжался до бесконечности. Помню, что я мало реагировал, когда полицмейстер Большого театра П. А. Переяславцев, красивый, шикарный офицер, стоявший с отцом в партере, взял меня на руки и сразу перенес из ложи в зрительный зал. Помню только, что мужчины хотели провести меня за кулисы, но мать запротестовала, говоря, что я еще успею это увидеть. Она оказалась права. Я благодарен ей за то, что она тогда не пустила меня на «кухню театра» — очарование сказки пропало бы. «Спящая красавица» до сегодняшнего дня мой любимый балет. До сих пор запах театральной пыли — мой любимый аромат.



ольшой кабинет отца. Комната обставлена в его своеобразном оригинальном вкусе. Это конгломерат всех стилей и всех эпох, и не будь в ней тонкого вкуса, она напоминала бы лавку старьевщика. Здесь эпоха Возрождения, готика, стиль модерн, классический ампири и даже вычурная Мавритания. И как ни странно, все эти стили спокойно уживались вместе и не ссорились. Им даже не мешал огромный камин и расписной плафон, изображающий рождение дня. Я любил, лежа на спине на большом угловом диване, смотреть, как по потолку в разные стороны разлетались гении, трубя в фанфары. Мне было жалко, когда впоследствии одна из директорш музея приказала замазать белой краской этот, в сущности, никому не вредивший потолок. Столь же мне жалко и огромного дивана углом, с лежащим на одной поручни деревянным резным львом и большой башней.

Этот диван, как и большинство мебели, находившейся в нашем доме, был работы известного московского мебельщика Ф. Ф. Фишера — аккуратного, добросовестного обрусевшего немца, влюбленного в свое дело. Помню, как однажды Федор Федорович, будучи у нас в доме, увидал, как отец, желая поправить какую-то

криво висевшую на стене картину, залез и встал на какой-то комод. С Фишером чуть не сделалось удара.

Алексей Александрович! Разве так можно? Что вы делаете? Газету, газету хоть бы подстелили!..

Воскресный день. Я сижу у себя в детской и чем-то занят с моей гувернанткой м-ль Verte. У отца с матерью гости. Вдруг к нам приходят и зовут к родителям. Я иду в кабинет. На большом диване сидят отец, мать и красивый, щеголеватый старик с большим лбом и мягко падающими серебристыми усами. Говорят они почему-то по-французски. Отец показывает старику огромный портрет Ермоловой, постоянно висевший у него в кабинете, и что-то говорит. Старик приветливо мне улыбается и берет меня к себе на колени. Мне это не только не страшно, а даже приятно, так как старик мне кажется очень добрым и хорошим. Он мне задает какой-то вопрос по-французски, на который я отвечаю, затем говорит, что у него тоже есть мальчик, но он уже большой и занимается скульптурой. Затем отец с матерью и гостем идут смотреть музей. Это сложное путешествие — надо спуститься вниз по парадной лестнице и через маленькую дверь и узенькую лестничку проникнуть в полуподвальное помещение, где помещается собрание отца. Мы возвращаемся с гувернанткой обратно в детскую. М-ль Берт спрашивает меня, знаю ли я, с кем я говорил? На мой отрицательный ответ она мне сообщает, что я говорил со знаменитым Сальвини! Сальвини так Сальвини — мне тогда было все равно, и я снова равнодушно принялся за свое прерванное занятие.

Впоследствии я узнал, что музей произвел на Сальвини большое впечатление, он только пожалел, что в него приходится попадать сквозь темную, маленькую дверь и узкую лестницу. Уезжая, он обещал прислать что-либо для музея из Италии.

Не прошло и двух недель после этого, как угловой

диван в кабинете отца был отодвинут, а в углу рабочие начали пробивать пол и вести вниз широкую удобную лестницу.

Прошло несколько лет, память о Сальвини все более и более сглаживалась у москвичей. У отца новые художественные увлечения тоже отодвинули на второй план итальянского трагика. Вдруг пришло извещение с таможни о получении на имя отца ящика из-за границы. Когда посылка была привезена и распакована, в ней оказался большой прекрасный бюст Сальвини работы его сына и маленький майоликовый письменный прибор работы завода того же Сальвини, предназначенный специально моей матери «на память».

Сальвини и его посещение нашего дома в памяти моей матери оставили более яркое впечатление. Скупая на высказывания, она отметила этот день в своем дневнике. «Сегодня, — писала она, — у нас был Сальвини вместе с Чекатто. Говорит очень плохо по-французски, так что у нас была Эмилия Карловна и Чекатто, которые объяснялись с ним все время по-итальянски. Удивительно любезен и с большим интересом смотрел собрание, хотя почти все оно состоит из артистов русских и ему, конечно, не знакомых. Спрашивает Лепю:¹ -- Вы давно этим занимаетесь? -- Восемь лет. -- Значит, у вас больше нет никакого дела? — У меня большая фабрика, которой я заведую. — *Parbacco!*² Упрашивали его, упрашивали завтракать, так и не согласился».

Отец поставил присланный бюст Сальвини на видном месте в своем музее. Он стоял недалеко от витрины Малого театра, где среди разных разностей лежала длинная белая лайковая перчатка, вся в каких-то безобразных рыжих пятнах. Это была перчатка гениальной Ермоловой. Она как-то присутствовала на

¹ А. А. Бахрушин.

² Черт возьми! (ит.)

гастрольном спектакле Сальвини. Трагик играл Отелло. В антракте отец стоял с ним рядом в курилке и о чем-то беседовал. Вдруг Сальвини задал вопрос отцу: — Скажите, кто ваша первая трагическая актриса в России?

Отец окинул взором комнату и увидел входившую в нее Ермолову. — Вот она! — ответил он громко, показывая на вошедшую. Сальвини порывисто подошел к Марии Николаевне и с чувством глубокого уважения поднес ее руку к своим губам. В полном смущении Ермолова положила свою другую руку на лоб Сальвини — грим мавра немедленно отпечатлелся на белой лайке перчатки. Остроумный режиссер театра А. М. Кондратьев попросил Марию Николаевну снять испорченную перчатку и, потрясая ей в воздухе, возгласил: «Перчатка Ермоловой с гримом Сальвини — передаю в Бахрушинский музей», — и с поклоном вручил реликвию отцу. Так она и покоится в этой витрине долгие годы.

А. М. Кондратьев сыграл важную роль в жизни отца, который неоднократно рассказывал мне об их знакомстве. Отец с малолетства увлекался театром, но мысль о создании театрального музея явилась у него не сразу. Толчок к этому дало глупое пари. Среди молодых людей, посещавших дом деда, были два представителя золотой московской молодежи братья Куприяновы. Один из них, отдавая дань возникшей тогда среди купечества моде на коллекционирование, стал собирать вещи по театру. Покупал фотокарточки актеров, подбирал красивые афишки и нарядные программы. Высшим его удовольствием было бахвалиться своей коллекцией перед приятелями. Отец обычно молча и неодобрительно выслушивал его хвастовство, которое он с детства был приучен рассматривать как порок. Однажды, будучи у Куприянова, отец не выдержал.

— Чего ты хвастаешь, — заметил он хозяину, — ну

что ты особенного собрал, какие-то карточки и афиши, — да я в месяц больше тебя насоберу.

— Нет, не насоберешь!

— Нет, насоберу!

Окружающие поддержали спор, и было заключено пари. Отец его выиграл — и неожиданно для себя понял свое призвание. Вскоре театральное собирательство превратилось у него в страсть. Окружающие смотрели на это как на блажь богатого самодура, трунили над ним, предлагали купить пуговицу от брюк Мочалова или сапоги Щепкина. Никто не относился к его увлечению серьезно. В той среде, в которой вращался тогда отец, он делался все более и более одиноким и страдал от этого. Часто в душу закрадывался червяк сомнения — не правы ли окружающие? Насмешки уязвляли самолюбие. Единственные люди, с которыми он был близок, были двоюродный брат А. П. Бахрушин и свояк, муж умершей сестры В. В. Постников — они оба также собирали, но были почти одних лет с отцом, и их пример не был для него ни убедительным, ни авторитетным. Но страсть требовала удовлетворения, и отец с тем же рвением продолжал разыскивать и приобретать предметы театральной старины.

Каждое воскресенье рано утром он ехал на Сухаревку и долго копался у тамошних грошовых антиквариев. Однажды у одного из них он нашел серию маленьких портретов XVIII века, писанных маслом и явно изображавших актеров в ролях. Спрошенный продавец, откуда идут эти вещи, ответил, что приобретены в какой-то старой усадьбе. За пятерку картинки были куплены. На другой же день отец отвез их в художественный магазин Аванцо и заказал для них общую большую раму с просьбой промыть портреты. Через некоторое время он пришел за заказом, и ему подали солидную дубовую раму с целым рядом маленьких

ярких портретиков. Вещь имела вполне музейный вид. Отец залюбовался своим приобретением — такой экспонат был первым в его собрании. Вдруг за его спиной раздался грубоватый голос:

— Послушайте, продайте мне эту вещь!

Отец обернулся. За ним стоял представительный седой старик с красноватым, изрытым оспой лицом.

— Нет, не продам.

— Почему?

— Потому что я сам такие вещи собираю!

Какие такие вещи? Да кого, по-вашему, изображают эти картинки?

— Не знаю наверное, но, по-моему, актеров! ¹

— Так! — удивленно протянул незнакомец и после небольшой паузы спросил: — Вы, значит, по театру собираете! Это интересно. И большое у вас собрание?

Большое не большое, а так, кое-что есть.

— Разрешите приехать посмотреть. Я — режиссер Малого театра Кондратьев.

¹ Много лет спустя П. С. Шереметев осматривал собрание отца. Вдруг, пораженный, он остановился перед общей рамой, в которой висели на видном месте актеры XVIII века, приобретенные некогда у Сухаревки.

Откуда это у вас? — взволнованно спросил он. Отец рассказал ему историю экспоната.

Дело в том, — сказал Павел Сергеевич, — что эта вещь очень давно тому назад украдена из Кускова, помню ее, еще когда я был ребенком. Вы правы, но не совсем. Эти портретики были сделаны в Париже по заказу графа Николая Петровича, и по ним шились костюмы для актеров шереметевской труппы. Трудно сказать, что служило первоисточником для художника — натура или гравюры. Вот, согласно второму свержу портретику, был исполнен костюм Параша для «Сомнитских браков».

Через некоторое время П. С. Шереметев прислал отцу еще несколько отдельных аналогичных портретов, где-то случайно завалившихся у Шереметева и не попавших в число похищенных, «чтобы не разрознить коллекцию», — как сказал он. (Примеч. Ю. Бахрушина.)

Знакомство состоялось — через несколько дней А. М. приехал к отцу в его холостую половину в доме деда. Он долго и внимательно рассматривал собранное отцом и в конце визита сказал:

-- Знаете ли вы, что большое дело затеяли, серьезное, смотрите — теперь уж его не бросайте! Кстати, почему вы не собираете автографов актеров, писем?

-- Да потому что мне неоткуда их достать — этот товар в лавочке не купишь.

— Верно! Ну, я вам пришлю в подарок.

Кондратьев сдержал свое слово и вскоре прислал отцу объемистый пакет с разными записками актеров.

— Все дрянь разная, — рассказывал впоследствии мне отец, — записки пустяшные, которые актеры писали Кондратьеву как режиссеру: «На спектакле быть не могу, потому что живот болит» и тому подобное, но какие имена! Федотова, Никулина, Самарин, Ленский -- для меня это был клад!

Кладом для отца был и сам Кондратьев, который первый привез к отцу И. Ф. Горбунова, который сразу же серьезно отнесся к начинанию отца.

С того момента, как собрание отца стало привлекать любопытных, он завел специальный альбом для записи впечатлений посетителей. Первому он предложил сделать запись своему двоюродному брату Ал. Петр. Бахрушину, которого справедливо считал своим непосредственным руководителем в собирательстве. Эта запись была сделана 30 мая 1894 года, и это число отец впоследствии считал официальной датой основания музея.

И. Ф. Горбунов также запечатлел в этом альбоме возникшие у него мысли после осмотра собрания.

Он написал:

«Не говори с тоской — их нет, а с благодарностью — были». Сердечный привет неустанному собира-

телю портретов сценических художников. Потомство останется благодарным и дорого оценит коллекцию. Ив. Горбунов. 1895 г.».

С этих пор началось знакомство отца с актерами, и его собрание начало пополняться щедрыми дарами актерской братии.

Хорошо помню А. М. Кондратьева, его рябое красноватое лицо и седую бородку с усами. Он обычно сидел на другом конце стола, против матери и изредка вставлял в общий разговор свои замечания, от которых старшие постоянно смеялись.

Алексей Михайлович любил в разговоре, надо не надо, помянуть черта. Делал он это как-то особенно смачно, с чувством и выражением. Моя мать, не любившая черного слова, хотя невольно и улыбалась его чертыханию, но постоянно одергивала его в таких случаях. Кондратьев всегда спешил принести повинную:

— Виноват, виноват, Вера Васильевна, ей-богу, больше не буду, буду говорить огурец!

А через несколько минут снова раздавалось:

— А, черт, виноват, виноват, огурец его возьми!

В те годы я никак не мог себе уяснить, в чем, в сущности, заключается деятельность Алексея Михайловича в театре. Что такое режиссер? Я понимал, когда мне говорили, что тот или иной дядя певец, писатель, художник, танцовщик или актер, но режиссер — было выше моего понимания. Поэтому-то, вероятно, и запомнился мне так ярко тот единственный случай, когда я видел Кондратьева на работе. Однажды как-то мы ехали куда-то вдвоем с отцом, чуть ли не на дачу. Ему надо было по дороге заехать по делу, на несколько минут в Малый театр. Как это всегда бывало, как только он очутился в актерской среде, одно дело потянуло другое, один разговор цеплялся за следующий. Я тихонько сидел на диванчике в курилке и терпеливо

ждал. Неожиданно передо мной выросла коренастая фигура Алексея Михайловича.

— Ты что здесь делаешь? Идем со мной в зал репетировать, репетицию проводить...

Какую пьесу тогда репетировал Кондратьев и кто из актеров Малого театра был занят на сцене, не помню, да я и не знал никого. Зато хорошо запомнил все то, что делал и говорил Алексей Михайлович. Я сидел рядом с ним в мягком удобном кресле партера, погруженный в таинственный полумрак зрительного зала, поблескивавшего позолотой и хрусталиками бра. Впереди была сцена, ярко освещенная дежурным светом, с нагроможденными на ней случайными декорациями. Мне казалось странным, что в комнате разноцветные стены, двери, не доходящие до верха своих колод, разношерстная мебель. Среди всего этого стояли тети и дяди. Репетиция, очевидно, была первая, так как Кондратьев перед ее началом подробно объяснил актерам, где окна, двери и прочее. Закончил он свою речь словами: «Ну, давайте начинать», — и раскрыл перед собой книгу, в которой была написана пьеса. Актеры на сцене начали разговаривать и двигаться. Алексей Михайлович внимательно следил за ними, за их действиями, заглядывал все время в книгу и порой делал в ней какие-то заметки карандашом. Иногда он прерывал репетицию хлопаньем в ладоши и обращался на сцену к актерам:

— Э... э... э... батенька мой, тут вы не так... У автора ясно сказано «идет к кушетке», а вы идете к столу...

Или:

— Матушка моя, это никуда не годится... Вас так совсем не видно публике. Вы уж так встаньте, чтобы вас видно было.

Бывало, что актер или актриса возражали Кондратьеву, говоря, что им неудобно то или иное положение, тогда он теребил усы и бормотал: «Н-да, ну тогда сделайте как вам удобнее...»

Не помню, сколько времени тянулась репетиция, но в конце ее Кондратьев взглянул на часы и заявил:

— Пора кончать. Что ж, еще разок прогоним акт, и готово.

Затем он хлопнул меня по плечу и повел к отцу.

Помню, что слово «прогоним» меня необычайно смутило. «Куда прогонят, за что?» — мучительно думал я.

Впоследствии мне неоднократно приходилось слышать насмешки над методами режиссуры Алексея Михайловича Кондратьева и современных ему режиссеров. Когда годы спустя мне посчастливилось работать с К. С. Станиславским, я понял, что подобные насмешки несправедливы и свидетельствуют лишь о полном невежестве тех людей, которые их себе позволяют. Пробудив творческое состояние в актере, К. С. Станиславский никогда слепо не подгонял его к своим мизансценам, а покорно шел за ними, зачастую из-за этого переделывая по нескольку раз общий рисунок намеченной сцены. Кондратьев поступал иначе — он не намечал никакого рисунка сцены — он великолепно знал, что сверкающий талант и огромное мастерство его товарищей Федотовой, Никулиной, Ермоловой, Ленского, Горева, Музиля, Садовских поведут их по верному пути, которого ему, Кондратьеву, все равно не найти. Он оставлял за собой роль корректировщика, порой напоминая актерам о той или иной детали, которая могла от них ускользнуть. Зачем нужен был режиссер, когда актеры Малого театра того времени из любой дрянной пьесы делали «конфетку» и такие кружева плели, что любо-дорого смотреть было.

Другим давним знакомым отца был Николай Игнатьевич Музиль — собственно говоря, он был приятелем старшего брата отца Владимира Александровича, в доме которого отец с ним и познакомился.

Н. И. Музиль был маленьким, подвижным ста-

ричком с добрыми насмешливыми глазами. В нашем доме бывал он часто, так как дружил с отцом и был его постоянным партнером в преферанс и в винт. По воскресным дням или в субботу П. И. иногда что-либо рассказывал, передавая в собственной обработке виденные им сцены или фантазируя переживания того или иного лица, занятого каким-либо делом. Тонкая наблюдательность и исключительно выразительная мимика придавали его рассказам особую прелесть.

Смутно помню его рассказ о дьяконе, который кадит в церкви. Вся суть передаваемого эпизода заключалась в том, что дьякон раздражается, что на каждение ему отвечают поклонами не те прихожане, к которым оно относится. Слов в этом рассказе почти не было, говорилось как будто только «не тебе! не тебе!» и «а вот это тебе», но мимика была такая замечательная, что слушатели покатывались от хохота. На сцене мне ни разу не пришлось видеть Музиля, но старшие были о нем очень высокого мнения и считали его коронной ролью — образ пьяницы повара в «Плодах просвещения». Незлобивый характер Музиля подбивал старших постоянно его разыгрывать. Николай Игнатьевич был поклонником женского пола и любил красивых женщин. Вместе с тем он был невероятно мнителен и страшно боялся смерти. Бывало, отец едет с ним куда-нибудь на извозчике, Ник. Игнат. чем-либо отвлечется и погрузится в думы. Отец обязательно его прервет.

— Смотри, смотри, какая хорошенькая!

— Где? где? — откликается Музиль.

— А вот, направо, — скажет отец, а в это время направо шествует похоронная процессия, которую Музиль, призадумавшись, не приметил. «Тьфу! тьфу!» — отплеивается через левое плечо Николай Игнатьевич.

Пров Михайлович Садовский рассказывал мне, как его отец, будучи где-то в отъезде с Музилем и ночуя с ним в одной комнате, незаметно с вечера всыпал ему

какого-то красного порошка в ночную посуду. Ночью, в темноте Ник. Игн. использовал по назначению приготовленный сосуд и снова заснул. Рано утром проснулся Михаил Провыч и по своей привычке закурил, за ним проснулся и Николай Игнатьевич, как всегда веселый, оживленный и сразу начал что-то рассказывать Садовскому. Тот молча слушал и вдруг как бы ни к селу ни к городу спросил:

— Коля! А как ты себя чувствуешь?

— Я — прекрасно, а что?

— Да ничего! я так спросил... Ничего не чувствуешь, никакого недомогания?

— Никакого, — ответил уже встревоженным тоном Музиль. — А ты почему спрашиваешь? — в свою очередь задал он вопрос.

— Да так, пустяки, — отнекивался Садовский.

— А все-таки, почему тебе взбрело на ум, что я себя плохо чувствую?

— Да так, пустяки... только... моча у тебя какая-то странная!..

Николай Игнатьевич заглянул в ночной сосуд, побледнел и сразу обмяк, замолчал, расстроился. Он быстро встал, оделся, достал где-то порожнюю бутылку, перелил в нее действительно устрашающее по цвету содержимое ночной посуды и отправился в Москву сдать все это на исследование в лабораторию. До следующего дня нервничал и не находил себе места. Садовский же рассказал об этом всем, и когда Музиль получил результат анализа, то не мог освободиться от поздравлений с чудесным избавлением от болезни... В свое время М. П. Садовский сказал про него:

В театре честный он работник,
И в жизни чудный человек,
Винтить ужаснейший охотник
И благодетель для аптек.

После смерти Музиля отец получил в дар от его семьи весь его архив и содержание письменного стола артиста. Это было несколько объемистых корзин. Долгое время отец разбирал доставшееся ему наследство. В итоге разборки одна из корзин оказалась более чем наполовину наполненной никому не нужными склянками, коробочками с лекарствами и бесчисленными сигнатурками рецептов.

В доме Музиля отцу однажды пришлось играть в карты с А. Н. Островским. Как-то я спросил отца, какое тогда впечатление произвел на него великий драматург.

— Довольно неприятное, — ответил он, — ему очень не везло в карты, и он брюзжал и ныл во время всей пульки, а в конце так расстроился от грошового проигрыша, что уехал домой, не оставшись даже поужинать.

Умер Н. И. Музиль в разгар революции 1905 года. Рассказывали у нас, что он до конца дней живо интересовался событиями, резко критикуя правительство и находя его действия неправильными. Не отдавая себе отчета в происходившем, он считал, что «вместо военных строгостей надо действовать отеческим внушением». Квартира его помещалась где-то рядом с какой-то фабрикой. Однажды волна революции докатилась и до нее. Рабочие забастовали, высыпали на улицу к воротам фабрики и устроили митинг. Николай Игнатьевич с трудом вылез из постели, надел халат и подошел к окну. Он увидел ворота фабрики, толпу и какого-то оратора из молодежи, говорящего речь. Поймав на себе взор говорившего, он строго погрозил ему пальцем, а тот, желая пошутить над стариком, сделал вид, что страшно испугался. Случаю угодно было, чтобы говоривший оратор был последним из выступавших и чтобы после его речи толпа разошлась. Николай Игнатьевич был в восторге от произведенного

им эффекта, всем об этом рассказывал и добавлял: «Вот как надо действовать, а не расстреливать». Вскоре после этого случая он скончался.

Его веселая, юркая фигурка, являвшаяся воплощением его амбула комика, навсегда осталась в моей памяти. Это был добрый, хороший и приятный человек.

Полной его противоположностью являлся Ипполит Карлович Альтани, этот царь и бог оперной труппы Большого театра. Внешне он был чрезвычайно добродушен и благообразен со своими коротко подстриженными усами, длинными волосами, зачесанными назад, и серенькими глазками, блестящими сквозь пенсне в старинной оправе. Но как от этих сереньких глазок, смотревших сквозь безжизненно прозрачные стекла, так и от цепочки с бесчисленными медалями и знаками отличия, висевшей в петлице, веяло каким-то недобрый холодком. Впрочем, от главного дирижера Большого театра в то время требовалось олимпийство, и человек, не сумевший бы на этих административных высотах вызывать всеобщего страха и трепета, был бы немедленно сочтен непригодным для занимаемого поста. Достигал Ипполит Карлович Альтани этого страха и трепета своеобразным способом. Так, например, перед началом ответственной репетиции Ип. Карл. сидел у себя в комнате и ждал, когда дежурный по репетиц и доложит ему, что весь оркестр, хор и солисты на месте. Тогда Альтани выходил на сцену, окидывал собравшихся своим холодным взглядом и бездушным голосом вопрошал:

- Оркестр весь здесь?
- Весь, Ипполит Карлович.
- Хор весь в сборе?
- Весь, Ипполит Карлович.
- Хорошо. Солисты все налицо?
- Все, Ипполит Карлович.
- Прекрасно. Курьер, афишу!

Уже приученный к навыкам маэстро оперный курьер подавал ему афишу театра, отпечатанную на панирской бумаге. Альтани, продолжая смотреть на собравшихся, не глядя брал подаваемую афишу, медленно комкал ее в руке и через всю сцену торжественно шествовал в физиологическую уборную. А весь состав оперной труппы терпеливо дожидался, пока у ее руководителя подействует желудок. И боже упаси было кому-нибудь в это время уйти со сцены. В добровольных доносчиках недостатка не было.

Альтани был хорошим музыкантом и опытным дирижером. Его большой подготовительной и воспитательной работе обязана московская опера Большого театра своим расцветом в начале нашего столетия.

Мне лишь раз пришлось видеть Альтани за пультом — сидел он, как тогда полагалось, у самой рампы, имея весь оркестр сзади себя, и в нужных местах лишь поворачивался вполборота к музыкантам. Когда наступила сцена, в которой участвовал балет, Ин. Карл. положил свою палочку, встал и сошел с дирижерского места, а взамен его за пульт встал С. Я. Рябов. Так тогда полагалось — дирижировать балетом было ниже достоинства оперного дирижера. Дирижировал Альтани вероятно спокойно, без излишней аффектации и темперамента, иначе мне бы запомнились его позы и движения.

Сергей Евграфович Павловский, второй режиссер, или, согласно официальному наименованию, «учитель сцены» Большого театра, был постоянным посетителем нашего дома. Это был типичнейший неудачник в жизни. По рождению — обнищавший дворянин, он рано увлекся искусством. Обладая небольшим голосом — баритоном, Серг. Евгр. начал выступать в опере в провинции. Здесь судьба свела его с входившей тогда в славу молодой певицей Эмилией Карловной. Их взаимоотношения скоро закончились браком. Сам Сергей Евграфович продолжал так же посредственно петь.

вызывая дружное зубоскальство критики. Эмилия Карловна же тем временем росла как артистка и певица и наконец заняла первое место в императорской опере. Сергей Евграфович тогда уже окончательно перешел на незавидное положение «мужа царицы», которого волей или неволей приходилось терпеть в том или ином деле. Все это не мешало Павловскому быть чрезвычайно культурным, развитым и образованным человеком. Он свободно владел французским, немецким и итальянским языками, обладал литературными способностями, интересовался и изучал философию. Это последнее увлечение заставило его в конце жизни удариться в толстовство, сделаться вегетарианцем и проповедовать непротивление злу. К нам в дом он попал случайно по какому-то делу, в связи с какой-то постановкой и сразу же подпал под обаяние беззаветной влюбленности в театральное искусство, которая царил у нас благодаря отцу. Его обширные интеллектуальные познания не могли не произвести впечатления на моих родителей, вместе с тем и Сергей Евграфович, очевидно, почувствовал себя очень свободно в нашем доме, где его стали принимать отнюдь не как принудительный ассортимент к его супруге. Незавидные семейные отношения в семье Павловских способствовали увлечению Сергея Евграфовича моей матерью, перед которой он рыцарски преклонялся до конца своих дней. Вместе с ней он изучал философию и преподавал ей итальянский язык. Ко мне он относился исключительно хорошо, обращался со мной не как с ребенком, а как со взрослым. Это мне imponировало и заставляло с особым вниманием прислушиваться ко всему тому, что он говорил, а слушать было что. Этот человек безусловно сыграл большую роль в формировании моего характера в моей жизни.

Как сейчас помню его немного одутловатое лицо с крупным, мясистым носом, жидкие черненькие усики

и совершенно седые и словно траченные молью, мягкие волосы бобрком. Он имел привычку при чтении снимать свое неизменное пенсне в старинной черной оправе со шнурком каким-то забавным движением носа без помощи рук. Он был всегда чисто выбрит, но обязательно изрезан. Бывало, Сергей Евграфович во время субботних собраний сидит где-нибудь в уголке и тихо насвистывает, то есть делает вид, что насвистывает, так как свистеть он не умел, и слушает беседу окружающих, изредка поправляя шнурок своего пенсне за ухом. Порой он появлялся у нас вместе со своей женой Эмилией Карловной. Это была дама уже не первой молодости, но молодящаяся, с лицом, совершенно испорченным гримом, вероятно белилами, которые в ее время изготовлялись особо вредным способом на свинце. Благодаря этому, дабы скрыть дефект своей кожи, Эмилия Карловна была принуждена усиленно белиться и пудриться до конца дней. В мое время она уже закончила свою певческую карьеру и занималась преподаванием вокала. Среди ее учеников были два, которыми она особенно гордилась и привозила к нам. Это был модный тенор Митя Смирнов, совершенно неотесанный и чрезвычайно застенчивый и столь же застенчивый представитель московского купечества баритон Красильщиков. Этот последний занимался пением ради собственного удовольствия, но обладал таким тембристым и сильным голосом, что легко мог стать вокальной знаменитостью мира. Помехой этому была его болезненная стеснительность или, вернее сказать, боязнь аудитории. Он абсолютно не был в состоянии петь в присутствии кого-либо. Эмилия Карловна неоднократно созывала к себе меломанов послушать Красильщикова. Приглашенные через коридор проходили в заднюю комнату в квартиру Павловских, а Красильщиков, не зная об этом, проходил в помещение для занятий прямо из прихожей. Неоднократно его слушал и мой отец, который понимал

в пении: обладая баритоном, он в свое время сам пел. Отец всегда бывал поражен редкими вокальными данными этого певца. Однажды студенческая молодежь уговорила Красильщикова выступить на каком-то благотворительном концерте в Благородном собрании, и тот по уговору друзей дал на это свое согласие. После этого он форменным образом потерял покой и аппетит, сделался совершенно больным, но по-купчески сдерживал данное слово. Он явился в Благородное собрание с потами, во фраке, с аккомпаниатором, дождался, когда его объявят с эстрады, вышел, растерянно обвел зал блуждающим взором и, безнадежно махнув рукой, ушел обратно в артистическую и уехал домой.

Раз как-то Сергей Евграфович вместе с Эмилией Карловной тряхнули стариной и пели у нас какой-то дуэт из не запомнившейся мне итальянской оперы. Их выступление было даже записано у нас в фонографе — аппарате, которым увлекался мой отец и которым ведала моя мать.

В молодости Эмилия Карловна была, судя по фотографиям, миловидной пухленькой немочкой, которая должна была нравиться и действительно обладала редким голосом. Она боготворила память П. И. Чайковского, с которым была коротко знакома и который поручил ей первое исполнение партии Татьяны в «Онегине», при появлении этой оперы на императорской сцене. Впоследствии Эмилия Карловна подарила отцу в музей все письма к ней великого композитора.

Сергей Евграфович всегда чем-либо увлекался и что-либо делал: то он с головой уходил в резьбу по дереву, то учился шить сапоги — дань толстовству, то занимался литературой. Так им была переведена детская книга «Приключения Фисташки». Перевод был сделан хорошо, книга по содержанию — занимательная, но Павловский принужден был долго искать издателя, а когда он его нашел и книга была напеча-

на, она почему-то пошла туго. Сергей Евграфович, привыкший к своим неудачам, смотрел на это философски. О Сергее Евграфовиче Павловском мне придется еще говорить неоднократно.

Другим постоянным нашим посетителем из артистического мира был Петр Александрович Волховской.

Происходя из хорошей дворянской семьи Поповых, он рано увлекся театром, и в частности опереттой, порвал с семьей и ушел на сцену. В оперетте Волховской сделал себе громкое имя как комик, выступая по преимуществу в провинции. Приходилось ему играть и с корифеями русской оперетты 70—80-х годов. В мое время он уже был на покое, существуя на небольшие, но достаточные деньги, доставшиеся ему по наследству. Наружность его была примечательной -- я редко видел более уродливое лицо, но вместе с тем оно было проникнуто совершенно исключительным благодушием и благожелательством. Прекрасно владея мимикой, Петр Александрович чрезвычайно меня забавлял, изображая обезьяну в зоологическом саду. Бывал он у нас обычно по воскресеньям к обеду. Тут для меня возникала новая забава — смотреть, как П. А. пьет водку. Пил он неизменно папашинскую — рюмки две, три, не больше, но это было целое священнодействие -- он чокался, опрокидывал рюмку в рот, крестился, шлепая себя по лбу ладошкой, и проглатывал водку.

После обеда Волховской неизменно садился за рояль и играл для меня «Чижика» с многочисленными сложнейшими вариациями. Старшие заслушивались его игрой. Это он всегда совершал вроде какого-то обряда.

Петр Александрович, несмотря на свой уже немолодой возраст — ему было лет шестьдесят, был большим любителем ходить пешком. Раз в год он обязательно отправлялся на богомолье к Троице пешком. Шел не

спеша, обычно рано утром, вечером и ночью, а днем отдыхал где-нибудь в лесочке в тени. Приходя обратно, привозил моим родителям вынутую просфирку и обычно рассказывал свои приключения.

— Иду я вечером, луна светит, хорошо, — повествовал он, — закурить захотелось¹. Сел я у оврага, ноги свесил вниз, развернул свои харчи и закусываю. Спина взмокла, а сзади ветерок. Дай, думаю, чтобы не продуло, зонтик расставляю и поставлю сзади. Устроился хорошо, продолжаю отдыхать — вдруг чувствую, кто-то меня в спину толкает прямо в овраг. Еле успел отскочить. Вижу, сзади мужичок подвыпивший. «Ты что делаешь, безобразник?» — «Простите, барин, а я думал — вы черт». Действительно, зашел я потом сзади, посмотрел на свой зонтик в лунном освещении — два рога торчат наверху, а ручки с крючком вроде хвоста, а пьяному — мало ли что представиться может».

Подобных приключений у Волховского было всегда множество, и посетитель он был приятный, интересный собеседник и воспитанный, культурный человек добрейшей души.

Когда мы живали на даче в Гирееве, в двенадцати верстах от Москвы, Петр Александрович бывал у нас каждое воскресенье, причем неизменно приходил пешком из Москвы. Раз как-то летом родители отправились с ним в Кусково в летний сад «Гай», где давали какую-то старинную оперетту. Сели в первом ряду. Среди главных исполнителей отличался какой-то толстый опереточный актер, которого Волховской знавал еще на сцене молодым человеком. Сидя в партере, Петр Александрович немедленно стал строить ему уморительные гримасы, чем поставил исполнителя в крайне затруднительное положение, особенно в патетических местах.

¹ Курил он всегда пахитоски, которые называл «Арапкинским хвостом». (Примеч. Ю. Базрушина.)

Шутить Волховской любил, но всегда благодушно и незлобиво.

Как-то однажды к отцу по какому-то делу приехал солидный мужчина профессорского типа, с большой окладистой бородой и в очках. Это был большой любитель русской старины, литератор, стяжавший себе громкую известность как автор бесконечных исторических авантурных романов, изо дня в день печатаемых в «Московском листке» Пастухова, Евгений Николаевич Опочинин. Произведения его не блистали особыми литературными достоинствами или глубокими мыслями, но бывали крайне занимательны. Кроме того, они обладали еще тем достоинством, что знакомили, хотя и чрезвычайно поверхностно, с русской историей московские низы — газета «Московский Листок» была любимым печатным органом прислуги, приказчиков, извозчиков, словом, мещанина и мастерового люда. Среди них имя Опочинина было куда более популярно, чем имена Тургенева, Салтыкова-Щедрина, Короленко.

Прощаясь с Опочининым, мой отец, как всегда, пригласил его посещать нас по субботам. Евгений Николаевич степенно, как все, что он делал, поблагодарил и не преминул явиться в ближайший субботний день. С этого времени до конца своих дней он остался постоянным близким человеком нашего дома. В вопросах истории и литературы эрудиция Опочинина была потрясающей, причем приобретена она была не столько теоретически, сколь практически. Стоило в его руки попасть какой-либо старинной вещи, портрету, рукописи, он не успокаивался до тех пор, пока не узнавал о ней все, что возможно узнать, хотя бы для этого надо было перерывать бездну книг. Эта любовь к отечественной истории заставляла его подчас выступать в печати не только как авантюрно-бульварного романиста. Случайно напав на какую-либо тему и увлекшись ею, Евгений Николаевич «уходил от мира», зарывался в архивах

и через непродолжительное сравнительно время появлялся снова в свет с интересной и ценной собственной рукописью под мышкой. Евгений Николаевич особенно любил быть пионером в каком-либо научном исследовательском вопросе, и в этом отношении некоторые его книги, в особенности в области истории театра, до сего времени являются неоценимыми справочниками.

Литературная деятельность Опочинина с ранних лет ввела его в писательский круг Петербурга, где он в молодости жил. Он был лично знаком с Достоевским, Майковым, Полонским и другими нашими прославленными писателями. В конце жизни Евг. Ник. начал писать свои воспоминания, но, к сожалению, не успел их закончить и света они не увидели, хотя мне лично удалось слышать кое-что из них в его чтении. Однажды он читал о Достоевском, а в другой раз о кн. П. П. Вяземском — оба отрывка, как и все, что писал Опочинин, были чрезвычайно интересно, занимательно написаны.

Отец чрезвычайно ценил Е. Н. Опочинина и справедливо считал его одним из первых своих учителей в области собирательства театральной старины. Кроме того, Опочинин был неизменным вкладчиком в собрания отца и считал своим долгом по мере сил и возможностей пополнять его театральное собрание. Со своей стороны, надо полагать, что и Евгения Николаевича тянуло к нашему дому, где он чувствовал, что его знания и авторитет ценятся и на него не смотрят лишь как на третьестепенного литератора — отношение, которое доминировало в его литературных знакомствах. Характерный образ Евгения Николаевича Опочинина останется у меня в памяти до конца дней.

Происходя из старой столбовой, но мелкопоместной дворянской семьи, представители которой с древних времен оказывали услуги своему отечеству, он сосредото-

точил в себе наслоение многовековой культуры, внешние проявления которой не поддаются описанию, но которые, при общении, чрезвычайно ярко и сильно ощущались. Эта культура проглядывала и в его постоянно тихом, ровном голосе и в степенной манере себя держать, и в том, как он закуривал папиросу, и даже в его почерке. Это была фигура неповторимого прошлого — такими, очевидно, были литераторы-шестидесятники. Облеченный в свободно, но по мерке сшитый неизменный длинный сюртук, с длинными волосами, зачесанными назад, с длинными ногтями и в старомодных очках, он, казалось, сошел с фотографии-дагерротипа эпохи Александра II.

Опочинин имел чрезвычайно невыгодную для себя особенность — будучи человеком чрезвычайно чистоплотным и аккуратным, он почему-то всегда имел грязный, запыленный вид. Долгие годы моя мать, например, была убеждена, что у него в квартире грязно и неопрятно и что он редко ходит в баню. Лишь впоследствии, после более близкого знакомства с Опочининым, это предубеждение прошло у моей матери, но я знаю людей, которые сохранили его до смерти Евгения Николаевича.

Квартира Опочинина, помещавшаяся в Большом Знаменском переулке, во дворе церкви Знаменья, была отнюдь не беспорядочна или неопрятна, а, наоборот, являлась образцом аккуратности и гигиены, напоминая маленький интимный музей. Кабинет Евг. Ник. — обширная комната была вся завешена маленькими, большими и среднего размера старинными картинками, почему-либо его заинтересовавшими. Там рядом с первоклассной вещью ютилась какая-нибудь кустарная дрянь, чем-то пленившая хозяина. При этом, при желании посетителя, хозяин мог немедленно объяснить, почему та или иная вещь ему дорога, и эти объяснения всегда бывали очень интересны. В комнате трудно было

пройти от количества расставленной в ней старинной мебели красного дерева, карельской березы и золотого левкаса. Изобиловали столы всевозможных размеров, на которых в величайшем порядке были разложены и расставлены десятки, если не сотни старинных мелких вещичек. Тут были и фарфоровые статуэтки, и хрусталь, и бисерные вышивки, и серебро, и чеканная медь, и кованое железо, и резное дерево. На полу лежал ручной работы старинный ковер, с потолка свисала старинная люстра, над окнами — старинные карнизы для занавесок, и на всем этом никогда нельзя было заметить и следа пыли, что надо приписать неустанным заботам очаровательной жены Опочинина — Ольги Николаевны и ее дочерей. А вместе с тем квартира, как и сам ее хозяин, производила впечатление запущенности и нечистоплотности. Особенно трогательно было смотреть на Опочинина в конце его дней. К старости он заболел катарактой обоих глаз и подвергнуться операции побоялся из-за своего возраста. Он терял зрение постепенно, изо дня в день, относясь к этому стоически. Бывало, придешь навестить старика, он усадит на свой любимый диван или за большой стол, за которым когда-то работал, и начнутся разговоры. В пылу их он вдруг встанет: «Погодите, я Вам покажу...» — и начнет его медленное продвижение по комнате с простертыми вперед руками, пока они не нащупают нужный столик или полку. Затем пальцы начнут перебирать все на полке, пока не нащупают то, что надо. Как у всех слепцов, взамен зрения у Опочинина развилась память и осязание и при этом в весьма короткий срок — абсолютно слепым он был года три, не более. Часто беседа с Опочининым прерывалась докладом о приходе какого-либо лица. Обычно Евгений Николаевич немедленно приглашал его в комнату. Этот неизменно оказывался каким-либо невероятным субъектом самого необычайного вида — либо прожившегося интеллигента, либо

купца-лабазника¹, либо мужичка-прасола, либо дьячка-расстриги. Пришедшие вытаскивали из кармана или мешка какие-либо диковинные вещи. Опочинин их осматривал, а впоследствии ощупывал и давал свои заключения. Если какая-либо вещь ему нравилась, он немедленно предлагал мену, которая обычно и происходила. Покупать вещи к концу жизни он уже не мог из-за стесненных материальных обстоятельств, что не мешало ему, когда кто-либо из его друзей выражал желание купить у него какую-либо вещь, неизменно говорить:

— Да зачем покупать, возьмите ее так.

Люди, приходившие к Опочинину, были обычно его выучениками по собирательству, которые были рассеяны по всей России.

В то время, когда Евгений Николаевич стал бывать в нашем доме, он каждое лето отправлялся путешествовать по России, по медвежьим углам. Оттуда он писал длинные письма отцу, которые последний особенно бережно хранил и читал нам по нескольку раз не только в семейном кругу, но и ближайшим друзьям. По приезде в Москву Опочинин приезжал к нам с постоянными обильными дарами и бесконечными рассказами о виденном и слышанном. Внимали ему обычно часами, затаив дыхание. А по его отъезде, как и после прочтения полученного письма, отец чесал себе голову и говорил:

— Все врет, мошенник, но как врет — только слушай да слушай.

Думаю, что этот приговор был немного суров. Опочинин не врал, но его фантазия романиста невольно заставляла восполнять то, что логично могло бы быть, хотя и не было в действительности. Эта же фантазия

¹ Л а б а з н и к — купец, владеющий лабазой — торговым помещением.

часто заставляла его создавать апокрифы. Увидишь на его стене в какой-нибудь хорошей стильной раме портрет какого-то невероятного пропойцы-злодея с огромными баками и спросишь, кто это такой.

— Кто? — удивится Опочинин, — да разве вы не узнаете — это Пушкин. И Пушкин вот почему...

После этого следует получасовое изложение обстоятельств покупки и доказательств. Причем если Опочинин не убедит слушателя, то обязательно уже пошатнет его скептицизм и неверие. Фантазией Опочинин обладал незаурядной, поэтому-то мне кажется и неверным то, что говорили о нем злые языки, что вся фабула его литературных произведений дается ему его женой, а он лишь ее излагает. Достаточно было хоть раз послушать Евгения Николаевича, чтобы увериться, что подобные утверждения — клевета.

Большим знатоком старины, но совсем иного рода был другой долголетний друг нашей семьи — Владимир Константинович Трутовский. Ученый-археолог, председатель нумизматического общества, ученый хранитель Московской Оружейной палаты и профессор, он был не только большим практиком, но и теоретиком. В вопросах истории знания Трутовского были очень обширны, и он имел врожденный дар делать все самое отвлеченное и серьезное в своих разговорах увлекательным и интересным. Отец познакомился с ним у своего двоюродного брата А. П. Бахрушина, подпал под громадное личное обаяние Владимира Константиновича и перетащил его к себе. С 1902 года и до конца своих дней зимой и летом Трутовский был постоянным посетителем нашего дома.

Сын известного художника, академика К. Трутовского, славившегося своими жанровыми картинами из украинского быта, Владимир Константинович не раз рассказывал мне, как его отец стал художником.

Родители будущего художника избрали для него

военную карьеру, и он был отдан в артиллерийское училище, где сидел за одной партой и дружил с Ф. М. Достоевским. Как воспоминание об этих днях в одном из ранних альбомов К. Трутовского сохранился его карандашный набросок Федора Михайловича, который был впоследствии подарен Владимиром Константиновичем моему отцу. Увлекаясь живописью, К. Трутовский все время что-то и кого-то рисовал в училище, особенно отличаясь в карикатурах, моментально схватывая сходство и ядовито подмечая смешные стороны оригинала.

Однажды в училище неожиданно приехал его шеф вел. князь Константин Николаевич и явился в класс в сопровождении всего местного начальства. Своеобразная фигура вел. князя в генерал-адмиральском мундире, с зализхватски расчесанными, холеными бакенбардами и с модным квадратным моноклем в глазу сразу привлекла внимание Трутовского, который немедленно начал рисовать на него карикатуру. Увлечшись этим занятием, он и не заметил, как вел. князь покинул свое место и стал ходить между партами, остановившись за спиной Трутовского. Очнулся молодой художник лишь тогда, когда за ним раздался голос:

— А ну-ка, дай-ка мне посмотреть поближе!

Трутовский обернулся и побледнел — за его партой стоял вел. князь, протягивая руку к злополучной карикатуре, а сзади застыло бледное, расстроенное начальство, евшее злыми глазами алополучного карикатуриста. Вел. князь взял свое изображение и долго молча и внимательно его рассматривал, потом покачал головой и вдруг разразился неудержимым хохотом.

— Молодец, право, молодец! Ты же настоящий художник, для чего тебе эта артиллерия? Тебе в Академии художеств надо учиться. Хочешь?

Осмелевший Трутовский срывающимся голосом

ответил, что он с малолетства мечтал быть художником и учиться в Академии, но родители решили иначе.

— Ну, обещать не обещаю, — сказал вел. князь, — а попробую тебя туда устроить. Замолвлю словечко кому надо и родителей упрощу не препятствовать твоему желанию. Но за это взятка! Карикатуру я беру себе на память. Согласен? Ну, тогда подпиши ее — художники всегда подписывают свои произведения...

Через неделю после этого К. Трутовский был уже переведен по ходатайству вел. князя в Академию художеств.

Сам Владимир Константинович окончил Лазаревский институт восточных языков, готовясь к дипломатической карьере.

— Собственно говоря, меня зовут Василием, а всем не Владимиром, — говорил он не раз, как всегда, тем особенным тоном, в котором было трудно отличить правду от вымысла, — моя мать произвела меня на свет в компании с братом. Брата назвали Владимиром, а меня Василием — отличали нас друг от друга разноцветными ленточками. Брат недолго жил на свете, оставив меня одного. Родителям почему-то больше нравилось имя Владимира, так они вместо брата похоронили меня, так что я, собственно говоря, живой покойник.

В Лазаревском училище В. К. Трутовский сидел на одной парте с К. С. Станиславским.

Помню, как много лет спустя я привел Владимира Константиновича для какой-то консультации в студию во время постановки «Царской невесты», и как чудно и необычно показалось мне, да и многим из моих товарищей, когда Трутовский, подойдя к Станиславскому, этому для нас Зевсу-Громовержцу, сказал:

— Здравствуй, Костя, давненько мы с тобой не видались.

Старики расцеловались, сперва говорили о делах,

а потом удалились к Станиславскому, и там, очевидно, состоялся вечер воспоминаний.

Отлично воспитанный, прекрасно владевший кроме русского, французского и немецкого еще и арабским, персидским и турецким языками и свободно объяснявшийся на нескольких европейских и восточных наречиях, он, кроме того, легко владел пером и был насыщен какой-то неувядаемой и искренней молодостью, которая невольно заинтересовывала и привлекала к себе. Будучи далеко не красавцем, Владимир Константинович в возрасте шестидесяти лет без труда заставлял молодых девушек им увлекаться. В Трутовском меня всегда поражали две его особенности: умение просто и естественно себя держать и чувствовать в разговоре с людьми любого социального положения — будь то крестьянин, прислуга или кто-либо высокопоставленный, со всеми он был приветлив, находил тему для разговоров, одинаково шутил, никак не роняя при этом собственного достоинства. Второй его способностью был талант применять свои интересы к любому обществу, в котором он находился, при этом незаметно заставляя это общество подпадать под свое влияние.

Помню, как он однажды, незадолго до своей смерти, приехал ко мне на дачу вскоре после моей женитьбы. Дом, как всегда, был полнехонек веселой, беззаботной молодежью — моими товарищами и сослуживицами жены, балетными артистками. Целый день балагурили, а ночью спали вповалку на сеновале. Владимир Константинович не отставал от общего ритма нашей жизни, хотя ему было тогда около семидесяти. Прожив у нас дня три, он уехал домой, и когда вся компания осталась без него, вдруг стало пусто и неинтересно — это ощутили все. Потребовалось некоторое время, чтоб веселье вновь восстановилось. А один из моих приятелей так и остался в раздумье. Уже ложась спать, он с чисто украинской философской флегмой заметил:

— Никогда я не встречал старика, который бы никак не стеснял молодежь своим присутствием. Как он этого достигает?

Владимир Константинович был увлекающимся человеком — то он увлекался какой-либо научной темой, то собиранием экслибрисов, то своей усадьбой в Курской губернии, а то и просто какой-либо хорошенькой, веселой молодой девушкой. В такие периоды Трутовский делался забавно рассеянным, — он мог появиться в многолюдном обществе с совершенно невероятным непорядком в своем туалете. На замечание собеседницы, какое чудное сегодня небо, он вдруг глубоко-мысленно изрекал:

— Да! и на нем такие прекрасные легкие яблоки!

Или вдруг на предложение матери за обедом: «Владимир Константинович, хотите еще тарелку супа?» — он рассеянно смотрел в пустую тарелку и говорил:

— Да нет, Верочка, я как будто сыт.

Бывая поднят немедленно на смех за такую в высшей степени неоправданную фамильярность, он обычно густо краснел, а затем беззаботно сам над собой смеялся. С угощением за столом с Владимиром Константиновичем постоянно творилось одно и то же. На всякое предложение повторить блюдо он неизменно отвечал:

— Да я, кажется, сыт, а впрочем... — и протягивал свою тарелку.

Это почему-то всегда бесило мою мать, и когда Владимир Константинович стал уже совсем своим человеком в нашем доме, мать, угощая его, всегда начинала с фразы: — Я знаю, что вы, кажется, сыты, но давайте-ка вашу тарелку.

Мы, молодежь, обычно на это фыркали, а Владимир Константинович улыбался, краснел и качал головой. Шутили мы над ним постоянно, поднимали его на смех

за любовь спать до двенадцати часов дня и за тяготение к сладкому. Трутовский в свой стакан клал не менее четырех кусков сахара и мог легко в пылу разговора пододвинуть к себе коробку шоколадных конфет и незаметно съесть ее всю. Из такого экстаза его обычно выводил другой свой человек в нашем доме — Владимир Васильевич Постников — стереотипной фразой:

— Владимир Константинович, позвольте-ка конфеты, а то вы за разговором нам ничего не оставите.

Опять общий смех и румянец на щеках Трутовского.

Помню, как моя мать не терпела, чтобы Владимир Константинович садился играть в карты. Он играл очень плохо и чрезвычайно рассеянно и выходил из-за стола неизменно в более или менее большом проигрыше да еще весь изруганный экспансивными партнерами за сапожничью игру.

Женат был Владимир Константинович на Александре Владимировне Мошниной, родной племяннице знаменитого святого Серафима Саровского. Дама она была очень умная и чрезвычайно образованная, но эксцентричная и психически не совсем уравновешенная. В первое десятилетие нашего знакомства с Трутовским она не давала ему покоя своей назойливой ревностью. По нескольку раз в вечер, когда Владимир Константинович бывал у нас, она звонила по телефону и «проверяла» его. От этого брака у Владимира Константиновича были две дочери — Надин и Наташа. Его любимой была младшая, рано и странно умершая, а старшая, отчаянная и мужеподобная, расстраивала Владимира Константиновича своими выходками и не вполне удачным замужеством.

Владимир Константинович, так же как и Павловский, всегда вел себя со мной как равный, не боясь быть не понятым своим малолетним собеседником. Но все то, что он говорил и рассказывал, было всегда так интересно и увлекательно, что то, что я не понимал умом,

доходило до меня интуитивно. Он всегда живо интересовался моими текущими увлечениями, неустанно поощрял и пополнял мои юношеские «коллекции», заинтересовывал меня историей и литературой. Вспоминаю, как, когда мне было лет семь-восемь, не более, он показывал нам с матерью Оружейную палату. Он знакомил нас не только с экспонатами, но и с историей самой палаты. Указал на дорогой ларец, лежавший боком на полу с полуоткрытой крышкой.

Это ларец, в котором хранилась польская конституция, — пояснил он, — ларец был привезен сюда по распоряжению Николая I после подавления польского восстания. Проходя по палате, Николай I однажды его увидел и спросил, что это такое. Получив ответ, царь лягнул его своей ботфортой, — с тех пор он и валяется в том же положении по его повелению.

Указывая на прекрасный портрет Наполеона I кисти Жерара, отбитый казаками под Лейпцигом, он обратил наше внимание на бюст Александра I работы Кановы, стоящий напротив.

— Эти два экспоната расположены так тоже по повелению Николая I, — объяснил он, — царь приказал поставить их таким образом, чтобы Наполеон всегда видел перед собой своего победителя.

А когда мы добрались до постели и сапог Петра I, он позволил мне лечь на царскую постель и вдеть ногу в царственный сапог. Быть может, это было не особенно правильно с точки зрения музейного хранения, зато мне до сих пор памятны аскетическая простота жесткого царского ложа и непомерная тяжесть царственной подушки. Эти вещи после этого стали мне близкими и родными, и когда теперь я их вижу в Ленинграде, то встречаю всегда как старых друзей.

Такое же отношение у меня и к огромному орлу из слоновой кости — коронационный подарок Микадо Николаю II, у которого каждое резное перышко вынима-

ется отдельно, а когти сделаны из когтей настоящего медведя. Тогда мне было позволено не только потрогать орла, но и частично его разобрать и собрать.

Помню, как Владимир Константинович, смеясь, рассказывал, как какой-то американец подослал к нему беззастенчивого комиссионера с предложением продать ему шапку Мономаха, причем предлагал за это двести пятьдесят тысяч рублей и точную копию с подлинника для подмены экспоната. В другие разы Владимир Константинович рассказывал мне о своем отце, об его исключительном знании дореформенного быта украинских помещиков, об его личном альбоме, в котором он, молодым человеком, зарисовывал наиболее характерные сцены. Альбом этот пропал когда-то куда-то. Один лист из него «Крепостные актеры в трактире» со временем попал к нам в Театральный музей, другой лист «Помещик на репетиции Гамлета» хранится в Музее академических театров в Ленинграде.

В. К. Трутовскому я чрезвычайно многим обязан в жизни, он был тем человеком, который, пожалуй, в мои молодые годы оказал наибольшее влияние на мое развитие. Вот почему, когда гроб с его телом медленно исчезал в люке крематория, у меня было чувство, что вместе с ним и исчезает часть моего «я»...

Из родственников постоянными посетителями нашего дома были муж сестры отца Владимир Васильевич Постников и младший брат отца С. А. Бахрушин.

В. В. Постников происходил из хорошей, но не особенно зажиточной купеческой семьи, вышедшей в люди прасольством. С ранних лет он увлекся коллекционерством и стал собирать редкие книги, потом перешел на фарфор, серебро и прочую старину. Он был товарищем моего отца еще в холостые годы и остался таким до конца дней. Звал он отца всегда «*mon cher*», а отец почему-то называл его «Иван Семенов Мухин-Чириков» или просто «Семеновна». Очевидно, это была

какая-то реминисценция их холостой жизни. Впоследствии с учреждением «Сибирского банка» дела Постниковых пошатнулись, вскоре они прекратили торговлю скотом, а затем Владимир Васильевич открыл антикварную торговлю в Козицком переулке. Родственники и знакомые были «шокированы» таким поступком Владимира Васильевича, превратившегося из купца в лавочника, но он быстро реабилитировал себя в их глазах. Он повел свою торговлю не совсем обычным образом. Кроме главной комнаты в его магазине, куда допускались все и которая была битком набита всякими диковинками, у него имелась задняя комната за стеной, куда допускались лишь избранные и где были размещены лучшие вещи магазина. В этой комнате с утра до вечера кипел самовар, на столе стояло угощение, и моя тетка (сестра моей матери, вышедшая замуж за брата Владимира Васильевича) сидела и разливала чай приглашенным. Здесь можно было встретить и А. Н. Бенуа, и Е. В. Гельцер, и Рахманинова, и Собинова, и Сомова, профессоров-историков, писателей, не говоря уже о всех известных московских коллекционерах. Это был своеобразный клуб, в котором собирались и случайно встречались и знакомились московские любители старины.

Владимир Васильевич увлекался своим делом, изучил и знал потребности своих покупателей и их покупательную способность, подбирал для них вещи, вызывал по телефону в случае получения могущего их заинтересовать товара.

В молодости Владимир Васильевич был ярким представителем московской купеческой молодежи 80-х годов. Беззаботный, легкомысленный, он любил веселиться и по-купчески швырял деньжишками в кабаках и ресторанах. Пить он любил и обычно быстро размякал.

Помню, как однажды он говорил мне: «Все-таки

такую свинью, как я, трудно найти, можно пить, но напиться до положения риз на собственной свадьбе — вещь невероятная».

Во всем этом происшествии всего более удручало его кроткое отношение к этому факту со стороны его молодой жены. В женатой жизни Владимиру Васильевичу не повезло — с молодой женой, которую он нежно и пламенно любил, он не прожил и года. Она умерла от родов при рождении первого ребенка, также умершего. Эта смерть особенно сблизила его с моим отцом и с моей матерью, поклонником которой он был до конца дней. Владимир Васильевич ежегодно предпринимал экскурсии по России в поисках старины. Иногда мои родители сопровождали его. Вместе с ними он совершил и свою единственную поездку за границу.

Когда Владимир Васильевич открыл свою антикварную торговлю, его поездки по России участились, и в одной из них сопровождал его я, о чем в своем месте будет речь.

У нас в детской Владимир Васильевич имел кличку «king Edward», данную ему моей англичанкой за некоторое сходство с покойным английским королем Эдуардом.

До самой своей смерти Владимир Васильевич, несмотря на многие превратности судьбы, умел оставаться и веселым и беззаботным на вид. Всегда одинаково радушно встречал гостей и насильственно угощал их за столом. Вообще обряд еды и угощения у Постникова был мучительной процедурой, унаследованной от предков — купцов-калужан. С раннего утра до позднего вечера в их доме у Нового Спаса всегда стоял на столе кипящий самовар и было сервировано угощение. Когда бы к ним ни пришли и сколько бы времени ни пробыли, они не успокаивались, пока почти силой, если нельзя уговором, не напотчуют гостя до отвала. А в торжественные дни праздников, общих или семейных,

к ним просто опасно было ездить, так как такая поездка обязательно вызывала желудочное заболевание.

В. В. Постников, пивший и куривший всю жизнь без отказа, за несколько лет до своей смерти внезапно раз и навсегда бросил эти свои привычки, но столь же радушно угощал посетивших его.

— Пьешь? — бывало, спросит он у меня. — Пьешь. Ну, хорошее дело — пей, пока печень не заболит вроде меня, а потом брось.

— А где помещается печень?

— Ну, раз этого не знаешь, значит, она у тебя не болит, пей себе на здоровье, а я уже выпил, что мне полагалось, да не только на свою жизнь, но и на две других.

В старости он стал очень благообразен, отпустив длинную окладистую бороду «под Карла Маркса», как он заявлял. До конца своих дней этот старик не потерял способности увлекаться, и темы его увлечений в старости так же быстро сменялись, как и в молодости, — он сменял любовь к книгам на любовь к серебру, к фарфору и бисерной вышивке. Он умер в 1940 году тихо и безмятежно в своей комнатке у Страстного монастыря. Старик в свое время сделал мне много добра, и я этого никогда не забуду, так же как и его постоянно повторяемый мне завет: «Не спеши жить!..» Лишь впоследствии, сделавшись старше, я вполне уразумел всю простую мудрость этой короткой фразы.

В отличие от В. В. Постникова, постоянного посетителя нашего дома в званые и незваные дни, мой дядя Сергей Александрович являлся к нам лишь в незваные дни, неизменно к утреннему завтраку, к часу дня. Дядя Сергей Александрович был одним из тех московских чудаков, которыми всегда славилась древняя столица. Его оригинальность была подлинная, без малейшей рисовки и отнюдь не ради привлечения к себе интереса. Всегда скромно, немного старомодно, но исключитель-

но изящно одетый, в длинном сюртуке с тщательно расчесанной холеной ассирийской бородой кудряшками и с аккуратно подстриженной курчавой же седой головой и надушенный тяжелыми английскими духами, он появлялся у нас дома неожиданно и редко. В детской мы звали его «дятлом» за его постоянное обращение к своим племянникам с фразой «Ну, дятел ты эдакий». Он мало разговаривал, предпочитая слушать и наблюдать своими маленькими пронизательными глазами, глубоко сидевшими за узкими очками в старомодной золотой оправе. Слушать его было томительно. Кроме того, что он не произносил целого ряда согласных в середине слова, он имел манеру невероятно тянуть свои фразы, изрыгая каждое слово с каким-то выдохом из глубины своей гортани. Описать его манеру говорить было невозможно, ее можно было только записать в фонограф. При этом все его движения были невероятно медлительны и его руки, ноги, голова, туловище двигались рывками, словно они были на шарнирах и их приводил в действие невидимый механизм. Некоторые утверждали, что он чудит, представляется, что якобы когда-то в Большом театре, когда чей-то неосторожный крик на сцене за занавесом «пожарный» был принят публикой в зрительном зале за возглас «пожар» и началась паника, дядя с легкостью невероятной выпрыгнул из ложи бельэтажа прямо в партер. Думаю, что это неверно, так как мне пришлось присутствовать при его последних днях и даже на одре смертельной болезни эта манера говорить и двигаться его не оставляла.

К нам в дом он обычно приезжал посмотреть, что у отца нового в его коллекциях. Лишь впоследствии отец стороной узнавал, что Сергей Александрович такую-то вещь видел у Алексея Александровича¹ и очень

¹ Алексей Александрович Бахрушин.

ее одобрил. А получить одобрение дяди значило очень много для всякого коллекционера. Сергей Александрович коллекционировал немногие картины и рисунки русских художников, женские серьги, драгоценные табакерки и случайно пленивший его старинный фарфор и хрусталь. Но в его коллекциях не было ни одной плохой вещи. Жил он на углу Большой Дмитровки и Богословского переуллка, занимая обширную квартиру. К себе домой он никогда никого не пускал и вещей своих никому не показывал за тем редким исключением, когда ему нужна была консультация. Бывали у него изредка и товарищеские, интимные вечеринки, но в этом случае далее столовой и передней гости не допускались.

Ложился спать он обычно часов в пять-шесть утра, вставал часа в четыре вечера. С исключительной методичностью он обходил московских антикваров в определенные, точно установленные для каждого дни. В эти дни, зная, что придет Сергей Александрович, хозяева магазина не закрывали, а ждали его терпеливо до восьми-девяти часов вечера. У антикваров он отбирал то, что ему нравилось, и заставлял прислать к себе на дом, ни слова не говоря о цене. Дома он изучал отобранные вещи, руководствуясь не только проверкой их подлинности, но и своими собственными особыми соображениями. Вещь, вызвавшая сомнение в ее подлинности, немедленно отсылалась обратно, другие же вещи оставались на более продолжительное время и «жили» у дяди, который общался с ними ежедневно. Затем в один прекрасный день он либо отсылал их назад, либо заходил в магазин и, спросив, сколько вещь стоит, платил наличными, не торгуясь.

— Ты понимаешь, — впоследствии говорил он мне, когда незадолго до смерти приблизил меня к себе, — в каждую хорошую вещь, которую создавал настоящий художник, он вкладывал свою душу, свое «я», — вот

если это «я» начинает мне говорить, то, значит, вещь хорошая и ее надо брать. Неважно, кто был художник — придворный или крепостной, живописец, ювелир, мастер по фарфору или кустарь, все равно в них сущность одна и душа в них одна — человеческая. Вот почему и картина Кипренского говорит мне не громче, а порой даже тише, чем какая-либо поповская или гарднеровская чашка, которую делал и расписывал какой-нибудь крестьянин. А вот фабричная чашка, как она ни будь сделана, — ничего мне не говорит — она молчит.

Раз как-то он подарил мне прекрасную английскую миниатюру, сказав: «На, возьми, это вещь хорошая и настоящая, но она меня не щекочет: без любви она сделана — одно мастерство».

Дядя собирал свою замечательную коллекцию по какому-то неведомому мне, но очень определенному плану, продуманному и проверенному. Помню, как однажды я ему указал на какой-то висевший у него чрезвычайно посредственный рисунок и выразил мысль, что подобным произведениям не место в его собрании.

— Оставь, — сказал дядя, — это мне нужно...

Вещи у него были уникальные.

После его смерти, когда в его квартиру вошел И. Э. Грабарь, то он сразу бросился к одной картине.

— Вот она! — воскликнул он. — Мы знали, что она должна существовать на свете. Петр III висит у нас в Третьяковке, а Екатерины мы нигде найти не могли. — Это был портрет царицы работы знаменитого Антропова. Теперь она украшает стены нашей лучшей государственной сокровищницы живописи. Пополняя свои коллекции, дядя вдруг, столь же неожиданно, как появлялся у нас, уезжал в Петербург, а лет за десять до своей смерти вдруг столь же неожиданно уехал за

границу, хотя ранее никогда туда не ездил и ни на каком языке, кроме русского и то своеобразно, объясняться не мог. Родные были встревожены этой эскападой¹, но он благополучно вернулся обратно и стал бывать после этого за границей ежегодно. Делами фабрики дядя не занимался и жил на ренте, дед был этим недоволен, но давно махнул рукой на него и считал его не вполне нормальным. С мнением и оценкой дяди считались не только антиквары и коллекционеры, но и художники. Он был одним из лучших знатоков русской живописи и был лично хорошо знаком с крупнейшими художниками своего времени.

Когда грянула сперва февральская, а затем октябрьская революция, дядя забеспокоился за сохранность своих коллекций. Отец предложил ему поставить свое собрание на учет Комитета по охране памятников искусства и старины и получить охранную грамоту. Почему-то дяде это не улыбалось, и он предпочитал раздавать свои вещи на хранение самым невероятным людям, которым он почему-то доверял. Был у него тогда в услужении приходящий человек, живший поблизости, — рабочий Большого театра, с которым, кстати, впоследствии я очень сдружился. На обязанности этого человека было являться к дяде ежедневно и чистить мелом дверные ручки — дядя терпеть не мог, когда ручки не блестели; ему-то он и доверил объемистый чемодан, набитый золотыми табакерками. Соблазн был велик, и когда через несколько времени дядя потребовал свой чемодан обратно, оказалось, что он пропал. Дядя заволновался и вызвал на консультацию Вл. Конст. Трутовского. Тот выслушал рассказ дяди, попросил позвать к себе этого человека и совершенно просто сказал ему:

¹ От фр. *escapade* — экстравагантная выходка.

— Вот что, дела я поднимать не стану, но чтобы через час (он посмотрел на часы) чемодан был здесь. Иди!

Не прошло и получаса, как чемодан был чудесно найден.

После смерти дяди к нам в руки попала его записная книжка. Аккуратно на отдельных страницах были сделаны списки вещей, которые хорошо знал и мой отец, и Трутовский, и я, внизу каждой такой страницы имелся шифр, кому отдана вещь. Таких страниц было штук десять. После его кончины, за исключением Трутовского, никто не сдал полученных от дяди на хранение вещей.

В 1922 году, весной, в самый разгар разрухи, дядя заболел воспалением легких и умер. Умирал он мучительно, в холодной квартире, одиноким старым холостяком. Бывала у него тогда его сестра, моя тетка, да я — остальных он принимал неохотно. Умер он, будучи в полном одиночестве, мы в этот момент отсутствовали. После его смерти отец немедленно заявил об оставшихся после него коллекциях Музейному отделу. На квартиру к дяде приехала особая комиссия во главе с И. Э. Грабарем, взглянула на собрания дяди и ахнула. Немедленно была создана особая приемочная группа, которая занялась подробной описью собрания. Нам было разрешено взять только личные вещи. При этой приемке-сдаче присутствовал я. Сдавал я вещи молодому искусствоведу, который в конце дня навешивал на двери печать.

Однажды он мне сказал:

— Я должен уйти; если вам что-либо понадобится в этой комнате, то войдите в нее, я вам оставлю ключ на всякий случай и слепок с печати на картоне, который просто привяжете к задвижке.— Он передал мне слепок и ушел. Я заподозрил провокацию и в комнату не вошел.

Несколько лет спустя жизнь случайно близко свела меня с этим искусствоведом. Однажды он сказал мне:

— Теперь я знаю, что вы неглупый человек, а признаюсь, раньше я думал, что вы просто дурак. Кажется, в свое время, в квартире Сергея Александровича я Вам достаточно толсто намекнул, чтобы вы вошли и взяли хоть что-нибудь после вашего дяди, но вы этим не воспользовались. Ах вы!

Действительно, после дяди у меня осталось лишь два его портрета работы Головина и Браза да испанский бубен с нарисованным на нем Бакстом тореадором. В свое время дядя, зная мое увлечение балетом, передал мне этот бубен с бумажкой, писанной его рукой: «Удостоверение. Сим удостоверяю, что испанский бубен с живописью на нем Бакста приобретен мною у Марии Мариусовны Петипа».

В раннем периоде моей жизни как будто никто так ярко не остался в моей памяти, как перечисленные лица. Все они в той или иной степени повлияли на формирование моего мирозерцания. Одни как непосредственные служители искусства, другие как поклонники и исследователи этого искусства. Отец не случайно остановил свой выбор именно на них — несмотря на свое различное общественное положение и несхожесть профессий, все эти люди объединялись единой пламенной любовью к искусству и большой врожденной или благоприобретенной культурой. Благодарная память о них неизгладима в моем сердце — они дали мне возможность почувствовать многое, что объяснить и чему научить невозможно.



ифтерит, поразивший меня в шестинедельном возрасте, все же оставил о себе память в моем организме — я рос довольно тщедушным и хилым, хотя и не болезненным ребенком. Когда мне было два года, как-то весной меня осмотрел наш семейный детский доктор Р. Ф. Веллинг и заключил, что у меня может развиваться слабость легких и что на лето мне необходимо уехать на дачу, куда-либо в сухое место, с сосновым лесом. Родители мои всполошились, стали искать дачу, и кто-то подсказал Измайлово, где мы и поселились на лето.

От этого житья-бытья в моей памяти ничего не осталось, но мои родители, никогда ранее на даче не жившие, приохотились к этому летнему времяпрепровождению, и на следующее лето их снова потянуло за город.

Кроме этого, мой отец и его приятель В. В. Постников были страстными рыбаками — попробовали дачное житье компенсировать экскурсиями на рыбную ловлю, в которых моя мать играла роль и активного рыбака и завхоза. Однако выходило то, да не то.

Наконец припомнили, что старший брат отца Владимир Александрович также и Музиль жилали летом

в Старом Гирееве, да и сам В. В. Постников в год своей женитьбы провел лето в среднем Гирееве против пруда, что там было не плохо, что в пруду водились приличные караси, и, вспомнив все это, они направили свои поиски в указанном направлении.

Словом, короче говоря, на другое лето дача была снята в Новом Гирееве у первых двух прудов. Я также почти ничего не помню и об этом лете, но зато последующие годы становились для меня все памятнее и памятнее.

Дорогое, милое Гиреево, давшее мне впервые вкусить все прелести русской вольной природы, оно навсегда останется для меня таким, каким я его знал. Теперь это пригород, но когда мы жили там, это была прелестная старая запущенная барская усадьба и весь гиреевский круг жизни вертелся на дореформенной оси.

Дач в Гирееве было несколько, да, собственно говоря, это были даже не дачи, а деревянные домики, выстроенные для кого-то по прихоти помещика и затем заброшенные. Начиналось оно там, где сейчас начинается проспект от железнодорожной станции. Тогда это был не проспект, а прелестная лесная дорога. В сотне саженей от начала дорога шла по мостику через узкий пролив, разделявший два небольших пруда. Направо, на берегу запущенного прудика, стояла одинокая дачка, в которой мы и жили. Налево, на берегу другого пруда, благообразного, с островом посередине и дорожкой вокруг по бережку, стояла дача старой владелицы усадьбы Е. Г. Терлецкой, окруженная цветниками, огородами, оранжереями и фруктовыми садами. Чуть дальше высилась еще одна дача, большая, красная, которую мы также впоследствии обжили. Потом с версту дорога шла лесом и вдруг выводила на лужайку; слева стояли два маленьких домика — дачки, а справа был прелестный прудок у опушки задумчивого старого

леса. Это было среднее Гиреево. Далее еще с версту дорога бежала между шпалер густых елок, за которыми тянулись обширные ягодные поля, и приводила в Старое Гиреево. Налево — церковь, какие-то флигеля, заросли акаций и сирени, сзади древний парк с причудами, затем огромный деревянный барский дом, выстроенный еще при Елизавете Петровне, нарядный новенький коттедж, где жил сам владелец, сын Терлецкой, затем службы, скотные дворы, амбары, птичники и прочие хозяйственные постройки. Напротив главного дома простирался огромный бархатный луг, окаймленный зеленовато-голубыми лесами с гигантским, многовековым дубом посередине. Далее дорога вела через перелесок мачтовых сосен к двум громадным прудам, покойным обиталищам дородных диких уток и степных, жирных карасей. А там — под горку, через рубежный ручей, на большак и на Большой Владимирский тракт — источник слез и вдохновитель грустных песен...

Терлецкие были типичные «последыши». Начало XX века еще сохранило кое-где в России этот вид редких допотопных людей. Очень смутно помню самого старика Терлецкого — он был очень древен. Иногда он появлялся на прогулке в сером поярковом цилиндре, в коричневом сюртуке и с палкой с набалдашником из слоновой кости. Он в свое время был крупным откупщиком, стяжавшим себе на продаже водки миллионное состояние. После его смерти его вдова Екатерина Григорьевна, в окружении стаи мосек и в сопровождении неразлучной с ней барской барыни Виктории Иннокентьевны, удалилась на покой на ту дачу, о которой упоминалось, передав все бразды правления своему сыну Ивану Александровичу.

Ее я помню хорошо — это была величественная, мягкотелая старуха, впрочем, довольно добродушная. Иногда почему-то я с нянькой попадал на ее балкон.

Она меня неизменно целовала, гладила по голове и, обращаясь к Виктории Иннокентьевне, говорила: «Сведи-ка его, мать, на грядки, пусть клубникой позабавится». Просить меня вторично не приходилось, я хорошо знал клубнику Терлецких, чуть ли не в кулак величиной (она часто присылалась нам к столу в подарок), и, отправляясь на грядки, не терял времени даром.

Фактическим владельцем имения в мое время был Иван Александрович Терлецкий, единственный балованный сын, боготворимый стариками родителями. Когда я его узнал, ему уже было лет пятьдесят с лишним. Обаятельный, прекрасно воспитанный красавец с волнистой, седеющей бородой, с голубыми задушевными, ласковыми глазами, глядевшими сквозь изящное пенсне. Одет он был всегда в мягкую белую шелковую рубашку-косоворотку, в сапоги, в казацкие шаровары с красными лампасами и с казачьей фуражкой на голове. Терлецкие не были казаками, но Иван Александрович в молодости обязательно захотел быть казаком. По законам казачества это можно было сделать, приписавшись в какой-либо станице, а для этого необходимо было внести в казачий круг крупный денежный вклад. Родители Терлецкого задумались, но Иван Александрович был непреклонен в своем желании. Делать нечего — пришлось старику внести что-то около ста тысяч золотыми рублями, и его сын стал казаком.

Иван Александрович почему-то невзлюбил старый барский дом и построил себе англоязырованную дачку со всевозможным комфортом: водопроводом, канализацией и электричеством. Вечером он любил сидеть на балконе своего дома, пить чай с близкими и смотреть на расстилающееся перед ним поле, на возвращавшихся с работ на его полях многочисленных пололок и косарей. Зачастую он останавливал их, заводил граммофон (тогда это была новинка) и заставлял их плясать. Затем

он пригоршнями бросал в толпу золотыми. Сказывали, что он любил шутить над местным урядником, давая ему закуривать, зажигал сторублевую кредитку от пламени свечи.

Раз в год, в день Ивана Купалы, когда Терлецкий бывал именинником, его барственная фантазия расплескивалась, как бурное море. Уже накануне все службы экономии превращались в огромную съестную фабрику. Откуда-то появлялись бесчисленные повара, стучали ножи, что-то варилось, парилось, кипятилось, на добрые полверсты распространяя вокруг усадьбы аппетитные запахи. Семья на этот день перебиралась в старый дом.

Рано утром в день именин меня обычно будил хор трубачей — это прибыла в гости из Москвы казачья сотня Терлецкого с хорунжими, есаулами, с хором музыки и с бунчуками¹. Затем следовала торжественная обедня в церкви при даче в парке. Вообще по раз и навсегда заведенному порядку служба в этой церкви отправлялась лишь раз в неделю по воскресеньям, для чего поц из ближайшего села приезжал специально в Гиреево, наскоро отслужив заутреню в селении церкви. После обедни начиналось празднество. Под звуки несмолкаемого военного оркестра, расположившегося в зарослях сирени, на лошадях прямо из Москвы и по железной дороге прибывали нескончаемые гости. Угощение следовало за угощением. Сперва насыщались хозяева с гостями, потом за длинные столы, расставленные под террасой главного дома, садились казаки, затем потчевали домашнюю прислугу и рабочих экономии, завершали же приглашением к столам пришедших поздравить хозяина крестьян ближайших деревень.

¹ Б у н ч у к — конский хвост на древке как знак власти.

Любопытно, что, насколько я помню, хотя за этой трапезой никому ни в чем не отказывалось, в особенности в вине, однако никогда никаких бесчинств не происходило. Своего апогея праздник достигал вечером. Тогда весь сад и часть парка иллюминировались кенкетами¹, старый дом, как в былые годы, заливался светом свечей, а на большом лугу перед усадьбой давался праздничный фейерверк. Таких фейерверков мне в жизни впоследствии не приходилось видеть. Со всех сторон неба сыпались грозди ракет, вертелись искрометные мельницы, били огненные фонтаны, вокруг дуба-гиганта плавали огненные лебеди, на лугу пламенеющие корабли двигались, сражались, палили из пушек и шли ко дну. За несколько часов до начала фейерверка Иван Александрович уже выставлял специальные заставы на дороге, чтобы звать всех проезжающих к себе на праздник, затягивавшийся далеко за полночь.

На другое утро все постепенно приходило в обычную норму. После легкого угощения и щедрых подарков уходила казачья сотня, разъезжались гости. Терлецкие снова перебирались на свою дачу, и старый дом запирался на год до следующего Иванова дня.

Изредка он отпирался для любопытствующих москвичей, среди которых первое место занимал мой отец и его гости. Бывал в нем неоднократно и я. Он был какой-то задумчивый, грустный и поседевший внутри, такой же, как и снаружи. Полы с мозаичным паркетом, большие картины и портреты в тяжелых золотых рамах, хрупкая золотая мебель с выцветшей шелковой обивкой, штофные обои и люстры с хрустальными подвесками, звеневшими в высоте при быстрой ходьбе. В одной из зал стояли часы. Массивный дорогой ларец,

¹ Кенкет — комнатная лампа, в которой горелка устроена ниже масляного запаса.

который поддерживали на плечах четыре женщины — римлянка, китайка, негритянка и индианка. Сверху большой циферблат с хрустальными стрелками и цифрами. Когда часы били, дверцы ларца распахивались, обнаруживая макетные виды горных местностей — там под звуки музыки текли хрустальные потоки, низвергались стеклянные водопады и двигались маленькие люди.

Под домом были обширные подвалы. Раз как-то я в них залез и извлек оттуда велосипед — огромное, чуть ли не в три аршина диаметром колесо, а сзади два маленьких; оказалось, что на этой машине катался отец Ивана Александровича, вывезя ее из Лондона.

С каждым годом празднества в Гирееве делались все скромнее и скромнее. Денежные дела Терлецкого все более запутывались. Из старого дома стали исчезать вещи. Один портрет М. В. Бегичевой-Шиловской работы Плюшара был уступлен моему отцу и до сих пор хранится в Театральном музее. Но оскудение не мешало Ивану Александровичу оставаться столь же обаятельным, внимательным и широким. Как-то раз, смотря на луг перед домом, мой отец сказал ему:

— Хорошо тут у вас — вот бы где я хотел жить.

— А где именно? — спросил Терлецкий.

— Да хотя бы вот здесь, — сказал отец, указывая на опушку леса.

На следующую весну, как по щучьему велению, на указанной отцом опушке выросла дача, откуда-то перенесенная, на которой мы и поселились и жили несколько лет.

Отец мой трогательно любил русскую природу — она пробуждала в нем стремление к покою и созерцанию. Мать также не оставалась равнодушной к деревне, но ее любовь была деятельной и конкретной. Она не могла, подобно отцу, просиживать часами с удочкой, когда рыба не клевала, или читать книгу или газету,

лежа в саду на кушетке, ей необходимо было сажать цветы, возделывать огород, заводить кур и уток и тому подобное. Но оба они равно любили следить за полной очарованности и таинственности сменой одного времени года другим. Все это привело к тому, что очень скоро у нас в доме выработались твердые сроки переездов на дачу и в город.

На дачу мы отправлялись с тем расчетом, чтобы устроиться там к именинам отца, то есть к 17 марта, а переезжали в город лишь после того, как мы отпраздновывали именины матери 17 сентября. Большинство городских знакомых моих родителей не разделяли их вкусов и не понимали, как можно лишать себя целого ряда столичных увеселений задолго до окончания зимнего сезона, и приписывали это чудачеству моего отца.

Отец же, переехав на дачу, начинал вести диаметрально противоположный образ жизни тому, что он вел в городе. В деревне он превращался в домоседа и семьянина, которого чрезвычайно трудно было вытащить из его домашней норы.

Жизнь в Гирееве выявляется в моей памяти все с большей и большей ясностью каждый год. Переезд на дачу для меня всегда был праздником — это обозначало свободу, самостоятельность и постоянное общение с родителями. Собираться к переезду я начинал обычно уже с Нового года. Доставал откуда-то два своих заветных деревянных ящика (как сейчас вижу их перед собой) и начинал паковать в них все свои наиболее ценные «сокровища». Затем начиналось томительное ожидание дня, когда на дачу поедет первый воз. Наконец наступал и этот день. С фабрики приезжали подводы, которые грузились какими-то дачными вещами и моими ящиками, все это в сопровождении сторожа, который должен был протапливать дачу, уезжало из города. Тогда я окончательно успокаивался.

В Гиреево ездили мы обычно не поездом, а на

лошади, благо расстояние было не дальше — верст двенадцать от Рогожской заставы. Жизнь на даче текла у нас обычно тихо и спокойно. В субботу приезжали гости — все одни и те же завсегдатаи, которые оставались у нас до понедельника утра. Вскоре нашим житьем прельстился и дед Носов, отец моей матери, который снял дачу недалеко от нас в одном из старинных флигелей главного дома, где и жил вместе со своей незамужней дочерью Августой Васильевной, младшей сестрой матери. После него в непосредственном соседстве с нами поселились и моя мать-крестная — другая сестра матери со своей семьей. Таким образом образовался маленький поселок близких родных. В Гирееве стало немноголюднее и веселее.

Подчас к нам на дачу приезжали какие-то необыкновенные гости, но это бывало изредка. Помню, как незадолго до своей смерти к нам приезжал двоюродный брат отца, Алексей Петрович Бахрушин. Прибыл он с женой в коляске, запряженной по-русски с пристяжной.

Алексей Петрович был интереснейшей личностью и оказал громадное влияние на моего отца в области его собирательства. Он был русским библиофилом, его знание книг было поразительно. Попутно он собирал и другие памятники отечественной старины. Русофил до мозга костей, воспитанный во взглядах и традициях Александра III, он смело мог бы быть записан в число черносотенцев, если бы не его гуманный и просвещенный взгляд на вещи и события. Но там, где дело касалось величия и славы России, он был неумолим и считал неуместным проявления какой-либо мягкотелости.

Помню, как кто-то изобразил в альбоме отца карикатуру на сообщение о предполагаемом открытии памятника Муравьеву в Вильно. Карикатура носила название «Проект памятника Муравьева в Вильно» и изображала виселицу, к подножию которой был прикован на цепи злущий пес с лицом Муравьева

и в военной фуражке. Надпись на памятнике гласила: «Муравьеву-вешателю, благодарная — Литва». Увидев этот рисунок, Алексей Петрович возмущился до глубины души и, искренно веря, что Муравьев, творя свои изуверства над литовцами, по-своему честно служит интересам России, написал в альбоме, что страница с карикатурой «позорит как автора, так и хозяина альбома».

В своем собирательстве Алексей Петрович был фанатиком. Его не столько интересовала сама вещь, как процесс ее нахождения и охоты за ней. Он предпринимал какие-то сложные экскурсии, заводил какие-то необыкновенные знакомства ради получения какого-либо сногшибательного раритета для своей коллекции.

В погоне за старопечатными и рукописными книгами он свел дружбу с монахами всех московских монастырей. Особенно сблизился он с игуменом Даниловского монастыря. Раз как-то за чаем, после обедни отец игумен проговорился, что на монастырском чердаке валяется какой-то старинный портрет какого-то генерала. Алексей Петрович весь загорелся. Услужливый служака отправился в указанное ему место и приволок оттуда внушительного размера портрет какого-то бравого генерала, «времен Очакова и покоренья Крыма», сильно замазанного и закоптелого. За какой-то немедленный вклад отцу казначею портрет перешел из рук в руки. Весь в коллекционерском раже, Алексей Петрович привез свое приобретение домой на Воронцово поле и срочно вызвал реставратора, а заодно и моего отца, которому покровительствовал. Началось священнодействие промывки портрета. После первых же манипуляций, произведенных мастером по картинной части, краски начали слабеть и изображение генерала вянуть. Вместо него все яснее и яснее стал выступать портрет Н. В. Гоголя, сидящего в своем кабинете в кресле и курящего сигару. По мере появления Гоголя возбуждение

Алексея Петровича все падало и падало, сменившись наконец полной депрессией. Когда работа была закончена, он, бледный, подошел к портрету, посмотрел на него и, безнадежно вздохнув, воскликнул:

— Вон! Тащите его вон из моего дома поскорее. — Он не был в состоянии пережить свое разочарование.

Мой отец, памятуя близкие отношения Гоголя с Даниловым монастырем, не заставил Алексея Петровича повторять дважды свою мольбу и, немедленно послав за извозчиком, увез злополучного Гоголя в свой музей, где он и находится по сие время.

В другой раз Алексей Петрович где-то с большим трудом приобрел кружку молочного стекла, на передней стороне которой в алом медальоне был выгравирован золотом портрет графа Витгенштейна с обычной надписью эпохи 12 года: «Хвала, хвала тебе, герой, что град Петров спасен тобой!»

В тот день, вечером, к Алексею Петровичу собрались гости. Желая похвастать своим новым приобретением, он вынес кружку в гостиную. Вещь была не только редкая, но и красивая. Все ею любовались — она переходила из рук в руки. Наконец ее взяла красавица свояченица хозяина. Какое-то неловкое движение, испуганный возглас «Ах!», и бесчисленные черепки рассыпались по паркету. Алексей Петрович страшно побледнел. Воцарилась тишина. Он молча сделал церемонный поклон, медленно прошел в свой кабинет и закрыл за собой двери. Послышался звук запираемого дверного замка. Больше к гостям в этот вечер он не вышел.

Черепки кружки были собраны самым тщательным образом и искусно склеены, но когда реставрированная вещь была привезена вновь Алексею Петровичу, он лишь печально покачал головой и сказал:

— Нет! теперь она мне уже не нужна.

Руководясь в своем собирательстве поговоркой, что

доброму вору все впору, отец приютил у себя и эту изгнанную Алексеем Петровичем вещь.

Глядя на тучную, добродушную фигуру и лицо Алексея Петровича, трудно было предполагать, что в этом ленивом и неповоротливом с виду человеке живет кипучая, всепоглощающая страсть к собирательству.

Алексей Петрович оказал огромное влияние на моего отца в начале его коллекционерства, давал ему советы, знакомил с интересными и полезными людьми. Еще большее влияние на отца Алексей Петрович оказал после своей смерти. Умер он как-то внезапно, без завещания. Его вдова передала все его ценнейшее собрание Историческому музею. Там оно лежало долгие годы в ящиках, дожидаясь разборки. Наконец его стали разбирать и рассылать по отделам и другим музеям.

Помню, как взволновало это обстоятельство моего отца. Собрание теряло свою ценность, свою физиономию. Именно с этого времени он стал принимать серьезные меры к передаче своего музея еще при своей жизни в целом и неразрозненном виде какому-либо государственному учреждению.

Но такие гости, как Алексей Петрович, были редкостью в Гирееве. Обычно нас посещали те же В. В. Постников, Трутовский, Волховской, Павловский. Жили мы почти всегда в Гирееве все лето безвыездно, хотя раза два или три за несколько лет это житье прерывалось для более или менее длительных поездок.

〈Отчетливо сохранилась в моей памяти поездка на богомолье в Саров в те времена, когда Серафим Саровский еще не был прославлен и его мощи не были еще открыты. Маршрут был избран довольно сложный. Мы — моя мать, ее младшая сестра Августа Васильевна и я — поехали сперва поездом к старшей сестре матери Екатерине Васильевне Силиной в тамбовское имение ее мужа, а оттуда вместе с ними дальше в Саров.

К Силиным ехали мы до станции Ряжск, а затем веткой до Верды, а оттуда сорок с лишним верст на лошадях в имение. На станции Верда нас встретил дядя Сергей Николаевич. Он никакими особыми талантами не обладал и выдающимся человеком отнюдь не был, но, несмотря на все это, его фигура была исключительно характерна для целого ряда людей того времени — представителей пережившей себя эпохи. Происходя из среды малосостоятельного неродовитого дворянства (родоначальник Силиных был сам стрелцом, что некогда раскрыл Петру Великому заговор Циглера, за что и получил дворянский герб), он обладал совершенно непонятным гонором, ложным самолюбием и невероятными претензиями, считая себя вечно кем-то обиженным и незаслуженно пренебреженным. Владея крайне незавидным имением, десятин в пятьсот и небольшим деревянным усадебным домиком, он считал себя по призванию помещиком и практичным, дальновидным сельским хозяином. Но почему-то выходило так, что все затеи дяди никогда ему не удавались — кирпичный завод не приносил доходов, так как трудно было вывозить кирпич, конский завод не развивался из-за отсутствия покупателей, хлеба поражали то червь, то засуха, а окружные крестьяне в преддверии революции 1905 года ежегодно, исправно и обязательно что-либо жгли у дяди, сжигали либо ригу, либо стога сена, либо конюшню, закончив, в конце концов, поджогом его усадебного дома, что заставило Силиных раз и навсегда проститься с Тамбовской губернией. Тогда они переехали в Москву, долго жили у деда Носова, затем наняли собственную квартиру — дядя в это время все выбирал себе профессию, проживая деньги, вырученные от продажи имения, и коротая время вышиванием на канве или резьбой по дереву. Все предлагаемые профессии не нравились, и он не успокоился до тех пор, пока не приобрел при финансовой помощи деда новое

имение под Москвой. А там все снова пошло так же, как и в Тамбовской губернии, и продолжалось бы до сего времени, если бы не революция, во время которой он эмигрировал и как будто умер где-то на Балканском полуострове.

С первого взгляда все эти неудачи дяди могли и должны были показаться необъяснимыми — человек он был не злой, даже добрый, — помню, как в его имении каждое утро у него бывал прием. Под окнами его кабинета выстраивался длинный хвост крестьян, пришедших за медицинским пособием. Он внимательно расспрашивал каждого и оказывал страждущему сильную помощь. Он охотно и неизменно помогал крестьянам в их несчастьях — пожарах, падежах скота, недородах. А несмотря на все это, крестьяне его не любили. Работал он по сельскому хозяйству не покладая рук, входя во все мелочи экономии, подымаясь в пять часов утра и ложась спать позже всех. И все-таки ничего не клеилось. Думаю, что объяснение всего этого надо было искать в его полной несостоятельности осознать время, в которое он живет. Он помогал крестьянам и занимался хозяйством с повадками дореформенного помещика, всегда и везде подчеркивая окружающим, что он «барин». Крестьян, как я лично впоследствии неоднократно наблюдал, постоянно бесило такое поведение. «Раз ты барин, — рассуждали они, — так и веди себя как барин, а раз у тебя мощна пуста, раз ты сквалыжничаешь, так и фордыбачить нечего».

Этот-то дядя в своем белом помещицьем картузе и тщательно расчесанными маленькими бакенбардами и встретил нас на станции. Пчелиновка — имение Силиных — мне не понравилась после задумчивого, уютного Старого Гиреева. Утилитарное, заново отстроенное хозяйственное имение ничего не говорило моему сердцу. Кроме того, там не было поблизости хорошего леса, не было пруда или речки. Был какой-то довольно

живописный ручеек, который дядя с великим трудом запрудил, но в первую весну после окончания работ плотину, конечно, прорвало. Так и купались мы там в каких-то бочажках. Потому-то я был очень доволен, когда все приготовления к поездке на богомолье были закончены и мы пустились в путь.

За несколько дней до отъезда заготовлялась провизия — пеклись пирожки со всевозможными начинками, жарились и варились куры, разливался по бутылкам черносмородиновый квас, сбивалось молоко и т. д. Наконец как-то ранним утром мы отправились в дорогу. Мать, ее две сестры, дядя, двоюродная моя сестра с нянькой и я, — таков был состав нашей компании. Часть едущих разместилась в большом открытом дормезе¹, запряженном четверкой, а остальные в тарантасе тройкой. Ехали мы долго — надо было покрыть верст четыреста — пятьсот. Вся дорога шла то проселком, то почтовым трактом, обсаженным березами, то какими-то окольными петляющими путями. Сперва добрались до старинного города Шацка, а затем через Сасово на Саров. Смутно помню наши ночлеги в сельских почтовых дворах и в случайных избах. Обычно на пол наваливалось сено и все ложились вповалку. Ночью под потолком заглушенно гудели мухи и таинственно шуршали за обоями тараканы. Ярко остался в памяти эпизод, когда мы под вечер сбились с пути — становилось все темнее и темнее, все ярче и ярче светились звезды, все ощутительнее делалось прикосновение влажного тумана, а мы все колесили и колесили по какому-то оврагу, тщетно пытаясь из него выбраться. Старшие волновались, я заснул под их волнение и проснулся лишь на другой день в солнечной просторной горнице в новой избе.

¹ Д о р м е з (от *фр.* *dormeuse* — соня) — большая карета, в которой можно было спать.

Так же хорошо помню мордовский край — живописных крестьян и крестьянок, одетых во все белое с красными и золотыми украшениями, с белыми онучами, перевязанными черными повязками от лаптей. Мать захотела обязательно купить такой костюм для музея отца, что и сделала, соблазнив какую-то молодуху десятирублевым золотым; отъезжая, мы слышали, как на злополучную женщину напали старухи и чуть ее не избили за продажу праздничного, подвенечного костюма.

К вечеру на четвертый или пятый день мы въехали в шептящийся бор мачтовых сосен. Яро горели червонные стволы деревьев-великанов, а внизу переливался изумрудами бархатистый мох. Экипажи мягко шуршали по дороге, покрытой иглистым ковром, и вдруг, за неожиданным поворотом, в конце дороги засиял золотым куполом и белоснежными стенами, словно сказочный, монастырь, залитый заходящим солнцем, — Саров. Монастырский привратник указал на гостиницу — невзрачное, серенькое деревянное здание. Нас приняли радушно — ведь, пожалуй, мы были тогда единственными гостями. Отвели несколько комнат, спросили, что хотим покушать с дороги. Старшие заказали что-то. Среди прислуживающих монахов произошло какое-то замешательство. Они покорно поклонились и исчезли. Через несколько времени появился какой-то более старый монах, который, всячески извиняясь, объяснил, что монастырь сегодня гостей не ждал, что день постный и что, к сожалению, они могут нам предложить только постные блюда, так как других в монастыре нынче нет. Старшие, естественно, согласились. Из нашего окна я видел, как старенький монах поспешно погрузился в уютную лодочку с удочками и через полчаса привез для нас с полдюжины только что пойманных упитанных карасей.

Выспавшись, на другой день мы отправились осмат-

ривать монастырь. В те времена он совершенно не походил на то, во что превратился через десятилетие. На всем лежал отпечаток аскетической бедности. Монахи ходили в рясах из домотканого холста, богатых богомольцев из «господ» почти не было за исключением немногих купцов среднего достатка, во всем царствовала простота, граничащая с убожеством. Днем монахи плотничали, огородничали, вели земляные работы. Была лавочка, где продавались изображения Серафима Саровского, но на них он фигурировал без чиновного осветительного нимба вокруг головы и именовался просто старцем. На могилке святителя молебнов не служили, а отправлялись лишь панихиды. Пробыли мы в Сарове несколько дней, всецело поднав под его своеобразное серьезное, но задушевное очарование, ходили к дальней келье старца, где он якобы принимал Александра I и где и скончался. Бродили по саровским лесам, посещали «Святой ключ» и гигантский плоский камень, на котором молился подвижник. Ездили мы и в Дивеево, но этой поездки я не помню. Обратная дорога домой, как это ни странно, абсолютно мне не запомнилась — очевидно, первые впечатления были настолько сильны, что вытеснили последующие.)

По приезде в Москву у меня появились новые впечатления. С каждым годом их становилось все больше и запоминались они все отчетливее. Помню приезд Николая II в Москву. Дело было весной. Мы поехали смотреть царя. Сидели в носовском магазине в Лубянской пассаже, окна которого выходили в Третьяковский проезд. С нами были сестры матери, еще какие-то дамы и дед Носов. В то время злополучный последний венценосец не потерял еще окончательно своего ореола. Старики, вроде моего деда Носова, смотрели на него покровительственно. Они в свое время уважали и побаивались Николая Павловича, ценили, но упрекали Александра Николаевича за покровитель-

ство немцам, но зато искренне любили и преклонялись перед Александром Александровичем. Это был их царь — хозяйственный, простой и сурьезный, а главное, русский. Его сына они готовы были прощать за многое в память отца. Бал у французского посла после Ходынки они объясняли неопытностью и отсутствием хороших советников, а пресловутую речь тверскому дворянству сводили к похвальному желанию следовать «по примеру отца». Впрочем, это не мешало им подсмеиваться над ходившей тогда по рукам карикатурой.

На рисунке была изображена огромная нога в калоше, принадлежавшая кому-то, ушедшему за обрез листа. Нога оставила огромные следы на всем поле рисунка. И вот, тщетно стараясь попасть в эти следы, следовала тшедушная щупленькая фигурка Николая II с маленькими поджарыми ножками. А под рисунком была надпись «по стопам незабвенного родителя». Николай II в тот раз не произвел на меня никакого впечатления, пожалуй, тому виной был полицмейстер Трепов. Скача впереди царя в коляске с пристяжной, стоя спиной к лошадям и лицом к царю, он всецело пленил мое воображение.

Большее впечатление от царя я получил дня через два, три. Мы поехали за чем-то с матерью в город. Вдруг, когда мы въехали на Тверскую, ныне Советскую площадь, к нашему экипажу подбежал городской с криком «Стой!». В недоумении мы остановились. Вдруг наш кучер Никифор обернулся к матери и сказал: «Барыня — государь». Он встал на козлах и снял шапку. То же сделали и мы. Из ворот генерал-губернаторского дома выехала скромная коляска, в которой сидели Николай II и вел. князь Сергей Александрович, которому царь только что нанес визит. Они проехали в двух-трех шагах от нас. Император улыбался и о чем-то оживленно беседовал со своим дядей. Народ по сторонам, никак не ожидавший увидеть венценосца,

неуверенно снимал шапки; лишь когда царь отъехал метров на двести, ему вдогонку покатило «ура!».

Вскоре впечатления стали более мрачными. Помню, в один зимний вечер, когда были гости, дело было чуть ли не в субботу, у нас за столом живо обсуждалось злодейское нападение на нас Японии без объявления войны. Началась русско-японская кампания. У газетчиков и в мелочных лавочках появились первые военные плакаты, называвшиеся тогда лубочными картинками. На краю обрыва на лихом коне скакал японский император Мацухито, а сзади его толкали в пронасть его друзья Англия и Америка в виде Джона Буля и дяди Сэма. Я, конечно, немедленно приобрел такую картинку и принес ее родителям. Они, к великому моему огорчению, не высказали восхищения этой покупкой, а задумчиво покачали головами, а отец сказал, что еще неизвестно, как война обернется, и такие карикатуры преждевременны. Его опасения стали скоро оправдываться. Русские армии терпели поражение за поражением. Вести с фронта угнетали родителей, грустила и наша прислуга.

Переехали мы в Гиреево в этом году, как обычно, рано. По воскресеньям, когда отец не ездил в Москву, наш кучер Никифор привозил на дачу из города корреспонденцию и газеты. Как-то он приехал расстроенный и, передавая матери газеты, сказал: «Несчастье-то какое! «Петропавловск» с адмиралом Макаровым погибли». Помню, что это известие в то время произвело удручающее впечатление на всех. Макаров был, пожалуй, единственным военачальником, которому верили. Передовая интеллигенция верила ему, зная его постоянную борьбу с рутинной и отсталостью в нашем флоте, народ верил ему тоже, считал его «своим», зная его происхождение, ценя его «черную кость». Потеря Макарова еще углублялась гибелью с ним вместе и Верецагина. Горечь утрат невольно обратилась против

чудом спасшегося вел. князя Кирилла Владимировича. На этот раз великий князь был совершенно ни в чем не повинен в своем спасении, но остроты, эпиграммы, а зачастую и прямая ругань валились на его голову, как из рога изобилия...

Вспоминаю, как однажды мы с матерью и теткой поехали с дачи за чем-то в город. Приехав в Москву, мы застали необычайное оживление на Курском вокзале — платформа была вся разукрашена флагами и зеленью, везде была масса разряженного народа, военных в нарядных формах. Оказалось, что ожидают прибытия поезда со спасшимися моряками «Варяга» и «Корейца». Мы сели в ожидавшую нас пролетку и стали также ждать.

Вскоре площадь, на которой собралось множество народа, зашумела и заволновалась. Из подъезда вокзала под звуки оркестров и под крики «ура» стройными рядами выходили моряки. Их было очень немного. Рядом с некоторыми бежали родные. Собравшиеся махали им руками, бросали цветы. Но вся эта торжественная встреча дышала какой-то грустью, которая передалась мне и живо запомнилась. Видимо, всем тогда больше думалось не о тех, кого встречают, а о тех, которых никто никогда уже не встретит. То же ощущение печали чувствовалось мною в окружающих, когда пришли первые вести о мире. Народ в целом остро переживал бесцельность принесенных жертв и глубину национального позора. Быть может, именно эта грусть и породила столько песен, глубоко вошедших в народную среду, связанных с бесславной японской войной. Помню, в каком восторге приехал отец после того, как услышал в чьем-то мастерском исполнении (чуть ли не Вари Паниной) в первый раз «Последний нынешний денечек».

Вообще воспоминания об японской войне неразрывно связаны у меня с воспоминаниями о Старом Гирееве.

На фоне этих печальных реминисценций мелькают порой и веселые эпизоды. Помню, как брат матери, дядя Василий Васильевич купил себе автомобиль и решил совершить на нем свое первое дальнее путешествие — приехать к нам из Москвы на дачу — десять верст. Мы были предварительно предупреждены об этом и с нетерпением ждали появления невиданной машины. Наконец часа в четыре дня она появилась на дальнем повороте дороги. Встречные лошади задирали хвосты и шарахались в канаву, крестьяне, работавшие в поле, побросали работу и устремились к обочинам дороги. Машина, тарахтя и фыркая, приближалась к нам со скоростью не более семи-восьми верст в час. Наконец, не доезжая до нашей дачи саженной двадцати, она как-то подпрыгнула на дороге, охнула и крепко встала. Все попытки сдвинуть ее с места ни к чему не приводили. Дядя возился с ней часа два, потом махнул рукой и пошел к нам вымыться и выпить чаю. При помощи лошади автомобиль был водворен к нам в каретный сарай. Вечером дядя возвратился в Москву на поезде, откуда дня через два привели к нам лошадь, которая и доставила диковинную машину обратно в город. Что с ней потом случилось — не интересовался.

В 1902 году в Старом Гирееве моя мать подарила меня братцем, названным в честь деда Александром. Как я узнал впоследствии, в тот день, когда он появился на свет, мой отец утром по раз заведенному порядку уехал в Москву на фабрику, несмотря на то что все признаки скорого появления на свет ребенка были налицо. Там он, как обычно, прошел в свой кабинет, где начал заниматься своими делами. К нему зашел старший брат и спросил его о здоровье моей матери.

— Ничего, слава Богу, — сказал отец, — когда я уезжал, у ней начались схватки.

Дядя, как и отец, обладавший вспыльчивым характером, вдруг стукнул кулаком по столу и закричал:

— Вон, немедленно вон обратно; ты что, в своем уме или с ума сошел? Ты что, не понимаешь серьезности момента?

Отец обиделся.

— Ну, ты не очень!..

— Я приказываю тебе немедленно ехать обратно, — не унимался дядя, — иначе я сейчас же пойду жаловаться папаше!

Последняя угроза возымела свое действие, и отец отправился обратно в Гиреево, как раз поспев к моменту рождения моего брата Александра.

Брат был чудный ребенок — он рос на радость окружающим. Золотистый блондин с вьющимися волосами и с задумчивым отвлеченным взглядом больших синих глаз, он всегда казался слушающим или созерцающим что-то доступное ему одному. Веселился и смеялся он редко, но зато в такие минуты он заражал своим настроением всех и заставлял невольно улыбаться и отбрасывать в сторону дурные настроения. Родился он куда более сильным и здоровым ребенком, чем я, но года через два он простудился и никак не мог отделаться от пустяшной температуры в две-три десятых градуса, которая то и дело у него появлялась. Ребенок начал бледнеть, терять в весе, увядать. Были призваны доктора, которые рекомендовали не оставаться на очень долго в Москве, а двинуться куда-нибудь на юг, в горы на Кавказ. Отец в это лето решил съездить в Кисловодск попользоваться тамошними водами, захолустный курортник ему приглянулся, и он написал матери, приглашая ее приехать туда с нами на осенний сезон. Подумали, поговорили и на том и порешили.

Отправлял нас в дальнейшее странствование, насколько я помню, дед, отец матери. Кроме матери и нас, детей, с нами поехала моя нянька и горничная девушка Поля. Впервые я предпринимал такую дальнюю дорогу. Все мне было тогда необычно и интересно, так что несколь-

ко дней пути промелькнули для меня быстро. Навсегда останется в моей памяти одно особо яркое впечатление. Где-то за Ростовом, проснувшись утром, я выглянул в окно и увидел на горизонте над невысокими холмами одиноко и резко выделяющееся белое облако на совершенно чистом голубом небе. Поражала меня как странная, необычайная форма этого облака, так и какая-то необычайная сущность его. Я долго внимательно и упорно рассматривал его, не будучи в состоянии уяснить себе это странное явление. Наконец какой-то пассажир, выглянув в окно, проговорил: «Ну, вот и Кавказ — Рештау уже виден!» Только тогда я понял, что облако не что иное, как величественная снеговая громада Эльбруса.

В Кисловодске нас ждал отец, снявший уже небольшую дачку Барановской «Красотку» в глубине парка, налево, недалеко от Царской площадки.

В Кисловодске в то время находились и наши добрые знакомые Павловские. Эмилию Карловну обычно постоянно сопровождал высокий красивый молодой человек — ее любимый ученик Митя Смирнов. Вскоре мы завели с ним дружбу — ходили вместе пить шоколад в кафе и совершали прогулки на Красные и Серые камни. Однажды родители взяли меня с собой на концерт в курзал, где выступал Смирнов. Пел он, по моему тогдашнему мнению, хорошо, и мне было обидно, что львиная доля успеха в этом концерте выпала не на его долю, а на долю тоже молодого и пригожего, но совсем мне не знакомого Шаляпина. Все же должен признаться, что совершенно не помню, что пел Смирнов, отчетливо запечатлел в памяти две вещи, которые исполнял Шаляпин: «Два гренадера» и «Как король шел на войну».

У отца было много знакомых в Кисловодске — особенно дружил он с лейтенантом Губониным, молодым Георгиевским кавалером с погибшего «Корейца»

и А. И. Тартаковым. Последнего полюбил и я за его добродушие, постоянную ласковость и спокойную мечтательность.

Но особенную дружбу свел я с балетным дирижером Большого театра С. Я. Рябовым, который отдыхал в Кисловодске вместе со своей старушкой женой. Рябова я знавал еще раньше по Москве, когда он изредка бывал в нашем доме. Почти ежедневно по утрам мы разгуливали с Степ. Як. по Царской площадке и вели разговоры. О чем были эти разговоры, сказать теперь не сумею, но, очевидно, Рябова тогда занимало гулянье с таким малолетним собеседником, а меня вся его величавая наружность, острая седая бородка и навощенные в ниточку усы à la Napoléon III и светло-серый постариковски щеголеватый сюртук. Были тогда в Кисловодске и курьезные типы, бросавшиеся в глаза; среди них запомнились два морских офицера, братья Келлер, так же, как Губонин, Георгиевские кавалеры, но с крейсера «Варяг». Они были поразительно похожие друг на друга, близнецы, чем они и козыряли, не только одеваясь совершенно одинаково, но и копируя манеры друг друга. Когда они появлялись в театре или на музыке, то всегда одновременно входили в помещение по двум боковым проходам с тем расчетом, чтобы встретиться в середине первого ряда, где и находились нарочито купленные им места. Другим курьезом был кавалергардский ротмистр принц Луи Наполеон в непомерно высокой офицерской фуражке и с совершенно ничего не выражавшим лицом. Он казался каким-то неживым, — словно фигура из паноптикума, чудом ожившая, он величественно двигался сквозь толпу гулявших, гремя своей саблей и поблескивая огромным моноклем.

Кисловодский сезон близился к концу. С каждым днем в парке делалось все меньше и меньше народу. Публика разъезжалась. Уехали Павловские со Смирно-

вым, наконец, уехал и отец, оставив нас с матерью, братом и нянькой одних. Горничная девушка также нас покинула, сославшись на то, что ей здесь скучно. Начались дожди. Как-то вечером, сидя на своей «Красотке», мы услышали стук в дверь и какой-то разговор в передней. Каково было наше изумление, когда в комнату неожиданно вошел брат отца Сергей Александрович. Его приезд оказался лишь его очередной эксцентричностью. В октябре месяце он вдруг, сидя в Москве, решил проехать на Кавказ, проведать мою мать. Дядя прожил в Кисловодске недолго — с неделю, не больше, но за это время он успел осмотреть все достопримечательности и возил меня с собой на Седло-гору смотреть восход солнца и в Пятигорск на лермонтовские места. Исчез он с нашего кисловодского горизонта столь же неожиданно, как и появился. Глубокой осенью Кисловодск окончательно опустел. Мы перебрались из нашей летней дачи в огромную каменную дачу той же Барановской «Мавританию», заняв в ней несколько комнат. Жизнь мы вели с матерью самую скромную — утром она занималась со мною уроками, затем мы шли обедать в единственную гостиницу, где съедали два обеда по 75 копеек, потом она занималась домашними делами, а я ехал верхом, вечером, после скромного домашнего ужина, мать писала письма, а я занимался своими делами — обычно вырезыванием из газет и наклеиванием картинок о русско-японской войне. Отец присылал из Москвы ежедневно письма и раз в месяц деньги.

В Кисловодске я впервые ощутил писательский зуд в пальцах. Мне захотелось не только читать, но и самому писать книжки. Помню, что я долго размышлял о том, что и как писать, обмениваясь своими мыслями с матерью. Наконец я пришел к решению издавать ежемесячный журнал. Помню, что дело дальше второго или третьего номера не пошло. Писал я в нем сразу три повести с продолжением. В чем в них было дело — ей-

Богу, не помню. Знаю только, что эта затея тогда на лад не пошла.

Помню, однажды денежный перевод из Москвы запоздал — мы остались без единого гроша, но свет не без добрых людей — местный почтмейстер предложил ссудить мать деньгами, на что она с благодарностью согласилась.

После закрытия гостиницы на зиму у нас появилась кухарка Татьяна, кубанская казачка, красивая и мужественная. Ее муж служил городовым и приходил к нам ночевать по субботам. В воскресенье у нас бывал «улучшенный стол» — курица, утка или поросенок, которых Татьяна покупала на базаре живыми и приканчивала их без особых хитростей и возражений. Но подобное блюдо среди недели неизменно вызывало непонятный для нас протест с ее стороны. Секрет этого явления открыла нам нянька. Оказывается, Татьяна умела лишать¹ всю эту живность, исключительно пользуясь шашкой своего мужа, а так как среди недели он не появлялся, то задача была для нее непосильной.

Ближе к Рождеству, на праздник приехал к нам на побывку отец — он привез с собой несколько ящичков всевозможных яств и целый бочонок солонины, до которой был большой охотник. Чего-чего только не было в этих ящиках — и всевозможные конфеты от «Эйнем», и всяческие колбасы, сыры, рыба, и консервы от Елисеева, и разные бакалейные товары, невиданные в то время года в Кисловодске. Отец лишь не захватил вина. Долго не раздумывая, он через несколько дней сел в поезд и отправился в Ростов-Дон, откуда в багаже привез целый ящик кахетинского, но, увы! в эту ночь был сильный мороз и вино все померзло в багажнике. Делать нечего — пришлось ему пить мороженое вино. Хуже было дело с солониной. Содержавшую ее бочку

¹ Так в подлиннике.

поставили на мороз на нижнюю террасу. В одну из ближайших ночей с Крестовой горы спустились волки и славно ею поужинали — недаром они до и после этого угощали нас по ночам своими руладами, которые, кстати, совсем не мешали нам спать.

Приближалось Рождество, хотелось справить его по-московски с елкой, а дерево подобной породы было там редкостью, пришлось ограничиться сосной, добытой с невероятными трудностями и водруженной в бочку с камнями. Украшения для этой «елки», естественно, изготовили мы лично с матерью — золотили орехи и сосновые шишки, вырезали фигуры из цветной бумаги. Свечи раздобыли в церкви. В конечном же итоге «елка» вышла хоть куда, а главное, было уютно и празднично и все были вместе. После праздников, в начале января, ввиду того, что здоровье брата значительно поправилось, было решено ехать домой в Москву, и мы наконец окончательно распростились с Кисловодском.

По возвращении домой жизнь в нашем доме быстро вошла в свою обычную колею. Снова начались обычные выезды отца с матерью, субботние и воскресные приемы гостей. За время отсутствия матери отец свел их почти на нет, но все возрастающий круг его знакомств не только в Москве, но и в Петербурге и в провинции заставлял делать исключения для приезжих. Так как наибольшее количество приезжавших в Москву были петербуржцами, то они в наше отсутствие особенно часто появлялись в доме на Лужнецкой.

Росли коллекции музея, и одновременно росла его известность. Все больше и больше не знакомых с отцом лиц стремились попасть в музей и осмотреть его. Так, например, во время нашего отсутствия на Кавказе, однажды в воскресенье раздался эвонк входной двери — отцу доложили, что его просят две молодые барышни. Отец вышел и спросил, что им угодно. Одна из них, краснея и смущаясь, объяснила, что они из

Петербурга, недавно кончили балетную школу и очень просят разрешить посмотреть музей, о котором много слышали. Отец пожелал узнать, с кем он имеет дело.

— Видите ли, — сказала старшая, — я Анна Павлова, а это моя подруга — Тамара Карсавина.

Отец улыбнулся и сказал, что он и о них также много слышал и с радостью покажет им свое собрание. С этих пор у отца завязалась дружба с этими замечательными русскими балетными артистками.

Помню, вскоре после нашего приезда из Кисловодска наступил день моих именин. К вечернему семейному ужину собрались гости — ближайшие родственники и знакомые. Одним из последних приехал муж моей матери-крестной, который сообщил, что где-то в центре Москвы с час тому назад произошел какой-то взрыв, что, когда он выезжал из амбара на Варварке, все бывшие на улице отчетливо его слышали. Сидели, думали и гадали, что бы это могло быть, и поджидали почему-то запоздавшего В. К. Трутовского. Дорога ему из Кремля, где он жил, была не дальняя, и все удивлялись, почему он заставляет себя ждать. Наконец прозвучал звонок в передней и появился долгожданный гость. Он немедленно подошел к отцу с матерью и сообщил им что-то вполголоса. Оживленный разговор в комнате сразу почему-то оборвался, и я под каким-то удобным предлогом был сейчас же удален из комнаты. Я сидел в наших комнатах с братом и ждал, когда меня, виновника сегодняшнего торжества, позовут обедать, а меня все не звали. Предполагая, что что-то не готово на кухне, я отправился вниз к Авдотье, но там увидел, что прислуга почему-то стоит группами с перепуганными лицами и о чем-то беседует вполголоса. При моем приближении разговор смолк. Сообразив, что произошло что-то неладное, я отправился скорее снова вверх и столкнулся в буфетной с шедшей меня разы-

скивать нянькой. В этот момент из боковой двери вышел Трутовский. Нянька обратилась к нему:

— Что это, Владимир Константинович, правда говорят, что сейчас убили великого князя?

— Да, правда,— серьезно ответил Трутовский. Нянька перекрестилась.

В этот день именинный ужин прошел без обычного оживления и гости скоро разъехались.

Впоследствии я узнал, что Влад. Конст., направляясь к нам, только что миновал царь-пушку, когда мимо него проехала карета вел. князя Сергея. Не успел Трутовский дойти до Чудова монастыря, как был оглушен взрывом бомбы Каляева. Он поспешил обратно и один из первых увидел ужасное разрушение, причиненное адской машиной. При нем начали собирать то, что осталось от вел. князя и его кареты — останки находили всюду, но лишь на третий день сообразили взглянуть на крыши арсенала и окружного суда, где, как известно, были найдены часть черепа и мозги московского генерал-губернатора.

Кончина великого князя всколыхнула Москву от верха до низа. Это был, как-никак, первый террористический акт над членом императорской фамилии после смерти Александра II. Вместе с тем состояние тогдашних умов было таково, что общество ждало, что Каляев не будет казнен. Живо обсуждался факт посещения великой княгиней Каляева в тюрьме. Строили предположения о содержании их беседы. Великая княгиня была убита трагической потерей мужа. Было широко известно, что вел. князь получил незадолго перед смертью анонимное письмо о готовящемся на него покушении с предупреждением, чтобы он выезжал из дворца один в экипаже, дабы не подвергать опасности сопровождающих его лиц. Великий князь внял этому и стал выезжать один. Мне хорошо известно, что великая княгиня ходатайствовала перед царем о полном

помиловании Каляева, но царь категорически отказал, находя такой исход дела несвоевременным и разлагающим. Винили в этом решении Победоносцева.

Помню, как, едуци в город, я долгое время наблюдал длинный хвост москвичей от Малого Кремлевского дворца через Спасские ворота и до Никольских, стоявших в очереди, чтобы проститься с останками великого князя. Эти останки представляли из себя чучело, лежавшее в пышном гробу и покрытое дорогими покрывами. Для обозрения приходивших из-под тканей была высунута рука в обшлага преображенского мундира. А действительные собранные останки великого князя едва ли были в состоянии наполнить и десятую часть гроба. После положенного срока состоялись торжественные похороны, и Москва так же быстро забыла о происшедшем, как в свое время и взволновалась.

Мрачные шутники стали рассказывать, что рука великого князя была взята взаймы из анатомического театра и что 4 февраля великий князь Сергей впервые в жизни раскинул мозгами.

Стушевывалось впечатление от происшествия и в нашем доме. Весной, как обычно, мы собрались в Гирееве. В этом году мы переехали на дачу довольно поздно, так как родители не хотели рисковать здоровьем брата, пока погода окончательно не установится.

В Гирееве на этот раз мы с матерью снова жили недолго. Желая ее развлечь после почти годового сидения в Кисловодске, отец предложил остаться с моим братом в Гирееве, а нам, захватив с собой младшую сестру матери, поехать за границу в Германию, на курорт. Избран был город Цоппот, куда ежегодно на месяц ездили Павловские и где находились и в то время. Сборы были недолгие, и вот мы уже в поезде. По пути мы остановились на несколько дней в Берлине.

Помню, как в этом городе со мной произошел забавный случай. По-немецки я не говорил и не пони-

мал ни слова. Однажды мать с теткой решили отправиться за покупками, оставив меня одного в гостинице. Уходя, они точно указали время, когда возвратятся. Но, разумеется, хождение по магазинам — дело дамское, и очень скоро про часы и про меня было забыто. Я же, дождавшись условного времени и не видя и признака их возвращения, начал выказывать первые робкие признаки беспокойства. С каждым получасом это беспокойство росло в геометрической прогрессии, а пылкое воображение рисовало одну картину мрачнее другой. Я уже видел себя одним-одинешеньким в чужой стране, в незнакомом городе, без языка, принужденным разыскивать трупы своей матери и тетки. Короче говоря, когда мои дамы возвратились домой с трех- или четырехчасовым опозданием, они застали меня всего в слезах. Не знаю почему, но ни заграница, ни Берлин, ни даже Балтийское свинцово-грязное море не произвели тогда на меня особого впечатления. Помню только, что меня поразило обилие военных, приторная чистота и вонючие сигары.

Помню, как на морском горизонте Цоппота стояли малюсенькие, еле видимые военные корабли, которые одним прекрасным днем с утра начали отчаянную пальбу. Оказалось, что на рейд на своей яхте «Гогенцоллерн» прибыл император Вильгельм II. Курортные немцы немедленно невероятно всполошились и все куда-то пропали. Через час они стали появляться вновь расфуфыренные и разодетые в пух и прах, словно у Вильгельма только и дела было, что рассматривать набережную Цоппота в подзорную трубу.

Отец писал матери ежедневно, сообщая о здоровье брата и о собственном самочувствии. Вдруг стали приходить письма, где отец стал писать о брате как-то туманно и неопределенно. Мать заподозрила недоброе и запросила о здоровье брата телеграммой. Отец сделал вид, что депеши не получал. Тогда мать немедленно

прервала наше пребывание в Цопотте и сообщила в Москву о нашем выезде.

На вокзале нас встретил отец, который со смущенным видом сообщил, что брат был короткое время болен желудком, но теперь поправился и только вот накануне нашего приезда немного простудился. В Гирееве мы нашли все в относительном порядке, брат немного похудел после перенесенной дизентерии, страдал немного насморком при небольшой температуре. Приехавший из Москвы врач окончательно успокоил родителей. На другой день температура увеличилась, на следующее утро стала еще выше. Мать начала доискиваться причин простуды — оказалось, старуха нянька пошла с ним гулять в лес, где он некоторое время сидел на сырой земле. Был снова вызван врач, который на этот раз отнесся к состоянию здоровья брата более серьезно. Прописал какие-то лекарства, за которыми срочно послали в Москву, и сам сказал, что приедет на другой день. На следующий день температура была высокая, брат вяло реагировал на шутки и приветы. Я куда-то ушел из дому и когда возвратился часа через два, то, еще не входя на территорию нашего участка, услышал дикие крики брата. На мои взволнованные вопросы мать ответила мне только, что брату очень плохо и что доктор с ним. Оставался на балконе дачи я не долго, так как был не в состоянии вынести совершенно звериные крики брата. Я забрался в самый отдаленный угол нашего участка и ходил взад и вперед вдоль плетня, отгораживающего нас от дачи материкрестной. Там крики брата были почти не слышны. Время от времени я со страхом подходил ближе к даче и тут, заслышав его голос, бежал обратно. Часа через три крики смолкли, но я все не возвращался домой, решив ждать момента, когда доктор поедет обратно в Москву — выходная дверь была от меня видна. Наконец уехал и доктор. Только тогда я решил проникнуть

в дачу и незаметно вошел в комнату брата. Никого из старших в ней не было. Спущенные легкие занавески, освещенные заходящим солнцем, мягко колебались от дуновения летнего ветерка. На постели лежал брат и спал. Но почему-то он был тщательно причесан и одет в праздничную белую матроску. Я подошел к нему ближе и внимательно взгляделся. Веки не были закрыты до конца, и внизу были отчетливо видны белки и часть его голубых глаз. На его лице я впервые увидел то выражение величавого, мудрого, торжественного спокойствия, которое означает конец всякой суеты и серьезность момента. Я понял все и пошел искать мать. Она сидела на балконе в плетеном кресле, заключила меня в объятия и, проговорив: «Опять мы с тобой одни», заплакала.

Все подробности похорон брата живо остались в моей памяти. Это была первая смерть, которую я видел и близко чувствовал. Трагический конец брата от заворота кишок по недосмотру врача потряс и всех старших, близких к нашему дому. Мать была в отчаянном состоянии. Насчет ее здоровья обеспокоенный отец советовался с врачами. Рекомендовали перемену обстановки. Оба деда советовали отцу то же. Со свойственной ему решительностью отец быстро привел свои дела в порядок и одним прекрасным утром объявил матери и мне, что через несколько дней мы отправляемся в длительное путешествие за границу. Переезд с дачи, Москва, сборы в дорогу промелькнули молниеносно, и одним августовским дождливым днем, в самый разгар мирных переговоров России с Японией, мы тронулись в путь.

В горе люди делаются суеверными. Каким-то образом в зиму этого года родители, засуетившись, не приглашали к себе в дом икону Иверской. Моя мать всю жизнь держалась убеждения, что смерть брата — напоминание, что в жизни есть вещи посерьезней светских удовольствий.



Как это ни странно, но именно в этой заграничной поездке, длившейся более трех месяцев, я впервые начал узнавать своего отца. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. В Москве я видал его урывками — он вел чересчур рассеянную жизнь, в равной степени перегруженную делами и развлечениями, причем последние обычно использовались им также с деловой точки зрения, то есть повидать кого-либо, поговорить с кем-либо о чем-либо, выпросить что-либо для музея и так далее. На даче всецело в распоряжении семьи отец бывал лишь в воскресенье, когда у нас обыкновенно гостил всегда посторонний народ. Здесь же, за границей, отец долгое время был исключительно с нами и если где и бывал, так также со мною и с матерью. Да и я уже достиг такого возраста, мне шел десятый год, что был в состоянии задавать вопросы и интересоваться многим, а также и запоминать ответы.

Мои воспоминания об отце как-то делятся на три периода, первый из них охватывает время до окончания мною средней школы. В это время отец относился ко мне как к ребенку. После окончания мною школы отец уже начал относиться ко мне как к младшему товари-

щу, как к помощнику по собирательству музея, как к юному коллекционеру и начинающему театральному деятелю. Третий период уже послереволюционный, когда отец стал смотреть на меня как на взрослого, равного ему. Эти периоды настолько различны, что смешивать их никак невозможно и об них приходится вспоминать по отдельности в разных местах.

Отец не обладал даром рассказа, но вместе с тем его речь была всегда чрезвычайно характерна и образна, так что легко запоминалась. Он не особенно любил говорить о себе, а тем более вспоминать моменты из своей биографии, но порой, к слову сказать, вдруг раскрывал страничку из своего прошлого. На задаваемые вопросы отвечал охотно, но скупо. Неоднократно его подбивали писать свои воспоминания, но он только отмахивался.

— Какой там воспоминания, на неотложные дела-то времени не хватает! — говорил он.

Страстно любя старину и прошлое, он сам лично был всецело человеком настоящего, человеком текущей минуты и в прошедшем ценил лишь его значение для современности и будущего.

Помню, в последние годы своей жизни он с особым рвением отыскивал для своего музея всевозможные материалы по технике сцены прошлого. Откопав где-либо какой-нибудь масляный фонарь для освещения рампы или чертеж устройства грома или водопада, он бывал в восторге.

— Ведь это очень важно, — восторженно говорил он, — на этом люди учиться будут!

Несмотря на крайнюю ограниченность высказываний отца об его прошлом, все же попытаюсь по его рассказам восстановить главнейшие моменты его жизни.

Наиболее ранние воспоминания моего отца были связаны с театром. Моя бабушка, страстная меломанка,

неизменно абонировалась на все представления итальянской оперы, на ложу. Дед с ней в оперу не ездил, он вообще редко посещал театр и уж когда в него попадал, то в Малый. Ездить одной бабке было скучно, и она брала с собой детей. Благодаря этому отец чуть ли не с шестилетнего возраста был постоянным посетителем Большого театра, где перевидал и переслушал всех знаменитых итальянцев 70—80-х годов, гастролировавших в Москве: Патти, Лукка, Мазини, Таманьо, Котоньи. Голос Мазини, его блестящая техника и редкий тембр остались в памяти отца на всю жизнь.

— Мазини, кто его слышал, — рассказывал отец, — забыть нельзя. Только слушать его надо было с закрытыми глазами. Пел любовников, а сам урод был редкий.

Впоследствии отец был большим поклонником Девоёда. Баттистини он признавал, но говорил:

— Хорошо, но это уж не тот коленкор!

Будучи по натуре человеком очень музыкальным, с почти абсолютным слухом, отец уже с детства страстился к музыке. Дед не поощрял этих наклонностей своих детей, считая их «блажью» и «не мужским делом», но бабка покровительствовала интересу к музыке у своих сыновей. Когда дед уходил из дому на фабрику, она тайно учила отца и его младшего брата Сергея игре на рояле. Не будучи самодуром и обладая недюжинным здравым смыслом, дед впоследствии внял заверениям, что его сыновья обладают серьезными способностями в области искусства, и, уверившись, что это не «блажь», разрешил им в свободное время учиться, чему они захотят. Старший брат отца стал изучать живопись — он впоследствии недурно писал маслом, отец занимался игрой на арфе и пением — у него был приятный баритон и абсолютный слух, а младший брат отца избрал скрипку.

— Брата Сережу, — вспоминал отец, — учил маленький серьезный старичок, знаменитый Кларрот,

первая скрипка оркестра Большого театра. Мамаша чрезвычайно уважала Кламрота. После урока его всегда приглашали в ее комнату, где угощали чаем с ромом из любимой мамашиной чашки. Иной раз в благодарность он вынимал скрипку из футляра и играл что-либо специально для мамаши. Она всегда в таких случаях была страшно довольна — да еще бы — он играл как Бог.

Когда отец подрос, он был отдан приходящим в частную гимназию Креймана на Петровке в доме Самарина. Это учебное заведение было выбрано потому, что в нем учился сын старшего брата деда Петра Алексеевича и многие из детей крупного родовитого московского купечества. Постановка дела в нем была довольно серьезна, но на всем лежал отпечаток некоторой домашности.

— Бывало, — говорил отец, — в день рождения старика Креймана все учителя и ученики собирались в гимназию особенно рано и потихоньку проходили в его квартиру в кабинет, который весь убирался гирляндами из дубовых листьев, живыми цветами и прочей ерундой. К началу первого урока надо было все кончить и отправиться в класс как ни в чем не бывало. Во время этого первого урока являлся кто-либо из преподавателей и сообщал, что Крейман просит прервать урок и пожаловать к нему. Собирались все в залу. Когда гимназия была в сборе, выходил Крейман в праздничном сюртуке, в ермолке, растроганный и благодарил всех. Кто-либо из учеников читал ему приветственные стихи — иногда двое или трое, каждый своего сочинения. Затем Крейман объявлял, что уроки сегодня отменяются и что вечером он просит всех к себе на вечер с танцами. Вечером все снова являлись в гимназию, где танцевали часов до двенадцати ночи с хорошенькими дочерьми Креймана и их многочисленными подругами, а учителя играли в винт. Угощали чаем

с конфетами и печеньем и фруктовыми водами. Учителям и старшим ученикам предлагали пиво.

По словам отца, кое-кто из учеников был вхож к Крейману и не в столь официальные дни. Старик иногда звал некоторых учеников к себе вечером в воскресенье помузицировать и повеселиться с его дочерьми. Отец и его брат Сергей неоднократно удостаивались этой чести. Бывало на таких вечерах весело и непринужденно.

Преподаватели в гимназии были неплохие, но некоторые обладали странностями. Отец уже тогда увлекался театром, об этом знали в гимназии. Однажды он был вызван в классе отвечать урок по греческому языку.

— Задает мне вопрос учитель, — вспоминал отец, — я ни бельмеса не знаю, задает другой — я молчу; задает третий — отвечаю невпопад. Наступает длинная пауза. Учитель берет перо и думает. Наконец говорит: «Хорошо, а теперь спросим вас по вашему предмету. Как имя, отчество Федотовой?» — «Гликерия Николаевна». — «Так, а Медведевой?» — «Надежда Михайловна». — «Верно, а Ермоловой?» — «Мария Николаевна». — «В чем она дебютировала?» — «В пьесе Лессинга «Эмилия Галотти». — «В какой роли?» — «В роли Эмилии Галотти». — «Свой предмет знаете — это отлично!» Поставил мне 5 и больше ни разу не вызывал, а при переходе из класса в класс ставил 3 и не спрашивал.

В классе отец сидел на одной парте с братом. Перед ними сидел мальчик Петруша Постников, с которым они постоянно дрались. Он был единственным из школьных товарищей отца, с которым он не потерял связи впоследствии.

Известнейший московский хирург Петр Иванович Постников порой бывал в нашем доме как гость и вызывался неизменно в случае болезни кого-либо, где требо-

валось хирургическое вмешательство. Лично я помню его с малолетства. Совершенно лысый, с приплюснутым носом и гнусавым голосом, он появлялся у нас своей быстрой переваливающейся, шаркающей походкой, с черной шелковой ермолкой на голове. Говорил он отрывисто и чрезвычайно громко — кричал. Противник полумер, он всегда применял радикальные средства и обычно с успехом, так как вообще говорили, что у него «рука легкая».

Помню, когда мне было лет шесть, я поскользнулся на улице и очень неловко унал. У меня заболела нога, боль медленно проходила, а когда прошла, я начал хромать. Призванные доктора щупали меня, качали головами и разводили руками, констатируя, что мне грозит костный туберкулез и что нога перестанет расти. Тут был вызван Постников. Он быстро прощупал мою ногу — пальцы у него были особые, словно без костей и, казалось, проникали куда-то под кожу.

— Пустыки,— заорал он,— йоду, согревающий компресс из йода!

Он тут же все предписанное самолично проделал со мной с исключительной ловкостью. Больно было ужасно, жгло отчаянно, когда через очень короткий срок компресс был снят — нога оказалась без кожи. Ее чем-то смазали, и очень быстро весь болезненный процесс был ликвидирован и никогда не возобновлялся. Позднее у меня был нарыв на ноге, который никак не проходил. Пробовали компрессы, вытягивающий пластырь — ничего не помогало. Я был отвезен отцом к Постникову. Меня очень забавляло, как они называли друг друга «Петрушей» и «Алешей», уменьшительным именем, которым отца звали лишь немногие знавшие его в детстве. Петр Ив. осмотрел больное место и попробовал отдернуть намертво присохший к болячке вытяжной пластырь. Я поморщился от боли.

— Ну, ну, не криви морду-то,— заорал он,— а то!..— И как дернет пластырь изо всей. Я заорал.

— Ну, теперь ори — все в порядке! — Постников держал в руке пластырь и рассматривал его — весь очаг заразы был им выдернут с тряпкой вместе. Через несколько дней я был здоров.

Много, много лет спустя, уже после революции, я как-то встретился с П. И. Постниковым на рыбной ловле на озере Сенеж. День был ветреный, и выезжать на озеро не было смысла. Мы сидели на веранде гостиницы и отдыхали. Я спросил Петра Ивановича, какие были самые трудные операции в его жизни.

— Трудные или сложные? — выкрикнул он вопрос.

— Расскажите уж и то и другое.

— Расскажу уж сразу о самой трудной и самой сложной. Человек ехал в карете и высунулся из окна крикнуть кучеру, что он не туда заворачивает. В это время встречный ломовой, у которого задурила лошадь, въехал ему концом оглобли в рот. Хорошо еще, что он успел откинуть голову, но все равно во рту было черт знает что. Пришлось разбираться во всей этой каше и определять что к чему: зубы, десны, небо — все это перемешалось. Ну... разобрался — поставил на ноги...

Рыбу ловил Петр Иванович на Сенеже обычно один, выезжая в самые невероятные, лишь ему одному известные места, не посещаемые другими рыболовами, но приезжал обратно почти всегда с крупными экземплярами.

Человек он был необычайной физической силы — разгибал подковы, железного здоровья и необузданного, буйного характера. В молодости, подвыпив, в Крыму он на пари спрыгнул спиной с Байдарских ворот. После прыжка, когда его несли в ближайшую больницу, он молил, чтобы его убили — столь болезненная была эта переноска, так как добрая половина костей была у него переломана, но через короткое время он

снова был здоров, и единственным воспоминанием о прыжке остались шаркающая походка и приплюснутый нос.

Как-то у нас, выпив лишнее, а пил он зверски, он надебоширил при игре в железку, после чего мои родители на долгие годы изгнали эту игру из дома.

Умер Петр Иванович в конце 20-х годов — у него была какая-то сложная и серьезная внутренняя болезнь, от которой он должен был немедленно скончаться, но он пережил несколько операций и обманывал докторов и смерть года три.

С другими своими товарищами по гимназии отец навсегда потерял связь. Помню только лишь, что в году 1913-м, когда отец заведовал городским Введенским народным домом, в котором справлялся 100-летний юбилей саперного батальона, к нему в антракте подошел представительный генерал весь в лентах и орденах. Он протянул к нему руку:

— Здравствуй, Алеша!

Отец смутился...

— Не узнаешь? Михельсон — третья парта справа!

Старые гимназические товарищи обнялись, обменялись несколькими воспоминаниями и разошлись, чтобы уже больше никогда не встречаться.

— Я не сразу его припомнил, — рассказывал отец, — так, в гимназии замухрышка был какой-то, — я его всегда колотил, а теперь — полный генерал!

Забавлялись в гимназии порой и довольно жестоко.

— Окна рекреационного зала в гимназии выходили на Петровку, — вспоминал отец, — как раз против ворот Петровского монастыря, где стоял стол, на нем икона с зажженной свечой и кружка. Рядом со столом сидел монах и клевал носом. Летом или весной мы, бывало, сделаем трубки из бумаги, нажует промокашки, нацелимся в монаха и дунем — промокашка прямо ему в морду. Он вскочит и ничего понять не может. А то

зимой за нами с Сережей, братом, приезжала лошадь из дому. Мы сядем и едем, а товарищи орут: «Бахрушины, подвезите!» — «Ладно, становись на запятки!» Кто-нибудь встанет — едем. «Давай мне книги, а то тебе неудобно держаться». — Возьмем книги. Как дорога пойдет под горку, шепнешь кучеру — вали поскорей. Он хлестнет лошадь, а мы пихнем товарища в снег. Лошадь бежит, а товарищ сзади: «Бахрушины, сволочи, отдайте книжки». Ну, помытаришь его, потом и выкинешь книги. Забавлялись — дураки были!

Отцу с братом многое в гимназии прощалось со стороны товарищей, так как их двоюродный брат Алексей Петрович был общепризнанной грозой заведения. Обладая большой физической силой и независимым характером, он держал в терроре половину учеников и преподавателей. В виде меры взыскания к нему часто применялся карцер. Сие ученическое узилище помещалось наверху на хорах. Однажды Ал. Петрович, будучи водворен туда для внушения, от нечего делать вскрыл стоявший там шкаф с учебными пособиями и обнаружил в нем человеческий скелет на подставке с колесиками. Дождавшись большой перемены, он неожиданно сбросил с хоров вниз злополучный человеческий костяк. Волею случая скелет упал прямо на колесики и покатился по залу, размахивая костяными руками и лязгая челюстью. Среди учителей и учеников произошла паника и давка. За этот проступок Ал. Петр. хотели исключить из гимназии, и лишь с большим трудом удалось замять дело.

Но наряду с подобными развлечениями в гимназии отец не прекращал своих выездов в театр с бабкой, а иногда и выезжал самостоятельно. Наиболее примечательным из последних было его присутствие на Пушкинском заседании в университете в 1880 году.

— Помню я выступление Достоевского, — рассказывал он, — впечатление от него было страшное. Не

столько от того, что он говорил, а как он говорил. Глаза горели, волосы растрепались, движения были какие-то резкие, неожиданные. После конца ему подали огромный лавровый венок. Зал с ума сходил от аплодисментов. Какая-то дама выбежала к эстраде, что-то крикнула и забилась в истерике. Ее вынесли. Выносили и других. Было как-то страшно. Он стоял, кланялся и вытирал пот со лба. А зал ревел от восторга. Я думал: как будет выступать следующий? Ведь его никто слушать не будет. Наконец Достоевский ушел, а шум все не прекращался. И вдруг на эстраду вышел, скорее выбежал И. С. Тургенев, остановился у самого края, поднял голову и обе руки вверх, как священник во время обедни, и застыл. Шум сразу прекратился, а он стоял и молчал — красавец старик с львиной копной седых волос на голове, а потом начал своим чарующим голосом: «Последняя туча рассеянной бури, одна ты несешься по светлой лазури...» Он зачаровал всех, и не знаю, как на других, а на меня, пожалуй, он произвел даже большее впечатление, чем Достоевский...

Отец учился хорошо, добравшись благополучно до 7-го класса, решил, что с учеьем пора покончить, о чем и заявил деду, сказав, что желает идти работать на фабрику. Для деда, фанатика своего заводского дела, последний аргумент был достаточно убедительным, и отца взяли из гимназии. Впоследствии всю жизнь отец жалел, что он не доучился.

— Дурак был, — говорил он, — надо было меня выпороть, а не брать из гимназии!

Так ли, иначе ли, но с этой поры началась взрослая жизнь отца. С самого раннего утра часов до пяти вечера он был занят на заводе, но зато по вечерам ему не надо было уже учить уроков, и он мог располагать собой как хотел. Правда, дед держался для своих детей правила: «Принимайте у себя дома кого хотите, но в гости ездите пореже», но это не распространилось на родню. Родней

же, и притом близкой, у московского купечества считались в те времена и внучатые племянницы, и двоюродные дяди свояков, и троюродные тетки золовок.

Отец, по отзывам лиц, тогда его знавших, умел быть занимателен в обществе, что в совокупности с природной веселостью и большим личным обаянием делало его желанным гостем в каждом знакомом доме. Он пользовался успехом в свете, в особенности у женщин, которым он оплачивал усиленным вниманием. Последнее обстоятельство заставляло его следить за собой — он всегда был по моде одет с некоторым налетом индивидуального вкуса, граничащего, но не переходящего в эксцентричность. Когда стали носить мелкие маленькие котелки, его котелок был немного мельче и меньше обычных, широкая шелковая тесьма, которой обшивался борт пиджака, была у него немного шире, чем у других, и его толстая променадная трость была чуть-чуть толще, чем у его знакомых франтов. Все же светское времяпрепровождение не отвлекало его ни от занятий музыкой, ни от театра. Даже, наоборот, в последнем отношении его диапазон значительно увеличился. Не ограничиваясь посещением оперы, он стал завсегдатаем Малого театра, где еще подвизались стареющие Самарин, Медведева, Акимова и Рыкалова и блистали Федотова, Никулина, М. Садовский, Ленский и где все ярче и ярче разгоралась ослепительная звезда Ермоловой. Как подлинный представитель своей эпохи отец всю жизнь хранил и унес в могилу восторженное преклонение перед Ермоловой, которую считал несравнимой и непревзойденной.

Все же годы отца не могли заставить его удовлетворяться одним созерцанием — хотелось самому действовать, пробовать свои силы. В то время московское купечество бурно увлекалось театром, любительские спектакли были самым модным развлечением, домашние театральные кружки нарождались, как грибы

после дождя. Был серьезный, полуделовой кружок Мамонтова, был таинственный и замкнутый Алексеевский кружок, был и родственный, но довольно-таки анархический и беспрограммный Перловский кружок. Отец вошел в последний — там он исполнял неаполитанские песни в какой-то оперетте, сам себе аккомпанируя на мандолине, пел партию Нелюско в «Африканке» и графа Неверра в «Гугенотах», этого последнего, по причине своей крайней близорукости, отец играл в пенсне.

Молодая купеческая Москва того времени веселилась искренно и беззаботно. Старики до поздней ночи сидели за своими конторками, пощелкивая счетами, проверяя грессбухи и изредка самодовольно бросая взгляд поверх очков на своих сыновей и внуков, которым природная сметка и настойчивый труд отцов и дедов позволяют беззаботно взирать на будущее. Молодежь же сменяла любительский спектакль на маскарадный бал или на гулянье на святках. Последние как-то особенно ярко запомнились отцом.

Бывало, — рассказывал он, — решим ехать ряженными. Выбираем куда-нибудь к родным подальше в Лефортово или в Марьину рощу. Рядимся долго, по всем правилам. С фабрики попросим у рабочих все полагающиеся костюмы, и бороду из мочалы для деда, и морду медведя, и козу. Я обычно бывал козой. Это подходило к моему росту. К заказанному времени подадут розвальни с фабрики, лошади с бубенцами, в ленточках, в бумажных цветах — это уж рабочие устроят... Соберутся родные, молодежь от дяди Петра Алексеевича напротив, из Садовников. Берем кое-кого из рабочих. Навалимся в сани как попало, и поезд саней в восемь — десять тронется в путь... «Христа славить». Приезжаем куда-нибудь, шум, гам, хохот, угощение, но мы спешим дальше — чем больше домов объедем — тем шикарнее. В пути так же безобразничаем. Помню

как сейчас, на Каланчевской площади у моста попали в какой-то затор. С нами рядом чья-то чужая карета. Толстый, важный кучер, а окна кареты открыты, и там какие-то хорошенькие девицы и две дамы пожилые — не то гувернантки, не то тетки, старые девы. Я сейчас свою козу просунул в окно кареты и лязгаю ею внутри. Там крик, визги, а лошади уже тронулись — поминай нас как звали! Приедем домой поздно. Мамаша, царство ей небесное! — сама веселая была и веселье любила, приготовит угощение для нас отдельно, но и фабричных, конечно, не забудет. Пойдут разговоры, обмен впечатлений: тот то-то сделал, тот то-то сказал — до поздней ночи».

Все эти забавы молодежи не обходились и без романтических приключений. Однажды мой отец рассорился со своим большим приятелем из-за одной барышни; дело почти дошло до дуэли, но вспыльчивость и добродушие обоих соперников позволили инциденту ликвидироваться мирным путем. Впоследствии приятель отца женился на этой барышне, и они оба до конца своих дней остались близкими друзьями отца.

В обществе, в котором вращался отец, кутежи и дебоши не имели места. Выпивали все умеренно — таково было строгое воспитание, и редкие случаи, когда «перекладывали за воротник», оставались надолго в памяти. Раз как-то отец, будучи у своего двоюродного брата, хватил через край — это было в первый раз в жизни. Жена его брата Наталья Петровна, большая его приятельница, увидав его состояние, предложила ему пройти к ней в спальню и лечь отдохнуть на кушетку.

«Я пошел покорно, — вспоминал отец, — да и как мне возражать, когда я лыка не вяжу. Иду, а кругом все крутится. Зашел я в спальню, а тут какой-то ковер, черт бы его подрал, под ноги попал, я зацепился и полетел прямо на кадку с Наташиной любимой пальмой. Паль-

ма эта чертова из кадки вылетела, земля вся на ковер — в одну сторону, тумба с кадкой — в другую. Я плюнул, думаю — важное кушанье, добрался до кушетки и сразу заснул. Просыпаюсь часа через полтора-два, очухался, кругом мерзость запустения. Поставил я тумбу на место, посадил пальму обратно в кадку и стал землю руками в нее насыпать. Спасибо, пришла горничная — я ее любимец был — она мне помогла все уладить. А через месяц заезжаю я к Наташе, а она мне говорит: «Знаешь, Леничка, какое у меня горе — моя любимая пальма что-то начала сохнуть и сохнуть и погибла — такая неприятность!» А я ни слова, только промычал что-то. Уж лет через десять признался ей, в чем дело».

Лет восемнадцати отец смертельно заболел. У него сделалось гнойное воспаление легких. Лечил его домашний врач, доктор Богуш, известный в Москве как сторонник abortивного лечения и опаснейший экспериментатор. Про его больных говорили, что они либо моментально выздоравливают, либо моментально умирают. Он-таки в конце концов уморил таким образом мою бабушку, свою пламенную поклонницу. Все меры, принимавшиеся Богушем в отношении отца, не давали никаких результатов. Наконец доктор решил вызвать деда и бабуку и сообщить им, что положение отца безнадежно, что он попробует еще одно, последнее средство, но оно едва ли даст какие-либо результаты. Бабушка робко спросила, не повредит ли больному, если к нему пригласить очень ею уважаемого о. Иоанна Кронштадтского, который в это время случайно был в Москве. Доктор возражать не стал, так как отец все равно третий день лежал в забытьи при температуре выше 40 градусов. Дед, хотя всю жизнь и недолголюбивавший попов, решил не препятствовать желанию жены и промолчал.

— Иоанн Кронштадтский приехал, — рассказывал отец, — что он уж там делал — Бог его знает, но только

я вдруг открываю глаза и вижу перед собой незнакомое лицо. От долгого ли пребывания без сознания или от чего другого, но мне почему-то показалось это лицо каким-то необыкновенным, словно в каком-то сиянии. Вот многие говорили про его глаза — глаза его не запомнились особенно — просто хорошие, добрые, голубые глаза. Он взял меня руками за голову, и стало так удивительно спокойно и приятно. Я глубоко вздохнул и вскрикнул от боли. Начался кашель, и из горла хлынул гной. Я снова потерял сознание. Когда я проснулся на другой день, то опасность уже миновала. Кто уж там помог, Богуш ли, Кронштадтский, но я был спасен, а мамаша была глубоко убеждена, что этим я обязан только Иоанну Кронштадтскому.

Как ни странно, но этот случай в жизни отца не пробудил в нем мистических наклонностей — очевидно, трезвая, искренняя религиозность деда и его семьи удержала его от этого.

Жизнь отца после болезни уже не потекла по прежнему руслу. Выздоровев, он снова возвратился в общество, но прежние увеселения перестали его удовлетворять, бывшие закадычные приятели потребовали пересмотра — многие из них стали казаться пустыми и ничтожными. Все ближе и ближе стал он сходитья со своим старшим двоюродным братом Алексеем Петровичем. Все теснее и теснее делалось его общение со своим сверстником, свояком Владимиром Васильевичем Постниковым. Последний хотя и любил выпить и покутить, но после смерти жены так же, как и отец, начал задумываться о целях жизни.

У Алексея Петровича по вечерам собиралась довольно избранная компания историков Москвы — здесь бывал и Забелин, и Ефремов, и Пыляев. Отец внимательно слушал разговоры и понимал, что в этом новом для него обществе обаяние и веселость недостаточны, что нужны знания. Он стал чувствовать, что он

купеческий неуч, и жадно набросился на книги. Коллекционерские интересы лиц, бывавших у Алексея Петровича, передались и ему — он захотел обязательно собирать, что, почему, как — безразлично, но собирать — изучать и создать себе серьезный интерес в жизни. Русская старина его мало привлекала, в ней было что-то шаблонное по тому времени. Он пленился экзотикой Востока, Японией, и не прошло много времени, как все его личные деньги начали тратиться на приобретение экспонатов страны Восходящего Солнца. Его холостая комната в Кожевниках стала напоминать восточную кумирню. На стенах висели шелковые вышивки, по сторонам стояла причудливая, но малоудобная мебель, тускло светили необыкновенные светильники и лампы, всюду виднелась затейливая бронза и тонкая слоновая кость. Посреди всего этого расхаживал сам хозяин в японском халате, а на стене висела его невероятных размеров японская соломенная рыбацья шляпа. Интерес к Японии сменился увлечением Наполеоном I. Восточные экспонаты стали постепенно исчезать и заменяться изображениями прославленного корсиканца, плоскостными и объемными, всевозможных существующих фактур. Наконец, произошел исторический спор с Куприяновым и началось созидание театрального музея.

Отец был иногда склонен приписывать это дело случаю, но в глубине души сознавал, что причины успешности его собирательства несколько иные, куда более серьезные. Вопрос о собирании театральной старины давно назрел в актерской среде, в особенности в коллективах Малого и Александринского театров. Попытки в этом направлении делались неоднократно. Наиболее серьезно занялся этим делом И. Ф. Горбунов. Однако ощутительных результатов они не принесли. Отчасти потому, что время еще не пришло, а отчасти и потому, что нужны были соответствующие

средства, энергия и инициатива. Отец, с малолетства регулярно посещавший театр, как нельзя лучше мог возглавить подобное дело, но без поддержки широких актерских масс едва ли бы у него что-нибудь вышло. Актерская громада его поддержала, сразу почувствовав, что театральное собирательство — его призвание.

За него он взялся со свойственными ему увлечением и энергией. Коллекция быстро росла, тем паче, что конкуренция отсутствовала. Давнее знакомство с Н. И. Музилом и случайная встреча с А. М. Кондратьевым послужили к популяризации молодого собирателя и его коллекции в театральных кругах.

Благодаря порядку в доме деда, согласно которому дети могли принимать кого хотели, в холостой половине отца стал появляться новый круг его знакомых. Все чаще можно было увидеть там шустрого и смешливого Н. И. Музиля или услышать густой бас и чертыханье А. М. Кондратьева. Посещали отца и театральные «генералы» в лице И. Ф. Горбунова и А. А. Рассказова. Часто стал к нему заглядывать историк театра А. А. Ярцев.

Все же молодость брала свое. Отец не замкнулся исключительно в себя, не ушел окончательно из жизни в узкую сферу своих интересов. Его, как и раньше, можно было встретить и на шумном бале, и на многолюдном гулянье.

На святках 1895 года близкие знакомые отца затеяли костюмированный бал. Как обычно у Байдаковых, все проектировалось «en grand»¹. Получил приглашение и отец. Он выбрал костюм козла, весь шик которого заключался в том, что в маске были спрятаны необычайные еще в то время маленькие электрические батареи, посредством миниатюрных лампочек освещавшие таинственным светом рога античного животного.

¹ На широкую ногу (фр.).

В этом костюме, сделанном из сплошной козьей шкуры, отец танцевал фанданго¹. На балу он сразу заметил юную красавицу, одетую в костюм «Folie». Поинтересовавшись узнать, кто это такая, он получил ответ, что это дочь Василия Дмитриевича Носова, суконщика, недавно окончившая гимназию. С сыном Вас. Дмитр. — Василием Васильевичем отец был давно знаком. Найдя его, он попросил представить его сестре. Знакомство состоялось. Отец пустил в ход все свое обаяние и веселость. Его собеседница смеялась и кокетничала. С этого дня отец понял, что он влюблен и что он нашел ту подругу в жизни, которая ему предназначена. В этом деле, как и во всем в жизни, он был энергичен и скор. Через двадцать дней на катке у Лазаревика на Петровке он вновь встретился со своим кумиром. Выделывая вдвоем причудливые фигуры на глянцеватом синем льду, отец поведал ей свои чувства и просил ее руки и сердца. Молодая красавица не ответила отказом, но просила несколько дней на размышление. Условились, что ответ будет дан 2 февраля на балу в Купеческом клубе, где оба собирались быть. В день бала по каким-то причинам дед, вообще никогда не ставивший препятствий своим сыновьям к выездам в свет, не пожелал, чтобы отец уезжал из дому, и объявил ему об этом со всей категоричностью. Отец выслушал приказ, но ответил, что он все равно поедет. Дед рассердился, ушел к себе и заперся. К отцу пришли сестры и стали уговаривать его не ехать и не огорчать папашу. Пришел с увещаниями и старший брат — отец, естественно, был непреклонен, но со всеми этими разговорами он смог выехать из дому очень поздно и попал в клуб лишь во втором часу ночи. Она была там и ждала его. Не сразу представился случай, чтобы услышать коротенькое

¹ Ф а н д а н г о — испанский народный танец, сопровождаемый пением.

слово «да». Когда наконец оно было произнесено, отец счел свое дело законченным на балу и поспешил домой. Сколь он ни спешил, на другой день немного опоздал на работу в контору на фабрике.

Когда он пришел, дед уже сидел за конторкой и что-то писал. На приветствие отца он не ответил обычным родительским поцелуем, а, не отрываясь от работы и не оборачиваясь, пробурчал что-то. Отец не двинулся с места.

— Папаша! — наконец проговорил он. — Поздравьте меня — я жених, я сделал предложение и вчера получил согласие!

Дед, не оборачиваясь, медленно разогнулся, слез с высокого табурета, прошел в угол к иконам и стал молиться. Наконец он повернулся к отцу — все его лицо было в слезах, он раскрыл свои объятия, сказал отцу:

— Поздравляю, дай Бог в добрый час, — и троекратно с ним поцеловался, только после этого он спросил:

— Кто она?

— Носова, дочь Василия Дмитриевича.

— Ну и слава Богу!

Брак был равный и не встретил никаких возражений среди родни. 15 марта мать в первый раз была в доме у деда — состоялся официальный сговор. В этот вечер отец, никогда не писавший сам в своем альбоме, на этот раз изменил своему правилу и отметил страницу краткой записью: «8 января 1895 г. костюмированный вечер у Байдаковых, 29 января в 4 ч. на катке у Лазаревика и 2 февраля в 2 ч. ночи на балу в Купеческом клубе. 15 марта 1895 года».

Отец не откладывал свадьбы в долгий ящик. Приготовления велись со свойственной ему энергией. Быстро происходило знакомство с будущей новой родней. Нареченный часто навещал свою невесту в Лефортове.

После сладких tête-à-tête'ов особенно тягостна и бесконечна казалась дорога в далекое Замоскворечье. Везла обычная одиночка с бессменным Ильей, кучером на козлах. Отцу хотелось говорить, изливаться, а никого не было, кроме старого Ильи.

Однажды отец заговорил с ним на волнующую его тему:

— Илья, ну что, видел мою невесту?

— Видел, Алексей Александрович!

— Ну, как, хороша?

— Хороша-то хороша, да только при ваших капиталах можно было бы выбрать пофундаментальнее.

Попытка излиться явно не удалась.

После свадьбы было решено в тот же вечер ехать за границу. В то время это было еще новшеством. Надо было обойти закон и заготовить до совершения брака заграничный паспорт на имя молодой жены. Отец поехал в канцелярию генерал-губернатора и упросил важного генерала Золотарева сделать это в виде одолжения. Золотарев обещал и сказал, что он паспорта заготовит, но они будут вручены после совершения обряда. Отец входил во все мелочи своей свадьбы, устанавливал меню обеда, редактировал приглашения, выработывал музыкальную программу для оркестра и церковного хора, лично составлял длинный список приглашенных.

Семнадцатого апреля, через месяц и два дня после стовора, состоялась свадьба и обед в Большой Московской гостинице. Свадьба была пышная, о ней говорила вся купеческая Москва — Замоскворечье роднилось с Лефортовым. Газеты поместили о ней фельетоны.

В церкви, стоя уже под венцом, отец вспомнил, что паспорта еще не присланы из генерал-губернаторской канцелярии, и стал планировать, кого бы за ними послать. Обряд кончился, к молодым стали подходить с поздравлениями. Вдруг сквозь толпу, сияя звездами

и орденами в ленте, продвинулся генерал Золотарев. Он поцеловал ручку матери, сердечно поздравил отца и протянул ему две маленькие паспортные книжки:

— А это — мой свадебный подарок!

Отец спросил его, будет ли он на свадебном обеде, приглашение на которое ему было послано.

— Увы! нет,— проговорил генерал,— ведь сегодня 25-летний юбилей Марии Николаевны Ермоловой — она играет Орлеанскую деву. Генерал-губернатор будет на спектакле, и я обязан на нем присутствовать.

В самом деле, отец в суете собственных дел забыл, что сегодня праздник русского театра, юбилей его кумира! Не долго думая, он взял из рук матери ее свадебный букет, выломал из него несколько цветов и, передавая генералу, сказал:

— Прошу вас, отдайте это Марии Николаевне, скажите, что это цветы из свадебного букета жены Алексея Александровича, который ее поздравляет!

Мать долго таила неприязнь к Ермоловой за этот поступок, пока не поняла того, кем была Великая Артистка для ее мужа.

Поздно вечером молодые укатили за границу.

Свадебная, и при этом первая, поездка моих родителей за границу вылилась в какую-то бешеную скачку по городам и странам Европы в погоне за впечатлениями и с желанием все увидеть за один раз. Достаточно сказать, что за свое месячное пребывание за рубежом они посетили не более и не менее как двадцать шесть городов. Ручаться не могу, но думаю, что они возвратились обратно с полным вишневым впечатлений в голове и с трудом были в состоянии припомнить, какое из них к какому месту относится. Все же, естественно, некоторые города запомнились особенно отчетливо, так как более других понравились.

По приезде в Москву из чужих краев молодые поселились в скромненькой квартирке на Бол. Яки-

манке. Вскоре дед Бахрушин подарил им пустопо-
рожный, принадлежавший ему участок земли на
углу Лужниковской и Зацепского вала и соответствую-
щую сумму денег для постройки собственного дома.
Но это было дело будущего. Через год молодые пере-
ехали в дом, принадлежавший деду, на том же участ-
ке, где должен был вырасти их особняк, ближе знако-
мясь и узнавая друг друга и в полной мере наслаж-
даясь новизной собственного самостоятельного хо-
зяйства.

В своей молодой подруге отец, к своей радости,
нашел искреннюю любительницу театра, готовую не
только делить с ним постоянные выезды в театр, но
и ревностно помогать его собирательству. На первых
же порах мать взяла на себя приведение в порядок
вырезок из газет о театре, собираемых отцом и храни-
мых им в общей куче. Она их классифицировала,
аккуратно обрезала, наклеивала на бумагу и отдавала
в переплет. Порой, когда вырезка была двухсторонней,
приходилось одну сторону переписывать от руки. Так
же систематизировала она и афиши. Круг театральных
знакомств моих родителей увеличивался с каждым
днем. В качестве приемного дня была выбрана суббота,
так как императорские театры в этот день не играли.
В этот день вечером в доме был скромный открытый
стол для званых и незваных. Театральная коллекция
отца быстро росла, принимая все больший и больший
размах, захватывая все новые и новые области теат-
ральной жизни. В 1897 году отец был избран членом
Театрального общества, и ему было поручено возгла-
вить Московское отделение театрального бюро. Это
назначение дало ему возможность значительно расши-
рить круг своих театральных знакомств и распростра-
нить свое коллекционерское влияние и на русскую
провинцию.

Земельный участок, подаренный дедом отцу для

постройки дома, дал ему возможность выставить свою кандидатуру в гласные Московской городской думы, в которую он был избран и где стал бессменным докладчиком по всем театральным делам.

Близился год 1899-й — подготавливалось торжественное празднование 150-летия основания русского театра. Празднества должны были происходить в городе Ярославле, на родине первого русского актера Ф. Г. Волкова, и готовилась обширная выставка по истории русского театра. Коллекции отца должны были в первый раз выступить публично, и его театральные друзья возлагали на нее большие надежды — предстояло держать экзамен. Еще не вполне крепко стоявший на своих детских ногах, молодой театральным музеем это испытание выдержал с честью. Около 30 всех экспонатов выставки носило этикетки с надписью «Собрание А. А. Бахрушина». Другие 30 процентов составляли собственность такого маститого собирателя, как Дашков, а остальные 40 экспонировались целым рядом других лиц и учреждений.

Отцу, как организатору выставки, пришлось проделать большую предварительную работу по собиранию экспонатов. Для этого ему понадобилось побывать в Петербурге и завязать целый ряд новых знакомств. Среди них едва ли не самым памятным для него было знакомство с Дашковым.

Сказочно богатый русский старый аристократ безвыездно жил в своем дворце на Невском, всецело посвящая остаток своих дней собирательству старинных вин и редких автографов. Прикованный злейшей подагрой не только к своему дому, но и к креслу, он ухитрялся быть в курсе всех новостей в России и постепенно делался легендарной личностью для современников. Говорили, что у него на откупе находятся камерлакеи всех министров, великих князей и даже царя, на обязанности которых было периодически доставлять

Дашкову ежедневное содержание корзин для ненужных бумаг, стоявших под письменными столами их хозяев. Утверждали, что именно этим путем в его руки попал протокол о необходимости введения в России конституции; подписанный наследником, будущим Александром III.

Рассказывали, что однажды Александр III, как известно, понимавший толк и вкус в хороших винах, задал Дашкову вопрос, правда ли, что у него имеется ром из погреба злополучного императора Петра III. Получив утвердительный ответ, царь попросил привести ему попробовать этого рома. Дашков на это заметил царю, что его ром столь почтенного возраста, что не привык разъезжать по чужим домам и, к сожалению, не сможет в этом отношении сделать исключение даже для русского императора. Царь расхохотался и весело проговорил:

— Ну, что ж поделаешь, значит, придется мне к нему заехать.

Спустя короткое время после этого разговора Александр III вдруг пожаловал к Дашкову. Знаменитый ром был немедленно извлечен из тайников подвала и водружен на стол. Царю налили крохотную рюмку, которую он с чувством просмаковал.

— А ну-ка, налей еще одну рюмочку, а то я что-то не распробовал! — после паузы заметил Александр III. Была налита и выпита вторая рюмка. — Да, хорош! — с чувством проговорил царь, — а ну-ка — еще одну! — Содержимое третьей рюмки последовало за двумя предыдущими. Воцарилось молчание. Наконец царь пододвинул свою рюмку и сказал: — Ну-ка, последнюю на прощанье!

— Хватит трех, ваше величество, а то наследнику ничего не останется! — вдруг отрезал Дашков и приказал убрать бутылку.

Наслышавшись подобных рассказов, отец не без

робости ехал к знаменитому коллекционеру — примет ли и как?

— Приезжаю, прошу лакея передать карточку, жду, — рассказывал впоследствии отец. — Приходит лакей, говорит: просят. Ведет меня по покоям в библиотеку — большая комната вся в шкафах, с лестницей кверху, на балкон. У столика в кресле сидит Дашков, ноги обернуты пледом, протягивает мне руку.

— Милости просим, очень, очень рад познакомиться, много слышал про вашу коллекцию, — большое дело делаете, побольше бы таких.

Ну, думаю, начало как будто хорошее. Рядом с Дашковым сидит какой-то благообразный старичок — он меня познакомил, оказался знаменитый Н. (отец назвал мне фамилию очень известного и уважаемого в то время сановника, но я ее забыл), я и понятия об этом не имел. Пошел общий разговор. Я о деле пока молчу — жду вопросов. Наконец старичок откланивается, Дашков рассыпается перед ним мелким бесом. Ушел. Тогда я решил заговорить с ним о деле. Как меня ни пугали, что у меня с ним ничего не выйдет и что он ничего не даст, а вышло наоборот, Дашков с первых же слов на все согласился. Полез в карман, достал связку ключей, выбрал один и говорит мне:

— Вы уж меня простите, попрошу вас, поднимитесь кверху: шкаф номер такой-то, такая-то полка, папка такая-то, принесите ее, а то у меня ноги!..

Это было доверие невиданное. Я пошел наверх, там все шкафы и в них коробки с надписями. Открыл я указанный шкаф, прямо на меня смотрят коробки, а на них надписи: «Пушкин», «Грибоедов», «Гоголь». Я не утерпел, открыл одну и взглянул — вся битком набита рукописями. Вот, думаю, мне бы. Достал указанную папку — принес. Сели, стали разбираться. Дашков позвонил, пришел лакей.

— Дай-ка нам красненького винца.

Принесли вино, лежит в какой-то корзине, откупоривали лежа, не трогая бутылки, — целое священнодействие. За вином разговор пошел оживленнее.

— Сколько у вас замечательных рукописей! — говорю ему.

Он усмехнулся:

— Да!.. Впрочем, рукописям можно только отчасти верить, хотя больше, чем словам, конечно. Вот вам, например, наверно, про меня говорили, что Дашков — скряга, не ездите к нему, все равно ничего не даст, а на самом деле все это, как вы убедились сами, — сплошная ложь. Вот тоже сейчас здесь старичок генерал сидел — почтеннейший человек, а вот у меня такое письмецо этого самого почтенного старца в собрании имеется, что он все бы отдал, чтобы только его получить и уничтожить. Я вот с ним беседую, а все думаю: а я ведь знаю, какой ты мерзавец!

Сидел я у Дашкова долго и увез от него массу интересных вещей! После окончания выставки я долго их у себя держал, — добавлял отец, — Дашков тогда очень болен был — я думал, может, умрет и тогда его вещи в музее останутся, но он выжил, и пришлось возвратить.

В Ярославле всеми волковскими торжествами управлял губернатор Штюмер, впоследствии стяжавший себе горемычную славу последнего царского премьер-министра. Отец в короткий срок сумел обойти и его и в особенности его жену.

— Она была дама с фантазиями и, черт ее знает, ко мне была равнодушна, — рассказывал отец, — я у них в доме был каким-то постоянным почетным гостем. Для меня устраивали какие-то обеды, пикники и прочие глупости. В самый разгар торжеств был у Штюмеров обед, и меня посадили на почетное место рядом с каким-то стариком. Это был знаменитый Сухово-Кобылин, написавший «Свадьбу Кречинского», ему тогда

было лет сто. Говорил он мало и был дряхл, но глаза у него горели, как у молодого человека, и вдруг движение сделает такое резкое, властное и молодое, сильное. Я тогда подумал: «Такой мог не только зарезать, но и обвинить в этом других!»

Ярославская Волковская выставка сыграла этапную роль в дальнейшем развитии театрального музея отца. С одной стороны, он окончательно уверился в серьезности и важности начатого им дела, а с другой — и окружавшие театр более широкие круги ближе познакомились, а некоторые и впервые узнали о существовании подобного собрания. Именно с этого времени начинается усиленный приток пожертвований в музей. Все многолюднее и разнообразнее делаются отцовские субботние собрания. Постепенно он начинает смотреть на все свои занятия и дела только с точки зрения их полезности для своего основного дела — собирательства по театру.

В ранний период моей жизни отец представляется мне всегда куда-то спешащим. Вставал он в половине девятого утра и в десять уже уходил в контору на фабрику. Около часу дня он возвращался, быстро завтракал и уезжал в город, то есть в Театральное бюро, или по делам музея, или на какие-нибудь деловые свидания. Дома он появлялся вновь около шести, наскоро переодевался, обедал и исчезал вновь на заседание или спектакль. Приезжал он поздно, а на другой день начиналось то же.

Быстрый рост театрального музея отца и недостаточность помещений для его размещения выработали у него страсть к перевескам картин и к перемонтировкам комнат. В таких случаях на вопрос посетителя, чем он занят, обычно следовал ответ: «Из двух аршин три делаю».

В начале это делание из двух аршин трех отзывалось исключительно на удобствах моей матери, но

с каждым годом захватнические инстинкты отца все возрастали. При постройке дома было задумано, что три полуподвальные большие комнаты отойдут под музей, а в остальном, смежном помещении будут располагаться служебно-хозяйственные и складочные комнаты матери. Очень скоро, однако, выяснилось, что места для собрания не хватает — под натиском отца мать уступала ему одно складочное помещение за другим. Затем дело дошло до жилого верха, постепенно превращавшегося в музей, потом начали сворачиваться служебно-хозяйственные комнаты, за ними последовали детские апартаменты, был занят коридор, буфетная и, наконец, даже конюшня и каретный сарай. Не надо забывать при этом, что с 1913 года дед отдал в распоряжение отца соседний дом, в котором когда-то я родился, и он был также забит вещами, книгами и прочими материалами.

В своем собирательстве отец держался принципов: «Доброму вору все впору» и «Все бери, а там после разберемся». Подобные установки рождали если не бессистемность и хаотичность, то во всяком случае необъемлемую разнохарактерность. Все, что имело хоть какое-нибудь отношение к театру, считалось отцом входящим в компетенцию музея. Таким образом, возник богатейший отдел музыкальных инструментов, отдел композиторов, литературный отдел, собрание театральных биноклей, дамских вееров, этнографический отдел и так далее. Естественно, что при подобной постановке дела никаких помещений хватить не могло. Отсюда и возникала необходимость в перевесах и перестановках. Редкие вечера, кроме суббот, когда отец оставался дома, обычно посвящались этому занятию и пользовались моей особой любовью. Я помогал отцу, подтаскивал какие-то вещи, передавал нужные инструменты — старшие увлекались своим делом и забывали отправить меня вовремя спать. В такие вечера к обеду,

как правило, приезжал молодой, жизнерадостный, красивый итальянец Вергилий Иванович Чекатто, бывший старший приказчик художественного магазина Аванцо, а в то время имевший уже собственный аналогичный магазин. После обеда отец с ним начинал работать. Оба снимали пиджаки, вооружались лестницами, молотками, гвоздями и веревками, и начинался дым коромыслом. Иной раз работа спорилась, и тогда я с любопытством смотрел, как знакомые комнаты меняли свой вид и превращались в совсем новые. Зато порой перестановка не ладилась — тогда происходили бесконечные споры у отца с Вергилием Ивановичем. В стремлении найти разрешение вопроса разорялись и другие комнаты, и все-таки ничего не выходило. В таких случаях раздосадованный отец отправлял меня спать, и я ложился в предвкушении встать пораньше и спокойно, не спеша осмотреть все сделанное без меня. Очень часто мое раннее вставание приносило мне разочарование — все вещи оказывались оставленными в том виде, как были, когда я ушел, и тогда музей закрывался «на перевеску» до следующего свободного вечера отца, который иногда выпадал только через полторы, две недели.

В не занятые перевеской и перестановкой свободные вечера и дни отца память сохранила мне его постоянно копошащимся в музее. Он разбирал какие-то корзины, полученные откуда-то, раскантовывал какие-то фотографии и рисунки, сортировал и разносил по отделам какие-то материалы или менял экспонаты в витринах. Чрезвычайно схоже изобразил его в то время за этим занятием В. А. Макшеев на карандашном рисунке в альбоме.

В отношении меня нельзя сказать, чтобы отец не обращал никакого внимания на мое воспитание, наоборот, он чрезвычайно внимательно относился к моему художественному образованию. Правда, благодаря это-

му его вниманию я в конечном итоге оказался обездоленным. Так, отец всячески поощрял мои посещения выставок и театра, но обязательно настаивал, чтобы я видел все самое лучшее. Если шла какая-нибудь пьеса, где не были заняты наилучшие исполнители партий и ролей, то меня на нее не возили. Я бывал только на тех выставках, где фигурировали лучшие художники или где были выставлены редчайшие коллекции. Подобное планомерное внедрение хорошего вкуса рано сделало меня очень требовательным и во многом подчинило его на долгие годы вкусу отца — к счастью, его вкус, постепенно выработанный им самим, был безупречным.

Просвещение меня в области музеев, как и вообще мое основное образование, всецело лежало на матери.

Моя мать была гордостью моего отца, так как она оказалась не только красивой, но и умной и хозяйственной. При художественных вкусах отца, он в первые же годы после женитьбы захотел иметь ее портрет кисти хорошего художника и ее скульптурное изображение. Художник выбирался тщательно. Отцу очень хотелось пригласить В. А. Серова, с которым он был знаком, но мать категорически запротестовала. Ее пугала деспотичность художника, и она говорила, что нипочем не станет в ту позу, в которую он, может быть, пожелает ее поставить, что она желает позировать так, как ей этого хочется. По этим соображениям Серов был отвергнут и приглашен К. Маковский. Мне доставляло огромное удовольствие присутствовать на сеансах, которые происходили в библиотеке. Мать в парадном темно-синем платье, по-вечернему причесанная, убранный, с улыбкой на лице, постепенно запечатлевалась на большом белом полотне. Приветливый, красивый старик художник быстро и ловко работал своими кистями. В перерывах сеанса я просил нарисовать мне что-нибудь, и он на краях портрета, которые были еще

белыми и не тронутыми кистью, рисовал мне кошек, свинок и собак. Но высшим моим наслаждением было пробраться в библиотеку, когда там никого не было, взять оставленные художником кисти и палитру и пририсовать или «исправить» что-нибудь из уже написанного. Я запоминал свои мазки и с трепетом следил на следующем сеансе, не заметит ли их художник. Если они оставались нетронутыми, я чувствовал себя вполне удовлетворенным. Маковский писал портрет матери долго — он вышел схожим и был мастерски написан, но страдал тем художественным однообразием и отсутствием характерности, которыми, как правило, отличались подобные работы этого мастера. В конечном счете трудно было определить, писан ли он с натуры или с фотографии. Гораздо большей художественной выразительностью отличался бюст матери, который лепил молодой, талантливый скульптор Серафим Судьбинин, бывший актер Художественного театра.

Судьбинин работал с увлечением и рьяно — он совершенно измучивал иногда мою мать, заставляя позировать ее часами. В другие дни работа у него не «задавалась» и он долго что-то переделывал и «искал» в бюсте — тогда он говорил матери, что поработает без нее. Оставшись один — я в счет не входил, он подолгу молча рассматривал свою работу. Иногда, чтобы развлечься, он быстро вылепливал мне разные маленькие статуэтки, часть которых цела у меня и донныне. Бюст был давно закончен, а Судьбинин все не ставил точки в своей работе, что-то ему не нравилось в выражении лица, хотя все находили сходство поразительным. Он бесцельно ездил долгое время, стремясь найти ускользавшее от него. Наконец он перестал и бывать у нас — бюст, завернутый в мокрую тряпку, одиноко стоял в зимнем саду. После длительного перерыва, как-то весной он снова появился у нас. В два коротких сеанса работа была закончена — скульптор нашел то, что

искал. Какой-то маленький штрих вдохнул жизнь и тепло в скользкую, холодную глину. Судьбинин был вне себя от радости, отец и мать также были поражены его произведением. Сгорая нетерпением скорее закончить работу, скульптор почти бегом отправился в нашу зацепскую аптеку, накупил гипсу и какой-то другой специи и приступил к снятию формы. Мать советовала ему съездить в город и купить гипс там, но он ответил, что этот материал везде одинаковый. Залив весь бюст гипсом, Судьбинин на несколько дней исчез. Через положенное время он приехал вновь, чтобы снять уже готовую форму. Первые же удары молотком по стамеске заставили его измениться в лице — застывшая масса превратилась в камень — очевидно, к гипсу была примешена известь. Все попытки отколоть от бюста хотя бы частичку формы не давали никаких результатов. Судьбинин бился над этим несколько часов и наконец в приливе отчаяния с силой ударил молотком по бюсту, который разлетелся вдребезги. Долгие годы осколки бюста с припаявшейся к ним корой гипса лежали у нас в ящике, внизу, потом они куда-то исчезли. Исчез из нашего дома навсегда и Судьбинин, не желавший, очевидно, вспоминать о постигшей его катастрофе. Он болезненно и глубоко переживал свою неудачу. Отец был также очень расстроен, но, на его счастье, он обладал отходчивым характером.

Вообще отец в тот период был крайне вспыльчив. Пылал он по всякому пустяку. Из-за не понравившегося ему обеда, из-за беспорядка на его письменном столе после уборки комнаты, из-за невыполненного распоряжения. Обычно весь каскад его пыла обрушивался на мою мать или на любого первого случайно встретившегося человека.

Наши горничные девушки великолепно знали эту особенность моего отца и зачастую, услышав издали его раздраженный голос и быстрые шаги, прятались за

открытую дверь, выставляя перед собой в виде ширмы мою толстую старуху няньку. Отец налетал на нее, в течение нескольких минут выпаливал ей несколько сотен горячих слов и отходил прочь умиротворенным. Тогда девушки спокойно вылезали из своего укрытия.

Больше всего скандалов происходило из-за обеда. Кулинарные вкусы отца были чрезвычайно просты и невзыскательны. Он любил очень простые блюда, например, гречневую кашу, суп-лапшу, зразы, тушеную говядину и так далее, но вместе с тем обладал причудами в еде и отличался зачастую необоснованной привередливостью. Так, он очень любил колбасу, в особенности копченую, но отказывался есть ветчину и свинину. Он охотно ел всякие блюда, приготовленные с творогом, но творог не ел. Не ел он и баранины. Однажды моя тетка в имении угостила его бараниной, сказав, что это телятина — он съел с большим удовольствием. После того как ему было сказано, что его обманули, он искренно посмеялся, но все равно впредь продолжал отказываться от баранины. Избежать недоразумений с отцом из-за меню было легко — надо только было помнить его причуды, но зато совершенно неизбежны были столкновения неожиданные. То ему казалось, что суп пахнет грязной тряпкой, то он отказывался попробовать что-либо, так как видел, по его словам, что «это невкусно приготовлено», то что-то пережарено, то недожарено. Бывали случаи, когда он выходил из-за стола, не прикоснувшись к еде. На первых порах мать от этого расстраивалась, но потом привыкла.

Отец всегда остро переживал болезнь кого-либо из домашних. В таких случаях он неизбежно терял голову и растеривался. Моя мать периодически страдала жестокими мигренями. Во время приступов этой болезни она днями лежала пластом без движения. Казалось, надо было к этому привыкнуть, но отец каждый

раз в таких случаях ходил сам не свой. Когда заболел кто-нибудь из нас, детей, он неоднократно подымался ночью и приходил в халате в детскую проверить наше самочувствие. Как только болезнь проходила, отец сразу оживлялся и веселел.

Дети вызывали его постоянные беспокойства и заботы, проявлявшиеся своеобразным образом. Он никогда не высказывал своих забот о детях, не говорил об этом, но, бывало, сидя на даче на балконе, углубившись в чтение или работу и зная, что дети находятся в саду, он по нескольку раз отрывался от своих занятий, чтобы взглянуть, что они делают и все ли в порядке. Однажды одна мать выставила своего ребенка в коляске во дворе в Москве и сама ушла. Когда она возвратилась, она нашла отца сидящего рядом с детской коляской.

— Разве можно оставлять так ребенка одного, — раздраженно заметил он, — мало ли что может случиться, на него могла напасть дикая кошка!

К животным отец относился так же, как к детям, — он их любил, но не досаждал им своими ласками. Он редко гладил собак, постоянно живших в нашем доме, но зато всегда одергивал детей, когда они приставали к животным. Он не любил кошек, но кошки, как и все животные, его любили. Когда я завел кошку, он относился к ней внешне неприязненно, но не позволял ее трогать, если она располагалась спать на своих любимых местах — сзади него на подушке его кресла или на его бумагах на письменном столе.

Отец никогда не был скуп или бережлив, но для матери получение от него денег на хозяйство было постоянной мукой. Ее заявление о необходимости денег он встречал неизменной фразой: «Как! У тебя уже нет денег!» — после чего он с ворчанием и недовольной миной выдавал ей рублей двадцать пять — тридцать. Это не мешало ему в тот же день сделать ей совершенно ненужный подарок стоимостью в несколько сот рублей

или истратить тысячу с лишним на какой-либо экспонат для своего музея. На деньги, идущие на хозяйство или на самого себя, он неизменно смотрел как на безрассудно отторгнутые от его музея.

Сколько раз он говорил:

— Если бы собрать все те деньги, которые я истратил в ресторанах и на покупку совершенно не нужного мне хлама, и купить на них вещи для музея, какое у меня было бы собрание! Но ничего не поделаешь, глуп был, молод, мало понимал!

Как иллюстрацию к своим словам он обычно добавлял:

— Когда я еще холостой был, но уже собирал и об этом знали, приходит ко мне как-то один художник, приносит свои вещи, предлагает купить. Спрашиваю фамилию. Говорит — Врубель. Вещи все по театру, эскизы какие-то, а я в то время, дурак, такие вещи не покупал, да и разбирался в них, как свинья в апельсинах. Говорю, нет, знаете, это меня не интересует. А он спрашивает: а что вы хотели бы? — Да что-нибудь другое, — отвечаю, ну, какую-нибудь женскую головку. Он заворачивает вещи, мнетя, потом говорит: у меня сейчас женской головки нет, но я вам обязательно сделаю, но не могли бы вы сейчас дать мне немного авансом, а то мне есть нечего. Я ему дал, как сейчас помню, сто рублей. Дал и забыл, а так через год прихожу домой, мне подают сверток, говорят — был тут какой-то художник, просил передать вам свой долг. Разворачиваю и ахаю — голова украинки работы Врубеля, сделанная летом того года. Будь я поумнее, какие я вещи врубелевские по театру мог тогда купить!

Голова украинки, являющаяся одним из акварельных шедевров художника, до сего времени хранится у меня. Сюжет не характерен для Врубеля, но мастерское исполнение этюда насыщено всеми особенностями

своеобразной палитры и манеры этого исключительного художника.

Ко времени нашей поездки за границу отец уже разобрался в собирательстве, приобрел знания, выработал вкус и понимал в вещах. Но он еще не освободился от своих случайных и мимолетных увлечений стариной и искусством вообще. Он еще не определил себя исключительно служению одному делу своего музея. Эта памятная для меня заграничная поездка связана с первыми уроками в области собирательства, которые практически преподавал мне все время отец. Здесь я узнал его ближе и он перестал быть для меня только уважаемым и любимым старшим.

Глава пятая



аш путь за границу лежал через Петербург. Отцу обязательно хотелось взглянуть на открывшуюся в Таврическом дворце выставку исторического русского портрета, на которой фигурировало некоторое количество экспонатов из его собрания. На другое утро после нашего въезда мы уже были в столице и остановились в заказанном заранее номере Европейской гостиницы с окнами на Невский проспект.

С этого первого моего мимолетного знакомства с Петербургом началась моя пламенная влюбленность на всю жизнь в этот единственный в своем роде город в мире.

Дорогой, несравненный, родной Петербург, видел я тебя во всем блеске твоей пусть призрачной, но ослепительной славы и дивился твоей красе. Видел я тебя грозным городом восстаний и тревог, буйным, суровым, непримиримым, и трепетно следил за лихорадочным биением твоего пульса. Знал я тебя и разнузданным, заплеванным, заваленным окурками и шелухой от подсолнухов и поражался перемене в твоём лице. С тобой вместе я больно переживал годы твоего унижения, когда все отвернулись от тебя, когда ты был заброшен

и покинут, как надоевшая любовница, когда сквозь торец Невского весело пробивалась травка и хозяйка на Литейном звала через улицу загулявшую козу. Присутствовал я при твоём возрождении, когда ты, словно сказочный феникс из пепла, взлетел городом Ленина — очагом культуры, мысли, науки. С какой жаждой тогда припадал я устами к твоим неиссякаемым живительным источникам знаний! Благоговейно слушал я рассказы о времени, когда пришедший иноземный хам надвинул на твоё прекрасное чело терновый венец мученичества, когда ты, город-герой, проявлял чудеса мужества и силы воли. Я был уверен в тебе и знал, что твой великий подвиг — залог твоей грядущей небывалой славы. И во всех твоих видоизменениях ты был мне равно мил и дорог, и свою первую юношескую любовь к тебе я свято сохранию и унесу с собой в могилу!

Если в жизни каждого человека встречаются люди, оказавшие влияние на все его последующее развитие, то имеются также и города. Петербург для меня оказался одним из таких городов. Именно ему я обязан своей любовью и интересом к русским XVIII и XIX векам, в нём история русской литературы перестала быть для меня учебником и превратилась в жизнь: Петербург, а не Москва, как это ни странно, заставил меня понять, что я русский и что я люблю и горжусь своей родиной.

Само собой разумеется, что в тот свой первый приезд в этот город я ещё был очень далек от высказанных размышлений, от возможностей делать умозаключения и анализы. Зато я всецело предался наблюдениям и впечатлениям. Как замороженный простаивал я часами у окна, смотря на Невский. А мимо меня, нежно шурша по торцам, в пять рядов в каждую сторону непрерывным потоком неслись экипажи. И холёные петербургские извозчики (не чета нашим московским захудалым Ванькам), и шикарные свои выезды, и чи-

новничьи коляски, и придворные кареты с красными ливрейными лакеями в треуголках и испанских воротниках. Разнообразя этот поток, порой появлялся дипломатический выезд с выездным гайдуком на козлах, в причудливой, незнакомой форме, или министерская пролетка с чиновником в парадной форме, или скромный на вид великокняжеский экипаж, перед которым как-то само собой расчищалась дорога. А в это время по широким тротуарам густо двигалась людская масса, разнообразная и по одежде и по положению. Шли разряженные дамы, гремели палашами¹ конногвардейцы, спешили куда-то департаментские чиновники, сновали торговцы, деловито шагали рабочие и мастеровые, и плелись бочком сермяжные мужички, пробираясь за покупками на Сенной рынок или поклониться угодникам в Лавру. Мои наблюдения прерывались незнакомым звоном часов на Думской каланче, или гулом полуденной пушки, или визгом флейт и барабанной дробью шагнувшего мимо гвардейского караула.

Стоило выйти на улицу, как меня поражало все: и просторы площадей, и сказочные по красоте архитектурные ансамбли, и таинственные дворцы с мерно шагавшими перед ними караулами, и красавица Нева с крепостью, с пароходами и с смелыми мостами.

Впечатление от города было столь велико, что я совершенно забыл, с кем тогда виделись мои родители, а мы все время были окружены какими-то их знакомыми, долго ли мы пробыли в Петербурге и где мы там бывали.

Осталось в памяти лишь три эпизода — посещение недавно освященной церкви Воскресенья с местечком, на котором был убит Александр II и куда все бросали серебряные и медные монетки. Поразили меня окна

¹ П а л а ш — прямая длинная сабля с широким лезвием.

этой церкви, сделанные из голубого стекла, переходящего в белый, матовый. Глядя на свет, проникавший сквозь них в церковь, посетитель забывал, что на улице пасмурно и идет дождь. Казалось, что солнечно и голубое ясное небо. Отец обратил мое внимание на купола собора — они были сделаны его дядей со стороны моей бабки А. Н. Постниковым. Постников был не только фабрикантом, но и химиком-изобретателем, самоучкой, всю жизнь работавшим над созданием эмалевой краски, не подвергающейся ни атмосферическим явлениям, ни окислениям, ни изменениям в цвете. Наконец секрет этой краски был им найден. Эффективность ее он блестяще доказал на главах церкви Воскресенья. Почти полстолетия спустя они кажутся только что вчера водворенными на место, свежеевыкрашенными и отполированными. Немцы и американцы предлагали ему бешеные деньги за продажу секрета. Старик ответил категорическим отказом, мотивируя тем, что это дело русское и принадлежит русским. К сожалению, он так и не удосужился сделать кого-либо наследником своего секрета, который он унес с собой в могилу.

Второй эпизод, который я хорошо помню, это посещение Таврической выставки. Стройная красота самого здания осталась у меня в памяти с тех пор. Великолепные большие полотна Боровиковского чувствовали себя в этом дворце как дома. Самое сильное впечатление от выставки — это портрет Павла I в мальтийской короне, надетой набекрень, в долматике и мантии и «Заседание Звездной палаты» Репина. Затрудняюсь сказать, почему именно эти два полотна произвели на меня наибольшее впечатление — быть может, по своей внутренней сущности и большой экспрессии. Я тогда сравнительно мало знал о Павле I, но этот портрет заставил меня подумать, что этот человек — царь, то есть личность необыкновенная, резко отличающаяся ото всех других людей. Это ясно выражено в портре-

те — карикатурность и истерия дошли до меня после. Лишь впоследствии я понял, что Боровиковский, воспитанный на медлительной величавости екатерининского века, не мог иначе видеть ее искалеченного сына. «Звездная палата» произвела на меня гнетущее и мрачное впечатление. Мне казалось, что вот все эти важные старики собрались в каком-то подвале (убей меня Бог, не знаю, почему зал показался мне подвалом) и там пишут страшные законы, которые касаются всех нас и за несоблюдение которых люди идут под суд и на каторгу, а где-то сзади сидит маленький беспомощный царь.

Третьим эпизодом, не выветрившимся из моей памяти, был обед (чуть ли не в день отъезда) на Стрелке. После катанья на Островах мы обедали на каком-то балконе над речкой. За обедом был кто-то посторонний, кажется, А. Е. Молчанов, муж М. Г. Савиной, имевшей дела с отцом, как по музею, так и по Театральному обществу. С Петербурга началось и мое воспитание отцом. Обращая мое внимание на тот или иной памятник, или исторический дом, или место, он двумя-тремя словами умел меня в них заинтересовать, никогда не договаривая всего. Это возбуждало мой интерес и заставляло впоследствии искать в книгах недоговоренное. Лучшего метода заставить читать трудно было изобрести.

Из Петербурга наш путь лежал прямо в Париж — очевидно, отец не хотел возобновлять в памяти матери недавние ее впечатления от Берлина, связанные с грустными воспоминаниями. Мы ехали в купе международного вагона одни с немногочисленными вещами — налегке. Среди этих портативных вещей имелась корзина отца с его личными пожитками и чемоданчиком с закуской. Отец не был поклонником вагоноресторанов — он предпочитал удобно расположиться в своем отделении вагона и не торопясь закусить в свое

удовольствие любимыми вещами. Из корзинки извлекались фляжка с водкой, бутылка красного вина, выдержанная, то есть доведенная почти до одеревенения, копченая колбаса, яйца, икра, жареная курица, конфеты и прочее. Все это аккуратно раскладывалось на одном из диванов, а на другом располагались мы, и начинался пир горой. По окончании все убиралось, и отец распоковывал свою корзину, которая оказывалась набитая битком полученными за несколько месяцев, но не прочитанными газетами и романами авантюрно-исторического содержания. В периоды отдыха он не признавал иного чтения. Отец ложился на освободившийся диван и погружался в чтение до тех пор, пока снова не разыгрывался аппетит. Так длился первый этап нашего пути.

В «столицу мира» мы прибыли рано утром и остановились в старомодном «Hôtel du Louvre» в конце Avenue de l'Oréga. Эта гостиница, неудобная и малокомфортабельная, напоминала моим родителям их свадебную поездку. Буйный, искрометный, легкомысленный Париж очаровал и покорила меня своим обаянием с первого знакомства.

Приведя себя в порядок в гостинице, мы сейчас же отправились завтракать в кафе на boulevard des Italiens. Меня ошеломила и оглушила парижская толпа. Сколь она разнилась от серьезной и чопорной толпы петербургской!

Мы сели за столик, стоявший прямо на тротуаре, и во все время, как мы пили и ели, мимо нас шумно сновали люди, как зарезанные орали продавцы газет, с веселыми прибаутками появлялись продавцы различной забавной пустяковины или бродячие артисты эстрады. И все это было так весело, беззаботно и общительно преподнесено, что невольно располагало к себе и вызывало добродушную улыбку. В проходящей мимо толпе мелькали разодетые по последней моде мужчины

и женщины, франтоватые кавалеристы, сказочные арабские стрелки в своих бурнусах¹ и тюрбанах, красноштанная зуава² в фесках и монументальные национальные гвардейцы в медных латах и касках с конскими хвостами. Когда же спустился вечер и бульвар загорелся тысячами разноцветных мелькающих огней магазинных вывесок и реклам, я совершенно ошалел. Мне хотелось все видеть, везде побывать.

На другое же утро мы отправились гулять по Парижу. Прошли мимо бесконечного Луврского дворца, фланировали под арками rue de la Paix, стояли, глядя на мрачную Consiergerie на мосту Генриха IV, взглянули на площадь Согласия с обелисками посередине и с окутанной в траурный креп фигурой Эльзас-Лотарингии и наконец очутились у Дома Инвалидов. При посещении городов у отца был своеобразный ритуал, — так, приехав в Петербург, он первым делом заходил в Казанский собор, в Париже его первым постоянным визитом была могила Наполеона I. Мне тогда было только десять лет, но усыпальница Великого Корсиканца произвела на меня тогда неизгладимое впечатление. Мы долго в глубоком молчании стояли на верхнем балконе перед гранитным саркофагом. Глубоко внизу, на мраморном полу белели буквы, слагаясь в слова славы: «Маренго, Аустерлиц, Ульм, Москва...» Спустя некоторое время отец предложил идти. Мы в молчании вышли из Дома Инвалидов. Шли и думали. Наконец отец прервал оцепенение.

— Хорошо, — проговорил он, — просто и величественно — в его духе... А в общем, есть хочется — надо зайти куда-нибудь перекусить!

Надо сказать, что к особенностям моего отца надо

¹ Б у р н у с — плащ бедуина.

² З у а в — солдат алжирских полков во французской армии.

отнести нелюбовь к поездкам в фешенебельные рестораны. Он посещал последние только в том случае, когда не было иного выхода или когда бывал в компании. Мы зашли в какое-то кафе неподалеку от Дома Инвалидов и заказали себе обед. Помню, что мать ела устрицы, до которых была большая охотница, что отец заказал себе бутылку лучшего красного вина и что нам подавали *Sols frites* — впервые виденные мною камбалы. Затем мы наняли фиакр и отправились кататься в Булонский лес, потом снова бродили по вечерним бульварам, заходили как будто в *musée Grevin* и, наконец, отправились в гостиницу, предварительно посетив гастрономический магазин *Caressa* и накупив там множество вкусных вещей, так как отец ни за что на свете не соглашался променять свой вечерний ужин в номере на шум отельного ресторана.

Придя домой, он потребовал у портье справочник «Весь Париж» и, водворившись в номере и сняв пиджак, сел за стол, открыл книгу на букве «А» и, найдя список антикварных торговцев, стал записывать их адреса в свою записную книжку. Покончив с этим делом, отец захлопнул книгу и обратился к матери:

— Ну — пошалберничали¹, и будет — завтра за работу. Ты с утра отправляйся по своим делам, по магазинам, а мы с Юркой на охоту к антикварам. А теперь давайте закусим перед сном грядущим.

Надо сказать, что закусывать в своем номере считалось почему-то за границу незаконным и было нечто вроде контрабанды, так что после ужина нам приходилось скрывать следы преступления. Мать тщательно упаковывала объедки ужина, и мы с отцом, забрав сакраментальный пакет, снова выходили на улицу и обычно шли на мост через Сену. Там мы некоторое время стояли у перил и, улучив момент, когда поблизо-

¹ Ш а л б е р н и ч а т ь — шалопайничать, повесничать.

сти не было прохожих, роняли свой сверток в воду. В другие разы мы забрасывали его за решетку памятников, причем однажды чуть не напоролись на неприятность с часовым, которого мы в темноте не заметили.

На другой день, поутру, наскоро позавтракав в номере, мы отправились на rue Voltaire, на эту своеобразную смесь парижских Сухаревки и Китайгородской стены. На просторной, но довольно пустынной набережной Сены на тротуаре рядом с парапетом стоят лотки букинистов и старьевщиков, а на другой стороне в домах расположены антикварные торговли всех разрядов и эстампные лавки. Мы с отцом перекидывались для разнообразия с одной стороны набережной на другую. У торговцев на самой набережной отец копался в разном барахле, изредка извлекая оттуда что-либо интересное, и, быстро сторговавшись, покупал «на грош пятаков». Обход антикваров был куда более сложен. Начинался он с подробного изучения витрины, затем следовал столь же детальный осмотр самого магазина. Иногда отец усматривал что-либо для себя любопытное, тогда он вдруг начинал длительную и серьезную торговлю какой-либо совершенно ему ненужной вещи. Торговля обычно шла с азартом, но с перерывами, во время которых отец между прочим спрашивал цены и других вещей. В последнем перерыве он наконец совсем уже нехотя узнавал и цену заинтересовавшего его предмета. Торговец, весь поглощенный торговлей крупной вещи, наскоро называл цену и спешил продолжить интересовавшую его негоциацию. Тогда отец прерывал беседу, говорил, что торопится и зайдет завтра, а в компенсацию за занятое время пока что возьмет вот эту вещь, указывал на заинтересовавший его с самого начала предмет и без торга платил деньги. Обычно такая маленькая хитрость удавалась блестяще, но иногда торговец вдруг соглашался на предложенную

отцом смехотворную цену, и тогда в нашем доме появлялась еще одна никому не нужная вещь. Я в те времена, выросши среди музейных экспонатов, настолько в них натерся, что часто выискивал театральную вещь раньше близорукого отца и громко и радостно привлекал его внимание к находке. Помню, что после первого же подобного случая я получил строгое внушение.

— Разве так можно, — выговаривал отец, — ты так мне всю обедню испортишь. Антиквар сразу поймет, чем мы интересуемся, и заломит втридорога. Если ты что увидишь, то постарайся привлечь мое внимание как-нибудь незаметно. А остальное я уж сам сделаю.

В последующих заграничных поездках, когда я стал старше, отец уже посылал меня обычно без себя предварительно «вынюхивать», в качестве разведчика.

Отец терпеть не мог фешенебельных антикваров, торговавших на шикарных улицах в богатых магазинах, — к ним он заходил лишь по обязанности. Зато он бывал в восторге, когда натыкался на захудалого антиквара — любителя старины. С таким он немедленно заводил дружбу. Помню, как в эту поездку мы натолкнулись на какого-то старого бывшего шкипера, державшего маленькую антикварную лавчонку. После короткого объяснения на своем ломаном французском языке отец был уже с ним в дружбе. К концу посещения магазина, где, кстати, ничего интересного не было обнаружено, мы уже очутились в задней комнате, где кроме предложенного кофе нам дана была возможность обозреть личные коллекции хозяина, вывезенные им с островов далекой Океании. В конечном итоге отец за гроши сделался обладателем целого ряда чрезвычайно редких музыкальных инструментов диких племен, а также и ряда абсолютно ему не нужных вещей. Когда его впоследствии спрашивали, зачем он все это накопил, он отвечал:

— Да уж больно человек приятный продавал.

В следующую нашу поездку в Париж отец был искренно расстроен, когда нашел торговлю своего минутного приятеля закрытой и узнал от соседей, что он умер.

Сделав краткий перерыв на обед, мы продолжили свой обход до закрытия магазинов. Такие экскурсии повторялись несколько дней кряду, перемежаясь с вылазками в книжные лавки, где, кроме книг по театру, отец выискивал политические карикатуры на Россию. Иногда он покупал полные горы журналов, чтобы вырвать из них лишь несколько листов, касающихся России. С таким же рвением он закупал и открытки с политическими карикатурами, а в то время, в конце японской войны и в начале революции 1905 года, заграница была ими наводнена. Изредка мы посещали музеи и художественные магазины.

От посещения Лувра в моей памяти осталась невероятная усталость ног, сумбур в голове и Венера Милосская на фоне синего бархата. Люксембургский музей я помню меньше, чем дворцовый сад при нем, чуть тронутый тогда первым дыханием осени. Впрочем, как-то врезалось в памяти впечатление, оставленное англичанами Уистлером и Соржентом.

Мы пробыли в Париже тогда недели две, а затем направились на юг в Биарриц, где мать хотела покупаться в океане. Прибыли мы в этот курорт к вечеру, и все поиски свободной комнаты в гостиницах оказались тщетными. Курорт был переполнен. Отец нервничал и ругался, а мы с матерью, усталые от дороги, были в отчаянии. В безнадежном настроении мы брели по улице к очередному не обследованному нами отелю, число которых делалось все меньше. Вдруг на углу какой-то улицы мы столкнулись с шикарно одетым мужчиной в пенсне, с тщательно расчесанными холерными короткими бакенбардами. Он радостно поздоро-

вался с моими родителями, которые поведали ему свои злоключения.

— Устроить вас в отель? Нет ничего проще, — сказал господин и, оживленно разговаривая, повел нас за собой.

Это был Вас. Ив. Немирович-Данченко. Он сдержал свое слово, и через полчаса мы имели уже комнату в самом шикарном отеле Биаррица, на берегу океана, в бывшем дворце Наполеона III. Нам сдали спальню злополучного императора с огромнейшим парадбеттом под балдахин, с императорскими орлами и инициалами. Разумеется, что мы спали на этой постели втроем, так как, несмотря на это, на ней еще оставалось место человек на семь.

На другой день мы устроились уже в другом отеле, так как платить за номер по триста франков в сутки, то есть почти по сто рублей золотом, было более чем безрассудно, да и обременительно.

В Биаррице мы вели спокойный образ жизни. Там не было ни антикваров, ни музеев, ни магазинов, которые можно было бы посещать. Обычно утром, после завтрака мать шла купаться в океан, а мы с отцом отправлялись на «рыбную ловлю», то есть к тому берегу, который очищал утренний отлив и который был весь изрыт ямами в скалистом дне. В этих кратковременных озерах во множестве оставалась всякая морская живность, которую я вылавливал либо сачком, либо удочкой. Приходилось для удобства снимать ботинки и чулки и влезать в воду. Отец обычно наблюдал эту картину, но иногда, увлекшись моим времяпрепровождением, нимало не смущаясь и к великому удовольствию окружающих, сам снимал ботинки и носки и, закатав брюки, лез в воду, чтобы принять участие в ловле самолично.

Среди дня мы отправлялись обедать в какой-то хороший ресторан. Помню инцидент, который произошел в первое наше посещение этого заведения. Заказав

обед, отец потребовал себе «Eau de vie russe». Метрдотель произнес свое величественное «C'est ça!» и черкнул что-то в своем блокноте. Подали суп, а водки нет. Отец потребовал вторично. Официант пришел в замешательство и вызвал метрдотеля, который, извинившись, сейчас же принес ликерную рюмку и бутылочку, из которой и наполнил поданную миниатюрную посуду, после чего хотел удалиться вместе с бутылкой. К его великому удивлению, отец потребовал рюмку втрое больше и оставление бутылки на столе. Кроме того, он попросил что-нибудь закусить, hors-d'œuvre. Желание его немедленно было исполнено, и на закуску ему подали... кусок чудесной дыни с сахарным песком. Отец рассмеялся и распорядился подать ему дыню к концу обеда, а пока что дать хоть коробку сардин. В другой раз, прельстившись подаваемым другим посетителям лангустом, от которого французы вкушали лишь два-три тонких ломтика шейки, мы с отцом заказали себе также подобного чудовищного рака и стали есть его вдвоем. У наших соседей по столу глаза делались все больше и больше, и, наконец, кто-то из них решился нам заметить, что кушать так много лангуста опасно, что это очень вредная и тяжелая пища и что если мы не умрем, так обязательно заболеем. Мы любезно поблагодарили за участие и высказанные на наш счет перспективы и преспокойно доели нашего морского чудовища, причем никаких неудобств после этой операции не ощутили. Эти два мелких факта, незначительные сами по себе, характерны как показатели, насколько мало еще был изучен за границей русский вкус и повадки в 1905 году.

После обеда мы отдыхали в гостинице, а ближе к вечеру отправлялись пить чай в кафе на главной улице. Однажды мы были там свидетелями необычайной суетни — полицейские усиленно регулировали более чем незначительное движение, на тротуаре стояли

группы прохожих. Вскоре все объяснила вереница показавшихся в конце улицы автомобилей. Это был автопробег. Машины были чудные, на высоких колесах, какие-то поджарые. Все они одна за другой остановились у нашего кафе, и участники потребовали себе прохладительных напитков. Особенно оживленно вел себя один из автомобилистов — высокий, худой молодой человек с крупным носом и толстой отвисшей губой. Официант, подававший нам заказ, счел своим долгом мотнуть на него головой и конфиденциально сообщить: «Вот тот... Альфонс XIII... король Испанский».

Через несколько минут молодежь была уже в машинах, которые, смрадя бензином, двинулись в дальнейший путь.

Заканчивали свой день мы обычно на той же набережной, где утром я ловил рыбу. К вечеру картина там резко изменялась. Нарастающий прибой рвался огромными волнами на берег, а на самой набережной бесконечной вереницей стояли рыболовы с длинными удочками и удили рыбу. Наблюдениям над их успехами и над прибоем мы и посвящали свое время. Затем мы шли в гостиницу, где, поужинав у себя в номере, ложились спать.

Прожив некоторое время в Биаррице, мы двинулись в Испанию, в Мадрид. Отцу хотелось посмотреть на пресловутую испанскую экзотику, столь тогда модную в Европе и в особенности в России.

Мы выехали из Биаррица вечером и на границу приехали, когда уже смеркалось. Помню, что таможенные осмотрщики там были женщины — они как-то особенно отвратительно перерывали все вещи, с неприятной подозрительностью относясь к пассажирам. Испанию мы увидели уже утром, и никаких ощутимых признаков южной экзотики мы не заметили. Выжженная солнцем скалистая равнина с бесконечными

посадками пыльных и грязных на вид оливковых деревьев, померанцевые сады, как на юге Франции, стада коз и обгоревшие на солнце и обветренные лица крестьян, одетых в скучные серовато-бурые, обтрепанные одежды. Во всем этом не было и намека на постановку «Кармен» в Большом театре, а тем менее на открытки, продаваемые у Аванцо и Дациаро, или на крышки коробок эйнемовских конфет. Правда, при более внимательном наблюдении можно было заметить, что все эти люди имели склонность и способность оживить свою скучную одежду одним, максимум двумя яркими пятнами. То это был шарф национальных желто-красных цветов, то алая косынка, то яркие чулки или старый, но бросающийся в глаза пестротой расцветки головной платок. Говорили эти люди на гортанном, крикливом языке, производившем впечатление уличной ругани.

Мадрид не произвел на меня особого впечатления, да и в памяти моей оставил довольно смутное воспоминание. Помню широкие главные улицы, усаженные по бокам несколькими рядами деревьев, отчего пыль не летела на прохожих, помню какие-то старинные здания в вычурном мавританском стиле, а также припоминаю какую-то небольшую картинную галерею со стенами, перегруженными огромным количеством полотен знаменитейших испанских мастеров. Все эти картины были вставлены в замечательные золотые рамы резного дерева, и трудно было решить, чему более дивиться — искусству художников или резчиков.

Мы пробыли в Мадриде недолго — ходили по улицам, наблюдая жизнь столицы Испании, покупали изделия из толедской стали с золотой инкрустацией и пестрые испанские шелковые ткани. Отец с матерью были не удовлетворены виденным — они хотели одно время спуститься ниже, на юг полуострова, увидеть что-либо более характерное, хотя бы бой быков, но

потом почему-то решили ехать дальше по намеченному маршруту в Италию.

Таким образом мы одним прекрасным днем очутились в Генуе. Старинный итальянский город мне сразу понравился своей ленивой неторопливостью и хаотическим уютом. Я любил по утрам смотреть с балкона нашей гостиницы, некогда бывшей каким-то palazzo, на видневшийся вдали порт с кораблями и парусниками на спокойном фоне бирюзовой Лигурии. Любил я вместе с отцом и матерью бродить по старым итальянским дворцам, начиная с великолепного palazzo Doria и кончая какими-то совершенно запущенными и забытыми, но каким-то чутьем находимыми моим отцом. В памяти осталось посещение одного из числа последних. Мы еле достучались до старого, глухого, кривого привратника. Он нехотя повел нас в дом, гремя огромной связкой древних ключей. Со скрипом отпирались засовы и дверные замки, открывая перед нами одну комнату за другой. На пышных старинных росписях плафонов пятнами выступала сырость, филигранные фарфоровые люстры были покрыты чехлом паутины, картины и портреты в тяжелых золотых рамах висели криво и небрежно, на балконах буйно росла зеленая трава, а затейливый инкрустированный паркет был не натерт и сильно выщерблен. Как ни странно, а это разрушение, это постепенно умиравшее здание не возбуждало чувства протеста, а, наоборот, вносило в душу какую-то умиротворенность и спокойствие. Быть может, тому причиной было беззаботное, вечно голубое небо и радостное, ликующее золотое солнце.

Любили мы бродить по могилам Campo Santo или заходить в старинные внутренние дворы неизвестных зданий, а после сидеть в ресторации и есть сочные макароны с томатовым пюре или острое и пряное ризотто, запивая его неизменным кианти в травяной плетенке с травяной пробкой, усугубленной неизмен-

ной прослойкой прованского масла, плавающего в горлышке на поверхности вина.

Порой мы отправлялись с отцом к генуэзским антикварам или скорее даже к старьевщикам, так как грань между этими специальностями в Италии стерта донельзя. Там приходилось долго лично копаться во всевозможном хламе, чтобы иногда случайно выудить оттуда какую-либо интересную вещь по театру. В другие разы мы ходили к букинистам, разыскивая старинные книги по театру, редкие гравюры или выскивая в журнале «La Rana» политические карикатуры на Россию. Не забывались, конечно, и лавки серебряных дел мастеров с их изумительными безделушками из филигранного серебра. Я лично покинул Геную с сожалением — мне бы еще хотелось пожить в этом спокойном, уютном, грязноватом городке, очень приветливом и солнечном, но впереди нас ждал Милан — столица итальянского театра.

В этот город мы попали неудачно — летний театральный сезон уже кончился, а зимний не начинался. Из окна нашего номера в гостинице мы ежедневно взирали на грязноватый купол театра, посетить спектакль которого так мечтал мой отец. Милан не произвел на меня никакого впечатления, и я лишь помню величественную громаду его собора, вблизи которого мы постоянно обедали в каком-то кафе. Пожалуй, единственным запомнившимся мне моментом в посещении Милана была поездка в какой-то монастырь. Мы довольно долго его искали, так как отец принципиально никогда не пользовался услугами гидов, считая, что их объяснения мешают непосредственности восприятия. В этом монастыре, в какой-то мрачной сараеобразной комнате была написана на стене гениальным Леонардо его «Тайная вечеря». Облупившаяся живопись, следы сырости, грязь — все это произвело на нас удручающее впечатление. О самой картине сказать ничего не могу,

так как ее несравненные достоинства тонули в окружающей мерзости запустения. Точно не помню, но как будто мы пробыли в этом городе не долго, стремясь дальше в Венецию.

Мне уже тогда в моем возрасте много довелось слышать чудесного о древнем городе дождей, я не раз рассматривал картинки с видами столицы Адриатики и читал ее описания. Впереди мне чудилось что-то необычайное и чудесное — фантазия рисовала мне свою Венецию, и, когда я столкнулся с действительностью, моя Венеция оказалась несостоятельной. Фантазия вынуждена была признать себя побежденной действительностью, что, кстати, редко бывает в жизни.

Венеция — мой третий город в жизни.

Прибыли мы в него поздним, теплым осенним вечером. Ночь уже смотрела в окна вагона, когда мы ехали Лагуной. Никогда не забуду своего впечатления, когда мы, высадившись на совершенно обычном большом вокзале и пройдя несколько многолюдных и шумных помещений, спустились вниз по лестнице к выходу на улицу и вдруг я увидел в конце лестницы не асфальт и не бульжник, а мягкую, глянцевитую водяную поверхность. Столь захвачен я был зрелищем залитой водой улицы, что как-то даже не заметил толком, когда к лестнице, на которой мы стояли, мягко придвинулась мрачная гондола с узорчатым носом и горевшим на нем масляным фонариком. Мы сели на мягкие сиденья под крытым со всех сторон балдахином. Внутри пахло древней пылью и вековой сыростью. Гондольер, стоя на корме, мягко вел свою ладью по лабиринтам каналов, мелодично выкрикивая возглас предупреждения на поворотах и скрещеннях. Наш отель помещался в каком-то тихом боковом канале и был расположен в здании, никогда для гостиницы не предназначавшемся.

Это, как и в Генуе, был какой-то богатый особняк XVIII века. В нашем номере, высоком и мрачном,

высились огромные постели с кисейными занавесками от москитов, с узорчатыми колонками балдахинов, с высоченной грудой пуховиков и перин. Рядом предупредительно стояла маленькая лестница, чтобы помочь забраться на вершину этих сооружений. Первым делом отец открыл двери на большую каменную террасу, и в спертый воздух старинной комнаты дохнула южная ночь, плеск волны, аромат воды и убаюкивающий покой. После шумных, суетливых улиц других городов уличный шум Венеции был благодатной тишиной, от которой звенело в ушах. На другое утро город представился мне уже другим — весь залитый осенним, блестящим солнцем, в узоре багряно-золотых деревьев, с глянцевито-маслянистой осенней водой, с величаво-мрачными гондолами, он мне казался какой-то старинной сказкой. Жить в Венеции — значит жить в прошлом, значит вдруг почувствовать себя проснувшимся век, два или даже больше тому назад.

Все в этом городе не похоже на обыденную жизненную повседневность, а кажется вычитанным из какого-то мастерски написанного романа или ожившей красочной картиной большого художника. Не говоря уже о массивном каменном кружеве благородных дворцов, об изящной чеканке позеленевшей древней бронзы, о фресках и стенной живописи гордых зал, о дерзновенном Риальто или о пьядетте с ее трепещущими, гостеприимными голубями, собором св. Марка, медными кузнецами и застывшим сторожевым львом Евангелиста, смотрящим с вершины своего столпа в морскую даль и опирающимся, словно в раздумье, на мудрую книгу. В Венеции жизнь и искусство переплелись так тесно, что их не разъединишь. Это, пожалуй, один из немногих городов мира, которого не смогли опознать ни альбомы видов, ни грошовые открытки, ни вульгарные олеографии, но чтобы почувствовать и влюбиться в Венецию, надо видеть ее воочию, хотя бы на

короткое время избжить ее беспечно-деловой, суетливо-ленивой, живописной жизнью.

Помню, мы как-то вечером ехали по каналу, вдруг гондолы остановились — впереди был затор. Под дружную ругань гондольеров, загородив весь канал, медленно поворачивала огромная базарная ладья, доверху груженная овощами. В лучах заходящего солнца ослепительно сверкали золотые тыквы, горел багровый стручковый перец, лежали горами артишоки и из специальных развилистых корзин, переливаясь всеми цветами радуги, тяжело свисали виноградные грозди. Мать немедленно засняла этот незабываемый праздник красок своим веряскопом. Фотография удалась превосходно, но не дала ни малейшего понятия о виденной нами картине: на пленке все вышло безжизненно и неинтересно — она была одноцветной и мертвой.

Отец был религиозный человек. Вечером, ложась спать, ограничивался тем, что творил крестное знамение, но по утрам становился на долгую молитву, длившуюся минут пять. Тогда его нельзя было беспокоить — он не отвечал на вопросы, ничего не слушал и ничего не видел, кроме иконы, на которую устремлял взоры. В путешествиях он не изменял своему обычаю. Помню, я еще лежал в постели, а отец стоял на молитве, и вдруг за окном, невдалеке запел гондольер бархатистым, чарующим баритоном какую-то старинную венецианскую песню. Одним прыжком отец был на балконе, свесился через перила и слушал песню. Она давно уже замерла вдали, а отец все стоял и слушал, потом вздохнул, почесал себе голову — признак сильного переживания — и снова медленно опустился на колени продолжать молитву.

Кардинальская служба в соборе св. Марка навевала воспоминания о когда-то виденной пышной оперной постановке. Декоративные архитектурные формы собора, широкая декорационная живопись стен и плафонов,

фиолет и пурпур театральных костюмов, латинская речь богослужения, столь же неуловимая для смысла, как и слова оперных арий и ансамблей, и, наконец, бархатистая мощь невидимого органа — все это вместе с таинственным светом свечей, витражей и светильников заставляло забывать время, в которое ты живешь, и место, где ты находишься.

В Венеции — все обыденное, не похожее на обычно принятое. Официальные и торговые учреждения и предприятия и те (мы заходили за деньгами в банк) совсем другие, чем в прочих городах. Они теряют свою деловитую сухость и бездушность и, расположенные в древних жилых зданиях, приобщаются теплу живой жизни. Посещали мы в Венеции и антикваров — они также были совсем особенные, и обычно их магазин и квартира составляли единое целое, рождая в покупателе постоянное сомнение, что же наконец является предметом покупки и продажи и что составляет бытовую обстановку хозяина.

Ездили мы на остров Лидо, в выставочный павильон, смотреть выставку картин. Помню, что на отца произвела большое впечатление картина «Кармен» какого-то итальянского художника, так что он даже приобрел фоторепродукцию с нее, что было не в его обычае. Вспоминаю еще один маленький комический инцидент в саду около павильона. Весь этот сад был засажен редкими южными растениями. Моя мать, страстная садоводка, ходила среди всех этих диковин и только ахала и охала. Особенно ее восторг вызвали какие-то два чудовищных кактуса гигантских размеров и фантастического внешнего вида. Она долго их рассматривала и наконец сокрушенно заметила, что обладание хотя бы самыми маленькими черенками растений дало бы ей возможность вырастить такие же в Москве.

Отец под каким-то предлогом услад мать вперед

одну и, поставив меня охранять безлюдность боковой аллеи, сам стал спиной к растениям и начал незаметно отламывать от них черенки — перочинного ножа у нас с собой почему-то не было. Наконец кража была удачно завершена, и отец с торжеством преподнес плод своих трудов матери. Та взглянула и ахнула — все руки отца были в крови и в колючках — пришлось снова идти в пустынную боковую аллею и оказать ему первую медицинскую помощь. По приезде в Москву растения были посажены и принялись — одно из них года через два погибло, а другое жило до Октябрьской революции, когда не выдержало комнатную температуру годов разрухи. Видимо, права пословица — что краденое добро впрок не идет.

В Венеции произошел и один маленький случай, который мне хорошо запомнился. Как-то мы сидели на Пиццетте в кафе и обедали. Вдруг подошел какой-то знакомый моих родителей, недавно приехавший из Москвы. Он подсел к нам, и начались разговоры. Речь коснулась дальнейших планов — отец сказал, что он собирается проехать через Швейцарию в Вену, а затем в Москву, домой. Знакомый покачал головой и стал советовать моим родителям повременить за границей, что сейчас не время возвращаться в Россию. Он что-то говорил долго и убежденно с серьезным лицом, порой переходя на конфиденциальный шепот. Помню, что родители были расстроены его сообщением. Улегшись в этот день спать, я еще долго слышал их голоса в соседней комнате. Через несколько дней, получив какие-то письма из Москвы, отец объявил, что будь что будет, а мы едем прямо домой в Россию с заездом ненадолго в столицу Австрии.

Вена оставила на мне впечатление блестящего, нарядного, шикарного города. Не знаю, быть может, этому ощущению способствовали солнечные осенние дни, которые выпали на время нашего там пребывания,

красочная, живописная прощальная листва Пратера и широких рингов, а также и какие-то военные парады, сопряженные с знаменательными датами жизни престарелого императора Франца-Иосифа. Вид опереточно-бутафорского австрийского войска, облаченного в красные штаны, белые с золотом мундиры и в шляпы с зелеными петушиными перьями, безусловно способствовал нарядности уличной толпы. Мне тогда показалось курьезным, что немцы и австрийцы, говоря на одном языке, совершенно несхожи по своим характерам и манере себя держать. Насколько австрийцы были вежливы, радушны и благожелательны, настолько немцы — грубы, неприветливы и самодовольны.

В Вене мы с отцом посещали также антикваров, подолгу просиживали у букинистов возле Сан Стефанс кирки, роясь в политических журналах и театральных изданиях, и наносили визиты знаменитым венским кофейным с неизменным пивом, сосисками и маленькими хлебцами с солью и тмином. Музеев мы, насколько помню, почти не посещали, так как времени было мало, надо было спешить в Москву.

Наконец мы двинулись в обратный путь. Помню, как, уже сидя в вагоне, отец вспомнил, что впопыхах забыл взять денег из банка. Стали считать имеющуюся у нас наличность, и выявившаяся сумма оказалась столь мизерной, что могла нам хватить до Москвы лишь при условии самой жесточайшей экономии... Телеграфировать деду о высылке денег было поздно, да и куда выслать, когда мы на ходу. Отец приуныл. На одной из станций, не доезжая Торна, мы заметили расхаживающую по платформе перед встречным поездом невысокую, плотную знакомую фигуру в блестящем цилиндре. Это был частый посетитель нашего дома В. Немирович-Данченко. Отец немедленно выскочил из поезда и направился к нему. Через несколько минут поезд, в котором ехал Владимир Иванович, тронулся в путь — он

стоял у окна и махал рукой отцу и нам с матерью, которые смотрели на него из окна своего купе. Отец скоро присоединился к нам, помахивая в воздухе двумя «катеньками», полученными взаймы у Немировича...

Близилась граница, а у нас в чемоданах было полным-полно всякой нелегалщины. Пора было подумывать, как переправлять все это через таможню. Мы начали извлекать из наших дорожных вещей политические плакаты и карикатуры, открытки, книжки. Все это разбивалось на отдельные свертки и примерялось по карманам. Наиболее «сомнительные» были вручены мне, как малолетнему и вызывающему поэтому наименьшее подозрение. Когда мы вслед за носильщиком, несшим наши вещи на осмотр таможни, вышли на платформу, то являли чрезвычайно комический вид.

Отец буквально потолстел вдвое, но шел бодро и уверенно, мать, приобретшая частичную полноту фигуры, шествовала с видом, будто она начинена динамитом и все об этом знают, а я, вероятно, очень походил на толстого мальчика из «Пиквикского клуба» Диккенса, так как, для довершения сходства с этим героем, мне весьма основательно хотелось спать из-за позднего времени. В таможенном зале все шло быстро и гладко, как вдруг мы с ужасом заметили, что в одном из чемоданов случайно забыт рулон с политическими карикатурами. Это была серия листов, изображавших правителей Европы, среди которых имелся и портрет Николая II, весьма недвусмысленно обходившегося с пухленькой дамочкой, олицетворявшей Сюзанну Францию. На вопрос чиновника, что это такое, отец ответил, что — картинки, на которых нарисованы костюмы для театра. Чиновник подумал и все же взял в руки рулон и начал его разворачивать. На наше счастье, первым листом оказался портрет покойного короля Италии Гумберта, в берсальертской шапке, с огромными аксельбантами и гигантскими усами в ширину всего

листа. Чиновник недоуменно воззрился на изображение, затем покачал головой и, скатывая листы, промолвил: «Ну и усы!» На этом все наши волнения и кончились. Через несколько минут мы уже снова были в вагоне, и поезд покатился по родной русской земле по направлению к дому.

В Москву мы приехали утром в середине декабря. На вокзале нас ждала собственная лошадь и приказчик с фабрики с зимними одеяниями, предупредительно высланный дедом. Помню, что по пути домой на Тверской-Ямской меня поразили низенькие московские домики — я от них уже успел отвыкнуть и они мне казались невероятно жалкими и бедненькими. Наконец мы очутились дома и на неделю, две посвятили себя распаковке привезенных вещей, свиданию с ближайшими друзьями и рассказами о виденном и пережитом. Уже в первый вечер нашего возвращения домой у нас был народ.

Страхи, которыми нас запугивали за границей, казались преувеличенными. Во всяком случае при мне старшие им не предавались и жизнь в нашем доме шла своим заведенным порядком. Так же бывали субботние собрания, правда менее многочисленные, так же мы изредка выезжали к родственникам. Больших приемов не было, и мать с отцом чаще сидели дома, что, естественно, объяснялось недавней смертью брата. По обыкновению прошли святки, и наступил новый, 1905 год. Изредка до моих ушей долетали разговоры о каких-то волнениях среди рабочих, о забастовках на фабриках, но у нас на заводе все было относительно тихо и пересудов даже среди прислуги не вызывало. Лишь смутно припоминаю озабоченное и расстроенное настроение отца после получения известий из Петербурга о расстреле рабочих 9 января. Известие пришло в тот же вечер и обсуждалось у нас громко. Отец осуждал царя, Победоносцева и правительство, говоря, что если бы

Николай II вышел к народу, все могло бы принять другой оборот, а теперь перспективы на будущее не сулят, по его мнению, ничего хорошего.

— Главное, они там безобразничают, а отдуваться нам придется, — подытожил отец свое отношение к событию.

Далее пошли воспоминания о Николае II, об его неспособности к правлению, об его незадачливости. У меня все это вызвало естественные вопросы, с которыми я и обратился потом к матери. Она старалась смягчить мое впечатление о слышанных разговорах и говорила мне, что действительно царь у нас неспособный, но что он не хотел царствовать, что он хотел уступить престол брату Георгию, но брат этот умер, и Александр III заставил его стать царем, так как оставлять царство младшему брату царя Михаилу не хотели, потому что в царской семье существовало поверие, что династия, начавшаяся царем Михаилом, кончится также Михаилом. Далее мать говорила о дурном влиянии, которое имеют на царя его мать, дяди и министры его отца, что царь сначала хотел быть общедоступным и стоять близко к народу, но это ему запретили. Рассказывала, что вскоре после воцарения Николай II запросто пошел по Невскому и зашел в какой-то магазин купить перчатки, но что его тут же перехватили из дворца и заставили немедленно вернуться по распоряжению матери. Мать вспомнила, как она вместе с отцом во время коронации поехала посмотреть на народный праздник на Ходынское поле. Миновав Тверскую заставу, они были страшно поражены обилием встречающихся им пожарных команд и конной полиции. Далее отец вдруг понял все и отдал распоряжение кучеру немедленно ехать обратно домой, попросив мать не смотреть в левую сторону, но было уже поздно — мать взглянула и увидела бесконечное количество разостланных и прикрывающих что-то на

земле больших брезентов. Из-под брезентов торчали человеческие ноги в сапогах и ботинках.

— В этот день, вечером, был бал у французского посла, — сокрушенно добавляла мать, — все ждали, что он будет отменен и царь на него не поедет. Но бал состоялся, и царь на нем был — это произвело тогда на всех очень плохое впечатление. Наверное, никто не догадался посоветовать государю не ездить на этот бал.

Все же после Кровавого воскресенья как-то опять все позатихло на время и мы, как обычно, перед именинами отца перебрались на летнее житье в Гиреево.

Два события, прошедшие этим летом, особенно ярко врезались в мою память. Жили мы на даче в этом году как обычно — рядом с нашей дачей жила семья сестры матери, а наискось через луг — дед Носов с своей незамужней дочерью, младшей моей теткой. Моя мать что-то все недомогала.

Однажды с утра мне было сообщено, что мать себя чувствует плохо и лежит и, чтобы ее не беспокоить, мне надлежит отправиться на дачу к деду до ее выздоровления. Я не без недовольства подчинился этому требованию пришедшей к нам тетки, так как в моей памяти еще чересчур ясно стояла смерть брата. Пришлось все же повиноваться и уйти из дому. Целый день я провел в обществе носовской домоправительницы, очаровательной, обожавшей меня старушки Варвары Семеновны, о которой мне еще придется сказать слово в своем месте. Я слушал ее рассказы о старине, разглядывал громогласных канареек и возился с двумя огромными носовскими сенбернарами.

Вдруг, в самое неожиданное для меня время, часа в два, на дорожке сада появился мой отец. Я побежал к нему здороваться, с тревогой разглядывая выражение его лица, но он был веселый. Поцеловав меня, отец сказал:

— Ну, пойдем домой, посмотришь на свою сестренку!

Я остолбенел. Отец засмеялся.

— Что ж? — спросил он, — ты доволен, что у тебя теперь есть сестра?

Сам не знаю почему, я к вящему веселью всех окружающих неожиданно выпалил: «Да, спасибо, папа!»

Любопытен факт, что моя сестра, появившаяся на свет в тревожные дни 1905 года, первые год, два своей жизни не терпела красного цвета. Стоило кому-нибудь появиться перед ней в красном платье, как она начинала судорожно плакать. В особенности это случалось с моей крестной матерью, ходившей в ярко-красном шерстяном платке.

Второй эпизод, врезавшийся в мою память, был уже отнюдь не семейного, а уже общественного значения. Произошел он уже осенью. Днем я всегда бегал один по обширному участку, окружающему нашу дачу, порой предпринимая небольшие экскурсии и за этот рубеж, что в общем не поощрялось.

Однажды я был привлечен необычайным шумом и гамом людской толпы, несшихся со стороны экономии Терлецких. Выглянув за калитку, я обнаружил, что перед зданием конторы, в полуверсте от нас, собралась большая, галдевшая толпа крестьян. Заинтересовавшись происходившим и найдя свой наблюдательный пункт недостаточно выгодным, я поспешил перебраться поближе к месту действия в свой любимый огромный древний сенной сарай, стоявший на полпути. Там, забравшись на пахучее, мягкое сено, я с высоты своего обсервационного пункта, сквозь щели между балок начал следить за происходившим. Толпа вела себя явно агрессивно, махала над головами кулаками, потрясала в воздухе вилами и косами, которыми вооружалась. На лавочке у ворот стоял приказчик Терлецких и что-то

говорил, но его речь то и дело прерывалась гневным взрывом крестьянских голосов. Наконец приказчика стащили силой с его трибуны, и на нее взгромоздился кто-то из толпы. Как была принята его речь, я не успел увидеть, так как мое внимание было отвлечено скакавшей во весь опор со стороны Владимирского шоссе группой конных стражников. Они как-то невероятно ловко окружили толпу со всех сторон, а один из них, вероятно начальник, слез с лошади и взошел на лавочку. Он говорил мало, но, очевидно, достаточно веско, так как толпа слушала его молча, обнажив головы и потом стала лениво расходиться. Явно неудовлетворенный столь банальным финалом, я также побрел домой, где у калитки был встречен расстроенными и обеспокоенными родителями, строго-настрого запретившими мне выходить одному с участка нашей дачи. Вечером из разговоров старших и прислуги на кухне я вывел заключение, что крестьяне и рабочие Терлецких «взбунтовались», но что все кончилось благополучно и ко всеобщему удовольствию благодаря вмешательству стражников. Повторения подобных случаев мне наблюдать уже не пришлось ввиду того, что в этом году мои родители, по непонятным мне причинам, не дождавшись традиционных именин матери на даче, переехали в город уже в конце августа. Зато Москва в этот раз щедро вознаградила меня новыми, необычайными впечатлениями.

В городе было тревожно. Полного отчета в том, что делалось, я тогда себе отдать не мог. Я знал только из разговоров старших, что на фабриках было беспокойно, что происходили то тут, то там забастовки, что рабочие «бунтовали». У нас на фабрике было более или менее спокойно, но отец часто жаловался, что рабочие с других заводов все время «смущают» наших рабочих. Общее состояние тревоги от окружающих и старших передавалось и мне. Затем вдруг одним прекрасным

днем потух электрический свет в доме. В первую минуту подумали, что это испортилась сеть, но вскоре выяснилось, что это забастовали рабочие станции. Затем забастовал водопровод.

Пользуясь тем, что мы жили на низком месте, домашние стали лихорадочно собирать оставшуюся в трубах воду в ведра, тазы, баки и прочие вместилища. Перестали выходить газеты... Гостей у нас в доме делалось все меньше и меньше. Даже на традиционные субботы съезжались вместо обычных двух, трех десятков людей единичные близкие. Мать с отцом почти никуда не выезжали, за исключением немногочисленных премьер. Родители почему-то стремились, чтобы я дома не смотрел в окно, прогулки на улицу были мне вовсе запрещены — я гулял только в нашем обширном саду. Когда ударили морозы, отец устроил мне там каток, на котором я и катался на коньках. Любимые мною поездки к деду Носову и к его незамужней дочери совсем прекратились. Было скучно и тревожно.

Однажды рано утром в воскресенье к нам приехал В. В. Постников. Родители еще спали, я его встретил в передней и был удивлен его необычайно возбужденным видом, а также и чересчур ранним часом визита! Владимир Васильевич с какими-то восклицаниями прошел прямо к дверям спальни моих родителей и, к великому моему удивлению, без всякого стука буквально ворвался в комнату с криком:

— Конституция! Царь подписал конституцию!!!

Мать еще лежала в постели, а отец натягивал на себя подштанники...

Несмотря на все это, Владимир Васильевич расположился в кресле и стал рассказывать слышанные им подробности. Только минут через пятнадцать после робкой просьбы матери разрешить ей одеться Владимир Васильевич ушел из комнаты и стал ждать со мной

в столовой выхода моих родителей. Помнится, настроение в доме в этот день было праздничное.

После обнаружения манифеста общественная деятельность моего отца еще больше увеличилась. Его выезды в гости и в театр значительно сократились за счет поездок на собрания и заседания. Помню, как вскоре после 17 сентября он приехал домой необычайно усталый и рассказывал, что ему пришлось несколько часов стоять рядом с городским головой князем Голицыным на балконе Городской думы и приветствовать дефилирующих демонстрантов, шедших с национальными и красными флагами.

Большой процент московского населения в то время, приняв слова манифеста за чистую монету, искренно верил, что Россия вступила в новый период своей истории.

Отец, любивший повторять одно из постоянных наставлений моего деда «верь, но не вверяйся», смотрел на окружающее далеко не радужно и был далек от необдуманных ликований. Это не мешало ему не забывать о своем коллекционерстве. Теперь на его письменном столе ежедневно появлялись новые сатирические журналы-однодневки, разные «Жупелы», «Плювмии», «Пулеметы» и т. д., которые в конце недели образовывали внушительные пачки. В карманах он привозил всевозможные открытки с политическими карикатурами. Я с любопытством рассматривал весь этот материал и, к своему удивлению, констатировал, что все то, что мы в свое время с таким трудом перевозили через границу, теперь получало права гражданства и у нас. В таких журналах я находил карикатуры не только на министров, но даже на самого царя.

Помню, как однажды, вдохновившись созерцанием этой новой литературы, я сам сел за стол и нарисовал какую-то политическую карикатуру. В чем в ней была

соль, я теперь забыл, но знаю, что в ней участвовал граф Витте.

Свое произведение я показал отцу, обычно всегда поощрявшему мои художественные произведения, но на этот раз я не получил похвалы за свою работу. Отец очень серьезно посмотрел на мой рисунок, сложил листок вдвое, спрятал его в карман и сказал:

— Ты больше таких вещей не рисуй — сейчас это рисовать можно, а что будет через месяц или два — неизвестно и, быть может, за такие рисунки люди и отвечать еще будут!..

Тогда я еще не понял слов отца и удивился, но стоял уже конец ноября месяца и над Москвой висела грозная туча вооруженного восстания. Как и когда оно началось, я не помню, но зато отчетливо врезались в памяти отдельные моменты.

Крепко запомнился предательский выстрел в Баумана — эта прелюдия к последовавшим вскоре событиям. Помню, как старшие возмущались этим происшествием, приносили слово «провокация», передавали слухи, что выстрел был произведен предумышленно представителями революционного движения и что все это чревато последствиями. Помню, как в начале ноября мимо нашего дома шла толпа народа с красными флагами и пением «Вы жертвою пали». Вся эта серьезно настроенная масса шла принять участие в похоронах Баумана. Мне было запрещено в этот момент глядеть в окно, но я все же нарушил запрещение и глянул...

Не прошло и месяца, как однажды снова потухло электричество, замолчал телефон, остановилась вода, перестали выходить газеты, выпекаться хлеб. В одно зимнее утро, где-то в направлении Таганки начали ухать артиллерийские выстрелы, потом со стороны Серпуховской площади затрещали сухие винтовочные залпы. Немногочисленные прохожие на улицах заметались, некоторые побежали. Со звоном разлетелось окно

в доме дяди напротив нас, переходивший улицу у наших ворот человек в шубе и меховой шапке как-то закрутился на месте и повалился на снег. Его быстро оттащили в сторону дворники. Когда мать хватилась отца, он был уже на улице. Бледная, она перебежала от окна к окну, стараясь увидеть, где он находится. По пятам за ней следовала моя толстая старуха нянька, ежеминутно повторяя: «Господи, спаси и помилуй!»

В этот момент тревоги старших все как-то забыли обо мне, и я беспрепятственно делал свои наблюдения над домашними и над происходившим на улице. Вскоре появился и отец, — он успел сходить на фабрику и кое-что разузнать. С Серпуховской площади стреляли казаки вдоль Валовой, а на Таганке палила артиллерия, в Москву прибыл Семеновский полк и начал подавлять восстание. Человек у наших ворот, какой-то купец, был убит «шальной» пулей. Я немедленно заинтересовался, что значит «шальная» пуля, и это выражение на всю жизнь ассоциируется у меня с декабрьским восстанием 1905 года.

Наша фабрика перестала работать задолго до этого. Насколько я помню, кожевенный завод не бастовал, а был распущен по распоряжению деда «от греха», и рабочие разъехались по деревням, получив отпускные. На суконной фабрике как будто предвиделись или были какие-то волнения, в чем отец осуждал неумелое руководство делом моих двоюродных дядей. Рабочие на ней были также распущены. Встали и другие заводы в нашем районе.

Часть незанятых рабочих принимала активное участие в происходивших событиях, другая часть «гуляла», пользуясь неожиданным «праздником». Эти последние часто ходили гурьбами по улицам с песнями, под сильным хмельком, а некоторые, хватив лишнего, позволяли себе различные эксцессы. В разговорном языке появились слова «хулиган», «буржуй», «прово-

катор», «дружинник», «анархия», ранее чуждые обыденной беседе. Наступили тревожные времена. Город был объявлен на осадном положении.

В доме стало скучно и мрачно. С наступлением темноты все окна завешивались плотными, тяжелыми шторами и люди бродили по казавшимся от темноты еще более обширным комнатам, мерцая жалким пламенем свечей. Гости почти совершенно перестали бывать. Изредка навевались В. В. Постников, С. Е. Павловский и мамина любимая сестра Августа Васильевна Носова. Участились заседания Городской думы, на которые отец, несмотря на все, продолжал ездить. Эти выезды отца были источником нескончаемых волнений матери. Чем ближе время приближалось к полночи (мои отправки спать в девять часов вечера давно отменились в это время явочным порядком), тем более она волновалась. В такие минуты она гасила свечу и становилась со мной у окна угольной комнаты. Наружи была холодная, безрадостная декабрьская ночь. Занесенные сугробами грязного, никем не убиравшегося снега, мрачно глядели пустынные улицы. Изредка где-то хлопал одиночный выстрел или раздавался тревожный свисток городского или дружинника. Изредка по Вальной с гиком вихрем проносился разъезд казаков, звякая пиками и размахивая нагайками. Затем все снова погружалось в гробовое молчание. Я подолгу смотрел в темноту, ближе прижимался к матери и начинал клевать носом... Однажды я был внезапно пробужден от подобной дремоты каким-то необычным шумом. Я встрепенулся и открыл глаза — на фасаде противоположного дома прыгали и кривлялись какие-то огромные фантастические тени на кроваво-красном фоне. Мое первое чувство было страх, но в ту же минуту страх прошел — по Вальной во весь опор скакали пожарные, блестя касками и медью начищенных машин в пламенеющем свете пылавших факелов.

— Новоспасская, — сказала мать, — где-то большой пожар, едет помогать Пятницкой!

Вскоре со стороны Серпуховской площади по заволоченному низкими зимними тучами небу стал разливаться кумач большого пожара. Снизу пришаркала нянька и сообщила:

— Сказывают, Фидлера гимназия горит — видно, бунтовщики подожгли!..

Но этот случай был единичным, а обычно мы ждали у окна до тех пор, пока на улице не раздавалось цоканье копыт и пока мы не видели направлявшихся к нашему подъезду знакомых саней с кучером Никифором, окруженных пятью или шестью казаками верхами — обязательным эскортом, придаваемым гласным, жившим на окраине.

В те дни по непонятным для меня тогда причинам мать неожиданно устроила со мной маскарад. Она обрядила меня в валенки, в простую русскую рубаху, надела на меня полушубок, подпоясала его цветным кушаком и напялила на меня серую меховую шапку. Я посмотрелся в зеркало — вид у меня был довольно пригожий, но достаточно нелепый. Все же мать, очевидно, осталась довольна моим «пейзанистым» видом, ибо упомянутый наряд был аккуратно сложен в ее спальне на диване.

В то же время дворник раскидал в снегу в саду узкую дорожку, шедшую от нашего дома к незаметной калитке в заднем заборе, выходящей в пустынную, тихую и узкую Малую Татарскую. Ключ от этой калитки был так же положен на стол в спальне моих родителей. Я в те дни был переселен на ночь в эту комнату, где спал на маленьком японском диване. Просыпаясь ночью, я удивлялся, что родители не тушили свечи у своих постелей и что они спали только полураздетые...

Во второй половине декабря город стал успокаив-

ваться. Настроение в доме стало веселее. Зажегся свет, потекла вода из водопровода, заработал телефон. На второй день праздника мы как обычно отправились на елку к деду Носову в Преображенское. Это было мое первое появление на улице после почти трехмесячного перерыва. Запомнились огромные сугробы неубранного снега, следы пожарищ на Покровской, разбитые оконные стекла, царапины пуль на штукатурке домов и валявшийся в некоторых местах по обочинам улицы необычайный скраб — остатки еще не убранных окончательно баррикад.

Вспоминается вывеска типографии Сытина на Пятницкой улице. Она была вся изрешечена казачьими пулями, обстреливавшими здание. Когда революционная буря утихла, Сытин не стал менять вывески, а прикрыл ее сплошным зеркальным стеклом. В таком виде как некое грозное воспоминание она пережила Октябрьскую революцию. В 20-х годах какой-то умник в ремонтном запале заменил ее новенькой и легкомысленно уничтожил эту ценную революционную реликвию.

В этот раз мы не возвратились, как всегда, домой вечером того же дня, а остались ночевать у деда. Помню, как во время обеда на вопрос кого-то из старших, кем я желал бы быть, когда вырасту большой, я, поддаваясь общим настроениям, неожиданно высалил:

— Первым президентом русской республики.

На что мой дядя князь Иван Енгальчев кратко, но выразительно посулил мне «дурака».

Мои родители не изменили себе и по раз навсегда заведенному обычаю встречали 1906 год. Гости на этот раз собрались у нас случайные, и если встреча не отличалась большой веселостью, то все же на ней как-то дышалось непринужденнее, чем в ушедшем году. 1905 год стал достоянием истории.

Последним запомнившимся мне отзвуком прошед-

шей грозы, финальной виньеткой явился маленький эпизод на Пасхе.

Встретив с дедом светлый праздник и сделав кое-какие традиционные визиты, мы возвращались на своей лошади на дачу в Гиреево. На окраинах было празднично, раздавался смех, пьяные и трезвые песни. Мы только что переехали железнодорожный мост и выехали на Владимировку. Здесь какой-то подвыпивший парень пристально посмотрел на наш экипаж и с возгласом «буржуй» швырнул в нее булыжник... Камень просвистал в воздухе и стукнулся в кузов пролетки...

Это лето было моим последним привольным летом — пора было серьезно браться за учебу.

Глава шестая

...Наставникам, хранившим юность
нашу,
Всем честию, и мертвым и живым,
К устам подъяв признательную
чашу,
Не помня зла, за благо воздадим...
Пушкин. 19 октября

Что толку в том, что я живу,
ничего я полезного не делаю и, вероятно,
не сделаю; умру я, и никто не вспомнит
об том, что была когда-то на свете Вера Н.

*Письмо матери к ее подруге
Л. К. Абельс от 12.X.1894*



оим первым учителем была мать.

Моя мать была человеком незаурядным, в особенности в той среде, из которой она происходила. Дочь крупного суконного фабриканта, она рано лишилась матери и скоро силою обстоятельств принуждена была стать руководительницей младших трех сестер, так как две старших вышли замуж. Приходя из гимназии, она сменяла гимназический передник на фартук хозяйки, вместо пера и карандаша брала

ключи и вела довольно сложное хозяйство. Все это отложило на нее на всю жизнь особый отпечаток. Серьезное отношение к жизни, излишняя, подчеркнутая и чисто внешняя холодность, абсолютно не являвшаяся чертой ее характера, сугубая сдержанность, стремление к максимальному самообразованию и жизнь чужими интересами — свойства, не покидавшие ее до самой смерти. Свои собственные интересы — пламенную любовь к технике, увлечение прикладными искусствами, театр, лошадей, путешествия — она постоянно отодвигала на второй план, полностью отдаваясь интересам мужа и детей. Пожалуй, единственной страстью, которую она позволяла себе культивировать, были цветы. Все подоконники нашего дома постоянно походили на полки оранжереи. Незадолго до революции ее давняя мечта исполнилась, и она в течение нескольких лет смогла с увлечением отдаться сельскому хозяйству.

Моя мать редко отдавалась воспоминаниям — большинство из того, что я узнал об ее молодости, почерпнуто из ее «литературного наследства». После ее смерти я обнаружил в ее ящиках неведомые мне связки ее писем гимназической подруге и отрывки дневников и часть переписки с моим отцом. Будучи крайне щепетильной в своих отношениях с людьми, она в свое время тщательно пересмотрела все свои писания, уничтожила все, что в какой-то мере бросало тень на кого-либо, и оставила лишь то, что могло представить бытовой интерес для ее детей. Отсюда, естественно, наличие досадных пробелов и недомолвок.

Мать, как я уже упоминал, не любила рассказывать о прошлом, но охотно отвечала на вопросы. Как-то я ее спросил, что является ее первым сознательным впечатлением. — Убийство Александра Второго, — ответила она, — мне тогда было шесть лет, но я хорошо помню озабоченные лица взрослых, приготовления к панихиде в большом зале, масса народу, рабочих с фабрики,

искренние слезы старших и в особенности необычайное общее настроение подавленности, — оно-то и заставило, вероятно, запомнить все остальные подробности.

Девяти лет моя мать была отдана во 2-ю московскую женскую гимназию. Отличный состав преподавателей этого учебного заведения в полном смысле этого слова сформировал характер и взгляды на жизнь моей матери. До конца своих дней она с глубоким уважением произносила имена Варшера, М. Н. Розанова, Любавского, Карелина и других.

Поступление матери — дочери купцов-миллионщиков — в казенную гимназию было по тому времени явлением необычайным. Богатые купцы считали ниже своего достоинства отдавать своих дочерей в казенные учебные заведения — полагалось женскому полу получать образование дома, дабы не подвергать их опасности набраться дурных привычек от подруг и не заронить сомнения в окружающих в своих капиталах. Достаточно сказать, что из шести дочерей моего деда одна мать была отдана в гимназию. Объяснение столь необычного явления надо искать, с одной стороны, в ее неуклонном желании поступить в гимназию, а с другой — в ее привилегированном положении в семье. Ее озорной, веселый и живой характер сделал ее любимицей бабки, а хорошенькое личико и неослабный интерес к технике и к производству фабрики заставляло деда выделять ее из числа остальных детей. Ее баловали в семье, и ее желания обычно выполнялись. Стоило ей упорно настаивать на чем-либо, чтобы это было в конце концов исполнено. Так случилось и в вопросе о гимназии. Капитулируя перед желанием своей дочери, ее родители, само собой разумеется, приняли соответствующие меры по охране ее нравственности — в гимназию она ездила на своей лошади в сопровождении кого-либо из старших, обратно домой так же; с подругами или с единственной подругой Л. К. Абельс

ей разрешалось переписываться, но видаться и ездить друг к другу в гости лишь в редких случаях, с особого на то каждый раз отдельного разрешения, но факт оставался фактом — мать училась в гимназии.

На второй год ученья в гимназии скоропостижно скончалась ее мать, моя бабушка. Смерть любимой матери произвела сильное впечатление на мою мать и сделала ее сразу серьезнее и более вдумчиво относящейся к жизни. Дом деда сразу затих. Все управление домашней хозяйственной машиной перешло в руки двух старших сестер матери и домоуправительницы Варвары Семеновны. Между тем моя мать ревностно продолжала свое ученье. В свободное время она поглощала невероятное количество книг, перемешивала Лессинга с Вернером и Гете с Марлитт, занималась живописью, расписывая чашки и отдавая дань обязательному тогда для представительниц ее пола рукоделию. В гимназии она увлекалась русской литературой и получала круглые 12 за письменные сочинения. Однажды она попыталась написать рассказ и отослала его в редакцию детского журнала «Родник». Вскоре она прочитала в отделе писем журнала ответ — ее рассказ был принят к печати, но редакция просила сообщить имя, отчество, фамилию и адрес приславшего его. Боясь могущих возникнуть в связи с этим домашних неприятностей, она оставила обращение редакции без ответа. Все же этот инцидент произвел на нее неприятное впечатление, о чем она жаловалась в письмах к подруге. Вместе с тем она чересчур хорошо знала пренебрежительное отношение деда к пишущей братии, представителей которой он без разбора называл «газетчиками». Ближе к сроку окончания гимназии мать серьезно заинтересовалась и занялась фотографией, всюду таская за собой во время прогулок тяжелый первобытный фотоаппарат и неуклюжую треногу. В этих занятиях ее постоянным помощником был дед, до конца своих дней увлекавший-

ся техническими новинками. Уже после окончания гимназии интерес к технике, унаследованный матерью от отца, толкнул ее на смелый шаг — она захотела поступить работать на фабрику, но этому плану не суждено было осуществиться по чисто домашним обстоятельствам.

Когда моей матери исполнилось шестнадцать лет, ее старшая сестра вышла замуж. Домашние заботы с этого времени легли на ее вторую сестру Варвару, которая взяла на себя все ведение хозяйства, а также и на мою мать, на обязанности которой было воспитание и образование младших сестер. Как и все, за что бралась мать, она также стала относиться к этому чрезвычайно серьезно и добросовестно.

«Если теперь на меня с тобой посмотреть, — писала она подруге в 1892 году, — то оказывается большая разница между тем, когда мы были в гимназии, и как теперь. Я теперь почти не балую, вообще остепенилась, чем я очень и очень даже недовольна, а сделать ничего не могу: потому что когда я раньше дурила, то с меня не имели права брать пример. А теперь я вторая, и как что-нибудь сдуришь, Соня с Тиной начнут так же. Варя заметит, а она: «А как же Вера так делает?!»... Ну и приходится уже не дурить».

Педагогика и вопросы самообразования и самовоспитания все более и более захватывают мать, в особенности после того, как и ее вторая сестра выходит замуж. В ее письмах к подруге все реже и реже мелькают описания домашних происшествий и великосветских событий, уступая свое место более серьезным темам. То она спрашивает практических советов по занятиям со своими ученицами, то делится своими взглядами на жизнь. Прием дома в связи со свадьбами сестер многих незнакомых лиц и в особенности поездка за границу развивают ее наблюдательность. С каждым днем растет пропасть между ее идеалами мужчин

и женщин и теми представителями ее среды, с которыми она встречается. К подруге летят письма с жалобами, что не с кем поговорить серьезно, что все окружающие — самовлюбленные, пустые люди с мелочными интересами. Раздражает ее и неправильное, по ее мнению, несерьезное воспитание детей.

«Очень хорошо заниматься своими ребятами, — пишет она Абельс в 1893 году, — но все-таки, занимаясь ими, не нужно опускать себя даже ради их же. Когда они малы, то ничего, конечно, не понимают, но когда подрастут и увидят, что маменька их ничего не знает и не умеет себя держать, то не очень-то им будет приятно».

Подобные мысли рождали тягу к самообразованию и самоусовершенствованию, которая не покидала мать до конца ее дней. Вместе с тем было бы совершенно неверно заключить из всего этого, что мать постепенно превращалась в «синий чулок», или «*femme savante*»¹ — ни того, ни другого не было, и ничто девическое не было ей чуждо.

В письмах к подруге мелькают запросы, правда ли, что она, моя мать, хорошенькая, раздаются сөтования, что якобы говорят, что она холодная и бесчувственная и что у ней «вместо сердца — ледышка». Попадаютя странички, посвященные дамским нарядам, впечатлениям от посещения театра. Наконец, в этих письмах отображены первые девичьи увлечения. Сперва это учитель в гимназии, затем молодой красавец — купец, потом молчаливый, недалекий добряк, брат мужа старшей сестры, и, наконец, блестящий лейб-улан, брат жениха второй сестры Варвары. Это последнее увлечение наиболее серьезное — можно даже предположить, что оно было обоюдным. В новом «предмете» мать пленяют и разговоры на серьезные темы, и постоянная

¹ Ученая женщина (фр.).

внимательность, и простота обращения без раздражительной фамильярности, и, наконец, наружность. Но, увы! Он жил в Петербурге, а мать в Москве, да кроме того, между ними стоял его титул, вызвавший уже столько неприятных минут в семье при сватанье его брата к сестре матери. Матери вышла другая «фортуна», и она была уже недалеко.

Знакомство с моим отцом, его молниеносное предложение и энергичная «агрессия» с получением ответа застали мать врасплох.

«8-го числа, — писала мать подруге 18 января 1895 года, — я была на костюмированном вечере. Костюм был «Folie». Только дело не в том. Меня там познакомили с одним молодым человеком (он сам просил познакомить меня), который весь вечер за мной ухаживал. В пятницу 13-го мы виделись с ним в театре. Он почти все антракты сидел у нас в ложе, а в последнем действии рядом в ложе, сзади меня. Потом провожал нас до саней. В субботу мы были у тети Юли; туда тоже приезжали в костюмах. Он был и опять ухаживал за мной. Я, не дожидаясь конца вечера, убежала домой (у меня болела голова), а чтобы не поднимать никого, простилась только с тетей. В понедельник вдруг мне записка от тети Юли: просит прийти. Что же оказывается? Этот молодой человек собирался в субботу сделать мне предложение и как только узнал, что я ушла, сейчас же удрал. Я, понимаешь, глаза вытаращила... Он собирался приехать к тете Юле и узнать, как я на это смотрю... Я говорю, что никакого ответа дать я не могу, потому что сказать нет? Я не имею ничего против него. Сказать да? Опять-таки не могу, потому что ровно ничего не чувствую по отношению к нему. Это длинный молодой человек тридцати лет, ужасно некрасивый (на это, положим, я не обращаю внимания, так как Сережа с Ваней также далеко не красавцы (впрочем, этот хуже), а мои сестрицы живут ничего, слава Богу).

Нынче папа опять спрашивает решительный ответ. Ну, а как я могу его дать, когда сама не знаю? Вообще Бог знает, что будет. Если он мне понравится, так ничего еще, а если в случае нет, так не знаю уж, что будет, потому что все его очень хвалят и всем нашим очень хочется, чтоб я вышла за него. Вообрази, что же будет, если я такому жениху да откажу. А что же я поделаю. Если сейчас согласиться, так это прямо против совести... Я все говорю, а зачем это он только так поспешил...»

Не прошло и месяца после этого письма, как Абельс получила от матери короткую записку: «Все кончено. Не знаю, каким образом, только я — невеста Алексея Александровича Бахрушина... В воскресенье отправились на каток совершенно неожиданно, и потом тоже совершенно неожиданно встретила там его. Я даже чуть не вскрикнула, когда его увидала. Там он мне сделал предложение. Я ему ответа не дала. А потом кончили в четверг в купеческом клубе. В субботу помолились Богу, и в эту субботу нас благословляли. Больше писать я положительно не могу. В голове так все перепуталось, так страсть...» Письмо подписано просто «Вера», и внизу сделана приписка: «P. S. Написала было «твоя», да потом подумала, что это ложь, и переправила. Не сердись».

Для матери началась новая жизнь. Сперва робко, а затем все смелее и смелее она начала осуществлять свои мечты и планы. Вначале она с увлечением отдалась путешествиям, а потом с жадностью принялась учиться. За короткий срок она освоила пишущую машинку, переплетное дело, тиснение по коже, резьбу по дереву. Причем всем этим она занималась до тех пор, пока не достигла некоторой степени совершенства. После ее смерти остались бесконечные образцы ее работы. Удовлетворившись тем или иным своим достижением, она переходила к следующему предмету. Так

продолжалось до самой ее смерти. Чего-чего только серьезно не изучила мать — она хорошо плела и вязала кружево, великолепно вышивала гладью, прошла специальный курс кулинарного искусства, на редкость искусно плела корзины, с профессиональным умением тачала сапоги. Кроме того, она была знающим садоводом, очень неплохим сельским хозяином и отличным фотографом-любителем.

Параллельно с приобретением практических знаний она живо интересовалась и отвлеченными вопросами, в частности философией, стремясь приложить ее к жизни. Но в этом отношении ей нужен был руководитель. Она нашла такового в лице Сергея Евграфовича Павловского, человека начитанного и культурного, глубоко интересовавшегося этическими вопросами и постоянно искавшего истину. На книжных полках матери замелькали имена философов-этиков. Лао-Цзы, Конфуций, Лев Толстой, Чаннинг, Платон, Паскаль, Ларошфуко и другие стали ее постоянным чтением.

Духовная близость матери и Сергея Евграфовича Павловского продолжалась долгие годы, до тех пор, пока он не увлекся окончательно толстовством. Мать как христианка легко принимала некоторые философские взгляды Толстого, но как православная во многом не могла с ним согласиться. Кроме того, ей всегда оставалась непонятной проповедь непротивления злу.

В то время не только я, но и мой преждевременно умерший брат были на свете, и мать лихорадочно копила знания, чтобы быть нам полезной. Болезнь брата и вынужденная ссылка в Кисловодск были большим испытанием для матери. Молодая, двадцативосьмилетняя женщина, привыкшая к комфорту и спокойной жизни, где повседневные заботы ложились на кого-то другого, где все бытовые жизненные вопросы решались без ее участия, она вдруг была принуждена стать лицом к лицу ко всему этому и действовать самостоятельно.

имен еще на руках при этом двух малолетних детей. Но мать храбро решилась на это и с честью выдержала свой искуc.

Близкие в Москве и мой отец отдавали себе полный отчет о том положении, в которое она была поставлена, и боялись за нее. Она же самоотверженно боролась с трудностями, и ее единственной заботой были дети.

«Спаси Бог, — писала она отцу, — дети что-нибудь, хоть прыщик сдelaется, так совсем заскучаешь. Ну уж, конечно, выдержу...»

Мысль о детях и их воспитании является постоянной темой ее переписки с отцом. «Раз ты находишь, что ты плохо воспитан, тем более должен стараться воспитать своих...» — писала она ему в одном письме. В другом она излагала свои взгляды уже более подробно. «Я, пожалуй, создана скорее для деревни, а не для города, — признавалась мать. — Общественной службы такой, где семья бросалась бы для общества, я не понимаю. Я всегда была согласна, что жить только для своей семьи, в особенности мужчине, не след, но заниматься обществом, бросая на произвол судьбы нравственное воспитание детей... тоже не след. Масса общественных дел, кроме самого главного — воспитания двух своих собственных сыновей, для того, чтобы этим действительно принести пользу обществу, дав ему двух людей и граждан. Заботиться, чтобы они были сыты и здоровы, — это мало, и животные об этом заботятся...»

И мать действительно претворяла эти свои взгляды в жизнь.

Получение первых знаний неразрывно связано у меня в памяти с образом матери. С самых ранних лет я помню мать во время прогулок на даче, во время просмотра книг с картинками или во время смотра на улицу постоянно стремящейся в занимательной форме сообщить мне какие-либо знания. Позднее она

первая начала учить меня писать и читать. Под ее руководством я начал мучиться над букварями Толстого и стал чертить свои первые анемичные палочки и косопузые попки, получая выговоры за жирные кляксы. Она же начала будить во мне интерес к музыке и рисованию.

Но, увы! Моя мать не была педагогом по призванию. Она чрезвычайно увлекалась педагогикой, но не теми предметами, которые преподавала. У ней не было дара заинтересовать, увлечь. Кроме того, ее желание вести ребенка за собой было столь велико, что она недостаточно внимательно анализировала природные склонности своих детей, полагаясь более на наследственность. В конце жизни она не переставала себя упрекать в этом и однажды, за год до смерти, встретившись с одним из моих учителей, высказала ему мнение, что он, как более опытный, был обязан в свое время указать ей, что она направляет меня по ложному пути и собирается насилловать мою натуру.

Еще в молодости мать не была лишена сомнений в своих педагогических талантах. С трогательной непосредственностью она записывала в специальную тетрадь мелкие события из моей жизни, могущие определять мой характер, и тут же делала свои примечания и выводы. То и дело читаешь такие фразы: «Скорее всего я виновата — не умею прихотить», «Должно быть, не умею взяться», «Пою я отвратительно, то есть попросту не умею, но раньше он не любил никого слушать, а теперь даже меня может». Порой в ее записях звучат ноты отчаяния. «Хорошо писать в книжках, — замечает она, — «когда ребенок занят, то ему в голову не могут прийти дурные шалости», а если он один растет, как у меня, что же тогда делать? Он занят, занят, а потом хочется и поиграть, побегать: а с кем? Я не могу с ним, одному скучно, и начинаются шалости».

Наконец в октябре 1903 года мать записала: «Начал учиться. 3 раза учительница русского и арифметики; 1 раз священник, 2 раза учитель чистописания. С учителями учится серьезно и не шалит, а с учительницей не лучше, чем со мной».

О своей первой учительнице ничего не помню, не могу даже воссоздать себе ее внешний вид, осталось лишь в памяти, что ее звали Валентина Константиновна. Об учителе чистописания — и этого не помню. Зато учителя Закона Божия, отца Симеона Ковганкина, помню хорошо. Это был добрейшей души толстяк с немого бабьим лицом, маленьким носом пуговкой, на котором с трудом держались очки в тонкой золотой оправе. Он был типичной жертвой уродливых традиций русского священства, по которым церковный сан был не только правом, но и обязанностью узко определенной касты. Раз твой отец священник, хочешь не хочешь, а будь священником, иначе потеряешь насиженный приход, уютный домик, в котором родился и рос, да вдобавок еще сделаешься чужим всем близким. В итоге от своих отстанешь и к чужим не пристанешь. А коли на твое горе ты еще второй сын, так ищи себе невесту среди единственных дочерей, часто незнакомых попов, сватайся к ней и женись на какой-либо страхолюдине, а то будешь выброшен из своей среды. Касте дела не было, что тебя тянуло на совсем другое поприще, на котором ты мог быть куда полезнее. Сколько трагедий разыгралось из-за этого, в особенности после революции...

Отец Симеон с чисто христианским смирением носил свой сан и был чужд какого-либо намека на недовольство и неудовлетворенность жизни. Но это происходило лишь по незлобивости его чудного характера. А как часто, рассказывая мне тот или иной эпизод из Священной истории, он вдруг прерывал свой рассказ, устремлял взгляд своих маленьких глаз куда-

то вдаль и начинал фантазировать. Он говорил о том, как люди будут жить в будущем, какая у них будет замечательная жизнь, как будет развита техника, строительство. Он так же резко обрывал свои отвлеченные речи, как и начинал их, и, обратив на меня свой добрый взгляд, смущенно спрашивал:

— Так о чем я говорил-то?

Порой мне приходилось заходить к отцу Симеону на квартиру в его маленький домик при церкви Николы Кузнецкого. Там меня всегда поражали хитроумно устроенные звонки на дверях, особые запоры на окнах и тому подобные усовершенствования работы самого батюшки. Отец Симеон оказал большое влияние на мое духовное развитие — слушая его фантазерство, я незаметно поддавался его увлечению и невольно, оставшись один, начинал так же фантазировать и строить воздушные замки. Связь с отцом Симеоном я держал долго, до первых годов революции, а потом как-то потерял его из виду.

В 1944 году заведующий отделом комплектования театрального музея как-то обратился ко мне:

— А мы вчера вас вспоминали!

— С кем?

— С отцом Симеоном Ковганкиным.

— Да разве он жив?

— Жив и вам кланяется.

— Сколько же ему лет и как он себя чувствует?

— Да ничего. Хорошо. Ему восемьдесят четыре года. Мы вчера с ним пол-литра раздавили за разговором, да мало показалось, пришлось еще четвертинку добывать.

— Что же он делает?

— Да ведь после революции он пошел на покой, а теперь с полутора десятков патентов на его изобретения, многие из них приняты и используются!..

Радостно было услышать, что хоть к закату своих

дней отец Симеон дождался времени, когда смог обратиться к осуществлению своих фантазий, не опасаясь насмешек со стороны своей касты.

Иностранные языки, в частности французский, я начал изучать раньше всего, и мать, опасаясь привить мне неправильный выговор, с самых первых шагов передала меня в полное распоряжение гувернантки. Моей первой преподавательницей французского языка была дочь управляющего нашей фабрикой, молодая бельгийка, но кроме того, что она меня в короткий срок научила бегло болтать по-французски, следов своего влияния на меня она не оставила. Зато моя вторая французская гувернантка м-ль Марсель Пекё оказала очень большое влияние на дальнейшее формирование моего характера. Молодая, жизнерадостная, талантливая девушка, она заражала всех своей веселостью и бодростью. Прекрасно владевшая кистью и пером, она была неистощима на всякие выдумки и затеи. Она разыгрывала наших гостей и моих родителей, рисовала карикатуры, писала эпиграммы и шуточные стихотворения на наши домашние «злобы дня», давала всем смешные прозвища и все это с таким незлобивым юмором, который никого не мог обидеть и который был свойственен только француженке. М-ль Марсель покинула нас в год нашего отъезда на Кавказ, она уехала в отпуск к своим родителям, которые, будучи людьми зажиточными, вообще были против избранной ею профессии. Ей было тягостно дома, и она всячески стремилась обратно, но домашние ее не пускали. Она писала длинные и отчаянные письма матери, но ничего не выходило. После смерти брата, когда мы поехали за границу, м-ль Марсель встретила нас в Париже и путешествовала вместе с нами, намереваясь незаметно улизнуть обратно в Россию. Но в последнюю минуту за ней кто-то приехал в Вену, и она принуждена была возвратиться обратно в Париж. Огорченные всем этим,

мои родители не пожелали более приглашать к себе француженку-гувернантку, так как все равно м-ль Марсель никто заменить не мог.

М-ль Марсель я обязан своими первыми занятиями рисованием — искусством, которым меня в свое время так пленил С. Н. Ягужинский. В области рисования я никогда не был талантлив, но способности у меня были, и развитие этих способностей безусловно сыграло роль в росте моего художественного воспитания и очень пригодилось в будущем. Пробовать свои силы на литературном поприще я тогда еще не решался, но это намерение, вероятно, в то время уже зрело во мне. Развитие фантазии под влиянием отца Симеона и пример м-ль Марсель подталкивали меня к попыткам попробовать создать что-либо самостоятельно.

Наш отъезд на Кавказ, смерть брата, поездка за границу и события 1905 года прервали мою учебу более чем на год. В этот период я снова перешел в педагогическое ведение своей матери. На Кавказе она учила меня русскому языку, арифметике, истории, географии, читала со мной французские книги, помогала мне заниматься рисованием. И вот на Кавказе, в Кисловодске я впервые почувствовал литературный зуд в руках. В чем он выразился, не помню, но мать, для которой не остались тайной мои переживания на этот счет, предложила мне вести журнал. Я не понял, что мать подразумевает дневник, и с азартом принялся сочинять периодическое издание на манер тех детских французских журналов, которые я получал. В чем заключалось содержание моих первых литературных опытов, при всем старании, вспомнить не могу, помню лишь одно, что я создавал два длинных романа или повести одновременно. Естественно, что они никогда окончены не были и ни в памяти, ни в архивах не сохранились.

Летом 1906 года, после того как стала затихать буря 1905 года, начали строиться серьезные планы насчет

моего ученья и дальнейшей карьеры. Моя мать, которая в этом вопросе по настоянию отца имела решающее слово, начала планировать мое будущее. Здесь она неумышленно совершила в отношении меня ту несправедливость, о которой я уже упоминал. Неизжитая матерью любовь к технике увлекла ее в сторону выбора для меня будущности технолога. В своей страсти к машинам, строительству, изобретениям мать просмотрела во мне ту черту, которую я безусловно унаследовал от нее, — любовь и способности к литературе и истории. Решено было готовить меня к курсу реального училища, обязательно казенного (там, по мнению матери, была строже дисциплина и больше равенства — не делалось никаких поблажек детям богатых родителей), куда я должен был со временем поступить для окончания среднего учебного заведения. Кроме того, было решено немедленно пригласить ко мне гувернантку — англичанку (Англия — страна техники) и, принимая во внимание мои наклонности, начать серьезные занятия по рисованию, так как, кроме всего, архитектор, инженер обязательно должны уметь рисовать и чертить. По настоянию отца я должен был еще изучать музыку. Помимо этого, памятуя недавние события 1905 года и считая, что они неизбежно рано или поздно должны повториться, мои родители решили обучить меня ремеслу, которым я всегда бы мог заработать себе кусок хлеба. Было избрано ремесло столярное, и моим учителем был назначен дядя Василий Пузанос с соответствующим внушением относиться ко мне со всей строгостью и требовать с меня, словно бы я был подмастерьем, а не хозяйским сыном. Естественно, что строгость ко мне дяди Василия была относительная, но все же в конце второго года обучения я смог сдать экзамен на третьесортного столяра.

Моя первая англичанка пробыла у нас недолго, через год она уехала навсегда в Англию, но за этот срок

она научила меня бегло говорить и читать по-английски. По своему происхождению она была ирландка, моя вторая английская руководительница мисс Грант была шотландка — этим я обязан, что у меня навсегда остался шотландско-ирландский выговор. С французским языком у меня дело вышло лучше, — мой первоначальный бельгийский выговор был все же частично исправлен м-ль Марсель. Все это произошло от недостаточной опытности моей матери, которая не знала, сколь важно с первых шагов дать правильный выговор. На долю мисс Грант выпало не только обучить меня, но и мою сестру. Она покинула наш дом уже после Октябрьской революции после длительных наших уговоров. Мисс Грант была хорошей преподавательницей английского языка, но мои родители сделали непростительную ошибку, пользуясь ее знаниями французского языка и музыки, поручить ей обучение меня и этим предметам. Что касается музыки, я был туг на ухо и унаследовал в отношении этого искусства всю бездарность моей матери, а довольно-таки формальное, лишённое увлекательности и вдохновения преподавание моей учительницы, которая больше умела, чем чувствовала, окончательно погубило дело. Через некоторое время я категорически отказался учиться игре на рояли, к великому огорчению моего отца.

Спустя некоторый срок он возвратился к мечте о моем музыкальном образовании и повез меня к Эмилии Карловне Павловской, попробовать, не выйдет ли из меня певца.

Эмилия Карловна прослушала меня, весьма одобрила мой баритон, но указала на дефект слуха, добавив, что слух можно развить, но для этого надо много работать. Так, с одной стороны, мой переходный возраст в то время не давал возможности форсировать этот вопрос, а с другой — много работать не входило в мои тогдашние интересы, и вопрос о моем пении замер сам

собой. Как это часто бывает, впоследствии вся моя жизнь была тесно связана с музыкой, и отсутствие специального музыкального образования более всего мне мешало.

Из моего немецкого языка также ничего не вышло, так как мисс Грант начала мое образование с усвоения грамматических оснований, а не учебы со слуха, как это было с французским и английским, да потом наш дом был проникнут национальной ненавистью ко всему немецкому, что передавалось и мне, и мало способствовало успешному освоению этого языка. Так и остались мои знания немецкого из пятого в десятое.

Моим первым учителем рисования был преподаватель Строгановского училища с необычайным именем — его звали Константин Аниподистович. Это был добрейший человек, но как преподаватель он не был высокого полета, учил по старинке, заставлял рисовать с натуры геометрические фигуры и больше следил за чистотой рисунка, чем за чем-либо другим. Тем более меня поразил мой второй учитель Иван Осипович Дудин, вскоре почему-то сменивший Константина Аниподистовича. Иван Осипович с первых же уроков заставил меня рисовать череп, гипсовые маски, цветы и фрукты с натуры. Через два-три месяца параллельно с рисованием он начал учить меня рисовать акварелью. Но самым главным было то, что мой новый учитель очень много беседовал со мной об искусстве, изредка ходил со мной в галереи и часто садился рядом со мной во время урока и начинал самостоятельно рисовать то же, что и я в свой альбом. Когда мы жили на даче, он навещал нас летом и вместе со мной ходил на этюды. К моему несчастью, Иван Осипович по своему призванию был пейзажистом, а мои способности тянули меня больше к портрету. Когда это стало окончательно ясным для моего учителя, он переговорил с моей матерью, и были немедленно приняты соответствующие меры.

Иван Осипович Дудин был типичным представителем русской художественной интеллигенции. Малосостоятельный дворянин, подготовляемый своими родителями к военной карьере, он рано увлекся живописью, которой и посвятил всю свою жизнь. Прекрасно воспитанный, красавец собою, он обладал исключительной скромностью и застенчивостью, которые вместе с природной мягкостью характера и добротой сердца помешали ему занять то первостепенное положение, на которое он имел право претендовать. По специальности акварелист, он хорошо владел этим труднейшим искусством. На выставках вместе с тем он участвовал редко, так как его более интересовала педагогика — возможность учить других своему любимому искусству. На этой почве он сошелся с художником Ю. Ф. Юоном, с которым они вместе и открыли художественную школу на Арбате. Доминировал в ней К. Ф. Юон, но душою дела и исполнителем всей черновой организационно-административной работы был И. О. Дудин.

Во время японской войны И. О. Дудин как бывший офицер был мобилизован и принял участие во всей кампании, начиная с Лаоянского сражения и кончая Мукденом. На фронте он честно заработал несколько боевых орденов. Иногда мне приходилось «разговорить» его, и тогда он, преодолевая свою стеснительность, которая не оставляла его даже в беседах со мной, рассказывал некоторые боевые эпизоды.

В заключение он неизменно скорбел о том, что высокие образцы храбрости и доблести, проявленные солдатами и младшими офицерами, пошли прахом из-за полной несостоятельности военного руководства и бездарности правительства. Он читал мне наизусть стихотворение, ходившее тогда в армии и переделанное из лермонтовского «Бородино». К сожалению, у меня пропал написанный им по моей просьбе список, а я запомнил лишь несколько строк, а вместе с тем мне не

приходилось впоследствии встречать эти стихи. Начи-
нались они строками:

Скажи-ка, дядя, в чем тут дело?
Или дрались мы не смело,
Иль войска нет у нас,
Что нас в воинственном задоре
Японцы в поле и на море
Колотят каждый раз?

Далее следовало описание нашей неприглядной
военной действительности, из которого у меня в памяти
остались лишь строки о мукденском разгроме:

Полки Волынский, Вальдманштрандский
Смешались, да так,
Что в этой злополучной каше,
Испив до дна несчастий чашу,
Не знали командиры наши,
Искать нас где и как...

Многим я обязан в жизни Ивану Осиповичу Дуди-
ну, он не только научил меня прилично владеть ка-
рандашом и кистью, что мне впоследствии не раз
пригодилось, но и заставил понимать, чувствовать и
разбираться в живописи, что для меня, пожалуй, со
временем было еще важнее, так как последнее я развил,
а первое забросил.

Русский язык и историю преподавал мне Леонид
Николаевич Реформатский. Довольно широко извест-
ный педагог-словесник, автор хрестоматий и трудов
по истории литературы, он был фанатически влюблен
в свою науку и легко передавал свое увлечение учени-
кам. Вечно занятый, с некоторой долей русского сибар-
итства, холостяк по призванию и большой добряк, он
невольно располагал к себе и удерживал ученика от
шалостей и невнимания не из страха наказания, а из-за
нежелания огорчить учителя. В методе преподавания

Леонида Николаевича было что-то такое, что делало даже синтаксис интересным, не говоря уже об теории словесности. Он заставил меня полюбить русский язык, оценить его и благоговейно относиться к слову «писатель». Впоследствии, когда в печати появлялось что-либо из моих писаний, что я считал не очень плохим, я неизменно отправлял к нему свою книжку, а он, по словам передававших, умиленно качал головой и говорил:

— Поди же ты! Впрочем, я не удивляюсь!..

Думаю, что старый добряк был всегда готов изречь эту фразу по адресу любого из своих учеников, которых он всех искренно любил.

Моим учителем географии и математики был Иван Алексеевич Смирнов. Высокий, косая сажень в плечах, белокурый волгарь немного играл под Горького, Шаляпина и Скитальца. Он любил щегольнуть на уроке «краснотой» своих взглядов, покритиковать правительство, поругать русскую действительность. Подобно И. О. Дудину, он был нашим частым гостем на даче, где у него всегда происходили мелкие и мирные стычки с моей матерью на почве поношения России. Мои родители, и в особенности моя мать, чрезвычайно терпимо относившиеся к политическим мировоззрениям людей, в то же время были добрыми патриотами и не терпели бесцельного руганья всего русского. В глубине души Иван Алексеевич никогда революционером не был, и все его высказывания были лишь модным фрондерством, что с полной очевидностью стало ясно незадолго до его смерти, вскоре после Октябрьской революции. В эту последнюю пору жизни его взгляды стали более ретроградными, чем взгляды моих родителей. А в свое время на даче, предпринимая со мной долгие прогулки, до которых он был большой охотник, Иван Алексеевич не упускал случая часть своего времени посвящать внедрению в меня «революционных» взглядов. Моя

мать не только знала об этом, но и поощряла, так как считала подобные разговоры полезными для моего общего развития. Математику я всю свою жизнь искренно ненавидел, а к географии относился безразлично, так что как педагог Иван Алексеевич оставил во мне неглубокий след, но его личность и взгляды, безусловно, сыграли роль в моем воспитании. Грешным делом, теперь я думаю, что как педагог он был средним, так как не сумел за несколько лет преподавания заинтересовать меня своими науками, но человек он был не плохой, а главное, искренно стремился множить своими учениками ряды образованных русских людей.

Не могу не упомянуть о моем учителе немецкого языка. Ввиду того что мисс Грант было трудно подготовить меня к испытанию в русском учебном заведении, это было поручено Францу Владимировичу Баллод. Для меня до сего времени непонятно, почему он был преподавателем немецкого языка, да еще в Коммерческом училище при этом.

Ученый-археолог, египтолог, хорошо писавший и читавший иероглифы, автор нескольких научных исследований по своей научной специальности, он почему-то избрал основной профессией преподавание немецкого языка. После Октябрьской революции он, как литовец, уехал к себе на родину, где вскоре занял пост министра народного просвещения, каковой занимал долгое время. Эта должность, мне кажется, должна была больше ему подходить. Впрочем, свое преподавательское дело он знал хорошо, и я при очень поверхностном знании немецкого языка неизменно на экзаменах получал хорошие отметки. Франц Владимирович был чрезвычайно приятным и интересным собеседником, много читавшим и много издававшим, при этом он был чрезвычайно милым и внимательным человеком. Ездя почти каждое лето за границу, он неизменно присылал мне оттуда любопытные открытия, связанные с каки-

ми-либо значительными событиями, происходившими за рубежом. Где он и что с ним случилось после того, как Литва стала советской, я, к сожалению, не знаю¹.

Забываясь о моем образовании, мои родители не упустили из вида и мое физическое развитие. Гимнастика, или, как это теперь называют, физкультура, входила в план моего воспитания. Моя мать сама любила физические упражнения и с увлечением отдавала дань модной тогда «Моей системе» Мюллера. Я лично с восьми лет посещал физическую лечебницу доктора Соколова, где усердно манипулировал какими-то сложными гимнастическими приборами. Это заведение было рекомендовано моим родителям как средство окончательно изжить остатки повреждения ноги при падении и начинавшейся хромоты. Лечение у Соколова стоило массу денег, было очень скучным и, по глубокому моему убеждению, приносило мало пользы. Все же около двух лет я регулярно занимался этой ортопедической гимнастикой. Но вот матери кто-то рассказал о немецком московском гимнастическом обществе «Турнферейн», помещавшемся на Цветном бульваре в собственном доме. Гимнастические вечера происходили там несколько раз в неделю, и вход на хоры был свободным для любопытствующих познакомиться поближе с этим заведением. В один из ближайших дней мы отправились вместе с матерью посмотреть, что там происходит.

«Турнферейн» был типичнейшим немецким национально-милитаристическим учреждением, сеть которых покрывал Европу воинственный германский император, готовясь к своей конквистадорской миссии в мире. Это было государство в государстве. Все там было на немецкий лад — надписи по-немецки, говор немецкий,

¹ По слухам, впоследствии он стал одиозной личностью в Литве. (Примеч. Ю. Бахрушина.)

картины немецкие, проспекты и книги тоже немецкие. Мало того, в саду дома немцы не постеснялись, при благосклонном отношении русского правительства, воздвигнуть бронзовый памятник Бисмарку, который был в свое время торжественно открыт с депутациями из Берлина. Дисциплина в заведении была тоже немецкая, то есть образцовая, выправка гимнастов также, и, конечно, все они имели униформу — белый бумажный джемпер — фуфайку, красный, довольно широкий пояс на резине и черное длинное грико — штаны. Иными словами, каждый гимнаст в своем костюме представлял из себя национальный немецкий флаг. Все это обмундирование можно было приобрести тут же за сходную цену, и все оно, конечно, было немецкого производства.

Над огромным залом, украшенным большим бронзовым барельефом основателя общества, тянулись длинные хоры для гостей, куда мы с матерью и были направлены. Все гимнасты были разделены на группы по своей физической силе и подготовленности. Группы имели своих старших — руководителей. Вся эта масса людей всех возрастов строилась в комнате перед залом парами и под звуки бравурного марша входила в зал. Вечер начинался с чисто военных, строевых эволюций, в конце которых оказывалось так, что все занимали свои назначенные им в зале места. Тогда старший инструктор, маленький ловкий чертообразный человек, влезал на высокий помост, и начинался урок шведской гимнастики, одинаковой для всех групп. С хоров эта картина была особенно красивой — в первом ряду стояли седобородые, лысые, краснорожие старые немцы, за ними мужчины помоложе, затем стройные юнкерообразные юноши, потом старшие мальчишки и совсем сзади — малыши.

В шведской гимнастике есть всегда «однообразная красивость», в данном случае еще усугубленная един-

ством одежды. После окончания шведской гимнастики полагался короткий перерыв, а затем гимнасты уже в составе своих групп направлялись к назначенным им приборам и производили на них соответствующие упражнения. Нам с матерью все это очень понравилось, и я немедленно вступил в число гимнастов «Турнферейна», в котором пробыл года четыре. «Турнферейн» дал мне очень много в отношении моего физического развития, и ему обязан я тем, что когда попал на военную службу, мне показалось пустяком то, что приводило других моих товарищей в отчаяние и уныние.

По учебному плану моей матери, мое домашнее образование должно было время от времени подвергаться проверке и как-то подытоживаться. И здесь моя мать по своей неопытности подвергала меня одному из самых жестоких и мучительных испытаний, какие могут выпасть на долю ребенка. Это стоило мне в свое время много здоровья и принесло немало вреда моему дальнейшему развитию. Мать решила, что я ежегодно должен буду сдавать экзамены за соответствующие классы при каком-либо казенном учебном заведении. Казенных реальных училищ в Москве было уже два: первое и второе — надо было выбрать одно из них. Этот выбор было довольно легко сделать, так как во Втором реальном училище на Басманной учился мой двоюродный брат — сын брата отца. Как он сам, так и его родители давали хороший отзыв об этом заведении. Несмотря на то что я был уже достаточно подготовлен, чтобы держать экзамен за курс первого и второго классов, моя мать решила ограничиться первым классом, чтобы мне для начала было легче.

Весна была в полном разгаре, когда я в один прекрасный или, скорее, несчастный, непрекрасный день очутился перед небольшим двухэтажным зданием на Ново-Басманной, на фронте которого красовалась лаконическая надпись «Московское 2-е реальное учи-

лице». Вошел я в это здание не без некоторого страха. Страх этот протекал не от неуверенности в своих знаниях, не из боязни педагогов, а из некоторой неизвестности того, что со мной там произойдет. Первый экзамен был по Закону Божьему. Поп ничем не привлек особого моего внимания, вопросы он задавал легкие, отвечал я бойко и без труда заработал пятерку. На втором экзамене, устном и письменном русском, я уже встретился со всем ареопагом казенных учителей во главе с директором и пришел от этого в ужас. Все то, что мне пришлось впоследствии, в особенности после революции, читать в сатирических книгах о царской школе и ее педагогах, было воплощено в этих людях.

Директор, грязный и угрюмый на вид, шиковал перед учениками своей солдатской грубостью, отпускал какие-то словечки, которые с гоготом принимались штатными воспитанниками. Мы, пришедшие на отдельный экзамен, чувствовали себя очень не по себе. Остальные учителя, собранные на проведение экзамена, делали вид, что каждый из экзаменующихся является их личным врагом. Они недружелюбно оглядывали каждого из нас, грубо обрывали на полуслове, передразнивали и громко обменивались мнениями об нас между собой.

Я, не привыкший к такой обстановке, совершенно растерялся и уже не видел перед собой лиц, а одни свиные хари...

За устным последовал письменный. Учитель противным монотонным голосом диктовал какой-то бесконечный диктант из Гоголя — описание дождливого дня в Петербурге. Я писал и думал только о том, как бы скорее избавиться от этой муки. Потом следовал экзамен по рисованию — я тогда уже рисовал неплохо и быстро набросал заданную натуру. Учитель рисования, хотя и в меньшей степени, чем другие педагоги, обладал теми же свойствами неприязненного отноше-

ния к экзаменуемым. Вместо ожидаемых мною похвал он, остановившись перед моим рисунком, долго качал головой, чмокал и наконец произнес:

— Ничего... только суше надо рисовать-с. Импрессионистических вольностей нам не надо-с — нам четкость и точность нужны-с!

Потом он взял мой рисунок, поставил наверху «четыре» и сказал:

— Можете идти-с!

Затем следовали остальные экзамены, на которых молчаливая война между нами и педагогами продолжалась, то усиливаясь, то замирая.

Наконец экзамены кончились, и мы с матерью в назначенный день явились за результатами испытаний. Прилизанный училищный чиновник вызывал фамилии в приемной и передавал родителям учеников сложенные пополам бумажки. Мать получила мою. Мы сели в уголок и развернули бумажку. Во второй строчке отметок сухим и четким писарским почерком значилось: «Русский язык: письменный — кол, устный — два. Общй — два».

Эта строчка загипнотизировала меня. Я долго не мог от нее оторваться, пока мой взор случайно не упал на строчку «рисование», против которого значилось три.

Тут я сразу обрел дар речи и стал с жаром уверять мать, что этого не может быть, что я наверное знаю, что я получил четверку, что это какое-то недоразумение. Мать, огорченная всем происшедшим, пошла поговорить с директором.

О содержании их разговора я узнал уже дома. На вопрос матери, как это так произошло, что я получил такой низкий балл по русскому языку, директор в довольно грубой форме посоветовал матери лучше обратиться с этим вопросом ко мне, он же лично знает только одно, что я сделал в диктанте более ста грубых ошибок, а на вопросы устные отвечал с запинкой и неу-

веренно. Когда же мать спросила, нет ли ошибки в балле по рисованию, директор ответил, что у них документы проверяются, так что ошибка невозможна. При этом он с иронической улыбкой предложил ей, на свое несчастье, взглянуть на общую главную сводку отметок. К его немалому конфузу, в сводке ясно значилась четверка.

Директор смущенно, наскоро тут же переделал тройку на четверку, добавив: «Впрочем — это дела не меняет!» — на чем аудиенция и кончилась.

Впоследствии мой учитель русского языка, пользуясь своими связями в педагогическом мире, раздобыл мой злополучный диктант и взглянул на него. К его немалому удивлению, кроме орфографических ошибок, полным баллом были в нем сочтены не только неправильно поставленные знаки препинания, но и исправления и даже кляксы. Столь строгий подход к письменной работе для первого класса обычно никогда не применялся.

Так кончился мой первый экзамен. Отец с матерью, видя мое истерзанное и измученное состояние, не сказали мне ни слова о моем провале. В доме об экзамене ничего не говорилось — словно его и не было. Все же, конечно, мои родители были огорчены, а главное, никак не могли взять в толк, почему я, по отзывам учителей, учившийся хорошо и выдававший способности, вдруг провалился. В конце концов они пришли к заключению, что в следующую весну я буду держать экзамен уже за два класса, но не во Втором, а в Первом казенном реальном училище.

С наступлением поры экзаменов на следующий год мне уже пришлось явиться по новому адресу: на Садово-Кудринскую в большое многоэтажное здание. На этот раз я уже ехал на экзамен с чувством дикого животного страха. Перед испытаниями у меня делалась рвота, озноб и прочие нервные недомогания. Ранее

свободный от какой-либо веры в приметы, я вдруг припомнил целую кучу, слышанную от старших и почерпнутую из книг, и стал болезненно реагировать на всякие случайности и внимательно следить за всевозможными пустячными обстоятельствами.

В Первом реальном училище дело было поставлено иначе, чем во Втором. Если на Басманной царил дух циничного, враждебного отношения учителей к экзаменуемым, то здесь, наоборот, все было в высшей степени корректно, холодно и бездушно.

Экзаменующиеся отнюдь не были врагами для учителей, а они были просто «номера», которые надо было «пропустить» через испытания. Начиная с директора, докторообразного статного седого старика, и кончая надзирателями и сторожами, все были молчаливы, необщительны, официальные и сухи. Впрочем, были исключения, которые и запомнились — преподаватель рисования Ландэ и математик Десятковский.

Ландэ был, по-видимому, остзейский немец с бородкой и усами à la Ван Дейк, с которыми мало гармонировало пенсне в золотой оправе. Он, надо думать, более увлекался живописью, чем владел карандашом, — экзамен превращался у него в урок, во время которого он щедро раздавал советы экзаменуемым, делал замечания и даже, садясь на их место, исправлял работы. Человек он был добрый и редко ставил плохие баллы. Десятковский был полной его противоположностью. Древний старец, вечно не бритый, с колючей щетиной на щеках и верхней губе, он шаркающей походкой с трудом передвигался по училищу, причем в наиболее опасных местах на порогах и лестницах ученики поддерживали его под руки. Говорил он брюзгливым, глухим голосом, отчего казался вечно чем-то недовольным и напоминал мне одного из чиновников гоголевских повестей. Говорили, что он был мягким педагогом во время учебного года, но на экзаменах

превращался в зверя. Несмотря на все это, на сей раз все для меня обошлось благополучно и я, к собственному удовольствию, сдал экзамены за первый и второй классы.

Окрыленные моим успехом родители успокоились и мало обращали внимания на мое физическое состояние после экзаменов, тем более что во время летних каникул я быстро внешне поправился. На самом же деле весь год проходил у меня сперва в изживании впечатлений от прошедшего экзамена, а потом в беспокойстве за грядущий. На испытаниях в пятый класс я снова провалился, в этот раз по математике. Докторобразный седой директор в золотых очках вежливо, но холодно сообщил об этом матери и мне в приемной училища. Мать робко осведомилась, нельзя ли мне держать осенью переэкзаменовку. Директор столь же вежливо ответил:

— Вам, сударыня, должно быть известно, что переэкзаменовки для экстернов не допускаются!

Потом он поклонился матери, взглянул на меня и пошел к выходу. В дверях он обернулся и снова внимательно и долго посмотрел на меня, а затем, обращаясь к матери, сказал:

— Сударыня, если у вас есть сейчас свободное время, вы, может быть, пройдете в мой кабинет?

Мать последовала за ним. Там он усадил ее в кресло и после некоторого молчания вдруг задал ей неожиданный вопрос:

— Вы любите своего сына?

— Да, конечно, — ответила мать.

— Так зачем же вы его так мучаете? — продолжал директор. — У меня у самого два сына, я более чем кто-либо другой знаю преимущество домашнего образования и недостатки школьного, но я никогда не решился бы подвергать своих сыновей всем мукам экстерна. Взгляните на вашего сына повнимательнее. Вы это,

вероятно, не замечаете, видя его каждый день, а мне так очень заметно, как он сдал за эти две экзаменационные недели. Вы, конечно, вправе спросить, на каком основании мы их так мучаем? На это я вам отвечу, а мы что можем сделать — мы подчиненные Министерства, а у меня имеется секретное предписание Министерства народного просвещения обязательно проваливать на экзаменах не менее 75 процентов экстернов. Что мы можем делать? Мой вам совет — отдайте вашего сына в училище — все тогда сразу изменится для него — он мальчик способный. Да, отдайте его не в казенное, а в частное училище. Есть очень хорошие, солидные, старые училища в Москве с полными правами казенных. А в них система преподавания другая, они не обязаны выполнять предписания Министерства, как мы. Ведь мы должны давать образование в известных рамках, с определенным уклоном, а они нет. Я надеюсь, — добавил он, — что вы не дадите широкой огласки нашему с вами разговору?

Мать поблагодарила директора Соколова за его искренние и добрые слова. Но больше матери, пожалуй, поблагодарил я его в душе. Мои мучения кончились. Было решено с осени отдать меня в частное училище, тем более что туда можно было поступить, выдержав переэкзаменовку.

Начинался новый этап в моей жизни.



ето 1907 года было последним моим привольным летом — последующие уже связаны у меня с переживаниями только что прошедших экзаменов. Вместе с тем это было и последним летом в Гирееве. Старик Терлецкий выделил сыну часть своего имения, так называемое Новое Гиреево. Молодой хозяин прорубил в вековом лесу просеки, нагнал плотников и стал спешно воздвигать дачи, дабы поправить финансовые дела, в достаточной мере расширенные беспечностью своего отца. Старинная барская усадьба стала быстро превращаться в подмосковную дачную местность. Девственный лес начал беспардонно оскверняться клочками грязной газетной бумаги, пустыми консервными банками, яичной скорлупой, битыми бутылками и прочими следами человеческой «культуры». Огромные задумчивые пруды, которые были некогда выкопаны пленными турками, захваченными Суворовым и Румянцевым, были разбужены непрерывным визгом купающихся и пьяными песнями катающихся на лодках. Все это раздражало моих родителей, которые для своего летнего отдыха искали уединения и спокойствия. Надо было начать поиски нового пристанища на лето.

Памятно мне это последнее лето в Гирееве двумя событиями. Первое произошло в середине нашего пребывания на даче. Помню, мы — мать, тетка и я — собирались ехать кататься. Был заложен шарабан с любимой лошадью матери Ветерком, которым она всегда правила сама. Был чудный, солнечный, жаркий день. Когда мы выехали на дорогу к Новому Гирееву, наше внимание привлекло небольшое буро-свинцовое облачко, одиноко маячившее на юго-западной части неба. Оно было какое-то необыкновенное. На наших глазах оно мгновенно росло, меняло форму, изменялось в окраске. Решив, что неминуемо будет гроза, мать с теткой решили отменить нашу прогулку и повернули домой. Приехав обратно, мы зашли на дачу и почти немедленно вышли в сад, взглянуть, как надвигается гроза. За десять — пятнадцать минут, которые прошли с тех пор, как мы выехали на нашу прогулку, картина природы резко изменилась. Облачко, разросшись в огромную тучу свинцово-желтого цвета, затянуло уже половину небосклона, затмило солнце и с невероятной быстротой несло прямо на нас. В природе все замерло, ветер совершенно стих, птицы замолчали, сразу воцарилась какая-то фантастическая полутьма — все было залито каким-то мутно-кровавым светом. Где-то вдали выла собака. В несколько секунд туча поравнялась с нами. Она неслась так низко, что, казалось, заденет верхушки деревьев. Небо напоминало поверхность опрокинутого кипящего котла с грязной, зеленоватой жидкостью. Мне почему-то показался смешным этот необычайный вид неба, которое извивалось наподобие клубка отвратительных змей, и я засмеялся. Помню, как мать резко оборвала мой неуместный смех — только тогда я понял, что старшие боятся, что происходит какое-то стихийное бедствие. Туча промчалась над нами мгновенно, через пять минут она уже была на горизонте, и снова засияло солнышко, словно ее и не

было. Лишь два-три порыва резкого ветра проводили ее на северо-восток. Через полчаса приехал из Москвы дед Носов, как всегда, на своей ечкинской тройке. Он был бледен. Зловещая туча встретилась ему тогда, когда он только что проехал Аненгофскую рощу на Владимирском шоссе. Она неслась уже совсем низко над землей и миновала их в несколько секунд. Они остановили лошадей и вместе с ямщиком встали в коляске и стали смотреть ей вслед. Вот туча, задевая деревья, докатилась до Аненгофской рощи и скрыла ее из виду, и через несколько мгновений она пронеслась уже дальше. Как при чистой перемене на театре, перед дедом неожиданно вырос Аненгофский дворец среди голого поля. Могучий бор из вековых дубов и мачтовых сосен, скрывавший здание от шоссе, перестал существовать. Деревья со стволами в несколько обхватов были переломлены на несколько частей, как жалкие спички. Это был знаменитый московский ураган. К вечеру стали поступать сведения о принесенных им бедствиях. Нас он миновал только на несколько верст. Когда дня через два мы побывали в Кузьминках Голицыных, то там перед нашими взорами предстала невероятная картина катаклизма, происшедшего в природе. Деревья старинного парка были переломаны, как щепки, и валялись причудливыми грудями в полном и непонятном беспорядке, то вместе с корнями, то друг на дружке крестобразно, то соединенные купами в одном центре. Здесь я воочию убедился в той опасности, которой мы подвергались.

Второе памятное мне событие произошло весной после нашего переезда на дачу.

В 1897 году отец был избран советом Российского театрального общества управляющим Театральным бюро. Хорошо помню ежегодную страдную пору Бюро Великим постом, когда со всех концов России в Москву прибывали провинциальные актеры и актрисы

заключать контракты. Отец в это время совершенно пропал из дому. Вся эта разношерстная актерская масса с замысловатыми двойными фамилиями днем шумела и галдела в Бюро, а вечером съезжалась к нам в дом смотреть музей и так же галдеть и шуметь по вопросам искусства.

Весной 1907 года исполнилось десятилетие управления отцом этим учреждением Театрального общества. Находившиеся в Москве провинциальные актеры, а также и служащие Бюро заявили отцу, что они собираются праздновать его юбилей. Отец, не любивший фигурировать виновником торжества в подобных случаях, сказал, что это невозможно, так как он живет на даче. Но актеров не так легко было сбить с панталыку — они, нимало не смущаясь, заявили, что раз это так, так они приедут в следующее воскресенье к нам на дачу.

Перед таким натиском отец спасовал и принужден был лишь сказать: «Милости прошу!»

Хорошо зная цену актерским обещаниям, отец не особенно рассчитывал на приезд к нему гостей на дачу в этот день, но все же принял кое-какие меры — закупил в Москве достаточное количество яств и напитков, а также сговорил на станции Кусково всех извозчиков в случае приезда к нему гостей везти всех к нам на дачу не торгуясь — проезд будет оплачен отцом.

Собравшись в назначенное воскресенье к утреннему кофе, мы глянули в окно — все небо было в тучах, лил проливной дождь и на дорожках стояли мутные лужи с глянцевитыми пузырями. Гости нечего было ждать. Отец, в душе, конечно, немного расстроенный, говорил, что в конце концов он очень рад, так как зачем все это нужно. Все же к двенадцати часам из Москвы приехал кое-кто. Кроме наших обычных посетителей С. Е. Павловского, П. А. Волховского и В. В. Постникова, приехал заведующий Бюро И. О. Пальмин, который

заявил, что актеры обязательно приедут со следующим поездом и будут к часу дня. Но прошел час, затем два, три, а никто не ехал. И. О. Пальмин окончательно сконфузился, мы все в ожидании гостей проголодались, так как привыкли обедать в час. Наконец отец сказал, что ждать больше нечего и надо садиться обедать. Сервированный закусками праздничный стол был быстро убран и вместо него накрыт наш обычный, обеденный. Подали традиционную воскресную кулебяку с гречневой кашей, гости и отец налили себе по рюмочке водки, и начался обед. Не успели мы съесть по порции кулебяки, как услышали какой-то шум в саду. Отец выглянул в окно. У нашей калитки длинной вереницей стояли линейки, брички и пролетки станционных извозчиков, на которых сидели нахохлившиеся, промокшие актеры под блестящими от дождя зонтами. Через несколько минут вся эта ватага мужчин и женщин более сорока человек была уже в комнатах. Тут же в столовой наскоро, усилиями всех восстанавливался праздничный стол и одновременно шло чествование отца и чтение ему адресов. Затем все сели за стол и у стола — кто где и на что мог. Пошли застольные тосты и истребление приготовленных яств. Пробыв у нас не более полутора часов и расписавшись в альбоме, который, в нарушение всех правил, на этот раз был привезен отцом из Москвы, вся эта актерская компания снялась с места и на тех же извозчиках отправилась обратно на станцию и в Москву.

Отец был искренно растроган этим визитом, который он рассматривал, в особенности в связи с погодой, как неопровержимое доказательство доброго к нему отношения актерской массы.

Во всем прочем наша жизнь на даче в этом году протекала как обычно. Единственной, пожалуй, новостью было поголовное увлечение лаун-теннисом. Реми-нисценция своей игры в теннис в Кисловодске и при-

существование в доме англичанки явились главными стимулами быстрого распространения этой болезни в нашем доме. Домашними средствами был изготовлен корт, приобретен необходимый инвентарь, и дело пошло. В теннис играли все — дед, отец матери, с лишним шестидесятилетний старик, мой отец, гости во главе с Вл. Конст. Трутовским и С. Е. Павловским, которым обоим вместе в сумме было более ста лет, не говоря уже о всей «молодежи», начиная с моей матери и кончая мною. Особенно было забавно наблюдать за дедом, игравшим всегда с большим азартом, и за моим отцом, не привыкшим к физическим упражнениям и потому принимавшим во время игры самые причудливые позы.

Часто по праздничным дням мы предпринимали экскурсии вместе с нашими постоянными гостями. Ездили в близлежащие Кузьминки, Кусково, в Горенки и в Кучино к брату матери В. В. Носову ловить рыбу.

Кучино, старинная барская усадьба, некогда принадлежавшая Рюминым, была впоследствии куплена разбогатевшим купцом Рябушинским, на дочери которого и был женат мой дядя. Имение было неделимое, и все многочисленные дети старика Рябушинского владели им сообща, что порой заставляло их быть на грани семейных ссор, впрочем, как будто никогда не доходивших до чего-либо серьезного. Все дети выстроили себе в разных концах имения дачи, где жили независимо и самостоятельно. Почти все они были людьми оригинальными, талантливыми и чрезвычайно не похожими друг на друга в своих интересах.

Глава семьи, старший брат Степан Павлович — по его инициативе был основан первый в России сборочный автомобильный завод в Нижнем Новгороде — вел дела фирмы вместе с мужем третьей сестры Евгении. Степан Павлович свято блюл правила древнего благочестия старообрядческой семьи Рябушинских. Он коллекционировал дониконовские иконы и книги, в кото-

рых был большим знатоком, обладая в своем собрании редчайшими экземплярами древнерусского искусства.

Второй брат Павел Павлович весь отдался политико-публицистической деятельности, владел банком и газетой «Утро России», являвшейся рупором кадетствующих представителей русского капитализма.

Третий брат Николай Павлович весь ушел в декадентское искусство и тщетно стремился прославиться на этом поприще, но о нем речь будет ниже.

Младший брат Михаил Павлович, живущий в Кучине анахоретом, увлекался аэродинамикой и метеорологией и создал единственную научную станцию подобного типа под Москвой, которая играла и играет немало важную роль по сие время.

Младшие сестры — Надежда, впоследствии вышедшая замуж за племянника К. С. Станиславского, увлекалась общественно-политическими дисциплинами, а последняя, Александра, была недюжинной лингвисткой.

Из сестер наиболее бледной фигурой была старшая Елизавета, жена архитектора Жолтовского, а наиболее яркой — вторая, Ефимия, моя тетка. Она была типичной представительницей меценатствующего московского капитализма. Окруженная поэтами-символистами и художниками-«мирискусниками» — она «рассудку вопреки, наперекор стихиям» превращала памятный мне по детству старый носовский дом на Введенской площади во дворец Козимо Медичи. Рябушинские имели особенность чрезвычайно громко разговаривать, орать, так что, когда они собирались вместе, всегда казалось, что в доме происходит какая-то невероятная ссора, а на самом деле велся самый мирный, душевный разговор. Получившие в свое время английское воспитание, они строили свою жизнь в Кучине на манер британских помещиков, увлекались спортом, заводили английские газоны.

В свое время вся родня матери была против брака дяди с Ефимией Павловной Рябушинской, считая ее семью мало подходящей для солидной жизненной установки Носовых. Но дядя, как единственный, балованный и горячо любимый сын и брат, без особого труда настоял на своем. После совершившегося факта приходилось лишь мириться или закрывать глаза и не обращать внимания на экстравагантность новой невестки. Особенно удачно делал это старик дед.

В Кучино мы обыкновенно отправлялись втроем: дед, отец и я. Ужинали и ночевали на даче у дяди, а с утра шли на рыбную ловлю под плотину, сдерживающую напор большого проточного пруда. За прудом, на горе, возвышался приобретенный стариком Рябушинским огромный, некрасивый и мрачный старый барский дом Рюминых, окруженный вековым парком.

В этом доме никто не жил — он стоял пустым, хотя право на житье в нем было предоставлено старшему брату Степану Павловичу, но он, дабы не возбуждать споров, уклонялся от этой чести.

Как-то мы попросили разрешения осмотреть внутренность старого дома. Помню бесконечную анфиладу комнат, полупустых, мертвых и неприветливых. В них не было и тени того духа отошедшего быта, который царил в старом доме в Гирееве. Тяжелое, натянутое впечатление оставил дом, как и все, что окружало Рябушинских.

Под плотиной, ловя рыбу, мы чувствовали себя свободно и непринужденно, ни на кого не обращая внимания и забывая все окружающее. Порой Ефимия Павловна, как спортсменка, так же являлась ловить рыбу. Ее сопровождал служитель, несший удобное кресло и большой зонтик. После того как кресло было установлено и зонтик раскрыт, он разматывал удочки, насаживал червяка на крючок и передавал снасть моей тетке, которая закидывала ее в воду, сидя в кресле.

Служитель становился за ее креслом. Если ей удавалось поймать рыбу или надо было сменить насадку, она молча протягивала ее назад, и служитель снимал с крючка рыбу или менял червяка. Мы, взирая на это священнодействие, молча переглядывались и посмеивались исподтишка. Но в конечном итоге все это не мешало нам к вечеру уезжать обратно в Гиреево с большим ведром серебристых лещей, красноперых окуней и прочей мелкой речной рыбешки.

Иной раз мы предпринимали более близкие экскурсии в Кузьминки, в Измайлово на пасеку или в Горенки, некогда принадлежавшее гр. Разумовскому.

В давно прошедшие года здесь помещался всемирно известный ботанический сад, руководимый не менее известным академиком Палласом. Здесь были собраны редчайшие растения обоих полушарий, за которыми бережно ухаживали сотни высококвалифицированных крепостных садоводов. Причудливо и искусно раскинутый по косогору от блестящего на солнце пруда, английский парк обхватывал небольшой, но чрезвычайно приятный по пропорциям белоснежный дом с легкими пропилеями¹ по бокам и миниатюрными флигелями. Когда мы посещали этот уголок, от ботанического сада не осталось и следа, пруд затянуло ряской и тиной, английский парк, местами бесчеловечно вырубленный, глядел больным и угрюмым. Бродя в нем, можно было случайно наткнуться на какую-то редкостную породу дерева или на одичавшую кусту невиданных цветочно-многолетников. Старый дом, грязный и неопрятный, гремел стуком машин и чадил дымом. Лет тридцать — сорок до этого эта замечательная усадьба была куплена каким-то предприимчивым купцом, который быстро приладил старый дом под фабрику и начал в нем производить какие-то товары. Веяло грустью от этого

¹ П р о п и л е и — колоннады перед входом.

кошунственного отношения наступающего, самодовольного, распоясавшегося капитализма к минувшей культуре.

Вскоре после нашего отъезда из Гиреева предприимчивый купец не то умер, не то разорился, и Горенки были проданы другому купцу — Сорокоумовскому. Он немедленно ликвидировал завод и начал бережно реставрировать дом. Это оказалось не столь сложным, так как расписанные заграничными художниками плафоны были просто заклеены обойной бумагой, а мраморные стены парадных комнат заштукатурены известью. Труднее было восстановить сбитую лепку, и невозвратно погибли фигурные печи, места которых были обнаружены при вскрытии инкрустированных паркетов, сохранившихся под настилом грубых досок. Отец чрезвычайно интересовался реставрационными работами и жалел, что умер Антон Павлович Чехов и что нельзя показать ему антитезу его «Вишневого сада».

В Кускове к Шереметевым мы обычно ходили пешком. Как правило, когда старик граф жил в доме, в парк никого не пускали, но для нас делалось исключение, так как отец был отлично знаком с сыном старика Павлом Сергеевичем, да и с самим Сергеем Дмитриевичем, с которым сталкивался при издании последнего собрания сочинений И. Ф. Горбунова.

Сергей Дмитриевич был одним из последних носителей русской барской культуры. Несметно богатый, независимый, высокообразованный, он казался прямым наследником благороднейших навыков лучших екатерининских вельмож. Будучи на «ты» с последним самодержцем Александром III, он и его наследнику, последнему царю, по привычке в интимном кругу говорил «ты», в то время как последний обращался к нему на «вы».

Он стоял далеко от политики, неодобрительно-

критическим взглядом взирая на все, что происходило при дворе последнего императора.

В Кускове Шереметев жил помещиком, гулял в чесучовом костюме по садам своего московского Версаля или изучал в тиши кабинета архивы и документы своих предков.

Революция застала его на Кавказе, где он вскоре и умер в одном из своих имений.

Владимир Федорович Джунковский рассказывал мне, что его последними словами были:

«Прокляну тех из моих детей, кто покинет Россию и уедет за границу. Мы должны перестрадать вместе с ней все беды и несчастья, которые постигли ее и народ наш. Вижу Россию могучей и славной в небывалом блеске величия».

Его дети последовали завету своего отца, и никто из них не эмигрировал, хотя многим из них из-за этого пришлось в свое время немало претерпеть за свой титул и положение до революции.

Мои родители предпочитали бывать в Кускове в отсутствие хозяев — это давало им возможность не обращать на себя ничего внимания. Мать обычно отпраивлась в оранжерею беседовать с главным садовником, с которым дружила, а я лазил и совал нос всюду, куда можно было. Надо сказать, что Кусково в то время не производило впечатления запущенного имения, но вместе с тем оно и не было вылизано и начищено до состояния музейной необжитости. В этом-то и была основная его прелесть. Там рядом с тщательно подстриженными липовыми шпалерами мирно уживались кусты дико разросшихся кустарников, рядом с кокетливым, чисто вымытым голландским домиком с его торжественными лебедями на прудике доживал свой век заброшенный Эрмитаж, подпертый местами деревянными слагами¹ во избежание обвала.

¹ С л е г а — толстая жердь, брус.

Как-то сквозь сломанное окно я проник в него и забрался по державшейся на честном слове лестнице на второй этаж. Там все было покрыто многолетней пылью, лепка стен и потолков заткана трудолюбивыми пауками. Посреди комнаты стоял стол в форме баранки. Где-то сбоку было пристроено какое-то причудливое колесо с веревками. Я, конечно, стал вертеть колесо. Стол заскрипел, застонал, вздрогнул и медленно пополз вниз. Я испугался и стал скорее вертеть в обратную сторону, но действовать назад престарелый механизм категорически отказался. После этого я счел за благо, во избежание недоразумений, поскорее прекратить свою исследовательскую деятельность и покинуть сей памятник прошлого.

Когда с нами бывал отец, он направлял свою энергию в другую сторону, заводя знакомство с управляющим и со старожилками, разыскивая следы знаменитого кусковского театра.

Однажды управляющий повел его в подвал под оранжерею. Там стояло несколько старых сундуков. В них в беспорядке были навалены веера-экраны, на одной стороне которых были изображены Махаевым сцены из кусковских пьес, а на другой напечатан перечень исполнителей. Вперемежку с ними валялись нотные партии и роли с надписью, кому они назначены. Отец хотел незаметно спрятать кое-что из этого в карман, но постеснялся присутствия управляющего. Лета два-три спустя, будучи в Кускове, мы встретили в парке Сергея Дмитриевича Шереметева, который зазвал отца к себе в старый дом. Там отец рассказал ему случай с ролями и программами. Немедленно был вызван управляющий, и ему было дано распоряжение сейчас же пройти в подвал оранжереи и принести образцы. Управляющий нехотя повиновался. Спустя короткое время он пришел и смущенно доложил, что там ничего нет. Сергей Дмитриевич, ничего не знавший о суще-

ствовании этого архива, тут же учинил допрос с пристрастием. Тогда управляющий признался, что он весною, прибирая имение, сжег валявшийся в подвале хлам, так как он только разводил пыль и питал крыс. Впоследствии, в Париже, отец, всегда покупая встречавшиеся ему у антикваров театральные веера-экраны, неизменно укорял себя при этом, что в свое время не совершил кражи.

— Глуп тогда был, — вздыхал он, — теперь бы я и не задумывался бы, а тогда жантильничал ¹. Вот и обделил музей!

А музей отца все продолжал расти и все более привлекал к себе интерес общественности. На наших вечерних субботних приемах и на воскресных завтраках зимою как в калейдоскопе мелькал артистический мир Москвы и Петербурга, а весною, Великим постом, могучей волной накатывалась провинция.

Сколько перебивало у нас самовлюбленных провинциальных премьеров, томных героинь, сморщенных комиков, свирепых трагиков и сильно реставрированных комических старух! Приезжали кто посмотреть музей, кто — оказать знак внимания отцу, кто повидаться со знакомыми, а кто и просто поужинать на даровщинку. На другой день с утра отец брал свой альбом и по нему восстанавливал фамилии зачастую незнакомых ему посетителей.

Бывали и крупные провинциальные антрепренеры Собольчиков-Самарин, Синельников, Соколов-Жамсон, Панормов-Сокольский, Струйский, Соловцов. Эти последние были постоянными пополнителями музея, и отец за ними слегка ухаживал.

Соловцов в свое время, посетив музей, ничего не написал в альбом, а оставил за собой пустую страницу, которую отметил своей подписью.

¹ От *фр. gentil* — благородный.

В последующие поездки в Москву он никак не мог повторить своего обещанного визита. Отец при встрече пенял ему за это. Наконец Соловцов при отъезде в Киев обещался обязательно приехать к нам после своего юбилея, торжественно праздновать который собирался весь театральный Киев. Помню, и отец в Москве накануне соловцовского юбилея сочинил ему приветственную телеграмму, которую собирался послать на другой день с утра. И вдруг его вызвали к телефону из Театрального бюро и сообщили, что Соловцов умер.

Эта внезапная смерть потрясла всех. А через несколько времени к нам прибыло несколько ящиков из Киева, битком набитых адресами, венками, приветственными телеграммами и подношениями, которые готовились юбиляру.

В другой раз из далекого Харбина в экзотических маньчжурских сундуках по адресу музея были присланы реликвии, оставшиеся после безвременной кончины опереточной примадонны В. Ивановой-Дункель. Отец не только не был с ней знаком, но и никогда не слышал ее фамилии. Лишь впоследствии он узнал, что на Дальнем Востоке это была звезда первой величины.

Из провинциальной актерской братии хорошо помню старого трагика Гарина-Виндинга. Большого роста, с кошной всклокоченных седых волос и грозно сдвинутыми черными бровями, он порой громоподобным голосом с рычаньем и завыванием произносил какой-либо классический монолог. Меня он занимал еще и тем, что при его приездах я обязан был пойти на кухню и достать у кухарки перья из гусяного крыла, так как Гарин писал только гусяными перьями. Он долго выбирал себе подходящее, тщательно и аккуратно его зачинивал острым ножом, как-то по-особенному расщеплял и только после этого, скрипя и брызгая чернилами, писал свои сентенции в наш альбом.

Припоминаю еще случай с провинциальной знаменитостью Сарматовым. Он относился с большим уважением к отцу и неоднократно выражал свое желание посетить и осмотреть музей. Отец, хорошо зная, что Сарматов неводержан в отношении вина, а когда выпьет лишнее, то буйнит и сквернословит, под разными приличными предложениями оттягивал этот визит. Наконец наиболее близкие отцу провинциальные знакомые решились обратиться к нему с просьбой принять Сарматова, а что они уже будут за него отвечать и следить за ним. Согласие было дано, и Сарматов был приглашен.

Предварительно отец условился с матерью, что, когда он ей подаст условный знак за столом, она незаметно встанет и удалится к себе. Каким-то образом все эти закулисные приготовления, видимо, дошли до сведения Сарматова, который задумал тонкую месть. В назначенный вечер он явился вместе со своими добровольными опекунами — все хорошими нашими знакомыми и постоянными посетителями. С исключительным вниманием и интересом он осматривал музей, делая дельные замечания и высказывая интересные мысли. Сели за стол. Сарматов был в ударе — шутил, сыпал остротами, извлекал из запаса своей памяти всевозможные театральные анекдоты и буквально очаровал всех. Он с аппетитом ел и пил, а больше угощал своих собеседников вином и делал это столь незаметно и искусно, что отец заметил это только тогда, когда вдруг обнаружил, что у него самого начал заплетаться язык. Он взглянул на мать. Она сидела бледная, широко раскрыв глаза, в немом удивлении взирала на всех бывших за столом, среди которых кроме нее единственным совершенно трезвым человеком был Сарматов. Пора было по домам. Все стали прощаться и, пошатываясь, направились в переднюю. Некоторым Сарматов под руку помогал сойти с лестницы. Уже

одетый, стоя в передней, Сарматов помахал рукой отцу и на прощанье заметил:

— Ну что же, Алексей Александрович, Сарматов как будто умеет вести себя в приличном доме!..

Все же в общем итоге большинство посетителей нашего дома были не провинциальные актеры, а столичные. Так как я на заре своей юности обычно не присутствовал на субботних собраниях, то в моей памяти по преимуществу остались гости, приезжавшие к завтраку в воскресенье. Часто отец присылал за мной специально в мою комнату, когда приезжал кто-либо особенно интересный. Очевидно, он хотел, чтобы данное лицо запечатлелось в моей памяти.

Некоторые образы встают у меня в туманной дали прошлого еле уловимыми тенями. Помню мою царицу, мою первую любовь, если, конечно, подобное чувство могло зародиться в сердце пятилетнего ребенка, Любовь Андреевну Рославлеву. Молоденькой, застенчивой девушкой появилась она у нас в доме впервые. Нарядная, приветливая, она распространяла вокруг себя такую бездну обаяния, такое искреннее благожелательство, что моментально покоряла всех. Даже моя мать, недоверчивая и сдержанная в особенности в отношении женщин, с первого раза почувствовала расположение к Рославлевой. У меня в памяти осталось то воскресенье, когда она счастливой и веселой приехала к нам впервые со своим мужем, молодым, рослым красавцем с ленивыми повадками и приглушенной речью — Провом Садовским. Она сидела со мной в нижнем кабинете отца, на красном диване, обняв меня за плечи и слушая, что говорят присутствующие. Мне было очень хорошо с ней, с моей Спящей красавицей, и она мне казалась самой красивой женщиной в мире. Говорили, что Рославлева никогда не была красавицей, да и фотокарточки подтверждают это мнение, но на ее лице была отображена вся чудная ее душа.

Весть о ее безвременной кончине дошла до нас, когда мы были на Кавказе. Помню, что мать была искренно опечалена этим известием, а я грустил, что никогда больше не увижу свою Спящую красавицу...

Помню воскресный завтрак, когда на почетном месте, по правую руку матери, сидел какой-то старенький генерал в военном сюртуке с черным бархатным воротником. Он был в очках с тонкой золотой оправой, с холеной седой бородой. Старшие относились к нему с особенным уважением. После завтрака он сел за рояль в гостиной и что-то играл. Это был Цезарь Кюи.

Однажды я был вызван отцом из моей комнаты вниз в музей. Там я был представлен сидевшей в кресле «тетей». Думаю, что мое смущение не могло не отразиться тогда на моем лице. «Тетя» более походила на дядю. Вся в черном, в черной шляпе, с густыми черными бровями и весьма заметными усами, она походила на огромную нахохлившуюся галку. А когда она заговорила, то я просто открыл рот от удивления — она говорила хриплым густым басом. Мой отец и остальные присутствующие оказывали ей знаки большого внимания. Через некоторое время кто-то сел за рояль, а «тетя» запела. Что она пела и как пела, я не помню, но на всю жизнь в моих ушах остался звук этого несравненного жепского бархатистого баса, которым обладала никем не превзойденная Варя Панина.

Ее антиподом была другая «тетя». Также вся в черном, в обхватывающем ее мягком бархатном платье с высоким воротом, как бы вытягивающим шею, она ходила от витрины к витрине в музее, перебирая пальцами длинную жемчужную нить, кончавшуюся у ней ниже пояса. Вяльцева также пела у нас, но как и что, не помню, так как был более занят созерцанием ее прически, державшейся спереди на упругом, твердом валике.

Как-то, сойдя вниз в музей, я застал отца показыва-

ющим музей какому-то кучеру. Гость был в лаковых сапогах бутылками, в темно-синей поддевке, подпоясанной кавказским поясом, а в руках держал дорогую меховую шапку с соболиным околышем, с которой ни на минуту не расставался. При ходьбе он звякал, как шпорами, множеством брелоков, болтавшихся у него на серебряной цепи на борту поддевки. Курчавая цыганская борода с сильной проседью, густые черные брови и пронзительный взгляд делали его лицо неприветливым и угрюмым. Знаменитый московский «маг и волшебник» М. В. Лентовский оставил во мне чувство какого-то необъяснимого страха.

Столь же мрачное впечатление произвел на меня В. Суриков. Многочисленные художники, которые бывали у нас в доме, были все народ веселый и общительный, и они в моем представлении были людьми, жизнь которых была бездумна и легка. Великий мастер русской исторической живописи, на которого я уже тогда взирал с благоговейным восхищением, в корне опрокидывал мою теорию. Он очень внимательно и пытливо рассматривал музей и нашу квартиру, стены которой были все завешаны картинами. Суриков молча выслушивал объяснения отца, изредка задавая короткие вопросы. За завтраком он оставался таким же молчаливым, пристально вглядываясь в людей и вслушиваясь в разговоры. После окончания трапезы он вдруг попросил разрешения отца посмотреть на собрание его картин одному. После этого он медленно бродил по комнатам, иногда подолгу останавливаясь перед той или иной картиной и рассматривая ее с разных сторон.

Я, словно замороженный, тенью бродил за своим кумиром, который и обращался со мной как с собственной тенью, то есть не обращал на меня никакого внимания. Несмотря на это, а может, именно поэтому образ Сурикова доныне свеж в моей памяти.

Бывал у нас часто в доме пленительный Демон,

несравненный Онегин — Павел Акинфиевич Хохлов. Это был отставной кумир Москвы — его место в сердцах москвичей прочно занял молодой Ленский — Леничка Собинов, также наш постоянный гость. Хохлов был тогда все так же божественно красив, как и прежде, так же обаятелен и обладал все той же барственной, благородной повадкой, но голос, особенно верхние звучания, отошли в невозвратное прошлое.

Моя мать, принадлежавшая к театральным поклонницам Хохлова, рассказывала мне, как во время его прощального бенефиса — шел «Онегин» — зрители, знавшие, что их любимец уже не в состоянии взять верхнее «фа» во фразе «мечтами легкие мечты» — традиции, введенной им в партию вопреки клавиру композитора, — не дали ему возможности издать злополучную ноту, предварительно заглушив ее громом продолжительных аплодисментов. Хохлов, по словам матери, играл Онегина черствым, самовлюбленным эгоистом, но одновременно пронизывал весь образ таким всепокоряющим обаянием, что зритель с первого его появления на сцене оправдывал Татьяну и разделял ее переживания.

Один или два сезона после ухода со сцены Хохлов был нашим постоянным гостем. Чувствовал он, очевидно, себя у нас просто и непринужденно. Говорил, когда говорилось, молчал, когда молчалось, в наш альбом писать не любил, отмахивался от этого, зато порой садился за рояль, начинал сперва перебирать клавиши своими красивыми, длинными, породистыми пальцами, а потом и петь. Потом он неожиданно скрылся с московского горизонта — уехал в свое родовое имение, где жил безвыездно и служил по выбору дворянства.

Через значительный промежуток времени его имя вдруг опять зазвучало в устах всех в связи с избранием его депутатом в Государственную думу. После револю-

ции его совсем забыли. Когда я в 1921 году служил в конторе Большого театра, мне как-то доложили о приходе инспектора Государственного контроля. В кабинет вошел статный, красивый старик с сильно поседевшей бородой клинышком. Что-то давно знакомое показалось мне в мягком, бархатном взгляде старика, в благородных чертах классически правильного лица.

— Хохлов, — представился он. Естественно, что ему было труднее узнать меня, которого он в последний раз видел семилетним ребенком. Павел Акинфиевич не долго работал в контроле — его скоро призвали «надзвездные края», куда он так часто в свое время призывал Тамару и уносил за собой зачарованного слушателя.

Некоторое время в финансовой части конторы служил его сын. Говорили, что он унаследовал чарующий тембр голоса своего отца, но мне не приходилось его слушать. Затем он как-то неожиданно ушел со службы. Вскоре после этого я как-то забрел в церковь Никиты Мученика на Кузнецкой улице. Шла служба. Дьякон пел Великую ектению, а хор ему вторил. Меня поразил пленительный голос дьякона, а когда он обернулся, я поразился сходством; на вопрос, обращенный к старушке за свечным ящиком, как фамилия дьякона, я получил ответ:

— Хохлов — это знаменитого Хохлова сын!

Бывали у нас и люди-реликвии. Они сами по себе ничего не значили, но жили на свете, озаренные лучами чужой славы. Помню, как-то я был вызван к отцу и представлен какой-то показавшейся мне симпатичной, старушке.

— Вот жаль-то, — сказала старушка, — что я не знала, что ты на свете существуешь, а то бы гостинец привезла.

Старушка сокрушенно закачала головой и спросила:

— Из игрушек-то чего тебе надо-то?

Я немного подумал и твердо ответил:

— Солдат!

— Ну, солдат так солдат,— успокоенно сказала гостья,— придется тебе их прислать! Жди!

Я мало тогда придавал значения этому разговору и скоро забыл об нем, так как был уверен, что старуха натрепалась.

Время шло, и вдруг на мое имя пришла объемистая почтовая бандероль. Я в недоумении разрезал веревки и вскрыл посылку. На стол выпало два с лишним десятка роскошных иллюминированных литографий из труда Висковатова «Формы и вооружение Российских войск». Как известно, насколько сравнительно часто встречаются эти литографии, исполненные в черной манере, настолько редки иллюминированные. Одновременно пришло письмо на имя матери. Старушка писала ей, что, отчаявшись найти для меня что-либо интересное по солдатской части, она решила послать мне прилагаемые литографии, некогда принадлежавшие ее отцу Павлу Степановичу Мочалову.

Я бережно долгие годы хранил чудесный подарок Е. П. Шумилиной-Мочаловой. Он у меня лежал в особом ящике в той самой папке серого картона, исключенного марками, в котором появился в нашем доме. Отец ворчал и говорил, что этот подарок не в коня корм и должен был по совести быть сделан ему. Я явно пренебрег этими намеками, но стал запираить ящик на ключ. И вот однажды к отцу в музей приехала целая депутация из Незлобинского театра. Ставили там пьесу Ауслендера «Ставка князя Матвея», необходимо было найти в библиотеке материалы для пошивки военных мундиров. Перерыли всю библиотеку и ничего подходящего не нашли. Тогда отец вдруг сказал:

— Просите у моего сына — у него есть, что вам нужно!

Каюсь — лесть и значение в данную минуту собственной персоны подкупили меня — я принес мочаловские литографии и был за это жестоко наказан последующим. Мои литографии увезли, и более я их никогда не видел. Вместо них у меня осталась расписка в их получении «на время», предупредительно взятая моей матерью.

Впоследствии мне лишь один раз пришлось встретить аналогичные листы — в музее Петербургского арсенала, где хранился экземпляр труда Висковатова, принадлежавший лично Николаю I.

Как-то отец приехал домой в неуточное время.

— Я ненадолго, — сказал он матери, — сейчас ко мне должны приехать по делу.

Потом вдруг обратился ко мне:

— Хочешь посмотреть на человека, который когда-то сидел на коленях у Пушкина?

На мой молчаливо недоуменный взгляд он добавил:

— Когда раздастся звонок, пойдешь и спрячься где-нибудь в парадной — оттуда и смотри. Я жду сына Пушкина, Александра Александровича, — объяснил отец матери, — только он очень просил, чтобы никто не знал об его посещении.

Как только раздался звонок, я занял свой наблюдательный пункт в складках гардины. По лестнице поднимался старенький гусарский генерал с палашом в руке. Я был разочарован — ничего в этом человеке, ни жиденькая седенькая бороденка, ни редкие волосы, ни золотые очки, прикрывавшие тусклые глаза, — не говорило о том, что он был сыном гения. Он походил на маленькую, жалкую обезьяну, — быть может, это и было единственным, что напоминало в нем великого отца. Визит Пушкина был непродолжительным — уже через полчаса, не более, мой отец возвратился к нам с оживленными глазами, нервно поправляя двумя пальцами свое пенсне.

— Ну,— заявил он,— купил кота в мешке. Сейчас уплатил тысячу рублей за все бумаги по опеке Пушкина. Думаю, что не очень попал — судя по описи, там должны быть автографы и самого Пушкина, и Натальи Николаевны, и Жуковского, и Николая I. Пока все это по секрету. Александр Александрович только и продал с этим условием, чтобы никто об этом не знал. Дворянская спесь заедает,— а я ему сказал, что стыдного тут ничего нет, что он отдает вещи в надежные руки и в хорошее место и что люди ему за это только спасибо скажут.

Почему-то как-то особняком принимали у нас в доме петербуржцев. И держались-то они не так просто, как москвичи, и непринужденности той с ними не было, и являлись-то они обычно не на субботние собрания, а в воскресенье — к завтраку.

Среди немногих исключений из этого правила можно было, пожалуй, назвать чету Фигнеров. Они держали себя просто, пели и дуэтом и соло без особых упрасиваний и не требовали к себе того подчеркнутого внимания, как остальные.

В дни своих наездов в Москву нашим постоянным гостем была Мария Гавриловна Савина.

Как сейчас помню ее сидящей по левую сторону матери за нашим столом, слышу ее гнусавый, тягучий голос. Она обычно покровительственно гладила меня по головке и целовала в лоб. От нее всегда веяло холодком большой барыни. Отец до конца дней считал ее самой умной женщиной, которую он когда-либо встречал. Кроме того, мои родители считали ее замечательной комедийной актрисой.

— Вот поди ж ты! — горячился отец,— такая умная женщина, а лезет в драму и в трагедию! Зачем ей это надо?! Ничего не поделаешь — актриса!

Отец, считавший «Горе от ума» лучшей, но и наибо-

лее актерски трудной комедией русской драматургии, в роли Софьи превыше всех ставил Савину.

Мария Гавриловна была большой поклонницей музея и постоянной вкладчицей в его коллекции. Много первоклассных рисунков и портретов деятелей главным образом Александринского театра было украшено в витринах этикеткой с надписью «Дар Марии Гавриловны Савиной».

Кроме театрально-музейных интересов отца связывали с Савиной дела Театрального общества. На почве этих дел, незадолго до смерти Савиной, у них произошла ссора и объяснение. Расстались они врагами на всю жизнь. Прекратилась их переписка. Савина перестала бывать у нас, но отец продолжал восхищаться ее умом, неизменно прибавляя при этом:

— Среди женщин это единственный мой враг!

Из-за чего произошла ссора, в чем была ее суть, кто был прав, кто виноват — я не знал, так как отец не любил апрофондировать¹ такие вопросы, но мне почему-то казалось, что он всю жизнь жалел о своей разнице с Савиной, что ему не хватало ее как собеседницы и корреспондентки.

Высоко чтит отец и другого кита Александринской сцены — К. А. Варламова. Он любил его и как артиста и как человека. Мечта отца была залучить Варламова к себе в музей, но обстоятельства как-то так складывались, что из всех этих попыток ничего не выходило. Все же в конце концов в один погожий зимний день этот визит состоялся.

Помню возбужденно шагающего по кабинету отца, то и дело смотрящего в окно.

— Ты никогда не видал Варламова? — спрашивал он меня, хотя и прекрасно знал сам, что я, четырнадцатилетний мальчишка, никогда нигде его видеть не

¹ От фр. *approfondir* — углублять.

мог. — Так ты себе и представить не можешь, что это за человек! Это — слон, а не человек. Одна его нога толще тебя всего!..

После некоторого ожидания к подъезду медленно подползли извозчицьи сани, на которых как-то боком, из-за недостатка места, покоилась какая-то бесформенная огромная туша с моложавым, очень розовым лицом, в пушистой шапке с бобровым околышком. Извозчик слез с козел и стал распаковывать привезенное. Варламов с трудом высвободил ноги и перевалил их из кузова саней на мостовую. Наконец, при помощи подбежавшего дворника, его, как архиерея, под руки выгрузили из саней, к великому облегчению как нас, смотревших на эту операцию из окна, так и немногочисленных праздных прохожих, остановившихся на тротуаре поглазеть на редкое зрелище.

Раздевшись и войдя в кабинет, Варламов, по старинному обычаю, расцеловался со всеми присутствующими мужчинами, несмотря на то что большинство из них видел в первый раз.

Музей он смотрел с большим вниманием, подолгу останавливаясь у витрин, где покоились реликвии давно ушедших его старших товарищей. В таких случаях он заметно растрогивался и даже всхлипывал от избытка нахлынувших воспоминаний.

За завтраком он был само обаяние, ведя все время оживленный и остроумный разговор. Хорошо помню, как вдруг он стал рассказывать о маленьком происшествии, которое произошло с ним при поездке из Петербурга в Москву. Как на какой-то станции какой-то мальчишка купил у торговки последние яблоки, а жандарм, которому яблок не хватило, стал их у него отнимать.

При этом рассказе из Варламова вдруг полез актер. Он с таким изумительным мастерством стал изображать всех действующих лиц, их движения, голоса,

вставлять реплики наблюдавшей эт сцену публики, что вся картина мгновенно ожила перед нами' со всеми ее подробностями. Мы плакали от смеха и вместе с тем возмущались прбизволом жандарма.

Великий артист на несколько минут встал перед нами во весь свой исполинский рост. Слушая его, мы перестали видеть толстого, грузного Варламова, вместо которого перед нами мелькали то вертлявый, хнычущий мальчишка, то жандарм — бурбон, то угодливая торговка, то резонирующий интеллигент, то возражающий ему провинциальный «батюшка»...

Из рассказов старших мне пришлось прийти к заключению, что Варламов был актером всецело связанным с традициями русской сцены 30—40-х годов прошлого столетия. Он любил эти традиции, считал их правильными и нипочем не желал и не считал нужным от них отказываться. Природа дала ему огромный талант, который он совершенствовал не теориями и размышлениями, а опытом и наблюдениями. Театр для него был его подлинным домом, а сцена собственной комнатой, где он был волен делать все, что захочет. Совершенно свободно он чувствовал себя только на сцене и в присутствии публики, которая не только его не стесняла, а, наоборот, развязывала и возбуждала. Публика от партера до райка чувствовала это и считала Варламова настолько же своим, насколько он считал публику своей. Это было вполне в традициях русского театра 40-х годов прошлого столетия.

Помню, как мой дед Носов рассказывал, как однажды в дни его молодости, во время произношения Живокини какого-то монолога в партер, гремя саблей и звеня шпорами, вошел запоздавший гвардейский офицер и направился в первый ряд на свое место. Живокини прервал монолог и терпеливо подождал, пока офицер не сядет, тогда он облегченно вздохнул, громко сказал: «Слава Богу!» — и стал продолжать свою роль.

Старшие возмущались художественной бестактностью Живокини, а дед восторгался ею. Объяснялось это просто: старшие никогда не видали Живокини на сцене, а дед видел и на себе чувствовал эту крепкую, неразрывную нить, связывающую актера со своей публикой.

Поэтому-то Варламов никогда не считал для себя унижительным или ниже своего собственного достоинства выступать в балетах и оперетках, участвовать в благотворительных вечерах, в ролях бебе, граничащих с фарсом, так как, подобно своим ушедшим великим предшественникам, был убежден, что подлинный талант может возвысить и искупить все. Этим же объясняется и его небрежное отношение к разучиванию ролей.

Помню, как Д. И. Ляшков рассказывал мне о благотворительном спектакле «Правда хорошо, а счастье лучше», в котором он суфлировал. Варламов, не знаю в какой сотый раз, играл унтера Грознова. В сцене, когда Грознов рассказывает о растерянности купчихи при возможности обнаружения ее греха, Ляшков залюбовался игрой Варламова и перестал суфлировать.

Вдруг Варламов прервал свой монолог, нагнулся немного к суфлерской будке и громко проговорил: «Что ж ты, батюшка мой, замолк-то? Ты подавай, подавай!»

В манере Варламова держать себя на сцене была та домашность, которая, создавая атмосферу исключительной интимности, исходила от его сугубо эгоистично-собственнического взгляда на сцену и на театр.

Музей отца он ценил высоко, но не столько как школу для молодых актеров, сколько как вещественное доказательство творческого бытия и славы ушедших мастеров сцены.

Свой взгляд на собирательство отца он очень определенно и ярко выразил в лаконической надписи на подаренной ему фотографии, на которой написал фразу

из «Снегурочки»: «Пастух и царь тебе спасибо скажут!»

После показа музея отец, как обычно, стал расспрашивать Варламова, нет ли у него чего для пополнения его собрания и, в частности, не осталось ли чего от отца, известного композитора 30-х годов, автора популярных русских романсов.

— Да нет, — задумчиво ответил Варламов, — от покойного батюшки, царство ему небесное, как-то ничего не осталось. Ведь мы жили в Москве, потом перебрались в Петербург — видно, при переезде вещи как-то и растерялись. Да, по совести говоря, и цену им особенную не придавали... Впрочем, погодите... должна быть одна вещь. Картинка такая, вид какой-то — отцу его какая-то его поклонница поднесла. Из собственных волос вышила. Косы долой, иглу, пяльцы — и картина готова. Вот как тогда таланты ценили... Эта картинка у меня в Петербурге над диваном висела, а потом как-то стекло разбилось, ее и убрали. Надо поискать, только не съела ли ее моль...

Осталась и у меня памятка о Варламове. В то время, подражая отцу, я завел свой собственный альбом, в котором у меня расписывались мои личные знакомые, а также и особо выдающиеся посетители отца. Попросил я написать мне что-либо и Варламова. Он охотно согласился, подумал немного и написал: «Юрочка, полюбите нас, а мы уже любим», потом перечитал и сокрушенно покачал головой.

— Вот старый пес, грамоте разучился — написано бозно что! Как же быть-то? Ну да ладно, я «Вас» в конце прибавлю».

Так и остался в моем альбоме этот сугубо вычурный оборот фразы, совершенно не характерный для Варламова.

Бывало у нас и театральное начальство. Помню маленького, подслеповатого и хитрого на вид управля-

ющего Московской конторой П. М. Пчельникова. Остался в памяти и толстоносый в золотых очках Н. К. фон Бооль. Он мнил себя недурным художником и всю свою жизнь изводил краски. К счастью, он при этом не мучил своих моделей, так как предпочитал писать портреты с фотографических карточек.

Это был чиновник до мозга костей, и на почве всяких бюрократических тонкостей у него происходили постоянные стычки с моим отцом, в особенности в период устройства последних благотворительных маскарадов в пользу Театрального общества в стенах Большого театра.

Помню, как в разгар одного из подобных столкновений, когда отец бессильно возмущался и негодовал, к нам в дом приехал жизнерадостный, неизменно веселый «король репортеров», знаменитый экспромтист дядя Гиляй — Владимир Александрович Гиляровский. Как всегда с солдатским Георгием в петлице дядя Гиляй внимательно выслушал сетования моего отца, затем потребовал альбом и тут же написал:

Мой милый друг! Чего же боле?
Искусству честно служишь ты,—
К чему же о каком-то Бооле
Тебя встревожили мечты?
Мозоль, чесотка, боль зубная
Иль ревматизма злая боль
Страшна всем смертным. Но иная
Судьба театра: тоже Бооль
В театре есть... Мой друг, скорей
Ты помести-ка Бооль в музей,
И лучшей не придумать доли,
Музей твой будет не без боли...
Ведь Бооль бывал здесь раза два-три.
Пусть он в музее, не в театре...

Особенно памятен мне директор императорских театров В. А. Теляковский.

Взаимоотношения моего отца с В. А. Теляковским были довольно своеобразными. Познакомились они еще во время службы Теляковского в Московской конторе императорских театров и относились друг к другу в достаточной мере доброжелательно. Впрочем, думается мне, что отец в то время не видел в Теляковском ничего более, как дилетантствующего в искусстве гвардейского офицера, а Теляковский рассматривал отца как меценатствующего купца, трудящегося около кулис. Хотя, например, он дал отцу редкое разрешение беспрепятственного входа на сцену Большого и Малого театров. Затем произошел один знаменательный случай, навсегда нарушивший равновесие в их взаимоотношениях.

В начале театральных реформ Теляковского был отставлен присяжный декоратор Большого театра А. Ф. Гельцер. Он был большим мастером своего дела, но в значительной степени устаревшим. Женат был Гельцер на актрисе — даме довольно-таки несдержанной и экспансивной.

Однажды, когда мой отец и Аршеневский сидели и беседовали о чем-то с Теляковским, явилась жена Гельцера, которая стала объясняться с управляющим по поводу увольнения своего мужа. В разгаре объяснения почтенная дама, желая, очевидно, сделать свои доводы более убедительными, решила влупить своему принципиалу увесистую оплеуху. Мой отец успел схватить ее за руку и если не совершенно отвратить, то во всяком случае значительно ослабить десницу разъяренной жены обиженного супруга.

Это впоследствии дало возможность М. П. Садовскому в одном из своих сатирических стихотворений сказать про Теляковского, что «он дамской ручкой был контужен».

Все же дело принимало весьма неприятный оборот:

по понятиям того времени, таким способом оскорбленный начальник был обязан подать в отставку.

Мой отец и Аршеневский стали убеждать Теляковского, что в конце концов ничего особенного не произошло — мало ли что могла захотеть сделать полоумная баба. Они заверили, что сами никому рассказывать о происшествии не будут, а если Гельцер станет на них ссылаться, то будут отрицать все происшествие, так что она же останется в глупом положении. Не знаю, как Аршеневский, а мой отец свято сдержал слово, и кое-какие подробности об этом факте я узнал от него много лет спустя, уже после революции. Но, конечно, шила в мешке не утаишь, да еще в таком учреждении, как театр, — слухи о происшествии поползли по трущпе и стали циркулировать по Москве и Петербургу.

Теляковский остался на своем посту, но глухо возненавидел невольных свидетелей своего унижения — Аршеневского и моего отца, подозревая их в излишней болтливости. Внешне он оставался все в таких же хороших отношениях с отцом, продолжал бывать у нас в доме, но не задумываясь, где только мог, делал отцу мелкие неприятности. Чинил ему всякие затруднения при устройстве благотворительных маскарадов, о которых упоминалось, обходил его представлениями и наградами, снисходительно отзывался о музее. Отец пренебрегал всем этим, но все же это не могло быть ему приятным.

Реформаторская деятельность Теляковского в нашем доме рассматривалась двояко: с одной стороны, отец чрезвычайно восторженно приветствовал привлечение к театру новых сил, в особенности крупных художников-станковистов, а с другой — скорбел о принужденном уходе со сцены целого ряда работников, в течение долгих лет самоотверженно служивших русскому искусству.

Внешне Теляковский никогда не производил на

меня впечатления театрального сановника, он скорее напоминал мелкого чиновника или даже приказчика из хорошего магазина. Штатское платье он носить не умел и выглядел в нем всегда костюмированным. В нашем доме он бывал всегда нарочито вежлив, что не мешало ему оставлять порой в альбоме отца крайне непонятные записи. Так, например, он однажды начертил следующую сентенцию: «При нормальной жизни необходимо дело мешать с бездельем». Так и осталось неясным, к чему относилось это высказывание — к его посещению музея, к деятельности ли отца по собирательству или просто было неудачным желанием блеснуть глубокой мыслью.

Неудачные записи в нашем альбоме делались часто. Вот хотя бы одна из них: «Экспромтов писать не умею. Но от русского сердца желаю всего, всего наилучшего радушным хозяевам. А. Рейнбот».

Означенный обладатель русского сердца при немецкой фамилии был лицом в известной степени примечательным в истории Москвы. После революции 1905 года, в так называемый «период умиротворения», Рейнбот был назначен градоначальником Москвы. Его прошлая жизнь была подобна истории мидян — темна и непонятна. Откуда выплыла эта фигура, кто ей протезировал — никто толком не знал. Это был один из обычных административных авантюристов, в таком множестве выплывавших на поверхность правительственной мути последнего царствования. Москва с любопытством ожидала первых шагов нового градоправителя, в особенности после памятного пресловутого адмирала Дубасова, носившегося вихрем по городу в быстроходных санках, окруженных добрым взводом гикавших казаков с гиками и нагайками наготове.

Рейнбот, очевидно, достаточно наслышавшись о деятельности Дубасова и об отношении к нему москвичей, с самого начала своей деятельности повел себя диа-

метрально противоположно. Он отменил сани и стал вдруг появляться на улицах пешком. Москва понимала, что это лишь фокус для снискания популярности, и недоверчиво ожидала дальнейшего. Но и новый градоначальник, видимо, понял, что Москву на прогулках пешком не проведешь. Нужно было что-либо более эффективное. Случай помог.

Однажды Рейнбот шел, как обычно, пешком со своей женой по Петровке. Вдруг сзади него послышался какой-то шум и крики. То ли от страха, то ли инстинктивно градоначальник слегка присел — в это время брошенная в него бомба проскочила у него между ног. Адская машина к тому же оказалась недоброкачественной и не разорвалась даже, но Рейнбот лично арестовал покушавшегося, передал его тут же полиции, после чего продолжал свою прогулку с супругой.

Все это произошло на виду всей Москвы, на одной из самых людных улиц, среди бела дня и не замедлило распространиться по столице, сразу подняв популярность нового администратора. Правда, скептики тут же стали рассказывать втихомолку, что все это происшествие было подстроено самим Рейнботом и удачно выполнено полицией, но ореол бесстрашия все же некоторое время сиял вокруг его фигуры...

Прекрасно сознавая быстро растущее влияние на события представителей русского капитализма, градоначальник стал, не скрывая, заигрывать с московским купечеством. Он искал знакомств среди промышленных верхов, охотно принимал приглашения посещать купеческие дома, предупредительно шел навстречу начинаниям промышленников. Наконец его заигрывание с купечеством зашло так далеко, что он сделался притчей во языцех Москвы в связи с тем предпочтением, которое стал явно оказывать богатой купеческой вдове средних лет — Зинаиде Григорьевне Морозовой.

Зинаида Григорьевна Морозова была своеобразной

московской фигурой. Ткачиха Трехгорки, дочь мелкого служащего мануфактуры, она в молодости, стоя за станком в цеху, пленила своей наружностью молодого хозяйского сына. Сия новая купеческая Параша Жемчугова очень скоро, хотя и не превратившись в графиню, все же стала купчихой Морозовой, одной из первых миллионщиц России.

Преподаватели разных наук, учителя иностранных языков, воспитательницы, портнихи и парикмахеры немедленно окружили новоиспеченную мануфактурщицу и чрезвычайно быстро, благодаря ее природным способностям, превратили ее в великосветскую даму.

Постоянные поездки с Саввой Морозовым за границу, пребывание на фешенебельных западноевропейских курортах и в лучших отелях столиц мира окончательно рафинировали бывшую ткачиху. Рано овдовев, она неизменно проводила каждое лето в своем имении под Ново-Иерусалимом, где покровительственно принимала в качестве постоянных гостей Левитана, Чехова, Поленова, Серова. Туда, на поклон к ней по делам Художественного театра, одним из финансовых создателей которого был ее покойный муж, приезжали Станиславский и Немирович-Данченко. К тому времени она уже стала общепризнанной *grande dame* Москвы. И вот одним прекрасным утром вся купеческая Москва узнала, что вдова Саввы Морозова перестала юридически существовать. А взамен появилась генеральша Рейнбот.

Это превращение мало отразилось на судьбе Зинаиды Григорьевны в среде московского большого света. Будучи вдовой, она мало появлялась в обществе, а теперь, благодаря своему замужеству, отстав от своих и не пристав к чужим, почти окончательно порвала с московским купечеством, и ее можно было лишь увидеть на театральных премьерах.

Все это, надо думать, мало смущало ее мужа,

который весьма резонно считал, что сделал неплохое дело, став обладателем жены интересной наружности, а заодно и ее движимого и недвижимого имущества, значительно превышающего благосостояние многих европейских патентов.

Анатолия Александровича Рейнбота помню хорошо. Это был плотный, немного склонный даже к полноте мужчина с навощенными кончиками усов и в пенсне с золотой оправой. Стекла этого пенсне скрывали пару серых оловянных глаз с пронзительным, тяжелым взором. Несмотря на его подчеркнутую постоянную любезность, взгляд этих металлических глаз всегда распространял вокруг него какой-то холодок. Впрочем, в семейной обстановке, по слухам, которые доходили до нас через мою учительницу французского языка, он был трогательным и внимательным отцом.

Рейнбот как-то столь же неожиданно скрылся с административного горизонта, сколь неожиданно и появился. Его дальнейшая служебная карьера особенно пышно не расцвела. Он оказался замешанным в каком-то грязном деле, судим, но помилован, однако это мало на него повлияло — вероятно, он был достаточно удовлетворен достигнутым на финансовом поприще. Как градоначальник он как будто не сделал ничего ни плохого, ни хорошего. Москва его вскоре забыла и еще раз заговорила о нем лишь в начале первой империалистической войны, когда он вдруг, видно, следуя велению своего русского сердца, с высочайшего дозволения из генерала Рейнбота превратился в генерала Резвого. Многие удивлялись, почему он просто не принял фамилии своей жены.

Сильные мира сего редко приглашались в наш дом, так как отец имел с ними мало общего и не находил их общество особенно интересным. Все же отступления от этого правила бывали, вызванные обычно какими-либо

особыми обстоятельствами. Чрезвычайно памятен мне в этом отношении один вечер.

Это было в начале 1907 года. Незадолго до этого Московская городская дума передала отцу заведование Введенским городским Народным домом. Отец, со свойственным ему в делах размахом, сразу решил в корне изменить все ведение дела в этом театре. Он замыслил создать такой театральный коллектив, который мог бы конкурировать с лучшими московскими театрами. Для этого, кроме привлечения к делу новых художественных сил, необходимо было заручиться поддержкой художественной общественности города и в первую очередь высшей администрации Москвы, которая при желании легко могла вставлять палки в колеса нового начинания. Именно с этой целью отец и пригласил к нам в один февральский вечер и градоначальника, и городского голову, и членов городской управы, и даже московского полицмейстера, и начальника жандармского управления. Эти последние два административных чина никогда не появлялись в приличных домах, так как принимать полицейских и жандармов считалось абсолютно недопустимым в хорошем обществе. Этот вечер носил чисто официальный характер, так что я лично на нем не присутствовал. В самый разгар приема, не помню, в связи с чем, мы с гувернанткой через окно выглянули на улицу и застыли в недоумении. Наш дом был форменным образом оцеплен. По обеим сторонам улицы, на тротуарах ходили городовые, околоточные и шпики, а по мостовой патрулировали конные казаки. Эта комедия продолжалась до самого разъезда гостей. Видно, события 1905 года не так легко сглаживались в памяти московских властей и их призрак продолжал действовать на их издерганные нервы.

Люди, отыгравшие свою роль на политической сцене, были более радушно принимаемы в нашем доме. Среди последних не могу не вспомнить милейшего,

обаятельного генерала Владимира Гавриловича Глазова, вознесенного в 1905 году на пост министра народного просвещения. Веселый, жизнерадостный, чрезвычайно благодушно и доброжелательно настроенный ко всем, он вносил своим присутствием какой-то своеобразный уют в общество, в котором бывал. Одно мне осталось на всю жизнь непонятным — почему он когда-то был министром народного просвещения, что общего имел он с наукой? Разве только то, что, шутки ради, иногда кропал более чем посредственные вирши.

Все же, в конце концов, обстоятельства принудили отца завести постоянного гостя из числа московского начальства. Незадолго до революции 1905 года в нашем доме стал бывать один театрал. При каких обстоятельствах он впервые появился на наших субботах, впоследствии мои родители припомнить не могли. Он очень увлекался музеем и театром. На предложение оставить свой автограф в нашем альбоме он ответил, что очень бы желал записать одно стихотворение, но оно очень длинное и он сделает это как-нибудь в другой раз на досуге. Обещание он свое сдержал, и вскоре страниц шесть нашего солидного по своему формату альбома оказались исписанными бойким канцелярским почерком. Содержание появившегося стихотворного произведения было ультрареволюционное. Автор предусмотрительно не стал подписывать своего творения полной фамилией, а скрепил его буквой Z.

Так как в нашем альбоме часто запечатлевались стихотворные политические шутки, то отец и не обратил особого внимания на появившееся в его альбоме новое «крамольное» произведение. Автор продолжал бывать у нас в доме, стремясь быть полезным и приятным всем, хотя никто его особенно хорошо не знал. Как-то в одну из суббот к нам приехал кто-то из актерской среды, кто неожиданно оказался коротко знаком с революционно настроенным театралом. В течение

вечера этот приехавший знакомый отца отвел его в сторону и задал ему вопрос:

— Скажите, почему у вас бывает Z? Вы знаете, кто это такой?

Отец ответил отрицательно.

— Это известный провокатор, видный деятель охранного отделения, — пояснил его знакомый.

Отец пришел в ужас. Естественно, что после этого случая прислуге раз и навсегда было заказано говорить «не принимают» в случае приезда незадачливого театрала. Но он был настойчив — приезжал и уезжал, поцеловавши замок неоднократно. Догадываясь, в чем дело, он улучил время, когда мать и отец уехали куда-то, и приехал к нам, вызвав в переднюю меня. Я и понятия не имел о всем происшедшем, так как, конечно, старшие не сочли нужным сообщить мне об этом.

Увидав меня, театрал рассыпался в сожалениях, что не застал дома моего отца, которого давно не видал, и очень просил меня передать ему привезенную в дар музею книгу.

Кстати сказать, книга оказалась очень редкая, что не помешало отцу отослать ее при соответствующем письме дарителю и при этом сделать еще и мне заодно внушительный разнос. С этих пор театрал навсегда скрылся с нашего горизонта, но мои родители поняли, что их субботние вечера находятся под тайным надзором соответствующего политического учреждения. После этого отец решил гарантировать себя от повторения подобных случаев постоянным приглашением какого-либо явного представителя власти, могущего в случае надобности дать интересующимся справку о том, что делается у нас в доме по субботам.

Впрочем, не одни только провокаторы не принимались в нашем доме. В этом отношении отец руководствовался не всегда только этическими соображениями — зачастую поводом для этого служили личные

симпатии или антипатии. Например, у нас никогда в доме не бывал Ф. И. Шаляпин, хотя он и был очень хорошо знаком с отцом и придавал большое значение музею. Отец в свою очередь был пламенным поклонником Шаляпина как певца и актера, но никак не воспринимал его как человека за постоянные несдержанные и некультурные выходки. Отец говорил, что присутствие Шаляпина в доме чересчур жестокое испытание для его нервов — он будет все время бояться, как бы Шаляпин не учинил скандала.

Шаляпин, надо думать, знал об этих опасениях отца на его счет, но как генерал от искусства считал для себя невозможным добиваться приема в нашем доме. Вместо этого он ограничивался тем, что время от времени напоминал о себе присылкой чего-либо в музей. Раз как-то он прислал замечательную карикатуру собственной работы на К. А. Коровина. Знаменитый декоратор был изображен на ней в полосатых парижских брюках с торчащим сзади хлястиком, в жилете, с всклокоченной прической. Это был живой Коровин — его можно было узнать с первого взгляда, несмотря на то что лица художника Шаляпин не рискнул нарисовать. Когда кто-то спросил Шаляпина, почему он не дорисовал карикатуру, то получил остроумный ответ:

— Как не закончил? Все закончил.

— А лица-то нет?

— Так ведь Костя безличный.

Поперек рисунка было написано — «В музей Бахрушина».

В другой раз он прислал салфетку из ресторана, на которой кроме автопортрета изобразил непристойный ребус на свою фамилию. На салфетке также значилось «Бахрушину в музей».

Не ограничиваясь подобными пустяками, он порой пополнял музей более ценными экспонатами — правда, за счет отца. Таким образом появился в музее бюст

Шаляпина в «Псковитянке» работы Даниеля Парра, который был направлен к отцу для покупки самим несравненным исполнителем роли Грозного.

Не бывал в нашем доме и другой прославленный современник А. М. Горький. Отец чрезвычайно высоко ценил Горького как драматурга. Считая «Горе от ума» лучшей и наиболее сильной по своему общественному звучанию пьесой русской драматургии, отец наравне с ней ставил «На дне». Первое впечатление от этой пьесы жило в отце до конца его дней. Что же касается до самого автора этого произведения, жизнерадостный и общительный отец обычно говорил:

— Ну его! Он какой-то мрачный, неразговорчивый, глядит на все исподлобья!

Впрочем, предполагаю, что причина того, что Горький не бывал в нашем доме, крылась в другом.

Дело в том, что мои родители очень дружили с Желябужскими — они часто бывали друг у друга в доме. Моя мать и мой отец, воспитанные в добропорядочных и незыблемых семейных устоях, никогда не могли примириться с фактом, что Мария Федоровна Желябужская — мать семейства — бросила мужа и вышла замуж за Горького.

Бывали люди и, наоборот, чрезвычайно стремившиеся попасть в музей, которых отец очень желал видеть у себя, но внешние препятствия упорно мешали этому. Среди них был, например, Антон Павлович Чехов.

Отец очень любил Чехова и как человека и как писателя. Раз десять Чехов собирался к нам, улавливался о дне и часе, но потом неизменно следовал телефонный звонок с извинением. В последний свой приезд в Москву он встретился в Художественном театре с отцом, который попенял на его постоянные обманы. Чехов грустно улыбнулся:

— Вот погодите, еду за границу чиниться, а как

приеду из ремонта, мой первый выезд в свет будет к вам. Обязательно!

Увы! Антон Павлович уже не приехал из этой поездки — его привезли.

Сколько ни собирался, не мог к нам собраться и Валентин Александрович Серов, очень хотевший писать портрет отца.

Однажды приехал в Москву известный скрипач Ян Кубелик. Где-то на концерте он попросил представить его отцу. После знакомства Кубелик заявил, что еще за границей много слышал о музее и просит разрешения посмотреть коллекции отца. Тут же были условлены день и час. Кубелик хотел сделать подарок музею. В день его предполагавшегося посещения он вызвал к себе скульптора и попросил сделать отлив его левой руки. Все необходимые материалы были привезены и рука европейской знаменитости залита гипсом в положении держания грифа. В ожидании, когда просохнет гипс, Кубелик вдруг почувствовал, что у него немеет мизинец. Памятуя, что каждый его палец застрахован в несколько сотен тысяч долларов, он немедленно разбил уже почти готовую форму, освободил руку, расстроился и никуда не поехал. Все же желание оставить о себе след в музее было столь соблазнительно, что перед самым отъездом он повторил опыт снятия формы и в этот раз удачно. Уже после его отъезда отцу был прислан бронзовый отлив руки скрипача с его фотокарточкой, снабженной соответствующей надписью. Любил покойник отец позвать к себе и кого-либо специально, чтобы бросить вызов обществу. Делал он это исключительно желая принести добро человеку, неизменно ссылаясь на то, что у Бахрушиных легкая рука. Сколь это ни смешно, но обычно всегда выходило действительно так, что тупое тщеславие и снобизм общества разбивался на куски в нашем доме. Особенно памятны мне в этом отношении два случая.

Пришел мрачный день, когда изменчивая фортуна неожиданно повернулась спиной к «Савве Великолепному», к абрамцевскому Медичису...

Легкомысленное счастье навсегда покинуло домашнюю сень Саввы Мамонтова.

Гениальный представитель русского капитализма, безошибочно определивший необходимость появления в России и Врубеля, и Левитана, и драматизированной оперы, и Римского-Корсакова, и Шаляпина, и Мурманского порта, и Северной железной дороги, и Северного морского пути, сошел с художественно-экономической сцены своего отечества. Запутанный в какие-то грязные спекуляции, он не смог выкарабкаться из создавшегося положения и погиб. Отшатнулись от него министры, ранее искавшие с ним встречи, лица, часами ожидавшие его выхода в приемной, стали обходить эту комнату как зачумленную. Облагодетельствованные им актеры и художники, со свойственной им незлобивой забывчивостью, помянули своего покровителя добрым словом и за немногим исключением перестали о нем думать.

А тем временем отечественное правосудие, забыв все огромные заслуги Мамонтова перед родиной, таскало его по унижительным судам, распродало его музейное имущество и успокоилось лишь тогда, когда тюремный каземат надолго запер его жертву.

Срок наказания Мамонтова наконец кончился. Он вышел из тюрьмы и поселился где-то в скромненькой московской квартирке. Стыд не давал ему выйти за порог его комнаты. Великосветская Москва в своих салонах не решалась упоминать громкое некогда имя Саввы Мамонтова. Редко, редко к нему тайком заезжал какой-либо художник или актер, боясь своим визитом навредить себе в глазах своих великосветских покровителей и заказчиков.

Все это донельзя бесило отца, и вот он решил

«рассудку вопреки, наперекор стихиям» сделать у себя дома званый вечер в честь Мамонтова. Он официально поехал к старику и просил оказать ему высокую честь осмотреть его музей и выразить по поводу него свое мнение. Мамонтов смутился, стал отнекиваться, но отказать моему отцу было трудно, когда он просил, и согласие было наконец получено. Мамонтов попросил только, чтобы не было никого постороннего.

Отец ему ответил:

— Савва Иванович! Вы будете у меня в доме, остальное не должно Вас беспокоить.

Затем отец объехал некоторых, наиболее передовых своих знакомых, которых агитировал за поддержку Мамонтова.

К чести большинства, его призыв был встречен сочувственно, хотя никто из них не решился бы сделать аналогичный шаг. Меньшинство согласилось, чтобы не вызвать недоразумений с отцом. В назначенный день старик приехал к нам и, ни к чему говорить, был встречен исключительным уважением и предупредительностью собравшихся. Он внимательно осмотрел музей, долго в молчании стоял перед причудливой формы инкрустированной перламутром роялью, купленной отцом на распродаже его имущества. Когда-то молодой, неопытный Шалипин учился играть на этом самом инструменте в гостеприимном доме Мамонтова. Когда пришло время расставаться, старик обнял отца и заплакал — его нервы не выдержали. Почин отца нашел последователей — перед Мамонтовым начали раскрываться двери московских домов. К сожалению, его подорванное здоровье скоро свело его в могилу. По его желанию большая часть его архива поступила после его кончины к нам в музей. Так и представляется мне Савва Великолепный таким, каким изобразил его Серов.

Второй случай был еще более деликатный. Среди

представителей московского капитализма у отца был только один близкий друг — Иван Абрамович Морозов. Относиться равнодушно к этому толстому розовому сибариту было невозможно. Постоянное доброжелательство и добродушие пронизывало насквозь этого ленивого добряка, а его исключительные знания и понимание в вопросах новой русской и в особенности западноевропейской живописи делали его незаменимым судьей и консультантом в области станкового творчества. Будучи ребенком, я очень любил И. А. Морозова: Он никогда не делал мне каких-либо подарков, никогда не баловал меня, но в его манере разговаривать со мной было всегда нечто товарищеское, а не покровительственное, что я очень ценил. Бывал он у нас и на званых обедах и запросто. Каждый раз он подолгу рассматривал картинную галерею отца, делал свои замечания, пускался в рассуждения. Он был чрезвычайно доволен, что я занимаюсь живописью, и каждый раз интересовался моими успехами.

— Я ведь тоже занимался живописью, — вспомнил он, — когда я кончал университет в Гейдельберге, я каждую свободную минуту брал свой ящик с красками и отправлялся в горы на этюды. Это лучшие мои воспоминания. Но чтобы стать настоящим художником, надо очень, очень много работать, посвятить всю свою жизнь живописи. Иначе ничего не выйдет. Толк будет только тогда, когда на все в жизни будешь смотреть глазами художника, а это не всякому дано. Вот мне этого дано не было, и приходится мне восторгаться чужими работами, а самому не работать. В искусстве самое ужасное — посредственность. Бездарность лучше — она хоть не обманывает.

И вот Иван Абрамович регулярно ездил за границу и покупал в Париже для своего собрания полотна французских художников, конкурируя в этом отношении с другим москвичом С. И. Щукиным. В течение не-

скольких лет эти два москвича превратили свои два частных собрания в хранилища мирового значения. Когда пытливый турист в Париже выражал неудовольствие, что в галереях столицы мира так плохо представлены французские художники-импрессионисты, то получал смущенный ответ:

— Что вы хотите? Лучшие работы этих художников находятся в Москве у Щукина и Морозова. Мы принуждены даже направлять туда наших художников, желающих специализироваться на импрессионизме!

Отец и Иван Абрамович Морозов часто делали друг другу подарки картинами, менялись своими сокровищами. Морозов, помимо своей основной западноевропейской коллекции, собирал лично для себя полотна и русских художников, «миriskусников», они-то и бывали обычно предметом мены с моим отцом. Главное, что сближало Морозова с отцом, было то, что они оба смотрели на свои коммерческие дела лишь как на способ добывания денег для основной задачи их жизни — коллекционирования.

Морозов любил жизнь и умел жить. Его картины не превратили его в скупого рыцаря, он не отказывался ни от посещения театров, ни от поездок на курорт, ни от посещения своих знакомых, ни от появления в ресторанах. В этом отношении решающую роль в его жизни сыграл ресторан «Яр».

Однажды, будучи у «Яра», немолодой уже Морозов познакомился там с одной ресторанной хористочкой. Хорошенькая, бойкая девушка произвела неожиданное впечатление на бывалого злостного холостяка. Начался сперва легкий флирт, затем ухаживание, а потом и роман. Эта связь тщательно скрывалась Морозовым, но с каждым днем он чувствовал все острее значение молодой женщины в его жизни. Хотелось с кем-то поделиться, излить кому-нибудь свою душу. Выбор Морозова пал на отца, который, конечно, уже давно

знал о долголетней связи своего приятеля — ведь шила в мешке не утаишь. Отец был представлен молодой женщине Евдокии Сергеевне, или Досе, как ее звали у «Яра». Начались регулярные встречи, с каждым разом Дося все более и более нравилась отцу — она была скромна, не стремилась принимать участие в разговорах о предметах, в которых ничего не понимала, была весела и жизнерадостна, и в ней абсолютно отсутствовала какая-либо вульгарность. Отец поговорил с матерью, и они решили создать счастье И. А. Морозова. Мать также познакомилась с Досей, после получения одобрительного отзыва матери отец начал серьезные разговоры со своим приятелем, убеждая его наконец оформить свою связь и дать Досе свою фамилию. Морозов колебался не потому, что считал подобный поступок ниже собственного достоинства, а потому, что боялся поставить Досю в тяжелое положение, если вдруг общество откажется принять ее в свою среду и они превратятся в изгоев. Отец возражал и подтверждал свои слова доказательствами, указывая на Ивана Викуловича Морозова, женатого на балетной артистке Вороновой, на Михаила Сергеевича Карзинкина, избравшего себе подругу жизни в лице Ячmeneвой в том же балете, на Александра Сергеевича Карзинкина, мужа балерины Джури, — все они жили счастливо и остракизму не подвергались. Иван Абрамович, идя по тому же пути, выдвигал пример третьего Карзинкина, Сергея Сергеевича, имевшего долголетнюю неоформленную связь с балетной артисткой Некрасовой. Отец резонно парировал это замечание соображением, что у Сергея Сергеевича дело особенное — он отец многодетного семейства и его связь от живой жены. Тогда Иван Абрамович Морозов выдвигал свое последнее соображение, что, как-никак, между артисткой императорского балета и хористкой от «Яра» большая разница. На хористок от «Яра» с основанием принято

смотреть как на милых, но погибших созданий. Против последнего соображения отец выпускал уже последнее средство — взгляд на это дело моей матери. Долго ли, коротко ли, но одним прекрасным днем Морозов капитулировал, и в маленькой московской церквушке, без излишнего шума, состоялась его свадьба, после чего молодые уехали за границу.

Половина дела была сделана, но только половина — оставалось еще самое сложное — «лансировать»¹ Досю в свет. Эта процедура происходила в нашем доме на специальном званом обеде. Великосветская купеческая Москва встретила молодую Евдокию Сергеевну Морозову сдержанно, с явным недоверием, внимательно приглядываясь, как она ест, как разговаривает, как себя держит. Но молодая Морозова держала себя так просто, делала все так непринужденно, словно она всю жизнь только и вращалась в подобном обществе. К концу вечера наиболее податливые сердца уже смягчились и молодые получили несколько приглашений. Сражение было выиграно. А через несколько лет Евдокия Сергеевна стала уже полновластным членом московского большого света, и единственно, что осталось за ней на всю жизнь, это наименование Доси.

До известной степени, но, конечно, в меньшей мере фрондой обществу было и приглашение в наш солидный семейный дом Паниной и Вяльцевой, о чем я уже упоминал.

В перипетиях нашей тормозливой жизни мы и не заметили, как подошла весна 1908 года. Зима в этом году была снежная и холодная, без оттепелей — весна наступила неожиданно, на редкость теплая и солнечная, заставив сразу вспомнить, что мы еще не знаем, где будем жить летом. Решение родителей распрощаться с Гиреевым было твердо, но обстоятельства заставили

¹ От фр. lancer — выпускать, вводить.

их думать, не пересмотреть ли уж и это решение. А весна, дружная и бурная, с каждым днем все настойчивее забирала свои права. В несколько дней сошел снег в городе, лед на реке посинел, побурел, почернел и тронулся. Не дождавшись окончания ледохода, вода в Москве-реке начала быстро прибывать. Вечером мы отправились смотреть на ледоход. Перила Краснохолмского моста были облеплены народом. Мост скрипел и вздрагивал под напором быстро мчавшихся огромных льдин. У набережной не залитым оставался лишь один камень. Льдины, как причудливые водяные чудовища, налезали друг на друга, ныряли, поворачивались и стремительно мчались по течению. Подавленные грандиозностью картины, мы молча возвратились домой и легли спать.

Проснувшись на другое утро, первое, что я увидел, была моя старуха нянька, не отрываясь смотревшая в окно. Не шевелясь я наблюдал за ней, наконец она заметила, что я проснулся, и вместо того, чтобы подойти ко мне, поспешно подозвала меня к себе взглянуть в окно. Я подбежал к ней. На безоблачном небе бойко сверкало зазорное весеннее солнце. Внизу на дворе дядя Василий Пузанос прилаживал какие-то доски к нашим воротам, дворник и кучер поспешно таскали из конюшни вилами навоз и валили его у ворот. А за воротами виднелась улица, наша Валовая, но не обычная, повседневная, московская, а венецианская, вся сплошь залитая серебристой водой. Пока, в немом изумлении, я наблюдал эту необычайную картину, по улице медленно проплыла лодка, груженная каким-то барахлом, подушками, матрацами, сундуками с сидящими поверх имущества бледными, расстроенными людьми. За лодкой вскоре показался наскоро сколоченный плот, также груженный людьми и скарбом.

— Ишь, вода-то что делает? Потоп! — сказала нянька и отошла от окна.

Я быстро оделся и пошел все обследовать. Наводнение началось после полуночи. Дядя Василий был разбужен шумом бегущей воды. Он поднялся и вышел в коридор полуподвального помещения. Пол был весь залит водой. В уборных из унитазов фонтаном била вода. Не теряя времени, он сделал деревянные пыжи, обмотал их тряпками и забил трубы. Затем он принялся за водопроводные колодцы, которые также заглушил каким-то тряпьем. Только после этого он вышел на улицу. В темноте ясно был слышен зловещий шум прибывающей воды. К этому шуму примешивался тревожный говор людей, выкрики, вой собак. К рассвету вода начала подходить к нашим воротам, тогда дядя Василий принялся баррикадировать двор. Выйдя на улицу, я обнаружил, что наш дом, построенный на некотором возвышении почвы, выдавался полуостровом среди подступившей к нему со всех сторон воды. Валовая улица по направлению к Серпуховской площади была единственным перешейком, соединявшим нас с сушей. Наш сад, спланированной террасой, был на три четверти залит водой. Наводнение не убывало, а, наоборот, еще далеко не достигло своей кульминационной точки. Возвратясь домой, я прямо направился будить родителей. Отец поднялся в несколько минут и засел за телефон. Сведения, собранные им, были мало утешительны — оба наших завода и дом деда, который лежал больной, перемогая тяжелую форму рожистого воспаления, были все залиты водой. Дома дядей с залитыми водой нижними этажами высились островами среди расходившейся стихии. Первая мысль отца была о спасении музея, находившегося в нижнем полуподвальном помещении. Целый день мы перетаскивали наверх все наиболее ценное, громоздили на витрины и шкафы тяжести, чтобы не дать им в случае чего всплыть. Все нервничали и волновались за исключением нашей старухи кухарки, которая спокойно утвер-

ждала, что нам вода не угрожает. Когда ее спрашивали, на каком основании она так думает, то получали ответ:

— Я-то уж наверно знаю. Я, чай, уж с неделю черные тараканы со всех соседних домов к нам перебирались. Так и ползут ночью по улице веревочкой, и все к нашим воротам!

Дядя Василий подтверждал ее наблюдения, и действительно, за последнее время черных тараканов в доме развелось великое множество. Но тараканы тараканами, а надо было думать о спасении музея, так как палочки с заметками, поставленные в воду в саду, упорно показывали продолжающийся медленный подъем воды.

Когда самое ценное, то есть процентов двадцать пять из собраний музея, было перенесено кверху, отцу позвонили из Городской думы с просьбой приехать на экстренное заседание в связи с наводнением. Отец обещал сделать все возможное, чтобы присутствовать на собрании. Надлежало пробиться сквозь воду через мосты. Вообще население Замоскворечья с утра уже сообщалось с городом только через пешеходный мост окружной железной дороги, но, по слухам, при помощи лодок можно было рискнуть пробраться и через Москворецкий и Чугунный мосты. Отец предложил взять меня с собой в это путешествие. Ввиду того что воспользоваться своим выездом было невозможно — выезд из нашего двора был наглухо забаррикадирован, мы с отцом вышли из дому пешком и наняли извозчика. Поехали окольными путями, но уже с середины Пятницкой въехали в воду. По мере продвижения вперед пролетка все глубже погружалась в мутные, бушующие струи. Наконец мы выбрались на Чугунный мост, который причудливой дугой одиноко высился среди водной глади. Предстояло пересаживаться в лодку — они во множестве плавали по улицам, ведомые солдатами московских гренадерских полков.

— Чего вам в лодку-то садиться, — заметил стоявший на мосту матрос, — и так переберетесь, садитесь в задок пролетки, а ноги на сиденье — и все тут!

Мы вопросительно взглянули на извозчика, от которого одного зависело везти нас дальше или нет. Возница, посмотрев вперед и назад, сел поудобнее на козлах и заявил:

— Ну, поедем, што ль; рублевочку прибавьте, а то ведь я сам не замоскворецкий, а городской, меня ночью там вода застала.

Мы устроились в пролетке, как нам было указано, и двинулись дальше. В середине Балчуга вода подступила уже под брюхо лошади и под самое сиденье экипажа. В конце улицы вода неслась с такой силой, что нас постепенно начало сносить на правый тротуар. Каждую минуту мы рисковали наткнуться на невидимую под водой тумбу и перевернуться, но, понукаемая хозяином, тщедушная лошаденка напрягла свои последние силы и вынесла нас благополучно на мост. По ту сторону моста вода была мелкая и препятствия не представляла.

Отец направился прямо в Думу и попросил разрешить мне присутствовать на собрании. Заседание длилось очень долго. На нем я узнал, что наводнение застало московские власти в полный расплох. Не было заготовлено даже достаточного количества лодок, которые пришлось срочно перекинуть в Москву из окрестностей. Бедствия, причиненные водой, были огромные, особенно, конечно, пострадал бедный люд. Каждую минуту Москве грозило остаться без света, так как обе электростанции были затоплены. Оставалась единственная мера предотвратить это — перевести весь город на запасную аккумуляторную подстанцию, находившуюся в подвале самой Думы. В конце заседания мы спустились в подвал на эту станцию — чистую, сияющую и страшную, как все электростанции, и гово-

рили с заведующим. Он заявил, что станция выдержит при условии, чтобы были прекращены работы на всех заводах. Об этом было дано соответствующее распоряжение. Надо было ехать обратно домой, но здесь нам сообщили, что Замоскворечье окончательно отрезано от города, так как вода поднялась к вечеру еще на аршин. Делать было нечего, и мы с отцом направились почевать к деду Носову, где немедленно соединились по телефону с матерью. Дома за наше отсутствие события продолжали разворачиваться своим чередом. Наш дом уже успел из полуострова превратиться в остров. Вода, наступавшая по Лужнецкой и по Валовой, наконец соединилась. Вся мостовая представляла из себя водную гладь, которую по бокам еще сдерживали высокие тротуары, препятствующие стихии проникнуть в дом через окна полуподвального этажа. В саду вода также уже выхлестнула в верхний сад и медленно ползла к дому. Часть хозяйственных помещений нижнего этажа пришлось уступить пострадавшим, и теперь у нас в доме расположились лагерь, со своим скарбом, какие-то несчастные. Во время всего этого матери позвонили от больного деда Бахрушина и сообщили, что он очень плох и пожелал причаститься и проститься с близкими. Мать вышла на улицу, села в лодку и поехала в Кожевники. Одновременно с нею к дому деда с другой стороны подъехала лодка, в которой ехал священник в полном облачении, держа в руках чашу с дарами, — он был вызван к умирающему во время службы. Эта картина ярко врезалась в память матери. Дед причастился, простился с близкими и впал в забытие — наступил кризис. На другой день он почувствовал себя лучше и стал быстро поправляться. Не предвидя этого, мы с отцом легли спать расстроенными. Утренний звонок по телефону к матери нас ободрил — деду стало лучше и вода перестала прибывать. Когда среди дня мы наконец добрались до дома, наводнение

уже медленно пошло на убыль. Через несколько дней Москва уже приобрела внешне обычный вид, но нанесенные ею бедствия еще ощущались в течение года с лишним.

Наводнение совсем отодвинуло назад заботы родителей о переезде на дачу. Вместе с тем ранняя дружная весна наступила настолько стремительно, что грозила со дня на день перейти в столь же раннее и дружное лето.

Как-то, после какого-то заседания, отец заехал поужинать в Литературно-художественный кружок. Подсев к какому-то столику, за которым расположились знакомые ему лица, он по свойственной ему общительности стал делиться с ними своими затруднениями насчет выбора дачи. Когда он кончил ужинать и собирался ехать домой, к нему вдруг подошел писатель Н. Д. Телешов.

— Алексей Александрович, — сказал он, — вы ищите дачу на лето? У меня есть как раз то, что вам нужно. В нашем имении в Малаховке есть свободная помещицкая дача, не новая, вокруг нее десять десятин огороженной земли, старинный липовый парк, хорошее озеро для рыбной ловли, прямо из парка выход в лес, где грибы и ягоды, а главное, полное одиночество. Ваш ближайший и единственный сосед — я сам, а дачная публика вся на том берегу озера и по ту сторону полотно железной дороги.

Отец поинтересовался условиями. Телешов их сообщил и предложил съездить осмотреть дачу.

— Чего же смотреть-то, — заметил отец, — я вам и так верю. Получайте задаток!

Он вынул свой бумажник и уплатил деньги Телешову. На другое утро мы с матерью узнали, что надо быстро собираться и переезжать на новую дачу в Малаховку, в имение, доставшееся Телешову в приданое за его женой, урожденной Карзинкиной.

В моей жизни начинался новый период.



Период житья на даче в Гирееве связан в моей жизни с годами детства. Малаховка знаменует собой уже отрочество. С этого именно времени я начал не только видеть, наблюдать и запоминать, но и размышлять, сопоставлять, делать выводы. Воспоминания о Малаховке переплетаются в моей памяти с годами школьной учебы, с приобретением первой ограниченной самостоятельности, с робкими ученическими шагами в области житейской романтики. Немаловажную роль сыграла Малаховка и в жизни моих родителей. Их давно уже тянуло приобрести свой небольшой клочок земли и зажить деревенской жизнью. Пример сестер матери и брата отца еще более разжигал их желание. Еще в Гирееве моя мать получила разрешение Терлецкого разбить несколько грядок на лугу перед нашей дачей, и этот миниатюрный огород был предметом постоянных ее забот. Решиться сразу с дачной жизни переключиться на помещичью родители мои не рисковали, хотя еще в период их жизни в Гирееве они несколько раз ездили осматривать какие-то продающиеся участки земли. Отец мой, со своей стороны, в тот период выработал шутливую формулу

ответа в случае упреков со стороны матери за покупку какой-либо абсолютно ненужной вещи.

— Это — для будущего имения, — говаривал он вместо оправдания. Малаховка была уже не дача, а скромное поместье со всеми вытекающими из этого последствиями.

Переехали мы в Малаховку в первый раз, насколько я помню, довольно поздно, то есть на второй или третий день Пасхи. Вozy с нашими вещами из города запоздали, так как не была как следует рассчитана разница в расстоянии от Москвы до нашего нового дачного местопребывания по сравнению со старым. Хорошо помню, что это был погожий, яркий, теплый весенний день. Приехали мы налегке. Езды от станции до дачи было минут двадцать. Сперва дорога шла по дачному проспекту, который по мере удаления от станции делался все пустынное. Наконец мы свернули в ворота и оказались на узкой дороге, стесненной по бокам высокими елями. Вдруг лес поредел и перед нами вынырнула большая, мрачная на вид старая дача необыкновенной архитектуры. Это было странное сооружение, начинавшееся с большой башни в четыре этажа и постепенно уступами доходившее на другой оконечности до одноэтажной маленькой кухоньки. Лишь с большим воображением можно было усмотреть желание строителя этого здания воспроизвести формы английской готики, преломленной через призму рязанско-нижегородского изготовления.

Управляющий Телешовых, обрусевший немец Василий Карлович, по своей внешности очень походивший на замоскворецкого разносчика, встретил нас и ввел во владение нашей летней резиденцией. Благодаря тому что часть нашей прислуги с некоторыми вещами приехала раньше нас, мы уже через час сидели на балконе, пили чай и закусывали. На столе в минимальных количествах был представлен соответствующий

щий времени года ассортимент угощений. Пасха с куличом, крашеные яйца, ветчина, свежие редиска и огурцы, холодная телятина, конфеты, варенье и прочее. Кроме того, в каком-то случайном горшке стоял огромный букет живых цветов, поднесенный матери управляющим — садоводом и большим любителем всяких зеленых насаждений, чем он сразу завоевал себе прочное положение в нашем доме. Мы наслаждались ранним весенним днем и менялись впечатлениями.

Для меня новая дача была целым кладом. Перед балконом расстился старинный липовый парк на целую десятину. Сзади дачи шла аллея из тополей прямо к огромному озеру, а по бокам расстился английский парк. За кухней шли хозяйственные службы, большой огород и прекрасная теннисная площадка. Все это открывало передо мной большие перспективы. Сама дача была комфортабельна, приспособлена к зимнему жилью, имела водопровод и единственно, чем пасовала перед Гиреевым, — это электрическим освещением. Словом, все мы остались довольны нашим новым местопребыванием. Нас только немного смущало то обстоятельство, что благодаря отъезду из Гиреева, как бы по нашей вине, без дачи остались отец и сестра матери, так как они не хотели оставаться на старом месте без нас. Неожиданно и эта неприятность оказалась упраздненной, так как, как раз против нас, на том берегу озера, оказалась одинокая пустая дача, которую они и сняли. Все после этого оказалось в порядке.

Надо было обследовать всесторонне Малаховку и обжить ее, чтобы окончательно сложить себе о ней мнение. Этим я и занялся. В скором времени я убедился, что рыбы в озере достаточно, в особенности линей и щук, только надо научиться их ловить, осень доказала, что грибов родится поблизости великое множество, так же как и ягод, что для их собирания вполне достаточно ограничиться участком нашей дачи.

Идя дальше по пути своих изысканий, я однажды проник в один из каретных сараев, находившихся на нашем дворе. В отличие от других аналогичных помещений на дверях этого висел старинный заржавленный замок. Внутри сарая стояла прекрасная, объемистая коляска весьма почтенного возраста. Вся она была наполнена книгами, но помещавшиеся в ней фолианты в беспорядке валялись на полу. При ближайшем рассмотрении, к моему великому удивлению, все книги оказались преимущественно на английском языке и лишь часть из них на французском и немецком. Большинство из них было издано в начале прошлого столетия, украшено прекрасными литографиями и снабжено богатыми переплетами, на внутренней стороне которых имелся рукописный «Exlibris Alley». Я выбрал кое-что из попавшихся мне в руки богатств, среди которых было три тома первого издания Мольера, и возвратился домой. От родителей мне попало за столь неправомерно приобретенное имущество, и они запретили мне пользоваться этими книгами до выяснения их происхождения и назначения с управляющим.

При ближайшем посещении Василия Карловича вопрос о книгах был поставлен со всей остротой.

— Книги? — сказал он. — Те, что в сарае? Пожалуйста!.. Делайте с ними что хотите. Это библиотека бывшего владельца имения Аллея. Их очень много было, да мы их употребили в дело. Знаете, удивительная вещь! Дорожки у нас в саду около озера всегда были невероятно сырыми — прямо вода на них сполна не просыхала. Вот мы и замостили все эти дорожки книгами в несколько рядов, а сверху кирпич битый и песок, и знаете — сырость как рукой сняло!

После этого заявления каждый раз, как я, ловя рыбу на озере, видел с лодки, как по дорожкам своего сада с книжкой и карандашом в руке гулял милейший Николай Дмитриевич Телешов, с которым я тогда

знаком не был, то думал, что вот писатель Телешов сочиняет новое произведение, гуляя по произведениям Шекспира, Байрона, Мольера и Диккенса. Лишь впоследствии, познакомившись лично с Николаем Дмитриевичем, я убедился, что описанное варварство было учинено без его ведома.

Малаховка, то есть имение Телешовых, некогда принадлежала владельцу первого универсального магазина в Москве, известного под фирмой «Мюр и Мерилиз», англичанину Аллею.— он и выстроил тут дачу, в которой мы жили. С того отдаленного времени Малаховка стала постоянным летним местопребыванием московской английской колонии. Нечего говорить, что через год-другой я свел знакомство уже со всеми малаховскими англичанами и исправно состязался с ними в теннис.

Малаховка явилась для меня целым откровением во многих отношениях. Озеро, на котором отец немедленно завел собственные рыбачьи лодки, разнообразная рыбная ловля, купанье, а главное, самостоятельность в прогулках, благодаря нашему обширному земельному участку,— все это было ново, неизведанно, а потому особенно интересно. Правда, в первое лето пользоваться всем этим приходилось ограниченно — с одной стороны, это был первоначальный период осваивания, а с другой — надо было готовиться к поступлению осенью в реальное училище.

После нескончаемых справок, узнаваний, обсуждений и размышлений моя мать остановилась на реальном училище Воскресенского. Кроме хороших отзывов об этом учебном заведении оно в глазах матери имело то достоинство, что мне можно было поступить в него, подвергшись осенью испытанию только по математике, по которой я получил неудовлетворительный балл на экзамене весной, — держать экзамены по всем предметам было не необходимо. Летом надо было серьезно

подогнать этот предмет, по которому я отставал. Принципиальная противница всяких репетиторов и сторонница того, что ученик должен самостоятельно готовиться к испытаниям, моя мать все же на этот раз отступила от своего правила. Она видела, насколько я измотался за время весенних экзаменов, да и мои учителя советовали ей помочь мне в этом деле. Кто-то из них рекомендовал ей и подходящего человека. У нас на даче стал появляться молодой, некрасивый, художочный студент — прекрасная модель для всякого художника, желавшего изобразить забастовщика-революционера.

Звали его Александр Федорович Диесперов. Относился он к своим обязанностям с редкой добросовестностью и пунктуальностью. Помню, как-то раз я разленился и не приготовил урока. Александр Федорович спокойно и сухо заметил мне, что в случае повторения подобного случая он будет принужден переговорить с моей матерью, так как не привык даром получать деньги. Он казался мне всецело поглощенным своей математикой, бесчувственным сухарем. Сколь велико было мое изумление, когда несколько лет спустя я увидел на полке книжного магазина сборник стихов с четко выставленным именем автора: А. Ф. Диесперов. Стихи были отнюдь не революционными и не народническими и обнаруживали в авторе если и не очень большое дарование, то зато хороший вкус и изящество.

Подготовил меня Александр Федорович хорошо, и осенью я пошел на экзамен уверенный в своих знаниях и выдержал его без труда.

Реальное училище Воскресенского помещалось тогда на Мясницкой в доме Лингарта, почти насупротив Мясницкой больницы в старом барском особняке, помнившем еще французов, в котором, по школьным преданиям, жил в 1812 году кто-то из маршалов Наполеона. Фасад здания был довольно-таки изгажен как

грубой вывеской фирмы Лингарт, красовавшейся на фасаде, так и целепой вышкой — обсерваторией, прилепившейся к центру крыши. В особняке в мое время классных помещений уже не было, они все были выведены в новое здание — в огромный четырехэтажный дом, построенный сзади впритык к старому дому. Внутренняя отделка старого дома осталась в неприкосновенности еще с давних времен. Особенно красив был актовый зал с мраморными пилястрами и богатой ампирной лепкой на стенах и так называемая физическая аудитория — полукруглая комната с ротондой и мраморными колоннами. Новое здание все состояло из просторных светлых классов и больших рекреационных зал на каждом этаже. Стены этих последних были украшены хорошими репродукциями с лучших картин государственных галерей, и это незатейливое убранство выветривало из этих комнат всякий дух школьной казенщины.

Подробности моей переэкзаменовки стерлись в памяти. Как я уже упоминал, шел я на нее уверенным в себя, и это, очевидно, дало мне возможность не обращать особого внимания на внешние обстоятельства.

Близилось печальное для меня в те времена 16-е число августа месяца. На даче все еще было в зелени, стояли погожие солнечные дни, в самом разгаре был грибной сезон, начался осенний клев рыбы. Но, несмотря на все эти прелести, на другой день после третьего, яблочного Спаса, праздника Успения, надо было ехать в Москву и начинать учебу. А тут еще последние свободные дни были отравлены поездками с матерью в Москву для экипировки. Надлежало одеться с ног до головы в форму казенного образца, запасть учебниками, совершить какие-то последние формальности в связи с зачислением в училище. Наконец со всем этим было покончено, но вместе с тем наступил и праздник Успения. Прощание с привольной

жизнью смягчалось на этот первый раз естественным любопытством перед грядущим, неведомым.

Семнадцатого августа, собственно говоря, никакого учения не происходило, полагался лишь сбор всех учащихся, торжественный молебен в присутствии родителей и гостей и речи директора и преподавателей.

Старинная зала училища блистала в этот день натертым полом, заново покрашенными стенами, тщательно промытыми оконными стеклами, начищенными медными ручками дверей и печными отдушинами, нарядными дамскими туалетами и подновленными, наутюженными вицмундирами и сюртуками учителей. Служили молебен соборные, все три законоучителя училища, и пел хор собственных певчих, составленный из учеников. По окончании богослужения выступили с краткими речами директор Александр Митрофанович Воронец и некоторые из учителей. Новизна происшедшего не позволила мне тогда обратить внимание на одну особенность всех выступлений. Впоследствии эта особенность в речах преподавательского состава, повторявшаяся ежедневно, стала для меня очевидной и я понял, что эта особенность составляет своеобразный метод воспитания. Припомнил я впоследствии и речи, слышанные мною на первом молебне. Все, начиная от директора и кончая последним классным наставником, повседневно говорили нам о прошлом училища, об его традициях, о бывших воспитанниках, достигших ныне степеней известных, и всячески вызывали в нас чувство гордости, что мы именно «воскресенцы», а не питомцы какого-либо другого учебного заведения. Ежегодно 15 сентября, в день рождения основателя училища К. Ф. Воскресенского, устраивался торжественный вечер встречи бывших воспитанников училища. Мне довелось быть на этих вечерах только два или три раза — война, а затем революция положили им конец. Запомнился мне на этих вечерах характерный профиль

М. В. Нестерова, солидные фигуры каких-то генералов, чопорные облики еще не успевших поседеть в науках профессоров. После моих экзаменационных вылазок в казенные московские реальные училища подобный подход к делу был для меня настолько нов и неожиданен, что невольно заставил сперва прислушаться, затем задуматься над слышанным, а потом и подпасть под общую линию училищного воспитания.

Преподавательский состав также резко отличался от педагогов казенных реальных училищ. Как методы преподавания, так и отношение к ученикам здесь были иные. Учителя не составляли особый лагерь врагов, наоборот, многие из них были друзьями учащихся. Их отношение к питомцам особенно ярко выступало во время экзаменов. В преподавании учителя придерживались системы заинтересовывания ученика предметом, стремления научить его самостоятельно заниматься и предоставления ему максимальной инициативы. Доклады, рефераты, сочинения на избранную самим тему были у нас обычным явлением.

Помню, на мою долю выпало чтение реферата о Семилетней войне, доклад о Сикстинской капелле и сочинение на тему «Как встретило русское общество появление комедии «Горе от ума». За этот свой первый исследовательский труд я получил высшую оценку — пятерку с плюсом.

Директором училища был Александр Митрофанович Воронец, или, как его почему-то называли среди нас, «Митрофан». Это был еще молодой человек с тихим голосом, застенчивый и скромный. По слухам, он еще при жизни старика Воскресенского был назначен им своим наследником. Вернее всего, Воскресенский был прав, избирая себе в преемники столь бесцветную фигуру — «Митрофан» царствовал, но не управлял, а в училище все шло так, как было заведено самим стариком, не подвергаясь ретивым действиям новой

метлы. Он сидел в своем кабинете, почти никогда не появляясь среди учащихся, не вызывая их к себе для объяснений, и фигурировал лишь на торжественных собраниях и на экзаменах, где задавал простые, но хитроумные вопросы, требующие от ученика находчивости и сообразительности.

Административные бразды находились всецело в руках инспектора Василия Михайловича Войнова. В отличие от Воронца он был грубоватым, серьезным помором, появлялся всюду среди учащихся, водворяя порядок своим громким окаящим голосом. Войнова уважали, слушались, но не боялись, так как очень часто в пылу очередного разноса провинившегося в его глазах вдруг мелькал добрый, отеческий огонек и он заканчивал выговор добродушным похлопыванием по плечу. Это был присяжный педагог, с увлечением, но малоувлекательно преподававший физику. В училище в качестве классного наставника подвизался его сын, сам бывший воскресенец, которого отец готовил себе в заместители.

Среди учителей наибольшим авторитетом пользовался математик Иван Михайлович Иванов. Он никогда не повышал голоса, никогда не накладывал административных взысканий, но почему-то все ученики его очень уважали и любили. Во время его уроков в классе всегда было тихо и даже самые отчаянные старались быть внимательными. Иван Михайлович был исключительно требователен и строг, за малейшее незнание урока щедро сыпал в журнал двойки и тройки, перемежая их даже с колами, с «вожжами» (двумя минусами). Зато во время экзаменов Иван Михайлович преобразался — всю его строгость и требовательность как рукой снимало. Хорошо учившийся в течение года ученик был гарантирован от всяких случайностей и мог заранее предвидеть свой балл. Нерадивые же всецело отдавались в руки экзаменационной фортуны, и коли

она им благоприятствовала, Иван Михайлович недоверчиво улыбался, качал головой и скрепя сердце ставил им переходный балл. Впрочем, он обычно предпочитал предоставлять право испытывать слабых учеников ассистентам, чтобы избавить себя от искушения быть пристрастным.

Историю преподавал С. К. Богоявленский, впоследствии член-корреспондент Академии наук, широко известный исследователь донетровской Руси. Его называли «Сусликом» и не очень любили. Преподавал он основательно и толково, но сухо, что, вероятно, и было одной из причин его непопулярности.

Не пользовался также особым расположением и преподаватель русского языка И. М. Казанский. Он также хорошо знал свой предмет, не хватал звезд с неба и, кроме того, отличался пристрастием. У него были свои любимчики, а этого особенно не любят в школе.

Наиболее своеобразными были преподаватели второстепенных предметов. Так, преподавание химии было поручено директору Московского зоологического сада Прогоржельскому. Это был тучный, невозмутимый флегматик, вяло и неинтересно знакомивший нас со своей в достаточной степени сухой дисциплиной. Он являлся в класс в аккуратном, чистом штатском сюртуке, не спеша садился за кафедру и начинал повествовать о своем предмете монотонным, ровным голосом, когда раздавался звонок, он, так же не спеша, вставал и уходил. Учеников бесило его спокойствие и беспристрастность. Изобретались всякие способы вывести его из себя, но все было тщетно. Наконец додумались до того, что перед началом урока Прогоржельского вымазали сиденье его стула крепким, схватывающим клеем. Когда раздался звонок, возвещающий окончание урока, и Прогоржельский захотел встать, стул поднялся вместе с ним. Быстро сообразив, в чем дело, он взялся руками за сиденье и отодрал себя от стула, затем, нико-

му не говоря ни слова, вышел из класса как ни в чем не бывало. Все начали готовиться к неминуемой грозе, к следствию, к разному и взысканиям. Но все шло своим чередом, и ничего не предвещало агрессивных действий со стороны начальства. Тогда класс с прискорбием осознал свое полное поражение — выходки над Прогоржельским кончились, и с ним молчаливо было решено мириться как с неизбежным злом.

Директор Московского аквариума, известный ихтиолог Н. Ф. Золотницкий, преподавал нам французский язык. Какое отношение имел он к Франции, для меня до сего времени осталось невыясненным, впрочем, предмет свой он знал и ухитрялся передавать малую толику своих знаний даже тем из нас, которые ранее и понятия не имели о французском говоре. Этот преподаватель обладал одной причудой, которой мы часто пользовались. Он не терпел пыли и грязи на кафедре. За несколько часов до его урока в крышке кафедры делался продольный небольшой разрез перочинным ножом, в него наливался клей и выставлялся маленький кусочек бумаги. Западня была готова. Николай Федорович являлся на урок и первым делом заставлял кого-нибудь оттереть тряпкой крышку кафедры, затем он вынимал собственный чистый носовой платок и отряхивал вытертое. Тут-то обычно его внимание и привлекал клочок бумаги. Все его усилия стряхнуть назойливую бумажку не приводили ни к чему, тогда он вызывал на помощь кого-нибудь из нас. На это дело всегда находилось несколько добровольцев. Начинаясь суетня вокруг кафедры, и наконец кто-нибудь выщипывал бумажку. Но тогда образовывалось два клочка меньшего размера. Суетня продолжалась до тех пор, пока все окончательно не было удалено. К этому времени, гляди, уж половина урока и прошла, что и требовалось доказать.

Преподавателем немецкого языка был Константин

Петрович Нотгафт. Красивый, представительный старик (ему было под восемьдесят лет), огромного роста, прямой, с военной выправкой, он был ходячей легендой училища.

Рассказывали, что в молодости он обладал богатейшим имением в Смоленской губернии, поступил при Николае Павловиче в Кавалергардский полк, где в короткий срок промотал в карты и прокутил все свои наследственные местности. Пришлось уйти из полка и избрать себе другую профессию. Хорошо зная немецкий язык, он выбрал педагогику. Это был добрейшей души, замечательный человек — он не признавал плохих отметок, был снисходителен до смешного, и разжалобить его ничего не стоило. К нашему общему стыду надо признаться, что на его уроках творилась сплошная вакханалия. Все делали все что угодно, кроме ученья. Старик все терпел и никогда не жаловался. Наконец дело дошло до того, что однажды кто-то с задних парт кинул большой кусок колбасы от завтрака прямо в доску позади учителя. Злополучная колбаса рикошетировала и угодила педагогу на лысину, где и осталась. Старик не выдержал и заплакал, но все же продолжал урок. Этот случай как-то сразу отрезвил класс, и на некоторое время на его уроках водворилось благонравие. А затем со следующего года все пошло по-старому.

В заключение нельзя не сказать несколько слов о наших трех законоучителях-иереях. В младших классах Закон Божий преподавал древний старик митрофорный протоиерей¹ отец Зверев. Он был одним из наиболее уважаемых священников Москвы, занимал пост настоятеля Марфо-Мариинской обители, где диакономиссой была великая княгиня Елизавета Федоровна,

¹ Старший священник в храме, награжденный митрой — особым головным убором.

и состоял исповедником московского двора. Это был человек исключительной доброты. Вечно он о ком-то хлопотал, кого-то защищал, за кого-то представлял. Причем делал он все это так, словно не он благодетельствовал, а ему благодетельствовали. Помню его дряхлую, неуверенную походку и старческий, но зоркий взгляд, умевший сразу заметить, если у кого-нибудь из учащихся какие-то нелады и мрачные мысли. Он шествовал после урока по залам училища, неизменно окруженный толпой учеников, провожавших его до дверей учительской и с сожалением с ним там расстававшихся. Переходившие в старшие классы и тем самым выходявшие из-под его опеки учащиеся, в случае неприятностей, постоянно шли к нему за советом и помощью, в которых никогда не было отказа. Святой был человек!

В старших классах преподавателем Закона Божия был академик о. Богословский, прозванный за свой тягучий, скрипучий голос «Скрипкой», так как звук его речей напоминал плохую игру на этом инструменте. Поп Скрипка был крайне несимпатичным субъектом и пользовался дружной и заслуженной нелюбовью учеников. Он вечно жаловался на своих питомцев, кляузничал, придирался. Историю церкви он преподавал скучно и неинтересно. Зачастую на его уроках на задних партах натягивались струны и во время объяснения материала очередной музыкант вдруг извлекал из своего инструмента при помощи самодельного смычка какую-либо занозистую ноту. Поп делал вид, что ничего не слышит, но сейчас же начинал охоту за правонарушителем. Обычно поймать баловника ему не удавалось, зато если таковой попадался, то получал неприятности сторицей.

В средних классах законоучителем был отец Симеон Уваров. Это был один из тех священнослужителей, которые в поповской среде именуется обычно гусара-

ми. Священный сан не мешал ему одновременно быть и смекалистым, оборотистым дельцом. Он легко совмещал священство у Николая Мясницкого с редактированием и изданием широко распространенного духовного журнала «Русский паломник», делавшим ему тысячные прибыли, и с управлением и владением торговыми банями, также служившими немаловажным подспорьем его бюджету. Но педагогом отец Уваров был хорошим, применявшим в этом отношении свои методы. У него действительно не было неуспевающих учеников, и выставляемые им со всею строгостью баллы редко понижались до тройки. Достигал он такой успеваемости чрезвычайно просто. Его урок всегда был последним в учебном дне. Придя в класс, он кратко и вразумительно объяснял следующий урок и затем начинал спрашивать. Если ученик отвечал отлично, то, выставляя в журнале пятерку, отец Симеон отрывисто рывкал: «Собирай книги и марш домой». Отвечавшие на четверку отпускались домой минут через десять после ответа урока. Троечники сидели почти до конца, а с не выучившими заданного Уваров оставался еще минут на десять — пятнадцать после звонка, повторяя им предыдущий урок. Такой метод создавал своеобразное соревнование, в котором победители награждались немедленно. С учениками Уваров держал себя на товарищеской ноге, без стеснения своим грубым голосом называя их ракалиями и мошенниками, но никогда ни на кого не жаловался, предпочитая с глазу на глаз разрешать все недоразумения со своими питомцами. Отца Симеона уважали и любили в особенности за его отношение к ученикам во время экзаменов.

Уваров считался в училище ученым попом и неизменно назначался ассистентом во время письменных математических экзаменов. Как сейчас вижу его грузную фигуру с рыжеватой бородой и веселыми добродушными глазами, с заложенными за спину руками,

мерно расхаживающую среди столов, склонившись над которыми мучились мы, грешные. Когда его зоркий взгляд узревал, что первый ученик Саша Хренников начинает переписывать набело свою работу, он направлялся к нему и спрашивал:

— Ну, что? решил? Покажи-ка!

Удостоверившись, что задача решена правильно, о. Симеон добавлял:

— Верно! Молодец! Ну, вот что, пока белить-то погоди — успеешь, а возьми-ка клочок бумажки и аккуратненько перениши мне карандашиком все решение.

Начиналось снова хождение ассистента между столами. Наконец он опять подходил к Хренникову.

— Переписал, что ли? Ну ладно. Я сейчас к тебе спиной стану, а ты мне аккуратно засунь записку-то за обшлаг рясы, только так, чтобы не видно было и не потерялась бы!

Когда эта операция была благополучно закончена, испытания продолжались своим чередом. Постепенно сдавались работы — зал пустел. Через час-другой в нем оставались лишь несколько человек, тичетно потевших над письменной работой и ошалевшими от отчаяния глазами, ничего не соображая от страха, глядевших на путаные столбцы цифр, начертанные ими на бесконечных бумажках. Тогда-то и начинал действовать Уваров. Он подходил к очередному неудачнику.

— Ну, что, брат, ничего не выходит? То-то вот оно-то, зимой-то надо заниматься, а не балясы точить. Покажи работу. Да тут ничего не поймешь — написано столько, что прямо целый учебник! Эх, ракалия ты эдакая! Ну, слушай, я сейчас к тебе спиной стану, а ты поищи у меня за обшлагом рясы — там записка есть, в ней все верно написано, — спиши. Да ты записку-то не рви, смотри, потом она другим нужна еще.

Экзаменационная почта начинала действовать. Че-

рез час, самое большое, зал пустел окончательно, выпустив последнего повеселевшего неудачника.

Вспоминается мне и меньшая учительская братия — классные наставники и учитель рисования Константин Федорович Высоцкий. До сего времени не знаю, был ли Высоцкий профессионал, по всему он больше походил на талантливого дилетанта, но рисовальщик он, во всяком случае, был неплохой. Преподавал он по новой системе, признавая только натуру, изредка разрешая фантазировать на какие-либо заданные им темы. Он был исключительно требователен и придирчив к способным к рисованию ученикам, заставляя в течение нескольких уроков самостоятельно добиваться какой-либо детали в работе. Малоспособных учеников он никогда не мучил, брал в руки их рисунки, быстро вводил в них свои коррективы и ставил сбоку тройку. Талантливые ученики получали два балла — либо пятерку, либо, в случае нарочитой лени, двойку. Особенное удовольствие ученикам Высоцкий доставлял перед рождественскими и пасхальными праздниками. На последний перед каникулами урок он не вызывал учеников в студию, а сам являлся в класс без журнала, но с книжкой под мышкой. Предвкушая готовящиеся удовольствия, весь класс замирал. Константин Федорович не спеша раскрывал книгу, обводил взором учеников и говорил:

— Нынче последний урок перед праздниками — какое тут ученье, все равно у вас у всех голова другим занята... Давайте, я вам лучше почитаю.

Высоцкий был замечательный чтец-любитель, впоследствии среди профессионалов я редко встречал равного ему. Он никогда не любовался красотой фразы, не отыскивал скрытого смысла в словах автора, а пассивно проникался духом самого произведения, его настроением и передавал это просто, бесхитростно, но невероятно доходчиво. Будучи страстным охотником и любителем

русской природы, он выбирал и соответствующие произведения. До сих пор помню в его чтении некоторые рассказы из «Записок охотника» Тургенева, описание охоты из «Войны и мира» и «Анны Карениной», рассказ Куприна «Охота на глухаря». Как всякого дилетанта, упросить Высоцкого читать было невозможно — он сам должен был обязательно почувствовать для себя необходимость в этом чтении. Однажды он поддался просьбам, начал читать и бросил на второй же странице — действительно, ничего не выходило.

Классными надзирателями — этими училищными гувернерами и блюстителями порядка в рекреационных залах во время перемен, институте ныне упраздненном, были у нас смешливый, добродушный Дмитрий Иванович, своими очками в золотой оправе и окладистой черной бородой смахивавший на диакона-расстригу, и маленький, юркий, суетливый Иван Иванович, давно проевший свои зубы на этой низшей ступени педагогической иерархии. Фамилии я их не помню, да едва ли даже их знали. Знали имена, отчества, и хватит. Никто из учащихся их в грош не ставил, но к постоянному присутствию их настолько привыкали, что, когда кто-нибудь из них заболел и временно исчезал с нашего горизонта, чувствовалась какая-то неловкость, словно оставил по забывчивости где-то галоши или зонтик, с которыми не привык расставаться. Помню, как однажды старичок Иван Иванович пришел в училище в новеньком форменном сюртучке — прямо от портного. Похитить тяжеленный, кило в полтора, огромный висячий замок от шкафа с наглядными пособиями, просунуть его через петельку на фалде нового сюртука, запереть и держать замок на весу, пока ключ не будет спущен в канализацию, было делом нескольких минут. Бедный Иван Иванович метался по помещению с появившейся у него на задку металлической килой, не зная, что предпринять. Един-

ственным способом немедленного освобождения от груза было резать петлю, а вместе с тем было жалко портить обнову. Наконец был вызван слесарь со двора с Липгартовской фабрики, который и освободил старика от его ноши, не попортив костюма. Происшествие это получило широкую огласку, и многим пришлось в течение нескольких дней просиживать лишние часы в училище после конца занятий. Кара была бы еще суровее, если бы вид растерянного, мечущегося Ивана Ивановича с тяжеленным замком в петлице не был бы настолько комичным, что вызывал невольную улыбку даже у самых строгих педагогов.

Мои товарищи по учебе в своем большинстве были сыновьями представителей имущих классов. Это были дети дворян, фабрикантов, кушцов, поверенных крупных фирм, адвокатов, врачей, инженеров и педагогов. Впрочем, было несколько человек, происходивших и из бедных, нуждающихся семей. Жили мы дружно, и ни малейшего намека на классовый антагонизм и отчуждение в наших взаимоотношениях и помину не было. Вместе с тем не было и излишнего панибратства и амикошонства. На «ты» сходились не сразу, и со многими из моих бывших товарищей я до сих пор на «вы», хотя один из них и входил в небольшую группу, составлявшую наш интимный кружок. Таких групп в классе было несколько, и объединялись они общими интересами. Были среди нас и заядлые шахматисты, и техниколюбители, и театралы, и любители литературы и политики. Помню, какие жаркие ссоры возникали из-за того, чье искусство выше — Малого или Художественного театра. Я был во главе консерваторов, отстаивающих преимущество старейшего русского театра, а мой товарищ Вася Киселев доказывал приоритет «художественников». Помню жаркие политические дебаты, возникшие в связи с убийством Столыпина в Киеве. Иной раз, особенно весной и осенью, беседа велась

о русской природе, о деревне, об охоте, о рыбной ловле. В таких случаях моим лучшим собеседником был милый Саша Карзинкин, живой, мечтательный мальчик с прелестными карими глазами, густыми курчавыми волосами и смуглым цветом лица, делавшим его удивительно похожим на портрет молодого Пушкина.

Раз как-то уже после выпуска мы глубокой осенью поехали вместе на охоту в наше имение. Бродили по лесу, били зайцев, дурили, смеялись, потом война и революция разлучили нас. В 1922 году, будучи в Москве, я случайно узнал, что Саша при смерти и очень бы хотел повидаться со мной.

В яркий весенний день я поднялся в его квартиру на Поварской улице. Передо мной в постели лежал полутруп — он уже перенес более десяти операций, стараясь спастись от пожиравшего его рожистого грибка. В комнате стоял тяжелый воздух от пролежней больного. Саша слабо мне улыбнулся и с трудом протянул прозрачную, восковую, костлявую руку. Я старался всячески его развлечь, заинтересовать чем-нибудь, вызвать в его глазах прежний веселый огонек — все было тщетно. Он только печально качал головой и говорил:

— Это все не для меня. Для меня все кончено!

Через несколько дней после моего посещения страдания его прекратились навеки.

Где вы, мои юные, беспечные школьные товарищи? Грозные политические катаклизмы, потрясшие мир, оборвали все нити, связывавшие нас. Судьба лишь очень немногих известна мне.

Вежливый, аккуратный остзеец Сережа Брискорн, фантазер и выдумщик, пал смертью храбрых во время первой империалистической войны. Революция застала шумливого, веселого сердцееда Костю Уварова — сына нашего законоучителя — в Праге. Там он женился на дочери какого-то профессора, сам чуть ли не стал профессором, преуспевал, но вторая

война верно разрушила и его семейный очаг. Степенный, серьезный Саша Бабурин погиб во время второй Отечественной войны, пав жертвой неосторожного обращения с автоматом. Редко, редко встречаю я на улицах Москвы флегматичного бонвивана Васю Киселева, главного пропагандиста идей Художественного театра — ныне он похудел, постарел, облысел и где-то бухгалтерствует. Иногда на моем горизонте появляется Ваня Ившев, наш классный зубрила, — он совсем растерялся от событий, стал полусумасшедшим, ходит почти в рубищах, пьет. Куда разбросала жизнь остальных, мне неизвестно...

Поступление в реальное училище не заставило меня отказаться от моих занятий живописью. По совету моего учителя И. О. Дудина, дабы совместить школьные занятия с уроками рисования, я поступил в студию К. Ф. Юона и И. О. Дудина, помещавшуюся на Арбате. Это было тем более своевременно, что было уже необходимо работать над зарисовками, над пятиминутными набросками человеческих фигур. Здесь я познакомился с новым преподавателем Константином Федоровичем Юоном. Он сразу усмотрел мою тягу к портретной живописи и стал меня совершенствовать по этой специальности. Константин Федорович почти никогда не учил показом, зато он имел исключительный дар заставлять учеников видеть натуру, изучать ее и с полуслова понимать, чего добивается учитель.

— Хорошо, — говорил он своим тихим, вкрадчивым голосом, склоняясь над рисунком ученика, — и пропорции верны, и сходство есть, но нет самого главного — характерности. Посмотрите-ка повнимательнее на это лицо. Каждый человек имеет свои особенности. Вот этот, он весь составлен из цилиндров — и нос у него цилиндрический, и губы, и веки, и даже щеки, да и вся голова — цилиндр. А другой весь состоит из треугольников или квадратов. Подобные лица можно изобра-

жать одними геометрическими фигурами — это и делают кубисты, но тогда это не рисование, а черчение. Это отказ от искусства. Это примитив. В том-то и состоит задача — передать характерность и сохранить мягкость и благородство рисунка.

Занятия в студии Юона были для меня большим отдыхом и увлекали до самозабвения. К сожалению, война и порожденные ею тревоги не дали мне возможности продолжать мои занятия живописью.

Поступление в училище заставило меня прекратить свои занятия гимнастикой в «Турниферейне», а вместе с тем именно физическое воспитание было поставлено в школе из рук вон плохо. Существовал гимнастический зал, но им почему-то, кроме малышей, никто не пользовался. В последнем классе появилась модная тогда организация «бойскаутов», но популярностью она не пользовалась. Усиленно насаждаемая правительством, она справедливо рассматривалась как нечто политическое и реакционное. Не надо забывать, что на мою долю выпало учиться в годы мракобесия министерства Кассо, когда перед средней школой была поставлена задача не столько просвещать, сколько готовить из молодежи будущий благонадежный элемент. Нам были всем выданы особые билеты с правилами благопристойного поведения, многие параграфы которого заставляли сомневаться, не взяты ли они случайно из Полного собрания сочинений Салтыкова-Щедрина.

В них, между прочим, указывалось, что «посещение театра в учебное время не должно быть особенно часто, дабы ученики могли как можно более сосредоточить внимание на учении, как на первенствующем деле». Рекомендовалось «при встрече... с гг. министром народного просвещения... архиереем, а также... преподавателями... своего учебного заведения снимать фуражки и вежливо кланяться. Безусловно заперцавалось... ношение длинных волос, а равно всяких

украшений, а также тросточек и палок» и тому подобное.

Наше училище как получастное делало все возможное, чтобы обходить и не замечать циркуляры Министерства в отличие от казенных заведений, которым в этом отношении приходилось куда туже. Наши преподаватели почти открыто презирали Кассо и его клику, а мы презирали свои ученические билеты, пороя в жизни поступать как раз вопреки преподаваемым ими наставлениям.

Экзаменационный период, совпадавший с весной, с тем временем года, который я больше всего любил и люблю, с той порою, когда наша семья перебиралась на дачу, а там начиналась рыбная ловля, охота, являлся для меня чрезвычайно мучительным временем. Природа ежеминутно манила меня всякими соблазнами. Мои родители, вполне понимая мое состояние, так как сами очень любили это время года в деревне, разумно решили по возможности ослабить мои муки. Следуя принципу с глаз долой — из сердца вон, они на период экзаменов удаляли меня от природы. Я переезжал в Москву и ввиду летней необитаемости нашего дома поселялся у одного из своих дедов. Помнится мне, лишь одну весну я жил у деда Бахрушина, а потом я уже постоянно жил у деда Носова, под попечением своей молодой тетки — младшей сестры моей матери.

Оба моих деда, очень различные по характеру, привычкам и образу жизни, являлись типичными представителями старшего поколения русской торгово-промышленной верхушки, и на их фигурах нельзя не остановиться.



омню, как однажды какой-то знакомый, желая польстить моему деду Бахрушину, между прочим заметил:

— Вы ведь, Александр Алексеевич, четырех царей помните!

Дед подумал и поправил собеседника:

— Нет, пятерых!

Он был прав. Родившись в 1821 году, он трехлетним ребенком присутствовал при провозе тела Александра Павловича через Москву. Как-то я его спросил об этом, он честно ответил:

— Что помню? Ничего! Ничего не помню! Погода была плохая, снег шел, и народу было много, и колесница ехала, в которую много лошадей было впряжено, и люди по бокам шли в больших шляпах и черных мантиях с зажженными факелами, которые сильно чадили, а дело днем было. Вот и все. Впрочем, может, я это даже и не помню, а так, по рассказам старших в памяти осталось да по книжке. Книжки потом такие отпечатали о похоронах. Очень верно в них все было представлено. Где-то и у меня такая была, не помню только где.

Дед вообще терпеть не мог вспоминать прошедшее

и жить прошлым. Он был весь человеком настоящего и будущего. Имея девяносто с лишним лет от роду, он ездил на аэродром смотреть полеты Уточкина, разглядывал машину и долго беседовал с авиатором, расспрашивая его об особенностях устройства самолета. Затем, в течение продолжительного времени, он сетовал и вздыхал, что возраст не позволяет ему самому полетать.

У меня в памяти остались все те редкие случаи, когда дед говорил при мне что-либо о прошлом. Как-то отец спросил его, правда ли, что когда Мочалов играл в мелодраме «Графиня Клара д'Обервиль», то настолько овладевал публикой в последнем акте, что загниотизированный его игрой зрительный зал вставал с мест в финальной сцене, когда Мочалов, видя, как его лучший друг насыпает яд в стакан с его лекарством, силится приподняться с постели, чтобы лучше удостовериться в происходящем.

— Верно, — ответил дед, — вставали. И я вставал!

В другой раз я спросил его, видал ли он когда Пушкина.

— Нет, не видел, — сказал дед. — Гоголя видел. Раз в Лондоне на мосту через Темзу (?) ¹. Стоял он в пальто с капюшоном, смотрел в воду и о чем-то думал. Я даже остановился и долго на него глядел.

Вот, пожалуй, и все, что мне удалось слышать от деда о прошлом. Разве что он еще не раз, иронизируя над своим многолетием, с усмешкой замечал:

— Когда тятенька (дед по-старинному именовал родителей «тятенькой» и «маменькой», но наших родителей называл на французский манер «папá» и «мамá», делая ударения на последнюю гласную) в 1848 году от холеры умирал, все испугались и от него отступились. Один я не боялся, остался при нем, и он на моих руках

¹ Знак вопроса поставлен Ю. А. Бахрушиным.

и умер. И вот, поди ж ты, те, что болезни боялись, все уж давно перемерли, а я все живу.

Говорить о деде, не упоминая о прадеде Алексее Федоровиче, значит сделать непонятными многие особенности его характера и мировоззрения, сложившиеся под непосредственным влиянием прадеда и от него унаследованные его детьми. Старший брат моего отца, дядя Владимир Александрович, в свое время интересовался биографией прадеда и записал кое-что из слышанного о нем от старших. Привожу его записи по сохранившейся у меня рукописи.

«В 1821 году, — записал дядя, — Алексей Федорович с братьями переехали в Москву из Зарайска, где они занимались прасольством и покупкой сырых кож. (Переезд совершался на подводе, на которой был сложен незатейливый домашний скарб, а члены семьи шли рядом пешком, за исключением старшего брата деда, двухлетнего Петра, который помещался в корзине для перевозки кур, подвязанный наверху воза, о чем он в старости, будучи миллионщиком, очень любил вспоминать. — Ю. Б.) В Москве первое время жили в Таганке, на Зарайском подворье.

В Москве занимались тоже сырьем и торговали скотом, имели за Серпуховской заставой бойню. В 1825 году дед Алексей Федорович начал поставлять в казну сырой опоск¹ для ранцев, а также доставлял кожу сырую. В 1830 году, когда от поставки осталось много непринятого опойка, стали из него выделывать лайку, которую отдавали на выделку Мейнцингеру в Санкт-Петербург. Когда до деда дошли слухи, что Мейнцингер продает с завода его товар, дед открыл завод сам в доме, ныне принадлежащем Петрушкину, в переулке против церкви св. Животворной Троицы,

¹ Опоск — телячья кожа.

что в Кожевниках. Впоследствии завод переведен в то место, где он существует и теперь...

Дед Алексей Федорович, по рассказам лиц, близко его знавших, отличался большой любознательностью, любовью к просвещению и был предприимчивый человек. Сын небогатых родителей, образованный на медные деньги, с небольшими средствами, он стремился поставить, развить и дать прогрессивный наметк тому делу, которым начал заниматься почти случайно. В семейной жизни, как и в деловых занятиях, одежде, отличительной чертой его характера была любовь ко всему новому. Недостаток образования заменялся у него природным умом и наблюдательностью. Много видевший в жизни, он сумел извлечь полезное и дельное из разнообразных сведений, познаний и опытов жизни. Глубоко религиозный, истинно верующий человек, он тем не менее никогда не был заражен предрассудками того сословия, к которому он принадлежал, ни замкнутостью той среды, в которой вращался. Все новое, полезное встречало в нем горячего и любознательного последователя, и там, где приходилось переступать заветные границы рутины, его энергия и решимость проявлялись во всей силе. Веселый, добродушный, он строго и неуклонно следовал раз начертанным целям. Его отношение к семейству, сыновьям отличалось патриархальностью и глубоким умом. Энергия и любовь к просвещению видны в каждом его деле. Много лет спустя сказанные им когда-либо слова все еще живут в уме тех, кому они говорились, и до сих пор полны жизненной правды и безусловной жизненности.

Про деда рассказывают много интересного. Эпизоды и случаи его жизни характеризуют и его самого и всю историю нашего семейства и нашего дела. Я слышал, как дедушка покончил со своей бородой. Давно хотелось ему сбрить бороду, но подобный шаг в то время, когда происходил рассказываемый случай, был делом

не таким легким, как можно представить себе теперь. Дедушка никогда не тяготел к старым, ничего не значившим предрассудкам, но тут при всей своей энергии он долго не решался приступить к делу. В конце концов дедушка нашел исход из своего положения. Как-то в знакомом кругу, когда немного поразвязался язык даже у самых рьяных поборников старины, он побился об заклад, что сбреет бороду. Сказано — сделано. Ударили по рукам и положили по сто рублей залогом. «Послать за цирюльником!» — закричал дед, давно добывавшийся своего. Половой (дело было, конечно, в трактире) сбежал в цирюльню, и через несколько минут явился доморощенный парикмахер. Общество с любопытством и недоверием смотрело на всю эту историю. «Не сбреет!..» — говорили одни. «А вот увидишь, что сбреет, — не таков человек Алексей Федорович — от своего не отступит!» — «Брей бороду!» — сказал цирюльнику дед. Смотрит цирюльник — компания навеселе, пожалуй, еще ответишь за такую штуку, подумал и бритье отказался. «Да разве я не волен в своей бороде?» — сказал ему дед. «Конечно, вольны, ваше степенство, да я не могу вам ее сбрить, за это еще ответишь, пожалуй. Вы вот сами ее срежьте, если хотите!» — «Давай ножницы!» Цирюльник подал ножницы, и через минуту большая рыжеватая борода дедушки, с двух порезов, свалилась на пол перед изумленными собеседниками. Удивление было так велико, что у многих хмель прошел, а дедушка преспокойно обвязался салфеткой и предоставил себя в полнейшее распоряжение цирюльника, который теперь уже беспрекословно исполнял свою обязанность. Дед был вполне доволен: и заклад выиграл, и от бороды отделался, да и рот зажал самым рьяным бородачам: теперь смеяться не посмеют — сами подбили. Общество потолковало, посудило да и поразошлось. Дедушка явился домой — здесь его ожидала своего рода встреча.

Бабушка при первом взгляде на него вскрикнула и залилась слезами. Когда первый порыв отчаяния прошел, слезы заменились укоризнами и осуждениями. Дедушка выслушал все невозмутимо и весело, тем дело и кончилось.

Это был первый, так сказать, цивилизованный шаг в кругу семьи, с этих пор он уже неуклонно следует во всем своему влечению к новшеству. Длинный сюртук заменяется коротким, немецким, и от сыновей он требует того же, и тут происходят своего рода и смешные и знаменательные сцены. Преобразование дается не легко, идет не всегда быстро. То детям неловко в немецком костюме, то бабушка представляет свои резоны и протесты, но дедушка нисколько этим не смущается и все-таки добивается своего. (Дед рассказывал, что, когда происходила примерка нового платья, прабабка всегда требовала, чтобы портной отпустил полы подлиннее. Когда все было улажено и шли к прадеду показаться, он спокойно брал ножницы со стола и отрезал полы вершка на три, на четыре. — Ю. Б.)

Он поощряет в семье любовь к науке, к нововведениям, следит с живейшим интересом за тем, что занимает сыновей, и бесконечно доволен, узнав, что сын выучивается французскому языку. В деле он еще энергичнее и горячее стремится к усовершенствованиям, он не оставляет нетронутым ничего — все с начала до конца подвергается его неутомимому анализу. Он вводит совершенно новые основания в дело, не останавливается при сравнительно ограниченных средствах ни перед затратами, ни перед риском и не удовлетворяется той ограниченной рамкой, в которой стояло кожевенное дело в 30-х и 40-х годах прошлого столетия. Первый из русских кожевенных заводчиков, он начинает выделывать овчины с испанских (шленских) овец. Он вводит вместо прежнего способа обработки шерсти известью (при котором шерсть портилась) новый способ и ставит

промывальные машины. Шерсть, обработанная и вымытая на его заводе, уже является ценным продуктом и идет на суконные фабрики. Наконец, он входит в сношения с состоящим при Мануфактурном совете химиком К. А. Кибером и согласно предложениям, указанным этим последним, решается приступить к фундаментальной переделке всего завода. В 1844 году, через одиннадцать лет по открытии завода, дед Алексей Федорович совершенно возобновляет и переделывает свое заведение. Он выписывает из-за границы паровую двенадцатисильную машину, заказывает новые снаряды и приспособления, ставит машины, проводит воду из Москва-реки, кладет еще и до сих пор существующую каменную трубу для паровиков и заменяет в производстве ручную тяжелую работу машинной; и это тогда, когда во всей России только несколько фабрик чуть-чуть не наперечет приводились в движение паровыми машинами, не говоря уже о том, что в кожевенном деле подобное нововведение было решительно невероятным явлением. Чего-чего тогда не предсказывали деду, но, слава Богу, его благие начинания и увенчались благими результатами. С его легкой руки много пошло на Руси паровых и других машин и много поднялось труб, да и делать-то стали эти машины у себя дома и не все берут из-за границы.

22 декабря 1845 года был открыт переделанный завод. Торжество началось молебствием. После молебствия приглашенные к торжеству осматривали завод, фабричные приспособления и машины. По поводу этого торжества тогда издавна была отдельная брошюра с подробным описанием открытия завода и перечислением усовершенствований, введенных в дело, а также подробными чертежами зданий и расположения машин и снарядов. Брошюра была озаглавлена: «Описание улучшенного способа выделки кож на заводе Бахрушина в Москве».

В последующее за тем время своей деятельности дедушка никогда не изменял своей любви к нововведениям. Он неустанно стремился вперед и всегда оказывался первым во всех случаях, где дело касалось его специальности.

Пропедавший суровую школу жизни, близко знакомый с нуждой, дедушка в сношениях своих с людьми и в суждениях о них всегда отличался крайнею снисходительностью. «Вы знали нужду со мною вместе, — говорил он своим сыновьям, — умеете же уважать ее и у других; никогда не говорите о человеке чего-нибудь, что может повредить его доброму имени или деловым отношениям и благосостоянию его. Если что и услышите, знайте про себя». Он имел основание говорить таким образом, наученный собственным опытом»¹.

Характеристика прадеда, данная дядей Владимиром Александровичем со слов старших, нуждается в некоторых существенных дополнениях и уточнениях.

Передо мной два портрета прадеда. При взгляде на них никогда не скажешь, что изображенное лицо — купец. Чисто выбритый, остроглазый, востроносый мужчина с характерным ртом и развитыми скулами: на одном портрете изображен в штатском платье с высоким стоячим крахмальным воротничком и черным галстуком, а на другом затянутом в гражданский мундир с богатым золотым шитьем на вороте и рукавах. На обоих портретах выпирает татарское происхождение прадеда. Бахрушины — касимовские татары, в Зарайск они переселились лишь в конце XVI века, и с этого времени они и ведут свою генеалогию. Триста пятьдесят лет для дворянского рода срок небольшой, но для купеческого значительный. Крепостными Бахрушины никогда не были, и однофамильцев у них нет. Не

¹ Здесь заканчиваются воспоминания Владимира Александровича Бахрушина.

будучи никогда подневольными, они, естественно, пронесли через века остатки какой-то культуры, которая впоследствии особенно ярко и вылилась в своеобразной фигуре прадеда.

Исходя из характеристики, данной прадеду дядей Владимиром, можно было бы принять его за практического дельца американского типа. Это было бы грубейшей ошибкой. Прадед, во-первых, был романтиком и фантазером, во-вторых, пламенным патриотом — недаром он был современником знаменательного 1812 года. Во всех своих коммерческих предприятиях его главной целью было не личное обогащение, а польза России, об этом он постоянно твердил в своих письменных высказываниях и доказывал поступками.

История появления брошюры, о которой упоминает дядя, значительно сложнее, чем он описал это. Открытие завода, как достижение Мануфактурного совета, было освещено пространной статьей на страницах «Северной пчелы». Стараниями прадеда эта статья была немедленно отпечатана отдельными брошюрами, снабжена чертежами и рисунками и раздавалась бесплатно всякому, посещавшему завод. Не засекречивать, а возможно более широко популяризировать свой новый способ работы — было основной задачей прадеда. На этот счет в конце брошюры было сделано следующее предупреждение: «Несмотря на то, что устройство завода обошлось г. Бахрушину около 100 000 руб., он нисколько не скрывает подробностей производства, допускает всех к осмотру завода и снятию чертежей с машин и снарядов и согласился даже брать учеников на следующих умеренных условиях:

- 1) В ученики принимаются крепостные и другого звания люди не моложе 18 лет и остаются на заводе пять лет.

- 2) Поступив на завод, они должны быть снабжены законными видами, иметь приличную одежду и

внести хозяину одновременно пятьдесят рублей серебром.

3) Во все время пребывания их на заводе; они снабжаются от хозяина одеждою, обувью и здоровою пищею, также пользуются банею.

4) Хозяин принимает на себя наблюдение за успехами в обучении и за доброю нравственностью учеников, которые обязаны прилагать всевозможное старание и безусловно ему повиноваться.

5) Ученики, которые по лености или неспособности, и особенно по дурной нравственности, не подают надежды к успешному обучению, исключаются».

Что понимал прадед под словами «добрая нравственность», сказать трудно, но надо полагать, что в отношении рабочих он был крутенок и выжимал из них все, что было возможно. По свидетельству деда, он припомнил это на смертном одре. Описывая смерть прадеда, дед писал: «Спать я остался с тятенькой, и они просили беспрестанно пить, чувствуя сильную жажду, и говорили: «Вот теперь я поверю рабочим, когда они бывают нездоровы, мне кажется, что если бы здесь был ушат холодной воды, то я бы его выпил».

Суровая деловитость не мешала прадеду быть одновременно и поэтом и философом.

В свободные часы он выписывал на память понравившиеся ему мысли, сочинял афоризмы, писал стихи. Его муза не обладала большим талантом, зато не была лишена юмора. Существовала поэма прадеда, посвященная открытию завода, — к сожалению, она погибла. Поэт-заводчик излагал в ней все события и заключал мыслью, что Бахрушин для того выстроил на своей фабрике столь высокую каменную трубу, чтобы легче в нее вылететь. В другом сохранившемся его стихотворении, обращенном к злодею дельцу, взамен поэтических достоинств имеются любопытные чисто классовые

высказывания. Так, всячески укоряя подобного дельца, он в заключение возводит на него самое тяжелое обвинение и грозно возглашает: «Ты — коммерции вредитель!» В другом месте он даже в поэтическом языке не может освободиться от чисто профессиональных оборотов речи и пишет, говоря о том же типе злодея дельца:

Лишь завидит беззащитную сиротину,
Без вины аренду накачает
И дерет с нее последнюю кожурину!

За несколько дней до своей смерти прадед написал письмо своему старинному другу, которое так и осталось неотправленным. Словно предчувствуя свою кончину, он в этом послании суммировал всю свою деятельность.

«Протекло уже около 30 лет, — писал прадед, — как я прекратил дела в Украине и переехал в Москву и, утративши Ваш адрес, не мог дознаться о Вашем местопребывании. Извините меня, что я долго не отвечал на письмо ваше... Я служу в Московском сиротском суде — служба в обществе почетная и в 8-м классе, но весьма тяжкая. В ведении суда до 3700 опеки и поступают ежедневно входящих и исходящих до 800 бумаг, кроме журналов, а нас только 4 члена... Благодарение Богу, я в течение 38 лет с женою имеем 3 сына, 2 дочери и 4-х внучат, дом и единственный в России сафьянокожевенный с паровой машиною завод. Уж есть на что поглядеть и порадоваться друзьям и любителям пользы России, умным людям, которые приезжают посмотреть, русские и иностранные купцы, почетные граждане, чиновники и вельможные дворяне. И ваш почтенный генерал г-н Хомутов с бароном Мейндорфом посмотрел, похвалил и хозяина за хлеб-соль заочно поблагодарил, ибо, к сожалению моему, я не был предварен и находился в езде. За две выставки награжден я императором двумя серебряными медалями и за устройство завода

золотую на аннинской ленте для ношения на шее. Пишу Вам как другу все откровенно».

В приведенном письме особенно отчетливо вырисовываются все характерные черты прадеда. Его настойчивое желание, чтобы его, мануфактуриста, не смешивали с серой массой купечества, для чего он и нагрузил себя государственной службой в Сиротском суде, и все заботы о пользе России, и юмор в рифмованной фразе о Хомутове, который «посмотрел, похвалил и заочно поблагодарил», и, наконец, боязнь показаться честолюбцем, для чего после перечисления наград приписана фраза, объясняющая подобную откровенность.

Через несколько дней по написании этого письма старший из его сыновей Петр Алексеевич записал в своем дневнике: «1848 г. 15 июня умер родитель Алексей Федорович. Был болен холерою 4 дня и потом тифом».

После печальных погребальных церемоний семья покойного в составе его вдовы Наталии Ивановны и трех сыновей — моих дедов — собралась вместе, чтобы обследовать оставленное им наследство. Результаты осмотра письменного стола и кассовых книг прадеда оказались более чем плачевными. С полной очевидностью выяснилось, что за последние годы литературная деятельность прадеда сводилась главным образом к написанию векселей. Касса была совершенно пуста. Гордость прадеда, его любимое детище, кожевенный завод с паровой машиной, и собственный дом в Кожевниках, и те оказались больше миражем, чем реальностью, так как были основательно заложены. Тщательные подсчеты выяснили, что долги деда, сделанные им ради удовлетворения своих промышленных фантазий, во много раз превышают стоимость всего движимого и недвижимого имущества семьи. Положение создавалось критическое.

Опытные в коммерческих делах умные люди в один голос советовали отказаться от наследства и начать строить жизнь заново. Кредиторы волновались и осаждали наследников. Надо было срочно предпринимать решительные меры. В такое мрачное для семьи время собрался семейный совет в составе прабабки и трех ее сыновей. Обсудив создавшееся положение, семейный совет вынес свое окончательное решение, от которого участники совещания не отступали ни на шаг до самых своих гробовых досок. Решение это сводилось к трем пунктам. Во-первых, от наследства не отказываться, так как это значило бы опорочить память родителя. Принять на себя все долги покойного и выплатить их полностью, войдя в добровольное соглашение с кредиторами о сроках отсрочек. Во-вторых, ни одного решения, касающегося дела, не принимать порознь, а обязательно всем вместе. И в-третьих, раз и навсегда отказаться от каких-либо сделок в кредит или тем паче от долговых обязательств, производя все свои расчеты наличными деньгами. Впоследствии старики ввели этот пункт в устав своего торгового дела, и он был поводом превратного суждения о несметности бахрушинского состояния, так как ни одна крупная фирма в России никогда не производила впоследствии более или менее больших платежей наличными, справедливо считая это невыгодным.

На таких началах стала вновь строиться жизнь на старом фундаменте. Молодое поколение как бы сделало девизом своей деловой деятельности древнюю заповедь, некогда вложенную иудеями в уста их грозного Иеговы: «Чти отца твоего и мать твою, да благо ти будет и да долголетен будеши на земли». Старший сын умер семидесяти пяти лет, второй восьмидесяти четырех лет, а третий, мой дед, дожил до девяноста трех лет. Жизнь началась суровая, полная лишений с отказом почти от самого необходимого, но фортуна уже повернула свое

улыбающееся лицо к семье, и под ее благосклонными взглядами она быстро начала поправляться.

Бразды правления в семье приняла вдова покойного, моя прабабка Наталия Ивановна. Передо мной ее портрет. В темном повойнике, с богатой турецкой шалью на плечах, она пристально глядит из своей тяжелой рамы. Тонкие губы решительно и крепко сжаты. Видимо, это была женщина кипучей энергии, решительная и волевая, но жестокости и бессердечия в чертах ее лица не видно. Таковой она, по-видимому, и была, судя по немногим оставшимся о ней воспоминаниям.

Происходила она из древней зарайской семьи Потоловских, которая также никогда к тягловому сословию не принадлежала. Брак был, видимо, равный. Писала прабабка мало, но ее автографы свидетельствуют, что она была женщиной грамотной — в то время среди купчих это было явлением редким. Ее руководство делом нигде официально не запечатлено, очевидно, она предпочитала оставаться в тени и двигать механизм в качестве скрытой пружины. Все же, видимо, эта скрытая пружина была настолько для всех само собой подразумеваемой, что когда в 1851 году семье было присвоено звание потомственных почетных граждан, то департамент герольдии выписал грамоту на имя Наталии Ивановны. Думаю, что и при жизни прадеда она, вероятно, играла при нем роль отрезвляющего элемента, удерживающего от увлечения чересчур рискованными фантазиями. Не в связи ли с этим прадед однажды набросал на клочке бумаги рифмованный афоризм: «От кушанья дважды варенного, от врага примиренного, от врача неученого, от злыя жены избави нас, Господи!» Впрочем, быть может, я и клеветцу на покойницу — по отзывам современников, она была доброй женщиной.

Ее старший сын, дед Петр Алексеевич, унаследовал

наружность и характер отца, но значительно отрезвленный здравым смыслом матери. Он так же, как и отец, тяготел к литературе. Писал дневники, вел журналы своих вояжей. Дневники были любопытные по своему стилю — автор перемешивал в них все, что он считал нужным запечатлеть на память потомству, совершенно не считаясь с какой-либо элементарной систематизацией записываемого. Так, в 1852 году он писал в строчку: «20 марта портреты сняты с Петра Алексеевича и Екатерины Ивановны Бахрушиных. С 22 апреля ездили на колесах, погода стояла ведренная, теплая, а с 1 мая пошел сильный снег и стоял мороз до 10 градусов, ездили на санях».

Эти два портрета висят у меня на стене. В них нет ничего общего с портретами прадеда и прабабки. На одном приветливо улыбается франтовато одетый европеец, с другого немного удивленно смотрит на мир миловидная молодая женщина с модной прической, с талией в «рюмочку», в голубом муаровом платье, отделанном тяжелым гранатовым бархатом. Взирая на эту субличную женщину, никак нельзя вообразить, что в момент написания портрета она уже была матерью восьмерых детей, к которым впоследствии прибавилось еще десятков, причем она ухитрилась иногда их производить на свет два раза в год — в феврале и декабре.

Петр Алексеевич, так же как и его отец, был права веселого и умел проводить резкую черту между делом и досугом. Впрочем, и работать он любил весело — крепкая, немного грубоватая шутка всегда была готова сорваться с его уст. Отец вспоминал, что когда происходило заседание на фабрике по какому-либо важному вопросу и по традиции присутствовали все члены семьи — мужчины, стоило кому-либо из молодежи робко произнести: «Позвольте мне сказать», как сейчас же следовала реплика председательствующего главы рода,

Петра Алексеевича: «Говори, говори, — иной раз и от дурака умное слово услышишь!»

Петр Алексеевич, по словам отца, производил впечатление человека всецело замкнутого в свою личную жизнь и в дела фабрики. Казалось, до всего остального и всех остальных ему дела нет — он ими не интересуется, пусть живут как хотят, лишь бы весело. Этот взгляд был обманчивым, в чем отец однажды и убедился лично.

— Как-то раз, — рассказывал он мне, — я попал в очень грязную историю. Выпутаться из нее было трудно без помощи старших. Я, конечно, мог пойти к папаше или мамаше, но стыдно было. А тут, как на грех, какой-то праздник у Петра Алексеевича. Дело было летом. А мне не до праздника, думаю, подите вы все к черту с вашим весельем. Улучил я свободную минуту, удрал в сад, сел на лавочку один и думаю свою невеселую думу. Вдруг кто-то меня за плечо трогает. Смотрю — дядя Петр Алексеевич. Сел он рядом со мной и говорит: «Ну, рассказывай, в чем дело». Обозлился я на него, стал отвечать ему нехотя, даже грубо — думаю, чего он лезет. А он мне так спокойно: «Да ты не горячись, толком говори!» Стал мне какие-то вопросы задавать, и я и не заметил, как горячка с меня сошла и я ему все свое несчастье и выложил. Он помолчал и говорит: «Ну вот что, доверь это дело мне — ни папаше, ни мамаше не говори ни слова, они только расстроятся, вроде тебя, дурака. А я это дело улажу, а сейчас иди-ка ко всем да выкинь из головы мысли-то мрачные: сегодня праздник — повеселиться не грех!» Только он мне это и сказал, ни одного слова упрека, ни правоучений, ничего... Через несколько дней он встретил меня на фабрике: «Эй! Поди-ка сюда! Ну, на чаек с вашей милости, дело я твое обделал. Все в порядке!» Я начал его благодарить, а он мне: «Что ты? Что ты? За что? Все молодые были, но больше не будем. А ты слу-

чай-то этот не забывай — из таких случаев опыт получается. Да смотри, никому о нем не говори — меня не выдавай!» Больше он мне ничего не сказал и никогда об этом моем деле не напоминал впоследствии. А дело было пакостное!

Но вполне в своей сфере Петр Алексеевич чувствовал себя лишь на фабрике среди рабочих. Он понимал и знал рабочих, а они понимали и знали его. Не раз приходилось мне расспрашивать стариков рабочих о деде Петре Алексеевиче. Один из них, дед Гаврила, рассказывал мне:

— Петр Алексеевич, царство ему небесное, невысокий, плотный был старик. Каждый день, бывало, два раза фабрику обходит — утречком и после пяти вечера. Очень любил отделение, где большие кожи выделывали. Веселый был и доброй души. Увидит рабочего с сигаркой, а тогда насчет куренья на фабрике строго было, уж больно много везде корья разбросано было — не ровен час, упаси Господи, загорится, подойдет сзади тихонько, хлопнет по плечу и скажет шепотком: «Брось курить-то, а то невзначай молодой хозяин увидит и оштрафует». Да подмигнет этак глазом. А молодые-то хозяева Алексей Петрович и Алексей Александрович насчет куренья уж больно строги были. А то кто из рабочих, из молодых особенно, бывало ежели в куренье попадется да в штрафной книге его проищут, то сейчас к Петру Алексеевичу — так, мол, и так. Он сейчас вызовет приказчика и скажет: «Послушай, голубчик, сделай мне личное одолжение, зачеркни штраф-то его, а я уж тоже постараюсь тебе чем-нибудь отслужить». А то вот тоже с калошами (калошами рабочие называли неуклюжие огромные обувки с кожаным верхом и задником на деревянной подошве. Носили их в особенности в дубильном отделении, так как носильная обувь, намокая в дубильном экстракте, разлитом на полу, быстро портилась. — Ю. Б.): раньше-то

на них хозяйской кожи не отпускалось, как теперь. Рабочие и хватали кожицу, где плохо лежала. Такие себе новые калоши смастерит — любо-дорого смотреть, новенькие, как из магазина. А Петр Алексеевич подойдет, поглядит, головой покачает да скажет: «Ты бы хоть грязью замазал, а то неловко получается. Знаешь, с хозяевами, как увидят, не разберешь потом — одними разговорами замучают...» Любили рабочие Петра Алексеевича, потому — он очень хорошо рабочую жизнь понимал...

Дед Василий Алексеевич был, по-видимому, человек совсем другого склада. Я помню его уже стариком, и он оживает передо мной при взгляде на серовский портрет, написанный незадолго до смерти деда. Когда я расспрашивал отца об нем, он ничего особенного сообщить мне не мог.

Он был как-то болезненный, -- рассказывал отец, — страшно нервный. Не выносил игры на рояли. Сидит, бывало, и набарабанивает пальцами по столу...

Большого отец сообщить мне не мог. Василий Алексеевич смолоду начал проводить свою жизнь в путешествиях. В записях Петра Алексеевича то и дело значится, что «брат Василий Алексеевич» то «ездил к Макарию, оттуда в Бугульму на ярмарку покупать козлину», то в Харьков, то в Нижний. Затем он путешествовал в чужие края также по делам фабрики. Видимо, Василий Алексеевич много повидал на своем веку, многое понаблюдал, много передумал, — все это выработало в нем особые навыки, критический подход к людям, усугубило природную замкнутость, породило недоверчивую осторожность и вместе с тем и отшлифовало, придав некоторую утонченность. Когда состоялась помолвка моего отца с матерью, то первый визит, который они сделали, был к деду Василию Алексеевичу. Старик принял их радушно, сердечно поздравил и пожелал счастья. Затем он вышел на минуту в другую

комнату и, возвратясь, спросил, куда они едут после него. Получив ответ, он сказал:

— Вот что — я не мастер подарки-то выбирать, да и не знаю, что вам там хочется для обзаведения. На-те-ка вам пятисотенную и сейчас же от меня поезжайте в лавку и купите что вам хочется на все деньги без остатка. Только — прямо от меня — никуда не заезжая!

Мои родители исполнили волю старика, поехали к антиквару и, не торгуясь, купили за пятьсот рублей прелестные часы светлой бронзы начала прошлого столетия. Мать до конца своих дней чрезвычайно любила этот подарок и никак не хотела его ликвидировать, хотя он и занимал много места со своим стеклянным колпаком.

Родного моего деда Александра Алексеевича я уже помню почтенным старцем. Мне казалось, что он всегда был таким. Вместе с тем хорошо сохранившийся дагерротип и миниатюрный масляный портрет, снятые с него и с моей бабки в год их помолвки в 1851 году, рисуют его совсем иным. Несмотря на франтоватый черный сюртук, на высоченный крахмальный ворот с высоким галстухом и на модную золотую цепь, он выглядел молодым купчиком, положительным персонажем комедии Островского. Его нареченная, моя бабка, вполне ему в пару. Гладко причесанная, с пухленькими губками и большими круглыми карими глазами, в своем зеленом кринолине, она достойна была быть подружкой Любви Гордеевны Торцовой. Дед не сразу дошел до фотографии, снятой с него лет через двадцать где-то в чужих краях. На этом портрете он в светлом сюртуке аглицкого сукна и покроя в отложном крахмальном воротнике с небрежно повязанным галстухом, с английскими бакенами, запущенными под скулами. Здесь он уже выглядит не замоскворецким толстосумом, а каким-то просвещенным мореплавателем. Между двумя

этими фотографиями лежит около четверти века. За этот срок был преодолен период нужды, пройден этап восстановления и началась эпоха накопления.

Причиной поворота фортуны лицом к трем братьям были именно те три пункта, которых они решили неизменно придерживаться на своем «историческом» семейном совете после смерти их отца. Отказ отречься от отцовского наследия был первой и основной причиной их благосостояния. Оборудованный по последнему слову тогдашней техники кожевенный завод, естественно, требовал некоторого определенного срока для его освоения. Надо было только выждать. Как только этот срок прошел, он начал приносить доходы, увеличивавшиеся ежегодно в геометрической прогрессии. Самородный промышленный гений Алексея Федоровича повел его по верному пути, но роковая случайность, неумолимая холера-морбус не дала насладиться результатами своей работы. Отказ от выдачи долговых обязательств и немедленный расчет наличными сплошь и рядом заставлял кушцов на ярмарках отдавать свой товар Бахрушиным с большой уступкой ради незамедлительного получения расчета звонкой монетой. Наконец, обязательное решение всех дел втроем сделали слово братьев особенно крепким и неизменным, что было крайне ценным при всяких торговых операциях и привлекало к ним дельцов.

Начавшееся благосостояние совпало с началом широкой просветительно-благотворительной деятельности братьев.

Все три брата до конца своих дней были бережливы. Они смолоду усвоили истину, что копейка рубль бережет и что деньги счет любят. Рост их капиталов мало отразился на образе их жизни. Они столь же тщательно записывали в записные книжки свои мельчайшие расходы до «подано нищему Христа ради 2 коп.» включительно, столь же упорно торговались с извозчиком из-за

пятака и закупали продукты для домашнего хозяйства оптом, но жили они в свое удовольствие, ни в чем себе не отказывая, любя и повеселиться, и поприодеться, и покушать вволю. Пускание пыли в глаза своими капиталами, мотовство, кутежи они презирали и строго карали за это своих сыновей, во всем остальном благосклонно поддерживали увлечения молодежи, постоянно памятуя, что всякому овощу свое время. Будучи людьми религиозными, братья никогда не были ханжами и церковниками. По тому времени это было немного необычным явлением в их среде. Среди немалых средств, пожертвованных Бахрушинными на всевозможные учреждения, наименьшая доля относится к церковной благотворительности. Видимо, братья считали подобное «замаливание своих грехов» и ненужным и малополезным. Их благотворительная деятельность всецело возникает из их личных биографий, из воспоминаний об их собственных нуждах, которые они терпели в тяжелые минуты жизни. Не удовлетворенная из-за отсутствия средств тяга молодежи к просвещению, бездомность, зависимость от посторонних, болезни, безотрадная старость, провинциальная отсталость — все это, испытанное ими на самих себе и на своих близких, на всю жизнь запечатлелось в их сознании. Помочь как можно большему количеству людей, избежать всего этого, сделалось целью их жизни. Ради этого они продолжали неустанно работать и увеличивать свои капиталы, так как их собственные потребности уже давно были удовлетворены приобретенным. Одни за другими в Москве начинают возникать на их деньги ремесленные училища, приюты для сирот, дома бесплатных квартир для вдов, больницы для хроников, лечебницы. Они всю свою жизнь не забывали и свой родной город Зарайск, древний, но запущенный уголок Рязанского княжества. Там, как и в Москве, возникают всевозможные просветительные учреждения, играющие особо

важную роль в провинциальной жизни. Следуя своему неизменному правилу, братья присваивают основанным им учреждениям свои три имени. Была и еще одна особенность в их строительстве. Наблюдая, как иногда хорошее начинание приходит со временем в полный упадок из-за нежелания или невозможности поддерживать его, они по открытии каждого из основанных ими учреждений обеспечивают его навсегда соответствующим капиталом и сами до конца дней продолжают принимать деятельное участие в его жизни.

Порой братья, лелея какую-либо мечту, не встречающую единодушного одобрения тройки, осуществляют ее единолично, на свои собственные средства. Это главным образом касается поддержки каких-либо индивидуальных начинаний либо участия своей долей в общественном строительстве. При этом они делали это в такой тайне от близких, что лишь после их смерти было частично обнаружено, в каких начинаниях они принимали участие. Зачастую кому-либо из нас приходилось забрести в какое-либо учреждение и вдруг обнаружить на почетной мраморной доске имя одного из дедов в числе основателей.

Увлечшись идеей создания частного драматического театра в Москве, дед Александр Алексеевич строит для Ф. А. Корша здание театра в Богословском переулке. На склоне своих лет он участвует в строительстве гражданского воздушного флота, поддерживает всяких медицинских экспериментаторов.

Не забывают деды и своих служащих и рабочих, но степень их благотворительности в этой области была опять-таки обставлена такой тайной, что долгое время снусть, лишь случайно иногда удавалось узнавать кое-что.

Так, после смерти моих родителей я искал человека на Ваганьковском кладбище, который взялся бы убирать их могилу. Мне указали на женщину — жену

одного из сторожей. Я направился в ее маленькую, уютную, чистенькую квартирку. Как только я упомянул фамилию своих родителей, женщина всплеснула руками:

— Да я бесплатно буду убирать могилу ваших родителей. Ведь я всем обязана вашему дедушке. Мой отец-то у него на заводе служил, да умер. За ним следом умерла и мать. Осталась я одна-одинешенька пяти лет от роду. Ваш дедушка и кормил меня со старухой бабушкой, и одевал, и образование мне дал, и на службу потом определил, и не знала я всей нужды сиротства...

Должен сказать, что мне зачастую приходилось дожидаться за уборку могилы по несколько месяцев, но это ничуть не смущало женщину, которая соблюдала свое слово и продолжала упорно следить за чистотой и порядком места упокоения моих стариков. Во время первой мировой войны, когда дивиденды пайщиков завода непомерно возросли, правление постановило уделить значительную сумму доходов рабочим, выдав им премиальные. Размеры выдачи зависели от стажа, и некоторые старики получили довольно крупные суммы денег. Было это сделано безо всякой инициативы деда, который тогда, из-за преклонности лет, в значительной степени отошел от дел. Все же рабочие на фабриках упорно твердили, что это мероприятие было осуществлено, потому что «старик приказал!».

Эта добрая слава, которая была заложена братьями и осеняла их детей в значительной степени, сказалась на судьбе Бахрушиных после Октябрьской революции. Будучи одними из крупнейших русских дореволюционных капиталистов, мы сравнительно не подвергались никаким репрессиям, так как всюду встречались люди, в особенности среди рабочих, готовые замолвить доброе слово за носителей нашей фамилии.

На фабрике во времена дедов царили нравы патриархальные, отголоски которых застал еще я. Они

имели, конечно, свои положительные и отрицательные стороны. Хозяева смотрели на фабрику со всем ее живым и мертвым инвентарем как на свою неотъемлемую собственность, главная задача которой — обслуживать их нужды. Поэтому почти весь состав прислуги хозяев комплектовался из числа фабричных рабочих, таким же путем назначались старосты и управляющие в постепенно приобретенные имения и усадьбы. При весенних переездах из города в деревню было принято безотказно пользоваться гужевым транспортом фабрики. Когда по дому случались какие-либо неполадки, то немедленно посылались на фабрику за Сережей-кровельщиком, за Ваней-монтером или Сеней-штукатуром, которые мигом устраняли дефекты в домохозяйстве. Делали они это, конечно, в урочное время, и расчеты с ними производились какими-то сложными перечислениями. Мой отец, приняв на себя директорство над фабрикой, начал было решительно бороться с этим порядком, но встретил такой дружный отпор и со стороны эксплуататоров, и со стороны эксплуатируемых, что принужден был отказаться от всякой борьбы, капитулировать и следовать в этом отношении примеру остальных. Впрочем, он всегда недовольно ворчал даже в тех случаях, когда в нашем доме появлялся рабочий, вызванный с фабрики по его же распоряжению. Все это вместе с тем создавало и атмосферу какой-то семейственной близости между хозяевами и рабочими. Люди ближе узнавали друг друга. Рабочие работали на фабрике поколениями. Когда старики дряхлели, их определяли к кому-либо из хозяев на тихую должность, на покой. В детстве помню у нас старшего дворника, дядю Михея. Его главной и единственной обязанностью было по праздничным дням надевать чистый фартук с медной бляхой и стоять у ворот, под охраной Мухтара и Мушки, его вечных спутников. Да, в общем, он ни к чему другому и пригоден не был, так как фактически

уже мышей не давил, но пользовался неизменным почетом и уважением с присовокуплением крупного, по сравнению с остальными, жалованья, просто за то, что он служил на фабрике «еще при дедушке Алексее Федоровиче».

Впоследствии у нас появился и другой такой же ветеран в лице дяди, а потом и деда Гаврилы. Он, как старик, спал ночью мало, и ему была вручена охрана сна хозяйской летней резиденции. Он всю ночь ходил вокруг нее с двумя псами ньюфаундлендами и мирно постукивал в деревянную колотушку, возвещая хозяевам о своей бдительности и указывая ворам свое точное местопребывание.

Отец застал еще стародавнюю патриархальную жизнь в полном разгаре, хотя он и родился, когда моему деду было уже за сорок, и помнит он своего отца тогда, когда ему уже было за пятьдесят.

За три года до рождения отца дед предпринял длительную поездку за границу, чтобы детально ознакомиться с новейшими достижениями западноевропейской промышленности. Не знаю, была ли это его первая поездка в чужие края, но в этот раз он пробыл за рубежом более двух месяцев, детально осматривая кожевенные производства Англии, Франции и Германии и делая ежедневные подробные записи в свою карманную книжечку обо всем виденном. Его интересовало все, касающееся кожевенного дела. Наряду с описанием новых машин и усовершенствованных способов выделки кож он записывал свои мысли, возникшие по тому или иному случаю. Говоря о какой-то машине для распиливания кожи, он замечал: «Распилила ровно, хорошо, но нам не годится — из известки пилить выгоднее»; другую машину он хвалил недоверчиво: «Хороша, но только потому, надо полагать, что удобна»; зато какой-то способ обработки товара вызывал его полное одобрение: «Просто и мало работы». Следуя

своему неизменному принципу, которому он всегда учил детей и внуков, верить, но не вверяться, он стремился все увидеть самолично, там же, где ему приходилось довольствоваться словесным объяснением, он неизменно оговаривался «сказывают, будто». Многие записи сделаны были по-французски, свободным почерком, иные по-английски, но уже менее свободно, с явным стремлением избежать ошибки в правописании, немецких записей вовсе нет, даже адреса фирм записаны чьей-то посторонней рукой. Видимо, дед говорил и писал только по-французски.

Из своей поездки он возвратился с большими впечатлениями и разнообразными планами. Основная мысль во всех планах сводилась к тому, чтобы ничего не покупать и все продавать, то есть все необходимое для производства выделывать у себя на заводе и здесь же перерабатывать и все отходы. Таким образом возникает собственная клееварка, мыловарка, а затем вырастает уже и мощный суконный завод, не говоря уже о всяких скобяных, слесарных и прочих мастерских. До конца дней дед мечтает о собственной химической лаборатории для выделки дубильных экстрактов и анилиновых красок.

Но это все развивалось постепенно, а пока что жизнь продолжала течь скромно и тихо в маленьком домике при фабрике, где под одной крышей, на своих отдельных половинах, жили вместе три брата со своими семьями.

Вспоминая о своем детстве, отец рассказывал:

«Папаша, бывало, в восемь часов утра уже в конторе — мы чай пьем, а он уже работает. Спать он ложился поздно. Обыкновенно вечером дома не бывал, а если никуда не уезжал, то часов до одиннадцати сидел внизу, в конторе. Бывало, мамаша ему сверху кричит: «Сашенька, иди кверху, будет тебе заниматься-то!» Иной раз, когда вся семья в сборе, за завтраком или

обедом, он вдруг обведет всех глазами и начнет: «А я вчера был в Малом театре...» — и пойдет рассказывать. Все разбирает досконально во всех подробностях, а мы слушаем. Признавал он только драму и любил ездить туда один, экспромтом. В свободное время, на праздник в особенности, и по воскресеньям любил играть в карты, в винт и в преферанс. Играл хорошо, спокойно и весело. Курил одну сигару в день — половину после завтрака и половину после обеда. За завтраком и обедом неизменно пил по одной большой рюмке мадеры или хереса. Первого мая, какая бы погода ни была, всегда ездил вдвоем со старшим братом Петром Алексеевичем в Сокольники на гулянье. В Прощеное же воскресенье каждый год возил самолично нас, сыновей, в цирк. Пасху встречали всегда в своем приходе у Троицы. После заутрени придем домой и ждем освященной Пасхи, а пасок много в церкви, но Бахрушинскую святят первой, как старостину. Наконец ее приносят. Потом ждут попов. Приходят и попы, служат маленький молебен и садятся разговляться. Еще не окончат разговленье, как уже приходят певчие. Принимать их папаша посылал нас, сыновей. В зале певчие давали духовный концерт, а затем их также к столу. Затем наступало некоторое затишье — папаша с мамашей шли отдыхать, а мы — одеваться. Одевание шло долго — часа два с лишним. Надевали фраки, душились, помадились, причесывались, потом выходили в столовую пить чай, а потом скорее делать визиты, но тут обычно докладывали, что пришли рабочие с фабрики. Христосоваться с рабочими папаша посылал опять нас. Всего рабочих на фабрике тогда было человек триста — четыреста, но большинство разъезжалось на праздники по деревням, а оставалось человек пятьдесят — шестьдесят, которые и приходили все вместе. За нами шел человек с большой корзиной с крашеными яйцами. Рабочих много, а мы спешим, расфуфуренные, а от них

луком, деревянным маслом от волос воняет, а со всеми надо обязательно похристосоваться и каждому собственноручно вручить яйцо. Затем их вниз, к мамаше, угощаться. Некоторые яйца отдаривали, но большинство нет. Но зато на Фоминой неделе, когда рабочие возвращались из деревень, то привозили хозяину в подарок кто одно, кто три, а кто и десяток целый яиц; другие дарили полотенцами с вышивкой, домотканым холстом, русским маслом, салом или чем там другим. К празднику перед закрытием фабрики, в начале Страстной, производился полный расчет с рабочими, причем со всех, с кого полагалось, удерживали штрафы за весь год. Раздавали жалованье все, и мы, и двоюродные братья, и старшие приказчики, а папаша все время ходил по конторе с карманами, битком набитыми деньгами по сортам: в одном — красненькие, в другом пятерки, в третьих трешки и рубли, а в жилетных мелочь. Вот рабочий получит жалованье, узнает свой штрафной вычет и начнет ныть или доказывать, что он не виноват, тогда ему говорилось:

— Мы ничего не знаем, ступай к Александру Алексеичу, он уж там разберет!

Рабочий к папаше:

— Я к вашей милости!

— В чем дело?

— Да вот как же... — И начнет объяснять расчет штрафа. Говорит долго, нескладно. Папаша все слушает, потом начнет задавать вопросы, узнавать все подробности дела. В заключение отеческую нотацию прочитает и, судя по всему делу, либо совсем штраф простит, либо облегчит — вместо пяти рублей наложит рубль, а вычтенное сейчас же возместит из карманов — это уже деньги не фабричные, а папашины личные. Только одного рода штрафы никогда не прощались — это штрафы, наложенные за испорченный товар. На суконной фабрике происходило то же, только там

действовал дядя Петр Алексеевич, а в амбарах — дядя Василий Алексеевич. В позднейшее время, после разговенья, папаша, бывало, указывал пальцем на меня и на братьев и говорил:

— Ты, ты и ты, — пойдите ко мне в комнату.

Когда войдем к нему, он лез в стол, доставал бумагу и передавал старшему брату Володе:

— Читай вслух!

Брат торжественно начинал: «Главному бухгалтеру «Товарищества Алексея Бахрушина и сыновья». Приказ. Выдать из моих личных сумм старшему сыну моему Владимиру Александровичу Бахрушину столько-то, второму сыну моему...» — и так далее. А когда мы совсем маленькими были, то полагалось утром, идя с поздравлениями с праздником, читать стихи. Очень любил, чтобы ему читали стихи, дядя Василий Алексеевич. Ему, собственно говоря, по тогдашнему ритуалу, читать стихов не полагалось, но читать ходили, чтобы сделать уваженье. Он всегда с большим удовольствием выслушивал, хвалил и дарил рубль.

Помню, как папаша с кем-либо из дядей отправлялся на ярмарку в Нижний, или к Макарию, или в Харьков. Готовились к этому заранее, мамаша, бывало, всего напечет, наготовит, потом служили молебен и начинали все укладывать в большущую коляску — постельные принадлежности, несколько погребцов, ящик с письменными принадлежностями и шкатулку с пистолетами «на случай нападения разбойников». Деньги в особом кожаном мешке прятались в специальное потайное место, сделанное в коляске. Ведь дорога была дальняя — несколько дней!..»

Помню, я как-то с двоюродным братом, забравшись в кладовую в Кожевниках, натолкнулся на эти пистолеты. Были они, конечно, тульской работы, но пистонные.

На ярмарках, как известно, купцы любили мешать дело с весельем, порой выходявшим из всяких берегов.

Надо думать, что дед по своему характеру принимал деятельное участие как в первом, так и во втором, но дело, конечно, было для него всегда на первом месте. Отец моей матери в свое время рассказал мне такой случай. На какой-то ярмарке, чуть ли не у Макария, вечером, была привезена какая-то очень интересная и по качеству и по цене партия кожи. Поступить в продажу она должна была на другое утро. У деда был лишь один опасный конкурент, которого надо было во что бы то ни стало изолировать. Не долго думая, дед, когда все в гостинице легли спать, а жили все приехавшие в одной и единственной гостинице, вышел осторожно из своего номера, тихонько подошел к номеру конкурента и спокойно забрал к себе в комнату его сапоги, выставленные за дверь для утренней чистки коридорному. Ранним утром вся гостиница была разбужена неистовой руганью конкурента, у которого пропали сапоги. Дед не спеша встал и пошел закупать кожу, предварительно улучив момент перед уходом, чтобы водворить чужие сапоги на место. Дело было сделано. Был ли такой случай с дедом — не знаю, передаю то, что мне говорили.

Как мною уже упоминалось, лично я помню деда уже глубоким, но бодрым стариком. Совершая свою ежедневную прогулку по улицам Замоскворечья в сопровождении сперва няньки, а потом гувернантки, я часто встречал деда, задумчиво шагающего мне навстречу: по раз и навсегда заведенному правилу он каждый день, невзирая на погоду, отправлялся на свою пешеходную прогулку, длившуюся час или два. Эту привычку он не оставлял до конца своих дней. Когда ему перевалило за девяносто, по настоянию детей он нехотя согласился, чтобы во время этих прогулок на всякий случай рядом с ним ехала его пролетка или сани с кучером. В первый же день дед, конечно, заставил кучера ехать не рядом с ним, а саженой двести сзади.

Так до конца это и продолжалось — переупрямить его было невозможно.

Оглядываясь теперь назад, ясно вижу, что дед был большим патриотом. Следуя заветам своего отца, он, подобно ему, никогда не упускал из поля зрения «пользу России». Младший современник Белинского, он, подобно основоположнику российского разночинства, считал, что нельзя не любить отечества, только надобно, чтобы эта любовь была не мертвым довольством тем, что есть, а живым желанием усовершенствования, словом — любовь к отечеству должна быть вместе и любовью к человечеству... Исходя из этого, дед был европейцем и демократом. Он никогда не носил столь любезного купечеству русского костюма. В его гардеробе не только никогда не водилось ни поддевок, ни картузов, ни полушубков, ни косовороток, но не было даже зимних бобровых шапок *à la boyard*. Летом он появлялся в неизменной мягкой фетровой шляпе и в английском пальто — размахайке с большой пелериной, накинутой на белый чесучовый костюм. Зимой он одевался в сюртук или пиджак, а по улицам ходил в простой шубе и барашковой шапочке. Он подчеркнуто чуждался «сильных мира сего» и был абсолютно равнодушен к «царским милостям», называя все это «суетой сует». Вместе с тем он высоко ценил честь, оказанную ему Московской городской думой, избравшей его почетным гражданином города. При представлении к правительственным наградам он упорно оставлял без ответа запросы о том, каким орденом он был награжден в последний раз, и спокойно получал по два и три раза все один и тот же крест одной и той же степени.

После вручения ему ордена, при входе к нему когolibо из сыновей, он обычно кивал головой по направлению к футляру с регалией и говорил:

— Вот еще новую игрушку прислали, только в ней

для меня забавы мало. У меня уж таких точно игрушек две штуки есть.

Когда сыновья рассказывали ему о милостивом внимании, которым их удостаивали царь или великие князья, он задумчиво качал головой и неизменно повторял:

— Лестно-то оно лестно, что говорить, да подальше-то от них лучше, спокойнее: все это — суета сует.

Ехать во дворец на царские приемы, во время пребывания двора в Москве, надевать мундир, ордена, белые брюки мануфактур-советника — звание, которое он ценил, но ставил ниже почетного гражданина, — всегда было для него мукой и порой сопровождалось курьезами. Однажды как-то ему пришлось ехать во дворец зимой, в лютый мороз, после недавней болезни. На прощанье, волнуясь о здоровье деда, бабка обвязала его поверх мундира своим теплым пуховым оренбургским платком. Приехав во дворец, дед спокойно скинул свою шубу на руки придворного лакея и стал подниматься кверху по лестнице, шагая, как всегда, через ступеньку. Почти уже на самом верху лестницы он услышал за собой голос лакея: «Ваше превосходительство! Ваше превосходительство! Платочек-то скиньте!» Не любя фигурировать на придворных торжествах, дед вместе с тем с большим удовольствием принял назначение Московской городской думы принимать от лица города французского президента Лубе. Очевидно, готовность деда на этот раз объяснялась соображением, что Лубе по положению представитель буржуазно-демократической страны, а по специальности кожевенный заводчик. Ядовитый Мих. Пров. Садовский немедленно разразился по этому поводу эпиграммой:

Политика всегда заявит о себе:
Чтоб с Францией союз был не нарушен,
Встречать кожевника Лубе
Был послан живодер Бахрушин.

(Как я уже упоминал, в начале своей фабричной деятельности Бахрушины изготовляли лайку, которая шла главным образом на выделку перчаток. Первоначально лайка выделывалась исключительно из собачьей кожи. Отсюда святоши и считали недопустимым творить крестное знамение в перчатках — нельзя-де креститься собачьей шкурой. По глупому и ни на чем не основанному понятию лайка получалась особенно высококачественной, если кожа была содрана не с дохлой, а с живой собаки. Поэтому всех лаечников называли живодерами. В московском заводском мире было принято, подтрунивая над Бахрушиными, называть их живодерами, что приобретало особую остроту ввиду двойного смысла этого слова. — Ю. Б.) В моменте встречи Лубе честолубие не играло для деда ни малейшей роли, так как оно было ему абсолютно чуждо вообще.

Однажды к деду заявился какой-то исследователь, работавший над историей города Касимова, с просьбой материально поддержать его труд. В качестве особой приманки, на которую многие были очень падки, он выставил соображение, что Бахрушины родом из Касимова и что он имеет данные предполагать, что он может доказать их права на дворянство. Наведя справки об исследователе и получив благоприятный отзыв, дед охотно субсидировал его необходимой ему суммой денег. Спустя некоторое время исследователь вновь заявился к деду с рукописью и заверенными документами.

— Поздравляю вас, — сказал он, — мне удалось доказать, что Бахрушины происходят от татарских ханов и ваши предки сидели мирзами в касимовском царстве: вы не только имеете право на дворянское достоинство, но можете претендовать и на княжеское!

— Ну, дело, дело... — проговорил дед и небрежно бросил рукопись в письменный стол.

Исследователь начал ему объяснять, куда надо обратиться, какие писать бумаги. Дед недоуменно его перебил:

— Да на что мне все это надо-то? Я мануфактурист, таким родился, таким и умру!

Когда впоследствии отец спросил деда об этой рукописи, то получил ответ:

— А я ее сжег, что хлам-то ненужный у себя разводить?!

Для деда старина была чем-то пройденным, законченным и мертвым. Она его не интересовала и не волновала. Движение жизни вперед, людские достижения, чаяния молодежи — вот что приковывало его внимание. Его любимой поговоркой было: старое уходит, молодое растет. При этом он вкладывал в эти слова не ноты сожаления, а, наоборот, радостное удовлетворение. Дед до конца дней любил молодежь, любил молча взирать на ее веселье, на ее буйные силы.

Жил он в многодетной семье своего старшего сына. К моим двоюродным братьям и сестрам по воскресеньям к вечеру собирался народ — товарищи, подруги. В большом зале устраивались танцы, ставились шарадь, играли в шумные игры. Одним из главных заправил в этом деле был мой старший двоюродный брат Сергей, впоследствии профессор Московского университета, член-корреспондент Академии наук и сталинский лауреат. Постоянным молчаливым зрителем наших забав был дед. Он тихонько садился в темный угол зала и с живейшим интересом наблюдал за нами. На его лице застывало выражение благодушного удовлетворения, временами сменявшегося улыбкой и задорным блеском старческих глаз. Он нас не только не стеснял, но мы даже чувствовали себя не в своей тарелке, когда он отсутствовал. Это значило, что ему неможется. Когда в нашей компании появлялся кто-либо новый, который

вдруг начинал смущенно коситься на фигуру древнего старца, расположившегося в углу, то новичка немедленно успокаивали фразой:

— Это только дедушка, не обращайтесь внимания — он этого не любит!

Новичок смотрел на поведение остальных, брал с них пример, осваивался, и общее веселье шло своим порядком.

В последние годы взор деда становился все более и более созерцательным. Он так же радостно приветствовал увеселительные затеи молодежи, изрекая свое обычное: «Делу время, потехе час», но порой страдал от своего старческого одиночества.

— У меня знакомые-то и друзья все на кладбищах,— говаривал он в такие минуты,— ведь мне-то из живых уж никто не скажет «ты, Саша!».

К концу жизни он с надеждой смотрел на каждую свою болезнь.

— Пора, пора,— бодро говорил он,— а то совсем зажился, хватит!

Но, как это обычно бывает в таких случаях, смерть, которую он искренне нетерпеливо ждал, не замечала его и проходила мимо. Его, видимо, угнетала утечка сил и упорно наступающая дряхлость. Дух был бодр, а плоть немощна. В мыслях нарождались планы, требующие подвижности, деятельности, а годы с каждым днем давили на плечи все тяжелее и тяжелее, сковывая движения. А тут еще близкие, учитывая его возраст, установили над ним надзор. Иной раз он пускался на хитрости, чтобы обмануть своих, чтобы хоть на минуту почувствовать себя еще деятельным. На это он шел лишь в тех случаях, когда, по его мнению, чувство долга оправдывало обман.

В какую-то из зим он болел. Потом стал поправляться, начал выезжать на короткие прогулки. Это совпало с выборами в какую-то из Государственных дум. Зная

его повадки, отец и вдова старшего дяди обратились к нему с вопросом, поедет ли он на выборы.

— Куда мне, — сказал он, — уж как-нибудь без меня в этот раз обойдутся!

В свое время он поехал на свою ежедневную прогулку и возвратился обратно в положенный срок. А вечером, встретив где-то отца, дежурный по выборному участку, член управы, рассказывал отцу:

— Вообразите себе, сижу я в своем участке, вдруг слышу какое-то оживление. Выхожу в переднюю и вижу, как двое думских курьеров помогают Александру Алексеевичу войти по лестнице, а она у нас высокая и крутая. Пришел, опустил свой шар и уехал!

Когда отец стал упрекать деда за его «эскападу», говоря, что он мог бы ему доверить опустить свой шар, то дед строго заметил:

— Такие вещи никому не доверяют — это мой долг гражданина, и если я в силах подняться с постели, я обязан исполнить его лично!

После смерти деда у него нашли стенографические отчеты заседаний всех Дум, которые, судя по их виду, он тщательно изучал. Будучи поклонником английского, или, как он говорил, «аглицкого», парламентаризма, он вместе с тем не воспринимал британского аристократизма — ему был ближе французский буржуазный демократизм.

Открытый враг реакционных правительственных мероприятий, он одновременно презирал и пустозвонный российский либерализм, а потому ни в каких партиях не состоял, говоря, что «партия — кабала» и что у него «своя голова на плечах есть». Дед во всех людях, вне зависимости от их положения и возраста, возбуждал глубокое к себе уважение. Порой подсмеивались над его странностями, но это никогда не шло в ущерб чувству уважения к нему.

Когда он бывал у нас по воскресеньям, то, возвраща-

ясь домой, неизменно приторговывал извозчика. Возница просил с него четвертак, но дед давал двугривенный. Извозчик провожал его до проезда Павелецкого вокзала и там соглашался, но дед уже давал там пятнадцать копеек. Начинался новый торг. У Павелецкого вокзала вновь происходит уступка со стороны нанимаемого, но дед предлагал уже гривенник. Извозчик провожал его до ворот его дома, и там они расставались. Такая картина происходила почти каждый раз. Уже после революции мне пришлось ехать как-то на извозчике, который мне поведал об этом.

— Тоже ведь молодцы были, — добавил он, — шутки шутили со стариком: бывало, еще увидим, что к вам пошел, и стережем его, дожидаемся, от седоков отказываемся... А он-то небось, царство небесное, тоже нашу механику понимал — думал: пуцай забавляются, дураки, а мне в разговоре-то незаметнее до дома дойти. Премудрый ведь он старик был!

Такое же глубокое уважение к деду, к «премудрому старику», я замечал в отзывах о нем и отца моей матери, моего деда Носова, хотя последний и по складу своего характера и по своим политическим взглядам составлял почти полную противоположность деду Бахрушину.

Впрочем, были в обоих дедах и две общие черты, едва ли не основные — это беспредельная влюбленность в свое дело и пристрастие ко всему новому, в особенности в области техники. Любили они оба и родину, но по-разному. Дед Носов любил ее более созерцательно, не стремясь принять деятельного участия в ее преуспевании и прогрессе. Надо думать, что многие особенности характера деда Носова были тесно связаны с его происхождением, жизнью, воспитанием и средой, в которой ему приходилось вращаться.

Мне никогда не удавалось выяснить у деда подробностей как происхождения Носовых, так и воз-

никновения их суконной мануфактуры. Мои тетки, любившие порой щегольнуть своим пролетарским происхождением, всегда говорили, что их прабабушка была ейской ткачихой, а затем и купчихой города Ейска и что они — ейские купцы. Однажды дед, услышав подобное их утверждение, заметил при мне:

— Какие мы ейские купцы? Просто гильдейское свидетельство в Ейске выправляли — дешевле было, чем в Москве, вот и все. От этого и приписаны были к ейскому купечеству.

Думаю, что и версия о том, что прабабка моей матери была ткачихой и сама работала на станке, была также не совсем верной. Ткацкое ремесло она, конечно, знала и, весьма вероятно, на станке работала, но не по нужде, а по традиции купцов-мануфактуристов, считавших, что хороший хозяин обязательно должен уметь сам делать все то, что выполняют его рабочие. Это предположение подтверждается сохранившимся портретом маслом, изображающим внуков этой ткачихи, в том числе и моего деда. Портрет написан в 40-х годах недурным живописцем, и изображенные на нем лица одеты в такие костюмы, что их можно скорее принять за отпрысков какого-либо дворянского рода, нежели купеческого. Едва ли простая ткачиха увлеклась бы мыслью обладать таким портретом своего потомства.

Все же некоторые подробности о роде Носовых мне впоследствии удалось почерпнуть из очень редкой брошюры, изданной в 1882 году к Московской Всероссийской выставке и озаглавленной «Промышленно-торговое товарищество мануфактур братьев Носовых в Москве». Анонимный автор этой маленькой книжки утверждает, что дело Носовых «получило свое начало от покойных потомственных почетных граждан Дмитрия, Василия и Ивана Васильевичей Носовых. Свою трудовую деятельность они открыли работой на фабрике Ракова (в Москве, в Преображенском) в каче-

стве простых ткачей. Работая с большой энергией, они вскоре освоились с фабричным производством, и их работа шла с большим успехом. Состоя на рекрутской очереди, они были призваны к исполнению воинской повинности. Приходилось бросить то дело, к которому они успели вполне привыкнуть, и идти в солдаты. Однако, благодаря поддержке дяди своего Игната Васильевича Носова, который снабдил их деньгами, они наняли за себя рекрута, сами же продолжали заниматься тем делом, которому посвятили себя. Благодарные дяде, они с фабрики Ракова перешли работать к нему с тем, чтобы работою покрыть долг. После нескольких лет работы они скопили небольшие деньги и, с благословения дяди, начали самостоятельно заниматься ткацким и красильным производством в своем небольшом родовом домике по Семеновской улице. Это было в 1829 году... Первое производство братьев Носовых были драдедамовые платки. Братья сами ткали, сами промывали и сами красили платки, мать же их и жены Дмитрия и Василия Васильевичей обсучали бахрому. Благодаря дружной, чисто семейной работе публика обратила внимание на их скромное, но добросовестное производство... Дмитрий Васильевич (то есть дед моей матери. — Ю. Б.), интересуясь красильным делом, завел по этому предмету обширную библиотеку и самостоятельно, без посредства руководителя изучил красильное производство... С 1832 года производство начало расширяться... В 50-х годах началось преобразование фабрики... В 1857 году старая фабрика была вновь перестроена и увеличена вдвое. На добросовестную работу было обращено внимание русского правительства и фирме братьев Носовых поручено было в 1863 году вырабатывать сукна мундирные и приборные для армии и флота, а в 1864 году приказано было изготовлять и флотские рубашки.

Перечисленными немногими сведениями исчерпы-

ваются данные, приводимые в брошюре. Не надо при этом забывать, что издание было рекламное, так что оно могло, для пользы дела, кое в чем и немного погрешить против достоверности. Безусловно то, что Носовы в далеком прошлом были единоверцы, а в недалеком — староверы. Все представители ревнителей истого благочестия, как известно, вместе со своей верой ревниво оберегали и древние обычаи, и стародавняя культура чрезвычайно бережно у них сохранялась и накапливалась. Эта древняя русская культура жила и в семье Носовых, и ее можно было заметить не только в старинных иконах, висевших в углах комнат, но и в домашнем укладе.

Исходя из общекупеческого взгляда того времени, что фабрика — это тоже своя семья, мой дед провел свое детство и молодость в тесном общении с детьми фабричных рабочих — играл с ними вместе в городки и бабки, ходил удить рыбу и ловить птиц, купаться, собирать ягоды и грибы.

Жили Носовы испокон века у Преображенской заставы, а сто лет тому назад это было уже почти за городом. С годами дед все более и более отходил от товарищей своих ранних игр, превращался все более и более в хозяина, но спортивные навыки, приобретенные им в детстве, его уже не покидали всю жизнь. Он был врожденным русским спортсменом, но отнюдь не по физкультурным соображениям, а из-за любви к воздуху, к движению, к природе. При этом он очень мало говорил, но очень много делал. Почти до конца своих дней, встав утром с постели, он обливался двумя ведрами холодной воды из-под крана. Когда по каким-либо обстоятельствам ему этого не удавалось сделать, он чувствовал себя не по себе, как он говорил, «каким-то вареным». Летом он постоянно купался, невзирая на погоду, бросаясь прямо в воду головой вниз. Ранней весной он пропадал вечерами на тяге,

осенью исхаживал десятки верст с легавой собакой, зимой совершал дальние поездки, после которых в его доме прибавлялось число волчьих и лисьих чучел или ковриков. В летний перерыв охоты он вооружался удочками и просиживал часами, наблюдая за движением поплавок. При этом его увлекал не только сам процесс охоты, но и результаты ее. Он обязательно садился удить крупную рыбу, ездил на охоту в проверенные и богатые дичью и зверем места. В нем говорил не только любитель природы, но и спортсмен. В своих внуках он с особенной заботливостью культивировал любовь к спорту.

Помню, в моем раннем детстве, на даче в Гирееве дед был всегда первым и наиболее деятельным организатором всяческих подвижных игр. Он доставал откуда-то с фабрики бабки и городки, принимал деятельное участие в устройстве теннисной площадки. Раз как-то, долго наблюдая, как молодежь довольно беспомощно упражняется в прыганье, кувыркании, хождении на руках и прочих турдефорсах, он вдруг не выдержал, растолкал нас и, к великому удивлению старших и нашему восхищению, прошелся колесом. А затем поставил моего отца, мужа матери крестной и еще кого-то в соответствующие позы, перемахнул через них чехардой. А ему тогда было уже за шестьдесят лет. В Гирееве же он научил меня запускать змея. Клеил он их сам, огромных размеров, из хорошей кальки. Все это он расписывал акварелью, украшал вычурными трещотками и отделявал самым тщательным образом. Это была вообще одна из особенностей деда — он любил сам изготавливать свою спортивную снасть, делал это чрезвычайно дотошно и аккуратно, применяя всяческие технические инструменты, и ревниво берег изготовленный снаряд. Летом я его вечно помню за вырезанием ивовых поплавок, плетением сеток и лесок из конского волоса, набивкой патронов и тому подобным. К тому же при-

учал он и нас, внуков. Когда я достиг соответствующего возраста, дед записал меня в охотничье общество и подарил мне членский билет, который возобновлял ежегодно. Он же принимал деятельное участие в выборе ружья, которое мне было подарено. Зимой он несколько раз брал меня с собой на охоту за зайцами.

Столь же пламенно дед увлекался и техникой, всячески поощряя интерес к ней во внуках. Он соорудил какие-то примитивные машины, сам любил осваивать незнакомые сельскохозяйственные орудия, дарил нам, детям, механические игрушки. Так, у меня имелся подаренный им электрический токарный станок, приводившийся в действие от штепселя. Сравнительно рано лишившись горячо любимой жены и оставшись с кучей детей на руках, младшей из которых было четыре года, дед не стал искать себе новой хозяйки, а всецело посвятил себя семье. Он без посторонней помощи, порой неумело и делая ошибки, все же сумел дать образование и воспитать всех своих детей. Так как среди этих детей был лишь один мальчик и шесть девочек, задача была для него, как для мужчины, особенно сложной. Правда, старшие дочери до своего замужества помогали ему в этом деле, но все же главная забота лежала на нем. Думаю, что именно этот период в жизни деда способствовал выработке в нем особой замкнутости, сдержанности и отчужденности — он не мог делиться с детьми своими мыслями и заботами, а к посторонним обращаться не желал. Эти черты характера при первом взгляде давали повод заподозрить в нем эгоиста, что было неверно. В особенности тяжело приходилось деду, когда надо было придумывать забавы для своих детей. Он невольно забывал, что большинство из них девочки, и выдумывал им всяческие спортивные и технические развлечения. Длинные прогулки летом за город, ловля рыбы и катанье на лодках, занятие фотографией, прикладные искусства, увлечения собаками

и лошадьми — вот занятия, которыми дед занимал детей в часы досуга. Моя мать, в характере которой было много мальчишеского, пользовалась его особой любовью. Он вместе с ней занимался фотографией, ездил с ней на бега, дарил собак, учил ее росписи по фарфору — дед недурно владел карандашом и кистью. Этим искусством он овладел, как равно и многими другими знаниями, не по влечению сердца, а из соображений, что они могут быть ему необходимы для его дела.

Деда как делового человека я почти не знал. Как-то однажды он мне показывал фабрику. Помню, что после нашего грязного, вонючего кожевенного производства суконная фабрика поразила меня своей чистотой и франтоватым блеском многочисленных машин. Дед что-то объяснял и любовно поглаживал какую-то машину, точно она была живым существом. Когда я начал заниматься живописью, дед однажды принес мне какой-то иностранный журнал с декоративным рисунком художника и спросил, смогу ли я увеличить его до нужных ему размеров. Получив мой утвердительный ответ, он оставил мне журнал. Через несколько дней я сдал ему работу. Он внимательно все осмотрел и как будто остался доволен. А месяц спустя я получил от него в подарок прекрасное пуховое одеяло, на котором во всю ширину был воспроизведен увеличенный мною рисунок.

Носовы славились своими пуховыми одеялами и платками, но основным их производством было изготовление кустарных кавказских сукон, из которых на Кавказе шились многочисленные черкески и которые там продавались как местное производство.

Все торговые операции деда производились в «городе» в Черкасском переулке, в амбаре. Мне иногда летом приходилось заезжать в носовский амбар, который помещался в каком-то древнем здании с чугунными

лестницами и под сводами. Все подобные помещения были серьезного, насупленного вида, словно ушедшие в самих себя. Жили они своеобразной, испокон веков заведенной жизнью. В амбарах московского «city» люди отрешались ото всего живого и превращались в счетные механизмы. Под костлявый перезвон конторских счетов там скрипели перья, стучали пишущие машинки и дышали листьями фолианты гроссбухов. Где-то в глубине помещения в своем обособленном кабинете сидел, как в бесте¹, сам хозяин, следивший, как опытный мастер, за бесперебойной работой своей торговой машины. В этом занятии ему помогал неизменный, огромный, темный образ Спаса с вечной неугасимой лампадой, некогда возжженной в день открытия амбара. Никаких ресторанов или трактиров в городе не полагалось. Взамен их в каждом амбаре наравне с лампадой кипел неугасимый огромный самовар красной меди, и специальный молодец следил за исправным снабжением всех чаем. По несколько раз на дню в амбары заглядывали разносчики с лотками, предлагая свои продовольственные товары. Эти торговцы прекрасно знали своих покупателей, учитывали, что они видывали гастрономические виды, а потому имевшийся у них товар был всегда самого наивысшего качества. В продовольственный лоток для города из сотни каких-либо жирных рыб выбиралась одна, наилучшая, после тщательной дегустации. Огорока и колбасы беспощадно браковались. Ягоды отсортировывались поштучно. При посещении деда в амбаре я обычно был угощаем каким-либо лакомством и, должен признаться, всегда отменным.

Каковы были принципы ведения дела у Носовых на

¹ Б е с т — место, дающее преследуемому человеку право временной неприкосновенности.

фабрике, мне неизвестно, но постольку поскольку мне приходилось слышать стороной, у них рабочие не очень долюбливали хозяев и между ними был холодок. Деда рабочие еще уважали, так как знали, что он в молодости на практике прошел все производство, но дядю они терпеть не могли. Ни о каких остатках патриархального быта там и речи не было, впрочем, быть может, причина этого крылась в особенностях самого производства, более промышленного, чем кожевенное дело, сохранявшее долгое время еще пережитки кустарничества.

После женитьбы моего дяди, единственного сына деда, он и пожелал оставаться в семье сына, отдал ему старый дом и, разделив огромный сад пополам, приступил к стройке на своей половине нового дома. Отдавая дань своему пристрастью ко всему новому, дед избрал для своего нового жилища модный в то время стиль модерн и задумал свой дом со всеми последними достижениями комфорта — водяным отоплением, горячей и холодной водой из кранов и тому подобным. Вместе с тем здание возводилось не из кирпича, а из дерева — это, по мнению деда, и ускоряло стройку, с которой он спешил, и имело свои преимущества для житья — более здоровый воздух в помещениях, сохранение тепла и так далее. Этот-то дом и бывал обычно моей весенней резиденцией во время экзаменов. В нем-то я и наблюдал своеобразные навыки и особенности быта деда, проистекавшие, по моему мнению, из старого русского уклада жизни. Подчеркиваю — именно русского уклада жизни, но отнюдь не купеческого, с которым я сталкивался, например, у моего дяди Постникова. Здесь никогда не было постоянно накрытого стола, потчевания до одурения, мертвого часа после обеда, разжиревших котлов, деловой конторы в нижнем этаже и стрельбы крыс из Монте-Кристо, в которой практиковался младший дядя, просиживавший летом часами

у открытого окна в ожидании добычи. Здесь все было иное, солидное и серьезное.

Дом был разделен на две половины — мужскую и женскую. Внизу жил дед и располагалась мужская прислуга — наверху тетка-барышня и женская прислуга. Прислуга тоже была вся солидная, жившая в семье долгие годы. В этом отношении первые места занимали кучер Григорий, возивший еще мою мать в гимназию и помнивший деда мальчиком, степенная горничная Матрена, служившая еще на фабрике до женитьбы деда, и смешливый заика лакей Василий. Весь штат прислуги находился в непосредственном ведении экономки Варвары Семеновны Лебедевой. Она же являлась постоянной правой рукой молодых хозяек, которые последовательно восходили на хозяйственный престол после удаления своих предшественниц в замужество. На Варвару же Семеновну возлагались все надежды молодых мамаш, урожденных Носовых, когда они вводились во искушение учинить какую-либо «эскападу» со своими молодыми мужьями и подкидывали своих малолетних отпрысков в отчий дом. Эту нагрузку Варвара Семеновна всегда принимала с радостью и самоотверженно возилась со всеми нами — внучатами деда — с пеленочного возраста. Мы, в свою очередь, оплачивали ей горячей любовью, и при поездках к деду нас всех особенно прельщала возможность посидеть в комнате доброй старушки. Там стояла удобная, солидная старинная мебель, теплилась лампада перед киотом с иконами, звонко заливались канарейки в клетках, а на подоконниках весело зеленели незатейливые герани и фуксии. И почему-то на всю жизнь представление о комнате Варвары Семеновны связано у меня с солнечным, погожим днем. Видимо, старушка излучала из себя столько теплоты и света, что это фигурально навсегда запечатлелось в детской памяти.

Любили посидеть у старушки и старшие. Помню, как мой отец и дядя Иван Енгальчев неизменно после семейного обеда у деда отправлялись курить к Варваре Семеновне. Отец ложился на ее старый диван с веселой пестрой обивкой, положив свои длинные ноги на локотник, а дядя садился рядом и начинал, как всегда, балагурить. Старушка вязала свой чулок и беззаботно смеялась на всяческую чепуху, которую молол ей дядя. Вспоминаю, как в детстве я всегда с неизменным интересом разбирал какие-то ее коробочки, в которых десятилетиями скоплялись всяческие пуговицы-одиночки. Наиболее мне приглянувшиеся она мне всегда охотно дарила.

Особым праздником для меня всегда были дни, когда она приезжала в гости к нам на Лужнецкую. Являлась она всегда приодетая в платье из носовского тонкого сукна, в шуршащей канаусовой нижней юбке и в старушечьей шляпке — капоре, — сидевшей на самой маковке головы, которую отец называл «куриным гнездом». С собой она неизменно привозила кучу маленьких незатейливых подарков, которые доставляли мне гораздо больше удовольствия, чем всякие роскошные игрушки. Осенью, после ее приездов с богомолий, количество подарков умножалось.

С годами моя любовь к сиденью в комнате Варвары Семеновны не уменьшалась, а даже, наоборот, становилась необходимой потребностью. Бывало нервно готовишься к завтрашнему экзамену, дозанимаешься до того, что ум начнет заходить за разум, и тогда идешь делать передышку к Варваре Семеновне. Сядешь уютненько в кресло и смотришь, как она сквозь очки следит за мельканием спиц в своих сморщенных руках. Довяжет ряд, нальет мне чашку чаю, достанет из шкафа моего любимого варенья (у ней для каждого было припасено всегда особое любимое лакомство) и сядет занимать разговором:

— Вот, то-то, Юрушка, глаза что-то видеть плохо стали. Стареею. А ты вот небось думаешь, что я всегда такой была! Нет, и я молодой была. Ведь я когда молодой-то была, жила в Питербурге, служила у мадам, шитью училась. Франтихой я была ужасной. Бывало, в праздник разоденусь и иду гулять на Невский. Вот как-то смастерила я себе большущий кринолин, иду по Невскому, шляпка маленькая на боку, в руках зонтик, как игрушечный, — пава павой. Слышу, за мной гвардеец какой-то выступает, шпорами своими звякает. А народ-то мне встречный все на меня глядит и чего-то улыбается. Думаю, чего это они все улыбаются, уж не гвардеец ли что сзади бедокурит. Обернулась назад, ан никакого гвардейца и в помине нет, а шпоры все звякают. Звяк да звяк о тротуар. Тут я все поняла и обомлела — это у меня нижний обруч лопнул и о панель-то и звякает. Я скорее в переулок — тогда для нашего женского сословия такие уличные кузнецы были — кринолины на ходу чинили. Нашла такого благодетеля — у него наковальня маленькая, молотки, заклепки разные. Ну, он мне юбку сзади задрал, раз, раз молоточком, и все готово, а то срам-то какой!.. А то вот в другой раз отправилась я в Летний сад. Народу там полнехонько — день был жаркий, солнечный. Я что-то это устала, хочу на лавочке посидеть, а везде все места заняты. Хожу это, хожу, места себе ищу. Вдруг вижу — лавочка совсем свободная, сидит на ней один только морской офицер какой-то, представительный такой на вид и приятный. Я раз и села с ним рядом. Он так на меня посмотрел, усмехнулся и сидит. Оглянулась кругом и вижу, что люди с соседней лавочки мне какие-то знаки подают, мне кивают. Осмотрела я себя — думала, может, в костюме беспорядок какой. Нет, все аккуратно. А соседи все не унимаются. Ну, думаю, делать нечего, надо встать узнать, чего это я им далась. Подхожу, а они мне: «Вы знаете, с кем вы рядом сидите? Ведь

это великий князь Константин Николаевич!» Я так руками и всплеснула на то, как я наневежничала. Глянула на него, а он сидит, на меня смотрит, смеется и рукой показывает, чтоб я обратно садилась. Я покраснела вся от конфуза и скорей бежать из сада. Вот дела-то какие в молодости бывали. Я ведь тоже проказница была в молодости-то. Вот другие там конфеты, кофе, а я чай хороший любила. А он дорогой был, не очень-то его купишь. Когда я у мадам ученье кончила, поступила я к своей княгине, тоже по швейной части. Только как-то пришлось мне случайно — заболела, что ль, камеристка — причесать княгиню. С тех пор она уж и потребовала, чтобы я обязательно утром и на сон грядущий ее причесывала. Бывало, утром к ней придешь в спальню и обязательно надо принести с собой в чашечке тонко нарезанной свеклы и незаметно поставить ее в назначенное место. Только Боже упаси сказать об этом княгине — рассердится на несколько дней. Она всегда свеклой румянилась — другого не признавала — и не любила страсть, чтоб об этом говорили. Словно как бы это все само собой делается. Ну, так вот, не об этом я речь-то вела. Прихожу я как-то вечером к княгине убирать волосы на ночь, а на другой день ей куда-то за город ехать надо было, на праздник придворный, что ли. Только обязательно ей хотелось, чтобы хорошая погода была, а на улице дождь идет — конца-края не видеть. Причесываю я княгиню, а она меня и спрашивает: «Как думаешь, Варя, завтра погода плохая будет или хорошая?» — «Обязательно, говорю, хорошая!» — Заспорили, она свое, а я свое. Хочется ей мне поверить, а вместе с тем и нельзя, погода не велит. Ну, она мне и говорит в конце: «Что ж, давай спорить — если погода будет хорошая, я тебе фунт хорошего чая подарю, а если плохая...» — «Тогда я вам, ваше сиятельство, обязана фунт шоколада Крафтовского преподнести». — «Ладно», — говорит. На другое ут-

ро встаем, а на дворе солнышко, на небе ни облачка. Прихожу я к княгине, а у ней уже фунт чая наилучшего для меня готов, лежит. «Получай,— говорит,— пророчица, я проспорила!» А какая я пророчица — дело-то простое было. Как с вечера шла я к княгине, так и глянула в зале на барометр — вижу, на хорошую сильно идет. Вот я и спорила смело. А княгиня всем этим барометрам и градусникам не верила, считала, что это один обман. Вот я с ней и смошенничала!

Порой я задумывался под мерный звук ее голоса, сосредоточив взгляд на каком-либо предмете. Тогда она меняла тему своего рассказа.

— Чего ты в одну точку уставился? — строго спрашивала она. — Нечего в одну точку глядеть, вредно это. Вот тетушка твоя, то есть, что я — тетушка, бабушка твоя Клавдия Дмитриевна красавица была и умница. Очень она уважала московского владыку, митрополита Филарета. Он если где поблизости служил, то обязательно к ней чай пить ездил. Она для него особую чашку имела, карниловскую, тончайшего фарфора, заказную. Владыка всегда ею восторгался. Чашка эта у ней всегда в особом футляре хранилась. И я у ней не раз владыку Филарета видала, сухенький такой, маленький старичок. И вот началось это с Клавдией Дмитриевной с того, что стала она все в одну точку глядеть. Говорит, говорит, а потом вдруг замолчит и уставится на что-нибудь. Спросишь ее, а она не отвечает. Помолчит так, сойдет это с нее, и она опять человек человеком. А потом стало хуже — глядит так, глядит в одну точку да как схватит что под руку попадется да в это место и швырнет: там, говорит, черт. Так как-то не углядели, она и митрополичью чашку в угол запустила. Горевала она, горевала, потом, как отошла, да уж ничего не поделаешь. А потом уж она и совсем ума лишилась, а началось с того, что в одну точку глядела. Говорят, что это у нее от вина сделалось, только

думаю, что это пустяки. Вот мужики другие как выпивают, а с ума не сходят. Васютка-то, видно, в нее такой сумасшедший пошел!

Васютка был двоюродный брат матери. Василий Васильевич Прохоров, отчаянный автомобилист и авиатор, участник многочисленных катастроф, из которых он постоянно выходил невредимым, чем и стяжал себе громкую известность в Москве.

Много рассказывала мне Варвара Семеновна о Николае I, о молодом Александре II, о Крымской кампании, о великосветском Петербурге 60—70-х годов, и я жалею, что в свое время не записывал слышанного. Прелесть ее воспоминаний заключалась в том, что в них абсолютно отсутствовали смакование прошедшего и сожаление о минувшем. Это просто была непрерывная цепь пережитых ею анекдотов, припудренных пылью годов, сквозь которую они мягко поблескивали, как старинное ожерелье из скромных гранатов, из любимых камней старушки.

Характерная фигура Варвары Семеновны являлась чем-то неотъемлемым от быта дедовского дома. Вне своей комнаты она была степенна, выдержанна и серьезна, как и все ее окружавшее. Такими же были и солидные сенбернары, важно расхаживавшие по комнатам. Дед почти никогда не устраивал пышных вечеров, зато на святках, на масленице и в семейные табельные дни у него обязательно бывали семейные обеды. Присутствовали на них все дочери с мужьями, сын с женою и внуки с внучками, вышедшими из младенческого возраста.

На святках заботою моей младшей тетки сооружалась огромная елка и накупалась масса сладостей и подарков для всего молодого поколения. Масленичная трапеза длилась часами, блины подавались на всякие вкусы: и тонкие, и пышные, и с ветчиной, и со сметками, и с яйцами. Лососина как-то особенно промо-

раживалась, изготовлялось носовское *spécialité de la maison*¹ — маринованные рыбки хрящи и еще какие-то своеобразные яства. На столе рядом с водкой стояла обязательная старка и красное вино принятой дедом марки. Чай подавался уже не в официальной столовой, а в апартаментах моей тетки, наверху. Самовары были красной меди, именные и должны были сменяться молниеносно.

Наверху царили полная непринужденность и веселье. Во время наших экзаменов (говорю наших, так как кроме меня об эту пору обычно в доме деда находился и еще кто-нибудь из его учащихся внуков) вечернее чаепитие у тетки было особенно приятным. Она всегда заботливо приготавливала нам кучу всяких вкусных вещей, которую мы неизменно поглощали. Взрослея, мы стали все немного приволакиваться за молодой теткой, которая была меньше чем на десять лет нас старше. По окончании наших экзаменов жизнь в носовском доме замирала. Тетка уезжала гостить в имение к кому-либо из своих сестер, а дед ехал в Крым или куда-нибудь на охоту. Это бывало в тех случаях, когда они не снимали дачи где-либо поблизости от нас. В последнем случае тетка жила на даче, а дед ежедневно вечером приезжал к ней обязательно на тройке или в коляске с пристяжкой. Тяги к усадьбенной жизни у деда никогда не было — видимо, призвания быть сельским хозяином он в себе не чувствовал, а быть помещиком он не хотел. В этом отношении он опять-таки отличался от моего деда Бахрушина. Впрочем, дед Бахрушин жил в своем имении скорее как вельможа, нежели как помещик.

¹ Фирменное блюдо (*фр.*).

Глава десятая



ак-то в 70-х годах на фабрике шла стройка. Выкладывали новый корпус. Наверху на лесах стоял дед Василий Алексеевич в трапезном костюме, забрызганный цементом, выпачканный известкой, присматривая за работой каменщиков. В это время к воротам фабрики подкатила лихая коляска с пристяжкой, с которой соскочил франтоватый военный.

— Я адъютант московского генерал-губернатора, — сказал он сторожу, — мне немедленно надо видеть кого-либо из хозяев. Кто из них на заводе?

Сторож ответил, что налицо Василий Алексеевич, но что видеть их неудобно, так как они заняты на стройке.

— Пустяки, — сказал адъютант, — веди к нему.

Через несколько минут адъютант уже стоял наверху, на лесах рядом с дедом.

— Я к вам от князя Владимира Андреевича, — доложил он, — князь просит вас немедленно пожаловать к нему. Мне поручено вас привезти.

— Разрешите хоть домой пройти, — взмолился дед, — приодеться, умыться.

— К сожалению, должен отказать, — последовал

ответ,— князь особенно наказывал привести вас, не нарушая порядка вашего дня — таким, каким я вас найду на работе.

Ослушаться зятя Государя было немислимо, и вот дед грязный, в рваном пиджачишке, в замусоленной шляпе катит по Москве в губернаторской коляске в сопровождении блестящего адъютанта.

Прибыв на Тверскую, он был немедленно препровожден в личные апартаменты генерал-губернатора, в столовую, где его попросили обождать. Степенный старик лакей накрывал на стол, расставлял тарелки, раскладывал серебро. Уходя из комнаты, он неодобрительно взглянул на деда и строго заметил:

— Ты смотри насчет серебра-то — ни того,— он сделал многозначительный жест в свой карман,— оно у меня все считанное. Мигом выведем, и оглянуться не успеешь!

Хлопнула дверь, и в комнату вошел затянутый в корсет, завитый, напوماженный, нарумяненный и надушенный князь Владимир Андреевич. Протягивая обе руки, он направился к деду.

— Василий Алексеевич, я в отчаянии, что оторвал вас от дела, но ничего не поделаешь, дамские поручения, а они, как всегда, самые хлопотливые и неотвязные. К вам огромная просьба — я взялся быть ходатаем. Не откажите! У вас имеются векселя графини Келлер под обеспечение ее усадьбы Ивановское Подольского уезда. Сделайте милость — отсрочьте еще платежи.

— Охотно бы, ваше сиятельство,— ответил дед,— но дело в том, что мы уже два раза откладывали эти платежи, а графиня не только что денег, а и процентов не вносит!

— Знаю, знаю,— перебил князь,— все знаю — не хорошее это дело, но в личное мне одолжение — отсрочьте. Я прошу вас!

— Уж, право, не знаю, как и быть, — нерешительно отозвался дед, — разрешите, ваше сиятельство, с братьями посоветоваться!

— Ведь я прошу вас! — с холодным удивлением заметил князь.

— Так-то оно так, — заметил Василий Алексеевич, — но у нас уж порядок такой в семье — все дела решать сообща, так что вы уж извините и не ссорьте меня с братьями!

— Что вы?! что вы?! — вновь заулыбавшись, перебил князь. — Семейные традиции! Я их очень понимаю и уважаю. Прошу вас!

Естественно, что «совет» братьев на этот раз имел весьма краткий и чисто формальный характер. Отказ князю мог обойтись куда дороже, чем все векселя всех должников фирмы, взятых вместе. Добрые губернаторские кони быстро слетали в Замоскворечье и обратно, и Долгорукову не долго пришлось ждать желаемого ответа. С приветливой улыбкой он жал руку Василия Алексеевича и говорил:

— Искренне благодарствую. Даю вам честное слово, что это последняя отсрочка: если графиня в срок не уплатит, я уже буду защищать не ее, а ваши интересы. Я не забуду ваше одолжение. Очень прошу, если вам когда-либо что-нибудь понадобится от меня — никаких записей на прием, прямо ко мне. Ваша фамилия откроет вам все двери моего дома... Может, откусываете вместе со мной — у меня только свои?!

Дед многозначительно взглянул на свой костюм и откланялся. Старик лакей проводил его с низким поклоном и получил рубль на чай.

Шли годы. Братья успешно завершали одно из многочисленных дел, составлявших мечту их жизни. На голом пустыре в Сокольниках выростала огромная, по тому времени, больница для больных-хроников. От забот и наблюдений строителей не ускользала ни одна

мелочь. В середине главного корпуса отделялась больничная церковь, а двумя этажами ниже, в подвале, сооружался склеп, в котором братья в будущем хотели найти вечное упокоение. В разгаре работ архитектор сокрушенно объявил им, что только что вышел новый закон, запрещающий захоронение покойников где-либо, кроме кладбищ. Положение создавалось безвыходное — приходилось отказаться от желанного проектируемого склепа. Тут еще, как на грех, кто-то из них серьезно заболел. Доктора озабоченно покачивали головами и говорили, что надо быть готовым ко всему. Да и на самом деле, в животе и смерти Бог волен — не приведи Господь, помрет, где хоронить? Рядом с родителями на Даниловском? Места нет. Придется кладбище новое облюбовать — вот бы склеп-то под больницей был, как бы все ладно устроилось. Во время этих рассуждений и вспомнили о князе Владимире Андреевиче. Порешили обратиться к нему и отправили на Тверскую вновь Василия Алексеевича. Он был принят немедленно. Князь вышел к нему с приветливой улыбкой и внимательно выслушал его дело.

— Что ж вы, собственно говоря, желаете? — спросил наконец Долгорукий. Дед нерешительно спросил, нельзя ли как-нибудь разрешить соорудить склеп под больницей.

— Только и всего?! — удивленно спросил генерал-губернатор. — Нет ничего проще. — И позвонил в колокольчик. — Позвать ко мне начальника канцелярии!

Вошел солидный чиновник.

— Приготовьте немедленно Василию Алексеевичу Бахрушину бумагу, что ему по высочайшему повелению разрешается устройство склепа под домовою церковью в больнице имени его семьи, — распорядился князь и добавил уходившему чиновнику: — Да не забудьте пометить, чтобы я при случае доложил государю о сделанном его именем распоряжении!

Мучивший братьев вопрос был разрешен в несколько минут.

С годами последовательно, друг за другом, ложились под белые своды склепа братья и их жены, находя вечный покой под одинаковыми гробницами черного мрамора с неугасимыми лампадами под одинаковыми образами их святых. Сменялись времена, и наступила новая эпоха. В один прекрасный день советская власть опубликовала декрет о ликвидации всех домовых церквей и имеющих под ними склепов. Покойников надо было перевозить на кладбище или обречь их останки уничтожению. Отец был в отчаянии. В годы разрухи, зимой куда-то перевозить полдюжины гробов с покойниками. Как все это сделать, организовать, откуда достать транспорт? С живыми-то хлопот не оберешься, а тут еще о мертвых заботы! А вместе с тем бросить все как-то нехорошо, словно от родителей отказываешься. Отец охотно хлопотал о чужих, о деле всей своей жизни — о музее, но терпеть не мог досаждать кому-либо с просьбой о самом себе. Все же благоговейная память о родителях заставила его пересилить в этот раз самого себя. Пользуясь личным, весьма поверхностным знакомством с председателем Моссовета, он надел свою шубу и поехал в Моссовет. В том же здании, в тех же комнатах, где полстолетия тому назад стоял перед всемогущим московским генерал-губернатором трепещущий Василий Алексеевич, ныне находился мой отец. Председатель Моссовета встретил его любезно и терпеливо выслушал просьбу о разрешении оставить склеп в неприкосновенности.

— Что же делать-то? — наконец произнес он. — Право, не знаю. Изменить или не подчиниться распоряжению правительства я не могу — сами понимаете. Я могу вам выдать отсрочку, но ведь все равно рано или поздно придется что-то предпринимать! Единственный выход, который я предлагаю, — это вовсе ликвидиро-

вать помещение склепа, точно его и не существовало никогда!

— То есть как? — спросил отец.

— Очень просто — оставить покойников на месте и навсегда замуровать кирпичами вход и заштукатурить его!

Предложение было с радостью принято отцом. В хмурый зимний день мы в последний раз вошли в склеп проститься с нашими стариками. У входа стояли каменщики с разведенным цементом и готовыми кирпичами. Под белыми сводами царил обычный тихий покой, в своих пурпурных стаканчиках мерцали электрические лампы. Как только мы вышли, каменщики взялись за дело. Работа шла споро, каменщиков подгоняли ожидавшие штукатуры. Скоро на месте, где был склеп, высилась общая больничная стена. Так и спят до сих пор мои деды в своем нерушимом уже никем покое, под своими мраморными гробницами, и, быть может, еще не перегорели все лампы их неугасимых светильников.

Но я забежал очень далеко вперед. Графиня Келлер, конечно, не оплатила своих векселей вовремя и не внесла процентов. Князь сдержал слово и не стал более за нее ходатайствовать. По решению суда пышная родовая барская усадьба, некогда принадлежавшая воспитанной Пушкиным и Баратынским экстравагантной Аграфене Федоровне Закревской, рожденной графине Толстой, жене знаменитого московского генерал-губернатора «Чурбан-паши» — Арсентия Андреевича Закревского, перешла к Бахрушиным.

Новые владельцы имели право претендовать лишь на недвижимое имущество. Выжившая из ума, бессильная в своей злобе старуха, графиня Келлер, будучи не в состоянии вывезти всего несметного движимого имущества, приказала своему управляющему разрешить всем брать из дому все, что им понравится, но только не

новым владельцам. Мой старший дядя Владимир, принимавший имение, был свидетелем, как окрестные крестьяне наваливали на свои подводы столы с крышками из цельного малахита и ляпис-лазури, огромные, в человеческий рост, фарфоровые вазы Императорского завода — подарки Николая I своему верному сатрапу, музейную мебель красного дерева и карельской березы, столовую посуду. Помешать этому он юридически не имел права. По бездорожью глубокой осени обозы медленно выползали с красного двора усадьбы и растекались по проселкам. Часто на каком-либо ухабе воз опрокидывался — разлетались в куски драгоценный фарфор, мебель и сибирские монолиты. Наконец вошедшие в раж стяжатели начали отковыривать художественную чеканную бронзу от каминов и дверей — здесь уже выступил дядя и властно предъявил свои права. Все же одному человеку было трудно поспеть всюду, и пока он охранял недвижимость в доме, в парке преспокойно освободили памятник гр. Каменскому ото всех обременявших его бронзовых атрибутов. Наконец дом был очищен, оставалось лишь подписать акт о сдаче и приеме. В один из вечеров позднего ноября и эта формальность была исполнена, но графиня Келлер на прощанье готовила еще один сюрприз — она твердо решила перед уходом крепко хлопнуть дверь. Среди недвижимых ценностей усадьбы были знаменитые оранжереи Закревского. Там в парном воздухе теплиц в грунте росли столетние померанцы, персиковые деревья со стволами в человеческую руку, тропические пышные ананасы и причудливые бананы. Все это обильно плодоносило в положенные сроки, и диковинные ивановские фрукты повергались чванливой хозяйкой если не к стопам, то к столам высочайших особ. В ночь подписания акта управляющий графини отдал последний приказ садовникам — открыты настезь все теплицы. Бессильная злоба полусумасшед-

шей аристократки и ноябрьский мороз в одну ночь уничтожили заботливый труд поколений людей. Лишь несколько персиковых деревьев уцелело каким-то чудом. Впоследствии я любовался этими ветеранами и лакомился их плодами.

Перешедшее в руки новых владельцев имение пустовало. Мои деды были достаточно культурны, чтобы не превращать старинную вельможную резиденцию в фабричный корпус. Вместе с тем их хозяйственные натуры мучились при мысли, что такое владение лежит неиспользованным. Дом-дворец и хозяйственные пристройки и корпуса, стоявшие без ремонта, постепенно начинали ветшать. Всех больше расстраивался старший брат отца, дядя Владимир Александрович. Он часто навещался в Ивановское, отдавал там необходимые распоряжения, старался поддерживать усадьбу. Летом это было особенно затруднительно, так как его многочисленная семья жила на даче и приходилось раздираться между семьей, фабрикой, дедом, жившим в Москве, и еще Ивановским. А дядя еще любил природу, деревню, растил цветы, ездил верхом. Дед видел все это и наконец решил положить конец мытарствам дяди, по возможности объединив его заботы. Против 23 марта 1903 года в записной книжке деда появилась заметка: «Имение г. Келлер купил Володе на 200.000 р. Я ему свою часть подарил». (Дед не вполне правильно выразился — он не купил, а выкупил: имение принадлежало всем трем братьям, т. е. товариществу.) С этих пор Ивановское стало постоянной летней резиденцией деда.

На моем веку мне довелось посетить достаточное количество больших барских усадеб, но мне не приходилось встречать равной по величине и размаху. Значительно превышая своими масштабами прославленное Архангельское, Марфино, Останкино и т. д., оно зато сильно уступало им в своей художественной ценности.

Ивановское было родовой вотчиной графов Тол-

стых, но своего блеска оно достигло в конце XVIII века, когда мало чем примечательный гр. Федор Андреевич Толстой женился на дочери богатейшего сибирского откупщика Твердышева. Богатства, полученные им за согласие дать свой титул дочери откупщика, позволили осуществить любые фантазии. Одной из подобных фантазий было, очевидно; сооружение главного дома усадьбы. Все мои попытки выяснить, кто был зодчим ивановского дворца, не увенчались успехом. Надо думать, что участие архитектора ограничилось представлением проекта — все остальное было выполнено подрядчиками, под непосредственным наблюдением владельца, который вносил в стройку собственные коррективы. Эти коррективы все же не смогли окончательно нарушить благородные пропорции здания и его величественной планировки, но в значительной мере упростили его общий вид и утяжелили весь ансамбль. Сквозной воздушный купол был заменен нелепой вышкой, пропилен, соединявшие главный дом с флигелями, были забраны сплошными стенами и лишены украшавших их статуй.

Ивановское отстояло на три версты от уездного города Подольска. На второй версте шоссе делало крутой поворот, и через несколько минут езды по проселку неожиданно открывался весь вид на усадьбу. Этот вид напоминал панораму, так как главный дом, а также прилегающие строения и деревня, вытянувшись во фронт по обеим сторонам дороги, были расположены под горой, в низине. По ту сторону дома понижение почвы шло еще более круто к реке Пахре, на берегу которой и был расположен вековой липовый парк. Дом, спланированный гигантской буквой П, поражал своими размерами. В нем кроме обширного парадного зала в два света, поместительной домово́й церкви и домашнего театрального зала мест на триста было около двухсот жилых комнат. Кроме этого главного дома

имелись многочисленные службы, отдельная каменная дача хорошей архитектуры и еще один, довольно значительный своим размером дом, некогда превращенный Закревским не то в казарму, не то в манеж. В парке садовая архитектура отсутствовала, за исключением грота и полуразрушенного памятника гр. Каменскому, первому начальнику Закревского, которому он воздвигал монументы во всех своих имениях, благодарно чтя его память. Грот, расположенный у самого берега реки Пахры, был одной из затей вдохновительницы Пушкина и Баратынского «беззаконной кометы», «Магдалины» с хохотом русалки, бурной и великолепной графини Аграфены Федоровны. В нижнем этаже дома для нее была устроена затейливая ванна, отделанная туфом, раковинами и перламутром. Из этой комнаты некогда шел подземный ход в грот, дабы в жаркие летние дни графиня, раздевшись в ванной, могла без помех, избегая любопытных взглядов, идти на речку купаться.

Имя Ивановское в 40-х годах прошлого столетия то и дело мелькало в разговорах москвичей. Из этих разговоров оно переходило в сатирические стихи, в изящную и мемуарную литературу. Великосветский беллетрист Болеслав Маркевич развернул действие своего романа «Четверть века назад» на фоне этого имения.

В моей памяти Ивановское запечатлелось с раннего детства. Бывало, въезжаешь на Красный двор и ищешь уже на подъезде знакомую фигуру деда, сидящего в плетеном кресле в белом чесучовом костюме и мягкой фетровой шляпе под неусыпным наблюдением склонившейся над ним мраморной Помоны. Вечером дед отправлялся гулять по березовым аллеям, шедшим от въездных ворот до красного двора. Затем он располагался на лавочке у ограды дома и застывал, наблюдая медленное угасание летнего дня.

Приезжали мы обычно под праздник. Вечером все

разбредались по своим апартаментам. Завсегдатаи имели в огромном доме свои постоянные комнаты, которые отпирались лишь в дни приездов своих обитателей; кроме того, имелась еще масса помещений для случайных гостей. Гостям в Ивановском всегда представлялась полная свобода. Они обычно разбивались на отдельные группы и проводили время так, как это им наиболее подходило. Единственно, что объединяло все эти группы, были обед и ужин, на которые все сзывались хриплым гудком старого велосипедного рожка, раздававшегося в урочный час из-под стройной колоннады балкона на фасаде дома.

Воскресное утро обычно начиналось обедней в домашней церкви. Небольшая церквушка наполнялась крестьянами из деревни и домашними всех рангов. Все имели свои излюбленные места. Я обычно стоял перед прелестным образом — акварелью Христа, некогда скопированного с картины Гвидо Рени, быть может, самой графиней Аграфеной или ее беспутной дочерью, ветреной Лидией. Прибывший из Подольска батюшка отец Рафаил служил обедню с чувством, толком и расстановкой, бесконечно поминая присутствующих и их усопших сродников. После обедни шли завтракать, — впрочем, утренний завтрак, так же как и четырехчасный и вечерний чай, — имел пребывание на столе от и до определенного часа, так что каждый вкушал его по своему усмотрению. Дед в этом деле участия не принимал, так как вставал рано и по раз и навсегда заведенному обычаю готовил себе утренний чай на спиртовке в своей комнате.

Обед обычно сервировался на громадной западной террасе, выходявшей в парк. Сквозь узкий коридор вековых лип, через блистательную полосу Пахры открывался с нее вид на пестрые полосы посевов, терявшихся в голубоватой дали. За столом сидело почти всегда не менее двадцати — двадцати пяти человек, а

часто и гораздо больше. Так бывало изо дня в день. После обеда часто организовывались пикники — ехали куда-нибудь верст за десять за грибами, с чаепитием на лоне природе. По вечерам иногда устраивали любительские спектакли. На них собирались, кроме обитателей дома, местные дачники и знакомая интеллигенция Подольска, кое-кто приезжал специально из Москвы. Художественными достоинствами эти зрелища не блистали, но зато искренне забавляли и участвующих и зрителей. Там состоялся и мой первый дебют — я играл в какой-то комедии возвратившегося откуда-то жениха, и моя роль сводилась к тому, что я должен был сказать три слова и перецеловать всех присутствующих на сцене. Как бы прозревая свою будущую работу со Станиславским, готовился я к этой роли серьезно, тщательно гримировался и «держал объект во время игры»...

Юридически Ивановское принадлежало дяде, но фактически хозяином в нем был дед. Имение было безземельное — с огромной усадьбой оно занимало менее двухсот десятин, не считая отдаленную ферму. Доходов оно не давало никаких, зато требовало огромных расходов. Главный дом, службы, конюшни, скотный двор, оранжереи, фруктовый сад, электростанция, дачи — все это поглощало громадные средства как на поддержание порядка, так и на огромный обслуживающий персонал. Каждый год дед оплачивал свое летнее житье в Ивановском тем, что брал львиную долю расходов по его содержанию на свой счет, как якобы сделанных по его желанию и требованию. Когда дед умер, оставив очень значительное состояние своим наследникам, семья покойного дяди, подсчитав расходы, необходимые для дальнейшего содержания Ивановского, пришла к заключению, что они превышают их возможности. Ивановское было подарено Московскому городскому самоуправлению для устройства в нем постоянной

детской колонии, причем часть дома была предоставлена для летнего пребывания бывших владельцев.

На зиму главный дом запирался и функционировал лишь один из флигелей, куда мы, молодежь, иногда делали выезды во время святок или масленой. В таких случаях беззаботное молодое веселье, лишенное стеснительного надзора старших, царило уже в нашем обществе безраздельно и всевластно.

И вот, поди ж ты, несмотря на полную свободу, которая нам всем предоставлялась в Ивановском, несмотря на подлинное веселье, которое там обычно царило, пребывание в нем оставляло во мне всегда какое-то неудовлетворенное чувство. Чего-то не хватало. Прихожу к заключению, что масштабы этой усадьбы уничтожали личность. Семейной жизни там не было и не могло быть. Отсутствие этого тепла домашнего очага и чувствовалось на каждом шагу.

Совершенно обратные воспоминания вызывали у меня посещения другой родственной усадьбы — Новоселок Мценского уезда, где жила семья моей старшей тетки со стороны матери, княгини Варвары Енгальчевой.

Как я уже имел случай упоминать, брак тетки Варвары с князем Иваном Александровичем Енгальчевым в свое время вызвал много неприятных часов в обеих семьях. И старый князь Александр Ельпидифорович и мой дед равно считали подобный союз *més alliances* для обеих сторон. Старики были решительно против брака, один из них боялся, что его заподозрят в женитьбе сына на деньгах, а другой — что покупает дочери титул. Все же настойчивость молодости победила, и родители сдались. Судьба определенно была на стороне молодых и решила зло посмеяться над стариками. Не прошло и двух-трех лет, как моя тетка стала любимицей старого князя, а ее муж начал пользоваться

исключительной приязнью не только деда, но и всех его домашних. Немалую роль в установлении подобных отношений сыграли Новоселки.

Енгалычевы не принадлежали к вельможному русскому дворянству. Татары по происхождению, они никогда не стремились к почестям и власти, а тихонько жили в своем родовом гнезде, в усадьбе Студенец Тамбовской губернии. Там они плодились и размножались, исподволь богатели, не спеша отстраивались, посвящая свои досуги наукам и искусствам. В особенности преуспел в этом прадед моего дяди, князь Порфентий Енгалычев. Масон-иллюминат, член Новиковского кружка, литератор, друг Боровиковского и Кипренского, он прославился в России как автор знаменитого в свое время «Лечебника», пережившего его более чем на столетие и до сего времени не потерявшего ценности. Родственный гомеопатии, этот лечебник изобилует рецептами лекарств, приготовляемых на настоях всевозможных целительных трав. Секреты составления этих снадобий он почерпнул после тщательного изучения и проверки народной медицины. После своей смерти кроме научных трудов князь Порфентий оставил своим наследникам благоустроенную усадьбу, главный дом которой имел полное право стать в один ряд с самыми известными образцами русского усадебного зодчества. Мало того, что он был отделан со всем изяществом и хорошим вкусом второй половины XVIII века, но еще и наполнен множеством произведений русского искусства и отличной библиотекой. Его внук, отец моего дяди, отслужив полагающееся для всякого уважающего себя дворянина время на военной службе, вышел в отставку и жил в своем Студенце. Военную службу князь Александр Ельпидифорович отбывал не в гвардии, а в далекой Сибири, состоя адъютантом известного графа Муравьева-Амурского. Это дало ему возможность перезнакомиться с целым рядом

живших на поселении декабристов и понабраться у них уму-разуму.

Студенец было имение майоратное ¹ и должно было достаться старшему сыну старика, князю Николаю, делавшему себе хорошую карьеру в Петербурге службой в лейб-уланском полку. Заботясь о судьбе своего младшего сына, в 1880 году князь Александр Ельпиди-форович купил для него родовое имение Шеншиных Новоселки в Орловской губернии. В этой усадьбе в 1820 году родился Афанасий Афанасьевич Фет, и там протекали его лучшие молодые годы в обществе соседей-помещиков И. С. Тургенева и графов Толстых из Ясной Поляны. Не раз блестящий поэт упоминал Новоселки и в своих письмах и в своих воспоминаниях, заканчивая свои высказывания об усадьбе фразой «Худо ли, хорошо ли, запродажа наших родных Новоселок состоялась князю А. Е. Енгальчеву». Младший сын князя, мой дядя, женился раньше старшего брата и сразу после брака обосновался в Новоселках. Старик продолжал жить в Студенце. Вскоре женился и его старший сын. Князь Николай вступил в равный брак — его молодая жена не только принадлежала к родовитому дворянству, но была обладательницей и изрядного капитала. Старик был доволен — старший сын не подвел, но чем больше он знакомился со своей новой старшей невесткой, тем более увеличивалась между ними пропасть. Они разговаривали на разных языках. Ее голова была занята двором, придворными интересами, великосветским этикетом, служебной карьерой мужа, а старика тянуло к солидной, но простой усадебной жизни, к лучшим интеллектуальным традициям передового дворянства. Все чаще навещал он свою младшую невестку в Новоселках, которая своей за-

¹ М а й о р а т — имение, переходящее в порядке наследования к старшему в роде или к старшему из сыновей.

ботливой внимательностью безо всякой назойливости все более приходилась ему по сердцу. Да и младший сын, чуждый стремлений блистать в большом свете и довольствовавшийся тихой семейной жизнью помещика средней руки, был ближе к его идеалам. Одним прекрасным днем старый князь сделал революцию. К великому конфузу своего старшего сына и его тонной жены, он объявил, что уезжает из Студенца и навсегда переселяется в Новоселки. Спорить со стариком было бесполезно и пришлось лишь молча согласиться.

Мне не приходилось встречаться с князем Александром Ельпидифоровичем, но, по рассказам старших, это был обаятельный старик, преисполненный лучших старомодных традиций. В любую минуту, невзирая на свой преклонный возраст, он мог сочинить остроумные стишки в альбом, сделать моментальный карандашный набросок, занять скучающего гостя занимательной беседой, в семейном кругу интересно поговорить о старине. Тетке не всегда было легко с свекром. У него были свои взгляды, свои навыки, свои требования, которые он заставлял выполнять. Так, например, по его желанию тетка в деревне должна была выходить из дома летом не иначе, как в шляпке и с зонтиком от солнца. За черту усадьбы она имела право только «выезжать», но отнюдь не отправляться пешком. Отступление от этих правил, по мнению старика, было неприлично. Тетка беспрекословно выполняла его причуды и исподволь переводила его в свою веру. К концу жизни ему даже стало нравиться, что тетка ходит по хозяйству в поле и не боится загореть на солнце. Только в отношении шляпки он оставался непреклонным до последних дней своих.

Брак моей тетки не был бездетным — она одарила меня тремя двоюродными братьями и одной сестрой. Со вторым из ее детей Кириллом, который был на год моложе меня, я и водил дружбу.

Поездки в Новоселки уже имели для меня ту прелесть, что отправлялся я туда один, как большой, а надо было ехать до Мценска целую ночь с лишним. На станции меня встречал либо дядя, либо Кирилл. Мы ехали по старинному уютному Мценску к парому на Зуше. Обычно меня везли, делая крюк, чтобы проехать мимо любимого дома моего отца. Это был старинный барский особняк с колоннами, расположенный в глубине двора, обнесенного затейливой решеткой с большими воротами. По прихоти строителя на этих воротах покоились два огромных льва-монстра. Они были сделаны, видимо, домашним крепостным мастером из гнутого листового железа. Грива животных, исполненная из проволоки, торчала на них дыбарем. Они были выкрашены под бронзу в ярко-зеленый цвет. Где-то об этих львах упомянул даже И. С. Тургенев в одном из своих произведений.

По ту сторону парома начиналась уже деревня. До Новоселок было верст восемь. Быстро мелькали мимо орловские косогоры, густые, низкорослые, незнакомые нам, северянам, рощицы, поля пшеницы и ячменя и кособокие деревеньки. Наконец с левого боку открывалась широкая долина реки Зуши с ее поемными лугами, а справа дорога поднималась вверх, в гору, с низкорослыми зарослями орешни и калины, в усадьбу. Вот уже сквозь деревья вырисовывается флигелек, где жил сперва старик Шеншин, отец Фета, а затем старик Енгальчев. Виднеется сбоку другой домишко, где некогда родился поэт, а вот и главный дом, и мы в Новоселках. Здесь и помину нет величия Ивановского.

Главный дом, так же как и все флигеля, одноэтажный и деревянный. В нем едва насчитываешь восемь — десять комнат. Строения поседели от времени, обросли вплотную сиренью, акациями и жасмином, зацвели на крышах изумрудным мхом. Кругом усадьбы, смягчая зной и яркость солнечного света своими

покровительственными тенями, шелестели вековые липы и лиственницы. Внутри дом был простой и удобный, стены в нем даже не везде были оклеены обоями, словом, он был «отменно прочен и покоен, во вкусе доброй старины». Старина наполняла все покои. Со стен глядели портреты предков, в своем большинстве кисти Боровиковского и Кипренского, изображения каких-то любимых крепостных, карандашные наброски и рисунки, украшенные вензелем «О. К.»¹. В комнатах красовалась мебель карельской березы, еще служившая Фету, покоившая на своих подушках Тургенева и молодого Льва Толстого. Эта обжитая здесь годами мебель чередовалась с благоприобретенной, тоже старинной, из красного дерева, ольхи и ореха. К столу подавалась незатейливая, простая посуда, но приобретенная еще в царствование Николая Павловича. И вся эта старина в Новоселках была не мертво-музейной, а живой и деятельной, верой и правдой служившей своим хозяевам. Единственным исключением был кабинет дяди, превращенный им в подлинный своеобразный музей. Чего-чего там не было. Дядя работал в губернской комиссии по землеустройству. В связи с этим ему приходилось предпринимать длительные поездки по губернии. Из этих путешествий он неизменно возвращался с трофеями. То он выуживал у какого-то попа царские двери XV века, превращенные священнослужителем за ветхостью в постельные щиты — «удобно очень: гладкие и щелей нет — клоп не заводится», — как объяснял он дяде; то он приобретал у крестьянки какой-то невероятный железный безмен с датой начала XVIII века, то извлекал откуда-то редкостную вазу, красавицу люстру или медное паникадило. Все это он сосредотачивал в своем кабинете, который, несмотря на загромождавший его антикварный инвентарь, каким-то

¹ Орест Кипренский. (Примеч. Ю. А. Бахрушина.)

чудом не превращался в пыльный склад, а оставался живой жилой комнатой.

Енгалычевы умели принимать гостей. Они никогда не оказывали подчеркнутого внимания приезжему. С появлением чужого человека в доме, казалось, ничего не менялось в повседневной жизни хозяев. Все как будто шло своим раз и навсегда заведенным порядком, на приехавшего как бы не обращали никакого внимания. Вместе с тем самым тщательным образом учитывались интересы, склонности и страсти гостя. Так бывало и со мной. Вдруг тетка за обедом скажет моему двоюродному брату:

— Что-то все надоело. Хоть бы ты, Кирилл, нас рыбой угостил. Сходил бы в деревню к Федотычу да сговорился бы!

Нечего и говорить, что на другой же день желание тетки выполнялось к моему и Кириллиному великому удовольствию.

Федотыч был примечательной фигурой быта Новоселок. Это был один их тех талантливых русских мужиков, мастеров на всякое дело, которые слывут в деревнях лодырями и «некчемушными» за их упорное нежелание заниматься тем, чем занимаются все. Он добывал себе пропитание охотой, рыбной ловлей, мастерством игрушек, всякими невероятными починками сломанного, но только не хлебопашеством. Ловили рыбу сетью, исполу, на том основании, что сеть была княжеская, а челнок Федотыча. Труд был общий, рыба делилась пополам, за исключением ершей, которые шли в пользу рыбаков, из которых Федотыч тут же на берегу на костре варил уху в котелке. Федотыч был рослый, краснорожий, начисто выбритый мужик. Всякое дело он делал с прибауткой, присказкой или остроумной. Славился он на деревне необычайной грубостью своей кожи. Рассказывали, что операцию бритья он производил следующим образом: мажет лицо кероси-

ном, зажмуривается, закрывает ладонью глаза и подпалывает себя спичкой. Этого я никогда не видел, зато был свидетелем другого смертельного номера. Уху Федотыч варил по-особенному — наваливал в котелок полным-полно рыбы, не чистя ее, варил ее до разварки, потом выкидывал вон и снова наполнял котелок новой рыбой, доливая его водой. Так происходило несколько раз, пока уха не превращалась в какое-то упоительно вкусное расплавленное желе. Когда уха была готова, Федотыч засучивал рукава, лез в костер и безо всяких для себя неудобств брал из огня руками кипящий ключом котел и не спеша ставил его поодаль на травку, после чего потирал себе руки и говаривал: «Хорошо — тепло!»

Иной раз неожиданно возникает срочная необходимость передать какое-либо письмо соседу помещику, живущему верст за двадцать от Новоселок, и гонцами к нему наряжаемся мы с Кириллом на верховых лошадях. Новое развлечение! А то дядя заявит за обедом:

— У нас у реки овес косить начали. Я велел идти кругами. Часам к трем все перепела в середке в кучу собьются. Взяли бы ружья да прогулялись бы на покос — жареная перепелка вещь недурная, да и паштет тоже штука хорошая!

Опять удовольствие. Иной раз гостям преподносились интеллектуальные развлечения. Как-то во время разговора тетка сказала Кириллу:

— Пригласил бы Пименовича — он бы что-нибудь рассказал интересное!

На другой день я познакомился с Пименовичем, или Дмитрием Пименовичем Соболевым. Это был маленький, сухонький и поджарый старичок на вид лет семидесяти, чисто выбритый и аккуратно одетый, с тоненьким посошком в руке. На самом деле ему уже стукнуло девяносто шесть лет, но взор его был ясен, речь чиста, фигура — пряма. В дни своей молодости он

занимал ответственный в помещичьем быту пост псаря. В его ведении находились своры Афанасия Афанасьевича Фета. Вместе с воспоминаниями далекого прошлого Пименыч сохранил и давно умершие навыки. Идя по усадьбе мимо барского дома, какая бы погода ни была, он обязательно снимал шапку и надевал ее лишь после того, как минет барские хоромы. При разговоре попросить его сесть была вещь бесполезная, он укоризненно смотрел на собеседника, качал головой и оставался стоять, опираясь на свой посошок, с непокрытой головой. При встрече с «господами» он спешил подойти «к ручке». Бремя лет его мало тяготило — каждый день по каким-то своим делам он пешком совершал прогулку в Мценск восемь верст туда и восемь обратно. При знакомстве со мной он стоял в своей обычной позе, склоняясь немного вперед, опираясь на посошок. Желая записать свой разговор, я принужден был сесть перед стариком. Говорил он плавно, немного нараспев:

— Хозяйство у нас большое было. На псарне семьдесят гончих держали, шестьдесят борзых. Одной двори сорок дворов было. На охоту к нам завсегда по осени много господ съезжалось. Из Засеки графы Толстые приезжали. Граф Лев Николаевич не очень охотиться любитель были. Вот братец ихний, граф Николай Николаевич, те побойчее были. Очень они на охоте горячи были. Раз при мне борзятник их протравил русака, так они с коня слезли и ну его арапником учить. А борзятник-то был золотой, да вольнонаемный, да с норвом. Как пыл-то с графа сошел, он и говорит: «А теперь, ваше сиятельство, пожалуйста расчет!» Граф туда-сюда, как быть? Второго такого мастера не сыщешь. Так при всем честном народе и говорит борзятнику-то: «Прости, мол, меня Христа ради, что так погорячился; сам знаешь — охота!» Ну, дело и обошлось. Борзятнику-то тоже лестно, что граф у него при всех прощения просил. Вот тоже барин из Спасского, Тургенев Иван

Сергеевич, большой любитель до охоты были. Когда они из-за границ приезжали да в Спасском жили, то наш барин Афанасий Афанасьевич на недели, бывало, по два раза к нам с письмами посылали. А они как завидят меня, так завсегда скажут: «А!.. Митрий, письмо привез!» — и прикажут на кухне водки поднести и рубль подарят. Хороший, добрый барин были. Из себя не очень представительный, роста обыкновенного, плотный такой, нос большой и волосы носили похристиански, под скобку. Сестра-то нашего барина Афанасия Афанасьевича, Надежда Афанасьевна, что за Борисова за барина Ивана Петровича потом замуж вышли, очень в Ивана Сергеевича влюблены были, а дело-то у них это не спорилось. Вот как-то они что-то промеж себя не порешили, да так, что Надежда Афанасьевна вроде как бы ума решила и ночью от мужа в одной рубашке на Зушу убежала топиться. Меня вдогонку за нею послали спереди, а за мною — Фенька, дворовая девка с шалью. У самой воды ее изловили, в охалку и домой... Езжали мы на охоту и в Спасское и в Засеку, со своими сворами, с псарями и доезжачими и борзятниками. Барин-то Афанасий Афанасьевич очень хозяйственный были. Каких только у нас здесь мастерских не было. И сапожные и портняжные, и веревочная и каретная. В каретной мастерской по всему помещению особые трубы были проложены — на них сохли от экипажей разные части... Что говорить — хорошо жили!..

На вопрос, когда Пименыч родился и кто были его родители, старик просто ответил:

— Родился я, сказывали, через шесть лет как француза из России выгнали, а мать моя была дворовая девушка!

Не у одного Пименыча остались воспоминания о былом житье-бытье Новоселок. В нескольких верстах от Енгальчевых жил сосед-помещик Абрикосов, один

из любимых учеников и последователей Льва Николаевича Толстого. За год до своей смерти Толстой решил посетить Абрикосова. Путь из Ясной Поляны он проделал на лошадах. Весть о том, что у Абрикосова гостит Толстой, мигом облетела округу. Точно узнав о том, когда редкий гость поедет обратно, дядя с непокрытой головой и тетка, по древнему русскому деревенскому обычаю, встретили гениального старика, стоя на дороге у границы своего владения. Толстой остановил свою коляску и любезно пригласил их сесть в экипаж, чтобы проехать вместе с ними по их имению. У главного дома в Новоселках была сделана новая остановка. Созерцая знакомые ему с молодости строения, Лев Николаевич перенесся в прошлое и стал рассказывать, как выглядели Новоселки при Фете, какие в них произошли изменения, как текла в них жизнь. Дядя воспользовался случаем и снял Толстого с теткой в экипаже. К сожалению, погода была не солнечная и негатив получился слабый. Отпечаток этой ныне уникальной фотографии был передан мною в свое время в Театральный музей и, вероятно, где-нибудь хранится по сие время. После почти получасовой остановки Толстой продолжил свой путь. Дядя и тетка проводили его до границ Новоселок...

В дождливое время вечером дядя иногда зазывал нас с Кириллом в свой кабинет под предлогом, что ему нужно помочь в разборке какого-нибудь ящика письменного стола. Он не спеша извлекал из недр своего хранилища пожелтевшие от времени письма и документы, очаровательные старинные альбомы в переплетах из красного и зеленого марокена¹ с бронзой, тетради рисунков и отдельные наброски. На некоторых вещах он останавливался, давая свои объяснения, чи-

¹ Марокен — тисненый сафьян для книжных переплетов.

тая выдержки и рассказывая их историю. Как сейчас помню большую тетрадь с зарисовками отца дяди, Александра Ельпидифоровича, которые он делал в Сибири, в бытность адъютантом гр. Муравьева-Амурского. Живо, с большим юмором сделанные наброски изображали и самого знаменитого администратора, его окружение, ссыльных декабристов и быт тогдашней Сибири. Остались в памяти отдельные листы, а также и тетради, испещренные свободным, сильным штрихом Ореста Кипренского. Тут были и представители семьи Енгальчевых, и пианист Фильд, преподававший музыку в доме, и наброски дворовых. Были и рисунки Боровиковского. Особенно памятна мне масонская икона «Седьми духов» кисти великого художника. Среди величественного хаоса небес подобная облаку стояла фигура молодого мощного красавца Саваофа, а вокруг него, в облаках, отображались еще шесть торжественных ликов. В альбомах, наряду с наивными мадригалами конца XVIII века, встречались строфы зачинателей литературного русского языка. Естественно, что подобная разборка ящиков не только коротала непогожие вечера, но заставляла даже сожалеть об отсутствии дождливой погоды.

Подчас мы развлекались с Кириллом самостоятельно. Как-то раз вечером он предложил мне пойти на деревню, посмотреть, как орловские пляшут. При нашем появлении в деревне Кирилл, весельчак и балагур, был немедленно окружен гулявшей после трудового дня молодежью. Он представил меня и предложил пустить москвичу пыль в глаза орловской пляской. Произошла кокетливая заминка, раздались смущенные смешки девушек. Тогда он взялся сам лично начать показ. Сделав несколько колен, он вовлек в пляску девушек. Дальше дело пошло уж как по маслу. Кирилл только время от времени выкрикивал имена знакомых

девушек-танцорок. Постепенно вокруг нас собрался кружок крестьян и крестьянок. Во время плясок все поминали какую-то Марью, но ее не было среди присутствующих. Тогда Кирилл отрядил кого-то за нею. Через некоторое время явилась скромная на вид женщина лет сорока с лишним. Завидев ее, все бросили плясать и обратились к ней с просьбой показать свое искусство. Она отнекивалась — тогда к просящим присоединился и Кирилл.

— Уж право, не знаю как, ваше сиятельство, — нерешительно сказала она, — сплясать-то, конечно, можно, да только... Уж простите меня, я до дому дойду, спрошу, позволит ли мне мой хозяин.

Просьба, подкрепленная аргументом, что «молодой князь просит для гостя», была уважена. Марья прибежала обратно веселая и начала плясать... С первых же тактов плясовой она начисто вытравила все впечатление от предыдущих выступлений. В ее пляске не было никаких забористых колен, никаких особенных хитростей. Наоборот, она танцевала исключительно просто и естественно, настолько естественно, что трудно было себе представить, как она вообще могла двигаться вне танца. Пляска была ее стихия, как воздух для птицы, как вода для рыбы. В отличие от остальных танцовщиц, исполнявших свой танец с каменным лицом, она все время мимировала. Ее глаза, улыбка, внезапные повороты головы дополняли все то, что делали ноги, руки, тело. Зритель забывал ее возраст, ее трудовую крестьянскую фигуру и ловил себя на том, что непроизвольно повторял ее движения. Это делал не я один, а большинство смотревших, за исключением немногих завистливых профессионалок, внимательно и деловито следивших за каждым ее движением, в надежде перенять то, что перенять нельзя: врожденного дара природы — вдохновения художника. Марья плясала долго и неожиданно прервала танец на законченном, но не

финальном движении — больше она плясать не стала, несмотря на все просьбы. Мы пошли домой, сопровождаемые гурьбой деревенской молодежи. Кругом пели, шутили, смеялись, а я все видел перед собой танцующую Марью.

Любили мы с Кириллом забраться в кладовую во флигеле и разрыть сундук его покойного деда. Тогда на свет Божий извлекались какие-то каски старика времен Николая Павловича и Александра II, его мундиры, треуголки с петушиными перьями, блестящие палаши. Все это мы, великовозрастные балбесы, напяливали на себя и устраивали своеобразный маскарад, который, надо признаться, весьма нас забавлял. Мы даже не смущались в тех случаях, когда за нами вдруг неожиданно раздавался возглас дяди: «Ну и дураки!»

На дядю вообще обижаться было нельзя. Это был один из тех очаровательных людей, которые располагают к себе с первых же слов всякого, кто с ними соприкасается, невзирая на общественное положение и образование. Он всегда был желанным гостем и своих родных, и знакомых, и крестьян, с которыми ему приходилось иметь дело по службе и имению. Человек высокой врожденной культуры, чрезвычайно отзывчивый и чуткий, он обладал исключительным даром добродушного остроумия. С ним было весело всем, и старикам, и нашим родителям, и нам, молодежи. Можно было всегда безошибочно определить, где находился дядя, по раздающемуся смеху собеседников. Это вместе с тем отнюдь не значило, что князь Иван был одним из тех влюбленных в свой дар «остроумцев», которые никогда не могут говорить серьезно или внимательно слушать других. Наоборот, его серьезные разговоры производили тем более сильное впечатление, что они исходили именно от него, человека, от которого привыкли слышать только шутки. Даже нравоучения, которые ему иногда приходилось читать нам, молодежи, никогда не

производили на нас тягостного впечатления, так как он в таких случаях всегда говорил с нами безо всякого тона превосходства, как с равными, скорее советуясь, рассуждая, чем поучая, и заканчивал беседу всегда какой-либо остроумной шуткой. В Новоселках я никогда не слышал о каких-либо недоразумениях с крестьянами, как это бывало обычно в Пчелинровке у Силиных. Оглядываясь теперь назад, прихожу к убеждению, что причиной этих стычек были не крестьяне, а помещики, которые не понимали подчас крайне своеобразный ход мужицкой мысли.

Тетка Варвара была по своему характеру вполне парой дяде. Рассудительная и очень неглупая, она как-то сочетала эти качества со смешливым легкомыслием и задорной кокетливостью. При первом взгляде на ее лицо с пикантно вздернутым носиком и ямочками на щеках никак нельзя было предположить, что под этим кроется заботливая мать, хорошая хозяйка и любящая жена.

На зиму Енгалычевы обычно переселялись в Москву, где учились их дети, а впоследствии обосновались в Орле, откуда их спугнула революция. Они почему-то решили эмигрировать. Где они сейчас и живы ли — понятия не имею. Знаю, что они скитались по Балканам, а затем переехали в Америку. Вспоминая эту семью, я шлю ей свою благодарную память и глубоко сожалею, что нелегкая занесла их в эмиграцию, где все должно было быть им чуждо и где они никоим образом не могли найти себя, так как и по духу и по мыслям были людьми русскими. Видимо, нашелся в Орле «добрый советчик», который сбил их с толку.



наступлением осени наше сравнительно тихое семейное дачное житье, как всегда, уступало место московской сумятице. К этому времени состав наших завсегдатаев, постоянных посетителей субботних сборищ, значительно изменился. Многие были за смертью, другие как-то сами собой отпали. Из прежних неизменными остались В. К. Трутовский, Н. А. Попов и В. В. Постников. Е. Н. Опочинин вообще делался нашим завсегдатаем периодически. В этот период он как раз бывал редко, где-то пронадая, большей частью вне Москвы. Зато взамен выбывших появились новые. Как всегда, отец избирал их из числа людей, преданных делу создания его музея и могущих быть ему полезными в этом направлении. Среди этих постоянных посетителей видное место занимали теперь петербуржцы. Из них особенно близкими нашему дому стали А. А. Плещеев и В. А. Рышков.

Александр Алексеевич Плещеев был прямым наследником литературно-журнальных традиций прошлого века. Барин-сibarит, не лишенный наследственного литературного дара, он часто «шалил пером». К этому занятию принуждало его не столько призвание, сколь родство — он был сыном известного

поэта А. Н. Плещеева. От своего знаменитого отца вместе с несомненным талантом он унаследовал и природную лень, и легкомыслие, и редкую незлобивость и доброту, и безалаберность, и беспечность. Оставаясь журналистом, кем-кем только он не был на своем веку — и актером, и чиновником, и редактором, и коммерсантом — всегда неудачно. Он вечно был в долгах и без денег. Не раз он прибегал к займам у моего отца. Отец, с присущей ему бесцеремонной откровенностью, говаривал при этом:

— Удивляюсь я, Александр Алексеевич, куда вы деньги девае: конечно, это меня не касается, но недавно ведь книжку свою вторым изданием выпустили, и опять вы без денег!

Плещеев добродушно улыбался:

— Да я сам не знаю, почему я без денег. Дал кой-кому займы — очень просили, заплатил кое-какие долги, и денег-то и нету. Это ведь у меня семейная черта. Когда покойный отец получил, неожиданно-негаданно, миллион золотых рублей — наследство после княгини Белосельской, этих денег хватило только на год. Купили особняк в Париже, завели свой журнал, лошадей, давали заем по двадцать тысяч, и вдруг денег нет. Видимо, бессребренность повелась в нашей семье со времен ее родоначальника святителя Московского митрополита Алексея!

Взятое в долг Плещеев всегда возвращал, если не деньгами, то вещами в музей. Балетный отдел музея обязан многими своими экспонатами именно ему.

Кроме преданности музею, отца привлекала в Плещееве его беззаветная любовь к родному русскому балету. Балет, в особенности петербургский, многим обязан Плещееву. Его книга «Наш балет» явилась первым серьезным трудом по истории русского столичного императорского балета. Теперь у театроведов,

занимающихся балетом, вошло в моду всячески поносить труд Плещеева: дескать, он-де несерьезен, написан в фельетонном жанре, изобилует описанием юбилеев и подношений, цитирует поздравительные стихи и так далее. Все это верно, но вместе с тем ни один из этих историков театра не станет ничего писать о петербургском балете, предварительно не слазив в книгу Плещеева, которая неизменно стоит у них на видном месте книжного шкафа. Все написанное по этому поводу до Плещеева, даже и наиболее ценное, как, например, большая статья Скальковского, стоит далеко позади его книги.

Плещеев был неплохим рецензентом, но только все его рецензии страдали чрезмерной благожелательностью. Хлестко обругать кого-либо было выше его сил. Он всегда старался найти какие-либо оправдательные обстоятельства для неудачливого или слабого артиста. Впрочем, его рецензии на балетные представления конкурировали в Петербурге с отзывами всесильного когда-то законодателя балетной критики К. С. Скальковского. Это бесило старика, который вместе с положением терял и доходы и существовал благостынями какой-то балерины, которую он всячески рекламировал и которая его третировала.

Однажды из-за Плещеева у моего отца произошла легкая стычка со Скальковским. Из-за какой-то грязной истории старик невзлюбил танцовщицу Ю. Н. Седову и всячески игнорировал ее. Будучи в Петербурге, отец увидел Седову в «Лебедином озере» и попросил Плещеева написать о ней рецензию. На другое утро отзыв Плещеева появился в газете. В тот же день отец отправился с Плещеевым завтракать к Кюба. Там за столиком сидел Скальковский, с которым отец был шапочно знаком.

— А... а... а! Новый покровитель явился! — съязвил Скальковский и, указывая на Плещеева, доба-

вил: — Я знаю — это дело его рук! Ведь он в вашей власти, что прикажете, то и напишет!

Это был бестактный, публичный намек на то, что Плещеев должен отцу. Отец вспылил.

— Что ж,— ответил он,— не все вам приказывают!

Скальковский покраснел и замолчал. Этот инцидент произошел уже незадолго до смерти Скальковского, когда от его прежнего могущества не осталось и следа. А в свое время самые самоуверенные артисты балета, занимавшие первое положение, по окончании своего номера на сцене с трепетом обращали свой взгляд в первый ряд партера, где в своем постоянном кресле покоилась грузная фигура Скальковского. Если он, лениво глядя на сцену, не спеша аплодировал раза три, хлопнув пальцами правой руки по ладони левой, артист успокаивался — значит, все было в порядке. Это были те времена, когда Скальковский занимал пост управляющего горным департаментом. Тогда он вел себя как восточный сатрап, как маленький Потемкин, в особенности во время поездок на ревизии. В таких случаях он неизменно следовал в отдельном министерском вагоне, обильно снабженном вином, в особенности шампанским, и всяческими яствами. Его сопровождали личный секретарь для дела и какая-нибудь очередная девушка из балета для развлечения. Зачастую приходилось так, что поезд прибывал на Урал рано утром, часов в пять. Предстояла ревизия какой-либо шахты. Осовевший и охмелевший Скальковский, сидя за столом со своим «антуражем» и допивая вино, быстро настраивался на деловой лад.

— Как только приедем,— отдавал он распоряжение секретарю,— немедленно, никуда не заезжая, отправитесь на место и спуститесь в шахту, все осмотрите и немедленно ко мне с подробным докладом!

Лицо секретаря после подобного предложения вытягивалось, отнюдь не выражая восторга.

— Что!!! — гремел Скальковский. — Вы боитесь! Не надо! Поедешь со мной?! — обращался он к балетнице.

— С удовольствием, Константин Аполлонович! — дрожащим голосом выжимала из себя девушка.

— То-то — сам поеду!

И вот рано утром, часов в шесть, Скальковский в сопровождении балетной артисточки деловито спускался в сырую мрачную шахту, на глубину нескольких десятков саженей. Неожиданное появление там управляющего вызывало переполох и зачастую помогало обнаружить то, что в других обстоятельствах было бы тщательно скрыто. Подобная деловитость не мешала Скальковскому откровенно брать взятки. Однажды к нему с Урала приехали какие-то дельцы с просьбой устроить им какую-то сомнительную комбинацию. В конце беседы они незаметно передали Скальковскому конверт с десятью тысячами рублей.

— Так можно рассчитывать, Константин Аполлонович?

— Да, да, разумеется!

— Это между нами, конечно! — добавили дельцы, легонько подталкивая конверт в сторону управляющего. Он же, не стесняясь, взял его, пересчитал заключенные в нем деньги, поморщился и добавил:

— Знаете что? Дайте лучше двадцать пять, и тогда можете всем об этом говорить!

Все же справедливость заставляет сказать, что Скальковский был исключительно образованным человеком, обладавшим громадными и самыми разнообразными познаниями. Он отличался редкой трудоспособностью, острым умом и был замечательным администратором. При этом он был известен своим злым остроумием и оригинальностью поступков. Он покинул

службу в разгар своей карьеры, обидевшись, что его обошли министерским портфелем, на который он по праву рассчитывал. В знак презрения к «высшим сферам» он, будучи ярым юдофобом, немедленно вызвал к себе какую-то захудалую еврейку, торговавшую на Александровском рынке всяким старьем, и за бесценок продал ей свой придворный камергерский мундир и все свои ордена. В последующий за этим период времени Скальковский отличался особенной ядовитостью и недоброжелательностью. Поэтому-то он так ревниво относился к своему положению единственного знатока балета, и его так задевали успехи других, вроде Плещеева, на том же поприще. В каждом таком человеке он видел конкурента, который отбивает у него хлеб. Иронией судьбы после смерти Скальковского большинство из его ценнейшего собрания по балету попало в Театральный музей к отцу благодаря Плещееву.

Сближало отца с Плещеевым и общее преклонение перед талантом Ек. Ник. Рощиной-Инсаровой. Отношение Плещеева к Рощиной было поистине трогательным. Он старался не пропускать ни одного спектакля с ее участием, благодаря чему был в постоянных разъездах, следуя за ней как тень во время ее гастрольных поездок. Он тщательно собирал все, что касалось ее творчества, — вырезки из газет и журналов, программы, афиши, фотокарточки, портреты. Все это он присылал в музей отца. Рощина как-то привыкла к своему постоянному рыцарю — он ей не только не мешал, но даже стал необходим, как привычная обиходная вещь. Она об нем постоянно заботилась и называла почему-то «Пумой», хотя что общего было между неповоротливым и добродушным Плещеевым и ловким, кровожадным животным — для меня непонятно.

Помню, как одним летом мой отец и Плещеев провели свой летний отдых в поездке на пароходе по Волге вместе с Рощиной. У них была масса забавных

приключений, которые я теперь уже забыл. Рощина была причиной и того, что Плещеев эмигрировал. Революция ему не нравилась, она явно нарушала его спокойную жизнь, но он ее не боялся, так как совершенно справедливо говорил, что всегда вел трудовую жизнь и зарабатывал свой кусок хлеба собственным трудом. Зато у Рощиной, незадолго до этого вышедшей замуж за гр. Игнатьева, она вызывала опасения. Она решила покинуть Россию, и верный себе Плещеев последовал за ней. В последние годы его пребывания на родине я уже серьезно занимался историей балета, и он благословлял меня на этот путь, скромно рекламируя меня даже в печати. Отъезд Плещеева не прекратил с ним связи нашего дома. И отец и я были с ним в постоянной переписке. А он ежемесячно присылал из-за границы увесистые бандероли с вырезками из газет, журналами, афишами и программами. Все, что касалось Рощиной и драмы, присылалось им же на адрес отца и музея, а все относящееся к балету — на мое имя. Где и когда умер Плещеев, мне точно неизвестно, но он навсегда оставил в моем сердце светлую о себе память.

Вторым петербуржцем, ставшим завсегдаем нашего дома, был Владимир Александрович Рышков, секретарь отдела русского языка и словесности Академии наук. Этот человек сыграл решающую роль в истории музея моего отца.

Как с внешней стороны, так и по характеру он был полной противоположностью Плещеева. Вылощенный, подтянутый, облаченный в неизменную визитку, с холеной бесцветно-блондинистой ассирийской бородкой и прической à la Капул, он аккуратно появлялся в нашем доме в каждый свой приезд в Москву. Во Владимире Александровиче, во всей его фигуре, в манере себя держать, была какая-то задористость, какой-то наскок, — это первая заметила наша англичанка, которая и прозвала его «le petit cog?», и прозвище «Петушок»

так и укоренилось за ним в нашем доме. Приезжал обычно к нам Владимир Александрович в воскресенье к завтраку и сразу высыпал короб петербургских театральных новостей. За обедом он пил несколько рюмок рябиновой водки, а затем потягивал красное вино, в цвет которого с годами постепенно окрашивался его маленький носик.

Происходя из небогатой бюрократической семьи, он начал свою служебную карьеру вольноопределяющимся кирасирского полка. Он сам рассказывал, что представлял довольно комичный вид своей тщедушной фигурой под тяжестью золотых лат и огромной каски. Покончив с военной службой, он поступил в чиновники Академии, где принимал участие в знаменитой Таймырской экспедиции, снаряженной за найденным там мороженым мамонтом. Он был один из немногих людей в мире, которому довелось отведать такого фантастического блюда, как жареный мамонт. Ради науки члены экспедиции рискнули и на такое необычное блюдо. По рассказам Рышкова, мясо мамонта было довольно вкусно, хотя и грубовато. Все же Владимир Александрович предпочитал, по-видимому, вкус финляндских угрей, ловить которых ежегодно отправлялся чуть ли не на Иматру.

Порой Владимир Александрович появлялся в нашем доме в сопровождении своего старшего брата, драматурга Виктора, которого он буквально боготворил, считая талантливейшим современным русским писателем. Это обожание было настолько искренним и трогательным, что имело всегда обратное действие, то есть заставляло слушателей невольно проникаться уважением не к драматургу, а к глубине братской любви Владимира Александровича. Вообще, несмотря на некоторый снобизм, который был присущ Рышкову, как большинству петербуржцев, он был человек искренний и привязчивый. Раз поверив в моего отца и в его музей,

он до самой смерти оставался неизменным другом обоих, перенося свою любовь и на всех окружающих. Он безусловно был главной пружиной, которая привела к тому, что музей моего отца стал в конце концов академическим учреждением, но об этом подробнее я буду говорить в другом месте.

Живой связью нашего дома с Большим театром вместо отпавшего от нас Сергея Ефгр. Павловского стал заведующий монтировочной частью Василий Константинович Божовский. Независимый, норовистый поляк с гонором, красавец собой с жгучим взглядом темных карих глаз и мягкими волнистыми, преждевременно поседевшими волосами, он среди общего раболепия, царившего в императорских театрах, казался белой вороной. Держать себя на особом положении Божовскому помогала его сильная протекция. В свое время он был чиновником для особых поручений при последнем наместнике Царства Польского князе Святополке-Мирском. После упразднения наместничества Василий Константинович был рекомендован в Большой театр своим бывшим принципалом. Божовский был прекрасно воспитанным, чрезвычайно культурным и очень начитанным человеком, что сближало его с наиболее видными представителями русского искусства, которые ценили его и уважали не только за знания, но и за пренебрежение к театральной администрации. Руководящие чиновники Большого театра терпеть не могли Божовского, но принуждены были с ним мириться. А Василий Константинович не терял ни одного случая, чтобы подразнить администрацию. Один такой случай совершенно взбесил чиновничьи верхи театра. Шел какой-то торжественный спектакль. Пел Шаляпин. В антракте, по заведенной с незапамятных времен традиции, на сцене спиной к занавесу стояло все руководство театра в вицмундирах и орденах во главе с управляющим конторой С. Т. Обуховым. Рабочие

спешно меняли декорации, вдруг на сцену выбежал взбешенный чем-то Шаляпин и своим громовым голо-сом спросил:

— Где тут это г... — начальство?

У Божовского моментально лукаво заискрились глазки, и он, шаркнув ножкой, обеими руками и головой указал на Обухова и его свиту: «Вот-с!»

Служебной карьере Божовского много мешали его постоянные увлечения прекрасным полом. У него всегда были какие-то «дамы», за которыми он ухаживал. А ухаживать он умел, не только исполняя, но и предупреждая всякое желание своего увлечения. Все это требовало денег в большем количестве, чем у него имелось. Он был принужден постоянно прибегать к займам и не вылезал из долгов. Умер Василий Константинович скоропостижно. В его лице наш дом потерял верного завсегдатая, а музей — искреннего друга.

В то время определенной, налаженной, живой связи с Малым театром не было. Была постоянная, но эпизодическая связь. То и дело бывали у нас актеры Малого театра, но пропадали они с нашего горизонта так же быстро, как и появлялись, за исключением, пожалуй, А. И. Южина и А. А. Яблочковой. Зато с театром Корша у нас установилась постоянная, прочная связь в лице премьеры театра Андрея Ивановича Чарина.

Чарин был типичным русским интеллигентом, нерешительным, лишенным энергии, с ленцой и вместе с тем талантливым, чутким, тонким, образованным. Поэтому-то Чарин, будучи очень хорошим актером, никогда не заставил говорить о себе и не мог никогда быть оцененным по достоинству.

Хорошо помню Чарина в роли Чацкого — это была его лучшая роль. Он играл ее как-то совершенно особенному. Вся чисто русскую внутреннюю глубину и задушевность роли он органически сочетал с чисто

французским блеском внешнего образа. От этого Чацкий не только не проигрывал, а, наоборот, приобретал какую-то своеобразную остроту, даже терял свою некоторую нарочитость — он как бы становился на свое место, недаром Грибоедов, будучи до корней волос русским человеком, как драматург был воспитан на французской комедии. Лучшего Чацкого мне видеть не приходилось.

В те субботы, когда за нашим столом не виднелось квадратного лица Андрея Ивановича с его мягкой, доброжелательной улыбкой и крахмальным воротничком с большими уголками и глубоким вырезом, то чувствовалось его отсутствие. Чарин редко говорил о себе, но как будто его семейная жизнь не была из удачных. Порой он привозил мне в подарок какую-либо диковинную старинную вещь.

— Это наше, родовое, — говаривал он при этом, — все равно после меня никому не будет нужно!

Долго у меня жил тяжелый стеклянный бокал XVIII века с вырезанными на нем мудреной загадкой и родовым гербом — по происхождению Чарин был дворянином, и его настоящая фамилия была Галкин. Умер Чарин незаметно, в разгар революции и был похоронен на Ваганьковском кладбище. В 1929 году заведующий кладбищем В. Ф. Миронов показал мне его могилу. Холм зарос бурьяном и носил все признаки полного запустения. Мы с матерью немедленно заказали крест с надписью, но когда он был готов, В. Ф. Миронов перешел уже на другую работу, и я не смог найти могилу Чарина. Приготовленный крест долго стоял без дела, пока его не извели на дрова.

Фамилия Миронова напомнила мне его однофамильца — Николая Михайловича, нашего непродолжительного завсегдатая. Ник. Мих. Миронов был последником крупного фабриканта. Хорошо образованный и прекрасно воспитанный, он рано увлекся

отечественной стариной и коллекционировал красивые вещи, отдавая предпочтение фарфору. На приобретение старинных вещей он тратил большие деньги. Некрасивый и страшно застенчивый, он всегда старался не бросаться в глаза в обществе, молчать и держаться в тени. Коллекционерство сблизило его с моим отцом, а в атмосфере нашего дома он почувствовал себя непри-
нужденно и быстро вошел в число наших постоянных посетителей. Моя мать, также застенчивая от природы, была его постоянной собеседницей. Как-то она заметила ему, что ему уже за тридцать и что не мешало бы подумать о женитьбе и обзавестись собственным домашним очагом. На это Николай Михайлович с грустью поведал матери, что, к сожалению, он не имеет права думать об этом, что он болен тяжелым наследственным недугом и знает, что недалеко то время, когда он лишится рассудка.

— Жениться, зная это, — закончил он, — значит обманывать, а это может сделать лишь отпетый негодяй и эгоист.

Помню, на мать этот разговор произвел очень тяжелое впечатление. К несчастью, ожидания Миронова не заставили себя долго ждать. Однажды, приехав к кому-то в гости и подымаясь по лестнице, он вдруг сошел с ума. Буйный припадок перешел вскоре в тихое помешательство. Проболев около года, Николай Михайлович умер, оставив свои прекрасные коллекции какому-то из московских музеев.

Наряду с перечисленными постоянными посетителями наш дом или, скорее, все шире разрастающийся музей отца, посещался бесчисленным количеством случайных гостей. Среди последних два экстраординарных визита особенно резко врезались в мою память.

Отец неоднократно выражал мечту показать свое собрание Гликерии Николаевне Федотовой. Осуществлению этой мечты мешала неловкость положения —

было неделикатно приглашать к себе на край Москвы безногую старуху, которая у себя-то дома с трудом из комнаты в комнату переползает. Отец часто бывал у Федотовой, которую, как и все, глубоко уважал, подробно рассказывал ей о своем музее, но никогда не рисковал пригласить старуху к себе. Федотова постоянно расспрашивала отца о новых поступлениях собрания, с интересом, внимательно слушала его рассказы. Однажды она не выдержала:

— Что же, батюшка мой, вы меня, старуху, все рассказами дразните? Дали бы хоть разок глазком взглянуть на свои сокровища-то, чай, не сглажу — авось как-нибудь доберусь до вас-то, не развалюсь, думаю.

Отец пришел в полный восторг от подобного предложения и со свойственной ему энергией быстро организовал всю технику переезда или, скорее, перевоза Федотовой к нам. Но, как это обычно бывает в таких случаях, начали возникать какие-то неожиданные препятствия. Два раза подряд визит отменялся, лишь на третий раз удалось привести Федотову к нам. Приехала она в сопровождении своей неизменной адъютантки Е. И. Большаковой. Старуху с трудом высадили из автомобиля и торжественно подняли на второй этаж, на кресле. Начался визит с чаепития, но Федотовой явно не сиделось на месте — она озиралась по сторонам, нетерпеливо меняла позы и наконец не выдержала.

— А вот-таки если бы вы знали, как я горю нетерпением увидеть музей!

Отец поспешил удовлетворить ее нетерпение. Старуха, видимо, смакуя предстоящее удовольствие, пожелала начать осмотр с наших личных комнат. Тяжело опираясь на свою палку, ведомая под руки отцом, она медленно переходила из комнаты в комнату. В каждой комнате она садилась и, переводя дух, говорила:

— Ах, как все это хорошо!

Попав в одну из комнат, обставленную старинной мебелью красного дерева, она чуть не расплакалась.

— Ведь помню, батюшка, — как бы извиняясь за свою слабость, объяснила Федотова, — у матери моей точь-в-точь вот так было, и как все хорошо тогда было, как красиво!

В спальне родителей она остановилась у божицы с иконами и молча сотворила краткую молитву. Музей она осматривала совсем по-особому, резко отличаясь от обычных посетителей. То, что для других было историей русского театра, для нее было ее прошлым, ее молодостью. Перед некоторыми витринами и портретами она надолго останавливалась, молчала, думала о чем-то, припоминала, вздыхала.

Долго стояла она перед витриной Щепкина и отошла с лицом, залитым слезами. С благоговением прикоснулась рукой к верс аку А. Н. Островского. Никулина, Ермолова, Садовские были для нее не только замечательными современниками, но и близкими Надежками, Машеньками, Мишеньками, Олечками. Смотрела она музей долго, часа два с лишним, и долго молчала после конца осмотра. За обедом Федотова постепенно выходила из своего созерцательного оцепенения и к концу его окончательно овладела собой и вниманием присутствующих. Ее охватило артистическое возбуждение от всего того, что она видела, хотелось доминировать, показывать себя, играть. Разговор зашел о театральных курсах, о молодых актерах.

— Разве это ученье?! — возмущалась Федотова, — чему, чему их там, на курсах, только не учат, а главное, того, что нужно, — этого-то и не объясняют! Актера, батенька мой, во-первых, надо научить наблюдать жизнь и людей, как на посторонних, так и на самом себе. Вот вы разговоритесь с человеком, протяните ему во время разговора пустую чашку и попросите его еще чайку налить. Он вам все это премило сделает. А потом

прекратите разговор и попросите его сыграть то, что он только что сделал. И выйдет одна фальшь. А почему? Потому что актер в жизни не удосуживается наблюдать за самим собой. Во-вторых, надо научить актера думать, размышлять, анализировать. Вот я старуха, моя жизнь кончена для сцены, а, грешным делом, я до сих пор не могу отвыкнуть от подобных размышлений. Принесут мне вдруг какое-нибудь радостное известие, неожиданное. Ну, конечно, порадуешься, а потом и задумаешься, постараться припомнить, как эта радость до тебя дошла, что у тебя во время получения этого известия в голове мелькнуло. Вот коли припомнишь точно, как тебе потом это на сцене пригодится. Конечно, иной раз и ошибешься, да и радостные известия разные бывают, да потом и настроения у тебя разные могут быть при получении известия. Ты все это, батенька мой, учти, да продумай, да проверь. Трудись, работай — без этого ничего не дастся. А теперь задайте молодой актрисе сыграть, что к ней пришли и сказали, что у нее горячо любимая мать неожиданно умерла. Она скорчит гримасу, а потом бух в обморок или истерику закатит!

Федотова показала, как это делает молодая актриса, — вышло очень эффектно, но и очень смешно.

— Нет, батенька мой, в жизни это не так бывает. Вот ко мне придут и скажут: «У вас только что мать умерла!..»

При этих словах Федотова преобразилась — в течение нескольких секунд в ее глазах, на ее лице сменилось множество выражений. Это было настолько жутко, настолько убедительно, что после окончания этюда все мы еще добрые полминуты переживали молча впечатление от этой мастерской игры. Федотова, самодовольно улыбаясь, оглядела всех нас и добавила:

— Вот то-то и оно. Разница есть?! А ведь ничего нет проще. Если вам так придут и скажут, вы о чем подума-

ете? Сперва о матери — не так ли? Дескать, когда я от нее уходила, она была здоровой, веселой, шутила со мной, чтобы я не очень на молодых людей внимание обращала. Чудачка, право! Да, но что он сказал? Да он, может, сумасшедший? Нет, глаза нормальные и во внешности ничего необыкновенного нет. Но мать-то — ведь она здоровая женщина! Может, он шутит, говоривший-то? Нет, не улыбается, да такими вещами и не шутят! Но мать-то? Ведь она здоровая, ни на что не жаловалась... Впрочем, в последнее время она как-то несколько раз говорила, что у ней голова дурная... Ведь вот, старушка-то, ее знакомая, вот так же не жаловалась, а потом паралич! Но не может быть. Может, он ошибается, может, я что-то не поняла... Нет, нет, нет... умерла!.. Вот и все! Я только постаралась, чтобы эти мысли отразились на моем лице. Попыталась не скрывать их от вас. А у нас теперь учат мимике. Мимике выучить нельзя, надо чувствовать учить, учить не скрывать свои переживания, — тогда и мимика сама собой появится! Да что с актеров-то требовать, когда большинство так называемых режиссеров современных жизни не примечают. Говорят умные слова, философию разводят, а кругом себя ничего не видят. Тут как-то на днях рассказывали мне об одной пьесе какой-то современной, там еще женщина на сцене не то стреляется при всех, не то ее убивают. Рассказывали, что уж очень хорошо режиссером поставлено. А я спрашиваю: народу-то во время убийства на сцене много? Много, говорят. А когда ее там убивают, что этот народ делает? Вот, говорят, тут-то и поставлено замечательно: все к ней бросаются, начинают... Ну, я, батенька мой, и слушать дальше не стала. Безграмотный, говорю, человек, ваш режиссер-то, верхогляд, рисовальщик, а не художник. Простых вещей не знает. Если человек неожиданно умер на людях, то все живые от него сразу отскакивают. Человек-то, он жить хочет, это в его

природе, это сильнее его разума, он смерти боится. Его первая мысль — как со мной чего бы такого не было. Вот когда разум-то в нем победит, когда он поймет, что ему бояться нечего, только тогда он к убитому бросится. А на это ведь несколько секунд надо. А секунда на сцене это не то, что на циферблате, — это время!

После обеда Федотова стала собираться домой, но обязательно захотела перед отъездом посидеть немного в комнате у матери. Когда старуха наконец уселась на удобный диван, отец попросил ее прочитать что-нибудь.

— Мой сын, — сказал отец, указывая на меня, — никогда не видал вас на сцене, доставьте и ему и нам это удовольствие — пусть он хоть раз в жизни услышит, как читает Федотова!

— Что вы, батюшка мой, — закокетничала старуха, — я и читать-то на людях отвыкла, только опозорюсь!..

— Пожалуйста, — взмолились мы хором. Федотова помолчала.

— У тебя сочинения Тургенева есть? — обратилась она ко мне. Получив утвердительный ответ, она добавила:

— Принеси-ка мне «Стихотворения в прозе», попробую вспомнить что-нибудь!

Я мигом бросился в свою комнату, выхватил книги из шкафа и стал судорожно их перелистывать. Мои поиски были тщетны — издание было старое, чуть ли не первое, и «Стихотворения в прозе» в него не вошли. Расстроенный, я возвратился в комнату матери и сообщил о своей неудаче. Старуха улыбнулась:

— Ну вот, значит, сама судьба за меня — не хочет, чтобы я осрамилась!

Все просьбы выбрать для чтения что-нибудь другое не имели успеха, старуха твердо отказала. Мы были разочарованы. Во время всей этой суеты в комнату постучала наша кухарка Авдотья Степановна, не знав-

шая, что у матери гости, и передала ей ключи от кладовой. Мать рассеянно взяла ключи и положила их на стол, за которым мы все сидели. Продолжая разговор, Федотова потянулась за одним отдельно лежавшим ключом, взяла его в руку и стала что-то доказывать, выразительно подчеркивая на столе ключом свои мысли. Но вдруг Федотова остановилась и с любопытством начала рассматривать попавший в ее руки ключ. Мы были в недоумении. А выражение любопытства на ее лице постепенно сменилось ужасом.

— Что это она делает-то?.. — пересохшим голосом наконец проговорила Федотова. Мы застыли. Это было начало знаменитого монолога Катерины из «Грозы». Она кончила чтение и обвела нас всех торжествующим взглядом победительницы. А мы так и сидели замороженные, и мороз еще бегал по нашей спине. Велико счастье слышать такой гениальный монолог в таком гениальном исполнении, но и велико несчастье. С тех пор я отравлен исполнением Федотовой этой сцены. Меня не может удовлетворить ни одна исполнительница роли Катерины. Все получается то, да не то. Невольно сравниваешь, и сравнения пока что неизменно не в пользу преемниц великой артистки. Никогда не забуду глаз Федотовой — до чего они были страшны, не забуду ее судорожных движений, словно ключ, который она держала, был раскален добела и жег ей руки. Она здесь же, сидя на диване, импровизировала мизансцены, которые ранее ей никогда не приходилось выполнять, уже хотя бы потому, что она вела эту сцену в театре стоя. Во время чтения монолога Федотова развернулась перед нами во всем блеске своего гениального мастерства.

Талант далеко не всегда сочетается с умом, но когда случаются подобные счастливые соединения, тогда и получаются гениальные личности. Федотова по праву считала себя ученицей М. С. Щепкина. Станиславский

называл Федотову своей учительницей. Щепкин, в конечном итоге, был человеком, достигшим артистических высот исключительно благодаря своему таланту, работе и опыту — теоретических знаний у Щепкина было мало. Федотова много думала над тем, чему ее учил Щепкин, но систематизировать все свои мысли не смогла — она могла только делиться ими с желающими ее слушать. Сделал это Станиславский. Федотова-артистка благодаря своему таланту могла бы выдвинуться и занять на страницах истории театра подобающее ей место и без Щепкина. Станиславский — теоретик и мыслитель театра был бы немислим без Федотовой. Федотова была естественной предтечей Станиславского. К сожалению, я никогда не видал Федотовой на сцене. Она очень хотела прислать мне билет на свой пятидесятилетний юбилей, когда она играла царицу Марфу, но отец отклонил это, не желая лишать ее лишнего билета, которые были в обрез. Помню, как отец с матерью после юбилея вспоминали дни своей молодости и непревзойденное трио в «Марии Стюарт» — Федотова, Ермолова, Южин, которое им привелось не раз видеть. Положение Федотовой и Ермоловой в театре особенно подходило к положению героинь трагедии и чрезвычайно обостряло их игру.

Музей взволновал Федотову. Долгое время она рассказывала всем ее посетившим (а квартира Федотовой была своеобразным филиальным отделением репетиционных зал Малого театра: все премьерши приезжали «сдавать» старухе свои новые роли) о музее и об его значении. Вскоре она заявила отцу, что после своей смерти завещала его собранию все свои вещи, и начала многое передавать ему при жизни. После смерти артистки все ее вещи вплоть до обстановки ее комнаты перешли в наш дом. Отец отвел для всего этого особый крохотный зал, но впоследствии, после его смерти, частично из-за отсутствия места, «комната Федотовой»

была разрушена, а обстановка расползлась по всему музею, утилизируясь для хозяйственных надобностей хранилища. А раньше, бывало, любил я забрести в этот зал, припомнить властный образ старухи с ее гладко причесанными седеющими волосами и такими живыми, молодыми, почти черными глазами, прислушаться к мерному постукиванию ее костыля с резиновым наколочником и вызвать из прошлого ее волнующий голос, читающий монолог Катерины.

Визит Федотовой и ее рассказы о виденном всколыхнули и другую старуху Малого театра Н. А. Никулину. Чувство соревнования заставило ее довести до сведения отца, что не хорошо обходить старых актеров и допускать до своего собрания только избранных. Естественно, отец не заставил наемать себе дважды, и день посещения Никулиной музея был назначен. Церемониал приема был выработан тот же, главным образом чтобы не вызвать обострения чувства местничества между старухами. За Никулиной, так же, как и за Федотовой, был своевременно послан человек с автомобилем, и так же был сервирован чай к моменту приезда. Никулина, по примеру Федотовой, прибыла в сопровождении свиты, причем при ней состояли не одна, а целых две «статс-дамы» — Адлер и Яновская, ей так же были представлены по очереди все домашние, и она села пить чай. Но Никулина — это была не Федотова. Начиная с внешности, она резко отличалась от своей старшей товарки. На вид ей можно было дать лет восемьдесят с лишним, а на самом деле ей еще не минуло и семидесяти. Когда она говорила, рот ее перекашивался и плохо пригнанная челюсть зловеще лязгала. Эта развалина производила какое-то мистическое впечатление.

Пили чай в столовой, разговор шел вокруг основной театральной темы дня — юбилее Яблочкиной. Никулина радовалась за Яблочкину, которая своим трудом

и преданностью делу заслужила те знаки внимания, которые ей оказывают.

После чая пошли смотреть музей. Почтенная артистка в былые годы часто посещала наш дом, но я в те времена ее не видел и не запомнил, потом почему-то наступил длительный перерыв, поэтому многое в музее было для нее новостью.

Старуха двигалась медленно и осматривала все детально, по-видимому, припоминая и переживая многое из прошлого. Лицо ее меняло выражение, загорались глаза. Увидев витрину, где хранились вещи А. Н. Островского, стала набожно креститься и бормотать какую-то молитву. Сопровождавшая ее старушка Адлер, воспользовавшись впечатлением, которое произвел на Никулину музей, стала уговаривать ее поскорее передать в собрание отца свои вещи.

— А то, — жаловалась она нам, — вообразите, дня два тому назад Надежда Алексеевна вдруг, ни с того ни с сего, начала жечь свои дневники. Я еле-еле уговорила ее бросить это занятие, ведь ее дневник — это летопись Малого театра за последние пятьдесят лет!

После осмотра музея старуха еле доползла до второго этажа и, совершенно ослабнув, в изнеможении опустилась на диван в кабинете отца. Одна из ее статсдам попросила дать ей рюмку мадеры. Выпив вино, Никулина сразу приободрилась. Отец принес ей свой альбом и попросил написать в него что-либо. Старуха взяла перо, долго вертела его в пальцах, что-то шептала, усиленно думала, терла лоб и наконец растерянно произнесла:

— Да я, голубчик Алексей Александрович, право уж, и не знаю, что написать-то!

Отец со свойственной ему грубоватой шутливостью не задумываясь посоветовал:

— Напишите: обязуюсь все свои вещи отдать в музей Бахрушина.

Никулина замотала головой, засмеялась, обмакнула перо, но добавила:

— Я уж напишу: все вещи по театру, а то на что вам моя обстановка да платья?

— Конечно, — согласился отец, — на что мне эта дрянь, у меня и своей некуда девать!

Дрожащими, беспомощными буквами Никулина записала в альбом свое пожелание. Как не похож был ее почерк на властный, твердый почерк Федотовой, которая была значительно ее старше. Посидев еще немного, старуха заторопилась домой.

— Отдохнуть мне надо, — объяснила она, — вечером-то банкет Сашеньки Яблочкиной по случаю ее двадцатипятилетия — хочу поехать и поздравить ее.

Стоя внизу в прихожей, одетая в какую-то стародавнюю шубу и бархатный капор, она еще раз пояснила свой отъезд.

— Мне немного жить-то осталось, надо же повеселиться.

После чего полуживая старуха попыталась изобразить что-то вроде танца, сразу напомнимый мне «Спящую красавицу» и фею Карабос...

Никулину мне однажды довелось видеть на сцене. Это был какой-то парадный спектакль, и она играла роль графини Хрюминой в «Горе от ума». Хорошо запомнился яркий образ, созданный артисткой, — это была типичная родовитая старая московская дворянка, лишенная какой-либо придворной величавости и вельможности. Пережив свой век, такие старухи еще водились в Москве в дни моей юности. Подробности ее игры не помню, вернее всего оттого, что все мое внимание в тот вечер было сосредоточено на Хлестовой, роль которой, как всегда гениально, исполняла Ермолова.

В описываемое время музей моего отца стал широко известен не только среди старых ветеранов сцены, не только среди знатоков, но постепенно делался все более

и более необходимым для всех работников театра и в особенности для молодежи, которая приезжала к нам искать нужные ей материалы в библиотеке, в рукописном отделе, пополнять свои знания в области истории театра. Известность музея давно распространилась далеко за пределы обеих столиц и достигла многих европейских художественных центров.

В день посещения Никулиной, вечером, когда отец случайно был дома и мы не ждали никаких посетителей, вдруг раздался звонок в передней и горничная, подавая визитную карточку, доложила, что просит его принять директор Большой парижской оперы Дени Рош.

Пренебрежительно-любезный, холеный французский «чиновник искусства» с олимпийским величием снисходительно осматривал музей, изредка роняя официально-любезные комплименты и поглаживая ухоженную бороду. Во время показа, на ходу отец составил себе план действия, твердо решив вывести посетителя из его равновесия. Уже в начале осмотра он подозвал меня и дал распоряжение для нанесения главного удара.

— Да с умом сделай, — наказывал отец, — так, чтобы француз знал наших!

Пока отец ходил с Рошем по музею и на своем ломаном французском языке читал ему лекцию по истории русского театра, я спешно выволакивал из шкафов на столы кабинета имевшийся в музее казовый материал по французскому театру. Я вынимал из папок автографы Вольтера, Скриба, Дюма, Гюго, Тальма, Лекэна, Рашели, Коклена, Сарры Бернар. Отдельно сгруппировал реликвии Марс, редкие издания.

В конце осмотра Дени Рош спросил, нет ли в музее чего-либо касающегося истории французского театра. Отец ответил, что его задача — собирание материалов по истории русского театра и что по французскому

театру в его собрании, к сожалению, ничего существенного нет, а впрочем, ожидая такой вопрос, он кое-что подготовил в отдельной комнате.

— Вот посмотрите! — сказал отец. — Здесь часть того, что у меня есть по французскому театру и что я успел приготовить для вас: к сожалению, большинство не достанешь — уж очень мало у меня места, — и он пренебрежительно махнул рукой по направлению к столу.

Хорошо срепетованный, по Художественному театру, экспромт, своим эффектом превзошел все ожидания. Лишь только Рош окинул взглядом приготовленное, как все его высокомерие и самомнение, как рукой сняло, уступив место буйной галльской восторженности.

— *Que de choses!*¹ — восклицал он, бросаясь от одной вещи к другой. — Какой замечательный портрет м-ль Жорж. Это совершенно неизвестный тип... Свидетельство о смерти и ленты от венков м-ль Марс! Ее стаканы. Это невероятно! Портрет Лекэна работы Ван-ло — мы, бедные французы, знаем о нем только по гравюрам!

— Откуда это у вас? — выкрикивал он, потрясая в воздухе маленькой книжкой «*Ballet du roi*»² издания 1635 года. — Знаете ли вы, что о существовании этой книги мы в Париже знаем только по каталогам, в которых указывается, что ни одного экземпляра не сохранилось!.. У вас имеются издания по театру, которых я никогда не видел и которых нет даже в нашей библиотеке в Парижской опере... Разрешите, я запишу некоторые названия.

Он вынул свою записную книжку и стал делать в ней заметки вечным пером. Когда Рош дошел до

¹ Какие вещи! (*фр.*)

² Королевский балет (*фр.*).

автографов и писем, он уже не старался скрывать своего удивления.

— C'est épatant! ¹ — воскликнул он. — Que de choses!

На восторги француза отец с деланным пренебрежением заметил:

— Что вы! Это только десятая, двадцатая доля того, что у меня имеется.

Когда Дени Рош уехал, обещав обязательно еще раз посетить музей (он действительно вскоре приехал вторично), отец самодовольно хмыкнул:

— Хм, запомнит француз музей — пусть поучится. В Большой парижской опере не музей, а недоразумение! Впрочем, у них там есть интересные вещи по технике сцены — у меня в этом отношении дело — табак.

Все более учащались групповые посещения музея. Приезжали выпускники театральных курсов, группы актеров театра Корш, Введенского народного дома, которым заведовал отец. Среди последних частым посетителем стал совсем молоденький, обаятельный новый премьер, которого отец где-то откопал и которому сулил большое будущее, — Ванечка Мозжухин. Отец не ошибся, через несколько лет Мозжухин стал премьером Драматического театра в Москве, а затем прогремел по экранам сперва России, а потом и мира как киногерой.

Как-то однажды, в одну из суббот, поздно вечером — часов в одиннадцать — зазвонил телефон и отца вызвали к аппарату из Художественного театра. Кто-то из ведущих актеров попросил разрешения приехать сейчас осмотреть музей. Отец охотно согласился.

— Так мы сейчас приедем, — зазвучал голос в аппарате, — нас тридцать! — и повесил трубку.

Хорошо зная утвердившуюся в то время, в связи

¹ Потрясающе! (*фр.*)

с капустниками, моду на разыгрывание в среде художественников, отец забеспокоился. Действительно могло приехать тридцать человек! Чем кормить?! Разрешение этого вопроса было предоставлено матери. Ввиду позднего времени мать созвонилась с нашими родственниками, жившими напротив, и оттуда были срочно принесены какие-то аварийные запасы продовольствия. Художественники прибыли — конечно, их оказалось значительно меньше названной в телефон цифры, но все же человек более пятнадцати. Подробности этой субботы не помню, знаю только, что она была очень оживленной и шумной. Были тогда у нас и Качалов, и Москвин, и Лужский, и Балиев, и многие другие. Помню, как они, уезжая под утро, стояли в передней в шубах и пели: «Прощайте, прощайте, пора нам уходить!» С этим пением они и вышли на улицу.

Групповые посещения музея в это время стали даже удобнее для отца — они отнимали у него меньше времени, а с ростом общественной деятельности и популярности отца свободных часов у него оставалось все меньше и меньше.

Помню, как отец с матерью, воспользовавшись свободным вечером, поехали в гости к деду Носову — там был какой-то табельный день. Перед отъездом родители, как всегда, сказали мне, куда они уезжают, но отец строго-настрого запретил кому-либо, кто будет звонить по телефону, сообщать его номер. Он хотел отдохнуть. Все это происходило через несколько дней после смерти Льва Толстого. Я очень живо переживал смерть великого писателя. Во время его болезни беспрестанно бегал к Павелецкому вокзалу, где всегда собирался народ, чаявший получить какие-нибудь сведения о ходе болезни гениального старика. Тут же продавались бюллетени его болезни. Старшие, так же как и я, переживали великую утрату, понесенную

Россией, но это не помешало им отправиться поразвлекаться. В тот вечер я сидел у себя в комнате за подготовкой уроков, когда зазвонил телефон. Говорили из секретариата Московской думы и срочно требовали отца к аппарату. Я ответил, что его нет дома и что куда он уехал, я не знаю. Тогда меня спросили, кто говорит, и попросили не вешать трубки и обождать. Через несколько секунд тот же голос спросил, не знаю ли я, когда отец приедет домой. На мой ответ, что предполагаю, что поздно, меня снова попросили подождать. Вскоре мне сообщили, что сейчас со мной будет говорить московский городской голова Николай Иванович Гучков. Гучкова я знавал — он изредка бывал у нас. Не прошло и минуты, как в трубку зазвучал знакомый голос:

— Дело вот в чем: нам срочно нужен Алексей Александрович. Московское городское самоуправление избрало его представителем города Москвы, чтобы возложить венок и присутствовать на похоронах Льва Николаевича Толстого. Надо выехать в Ясную Поляну сегодня — специальный поезд отходит с Курского вокзала в двенадцать ночи.

Я ответил, что немедленно попытаюсь поймать отца где-нибудь по телефону и передать ему наш разговор.

— Нет, — возразил Гучков, — мне нужен ответ немедленно. Скажите, вы можете его разыскать?

— Могу.

— А можете вы мне гарантировать его согласие?

Взвесив все обстоятельства дела, я твердо ответил:

— Могу.

— Ну, тогда, — продолжал Гучков, — передайте ему, что думский курьер с венком будет ждать его у главного входа вокзала начиная с одиннадцати часов!

Я немедленно позвонил отцу и сообщил ему всю суть дела.

— Да ты что? — фыркнул отец, — обалдел, что ли?

Сейчас десять часов вечера, я не одет, не собрался, да и потом я устал — куда я поеду?!

Видя, что его не убедишь, я попросил к телефону мать, передал ей все подробности и, таким образом, умыв руки, повесил трубку. Не скрою, что я ждал в этот раз возвращения родителей не без волнения. Поздно вечером мать приехала домой одна, — отец, убежденный уговорами всех присутствовавших в тот вечер у деда, отправился на вокзал, взяв все необходимое для путешествия у деда.

С нетерпением ожидали мы возвращения отца. Он приехал через день. По его словам, когда он в вечер отъезда приехал на вокзал, то еле смог протиснуться на платформу к своему вагону. Все кишело народом, осаждавшим поезд, отходящий на Тулу. Все вагоны, плацкартные и бесплацкартные, были переполнены — люди ехали, стоя в коридорах и проходах, на площадках и переходах. Делегатский вагон охранялся жандармами. Толпа была самая разношерстная — студенты, офицеры, педагоги, актеры, рабочие, — все желало попасть на похороны. Волнение толпы объяснялось тем, что только что стало известно, что по распоряжению из Петербурга все специальные поезда на Ясную Поляну были отменены и отходящий поезд был последним, который поспевал к выносу. Толпа никого не пускала к вагонам, но венок от городской думы в руках отца и слова «делегат города Москвы» оказывали магическое действие, и люди теснились, чтобы дать проход представителю общественности. Несмотря на то, что вагон был делегатский, он был переполнен случайными людьми, попавшими сюда по знакомству. Так и отец, увидав на платформе беспомощно старавшегося устроиться на ступеньках С. Е. Павловского, затащил его в делегатский вагон и усадил рядом с собой.

Рано утром приехали на Засеку. На станции неболь-

шое количество усадебных экипажей ожидало поезд. На один из них усадили отца с его венком. Родовое гнездо Толстых, с обширным залом, посреди которого в мудром величии лежал гениальный завершитель целой эпохи русской литературы, навсегда запечатлелся в памяти отца. Он сидел в столовой, беседуя с Софьей Андреевной, которая оказывала ему, как официальному представителю, особое внимание. В тот день в Ясной Поляне официальные лица вообще были не многочисленны — некоторым запретили ехать на похороны, а некоторые побоялись. В разговоре Софья Андреевна встала, прошла в угол комнаты и взяла стоявшую там палку Толстого.

— Вот, — сказала она, — палка Льва Николаевича, — как он ее сюда поставил, так она и стоит здесь.

Ее голос дрогнул. Отец взял столь знакомую по фотографиям палку и подержал ее в руках.

— Хотел я, — рассказывал отец, — попросить у ней эту палку для музея — ведь у ней всего этого много, да как подумал, сколько еще этой женщине терпеть и страдать от всяких разговоров, — ведь, как-никак, целый век со стариком прожила, кто из них прав, кто виноват, не нам разбирать, дела семейные — дела темные, и никто в них не судья, — как-то неловко стало. Да тут еще кто-то перебил нас. А в сущности, конечно, надо было бы попросить.

Сами похороны Толстого, бесчисленные толпы крестьян, множество искренних почитателей из интеллигенции, сырая русская осенняя природа произвели на отца еще большее впечатление. Впоследствии он часто вспоминал этот эпизод из своей жизни и, рассказывая о нем знакомым, неизменно кивал головою в мою сторону и добавлял:

— А все он — не будь его, я так бы и не попал на похороны Толстого!

В свое время я искренно скорбел, что не попал тогда

на похороны Толстого, который всегда был и будет моим любимым русским писателем-прозаиком. До сего времени, перечитывая страницы Толстого, я ощущаю дрожь восторга от силы его слога. С завистью всю жизнь я смотрел на людей, видевших и знавших писателя. Отец не был знаком с Толстым, но видел его неоднократно, в особенности во время постановки «Плодов просвещения» в Малом театре.

Уже после революции, во время моей службы в Большом театре, меня свели со стариком, сторожем Малого театра, охранявшим трюм сцены. Из его уст я и слышал рассказ, вошедший в предания театра.

— Ведь у нас, — рассказывал старик, — раньше-то строго было. Чтобы кто чужой, кого в лицо не знаешь, по трюму прошел — ни Боже мой. А то начальство увидит — греха не оберешься! Вот когда репетиция там али спектакль идет, и смотришь в оба, потому начальство тут как тут. А она, строгость-то, нужна, потому какой незнакомый человек наших порядков не знает, возьмет и закурит где не полагается, а кругом-то сушь, вспыхнет, как порох, поди потом туши! Ну вот, значит, стою я как-то на посту, наверху репетиция идет. Вдруг вижу, это идет по трюму посторонний человек, старик какой-то незнакомый, видать, так по обличию какой-то мастеровой либо там ленщик бутафорский аль плетельщик или цветочник — кто его знает, только не наш. Я его и окликнул. Говорю: «Мил человек, ты куда это прешь? Тут ходить посторонним не полагается. Начальство за это взыскивает — ты тут огонь заронишь, пожар устроишь, али еще как набезобразничаешь, а мне отвечай! Поворачивай-ка оглобли, пока я тебя по начальству не представил!»

А он, старик-то, застеснялся так. «Извините, — говорит, — я не знал!» — и обратно пошел. А тут, сзади, подходит ко мне помощник машиниста и говорит: «Ты чего же это наделал?! Знаешь, кого ты пугнул-то? Это

граф Толстой — писатель!» А я откуда знаю, для меня старик посторонний, и все. Я уж в антракте его на сцене, графа-то, сыскал и говорю: «Вы уж простите меня, ваше сиятельство, что так неудобно у меня получилось!» А он отвечает: «Чего ж неудобного-то! Ты к своему делу приставлен, его и исправляешь. Правильно ты сделал!»

С понятием был человек, не гордый!

Рассказывал мне про Толстого С. А. Попов. В бытность его старшиной охотничьего клуба он неоднократно имел случай видеть Толстого во время спектаклей. Лев Николаевич обычно приходил на сцену и смотрел спектакль из первой кулисы. Выбирал он пустячные комедии и, глядя на спектакль, искренно смеялся и веселился, утверждая, что такие пьесы куда приятнее смотреть, чем серьезные. На все убеждения перейти в партер в кресло он отвечал отказом.

— Люди ведь пришли сюда спектакль смотреть, — говорил он, — а если я перейду в партер, то будут на меня смотреть, и никто из нас не получит удовольствия — ни публика, ни актеры, ни я.

Вспоминал при мне о Толстом старый, заслуженный московский педагог В. Адольф.

— В бытность мою еще студентом, — говорил он мне, — прихожу я раз к своему портному в Леонтьевский переулок. А он мне говорит: хотите на Толстого посмотреть, он сейчас ко мне придет шубу мерить. Устроил он меня за ширму в той же комнате. Скоро пришел Толстой. Был он что-то не в духе — видимо, дома произошли какие-то семейные неприятности с сыновьями. Спросил — были ли на примерке его сыновья. На отрицательный ответ что-то недовольно пробурчал, а потом вдруг громко добавил, словно сам с собой разговаривал: «Да... Авраам роди Исаака, Исаак роди Иакова... но нигде не сказано, что лев роди сукиных детей...» Меня тогда это очень поразило. А когда совсем уже

уходил, то на прощанье сказал портному: «Ну, сейчас, наверно, мои сынки к вам пожалуют. Вы смотрите, с них как следует цену берите — у них мать богатая!..»

Незадолго до похорон Толстого мне совершенно случайно довелось присутствовать на других грандиозных, но политических похоронах. Умер в Москве председатель первой Государственной думы, С. А. Муромцев. В годы начала Столыпинской реакции для передовой интеллигенции Муромцев, один из тех, кто подписал знаменитое Выборгское воззвание, был знаменем протеста против действия правительства. Весть о смерти Муромцева мигом всколыхнула всю учащуюся молодежь столицы. Из стен высших учебных заведений возбуждение перешло в среднюю школу. Было решено организовать грандиозные похороны. Власти и правительство были поставлены в затруднительное положение. Муромцев, кроме того, что был некогда председателем первой Государственной думы, еще до конца своих дней оставался профессором в высших учебных заведениях. Запретить принимать участие в похоронах профессора было нельзя. Сочтено было за благо забыть бывшую общественную деятельность Муромцева и делать вид, что студенты в его лице отдают лишь последний долг любимому учителю. Среди учебных заведений, с которыми был связан Муромцев, был и Московский коммерческий институт, и Московское коммерческое училище, в котором преподавал мой учитель географии И. А. Смирнов. Он-то и предложил моей матери взять меня на похороны под свое крылышко. Незабываемое впечатление осталось у меня от несметных толп студенческой молодежи, стройно певших «Вечную память» и подчеркнуто деловито подерживавших порядок назло безучастно шедшим и ехавшим по бокам чинам полиции. Мне так же, как и другим, пришлось включиться в цепь, охранявшую внутреннее ядро процессии. Всего цепей было три.

Особенно живописен был один из заключительных моментов похорон. Шествие приближалось к Донскому монастырю. Октябрьский день быстро клонился к концу. Стало уже совсем темно. Процессия замедлила ход. Вдруг замелькали свечи и раздалось стройное церковное пение. Монастырская братия во главе с игуменом, с иконами, с большими восковыми свечами вышла за ворота монастыря встречать гроб. В этот миг солидаризации монахов с передовой молодежью на всех пахнуло какой-то старозаветной, допетровской стариной. Древние стены монастыря, мрачные одеяния иноков, трепетный пламень свечей, звук славянских песнопений и кадильный дым, поднимавшийся ввысь, туда, откуда несся заунывный перезвон погребальных колоколов, напоминало что-то древнее, давно прошедшее, что иной раз видишь только на сцене театра.



Мой первый учебный год в реальном училище Воскресенского прошел удачно — весной я хорошо выдержал экзамены. Родители мои решили поощрить мое прилежание и сделали это, как обычно, довольно оригинальным образом. Они не считали целесообразным делать ценные подарки, которые рано или поздно надоедают и забрасываются. Вместо этого они предпочитали выдумать что-либо такое, что оставило бы воспоминания на всю жизнь.

Как-то однажды, в субботу, к нам на дачу в Малаховку приехал Владимир Васильевич Постников. Вечером я заметил, как мои родители о чем-то беседовали с ним вполголоса, изредка поглядывая на меня. Тогда я не придавал этому особого значения. На другое утро, когда я собирался идти на рыбную ловлю, Владимир Васильевич неожиданно окликнул меня и пошел со мною вместе.

— Поздно идешь, — сказал он мне, — спишь долго. Рыбу ловить надо на зорьке, а не в восемь часов утра!

Я что-то возразил в свое оправдание.

— Ну ладно, — перебил он меня, — это все пустяки. Вот я уезжать собираюсь. Еду, брат, за стариной, неде-

ли на две, на три. Как Чичиков, буду по провинции да по помещикам разъезжать!

На мой вопрос, в какие края предполагает он ехать, Владимир Васильевич многозначительно кивнул головой и ответил:

— Куда-нибудь поеду — мало ли в России мест! Уж какой-нибудь маршрут выберу.

— Вот что, — вдруг добавил он, — хочешь со мной ехать в компании? Мне веселее будет, да и тебе, брат, любопытно, я думаю!

На мое согласие он посоветовал мне, не откладывая в долгий ящик, попросить родителей отпустить меня в проектируемое путешествие.

Надо сказать, что я всю свою жизнь терпеть не мог просить что-либо для себя. Отчего происходило это органическое отвращение к просьбам — от ложного ли самолюбия, от застенчивости ли, — право, не знаю, но заставить себя просить о чем-либо, в особенности в детстве, требовало от меня огромного усилия. Чтобы приступить к этому делу, надо было побороть себя, а это требовало времени, хотя по опыту я и знал, что мои родители никогда ни в чем мне не отказывали. До самого обеда я ходил в смятении чувств — поездка чрезвычайно прельщала меня, но когда я вспоминал, что надо просить родителей отпустить меня и что я еще из-за этого потеряю несколько недель любимой рыбной ловли, то меня брали сомнения. Все же среди дня я пришел к определенному решению и, как говорится, очертя голову выпалил свою просьбу отцу с матерью. Мой, очевидно, растерянный и отчаянный вид привел моих родителей в веселое расположение, и они охотно согласились на мою просьбу.

И вот в один жаркий летний вечер, после суеты приготовлений к отъезду у Нового Спаса, мы с Владимиром Васильевичем наконец оказались на извозчике, который не спеша трусил на вокзал. Только тут я узнал,

куда мы едем. Наш путь лежал на Брестский вокзал, где мы должны были сесть на поезд, отходивший на Смоленск, и ехать до станции Ярцево, а оттуда пробираться двести с лишним верст на лошадях в город Поречье.

— А по пути, — добавил Владимир Васильевич. — будем с тобой старину искать. Поедем с тобой в третьем классе, ехать-то всего шесть часов, чего деньги-то зря тратить. Да оно и веселее — с попутчиками потолкуем, может, чего интересного и узнаем для себя...

Почтовый поезд, на котором мы ехали, осаждался пассажирами, но у нас билеты с плацкартами были уже в кармане, и мы без труда погрузились в вагон с нашим незатейливым багажом — двумя ручными чемоданами и корзиной с продуктами. Посадка шла долго (мы приехали загодя), в вагон лезли какие-то люди со швейными машинами, мешками, узлами, садились охотники с собаками, рыболовы с удочками. Наконец все это уgomонилось и поезд медленно двинулся с места. Было уже темно. Тускло помигивали вагонные свечи. Начали завязываться знакомства и разговоры. Беседа, не задерживаясь, перескакивала с темы на тему, пока окончательно не остановилась на рассказах о вагонных грабежах. Владимир Васильевич, будучи по существу человеком не робкого десятка, панически боялся двух вещей — собак и жуликов. Я с любопытством наблюдал, как постепенно округлялись его глаза, как он после каждого нового рассказа начинал ерзать на своем месте и нервно ощупывать на себе ладанку с деньгами, зашитую у него в подкладке жилета. Неторопливый поезд мерно баюкал, и я скоро прикорнул на своем месте. Сквозь сон я слышал, как какой-то пассажир внушал Владимиру Васильевичу, что на станции Ярцево буфет держит молодая немка, которая изумительно готовит кофе и превкусные булочки, и чтобы мы их непременно отведали. В следующий раз я уже про-

снулся от прикосновения Владимира Васильевича, который держал меня за ногу. В окна светило раннее солнышко, и по обочинам сверкала зелень, орошенная обильной утренней росой. Мы подъезжали к Ярцеву — было около пяти часов утра.

На станции дневное оживление еще не сменило ночного покоя. В буфете дежурил полусонный официант, который не проявил никакого интереса к нашему появлению. Владимир Васильевич, с видом местного завсегдатая, немедленно подошел к нему и осведомился, скоро ли встанет хозяйка. Озадаченный необычайностью вопроса от незнакомца, официант сразу проснулся и, ни слова не говоря, исчез за занавеской. Через несколько минут он возвратился, умытый, причесанный, и доложил, что буфетчица уже встала, но занята по хозяйству и скоро выйдет. В скором времени к нам вышла молодая, полная блондинка, и вежливо, с небольшим акцентом, осведомилась, что нам угодно. Владимир Васильевич заявил ей, что еще в Москве он был наслышан об ярцевском буфете, о знаменитых кофе и булочках, и что мы проголодались и надеемся, что она нас угостит произведениями своей кухни. Немочка вспыхнула, самодовольно улыбулась и, сделав книксен, заявила, что мы будем обслужены наилучшим образом через полчаса. Действительно, через очень короткий срок на столе перед нами появился целый ассортимент блюд. В поезде нас не обманули — все предложенное, а в особенности кофе, булочки и ватрушки, было превкусно приготовлено. Буфетчица стояла рядом и усиленно рекомендовала нам свои изделия. Владимир Васильевич, отдавая дань произведениям ее кулинарного искусства, не тратил времени даром и запасался сведениями, могущими нам пригодиться в дальнейшем нашем путешествии. Так мы узнали имя возницы, которого нам нужно было бы заполучить, лучший маршрут и место необходимого

в пути ночлега. Так как время было еще раннее и станционные извозчики еще не прибыли на биржу, то буфетчица отрядила окончательно проснувшегося официанта в поселок, чтобы раздобыть рекомендуемого ею кучера. К концу нашего завтрака перед нами появился долговязый, белобрысый мужик в рыжей суконной, несмотря на лето, чуйке и с кнутовищем в руке. Внешний вид у него был малообещающий, на первый взгляд он казался явно тупым, если не сказать, просто придурковатым. Первым делом Владимир Васильевич спросил у него, как его имя.

— Нил, — индифферентно ответил возница.

— Нил? Так-с! — повторил Владимир Васильевич, — Нил Столбенский, значит. Ну, так вот, братец... И начал излагать ему, куда и как нас надо было везти. Нил стоял молча и слушал. По окончании речи Владимира Васильевича он все так же продолжал молчать, словно ожидая, что ему скажут еще что-нибудь.

— Ну, так как? — принужден был наконец спросить Владимир Васильевич.

Нил шмыркнул носом и заметил:

— Что ж, это можно, только я каурюю еще припрягу, а то в одиночку-то ехать неспособно, да бабе скажу-с!

Сумма вознаграждений — двадцать пять рублей — была определена тут же, с обеих сторон возражений не вызвала, и Нил отправился экипироваться. Через полчаса мы уже выезжали из маленького чистенького Ярцева, держа свой путь на северо-запад.

— Ну так вот, брат Нил, помещиков здешних знаешь? — спросил Владимир Васильевич, когда мы покатали по пыльному проселку, словно устланному мягкой мышинной шерстью. Нил снова помолчал, а потом ответил:

— Знаю.

Впоследствии мы убедились, что наш возница

отнюдь не был ни глуп, ни малосообразителен, наоборот, его общее развитие и умственные способности были выше среднего, но он отличался совершенно особенной положительностью. Выслушав вопрос, он, по-видимому, сперва молча и старательно изучал его сущность со всех сторон, а затем столь же старательно взвешивал свой ответ, стараясь быть максимально точным и исчерпывающим.

— Хорошо,— проговорил мой спутник,— значит, будет у нас так заведено — ко всем помещикам по пути заезжать. Если там версты три-четыре крюку давать придется, все равно будем заворачивать, а за все это я тебе пятерку прибавлю.

Нил опять помолчал, а через несколько минут спросил:

— Значит, сейчас к Забелле поедем? Это верст с десять отсюда будет.

— К Забелле так к Забелле — вези куда знаешь, наше дело ехать! — согласился Владимир Васильевич, довольный тем, что он оказался понятым, и, обратясь ко мне, добавил:

— Ну, брат, начинаются «Мертвые души»...

Смоленщина в этой своей части не отличается лесистостью. Мимо нас мелькали бесконечные поля с наливающейся рожью и овсом, сменяясь изредка низкорослыми перелесками. В безоблачном небе заличчато звенели неугомонные жаворонки и медленно кружили ястреба. Дали были подернуты сиреневой дымкой просыпавшегося дня, и чистый воздух еще не успел пропитаться мелкой дорожной пылью. Навстречу, все чаще и чаще, стали попадаться местные аборигены. Все они останавливались на обочине, приветливо кланялись и долгим взглядом провожали наш неказистый экипаж. Как мужчины, так и женщины были одеты в яркие местные костюмы, пошитые из домотканной материи. Все почти женщины были украшены

ожерельями из крупного натурального янтаря и носили в ушах причудливые серьги из посеребренных стеклянных бус, переплетенных яркими шерстяными нитками. Встречавшиеся старухи зачастую курили большие до-модельные трубки, немилосердно дымя и оставляя за собой вонючий чад не то паленых тряпок, не то жженого осеннего листа. Как нам удалось впоследствии выяснить, вместо табаку они употребляли какой-то местный корень, не столь ароматичный, сколь, видимо, крепкий. На каком-то перегоне до нас долетели издали чарующие звуки какого-то необычайного инструмента. Мелодия была не сложной, но звук был исключительно мягкий и ласкающий. В первый раз слышавши его, мы подумали, что где-то вдали играет искусный горнист, но вместе с тем звук был другой, более мягкий и приятный. Чем дальше мы двигались вперед, тем чаще раздавалась чарующая музыка. Наконец я не выдержал и спросил Нила, что это такое.

— А то ж пастух, — флегматично ответил он, — скотине на трубе играет.

Мы недоумевали, так как принять слово «труба» за местное обозначение пастушечьего рожка или жалейки¹ никак не могли -- звук был совсем иной. Наконец сбоку дороги, впереди нас, запестрело стадо. Сзади брел пастух, волоча за собой длинный бич и опираясь на толстый высокий посох, намного выше его роста. Вдруг, к нашему удивлению, пастух вскинул посох вверх, приложил его узкий конец к губам и наполнил поле чарующими звуками роговой музыки. Мы остановились около пастыря и попросили его показать нам его диковинный инструмент. Труба, или рог, представляла

¹ Ж а л е й к а -- русский крестьянский музыкальный инструмент, состоящий из коровьего рога со вставленными в него двумя камышовыми дудками и с несколькими отверстиями.

из себя инструмент в три с лишним аршина длины. Сделан он был из двух долбленных половин березового ствола. Половины были сложены вместе и крепко-накрепко забинтованы березовым лыком. При игре на своем инструменте музыкант принужден был широко расставлять ноги, для упора, и издали его поза напоминала церковную стенную иконопись, изображавшую евангельского архангела, будившего мертвых на картине Страшного суда. После недолгого торга мы приобрели диковинный инструмент — это была наша первая покупка за время поездки. Смоленские пастухи тогда дали мне полное представление о том очаровании, которое таил в себе знаменитый в XVIII веке нарышкинский хор рожечников, игравший на Неве и пленявший слух современников. По мягкости звука ни один духовой инструмент не может равняться рогу.

Когда наши ноги уже начали затекать от долгого сидения в бричке, впереди, в лощине, замелькали какая-то купа деревьев и ряд небольших построек, над которыми расстилался приветливый печной дымок. Нил обернулся к нам и, указывая на лощину своим кнутовищем, проговорил:

— Вон и Забелло.

Минут двадцать спустя мы вкатили в довольно обширный двор помещичьей усадьбы. Одноэтажный деревянный барский дом новой стройки скорее напоминал зимнюю дачу владельца средней руки, нежели дворянскую резиденцию. Вокруг двора высились всякие хозяйственные постройки — скотный двор, птичник, амбары, конюшня. На всем лежал отпечаток новизны и бесхозяйственности. Казалось, у человека, воздвигавшего все это, вдруг неожиданно появилась откуда-то изрядная сумма денег, которую он сразу и убухал на обзаведение помещичьего хозяйства. К концу стройки денег стало не хватать, а когда все было отстроено, то финансы и вовсе перевелись — так

все и стояло, неизвестно зачем и для чего выстроенное.

На части здания были какие-то временные крыши, на людской избе не хватало наличников у окон, к сараю были прилажены какие-то старые ворота, облезлые и пошарпанные, неизвестно откуда сюда попавшие. К нашему экипажу немедленно подбежал какой-то работник и встал как вкопанный в нескольких шагах, всецело отдавшись молчаливому созерцанию. Владимир Васильевич первым нарушил его занятие вопросом:

— Скажи, милый человек, барин-то встал у вас?

— Должно, встал, — неуверенно ответил малый, — чай, видно, пьет — самовар на крыльцо из людской ужо понесли.

— Проводи-ка к нему.

— Это можно, только чего ж провожать-то, дорога прямая, вокруг дома по стежке, прямо к нему и выйдете.

Владимир Васильевич двинулся по указанному ему пути, оставив меня одного в бричке. Я смотрел на его удалявшуюся фигуру, пока она не исчезла в зарослях сирени и акаций, окружавших дом. Затем я услышал залиvistый лай целой своры собак и ярко представил себе незавидное положение моего спутника. Я спокойно продолжал сидеть в экипаже, держа на коленях свой «Кодак» и поглядывая в спину возницы. Это неинтересное и малопоучительное занятие было вызвано чувством смущения, так как вокруг меня к тому времени собралась значительная группа дворовых, которые без всякой застенчивости рассматривали меня во всех подробностях и громко обменивались по моему адресу результатами своих наблюдений. Я чувствовал себя как зверь в зоологическом саду или, в лучшем случае, как европеец, впервые забредший в зулусскую деревню.

— Глянь, рубаха-то на нем шелковая! — слышалось с одной стороны.

— Эх, сказала, шелковая. Сатин, как есть сатин, только выделка столичная, — возражал другой голос.

— А почему аршин такого стоит?

— Да подороже нашего будет. Сразу видать — материя богатая: все небось копеек сорок, не мене!

— А в руках-то у него что — ящик, что ль, аль клетка какая?

— Дура! Не понимаешь — это камера-обскура — портреты сымать!

— Ишь ты! Значит, они по этому делу промышляют!..

К моему счастью, в это время раздался голос Владимира Васильевича, звавшего меня присоединиться к нему.

На балконе барского дома нас приветствовал хозяин, грозными окриками сдерживавший целую стаю стриженных наголо пуделей. Собаки, покрытые какими-то язвами и болячками, были явно недовольны появлением неожиданных посетителей и сильно нервничали. Сам помещик, наоборот, был, видимо, искренно рад гостям, могущим хоть чем-нибудь разнообразить его скучное существование.

Это был человек лет пятидесяти, тучный, неопрятный и явно заспанный. Весь его внешний вид свидетельствовал о том, что он «с утра». Облачен он был в засаленный стеганный халат неопределенного цвета, накинутый поверх некогда чистой почной рубашки, и в чесучовые брюки, для удобства застегнутые лишь на верхнюю пуговицу. Завершали его туалет стоптанные туфли, надетые на босу ногу. Волосы у него были нечесаны, борода в виде двух бакенбард по сторонам выбритого подбородка спутана, обильная растительность на могучей груди свалына. Перед ним на столе, покрытом грязной дырявой скатертью, дымился и пых-

тел давно не чищенный медный самовар и в беспорядке была раскинута разрозненная посуда. Чашки были без ручек, с выбоинами, со всевозможными неподходящими блюдами, чайник без носика, молочник с замазанной замазкой трещиной. Когда мы уселись, хозяин немедленно начал нас угощать, налил чаю, причем заботливо отковырнул грязным ногтем что-то прилипшее ко дну одной из чашек, стал убеждать отведать сливок и откусать меду «собственных пчелок». Не довольствуясь этим, он кликнул девку и приказал ей доложить барыне, что приехали гости из Москвы, а также подать домашней наливочки, попотчивать гостей. Когда девка ушла выполнять приказание, он хлопнул себя по лбу и обеспокоенно воскликнул:

— Я-то хорош! Вы ведь с дороги! Наверно, отдохнуть хотите с поезда-то? Я сейчас прикажу постельки приготовить -- соснете часок-другой.

На наш решительный отказ отправиться спать он успокоенно проговорил:

— И то правда, сначала-то подзаправиться надо, а там и отдохнете!

Угощались мы вяло — с одной стороны, мы еще не протрясли обильный станционный завтрак, а с другой, уж больно все здесь было неопрятно. Хозяин явно расстраивался нашей вялости в еде и всячески понуждал нас отведывать предложенных яств. Разговор сразу перешел на расспросы о Москве, в которой хозяин не был уже лет пятнадцать.

— С смоленским дворянством на коронацию приезжал, а с тех пор в Смоленске-то раза два-три был, не более,— пояснил он.

Далее беседа перешла на хозяйственные темы. Говорил об урожае, о скотине, о дороговизне сена и о прочем. Любовно оглядывая свою свору пуделей, хозяин сокрушенно вздыхал:

— Запаршивели, понимаете, худеть стали, я уж

бился, бился с ними — ничего не помогает. Спасибо, добрый человек помог, посоветовал средство — как рукой сняло. Креолин¹ и спирт — имейте в виду. Смешать пополам и втирать. Вот теперь поправляются. Опять скоро гладкие будут...

Владимир Васильевич оживленно поддерживал любой возникавший разговор, но, видимо, никак не мог найти подходящего предлога, чтобы перейти к теме, ради которой мы приехали. После того как было выпито достаточное количество чашек чаю, хозяин предложил осмотреть дом. Нас повели в «парадные» комнаты. Дом был новый, из числа тех, что скроены нескладно, да крепко сшиты. Никаких обоев или облицовок стен не было и в помине, взамен этого золотились натуральные могучие сосновые бревна. Мебель была также вся новая, частью сделанная по заказу хозяина местным столяром, частью, очевидно, приобретенная на ближайшей ярмарке. Предметов культурно-духовного обихода, как-то картин, книг, безделушек, видно не было, за исключением огромного чертежа в массивной дубовой раме, занимавшего наиболее видное место на главной стене «гостиной».

— Вот, — указал на раму хозяин, — наша родословная, вся семья Забелло. Сам чертил. Ведь мы прямые потомки Гедиминов!

Он подвел нас к чертежу и стал пространно объяснять, кто от кого происходит. Я рассеянно слушал объяснения, смотрел на бесчисленные кружочки и черточки, собранные под пышным цветастым гербом, украшенным дворянской короной, и думал, почему это обедневшие дворяне так любят при всяком удобном и неудобном случае подчеркивать древность своего рода по сравнению с родом царствующего дома.

¹ Креолин — маслянистая жидкость, использовалась против вредных насекомых.

— Тут вот, — закончил хозяин свое повествование, шаря в своем письменном столе и извлекая оттуда желтую грамоту на пергаменте, — у меня и грамота есть за подписью короля Стефана Батория, который пожаловал нам те земли, на которых вы сейчас находитесь!

Найдя момент удобным, Владимир Васильевич придрался к случаю.

— А скажите, — спросил он, — старины еще какой-нибудь у вас не сохранилось?

— Нет, — ответил хозяин, — я до старины не охотник. Много тут разного хлама было, годами накапливалось, да много сгорело в 1812 году, когда французы здесь были, а остальное, что оставалось, я извел, мебель пожег, новую завел, картины раздарил — только пыль разводят, а что другое, само как-то извелось!

— Жаль, жаль, — покачал головой Владимир Васильевич, — а я-то хотел вам предложить продать мне, что там вам не нужно из старины. Я ведь до этого старья большой любитель.

При упоминании о купле-продаже хозяин заметно оживился.

— Пойдите, пойдите, — проговорил он, — вот сейчас хозяйка встанет, мы кое-что сообразим.

Легкая на помине, в эту минуту из внутренних апартаментов выплыла и сама хозяйка. Это была полная дама лет сорока с лишним, тщательно причесанная и завитая мелкими кудряшками, облаченная в просторный сатиновый капот, изрядно уже ей послуживший и обрисовывавший ее хотя и расплывчатые, но монументальные формы.

— Вот, душенька моя, — перешел прямо к делу хозяин после нашего знакомства, — гости наши интересуются стариной, хотят кое-что приобрести. Как ты думаешь насчет дедушкиного лорнета, да потом у нас

еще кубок этот есть да табакерка, может, и еще что найдется?

Хозяйка неопределенно замялась.

— Давай-ка все это — мы сейчас посмотрим да обсудим дело на свежем воздухе. Погода-то сегодня райская.

Мы снова переселились на террасу. Я смотрел на расстилавшийся вид перед домом. Чахлые немногочисленные яблони, отдельные, чудом уцелевшие от когда-то, видимо, обширного парка, вековые липы, кусты сирени, жасмина и акации, пестрые аквилегии и маки в траве, возле полузаброшенных клумб, вокруг которых деловито гудели пчелы. Свора бритых пуделей отправилась гулять, к великому облегчению Владимира Васильевича, и спокойно пощипывала какую-то целебную травку, вероятно, доверяя ей больше, чем креолину и спирту, рекламируемому хозяином. Вскоре снова появилась хозяйка с семейными реликвиями. На стол были выложены старинный лорнет, приобретенный каким-то предком в далеком Париже, судя по штемпелю фирмы на сафьяновом футляре, серебряная тяжелая табакерка английской работы 40-х годов прошлого столетия и небольшая серебряная стопка. После осмотра вещей начался жеманный разговор о цене, которую никто не желал назвать. Владимир Васильевич боялся дать лишнее, а хозяин продешевить. Наконец по истечении длительной беседы Забелло решил и назвал какие-то баснословные цифры: пятьсот рублей за лорнет и тысячу за табакерку. При всем воображении Владимир Васильевич не ожидал таких цифр и явно смутился. Хозяин сразу понял, что махнул через край, и примирительно добавил:

— Да я, в общем-то, в этих вещах не знаток. Вы не стесняйтесь, скажите вашу цену.

Со многими предварительными оговорками мой слутник назвал и свою максимальную цену — сорок

рублей за лорнет и шестьдесят за табакерку. Хозяин ничуть не обиделся и, уйдя на несколько минут в комнаты с женой, возвратился с ответом, что насчет лорнета он согласен, а за табакерку меньше ста рублей не возьмет. Вопрос о серебряной стопке как-то отпал сам собой. В конечном итоге лорнет был приобретен, а табакерка, несмотря на добавление пятнадцати рублей, осталась у своего старого хозяина. Дело было сделано — мы стали откланиваться, пора было двигаться дальше. Тут-то и началась подлинная обида.

— Как это так «пора двигаться», — хором заговорили хозяева, — не успели приехать, как уж уезжать? Переночуете ночку, тогда и с Богом. Вам постели распорядились постлать с дороги-то отдохнуть и кочета велели зарезать к обеду. Нет, яет, вы и не думайте так ехать, не покушавши и не отдохнувши!

Начались долгие препирательства, уговоры и убеждения. Они длились не менее получаса, после которого нам все же удалось вырваться от гостеприимных хозяев, к великому их разочарованию.

— Вы сейчас к Озерову заезжайте, — напутствовали провожавшие нас до экипажа хозяева, — у него старины много, только он все равно ничего вам не продаст.

Когда мы снова покатали по проселку, Владимир Васильевич подмигнул мне и заметил:

— Вот, брат, типы какие! Ты все это записывай. Это все уцелевшие мамонты. Таких, брат, не скоро еще увидишь! Ну, слава тебе Господи, почин сделан, — добавил он в заключение, убирая в чемодан приобретенный лорнет.

На этот раз перегон не был длительным. Время еще сократилось благодаря тому, что мы остановились в какой-то деревне, чтобы купить у крестьянок полный женский костюм Смоленской губернии. Узнав о причинах нашей остановки, со всей деревни мигом набежало

невероятное количество баб, ребятишек и старух. Наиболее оживленное участие в торгах принимали старухи, они суетились, галдели громче всех, дымили своими вонючими трубками и командовали молодухами. Наконец удалось прийти к какому-то обоюдному соглашению, и сделка была закончена к удовольствию всех. После этой остановки расстояние до усадьбы Озеровых показалось уже совершенно пустяковым.

Со стороны дороги барский дом стоял, казалось, на каком-то пустыре. Поблизости не было видно не только какой-либо растительности, но даже и хозяйственных построек. Сам дом был обширнее забелловского, также деревянной стройки, но зато сразу давал должное понятие о преклонности своего возраста. Выстроенный в форме небольшой буквы П, с двумя крыльцами на основаниях, покрытый деревянной дранкой, с цветными стеклами в некоторых оконных рамах, он весь посерел от времени и как бы врос в землю. Но вместе с тем это был еще совсем бодрый старичок, никаких разрушений от времени на нем заметно не было. Наоборот, даже старческое, потемневшее тело носило следы золотисто-белых ремонтных пятен, рассыпанных в виде нашлапок на крыше, по стенам и на оконных переплетах.

На дворе или, скорее, на лужайке перед домом не было видно ничего живого — ни людей, ни собак, ни кур. Владимир Васильевич вылез из экипажа и собирался уже идти искать кого-либо, как вдруг на одном из крылечек появилась молодая женщина и приветливо замахала рукой, приглашая нас в дом.

— Пожалуйста, пожалуйста сюда, — кричала она, — хозяева дома, рады будут гостям!

Едва успели мы подняться по старым ступенькам крылечка, как навстречу показался и сам помещик — небольшого роста кряжистый старик лет шестидесяти с лишним. На нем была темно-синяя ситцевая русская

рубаха мелким белым горошком и темные домотканого браного холста брюки, заправленные в сапоги. Весь вид старичка дышал какой-то своеобразной деревенской чистотой, усугублявшейся молодежавым цветом лица, серебристой окладистой бородкой и белоснежными волосами, окаймлявшими голый череп правильной формы. Без излишней фамильярности он приветливо пожал нам руки и пригласил в дом отведать хлеба-соли с дороги. Крылечко, в которое мы вошли, было, по всем видимостям, черное, в сенях на нас пахнуло кухонным духом, и до ушей долетели звуки рубивших что-то ножей и поливаемой куда-то воды. Чтобы попасть в жилую часть дома, надо было пройти по застекленной длинной галерее, соединившей обе ноги буквы П. Галерея эта имела не менее аршин пятнадцать в длину и четыре с лишним в высоту. Я вышел в нее и невольно остановился в цемом удивлении. Во всю ширину и длину значительной по своим размерам стены висел огромный фамильный портрет, писанный масляными красками, судя по костюмам, изображенный в первые годы прошлого столетия. Картина была без рамы и подрамника, так как не умещалась на своем месте — ее края со всех четырех сторон были подвернуты. На стене она держалась при помощи солидных четырехдюймовых гвоздей, вогнанных без стеснения прямо в живопись. Многочисленные фигуры, красовавшиеся на полотне, были написаны вполне грамотно, но все же кисть, по-видимому, крепостного живописца во многих местах подменяла мастерство бойкостью письма. Хозяин, увидав наше изумление, решил дать кой-какие объяснения.

— Это предки какие-то наши, еще из старого дома остались, — сказал он и повел нас дальше.

Аккуратный и опрятный вид хозяина, суливший нам познакомиться с чистенькими, уютными комнатами, оказался сплошным обманом. Комнаты в доме

представляли из себя явление редко встречаемого хаоса и грязи. Они форменным образом давились и задыхались от количества напиханных в них вещей, стоявших в каком-то непонятном беспорядке. Казалось, люди только что перевезли сюда все это громадное количество вещей и лишь начали в них разбираться. Часть мебели стояла уже по стенам, расположенная по законам симметрии, а все то, что не поместилось, было сдвинуто кучей либо посередине, либо в одном из углов комнаты. Качество мебели было столь разношерстно, что также вызывало удивление — рядом с золотыми екатерининскими и елизаветинскими креслами и диванами, обитыми нежным штофом, стояла карельская береза и красное дерево более изящных эпох, а между ними были нагромождены венские стулья, кухонные табуретки и сосновые столы местного деревенского производства. На стенах в обилии были развешаны старинные картины, портреты и гравюры, в рамах и без рам, защищенные битыми или растрескавшимися стеклами. Между ними проглядывали полосы старинного штофа, очевидно, содранные с каких-то других стен, наскоро прибитые здесь случайными гвоздями разных размеров. Почти вся ценная старинная мебель носила на себе следы самой грубой домашней починки — вместо поломанной золотой ножки елизаветинского диванчика было прилажено круглое березовое полено, отсутствующую спинку у стула карельской березы заменяли неструганные доски от какого-то ящика, приколоченные гвоздями прямо к драгоценному дереву. По углам зала стояли тумбы начала прошлого века, на которых, под битыми стеклянными колпаками, виднелись сильно испорченные большие вазы александровского фарфора. Общий беспорядок еще усугублялся большим количеством вещей, не имевших, видимо, своего места и попавших в комнаты случайно: на нарядной глади рояля красного дерева высилась консерв-

ная банка с какой-то краской, на карельской березе александровского круглого стола стояла подтекавшая садовая лейка, на екатерининском штофе дивана валялся заржавленный топор и стыдливо ютилась ночная посуда без ручки, оставшаяся в прошедшую ночь не без употребления. Миновав весь этот хаос, мы наконец очутились на обширной террасе и полной грудью вдохнули свежий воздух после пыли и затхлости комнат.

За чайным столом сидело довольно многочисленное общество — какие-то пожилые женщины, молодые девицы и мальчики, из которых старший был, вероятно, мне ровесник. Хозяин ограничился общим представлением и, указывая на сидящих на террасе, кратко пояснил:

— Моя семья!

Мы обменялись поклонами.

Перед террасой был разбит скромный цветник, виднелись так же, как и у Забеллы, ульи, но здесь аккуратно расставленные и ухоженные, а сзади простирались довольно значительные остатки старинного липового парка. Посуда на столе была столь же разнообразная и сборная, как у предыдущего помещика, с той только разницей, что у Озерова все это были остатки дорогого фарфора начала прошлого столетия.

Владимир Васильевич как-то быстро на этот раз направил тему разговора в желательное ему русло. По всем внешним данным хозяин был практиком и с ним можно было говорить напрямик.

— Да я уж не знаю, что вам и предложить, — заявил Озеров после речи Владимира Васильевича, — что я могу вам продать — вы не купите, а что вы можете купить — я не продам. Ведь у нас здесь все семейное, родовое, так сказать. Ведь дом-то наш здесь раньше был обширный, на широкую ногу, но в 1812 году он сгорел. Сами же подпалили — не хотели французам отдавать. Ну, а добро там всякое, что не увезли

с собой, попрятали, позакопали, в лесу в шалашах схоронили. Когда французов изгнали, возвратились сюда, отстроили на скорую руку вот этот домик, а вещей-то девать некуда. Все собирались большой дом строить, а доходы-то не позволяли. Вот с того времени и живем здесь поколение за поколением, вместе с вещами. От отсутствия места все, конечно, портится, бьется, ломается, а что делать-то? Ничего не поделаешь!.. Что вам предложить-то? Право, не знаю. Вот разве бокал наш родовой вам показать.

Озеров встал, направился в дом и вскоре возвратился, держа в руках тяжелый хрустальный бокал начала XVIII века, с вырезанным на нем гербом и надписью, когда и кому он подарен. Вещь была хорошая. Начался торг. Он продолжался очень долго. Озеров все не называл своей цены, то и дело прерывая деловой разговор восклицаниями: «Да я уж не знаю, продавать ли?» или «Продать-то легко, а купить-то такой не купишь! Надо подумать!»

Владимир Васильевич тоже воздерживался от значения своей цены. В разгаре торговли хозяин предложил мне вместе с его сыном погулять по саду. Я охотно принял его предложение, так как хотел поразмяться да и освободиться от слушанья скучного и неинтересного разговора. Мой проводник оказался малоразговорчивым и необщительным, но все же не преминул показать мне остатки фундамента старого барского дома, сожженного в 1812 году, по сравнению с которым существующий дом был не более чем собачья конура. Я совершил восхождение на неизменную в каждом добропорядочном старинном барском парке горку-улитку, осмотрел жалкие остатки некогда нарядных садовых павильонов и беседок.

Когда мы минут через сорок возвратились обратно на террасу, разговор там продолжался все на ту же тему и в том же темпе. Владимир Васильевич, видимо раску-

сив, что с хозяином все равно каши не сварить, заметно нервничал и стремился хоть как-нибудь закончить бесплодный разговор. После повторного заявления хозяина, что «Продать-то продашь, а вот поди купи!», не вызвавшего никакого контрзаявления Владимира Васильевича, обсуждение прекратилось и воцарилась длительная пауза. Ее нарушил Озеров.

— Вот тоже, — задумчиво произнес он, — мой дед-то служил в армии — сперва состоял адъютантом при Суворове, а затем, позднее, при Кутузове, — так после него целый сундук бумаг остался. Как-то он уцелел, на чердаке у нас стоит. Вот если его разобрать, там тоже, наверное, может что дельное найтись, только вот горе — разбирать некогда!

— А вы чохом продайте, не разбирая! — предложил Владимир Васильевич.

— Да разве так можно?! — воскликнул хозяин и снова замолчал. Я воспользовался безмолвием и робко спросил, нельзя ли взглянуть на сундук.

— Почему нельзя? Конечно, можно, только очень испачкаетесь на чердаке-то, там небось пыли с поларшина. Впрочем, если хотите — пройдите.

Через несколько минут я в сопровождении моего проводника уже взбирался по шаткой приставной лестнице, ведущей в какой-то потолочный люк. На чердаке было душно и томительно жарко. Вековая пыль не только покрывала все окружающее, но и плотно насыщала весь чердачный воздух. Сквозь щели крыши лились узкие струйки солнечного света, в которых суетилась и искрилась потревоженная пыль. Всюду были навалены груды различной рухляди. Старинная мебель, почерневшие портреты и картины, какое-то тряпье, куча старинных книг в переплетах из солидной свиной кожи и нарядного красного и зеленого марокана. Я поднял одну из них — это был том сочинений Николева. В одном из углов чердака плотно стоял

объемистый дубовый сундук, окованный широкими железными полосами. Содержимое мешало ему закрыть свою пасть, и он казался каким-то спящим чудовищем с приоткрытым ртом, в котором виднелись пожелтевшие от времени зубы. Мы с трудом открыли тяжелую крышку — он весь был битком набит бумагами. Я наудачу вытащил пачку и стал их просматривать — рукописи касались исключительно военных вопросов — приказы по частям, реляции, рапорта, донесения, но вот передо мной мелькнула вычурная четкая бисерная подпись Суворова, а еще через несколько бумаг бросился в глаза размашистый, уверенный, крупный почерк Кутузова.

Наученный отцом, возвратясь обратно, я незаметно дал понять Владимиру Васильевичу, что содержимое сундука стоит того, чтобы о нем начать разговор. Но Владимир Васильевич в ответ беззвучно прошептал: «Как везти такую груду» — и не стал подымать нового торга.

Мы стали прощаться. Хозяева искренно удивились:

— Как же вы без обеда-то поедете? Нет, сперва откушайте, а потом и поезжайте с Богом. Да куда вам спешить-то? Лучше отдохните у нас почку, а там и дальше. Право, так складней будет.

Снова начались отказы и уговоры. Когда все проформы деревенского гостеприимства были соблюдены, вся многочисленная помещичья семья вышла нас провожать.

— Вы что ж? Теперь к Криштофовичу небось? — И Озеров стал объяснять Нилу дорогу. — Поезжай сейчас на Чижово, потом на Дальнее Залужье — хоть на Пьяное Залужье и ближе, но там дорога хуже, а оттуда на село Босино, потом на Селище, а уж от Селищ до Преображенского рукой подать.

Нил, который не хуже Озерова знал дорогу, учтиво слушал наставления и, по своему обыкновению, молчал.

Наконец мы устроились в экипаже и двинулись в дальнейший путь.

Время клонилось уже к полдню. Солнце невыносимо пекло, и воздух был недвижим. Парило. После неважно проведенной ночи в поезде нас разморило, и мы подремывали в мерно качавшейся бричке. Через некоторое время лошади пошли совсем шагом — дорога зазмеилась в гору, к большому селу. Медленно подползли к нам большие, просторные избы, неопрятные и неухоженные. В центре села, где с одной стороны высилась большая каменная церковь, а с другой открывались безбрежные дали, Нил остановил лошадей и не смог отказать себе в удовольствии щегольнуть местной достопримечательностью.

— Вот оно, село Чижово, — проговорил он, обращаясь к нам, — родина светлейшего князя Потемкина-Таврического. Он здесь и родился. Сказывают, его мать-то в бане родила... Богатое было село — всего вдоволь. Вот перед храмом-то, где кирпич-то валяется, — памятник ему стоял, Катерина, что ль, почтить велела... А значит, как он помер-то, наследница-то его, племянница, что ль, аль внучка, всю землю потемкинскую подарила на вечные времена крестьянству чижовскому и всех на волю отпустила. Один уговор только сделала, чтоб они, значит, хранили церковь, памятник и баню эту, где Потемкин-то родился. А мужики-то тут все народ бесшабашный, как землю да луга эти получили, так и стали баловать. Что ни день, у них все праздник. Народ здесь к вину очень охоч. Недаром деревня-то ближняя так и прозывается Пьяное Залужье, потому и есть оно самое пьяное из всех. Землю пахать совсем бросили, на одних лугах и работали, и то с прохладцей. А потом уж и уговор забыли — храм забросили, памятник сломали, статуи медный на лом продали, дом барский здесь был, и его распотрошили и живут, прости Господи, как свиньи. Вот и выходит, верно говорят, что

нашему брату от воли да от денег один вред. Непривычны мы к этому. Ни понятия, ни образования, одно безобразие получается... Но-о, пошли, что ль! — последнее обращение относилось уже к лошадям, которые нехотя двинулись в дальнейший путь.

Духота делалась все более и более нестерпимой. От жары и безветрия небо сделалось каким-то сизым. Съезжая с чижовской горы, мы заметили на горизонте очертания неясного облачка. По мере нашего продвижения вперед это облачко все росло и подползало к нам. Наконец оно уже закрыло половину неба. Поднялся легкий ветерок и начал пылить дорогу. Наши потные лбы, покрытые коркой дорожной пыли, радостно ощутили неожиданную прохладу. Мы облегченно сдвинули фуражки на затылок. До Криштофовича оставалось уже немного — надо было только проехать низкорослый лесочек, видневшийся вдали. И вдруг, как это всегда бывает в подобные жаркие дни, налетел единственный мощный порыв вихря, на земле все закрутилось, завертелось и винтом устремилось ввысь, вдали с ревом засуетился лес, засеребрился изнанкой завороченных ветвей, сорванные листья мотыльками взвились в воздух. И в это мгновение ослепительно блеснуло впереди, раздался трещащий удар грома и сразу хлынул сокрушительный летний ливень. Мы все трое поспешно достали пальто и стали ими прикрываться. Не тут-то было — вода сверху устремилась такими потоками, что защиты от нее искать было негде.

— Ух, мошеница, за ворот потекла! — скулил Владимир Васильевич, а я сидел, боясь пошевелинуться, так как каждое движение, казалось, способствовало промоканию. Лошади плелись еле-еле. Молнии блистали ежеминутно, сопровождаясь непосредственно громовой разрядкой. Вдруг огненная стрела направилась прямо на нас. Мы сжались и схватились за глаза, лошади шарахнулись, а затем встали. Стрела, отклонившись

от нас, ударила прямо в землю, в нескольких шагах от экипажа. Удар грома был оглушителен. Воздух наполнился запахом электричества. Мы съежились и сидели молча ни живы ни мертвы.

Неожиданно дождь сразу оборвался — мы с удивлением наблюдали, как стена ливня быстро отодвигалась направо, а слева все небо уже прояснилось. Гроза длилась не более десяти — пятнадцати минут, но на нас не осталось ни одной сухой нитки. Хлюпая по размокшей земле, лавируя между потоками бурой воды, лошади медленно двинулись вперед. Когда мы доехали до лесочка, впереди, на небе уже сияло солнышко, от коней шел пар и зелень радостно благоухала.

Миновав лес, мы попали на широкую дорогу, обсаженную древними, искалеченными временем ветлами. Она вела под горку к густой купе деревьев. Где-то слева от дороги виднелись крестьянские избы, белела церковка. Деревья впереди оказались разросшимися ивами, с большими стволами, густые их купы затемняли дневной свет и сохраняли сырость. Среди них мелькали какие-то полуразрушенные постройки, не то сарайчики, не то амбары. Вдруг сбоку засеребрился пруд, маленький, заросший осокарем и кувшинками, обсаженный ивами. Напротив пруда дорога обрывалась, переходя неожиданно на сочную зеленую лужайку, в стороне которой стоял древний, посеревший и позеленевший от годов барский домик. Его крытая деревянной дранкой крыша местами поросла изумрудным мхом, на верху наличников и по-прежнему и верхнему карнизу пробивалась мохнатая трава и торчали годовалые деревца. Людей нигде видно не было — все казалось мертвым.

Выждав паузу, Нил негромко позвал:

— Эй, люди добрые, кто тут есть?

Стоило ему вымолвить эту фразу, как на его зов немедленно откликнулась неизвестно откуда взявшаяся

ся свора собак всевозможных размеров, видов и мастей. Они плотным кольцом окружили наш экипаж и стали дружно и настойчиво выражать свое неудовольствие появлению непрошенных нарушителей царившей здесь тишины. Положение создавалось критическое — лошади раздраженно отмахивались головами от наседавших на них псов, Нил тщетно махал кнутовищем, а Владимир Васильевич все сильнее и сильнее наседал на меня, так как собаки, видимо, сообразили, что его сторона наиболее уязвимое место в нашем фронте. Я с трудом удерживался на самом краю экипажа. В самый разгар собачьей атаки в доме открылась дверь и на пороге показалась худая, но довольно добродушная на вид старушка. Перекрывая голоса четвероногих сторожей, она довольно неприветливо крикнула нам:

— Вы к кому приехали-то?

— Скажите, пожалуйста, здесь живет господин Криштофович? — крикнул ей в ответ Владимир Васильевич.

— Криштофович? — недоверчиво переспросила старушка, — здесь, здесь он живет, коли вы к нему, так пожалуйста!..

По всему было видно, что гости в этом месте являются чем-то чрезвычайно необычным и редкостным. Старушка неожиданно расторопно водворила порядок в собачьей своре, указала Нилу, куда отвести лошадей, и помогла нам выгрузиться из экипажа. Без посторонней помощи нам на этот раз было бы трудно это сделать. Набухшее от воды платье обвисло на нас мешками, неудобно липло к телу, стесняя движения, башмаки хлюпали, и при каждом движении с нас обильно стекала вниз вода.

— Боже ты мой, Господи, — всплеснула руками старушка при нашем виде, — намокли-то вы как! Пожалуйста, пожалуйста сюда, в сени скорее!

— Матушка, нельзя ли у вас где платье посушить? — попросил Владимир Васильевич.

— Сейчас, сейчас, батюшка, постойте здесь, я сбегаю принесу что-нибудь из гардеробной, вам переодеться. Вам-то обоим как раз впору будет Иосиф Евметьевича платье-то!

Она торопливо зашлепала куда-то во внутренние покои и быстро вернулась, неся ворох носильных вещей давно забытых фасонов. Через несколько минут мы уже переодевались в какой-то комнате. Заканчивая переодевание, мы готовились уже раздумывать, что делать дальше, как вдруг за дверью раздался голос старушки, пришедшей за нашим платьем. Отдав пришедшей с ней женщине обстоятельное распоряжение о том, где и как сушить наши вещи, она повела нас на барскую половину. Мы шли по каким-то коридорчикам и переходам. Везде было чисто и прибрано. Под ногами стелилась незатейливая домотканая дорожка, растянутая на глянцевитом желтом крашеном полу. Блестели кафелем голландские печи с горевшими жаром медными отдушниками и дверцами. По стенам, оклеенным какими-то невероятными обоями под старинный ситец, были повешены стародавние бисерные картинки и цветные гравюры. Иной раз попадалась какая-нибудь мебель, хоть и незатейливая на вид, но зато крепко обжитая. Наконец старушка открыла перед нами двустворчатую дверь, крашенную белой масляной краской, с медными ручками, и, пропуская нас вперед, проговорила:

— Пожалуйте в зало!

Казалось, мановением какого-то волшебного жезла мы попали в другую, давно миновавшую эпоху или вдруг очутились на сцене Художественного театра, в декорациях и обстановке одной из тургеневских комедий. Вся разница была лишь в том, что в нашем случае во всем окружающем не было и тени музейности

или реконструкции — это просто был каким-то чудом уцелевший кусочек повседневного быта прошлого.

Перед нами была довольно большая угловая комната — четыре окна по одной стене и три по другой. Над окнами, на причудливых ламбрекенах¹ в виде золоченой большой стрелы висели тюлевые накрахмаленные занавески. Во всех простенках высились длинные зеркала в рамах красного дерева, по бокам которых были прикреплены по два бра — черные двуглавые орлы на фоне золотых венков держали в клювах лавровые ветви, на конце которых были вставлены пожелтевшие от времени свечи. Перед каждым окном стоял узкий одноногий ломберный стол красного дерева. Выстроившись по линейке вдоль других стен, плотно примыкая друг к другу, тянулись стулья красного дерева с мягкими сиденьями. На стене висел единственный масляный портрет Николая I в золотой раме и два зеркала с неизменными бра по бокам. С потолка свесилась люстра с хрустальными побрякушками, заряженная много лет тому назад свечами. В одной из стен была проделана арка, сквозь которую была видна соседняя комната — гостиная. Там, покрывая почти весь пол, лежал большой ковер крепостной работы, с большими букетами роз по черному фону. Прямо против арки, у дальней стены стоял большой диван красного дерева, перед ним овальный стол, покрытый плетеной покрывкой, а под прямым углом к дивану, далеко от стен, почти посреди комнаты, были поставлены по четыре стула с каждой стороны, также по линейке. На стене висела большая мифологическая картина маслом, а вокруг шитые шерстью и бисером картинки. По бокам картины были прикреплены к стене две лампы с шарообразными матовыми стеклянными абажурами и ре-

¹ Л а м б р е к е н — вырезки из материи, служащие для украшения дверных и оконных амбразур.

зервуарами для масла. Сбоку от дивана стояла стойка, на которой покоился целый ассортимент трубок с бисерными чубуками. За окнами зала открывался вид на сад. Гигантские штокрозы, заросли аквилегий, кусты золотых шаров, дельфиниума и пионы буйно разрослись между геометрически распланированными, узенькими, чистенькими дорожками, тщательно посыпанными красноватым от дождя песком.

— Присядьте, пожалуйста, — пригласила нас старушка, — сам-то одевается, сейчас выйдет. Вы уж меня простите, что я вас так встретила-то!.. А и то живем-то мы здесь, как медведи в берлоге — ни к нам никто, ни мы к кому — от людей-то и отвыкли. Сам-то уж стар делается, разве только на Пасху да на Рождество в церковь съездит, а то никуда. Да куда уж ему, скоро, почитай, сто лет стукнет. Итак уж слышать плохо стал. Вы ему погромче все говорите...

В это время из гостиной послышались старческие, но не шаркающие шаги, и в арке показался небольшой, худенький старичок. Мы встали. На вид он был древен, но далеко не казался развалиной. На нем был кремовый чесучовый пиджачок и такие же, но темно-серые брюки. На ногах были мягкие, домашние кожаные сапожки. Длинная седая борода его от времени стала изжелта-зеленой, но лицо загорело от летнего солнца и не казалось таким уж старым, а небольшие глазки смотрели пронзительно и молодо. Он остановился в арке, по-военному шаркнул ножкой и слегка наклонил голову.

— Добро пожаловать, — проговорил он, — разрешите представиться: ротмистр в отставке Кристофович. Прошу извинить, что встретил гостей не в мундире, поспешил. Милости прошу садиться.

Мы отрекомендовались в свою очередь и сообщили, откуда и куда мы едем.

— Так вы из Москвы будете, — переспросил стари-

чок, садясь на стул, — ну, как там Москва-то? Давненько я в ней не бывал. Как торговые ряды-то на Красной площади, построили или нет? При мне, помнится, как я там был в последний раз, много об этом разговора было... Все новые строить хотели, а построили или нет, так я и не знаю. Отстал я от века-то. В последний раз в Москве-то перед Турецкой компанией был.

Очевидно, после этой тирады мы особенно выразительно переглянулись с Владимиром Васильевичем, так как это не ускользнуло от хозяина.

— Да, — продолжал он, — лет мне порядочно — к сотне дело подходит. Я ведь в полную отставку вышел при Государе Николае Павловиче, при нем и мундир за храбрость получил!

— Когда ж это было? — полюбопытствовал Владимир Васильевич.

— Во время Венгерской компании в 48 году. А дело так было: совершал я переход с тридцатью гусарами и шестью казаками и столкнулся с четырьмястами венграми. Они нас в плен взять хотели, а мы пробились и без потерь — одного казака только пулей царапнуло... Служил-то я недолго — всего восемь лет. Да разве это служба была: мы не служили, а просто время жгли. Все больше парады да балы. А в мое время гусарский офицер, первый чин, жалованья получал сто семьдесят рублей серебром в год или шестьсот ассигнациями. Вот жить-то и приходилось напоказ. Тогда, знаете, как говорили-то: «Мундир рублей в триста, а в кармане грош, коня корми сытно, а сам корки гложь!»

— Что же вы, и Николая I помните? — спросил я.

— А как же, хорошо помню. Когда я в первом корпусе служил, то часто его видел, и по службе приходилось ему рапортовать. А потом, когда я в западный край переведен был, то уж видал его пореже. А и то в 52 году, когда при Гомеле высочайший смотр был, то меня от гусарского полка послали к Государю орди-

нарцем. Подскакал я к нему по форме, как полагалось, и рапортую, а он глаза прищурил, палец вперед вытянул в перчатке и пристально на меня глядит. Потом как спросит: «1-го корпуса?» — Вот память! — «Так точно, Ваше Императорское Величество!» — Он пальцем махнул: «Мимо». А Николай Николаевич, великий князь, сзади его на коне стоял, так тот за мной вдогонку. Поравнялся, кричит: «Здравствуй, Криштофович! — прямо по фамилии, — приезжай сегодня на бал!» Он простой был и меня любил... Вот Константин Николаевич, великий князь, тот другое дело, тот был лев и меня не любил. А дело с чего пошло. Были мы на Высочайшем параде в 46 году, а я в шеренге, сбоку от него ехал. Константин Николаевич в строю обернулся и заговорил с задним. А тут, как на грех, дядька великокняжеский адмирал Литке подъехал. Приказывает мне: «Криштофович, дай ему по шее!» Я и дал. С тех пор я у него в немилости состоял!

Опасаясь, что воспоминания старика трудно будет остановить, Владимир Васильевич стал осторожно переводить разговор на интересующую нас тему. Старик охотно перешел на бытовые воспоминания.

— Натурально, деревня не столица, но и здесь мы, бывало, не скучно жили. Зимой, бывало, вечера, балы у помещиков, только поспевай, а летом сельские праздники. Барышень много, а молодых людей мало — все больше служат в отъезде. Заставят танцевать до упаду. И разговор-то был тогда особый, деликатный. Слово «бык» сказать было непристойно, говорили «хозяин стада»!

Отчаявшись, Владимир Васильевич задал наконец Криштофовичу вопрос напрямик, нет ли у него какой продажной старины. Старик задумался.

— Нет, — наконец сказал он, — у меня для вас ничего подходящего. Какая у меня старина! Это ведь все вещи обыкновенные, так сказать, жизненные.

Он показал рукой на окружающее, где редкому предмету было менее ста лет.

— А вот хоть бы картинки бисерные, что в той комнате висят? — робко предложил Владимир Васильевич.

— Да помилуйте, какая же это старина! — возразил Криштофович. — Это при мне, когда я мальчишкой был, матушка, покойница, да тетушка вышивали, — это не древности... Вот есть у меня одна вещь, да только уж и не знаю, продавать ли, да и сколько она стоит, не знаю. Хотите посмотрите?

Хозяин предложил нам встать и следовать за ним. Мы миновали смежную гостиную и попали в спальню. Вся она была обставлена карельской березой, побуревшей от времени и протирки деревянным маслом. Постель хозяина, широкая и громоздкая, осенялась ситцевым балдахином. Криштофович подвел нас к плательному шкафу, раскрыл его и мимоходом показал нам свою гордость — заработанный им на поле чести мундир. Серовато-голубого выцветшего сукна, он был весь расшит частыми узкими серебряными бранденбурами и завершался непомерно высоким воротом. Ало-розовые чикчиры были также обильно украшены галунами и шнурами. Одним словом сказать, это был один из тех костюмов, которые нам приходилось видеть лишь на театре в «Евгении Онегине».

— Избаловался, — сказал Криштофович, — ленюсь мундир-то надевать, норовлю все, чтобы мне попросторнее да поудобнее было. Выправку теряю!

За спальней был кабинет, а оттуда мы попали в другой конец дома, в небольшую угловую комнату, сплошь уставленную красного дерева библиотечными шкафами. Сотни книг в переплетах из свиной кожи

¹ Ч и к ч и р ы — узкие кавалерийские брюки.

и разноцветного марокена в образцовом порядке стояли на своих полках за стеклами.

— Это библиотека, — пояснил хозяин, — моих книг-то тут не много, все больше дедовы да батюшкины!

Открыв один из шкафов и порывшись в нем, хозяин извлек оттуда небольшой фолиант, переплетенный в пожелтевший от времени пергамент. Он положил книгу на стол и предложил нам с нею познакомиться. Это, по-видимому, было редчайшее французское издание XVI века, с описанием Варфоломейской ночи. На каждой развернутой странице, гравюрой на дереве, был изображен какой-либо момент кровавого события и пояснен соответствующей подробной надписью. Все широкие поля каждой страницы были испорчены какими-то русскими чернильными записями, обесценивающими книгу.

— Вот, извольте ли видеть, — с гордостью объяснил Криштофович, — это уж мой труд. Самолично все перевел со старофранцузского и здесь же подписал.

Мы переглянулись с Владимиром Васильевичем — сколь молод я ни был, а уже понимал, что «труд» Криштофовича вконец изгадил инкунабл¹.

— Да-а... Книжица редкая! — продолжал хозяин. — Вот как ее ценить? Ведь она десятки тысяч стоит!..

Владимир Васильевич так и присел от названной цифры. Быстро овладев собой и сразу поняв, что всякий торг исключается, он безнадежно заметил:

— А может, и больше! Это, знаете, вещь, которую может купить только государственное учреждение, а не мы, смертные, частные лица.

От этого замечания хозяин не только не расстро-

¹ И н к у н а б л — название первых книг, напечатанных в Западной Европе наборными буквами в эпоху начала книгопечатания до 1501 года.

ился, но даже как будто бы получил какое-то удовлетворение.

— Может, из этого что-либо продадите? — спросил Владимир Васильевич, указывая на первые издания сочинений Державина, Фонвизина, Карамзина и Батюшкова.

— Нет, — ответил хозяин, — надо же что-нибудь читать-то зимою — это все мое повседневное чтение.

Во время последовавшей паузы появилась принимавшая нас старушка и доложила, что чай подан. Мы проследовали в столовую. Эта комната показалась мне довольно мрачной, тем более что окнами она выходила на восток, а время было вечернее.

Посередине стоял большой стол-сороконожка, у стены высился буфет красного дерева со множеством разнокалиберной старинной посуды, со следами увечья, а в простенках между окон полукруглые столы для закусок. На центральной стене висел большой портрет какого-то генерала в золотой раме.

Мы сели за стол, на котором кипел самовар красной меди и была расставлена старинная посуда, сплошь сборная и испорченная. За стул Криштофовича стала старушка, а за нашими стульями женщина, что сушила наше мокрое платье, и еще какая-то, не то кухарка, не то горничная. Эти последние были одеты в самые затрапезные платья, грязные и обдерганные. Старушка наливала чай и передавала его женщинам, которые в свою очередь подносили его нам. Чай Криштофовичу она поднесла сама. Женщины же обносили нас сливками, вареньем и сахаром.

Увидев, что я с любопытством рассматриваю портрет, хозяин потянул в направлении его пальцем и объяснил:

— Это — отец мой, генерал Евментий Криштофович, герой 12 года — Париж брал!

Памятуя, что мой отец возглавляет выставочный

комитет по устройству юбилейной выставки к столетию 1812 года, я робко заметил, что этот портрет стоило бы отправить в Москву к торжествам.

— Куда уж, — возразил Криштофович, — не верю я этим музеям. Был у меня платок -- отец покойник подарил: когда наши войска в Париж входили, то француженки этими платками цветы перевязывали, что нашим офицерам кидали, — так вот, тоже сын мой уговорил меня этот платок послать в музей 12 года. Я его ему отдал и так до сего времени и не знаю, дошел ли мой платок до места. Я чай, крадут много!

По-видимому, спорить было излишне.

Во время нашего чаепития в столовую вошла еще какая-то женщина и сообщила, что с села пришел священник и просит дозволения половить к ужину карасей в пруду. Криштофович милостиво это разрешил. Будучи с малолетства равнодушен к рыбной ловле, я попросил позволения понаблюдать за этой операцией.

Возле маленького прудика, замеченного нами при въезде в усадьбу, стоял местный батюшка с наметкой в руках. Он был одет в суровую рясу из домотканого холста, в соломенную шляпу, также домашней работы, и в лапти с онучами. Получив разрешение, он погрузил наметку в воду, один раз провел ею ко дну и извлек из воды не менее полудюжины крупных карасей в фунт и более весом, не считая мелочи. Выбросив обратно мелочь, он забрал в кошелку крупную рыбу и отправился домой. Рыбная ловля была закончена в несколько минут.

Возвратившись обратно, я застал уже конец чаепития. С разрешения хозяина старушка присела на стул у края стола и также пила чай, остальные женщины исчезли. Владимир Васильевич был, видимо, раздрадован — с приобретением чего-либо дело не клеилось. Старик хозяин с непривычки устал, обмяк и клевал

носом. Разговор почти замер. Мой приход оживил общество. Посыпались расспросы. Осведомившись, не хотим ли мы еще чаю, и получив отрицательный ответ, Криштофович предложил пойти отдохнуть до ужина. Было уже около семи часов вечера.

— Нам, пожалуй, уж на боковую пора, а то ведь мы с утра на ногах да и ночь спали из пятого в десятое — так что, если позволите, разрешите нам где-нибудь прилечь! — попросил Владимир Васильевич. Одновременно он прошептал мне, пользуясь глухотою Криштофовича: — Ну их с их ужином — еще накормят какой-нибудь гадостью, живот только будет болеть.

Хозяин стал нас уговаривать, а мы решительно отказываться. После довольно длительного препирательства мы настояли на своем, и Криштофович, отдав распоряжение старушке проследить, чтобы наша опочивальня была приготовлена и убрана как следует, откланялся.

Старушка отвела нас на балкон подышать посвежившим после грозы воздухом, а сама пошла хлопотать о нашем ночлеге. Мы молча сидели на древнем балкончике и смотрели на солнечный закат. Спустя некоторое время наша покровительница вновь появилась перед нами, объявила, что постели постланы, и застыла в какой-то нерешительности. Владимир Васильевич заметил ее смущение и спросил:

— Чего, матушка, сказать-то еще хотите?

— Да вот, — конфузясь, ответила она, — слышала я, как вы с Иосиф Евментьевичем-то о старине говорили... Может, что мое вам пригодится?

— А какие вещи-то? — оживляясь, заинтересовался мой спутник.

— Да извольте сами поглядеть, я в зале на столике приготовила!

Мы прошли в залу. На ломберном столе был аккуратно расставлен предлагаемый товар: прекрасный

старинный бисерный подстаканник, бисерная трость и такой же кошелек. Затем фарфоровая тарелка с редким клеймом «фабрика купца Фомина», вазочка Киевского Межегорского фаянсового завода и старинный маленький зонтичек — поросль с костяной ручкой. Надо всем этим высился амбирный подчасник светлой бронзы с хрусталем. Владимир Васильевич с удовлетворением осмотрел вещи и проговорил:

— Что ж! вещи хоть и не ахти, а нам подходят! Какая им цена-то будет?

Старушка замялась, законфузилась и, видимо решившись, неуверенно заявила:

— Да все думаю, за все эти вещи-то рублик-то дадите?

Неожиданно более чем низкая цена застала Владимира Васильевича в полный расплах, несколько секунд он даже не мог найтись, что сказать, но затем, сколь он ни любил покупать дешево, а все же счел своим долгом не согласиться:

— Зачем рублик? Эти вещи дороже стоят — я вам за них пятерочку дам, для чего мне вас обижать?

Старушка покраснела от удовольствия, а когда Владимир Васильевич, желая особенно отметить ее бескорыстие, полез вместо бумажника в кошелек и достал оттуда сверкающий золотой, который положил рядом с вещами, то она расплылась в широкую улыбку и закивала головой.

— Вот спасибо, люди хорошие попались — не обманывают, — восторженно пролепетала она и поспешила завязать в узелок платка свою выручку.

Затем она повела нас в нашу спальню. Комната, расположенная где-то совсем на другом конце дома, была обставлена очень просто. Как и полагалось, главное внимание в ней было обращено на две фундаментальные кровати красного дерева, представлявшие собой сложные сооружения, приземистые и широкие,

они как бы оседали под тяжестью огромных пуховиков и невероятно упитанных подушек, увенчанных выводком маленьких думок. Несмотря на летнее время, на каждой постели лежало по стеганому ватному одеялу.

Осведомившись, когда нас будить, старушка пожелала нам спокойной ночи и ушла. Хотя на дворе еще не стемнело, мы быстро разделись и форменным образом нырнули в пуховики. После всех треволнений минувших суток меня сразу стало клонить ко сну, и, уже засыпая, я прислушивался к философствованию Владимир Васильевича, которого, видимо, мучила совесть:

— Конечно, старушку мы обьегорили, — рассуждал он, — каждая ее вещь побольше пятерки стоит, да ничего не поделаешь — дело торговое, здесь найдешь — там потеряешь, — на этом все и основано. Ну, выручу я на всей этой ее музыке рублей сто пятьдесят — двести, а на другом чем и палочу рубликов на сто. Главное, и мы и она довольны, а об остальном и думать нечего...

Проснулись мы от стука в дверь, часов в шесть утра. На улице сиял погожий летний день. Не успели мы одеться, как в нашей комнате появилась вчерашняя старушка с огромным подносом в руках. В дорогу нам был предложен незатейливый деревенский завтрак — горячий чай, студень сливки, теплое топленое молоко из печи, только что испеченные пирожки и ватрушки, а также традиционный посошок — старинный цветной графинчик с какой-то домашней настойкой. Быстро заправившись, мы скорее поспешили в путь, так как до вечера хотели попасть в Поречье. Старушка и часть дворни усаживали нас в экипаж, причем в последнюю минуту появился какой-то кулечек с закуской «на дорожку», от которого мы еле отбаярились. Под дружный лай вчерашних псов мы снова тронулись в путь из этого забытого временем и людьми медвежьего уголка.

После усадьбы Кристофовича, территории, обсле-

дованные Нилом, уже кончались и начинались пространства, о которых он знал лишь по рассказам других исследователей. Сведения нашего возницы стали неопределенны и сбивчивы. На вопрос Владимира Васильевича, куда он нас теперь повезет, Нил неуверенно ответил:

— Сказывают вот, к помещику-сырнику заехать надо — сыр он варит. У него, говорят, именье большое. не припомню, как фамилия-то его... А потом к майору, а там к Лесли, а уж после Лесли что ж там? Там уж и Поречье.

О помещике Лесли и об его имении мы уже слышали раньше — в нашем представлении эта усадьба превратилась уже в какое-то сказочное Эльдorado, утопавшее в золоте, довольстве и изобилии, но до него было еще очень далеко.

Не прошло и двух часов, как мы подкатывали к какой-то странной усадьбе. Она была расположена на совершенно голом пустыре и имела вид рабочего поселка на строительстве — в центре помещалось скромное дачеобразное строение, очевидно бывшее барским домом, а кругом было рассыпано бесчисленное множество каких-то деревянных бараков всех размеров.

На шум подъехавшего экипажа разом распахнулось несколько дверей в разных строениях и на порогах появились люди. Из одного из них вышел человек атлетического сложения в синей русской рубаше с расстегнутым воротом и обвязанный большим белым фартуком. Это и оказался хозяин. Он любезно пригласил нас сойти и войти в дом. Дальше балкона мы не ходили. Все здесь посило характер чего-то временного, лагерного. На балконе стоял простой самодельный стол и несколько табуреток, дополненных просто большими березовыми поленьями, служившими сиденьями. Я взглянул через окно внутрь дома. В комнате стояла кровать, сооруженная из досок, положенных на низкие

козлы с умятым сенником сверху. Рядом с кроватью высился низенький столик-табурет. В углу висел медный рукомойник, а под ним на полу стоял таз для сточной воды. Какой-либо другой обстановки в комнате видно не было. После краткого вступительного разговора хозяин решил, очевидно, познакомить нас со своей биографией.

— Я ведь в этих местах новосел, — заявил он, — три года только, как здесь живу. Вот видите, решил здесь сыроварным делом заняться, а то здесь кругом крестьян много, у всех коровы, молока девать некуда, а сбыта нет. Вот я подумал сыр варить. Трудновато было начинать. Здесь ведь голое место было. Все это я отстроил. Продал все, что у меня было родовое и благоприобретенное, и начал. Работать приходится много, как говорится, не покладая рук.

— Ну, а доход-то получаете? — поинтересовался Владимир Васильевич.

— Как вам сказать, — ответил хозяин, — доход не доход, а все же кое-какие долги сквитал, да и оборудование чего-нибудь да стоит — как-никак инвентарь! Не хотите ли посмотреть?

Хозяин, производивший впечатление человека малоразговорчивого и угрюмого, видимо сразу оживлялся, как только разговор касался сыра. Получив наше охотное согласие осмотреть его заведение, он оживился еще более, сразу приобрел особую подвижность и попытался даже отпустить какие-то шутки по своему адресу. Благовоспитанность заставила нас терпеливо выслушивать в течение часа подробную лекцию обо всех тонкостях изготовления всевозможных сыров и наблюдать технологический процесс сыроваренного производства. Было скучно, душно и томительно. Мы проклинали тот момент, когда решили заехать в этот уголок. А хозяин, как фанатик своего дела, абсолютно не замечал нашего настроения и все более и более воодушевлялся. Нако-

нец лекция кончилась и мы поспешили откланяться, но хозяин заявил, что отпустит нас только после того, как мы попробуем его продукции. На балконе, прямо на не покрытом ничем столе, к нашему возвращению уже появилось угощение — когда успел распорядиться об этом хозяин, осталось для нас загадкой; вернее всего, это было общее всегда действующее распоряжение на случай приезда посторонних. Рядом с двумя крынками молока и ковригой черного хлеба лежало до полдюжины образцов всевозможного сыра. Затрудняюсь теперь в точности восстановить свои вкусовые ощущения, но, по-видимому, особых впечатлений они не оставили. Отдав долг вежливости трудолюбию хозяина и поняв, что о какой-либо старине и речи быть не может, так как даже сыр в своем большинстве был молодой, мы поспешили откланяться. Помещик любезно проводил нас до экипажа и не забыл в последнюю минуту вкатить нам под ноги багровое ядро голландского сыра.

После нескольких часов томительной езды по летнему солнцепеку по гладкой безлесной равнине мы наконец стали спускаться под горку к манящим зарослям низкорослого молодого леса. Нам недолго пришлось ехать в прохладно-ласкающей тени деревьев. Заросль вдруг стала редеть и открыла впереди лужайку, в центре которой высился помещичий дом, окруженный плотной стеной кустов сирени, жасмина и акации.

— Вот, приехали, — неуверенно заявил Нил, — это и должен быть майор!

Никаких признаков жизни вокруг усадьбы заметно не было. Мы вышли из экипажа и стали искать проход к дому в сплошной стене живой изгороди. Наконец он был найден. Едва мы успели миновать зеленые кусты, как вдруг со всех сторон послышался девичий визг, смех, возгласы, и мы увидели целый рой простоволосых деревенских девок, в грязных, неопрятных сарафанах,

которые, сверкая голыми пятками, со всех ног мчались от нас по направлению к дому. Видимо, они все время наблюдали за нами сквозь зелень, и наше решительное наступление к дому застигло их врасплох и обратило в бегство. Когда мы уже совсем подходили к балкону, навстречу нам стал спускаться с лестницы хозяин. Это был невысокий плотный мужчина лет пятидесяти с лишним, облаченный в белую русскую рубаху ослепительной чистоты, поверх которой была накинута легкая поддевка нараспашку. Брюки темно-синие в полоску, домотканого деревенского холста были заправлены в значительно поношенные, латаные и давно не чищенные сапоги. Сильно загорелое, красноватое обветренное лицо было украшено седоватыми усами и подусниками à la Александр II.

— Милости прошу, как говорится, к нашему шалашу, — громко заявил он. — Гостям всегда рады в нашей берлоге — пожалуйста на балкон!

Он с чувством пожал нам руки — произошло взаимное представление. От майора сильно пахло на нас спиртным духом. Разгадку этому явлению искать далеко не пришлось. На балконе стояло старое плетеное кресло с подделанной к нему деревянной ножкой взамен сломанной и столь же пострадавший от времени плетеный стол с протезом вместо ноги. На столе, посреди в беспорядке разбросанной неопределенной снеди, высилась внушительная бутылка с наливкой и граненый чайный стакан, наполовину налитый багровой густой влагой. Хозяин молча пододвинул нам два стула, вошел в дом и возвратился, держа в руках два стакана. После этого он поставил их на стол, предварительно вытерев о далеко не блестящую чистотой, дырявую скатерть, налил влаги из бутылки и кратко предложил:

— Прошу с дорожки!

На наш робкий отказ майор сдвинул брови и категорически заявил:

— Нет-с — уж со своим уставом прошу в мой монастырь не соваться!

Пришлось подчиниться для пользы дела. Наливка была на любителя — отдавала сивухой и горьковатая. Мы отпили глоточек, а хозяин сразу опорожнил оставшуюся половину своего стакана, крикнул, расправил себе усы и налил снова полный стакан. Только после этого начал он разговор:

— А я сижу, отдыхаю, слышу, кто-то едет, а тут мой выводок, дочки гурьбой на балкон, все вопят: гости приехали, гости приехали; я сразу и не поверил, решил посмотреть, ан вы тут как тут.

Он снова хлебнул из стакана.

— Ведь я вдов, — пояснил он, — а сами знаете, без хозяйки дом сирота. А моя-то супружница, царство небесное, умерла да мне в наследство шесть дочек оставила. Вот тут и справляйся как хочешь! Ну, да вам это не интересно — дела семейные. Расскажите-ка лучше, что новенького слышно у вас там, в столице?

Мы стали повествовать о каких-то застарелых, общеизвестных событиях, но для хозяина, не получившего даже губернской газеты, все было ново и любопытно. Он жадно внимал нашим рассказам, прервав повествование лишь однажды, чтобы заменить опустевшую бутылку другой, полной. Он, к счастью, забыл даже нас потчевать своим снадобьем. Владимир Васильевич с опаской поглядывал на опорожниваемые хозяином стаканы, явно волнуясь, что к моменту делового разговора майор уже не будет годен к употреблению. Впрочем, беспокойство было, видимо, излишне, так как хозяин только все более и более краснел — очевидно, он принадлежал к породе людей, которых легче похоронить, чем напоить. В это время, весьма кстати, скрипнула дверь на террасу и на пороге показалась одна из виденных нами вначале девок — старшая дочь хозяина. От ее первоначального вида не осталось и следа. Воло-

сы были прибраны и туго завиты на щипцах, стан облекало чистенькое ситцевое платьице моды конца прошлого столетия с множеством каких-то нелепых бантиков из разноцветных лент, но ноги, хоть и вымытые, оставались босыми. За этим первым выходом последовало еще пять. Балкон наполнился крайне пестрыми и крикливыми цветными пятнами. При каждом появлении хозяин вскидывал голову и произносил:

— А вот моя Наденька!.. А вот моя Верочка! и так далее шесть раз.

При каждом вопросе, обращенном к барышням, они смущались, фыркали в кулак, краснели и с мукой выдавливали из себя краткие «да» или «нет».

Воспользовавшись тем, что нить первоначального разговора оборвалась, Владимир Васильевич изложил цель нашего посещения.

— Что ж, я не прочь, — сразу согласился майор, — только вряд ли что подходящего для вас найдется. Пойдемте в дом — может, сами что приглядите!

Комнаты в доме, который был какого-то неопределенного возраста, поражали своей пустотой, хотя надо сказать, что мы видели только «парадные» покои, а в «интимные» не входили. Мебель была разнокалиберная, резко отличавшаяся друг от друга как по возрасту, так и по материалу, везде наблюдалось полное отсутствие каких-либо ненужных вещей, украшающих быт. Только в самой большой комнате на стене висело до дюжины хороших дациаровских иллюминированных литографий с видами Москвы 40-х годов да красовался портрет митрополита Платона, указывая на который хозяин безапелляционно, но вопреки хронологии заявил:

— Вот — Платон, учитель Великого Петра!

Владимир Васильевич уныло смотрел на эти безрадостные пустынные комнаты, как вдруг его взор случайно упал на две большие фарфоровые вазы, задвину-

тые на одном из подоконников. Вазы были Императорского завода, с маркой Александра II, в достаточной степени безвкусные, как и все произведения этой эпохи, но совершенно целые и безусловно ценные. Бледно-розовые, с большими мифологическими медальонами ручной работы, они издали казались даже довольно нарядными. Вазы были немедленно извлечены с подоконника и стали предметом оживленного торга. Расхождение было только в одном нуле — хозяин просил пятьсот рублей, а Владимир Васильевич давал пятьдесят. Торговля велась с азартом, но без малейшего ожесточения. Майор, подобно гоголевскому Ноздреву, незаметно перешел с Владимиром Васильевичем на «ты» и твердо стоял на своей цене. Договориться, казалось, не было никакой возможности. После по меньшей мере двадцатиминутной торговли Владимир Васильевич махнул рукой и произнес:

— Ну что ж, видно, мы не договоримся, придется разойтись!

— Зачем разойтись? — вдруг заявил хозяин, — мы люди здесь хоть и неотесанные, но приучены гостю всегда уважение делать!

Он протянул Владимиру Васильевичу свою руку, липкую от наливки, и воскликнул:

— Черт с тобой, мужик ты хоть и несговорчивый, но больно хороший, — забирай их за пятьдесят!.. На кой они мне, а я девочкам обувьку закажу, а то вишь, босые ходят — срам один!

Дочки немедленно запаковали вазы в какие-то корзины, переложив их сеном, деньги были отсчитаны и вручены, по желанию хозяина, Наденьке «от греха — целее будут», и после насильственно влитого в нас «посошка» мы двинулись в дальнейший путь.

На этот раз перегон был большой. Только часа через три мы стали подъезжать к новой усадьбе. Это были владения столь широко известного в округе помещика

Лесли. Сразу по въезде в это имение бросалась в глаза благоустроенность. Дороги были окопаны канавами, мосты новые и крепкие, рощи — расчищенные, везде виднелись загородки и ограды. Вскоре мы въехали в редкий липовый лес. Сквозь деревья, слева, что-то ослепительно заблестело, и в прогалине неожиданно открылась гладь обширного озера. Затем лес пошел гуще, и дорога вдруг превратилась в широкую аллею, тянущуюся к белым каменным стенам двухэтажного большого барского дома.

Мы остановились у ворот усадьбы и пошли в направлении к дому, вблизи которого виднелась группа оживленно беседовавших людей. При виде нас они замолчали, и кто-то из них, идя нам навстречу, спросил, кого нам угодно. Мы ответили, что желали бы побеседовать с помещиком. Во время воцарившегося краткого молчания от группы отделился невысокий мужчина, одетый в щегольскую темно-синюю поддевку поверх белой шелковой рубахи и обутый в блестящие лаковые сапоги. Холеная белобрысая бородка и белоснежный картуз сразу обнаруживали в нем «барина».

— Чем могу служить? — с холодной вежливостью спросил он.

Выговор его указывал на то, что он более привык говорить на иностранном языке, нежели на русском. Мы отрекомендовались и сообщили о цели нашего посещения.

— Очень сожалею, — сказал он, — но не занимаюсь продажей собственных вещей, так что полезен вам быть не могу.

После этого он слегка кивнул головой, повернулся и пошел обратно к группе ожидавших его людей. Аудиенция была окончена, и нам оставалось лишь ретироваться, что мы и сделали. Это был единственный случай, когда нам не было оказано гостеприимство, — рад засвидетельствовать, что этот человек по своему

происхождению все же не был русским. Характерно, что это был самый богатый и наиболее европеизированный и «культурный» из всех помещиков, у которых нам пришлось побывать.

Вместе с тем длительный перегон в достаточной мере утряс нас, а ранний завтрак Криштофовича и зелье, выпитое у майора, еще более обострили аппетит. Хотелось и есть и пить. Решили остановиться в ближайшей деревне, чтобы там распаковать наши домашние продукты и выпить чаю или молока.

В первой встретившейся нам деревне мы долго выбирали избу, почище на вид и попросторнее и наконец остановились у франтоватого крылечка с точеными балясинами. Хозяева — мужичок средних лет и его жена — встретили нас радушно и немедленно начали хлопотать с самоваром и крынками. Но внешний вид избы оказался обманчивым. Внутри было в достаточной мере загажено и закончено. По полу деловито шныряли тараканы, и в воздухе носились рои мух. Трудно было себе представить большую бедность и темноту. Вместе с тем, как выяснилось из немногословного разговора, хозяин избы был один из наиболее состоятельных крестьян в деревне — он владел лошадью и коровой. Поражала необычайная несловоохотливость хозяев. Хозяйка вообще вела себя как немая — только раза два-три она что-то негромко сказала мужу, а из хозяина каждое слово приходилось вытягивать клещами.

— В Смоленске-то был когда?

— Ни, не торопялось.

— А в Поречье?

— То ж, не торопялось.

— Что же у вас здесь все так живут?

— Ни, которые бедные, плоше живут.

Этим, пожалуй, весь разговор и исчерпался.

Основательно подкрепившись на крылечке (спаса-

ясь от мух, мы просили вынести наш столик на воздух), мы двинулись в последний наш перегон. Данный хозяевам на прощанье серебряный рубль привел их в полное недоумение от щедрости гостей — они упорно настаивали, что это много и не по-Божески, но все же в конце концов примирились с этой мыслью.

Солнце уже было почти на горизонте, когда мы наконец въехали в город Поречье и достигли первого этапа нашей поездки. Собственно говоря, название «город» было довольно относительное. Поречье напоминало скорее большое зажиточное подмосковное село, нежели город. Несколько церквей и бесчисленное количество одноэтажных деревянных домов вперемежку, в некоторых местах просто с просторными крестьянскими избами, немощеные, заросшие травой улицы без тротуаров, куры, свиньи и козы, гулявшие по «стогнам града», и убого одетые жители — все это не имело ничего общего с городским видом.

Мы остановились на каком-то постоялом дворе и, наскоро устроившись, не напившись даже чаю, пошли по делам, так как Владимир Васильевич хотел наладить все необходимое, не откладывая на завтра. Выйдя на главную улицу, он посмотрел по сторонам и, увидя вдали вывеску с нарисованными на ней огромными часами, уверенно зашагал к ней. На вывеске значилось: «Чиню часы. Н. Михайлов». Владимир Васильевич закачал головой, проговорил «не годится» и направился дальше. Следующая однородная вывеска возвещала, что «С. Самохвалов» срочно исправляет часы всех фирм. Это объявление также не удовлетворило моего спутника. Наконец он узрел то, что искал. На большой голубой доске было начерчено: «Ремонт часов с полной гарантией. Московский мастер фирмы Буре Иосиф Розенфельд».

— Вот это дело! — проговорил Владимир Васильевич и с удовлетворением распахнул дверь магазина.

Нас с радушным поклоном встретил молодой, юркий еврейчик и осведомился, что угодно господам.

— Вот что угодно, — заявил мой спутник, — ремонтировать часы нам не нужно — и так хорошо идут, а приехали мы сюда покупать старинные вещи. Всякие старинные вещи покупаем — чашки, фарфоровые вещи, стекло, бронзу, вышивки, ну, словом, всякую всячину, которой лет сто и больше. Мы здесь никого не знаем, а вы знаете. Так вот, ищите такие вещи и несите нам или хотя адреса нам говорите, кто что продает, и со всякой нашей покупки десять процентов вам. Понятно?

Еврей сразу заулыбался и ответил:

— Как же это не понять? Это может понять каждый ребенок. А где остановились господа?

Мы сообщили свой адрес и сказали, что на другой день никуда выходить не будем, а станем дожидаться его.

— Да вот что, — добавил на прощанье Владимир Васильевич, — секрета из этого не делайте: всем вашим знакомым часовщикам скажите — пусть все на этом «гешефте» поднаживутся, — надо евреям подзаработать дать!..

Мы еще пили утренний чай после ночи, проведенной в уютном обществе домовитых клопов, на которых, кстати, мы не обратили должного внимания после тряски и тревог дороги, когда в нашу комнату постучался обязательный Осип Розенфельд. Пришел он в сопровождении еще какого-то своего соотечественника, который «имел нам что-то сказать».

С этого момента началась наша беспокойная пороческая жизнь. Мы, как поны в престольный праздник, ходили из дома в дом, водимые нашими маклерами, число которых все увеличивалось и увеличивалось. На четвертый день нашего пребывания в городе мы подсчитали итоги, — жатва была более чем скромная. Ничего стоящего, кроме некоторого количества ценных

карманных часов фирмы Нортон, нами приобретено не было. Надо было двигаться дальше. Решили возвращаться в Ярцево другой дорогой, через Духовщину, хотя Нил и предупредил нас, что на этом пути усадеб нет, но зато можно было покрыть путь в один день.

Поздно вечером, накануне нашего отъезда, к нам постучалась старушка. Перекрестившись на иконы и отвесив нам поцелуйный поклон, она робко заинтересовалась:

— Слышала я, что вы всякие древности покупаете. Вот, может, у меня купите?

С этими словами она вынула из платка небольшую икону и передала ее Владимиру Васильевичу.

— Это еще от прадедов, а я человек старый, одинокий — помру, все равно прахом пойдет, уж лучше вам, может, к делу придется.

Владимир Васильевич взял в руки потемневшую от времени маленькую дощечку и стал ее рассматривать. Поставленный в тупик невиданным зрелищем, он передал ее мне. Икона была резная. В три яруса на ней были вырезаны изображения каких-то святых, одежды которых были расцвечены окаменевшей от лет эмалевой краской. По борту иконы тянулась узенькая серебристая полоска.

— Ну, что ты скажешь? — спросил он меня. Я ничего сказать не смог.

— Кто же это так икону-то испортил — раскрасил ее всю? — спросил Владимир Васильевич.

— Это всегда так было, — горячо стала уверять старушка, — еще от дедов и прадедов, я обманывать не стану!

Повертев еще некоторое время дощечку в руках и неуверенно покачав головой, Владимир Васильевич неохотно предложил за святину три рубля. Старушка немедленно радостно согласилась.

— Вот, купили kota в мешке, — ворчал Владимир

Васильевич, убирая покупку в чемодан, — выкинули на ветер трешницу... Правда, вот эта серебряная полоска меня смущает — так иконы украшались только в XVII веке... Ну, да ладно — в Москве разберем!

В Москве действительно разобрались — икона оказалась редчайшим образцом русской деревянной скульптуры XIV века и до сего времени с почетом хранится в одном из наших государственных музеев.

На другой день мы благополучно покрыли обратный путь и уже в темноте подъехали к станции Ярцево. До смоленского поезда надо было ждать шесть часов. Любезная буфетчица снова напоила нас своим кофе и угостила булочками. Спать не хотелось, и часы тянулись томительно долго. Напротив меня, на деревянном ожидальном диване, лежа валетами, мирно дремали два пассажира — плотный, бравый кавалерийский штаб-ротмистр и розовенький, пухленький, совершенно лысый старичок. Меня положение, штаб-ротмистр неожиданно проехался своей шпорой по голому черепу старичка. Последний вскочил спросонья, обалдело взглянул на своего соседа и смущенно пролепетал:

— Извиняюсь!

— Пожалуйста! — сквозь сон успокаивающе промычал кавалерист.

Мне показалось, что я только что начал дремать, когда меня разбудила начавшаяся станционная суета. Светало. Подходил поезд. Через несколько часов мы уже подъезжали к Смоленску.

Смоленск до сегодняшнего дня кажется мне каким-то особенным городом. Крутые подъемы и спуски улиц, по которым движутся пароконные извозчики, полуразрушенные крепостные стены древнего кремля, выдавшие и поляков и французов, провинциальные претенциозные особнячки и доминирующая над всем громада пятиглавого собора. Внутри в нем золотая, полукатолическая роскошь отделки, фигуры ангелов

и святых, филигранная кафедра для проповедника в виде причудливой клетки и рака с мощами центуриона Меркурия с лежащим рядом, на особой подставке, огромным железным шлемом святого. Набожные богомольцы, после земных поклонов святителю, благоговейно берут шлем в руки и надевают его на мгновение на свою голову...

В Смоленске у нас быстро образовалась обычная «маклература» часовщиков, и взятки здесь были обильнее.

Однажды один из часовых дел мастеров сообщил нам, что если мы готовы немного побеспокоиться, он сообщит нам за сходную цену один адрес, где мы можем обнаружить много интересного, но надо ехать под Смоленск по Риго-Орловской железной дороге. Владимир Васильевич быстро заключил устный договор, по которому нам полагалось заплатить сообщившему адрес пятнадцать рублей, если мы купим что-либо у названного им владельца. Рано поутру на другой день мы уже сидели в вагоне, направляясь на станцию Пересна. От Пересны до места нашего назначения, имения Шевандиных Ямполье, было верст двадцать. Только к полудню мы подъехали к богатому старинному имению.

Барский дом, деревянный, выстроенный при Николае Павловиче в ложноготическом стиле прятался в густой зелени запущенного парка. Над зелеными купами деревьев высилась нелепая башня с узорчатыми окнами, пестревшими разноцветными стеклами.

Встретили нас радушно, хотя и с некоторым оттенком чопорности. Усадьба была богатая. Видимо, всеми делами ведал зять хозяйки, мужчина лет сорока с лишним, живой и общительный. Сама владелица, немолодая, подтянутая, следящая за собой, по привычке светской женщины слегка кокетничала и рисовалась. Со свойственной русской аристократии легкомысленной самоуверенностью она часто в разговорах с зятем

переходила на французский язык в тех случаях, когда желала, чтобы мы ее не понимали. В конце концов мне это надоело и я заговорил с нею по-французски. Получился конфуз.

Мы побыли у Шевандиных недолго, а потому и воспоминания об усадьбе у меня смутные. Хорошо помню обширную залу, в которой стояла замечательная мебель красного дерева с золотым левкасом — первое-классное произведение эпохи Александра I — золотые лебеди на простертых крыльях поддерживали гладко отполированные крышки столов. Принимали нас в гостиной, сплошь увешанной портретами предков. Яр-ко горели нестареющие краски живых полотен Зор-рянки. Рядом с гостиной помещалась небольшая узкая комната, сплошь уставленная огромными шкафами с большими стеклами. Кто-то из предков владелицы во времена Александра I занимал положение директора Императорского фарфорового завода. По должности он имел право брать себе по одному экземпляру того, что производил завод. Огромные шкафы были сплошь забиты фарфоровыми изделиями начала прошлого века, среди которых доминировал прекрасный столовый обеденный сервиз на сто персон.

Зять был готов продать нам все, что бы нам ни приглянулось, но неизменно сталкивался с оппозицией тещи, которая расторгала готовые совершиться сделки по соображениям, что эти вещи были «дедушкины» или «бабушкины». Вместе с тем теща так же, как и зять, видимо, очень хотела получить деньги, которые, оче-видно, были очень нужны. Наконец была найдена нейтральная вещь, не связанная с семейными воспоми-наниями, устроившая обе стороны, — это был велико-лепный чайный сервиз конца XVIII века, белый с золо-том. После недолгой торговли он перешел в наши руки за сто рублей. К нему присоединилось несколько дру-гих вещей — статуэток, флаконов для духов, безделу-

шек — из заветного шкафа, о которых хозяйка постаралась забыть, что они «дедушкины».

К концу торго зять вынес из своей комнаты музейный пистолет парижской работы, весь в золоченой бронзе и перламутре, — подарок Наполеона Александру I, который, в свою очередь, подарил его чуть ли не этому самому директору фарфорового завода. Вещь была сторгована за четыре красненьких, но тут категорически вмешалась теща и выразила свой настойчивый протест. Зять вздохнул и отложил пистолет в сторону. После расплаты и неизбежного чая с закуской мы тронулись в обратный путь. Провожал и усаживал нас в телегу (другого экипажа на станции не было) неугомонный зять. В последнюю минуту он сунул что-то к нам в ноги и шепотом бросил Владимиру Васильевичу:

— Давайте сорок рублей!

Мой спутник сразу понял, в чем дело, и, незаметно достав деньги, вложил их в протянутую руку. Зять подмигнул нам и прибавил:

— Авось старуха не хватится!

На обратном пути на станцию наш возница, меланхоличный и молчаливый белорус, по-видимому долгое время размышлявший над пистолетным происшествием, при финале которого он присутствовал, вдруг обратился к нам с вопросом:

— Вы, стало быть, подержанные вещи скупаете?

На наш наполовину утвердительный ответ он добавил:

— Вот вам бы к Глинке заехать.

Так как до поезда оставалась уйма времени, мы с охотой приняли предложение.

Скромненькая усадьба молодого помещика Глинки была расположена в конце деревни, на довольно крутом и живописном берегу веселой речушки. Старые ивы с их дымчатой листвой причудливым кружевом засти-

лали от взоров серебристую воду. Мы сидели на балконе и пили чай с молодыми хозяевами.

Сам Глинка недавно окончил Московскую сельскохозяйственную академию, женился и теперь безвыездно жил в своем маленьком имении, проводя в жизнь идеалы, впитанные им в стенах академии. Одевался он *à la moujik* — вышитая белорусская рубаша и брюки из домотканой шерсти, сапоги.

— Собственно говоря, какой я помещик, — поведствовал он, — у меня и земли-то почти нет — несколько десятков десятин. Да я и рад — крупное землевладение преступно. Мы с женой сами обрабатываем свою землю, а если иногда и принуждены искать помощи, то находим ее среди беднейших крестьян нашей деревни, расплачиваясь с ними не деньгами, а сельскохозяйственными продуктами. Отношения у нас с деревенскими хорошие, товарищеские...

В небольшом стареньком домике были обильно разбросаны предметы старины. Мебель красного дерева, карельской березы, старинные картины, уцелевший фарфор. Все эти вещи употреблялись в быту, и не могло быть и речи об их продаже, так что мы даже не заходили об этом разговора.

— Мы, Глинки, всегда были мелкопоместными, — признавался хозяин, — мой дед, или, вернее, двоюродный брат деда, Михаил Иванович, тоже был помещиком небогатым, тут среди этой мебели есть кой-какие и его вещи, дареные...

Напившись чаю, мы стали прощаться. Так как, заезжая к Глинке, мы сделали крюк, пришлось разъяснить вознице маршрут. Среди названия сел и деревень часто мелькали слова «святое дерево». На мой вопрос, что это такое, Глинка просто ответил:

— А дерево такое в лесу. Вы мимо поедете и его увидите: оно здесь почитается крестьянами — они его украшают.

Я с естественным интересом и с нетерпением ожидал обещанного леса. Наконец мы въехали в небольшую рощу, и я стал внимательно присматриваться ко всем деревьям, чтобы узнать среди них «святое». Все деревья были разнообразны и вместе с тем одинаковы. Когда я уже готов был потерять всякую надежду, мы за поворотом дороги сразу наехали на местную святыню. Это был, видимо, очень древний дуб, сильно пострадавший в свое время от каких-то стихийных бедствий. Его могучий ствол аршина на два от земли причудливо извивался, почти под прямым углом, образуя нечто вроде огромного стола, а затем снова устремлялся ввысь. Нижние ветки дерева были все увешаны ленточками, бусами, вышивками, иконками, а на том месте ствола, которое образовало подобие стола, лежали кусочки черного и белого хлеба, кучки ржаных и пшеничных зерен, букеты цветов. Вся земля вокруг дерева была гладко вытоптана человеческими ногами. От этого зрелища на меня пахнуло чем-то доисторическим, седой языческой стариной, и стало как-то жутко. От этого впечатления я не смог освободиться даже по приезде вечером в Смоленск.

Из Смоленска мы поехали в Витебск, затем в Полоцк, потом в Невель. Эти города имели нечто общее между собою со своими церквями, похожими на костелы, и костелами, похожими на православные церкви, с маленькими деревянными особнячками, немоценными боковыми улицами, бедностью и грязью. Помню, в Невель мы приехали поздно вечером в пятницу, на другой день, когда мы вышли на улицу, я был поражен видом степенных, старых евреев, шедших из синагоги. В длиннополых черных сюртуках, с твыльми и цицисами на головах, из-под которых развивались холеные локоны пейс, они были великолепны в мудром опыте многовековой культуры, бережно хранимой до наших дней.

Естественно, что этот первый день, проведенный в Невеле, оказался для нас бросовым, так как 90 процентов торговых заведений города были закрыты по случаю субботнего дня и ни один уважающий себя часовщик не стал нарушать праздника разговорами о «гешефтах».

В воскресенье, когда наша деятельность возобновилась, я принужден был малость разочароваться относительно «бережно хранимой многовековой культуры», когда среди предлагаемых нам на покупку раритетов замелькали старинные художественно ценные предметы еврейского религиозного культа, часть которых мы и приобрели.

После Невеля мы продолжали наш путь на север и добрались до города Торонца.

Здесь все было иное, все дышало исконным древнерусским благочестием. Посреди города, там, куда стекались радиусом все главные улицы и где естественно было ожидать обширную базарную площадь с собором и гостиним двором, к удивлению приезжего, в спокойном величии красовалась зеркальная гладь обширного озера. В этих зеркальных водах отражались причудливые контуры бесконечных древних церквей, зеленых, красных, синих, украшенных пестрыми обливными изразцами. Промеж них мелькали фундаментальные, приземистые старинные купеческие дома с бочкообразными колоннами и без оных. По улицам народ ходил степенный, неторопливый, знакомые молча и величественно приветствовали друг друга полными достоинства поклонами. Даже на базаре, на берегу озера, куда я забрел, не было обычного шума и гама — продавцы и покупатели торговались, спорили, но ни на одну минуту не теряли своего благообразного величия. Так как в этом городе все часовщики носили русскую фамилию, то Владимир Васильевич попросил коридорного на постоялом дворе, где мы остановились, раздобыть

ему женщину, которая занималась бы брачными делами, то есть, иными словами, сваху. Пришедшая в наш номер через несколько часов почтенная дама мало чем напоминала персонажей комедийных героинь Гоголя и Островского. *Tempora mutantur*¹ — она скорее походила на начальницу захудалой провинциальной женской гимназии. Сухая, строгая на вид, с пенсне на цепочке, прикрепленным к темной шелковой блузке, она молча выслушала наше дело и, немного подумав, проговорила:

— Это, конечно, дело не вполне мне знакомое, но *ça va sans dire*² — не боги горшки обжигают — попробую быть вам полезной!

Деловито условившись относительно своего вознаграждения, строгая дама удалилась, чтобы снова появиться в нашем номере через несколько часов. Она вполне оправдала возложенные на нее надежды. Переходя из дома в дом, мы собирали обильный урожай.

Среди всевозможной старины, предлагаемой нам, неизменно встречались местные женские кички — островерхие³, разукрашенные спереди гроздьями причудливых шишек из туго накрученных веревок. С тыловой части головной убор был закончен богатой пестрой парчой. Столь странное несоответствие фасада с задней частью вызывало недоумение. Сирошенная об этом словоохотливая старушка — владелица кички — объяснила причину подобного явления.

— А как же?! — воскликнула она, — кика разве такая была, в красоте-то? Ведь это основа только — убранства-то на ней нет, которое полагалось. Ведь она поверх веревок-то должна по форме-то жемчугом рас-

¹ Времена меняются (*лат.*).

² Само собой разумеется (*фр.*).

³ К и к а — женский праздничный головной убор в старину.

шиваться. Ведь наш город торговый, богатый, жемчужный город. Сколько лет на всю Россию торопецкий жемчуг поставлялся — его здесь в нашем озере и вылавливали. Он и в Псков и в Новгород шел. А промеж нас, торопчан, и расплата-то вся шла жемчугом; я еще это помню. Вот, постойте!

Старушка засуетилась и достала из шкафа два маленьких серебряных стаканчика, один побольше, другой поменьше. На одном была выбита цифра 3, на другом 5.

— Вот как люди-то у нас торговали. Ежели что покупать надо, брали с собой мешочек с жемчугом и мерочки эти — купят что, сторгуются, развяжут мешочек и отмеривают: вот эта мерка — три рубля, а эта пять, была еще у меня совсем махонькая, на рубль — да ребятишки затеряли играючи... Ну, а как нужда-то пошла с дороговизны-то, народ-то и начал жемчуг с кичек спарывать да продавать — вот одни остовы и уцелели.

После этого разговора мы усиленно начали искать неразоренную кичку. Это была трудная задача; где они имелись, их не продавали, наконец, удалось раздобыть один экземпляр, но довольно ветхий и неказистый. Казалось бы, необъяснимое нежелание расставаться со старинными головными уборами разъяснилось самым простым образом.

Как-то вечером, под какой-то праздник, я забрел в одну из древних торопецких церквей. Шла всеобщая. В левой стороне храма стояли женщины, около половины из них, в особенности старухи, были в кичках, повязанных сверху темными шелковыми платками с золотой и серебряной вышивкой. Многие были одеты в своеобразные шелковые кофты — душегреи с золотой бахромой. Светлые тона почти отсутствовали. У более молодых кички встречались реже, но зато в ушах неизменно красовались своеобразные местные

серьги в виде золотых виноградных листьев с гроздьями жемчужного винограда...

Однажды наша сваха пришла к нам с предложением приобрести дом. Мы отказались по мотивам нежелания приобретать недвижимость.

— А можно и на слов, — заметила наша маклерша, — посмотрели бы. А дом старинный, ему лет полтора-раста будет!

В надежде найти в предлагаемом особняке какую-либо продажную движимость мы согласились осмотреть владение.

— При доме сад и надворные строения, — расхваливала свой товар строгая дама, — а главное, почти даром — на трехстах рублях сойдетесь!

В тихой боковой улице за дощатым, седым от времени забором нашим взорам представился обширный деревянный дом с облупленными деревянными колоннами, утопавший в хаотической зелени запущенного обширного сада. Где-то был отыскан сторож, со звоном отомкнулись древние дверные замки, и мы вошли внутрь. Дом был абсолютно пуст. Об его былом великолепии говорили лишь художественно инкрустированные паркеты в парадных комнатах, поблекшая, а частично и испорченная роспись плафонов и необычайно затейливые кафельные печи, украшенные пестрыми цветными изразцами, причудливыми колонками, гребешками и карнизами. На изразцах были изображены люди, звери, птицы, рыбы, цветы и красовались надписи. «Се цвет розан», — значилось под экзотическим растением. Разрубленная пополам змея была снабжена объяснением: «Соединитца или умереть!» Меланхоличный карась вещал о себе: «Хладен, но сердце имею», и, наконец, гулявший по саду человек заявлял: «Натурою наслаждаюсь».

Владимир Васильевич поведал свои мысли вслух:

— Может, печки на слов купить? А? Да как их

разбирать, паковать, перевозить — все это дело сложное: надо все перенумеровать, делать чертежи. Нет, ничего не выйдет... Нет ли у вас здесь чего помельче продажного-то? — спросил он неожиданно сторожа.

— Не... — ответил тот, — господа все увезли, когда сюда наведывались... — И стал думать: — Вот разве миска тут у меня осталась! — неожиданно разродился он вдруг фразой.

— Давай ее сюда скорей! — радостно воскликнул Владимир Васильевич.

Через несколько минут перед нами появилась какая-то невероятная посуда, напоминавшая серый детский гробик, увенчанная нелепой крышкой с огромной, лежащей сверху грушей натуральной величины, ядовито-зеленого цвета с болезненным румянцем. Все это сооружение весило по меньшей мере полпуда. Владимир Васильевич подробно ее осмотрел, перевернул вверх дном, обнаружил на дне какую-то синюю загогулину, постучал пальцем и глубокомысленно заметил:

— Майолика... ну и штука! Как мы ее потащим? А?

— Тяжеловата!.. — согласился я.

— Да это, коли купить желаете, уж вместе с домом! — вставил свое безапелляционное требование сторож.

Владимир Васильевич заметил, что к такой штуке не грех бы и дом в придачу дать, и мы разошлись — сделка не состоялась.

Приблизительно года через два я как-то зашел в магазин к Владимиру Васильевичу. Он сразу подхватил меня под руку и повлек за собой в свои внутренние апартаменты. Здесь он взял с подоконника книгу, открыл ее на замеченной странице и положил ее передо мной. На отдельной странице, в красках, была изображена брат или сестра нашей торопецкой миски.

— Узнаешь? — спросил меня Владимир Васильевич.

Пояснительная надпись гласила, что это произведение раннепетровского времени — русская майолика конца XVII века.

— Просчитались мы с тобой, — сокрушенно заметил Владимир Васильевич, — стоило ведь дом купить и подарить его сторожу, а себе только миску взять, и то бы мало, рубль на рубль нажили. Вот, брат, век живи, век учись!

Из Торонца, нагруженные приобретениями, мы направили свой путь обратно в Москву.

Эта поездка запомнилась мне на всю мою жизнь. С благодарным чувством вспоминаю я добрейшего Владимира Васильевича, давшего мне возможность присутствовать при агонии феодальной России и прочесть последнюю страницу истории дворянско-усадебного быта. Благодарен я ему также и за то, что на каждом привале во время поездки он неизменно приговаривал мне: — Записывай, записывай, — этакое больше не увидишь.

И вот маленькая розовенькая записная книжечка — календарь, премия кондитерской фирмы «Эйнем», и помогла мне с особой легкостью и подробностями написать эту главу.



каждым годом музей приобретал в жизни отца все большее и большее значение. Все чаще можно было услышать от него досадливое восклицание:

— Ах! Если бы собрать все деньги, которые я в свое время истратил на обеды, ужины и прочие глупости, — сколько бы я смог на них приобрести замечательных вещей для музея!

Следствием этих мыслей появилось и соображение, которое однажды отец высказал матери:

— Знаешь, я вот, когда не спится ночью, все думаю — зачем это мы тратим столько денег на наши родственные и новогодние приемы? Кому это нужно? Кого, собственно говоря, мы собираемся удивлять? Не умнее было бы уезжать на это время куда-нибудь на юг, на Средиземное море? И семье было бы больше пользы, и денег бы это меньше стоило, да и для музея я смог бы кое-что интересное купить!

Мать что-то неуверенно попробовала возражать, ссылаясь на сложность подобной поездки с семьей, но отец со свойственной ему решимостью вдруг заявил:

— Вот что, давай готовиться в декабре ехать в Ниццу. Мне еще по пути надо заехать в Берлин — там

театральная выставка, поучиться надо. Коля Попов туда едет. А там, — как Бог даст.

Ницца была избрана отцом не потому, что это было модное курортное место, а в связи с тем, что туда ежегодно ездили старые знакомые отца, Александра Александровна и Федор Кузьмич Прохоровы. Они любезно предложили обеспечить нас помещением, так как выезжали раньше нас.

Короче говоря, одним прекрасным утром, в середине декабря, мы оказались в вагоне по пути в Берлин.

Театральная выставка не оставила особого следа в моей памяти. Знаю только, что мы были на ней с отцом раза три, что он чрезвычайно подробно ее изучал и даже заставил меня зарисовать и отметить размеры выставленных там старинных арлекинских дубинок «комедии масок». Именно с этого момента отец стал усиленно разыскивать за границей все материалы, касающиеся этого своеобразного итальянского театра. В те времена «комедия дель арте» считалась народным театром, а он особенно интересовал отца, который покупал итальянские марионетки, немецкие райки, венецианские карнавальные маски-бауты.

Отчетливо припоминаю представление кукольного театра, работавшего при выставке; подобное зрелище я видел впервые. Сравнивая это представление с тем, что теперь показывает театр С. Образцова, должен сказать, что берлинский спектакль был и примитивен и малохудожественен.

Свободное от выставки время мы проводили с отцом на Вильгельмштрассе, на улице берлинских антикваров, где мы нашли много интересного. Немецкие антиквары были чрезвычайно услужливы и, по сравнению с нашими и с французскими, очень дешевы.

Вслед за Берлином, с его приторной и нарочитой чистотой, с повсюду марширующими солдатами, с толстыми немцами, дымящими зловонными сигарами и

разъезжающим на автомобиле по улицам кайзером Вильгельмом с горнистом, беспрестанно играющим четыре ноты рога Зигфрида из одноименной оперы Вагнера, перед нами промелькнул Париж, и мы уже приблизились к нашей конечной цели.

Путь от Парижа до Ниццы как-то особенно запомнился мне. Мы выехали из столицы Франции рано утром, сев на экспресс, который должен был поздно вечером доставить нас на берег Средиземного моря. Погода была холодная и хмурая, улицы были заволочены туманом, в наших демисезонных пальто мы чувствовали себя как в Москве в ноябре месяце. До Лиона все кругом дышало поздней осенью, но после этого города шелка и бархата стала происходить сказочная метаморфоза. Осень быстро сменилась весной, а к вечеру весна превратилась в лето. Скупой и одновременно поэтический пейзаж французского Прованса с его оливковыми рощами, стройными тополями и древними дуплистыми ивами, с бирюзовой спокойной Роной, залитой приглушенным сиянием зимнего солнца, уносил мыслями в славное прошлое этого края. Мимо проносились древние города — Дижон, Валансьен, Авиньон с его древним дворцом и мостом, пробуждая в памяти пройденные в школе страницы французской истории. На остановках мы выходили подышать свежим воздухом, уже без пальто, а к вечеру, когда мы подъезжали к Марселю, стало уже жарко. Как это обычно бывает на юге, после захода солнца сразу наступила ночь, и в Ниццу мы приехали, когда на небе уже ярко горели звезды.

На вокзале нас встретили наши знакомые и директор отеля, в который нас и доставили через несколько минут.

Наша гостиница «Palas Hotel» была довольно своеобразным заведением, стоящим описания. Она скорее напоминала современный дом отдыха, чем отель на

модном курорте. Все в ней было поставлено на какую-то домашнюю ногу. Постояльцы были завсегдаятами, приезжавшими туда из года в год. Это были немцы, венгры, румыны, болгары, русские и немногочисленные представители английской и американской трудовой интеллигенции. Американцы и англичане, задающие тон и соревнующиеся в туалетах, здесь отсутствовали. Часы завтрака, обеда и ужина были от и до. Все приходило тогда, когда им было удобно, и занимали тот столик, который был ими избран вначале и забронирован на все время пребывания. После обеда все переходили в соседнюю комнату, занимали там также свои неприкосновенные места в удобной плетеной мебели и пили там кофе. Во время обеда метрдотель обходил присутствующих и осведомлялся, что им угодно было бы есть на ужин и на другой день. Все это записывалось и в точности выполнялось.

От столика к столику ходили директор отеля и сын хозяина и занимали обедающих разговорами. Русский и болгарский Новый год отмечался особо соответствующим ужином, букетами цветов дамам и программой оркестра, который в этот вечер исполнял только русские произведения. Вспоминаю один курьезный случай — как-то однажды, когда часы пробили двенадцать, оркестр вдруг почему-то заиграл «Ах ты, береза, ты моя береза» и лишь после нее русский и болгарский гимны. Особенно торжественно в нашем отеле справлялся немцами, жившими в Ницце, день рождения Вильгельма II. В этот день для них готовился особый обед, печаталось особое меню с портретом кайзера и все они являлись в своих парадных военных и гражданских мундирах, увешанных орденами, а некоторые в нелепых тужурках и кругленьких плоских шапочках студенческих корпораций. Все они дымили сигарами, кричали «хох» и пили пиво.

Когда мы вошли в предоставленное нам помещение,

кстати, на ряд лет ставшее для нас постоянным (как сейчас помню, номер 71 и 72), первое, что приятно поразило нас, были две большие корзины с цветами от наших знакомых и от хозяина гостиницы в комнате матери, заботливо приготовленный ужин и открытая дверь на балкон, в которую свисала тяжелая ветка близстоящей мимозы, вся увешанная гроздьями своих пушистых цветов.

На другой день утром пришли с визитом хозяин гостиницы и его сын осведомиться, довольны ли мы и нет ли у нас каких пожеланий.

Очень скоро наша жизнь в Ницце вошла в определенную колею. На мою долю выпала предварительная разведка всех антикварных лавок. После моего подробного донесения обо всем обнаруженном отец уже отправился туда самолично, а я начал подробное ознакомление сперва с городом, а потом и с его окрестностями, совершая многочасовые прогулки. В моем юном исследовательском пылу я, конечно, предпочитал за городом не следовать проторенным дорогам, а передвигаться по сильно пересеченной целине, благо местность там гористая. Помню, как однажды я чуть не попал в беду. Забравшись чуть ли не по отвесной скале на какую-то высокую крутизну, я заметил французского солдата, который что-то кричал. Не слышав за дальностью расстояния его слов и не предполагая, что они относятся ко мне, я продолжал продвигаться вперед и остановился лишь тогда, когда увидел направленное на меня дуло винтовки. На крики часового выбежали еще какие-то солдаты, которые окружили меня и, с чисто французской вежливостью объяснив мне, что я забрел на территорию крепости Вильфранш, быстро выпроводили меня той же дорогой.

После того как отец обошел антикваров Ниццы, разыскав там кое-что для музея, он стал предпринимать поездки на трамвае в соседние городки: Канны, Мен-

тон, Монте-Карло, в тех же целях. Эти экскурсии совершались уже в моем обществе.

В Монте-Карло мы поехали на целый день. Посетили знаменитый аквариум принца Монакского — этого карикатурного монарха, чьи владения не превышали территории нашей дачи в Малаховке, побродили по чудесному парку игорного дома, выдавшему на своем веку не один трагический конец завсегдатаев этого заведения, осмотрели сам игорный дом — днем он пустовал и поражал своим пышным, но мрачным и безвкусным великолепием — и, наконец, обошли всех местных антикваров. После этого мы очутились на веранде местного кафе, так как голод давал о себе знать.

При входе в кафе я сразу обратил внимание на статного широкоплечего молодого мужчину, сидевшего за одним из столиков и с любопытством нас рассматривающего. Когда мы уже занимали свои места, отец также его заметил. Мужчина же приветливо замахал рукой и привстал со своего места. Отец сейчас же подошел к нему, оставив меня одного. Возвратившись обратно через несколько минут и сядя на место, он пояснил мне:

— Это Шаляпин. Он, оказывается, будет петь здесь одну из моих любимых опер — «Мефистофеля» Бойто. Надо будет пойти с мамой, да, пожалуй, и тебя захватить.

Покидая кафе, Шаляпин подошел к нашему столику проститься «до Москвы».

— Зачем до Москвы? — возразил отец. — Я надеюсь взглянуть и послушать вас здесь, в «Мефистофеле».

При этих словах лицо Шаляпина приняло страдальческое выражение, и он, как-то безнадежно махнув рукой, пошел к выходу.

Спустя несколько дней мы уже втроем приехали снова в Монте-Карло в оперный театр смотреть и слу-

шать Шаляпина. Пел и играл он, как почти всегда, великолепно, но образ Мефистофеля слабо запечатлелся в моей памяти, вероятно, потому что пел он по-итальянски, а для того, чтобы в полной мере воспринять Шаляпина, надо было не только его слушать, но и понимать.

Зато отчетливо запомнились два момента в спектакле. Когда в прологе Шаляпин-Мефистофель парит в пространстве, шлет свои проклятия миру и ловит рукой земной шар, то он не попадал к нему в распростертую длань неожиданно, из окружающего хаоса, как это было у нас в Большом театре, а услужливая рука бутафора подала его артисту из-за кулисы, причем зрители имели полную возможность созерцать рукав пиджака и манжету заботливого закулисного служителя сцены. По окончании арии у нас в Москве Мефистофель бросал земной шар и он раскалывался на мелкие обломки, здесь же, будучи брошен Шаляпиным, он неожиданно подпрыгнул и, прыгая, покатился за кулису, так как был самым обыкновенным детским резиновым мячиком. После этого я понял страдальческое выражение лица артиста, не терпевшего никакой «халтуры» на сцене; когда в ресторане отец заговорил с ним об его предстоящем выступлении, Шаляпину, видимо, стало стыдно, что ради баснословного гонорара он здесь мирится с любой небрежной условностью, за которую на родине справедливо учинил бы величайший скандал. Успех он имел грандиозный, и зрители спокойно мирились с такими постановочными погрешностями, о которых в России с негодованием трубили бы все газеты.

Огромную разницу в отношении к театру у нас и за границей я наблюдал и на других спектаклях, но уже в Ницце. У нас на всякую постановку смотрели как на серьезное художественное произведение, за границей же всякий спектакль рассматривался лишь с точки зрения его выгоды для кассы — он был лишь

статьей дохода муниципалитета или частного предпринимателя и развлечением для зрителя. Как-то в Ницце мы решили поехать в оперу, послушать не шедшего у нас «Вильгельма Телля» Россини. В третьем акте, в сцене суда Гесслера полагается балет. К великому моему изумлению, на сцену вдруг выпорхнули три балетные танцовщицы, одетые вопреки всякой истории и этнографии в самые обычные розовые пачки, и стали выполнять какое-то хитроумное классическое построение с фуэте и турами. В этом заключался весь балет. В довершение всего этого главная солистка, танцевавшая в центре этого трио, видимо, перед самым выходом обрезала себе палец, который был тщательно забинтован и завязан кокетливым бантом. Во время танца, во избежание могущего быть кровотечения, танцовщица не забывала держать этот палец вертикально, тем самым нарушая все правила исполнения «пор де бра». Однако это обстоятельство, вызвавшее у меня подавленный смех, нимало не смущало зрителей, не обращавших никакого внимания на подобную мелочь.

Здесь я понял причину того огромного успеха, который имел тем летом русский балет в Париже. Не было, кажется, ни одной французской газеты, ни одного журнала, где не писалось бы что-либо о русском балете. Отец, лихорадочно скупая все эти периодические издания, копил их для музея.

Однако ничего особенно интересного для музея до сего времени приобретено не было. Ницца и близлежащие города почти ничего не дали. Однажды, бродя по городу, я попал в какую-то невероятную трущобу недалеко от порта и натолкнулся на лавочку старьевщика. В окне вместе с поношенным платьем, случайной посудой и старыми хозяйственными вещами были выставлены отдельные поврежденные старинные фарфоровые статуэтки и чашки, гравюры в аляповатых рамках, старое оружие. Я зашел внутрь. Дебелая ко-

кетливая француженка средних лет, видимо, хозяйка магазина, сидевшая в одиночестве, сразу оживилась. Я рассеянно разглядывал неказистый ассортимент старинных вещей, не скрывая своего разочарования.

— Ах, monsieur, — вздохнула хозяйка, — разве это товар? Но что поделаешь — это жизнь. Когда был жив мой бедный муж, мы имели настоящий антикварный магазин в Париже! Но он, бедняга, не умел вести дела, он слишком верил людям и сделал много долгов. И вот, когда он неожиданно умер, я осталась одна с кучей всяких вещей, которые никому не были нужны, и с еще большим количеством долгов. Люди, которые были должны моему мужу, куда-то сразу скрылись, а я не умела их разыскивать. Таким образом мне пришлось покончить со всем этим хозяйством и переселиться сюда. И вот вы меня видите продающей старое вонючее тряпье. Но что поделаешь — это жизнь!

Женщина вздохнула и запахнула на своих объемистых грудях неизменную черную трикотажную козынку.

— Все же, позвольте узнать, что интересуется monsieur? — добавила она со вздохом.

Узнав, что меня интересуют вещи по театру, она подумала и вдруг неожиданно сказала:

— А вы знаете, у меня есть вещи, которые могут вас заинтересовать. Они у меня остались от прежнего магазина. Их никто не хотел купить, они не были никому нужны, но вам они могут подойти. Только я их здесь не держу, они у меня дома. Быть может, вы мне сделаете честь и зайдете ко мне — я вам все покажу тогда.

Получив согласие, она вручила мне несколько залежавшуюся визитную карточку, оставшуюся у нее еще от парижских времен, написала на ней свой адрес и сообщила, когда будет нас ожидать, так как я предупредил, что приду с отцом.

Не откладывая дела в долгий ящик, отец на другой

же день отправился со мной по данному мне адресу. Француженка жила на окраине Ниццы, в самом конце Променалы, в маленьком чистеньком деревенском домике с небольшим садом. Она нас встретила очень радушно, мгновенно, как по волшебству, на столе появился традиционный французский кофе с неизменными бриошами и круасонами ее собственного изготовления, и она не желала говорить ни о каком деле, пока мы не подкрепимся после такого «долгого пути».

После того как дань ее гостеприимству была нами отдана, она обратилась к отцу:

— Вы, наверное, слышали о такой французской трагической актрисе м-ль Марс?

Отец усмехнулся и утвердительно покачал головой, что-то хмыкнув в усы.

— Так вот, мой бедный муж приходился ей каким-то дальним родственником, не то внучатым племянником, не то еще кем-то. Во всяком случае он получил в наследство от старой дамы кое-какие ее вещи, которые, по-видимому, никому не были нужны. Эти-то вещи у меня и сохранились, и, по совести, мне-то они уже вовсе не нужны. Так вот, я была бы рада услужить вам, если вы найдете их достойными внимания.

С этими словами она достала из шкафа два старинных стеклянных стакана с монограммами, ленты и венки, веер, какие-то автографы, бронзированный гипсовый бюст на подставке из черного дерева, на пьедестале которого в окружении накладных бронзовых звезд значилась надпись: «Au talent»¹, а пройдя в соседнюю комнату, вынесла оттуда овальный портрет масляными красками, прекрасной работы, изображавшей какого-то турка.

— Это, — пояснила она, — знаменитый Лекен, ее учитель, он и подарил этот портрет м-ль Марс. Здесь он

¹ Таланту (фр.).

в роли Оросмана, портрет кисти Ван Лоо, с него был награвирован эстамп еще при жизни Лекена, а подлинник оставался у него.

У отца, как говорится, глаза разгорелись на все эти вещи, но, стараясь скрыть свое волнение и казаться равнодушным, он лениво проговорил:

— Что ж! Эти вещи действительно мне подходят, но ведь весь вопрос в цене, — сколько вы за них хотите?

— Видите, — сказала бывшая антикварша, — я женщина бедная, ваш сын, наверное, рассказал вам о моем бедственном положении, но это не мешает мне быть благоразумной. Я прекрасно понимаю, что покупателя на такую старину нелегко найти, поэтому я думаю, что если я назначу за все триста франков, это не будет уж так дорого.

Наступила пауза. Отец, как потом он признавался, обалдел от этой цифры, он ожидал, что за портрет Лекена придется платить не менее полутора тысяч франков, а здесь вдруг за все немногим больше чем сто рублей на русские деньги. Однако, оправившись и соблюдая интересы музея, он равнодушно произнес:

— Цена действительно невысокая и мне подходит — я торговаться не стану, но не найдется ли у вас еще что-нибудь, о чем вы забыли? Тогда бы я и говорить ничего не стал.

— Да нет, как будто больше ничего нет, — в раздумье сказала хозяйка, — а впрочем, я вам дам еще один документ, не имеющий никакой цены, но служащий как бы сертификатом подлинности того, что я вам продаю.

С этими словами она прошла к себе и через минуту вынесла подлинник официального свидетельства о смерти м-ль Марс.

Отец молча полез в бумажник и достал триста франков, а хозяйка стала упаковывать вещи. Когда мы уже прощались, она вдруг всплеснула руками:

— О, Бог мой, это ведь так не годится: вас привел ко мне молодой monsieur — ему полагаются комиссионные, так всегда поступал мой бедный муж! — И исчезла в свои внутренние апартаменты.

Спустя несколько минут она возвратилась, держа в руке маленький рисунок пером главного художника севрской фарфоровой мануфактуры времен Людовика XV, который и передала мне с паспортом, написанным ею на собственной визитной карточке.

Возвращаясь домой нагруженный трофеями, отец громко рассуждал сам с собой:

— Черт знает что! В Париже два старейших театра — Опера и Комедия, у них свои музеи, а такие уникальные материалы, как эти, — уходят в Россию. Впрочем, лучше в Россию, чем на помойку или в печку. У меня они будут целы и для французов. Но неужели во всей Франции нет человека, который вроде меня не собирал бы театральной старины? Удивительно!

Возвратившись в гостиницу, отец долго и подробно рассматривал и изучал приобретенные ценности, после чего самодовольно хмыкнул и подозвал меня.

— Чем я хуже француженки, — сказал он, доставая из кошелька золотой двадцатифранковик, — получай комиссионные от музея, ты их вполне заработал.

Это были, кажется, первые заработанные мною деньги, но в эту поездку мне представился и второй случай честно заработать деньги, хотя я от них и добровольно отказался.

Близился знаменитый пиццкий карнавал. Отцу очень хотелось посмотреть на это массовое народное празднество, так что мы посещали все увеселения в течение всей недели. В день открытия карнавала мы достали билеты на места на крыше трамвайной остановки на центральной площади города. Мимо нас должно было пройти все шествие. Места рядом со мной были заняты английской или американской супруже-

ской четой весьма почтенных лет. Из их разговора я понял, что они первый раз в Ницце и ни на каком языке, кроме английского, не говорят. Когда началось карнавальное шествие и перед нами замелькали сатирические многокрасочные колесницы, окруженные танцующими и поющими людьми в домино, масках и маскарадных костюмах, когда в воздух взвились разноцветные серпантины, рассыпались радужным дождем конфетти и полетели маленькие букетики живых цветов, у старушки, моей соседки, от всего этого кипения красок и движений закружилась голова, ей стало плохо и она потеряла сознание. Старичок, ее муж, совершенно растерялся, не зная, что предпринять, — языком не владеет, площадь оцеплена войсками и полицией, чужой город. Тогда я решил прийти им на помощь и предложил им достать фиакр. Старик выразил сомнение в возможности этого в данной суматохе, но я его успокоил, быстро спустился вниз, подошел к ближайшему полицейскому и объяснил ему, в чем дело. Он немедленно дал два условных свистка, и из ближайшего переулочка, раздвигая толпу, выехала пролетка. Вместе со старичком мы помогли уже пришедшей в себя старушке сойти вниз и усадили ее в экипаж. Старичок рассыпался в благодарностях и вдруг вынул из жилетного кармана золотой и протянул мне его. Я гордо от него отказался. Когда я потом рассказывал старшим все это происшествие во всех подробностях, отец заметил:

— Ну и дурак! Взял бы — ведь он от души дал. Приделал бы колечко и носил бы на часах в виде брелочка, как память о полученном «на чай». Вот Иван Федорович Горбунов всегда носил на часах рубль, который дал ему на чай в трактире твой двоюродный дед Носов. Иван Федорович рассказывал какой-то свой рассказ приятелям, а Носов сидел за соседним столиком и слушал. Рассказ очень ему понравился. Он

спросил полового, кто такой рассказчик, тот ответил: актер-с. Тогда дед вынул рубль и велел передать от купца Носова в благодарность. И Горбунов не обиделся и говорил, чего же обижаться, ведь человек от чистого сердца дал, как же не взять!

В целом карнавал мне не понравился. На нем лежала печать чего-то искусственного, чувствовалось, что все это делается не столько для местного населения, сколько для привлечения иностранцев и их денег. Наиболее приятное воспоминание оставил день боя цветов, когда по Променале, мимо специально построенных трибун, ехали разукрашенные живыми цветами колесницы и экипажи, из которых на зрителей сыпался целый дождь миниатюрных букетов. Трибуны в свою очередь обсыпали букетами проезжавших, причем в некоторых случаях это принимало формы настоящего боя, превращаясь в ожесточенную бомбардировку.

Поражало одно — это толпа и ее поведение; невольно просилось сравнение с отечественной, и, к сожалению, не в пользу последней. Везде и всюду полнейший порядок и самое строгое соблюдение карнаваловых законов. Маски говорят друг с другом на «ты», все знакомы друг с другом; приставать к незамаскированным не полагается, но эти последние могут заговорить с любой маской. Когда раздается пушечный выстрел, возвещающий окончание очередного карнавального дня, все снимают маски. Нигде ни одного пьяного, никаких явлений хулиганства, никаких скандалов, а подлинное неподделанное веселье, много шуток и проделок, но добродушных и отнюдь не оскорбительных.

В один из наших последующих приездов в Ниццу, когда с нами вместе ездила незамужняя младшая сестра матери, мы с ней во время карнавала достали домино и маски и отправились в толпу. Помню, как какая-то маска подхватила тетку под руку и прошла

с ней целый квартал, мирно беседуя, а то вдруг налетит ватага молодежи, подхватит идущих в веселый хоровод, покружится и рассыплется в разные стороны. Когда мы шли с теткой по площади, кто-то вдруг похлопал ее сзади по плечу. Думая, что это кто-нибудь из знакомых, и забыв, что она в маске, тетка с удивлением обернулась и раскрыла рот. В этот же момент она получила горсть конфетти в лицо. Пока она отплевывалась от этого бумажного дождя, она получила совет не открывать без причины на улице рот.

Во время ежегодных поездок в Ниццу у меня появились знакомые из числа завсегдатаев нашей гостиницы. Двое американцев — один из них был мелкий табачный фабрикант, другой учитель — и двое англичан. Первый из них был младшим сыном какого-то лорда, человек лет пятидесяти, носивший титул «досточтимого», но, по законам майоратства, лишенный званий, привилегий и доходов, которые унаследовал его старший брат. Существовал он на какую-то пенсию, которую выплачивал ему его брат. Этому моему знакомому было невыносимо скучно, и мы с ним ежедневно совершали длинные прогулки, до которых он был великий охотник. Ничего поучительного из общения с ним я не вынес, кроме знакомства с законом английского майоратства. По вечерам он отправлялся гулять уже один и, как мне говорили, приходил всегда домой часа в три утра в таком состоянии, что ему приходилось помогать найти свой номер.

Другой мой английский знакомый Моррей был человеком совсем другого склада. Старик лет семидесяти, чрезвычайно бодрый, он был высоко просвещен, в особенности в вопросах истории и географии. Он поражал меня своим знанием прошлого России, что мешало ему постоянно пытливо выспрашивать у меня подробности русской истории, что я по возможности и делал. По части географии его можно было слушать

часами, так как он изучил ее практически, исколесив целый свет. Он изъездил вдоль и поперек обе Америки, Африку и Австралию, не говоря уже об Европе и Азии. После обеда, удобно усевшись в легкое плетеное кресло, он начинал свои беседы со мной. При этом он не только рассказывал, но и рассуждал, делая свои выводы и заключения.

— У вас в России я побывал три раза, — повествовал он, — пожалуй, самая интересная моя поездка была, когда, побывав в Китае и Японии, я переехал во Владивосток и оттуда по Транссибирской железной дороге в Петербург и Москву. Какая богатая у вас страна! Я, конечно, не доживу до того времени, когда все эти богатства начнут по-настоящему разрабатываться, но это время недалеко. Тогда Россия станет самой богатой и самой могущественной страной в мире. Вы знаете, мой юный друг, что больше всего меня поразило в этой поездке? Это ваше преступное уничтожение леса. Промышленники, естественно, думают только о своей выгоде — им дела нет до интересов страны в целом, но ваше правительство — о чем оно думает? Вырубка леса ведет за собой обмеление рек, а это — гибель урожаев. Я наблюдал на всем протяжении от Владивостока до Петербурга — паровоз топили дровами — это чудовищно, за это судить, нет, просто вешать надо! А в Петербурге улицы мостят деревом! И это разрешает правительство! Конечно, очень приятно ездить по таким мостовым, мягко, но ведь это преступное расточительство. Почему правительство не увеличивает добычи каменного угля? У вас его более чем достаточно, но разработки кустарные. Жалеть его нечего! Его хватит. Все равно он доживает свой век. Я уверен, что скоро будет изобретен новый источник энергии, более выгодный и простой. Тогда каменный уголь будет использоваться лишь как отделочный материал, его научатся закреплять, чтобы он не марал. Это

будет красиво, но дерево всегда нужно будет, и расхищать его преступно!.. Вашей стране нужен новый Петр Великий. Ни в одном государстве в Европе не было такого правителя. Наша королева Елизавета была тоже великим монархом, но ее скорее можно равнять с вашим Иоанном Грозным, но не с Петром. А все эти Людовики XIV и XV, Фридрихи Великие и тому подобные — пигмеи по сравнению с ним. Он весь жил в будущем, а они думали только о настоящем!

Вспоминая теперь этого старика, его плотную, увесистую фигуру, всегда просто, но безукоризненно одетого, его красноватое лицо с седыми, падающими вниз усами, я поражаюсь, что, часто и много беседуя со мной, он никогда ничего не рассказывал о себе. Кто он был — я до сих пор не знаю. Как-то мимоходом он упомянул, что написал несколько книг и статей, которые были изданы в Англии. Знаю только, что это был культурный, умный и приятный человек, знакомство с которым обогащало всякого.

При нашем отъезде он подарил мне книгу какого-то английского автора — к сожалению, не его, но с его дарственной надписью, — «Пятнадцать решающих сражений истории», где была чрезвычайно толково и подробно описана и Полтавская битва. Я прочел эту книгу с интересом и с большой пользой для себя. К сожалению, она у меня впоследствии пропала.

Навсегда остались у нас дружеские отношения с директором гостиницы, которого мы все, так же как моя шестилетняя сестра, называли «дядя Лулу». Он был одним из тех жертв политики, которых тогда было немало. Родом эльзасец, он считал себя французом, но, как немецкий подданный, получил образование в немецкой школе и был принужден отбывать воинскую повинность в германских войсках. Как-то, сидя в его уютной комнатке и перебирая альбом с фотографиями,

я нашел его карточки в военной форме и попросил подарить мне одну из них на память.

— Берите хоть все, — сказал он со вздохом, — я эти карточки не люблю.

С ним мы вели оживленную переписку, он усиленно собирался приехать навестить нас в России, но война 1914 года помешала этому. По дошедшим до нас слухам, он был убит при защите Меца, к гарнизону которого был приписан. Мы искренно пожалели этого скромного маленького труженика и доброго, хорошего человека.

Вскоре после конца карнавала мы тронулись в обратный путь в Москву. Сидя в вагоне, уже после переезда русской границы, отец что-то долго и внимательно изучал в своей записной книжке и наконец, закрыв ее, с торжеством объявил матери:

— Вот видишь, я оказался прав — я нарочно очень подробно записывал наши расходы за этот срок, и, по сравнению с прошлым годом, мы истратили втрое меньше денег, да при этом я еще везу два чемодана вещей для музея. Нет, с безрассудными тратами в Москве надо покончить.

После этой поездки, вплоть до конца 1913 года, в период месячных зимних каникул, мы ежегодно отправлялись всей семьей в Ниццу, причем отец соблазнил на это часть своих друзей.

Благодаря поездкам на Средиземное море зима для нас значительно сокращалась — приезжали в Москву во второй половине января, а меньше чем через два месяца мы к именинам отца, к 17 марта, были уже в Малаховке на телешовской даче. Мать начинала готовиться к весенним посадкам на огороде, отец в свободные часы сидел на террасе, внимательно наблюдая за постепенным пробуждением природы, а я налаживал рыболовные снасти в предвкушении того неотдаленного дня, когда лед на озере набухнет и опустится. Здесь

мало что напоминало дачу, а скорее походило на миниатюрную усадьбу, и соответственно изменялись и занятия, и развлечения, и весь уклад жизни.

Еще когда мы жили в Гирееве, отец с матерью неоднократно заводили разговор о том, что хорошо бы купить где-нибудь небольшой клочок земли и обосноваться на нем по-помещичьи, но в те поры эти рассуждения больше носили характер маниловских мечтаний, чем реальных проектов. Малаховка и возраст моих родителей превратили эти мечтания уже в нечто совершенно конкретное, и одним прекрасным днем они твердо решили подыскать небольшое именьеце по своему вкусу.

Отец ставил неслыханным условием, чтобы был удобный небольшой дом, желательно старинный, с колоннами, чтобы он стоял на берегу реки и чтобы недалеко был лес. Мать мечтала о том, чтобы было какое-то небольшое хозяйство и удобное место для огорода, парников и фруктового сада. Как только все это было точно обусловлено, наша жизнь в Малаховке превратилась в непрерывные и обычно бесплодные скитания по всевозможным продающимся усадьбам. Ездил обычно мать, которую зачастую сопровождали ее незамужняя сестра или я. Но сколько мы ни ездили, результаты были плачевные — то все подходило, но не было реки, то был новый, но совершенно неподходящий дом, то отсутствовал лес и все совершенно не соответствовало мечтам.

Из всех тех имений, которые мне пришлось смотреть, запомнились два. Одно было расположено недалеко от нашей дачи в Малаховке и принадлежало дворянскому роду Мертваго, один из предков которого был в дружеских отношениях с Державиным. Старинный деревянный дом с четырьмя белыми облупившимися колоннами дремал над совершенно заросшим древним прудом. По бокам и сзади дома простирались дремучие

заросли некогда холеного парка. Дом был давно необитаем, комнаты — пусты, но следы старой отделки, кафельные фигурные печи, расписные плафоны в некоторых комнатах сохранились. Строение было настолько ветхо, что все надо было ломать и строить новое. Кроме того, имение, вся площадь которого равнялась пятнадцати или двадцати десятинам, было майоратное и на продажу его надо было испрашивать «высочайшее соизволение». Все это явно не подходило.

Второе было расположено где-то по Павелецкой дороге, кому принадлежало — не помню. В памяти сохранился лишь великолепный каменный дом екатерининской стройки, с длинными пропилями, шедшими пандусами¹ к реке. Здесь была другая крайность: земли при нем было чуть ли не шестьсот десятин, а такое владение не устраивало моих родителей ни по размерам, ни по цене. Наконец счастье им улыбнулось — соответствующее имение было найдено. На станции Герасимовка по Павелецкой дороге продавалась усадьба, которая вполне нам подходила. Земли было двести десятин, дом, правда, больше походивший на дачу, был красиво расположен на берегу реки Пахры, но владельцы хотели за него довольно большую сумму денег. Началась торговля. А тем временем генеральша Рейнбот, то есть Зинаида Григорьевна Морозова, приобрела его, не торгуясь. Со временем это имение стяжало себе мировую, но печальную славу — в новом доме, выстроенном Морозовой, скончался в 1924 году Владимир Ильич Ленин.

Отсутствие постоянного подмосковного гнезда было одной из причин того, что мы каждый год зимой на время рождественских и новогодних каникул уезжали в Ниццу, а летом переселялись в Малаховку.

¹ П а н д у с — наклонная пологая плоскость вместо лестницы.

Устроились мы в Малаховке неплохо. Жили изолированно в старом липовом парке, что был при даче, где можно было без труда ежедневно набрать корзину-другую белых грибов, а весной и осенью проводить время на озере, к которому вела от нашего балкона прямая дорожка, предаваться рыбному спорту. Отец мой, дед Носов и режиссер Народного дома Н. Ф. Аксагарский, о котором еще придется говорить, были страстными рыбаками и на всю жизнь заразили своим увлечением и меня. Вспоминая наши методы ловли в те времена, должен признаться, что они были более чем кустарными, однако рыбы в озере было такое количество, что нам редко приходилось возвращаться домой пустыми. Однажды мы ухитрились даже поймать огромную щуку пятнадцати фунтов, которая катала нас по озеру на лодке. По ту сторону озера была другая жизнь — чисто дачная, которую мои родители терпеть не могли. Однако иногда они принимали в ней участие, так как соблазн был чересчур велик. В Малаховке в те годы в Летнем саду постоянно играла первоклассная труппа. Достаточно упомянуть фамилии О. О. Садовской, М. М. Блюменталь-Тамариной, О. А. Правдина, В. Н. Рыжовой, чтобы дать представление о ее составе. Ставили по преимуществу классику. Естественно, что мои родители не могли устоять, чтобы не взглянуть на своих любимых артистов. Впрочем, иной раз отец с матерью появлялись совсем в другом месте. Английская колония, жившая в Малаховке, организовала там две футбольные команды (эта игра тогда еще только входила в моду в России), устроила корт со стадионом, состоявший из больших примитивных лавочек, и регулярно проводила состязания. Эти встречи всегда вызвали живейший интерес всего поселка, тогда уже имелись болельщики и на состязаниях царил необычайный ажиотаж. Впоследствии отцу пришлось включиться и в общественную жизнь Мала-

ховки и принять непосредственное участие в открытии там гимназии.

Случилось это вот при каких обстоятельствах. Не припоминаю точно, в каком году, лето стояло чрезвычайно жаркое, но, несмотря на это, я каким-то образом ухитрился простудиться. С полным основанием опасаясь, что меня засадят дома или, еще хуже, положат в постель, я решил ничего не говорить старшим о своем недомогании и перенести его на ногах. Для этого я вел обычный образ жизни — три раза в день купался, ходил очень легко одетый, много гулял. День ото дня мне становилось хуже, но каждый вечер я надеялся, что завтра наступит улучшение. В одну из суббот приехал режиссер Народного дома Н. Ф. Аксагарский, и на другой день мы отправились с ним на рыбную ловлю. В лодке, несмотря на неурочный час, меня все время клонило ко сну, по спине пробегал озноб, хотя температура воздуха превышала 30 градусов Реомюра на солнце. Все это обратило внимание Николая Федоровича, который ничего мне не сказал, но, приехав домой, поделился своим наблюдением с матерью. Мне был поставлен градусник, показавший 40,5° градусов. Отец мой сразу растерялся, хотел немедленно ехать в Москву за доктором, но тут случайно по какому-то делу пришел управляющий Телешовых, который, узнав, в чем дело, рекомендовал в город не ездить, а пригласить местного доктора Леоненко — прекрасного врача, которого он брался немедленно раздобыть. Через какой-нибудь час доктор был уже у нас и, осмотрев меня, поставил диагноз: двустороннее крупозное воспаление легких. На некоторое время после этого посещения врача стали ежедневными.

Доктор Леоненко был типичным земским врачом того времени. Это был человек, который смотрел на свою работу как на подвиг и справедливо считал свою профессию высоким искусством, а не ремеслом. Он

с равным рвением лечил, делал операции, рвал зубы, принимал новорожденных и даже, в случае необходимости, пользовал животных. Оглядываясь назад и сравнивая его с теперешними врачами, я невольно удивляюсь — тогда ведь рентген только начинал входить во врачебный обиход, исследования делались лишь в самых крайних случаях, для определения болезни врачи пользовались лишь стетоскопом и лопаточкой, а вместе с тем диагноз обычно ставился безошибочно и почти не было случаев той неуверенности и гадания, которые наблюдаются теперь. Отчего это? Быть может, оттого, что для большинства современных врачей их профессия перестала быть искусством, а стала ремеслом? Как, например, расценивать пренебрежение врачей к психологическому воздействию на больного, как не ремесленное отношение к делу? Раньше, как правило, посещение врача приносило успокоение больному, вселяло в него уверенность в скором выздоровлении, придавало ему бодрость. Ни одному врачу не пришло бы в голову заявить больному, как это было на днях: «Что вас оперировать, только время тратить, у вас уже начался метастаз!» Или «осматривать» больного в пяти шагах от постели, стоя у двери, заявив, что «у вас, наверное, грипп, а я очень подвержен этой болезни». Доктор Леоненко не принадлежал к таким врачам, он посещал всех, осматривал самым внимательным образом и меньше всего интересовался гонораром, так как наилучшей для него наградой было выздоровление больного. В любое время дня и ночи, по первому вызову он садился в свою утлую таратайку и ехал порой за десятки верст, чтобы помочь недужному крестьянину или принять новорожденного в деревенской избе. Он добивался у земства добавочных ассигнований на больницу, скандалил с мелкими заводчиками подведомственного ему уезда за улучшение условий труда и быта рабочих и, помимо этого, поминутно ратовал за

распространение просвещения в округе. За все это его боготворило местное население, да и в московских врачебных кругах его имя пользовалось не только известностью, но и авторитетом. Неоднократно доктору Леоненко делались выгодные предложения перейти на работу в Москву, но он упорно от них отказывался, не желая покидать «своих» больных.

— Да как же я их брошу! — говорил он. — Ведь они мне доверяют, они меня знают, да и я знаю их, они меня уважают и, смею сказать, даже любят. Покинуть их — равнялось бы предательству! Нет, предательство не в моей натуре!

Как-то кто-то из родителей спросил его, соответствует ли истине ходившая в Малаховке о нем легенда. Он улыбнулся:

— Не знаю, какую версию вы слышали? Их много, но, в общем, дым не без огня. Дело было так, — начал он, — это случилось вскоре после событий 1905 года. У нас здесь «пошаливали», в особенности в темные осенние ночи, на малоезженных дорогах. Вот как-то еду я к больному поздней осенью, часа в два ночи, темь, дождь моросит, под колесами грязь чавкает, зги не видать, лошаденка еле тащится. Вдруг откуда-то из-за кустов вырастают три внушительные фигуры. «Стой! Руки вверх». Ну что ж? С такими не поспоришь! Остановился, поднял руки. Ну, естественно, подавай, что у тебя есть. Отдал кошелек, бумажник с деньгами — их там немного было, обручальное кольцо, часы золотые — их очень жалко было, не потому что золотые, а потому что мозеровские, прекрасного хода, да еще даренные больными. Стали шарить в тарантасе, извлекли оттуда саквояж с хирургическими инструментами — я принимать у роженицы ехал, — он тяжелый, в нем что-то звенит. Тут я взмолился, говорю: «Друзья мои, в этом мешке ничего интересного для вас нет — могу вам его открыть, в нем докторские инструменты,

а они мне нужны больных лечить. Вдруг слышу, они вдруг зашущукались со старшим, который все время в стороне стоял. Потом из темноты раздался голос: «А ты кто такой?» — «Доктор». — «Понимаем, что доктор, а фамилия как?» — Я назвал свою фамилию. Старший свистнул: «Вон оно что! Э! ребята, это не годится! Подавай все вещи обратно. Это наш доктор — его забижать нельзя». Мигом мне были возвращены все отобранные вещи, только с бумажником вышла небольшая задержка, так как, по объяснению старшего, он завалился у него в прореху в кармане. На прощанье они мне «напутствие» сделали, когда я уже тронул лошадь. «Эй, доктор, — раздалось из темноты, — ты вот что: коли тебя кто останавливать будет вроде нас, сразу говори: «Едет доктор Леоненко», — тебя ни один человек не тронет. Смотри, не забудь, что говорю». Ну вот, казалось бы, и все. Приехал я к больной вовремя, сделал все, что надо, и возвратился домой. Уже дома, думаю, дай проверю, что в бумажнике-то осталось, помню, было в нем рублей тридцать пять. Смотрю, что за притча! — кроме моих денег, там еще две сотенные бумажки запахнуты. Это значит, когда бумажник в прореху-то завалился, старший-то мне и сунул эти деньги из артельной выручки, не то на бедность, не то в благодарность. Ну, куда их девать? Объявление в газете не дашь. Подумал, подумал, тут у меня кой-какие больные нуждающиеся были, я и употребил их в дело. Вот и все. А вы, вероятно, слышали, что грабители мне пять или десять тысяч положили, что первоначально они хотели меня убить и разделить догола. Этого не было — это все досужий обывательский вымысел. Сумма денег и подробности нападения разукрашивались каждым рассказчиком согласно его фантазии и произволу.

Этот-то доктор Леоненко и посвятил отца в свою мечту — построить и открыть в Малаховке гимназию. Необходимость в таковой была очевидна, так как за

последние годы очень многие жили здесь постоянно и их дети были принуждены зимой ежедневно ездить учиться в Москву. Все соответствующие разрешения Леоненко выхлопотал — дело упиралось только в то, что не хватало средств для проведения в жизнь этого проекта. Отец сразу увлекся этой мыслью и предложил изыскать средства путем организации модного в те годы благотворительного базара, в устройстве которых у отца было достаточно практики.

В течение моей болезни проект о проведении благотворительного базара был окончательно разработан и быстро проведен в жизнь. Чувствуя, что местные полицейские и административные власти все время стремятся совать палки в колеса, отец предложил Леоненко пригласить на открытие базара своего хорошего знакомого, нашего завсегдатая, московского губернатора Вл. Ф. Джунковского. Леоненко с радостью согласился.

Лично я чрезвычайно остро переживал невозможность присутствовать на базаре. Это чувство усугублялось еще и тем, что в то время я уже был почти здоров после полуторамесячного лежания в постели. Помню, как в день открытия базара к нам на дачу приехал Вл. Ф. Джунковский. Он долго сидел у меня, занимая меня всякими смешными рассказами, потом они вместе с матерью и отцом уехали на базар. Успех вечера превзошел все ожидания и дал возможность построить и открыть в Малаховке гимназию, существующую до сих пор как школа десятилетка.

Вспоминается мне и еще одно происшествие из нашей малаховской жизни. Вскоре после моего выздоровления я как-то предпринял длительную прогулку и забрал куда-то далеко, за Быково. Проходя через какую-то деревню, я был удивлен царившим в ней оживлением. Улицы были явно приведены в порядок, избы украшены березками и национальными флагами,

крестьяне были одеты во все праздничное, и среди них разгуливали волостные старшины в франтоватых поддевках, украшенных должностными цепями с бляхами и медалями. Явно кого-то ждали, но кого, я не спросил. Миновав эту деревню и уже подходя к другой, я заметил двигающийся по направлению ко мне автомобиль, за которым скакал эскорт конных стражников. К моему удивлению, я увидел на переднем месте, рядом с шофером Вл. Ф. Джунковского, а сзади него в самом автомобиле сидело еще два человека в форменных фуражках и в белых кителях гражданского ведомства. Холеная иссиня-черная борода и острый взгляд одного из них обратил на него мое внимание. Достигнув следующей деревни, столь же разукрашенной, я спросил, кто был тот «высокий гость», которого только что принимали. Мне сообщили, что это был председатель Совета Министров Столыпин, который посетил первых хуторян московской губернии. Именно здесь воплощалась мечта Столыпина о создании российского «фермерства», призванного стать мощным оплотом правительства. Крестьяне, отходившие на отруб¹, были в своем большинстве кулаки или люди, мечтавшие стать ими.

В те годы столыпинская реакция была в разгаре. Русский капитализм, давно забыв о своих первоначальных патриотических идеалах, о подъеме русской промышленности во славу отечества, уже преследовал чисто эгоистические цели скорейшего обогащения для удовлетворения своих прихотей и причуд. О минувшей революции 1905 года старались не вспоминать и жили лозунгом Людовика XV: после меня хоть потоп.

¹ О т р у б — обособленный участок земли, выделявшийся из владений села в собственность отдельных крестьян.



аступили предвоенные годы. В России бушевала столыпинская реакция. В промышленности плодилось тресты, акционерные общества, банки, молниеносно разорявшие мелкие торгово-промышленные предприятия. Таким образом, Сибирский банк в конце концов разорил моего дядю В. В. Постникова. Одновременно со сказочной быстротой богатели ловкие дельцы, умевшие приладиться к новым условиям жизни.

Оба моих деда весьма неодобрительно относились к этим новым явлениям, называя народившихся богачей тунеядцами, лодырями, загребающими деньги чужими руками. Новоиспеченные богатеи с обожанием взирали на американских миллиардеров и стремились во всем им подражать. На смену знаменитым русским чудакам, которыми славилась Москва и которые чудили из-за нежелания подчиниться общепринятым в их среде правилам общежития, ради собственной прихоти, появились новые «оригиналы», стремление которых было направлено лишь к тому, чтобы как можно больше отличиться от окружающих и тем самым привлечь к себе внимание. Это был особый вид саморекламы. Если раньше люди чудили, невзирая на свое имуще-

ственное положение и по собственному желанию, то теперь на этот путь вступали почти исключительно представители разбогатевшей буржуазии и лишь потому, что это было модно. Старая московская купеческая аристократия чуждалась этих «мещан во купечестве» и смотрела на них с презрением, осуждая и их методы наживы и их поведение.

Помню, как отец, рассказывая о какой-либо выходке новоиспеченного российского капиталиста, неизменно заключал свое повествование фразой: «С жиру бесится». Его раздражало, что эти люди ничего не создают и лишь подражают, копируя иностранцев, либо отжившее свой век дореформенное русское дворянство, либо уходящее в прошлое купечество. Если они коллекционировали, то лишь подражая другим, безо всякой любви к этому делу, бесстрастно, без каких-либо возвышенных целей: если они меценатствовали, то только потому, что хотели, чтобы о них говорили, а не из-за желания помочь рождению нового. Отец был глубоко убежден, что век Солдатенковых, Третьяковых, Мамонтовых, Алексеевых миновал навсегда. Эти люди стремились прославить русское искусство, приобщить к нему как можно больше народу, сохранить его памятники для потомства и сделать их общедоступными, а теперешние думают лишь о себе и мечтают только о том, чтобы о них побольше говорили.

Среди этого нового капиталистического общества был у нас один дальний родственник Михаил Никифорович Бардыгин. Домами мы почти не были знакомы, но иногда встречались, так как племянница отца была замужем за сыном Бардыгина.

Отец М. Н. Бардыгин происходил из крестьян. В свое время он начал какое-то небольшое, полукустарное ткацкое дело, которое пошло хорошо, но лишь его сын придал этому предприятию такой размах, который позволил ему чрезвычайно быстро разбогатеть

и встать в первые ряды российских капиталистов. Ко времени революции 1917 года он фактически владел почти всем Егорьевским и Раменским, где находились его главнейшие фабрики и заводы, но помимо этого он приобрел еще целый ряд предприятий, несметно обогащаясь за счет разорения других.

Михаил Никифорович был невысоким, плотным мужчиной с ухватками старшего приказчика из солидной купеческой лавки. Он всячески подчеркивал свое русское происхождение, носил окладистую бороду, ходил в хорошо сшитом добротном сюртуке и в разговоре неизменно добавлял букву «эс» к каждому десятому слову. Исключительно услужливый и мягкий в обращении, он, однако, не упускал никогда из вида собственной выгоды и умел настоять на своем. Семья у него была большая — одних детей было восемь человек. О своих сыновьях и об их будущем он проявлял постоянные заботы — давал им хорошее образование, посылал за границу знакомиться с производством и достижениями зарубежной техники. Идеалом Михаила Никифоровича была Америка, куда он не только сам ездил, но даже и возил туда однажды двух стариков — своего отца и тестя, которым тогда было около семидесяти лет каждому.

Летом Бардыгин жил со своей семьей в приобретенном им имении Старое Рязанской губернии, которое он благоустроивал по своему вкусу и куда приглашал многочисленных гостей. Неоднократно звал он туда и моего отца, который каждый раз находил приличные поводы для отказа. Наконец эти отказы стали обижать и моего дядю Постникова, на сестре которого был женат Бардыгин, и сестру отца, дочь которой была замужем за сыном Бардыгина.

Отказаться от очередного приглашения было особенно затруднительно, так как на этот раз звали не только отца, но и деда Носова, и меня, и, кроме того,

с нами должен был ехать Вл. Вас. Постников, а доставить до места брался сам Михаил Никифорович. Таким образом, одним летним днем, прервав свое пребывание в Малаховке, мы оказались на Курском вокзале, где у подъезда нас ждал Бардыгин, который сейчас же повел нас к поезду, сказав, что билеты уже взяты.

К хвосту состава был прицеплен министерский вагон с большим салоном и поместительными купе. Посреди салона был уже накрыт стол, и лакей ждал лишь приказания подавать кушать. Хотя до Егорьевска, куда мы следовали, было всего часа три езды, нам предложили пройти в наши купе, снять верхние вещи, устроить чемоданы, а затем закусить.

«Перед дорожкой-с это необходимо-с», — заметил Михаил Никифорович. После обильного завтрака и чая обеденный стол был убран и его место занял карточный, с предложением для коротания времени сразиться в преферанс.

На станции в Егорьевске нас встретили две коляски с пристяжными, которые отвезли нас в особняк Бардыгиных, где снова предложили закусить, и лишь после этого мы двинулись в Старое на двух тройках. Путь был сравнительно дальний, что-то верст двадцать с лишним и с переправой на пароме через Оку.

Усадьба Бардыгиных была выстроена на голом месте — до нее здесь никакого родового дворянского гнезда не было, а потому она всецело отражала вкусы и потребности своих теперешних владельцев. Старое было расположено на высоком берегу небольшой, но прелестной речушки. Большой деревянный главный дом скорее напоминал обширную дачу, нежели помещицью резиденцию. Был этот дом крайне нелеп как по своей архитектуре, так и по расположению комнат. Никакого парка при нем не было — это лишь проектировалось, а пока что он заменялся обширными цветниками, кустарниками и случайными отдельными деревь-

ями, росшими там еще до покупки имения. Неподалеку от дома были расположены большие конюшни, скотные дворы, птичники, оранжереи, парники и прочее хозяйство с бесчисленными флигелями для служащих и рабочих. Причем все эти строения производили куда более солидное впечатление, чем сам главный дом.

Фантазия хозяина по части украшения своего поместья не знала границ и представляла из себя некую помесь американских прихотей и хлыновских замашек. Так, например, посреди сада высилась огромная киргизская юрта, которая была приобретена Бардыгиным на месте, где-то на юго-востоке России, куда он ездил по своим торговым делам, и перевезена в Старое. Неподалеку от юрты стоял огромный мухомор, под сенью которого была устроена лавочка, причем если на нее садились, то из краев шляпки гигантского гриба текли струи воды, запиравшие отдыхающего в водяные стены. Тут же где-то стоял совершенно нелепый «металлический человек». Это был пожилой мужчина в натуральную величину, одетый в пиджачную пару и в котелке, весь сделанный из жести и довольно искусно раскрашенный под натуру. Он также был где-то разыскан и приобретен хозяином усадьбы.

Через несколько лет после нашего посещения Бардыгин приобрел где-то большой старинный усадебный дом с колоннами, который весь был разобран и перевезен в Старое. Все части здания, вплоть до фигурных печей, расписных плафонов и инкрустированных паркетов, были тщательно перенумерованы и ехали несколько сотен верст на подводах или санях, чтобы быть в точности восстановленными в Старом.

Часто для развлечения как гостей, так и хозяев устраивались всевозможные увеселительные прогулки и пикники. Особенно врезалась в память поездка по живописной реке Тсне. У Бардыгиных была своя лодка — огромный трехпарный баркас, поднимавший че-

ловек пятнадцать народу. В день поездки в приречную деревню, отстоявшую от Старого верстах в восьми, командировались буфетчик с провизией и самоваром и гребцы. В назначенный час двигались туда и прочие участники прогулки на нескольких экипажах. К слову сказать, по пути приходилось проезжать через одно село, где некогда жил искусный резчик по дереву. Он в свое время украсил карниз своей избы двумя затейливыми скворешнями — более чем в аршин вышины, там стояли скульптурные изображения мужика и бабы; их широко раскрытые рты служили летками для птиц. Бардыгин обязательно хотел приобрести этот курьезный «раритет», но владелец — сын резчика — никак не желал его продавать. Все же в конце концов сделка состоялась, чуть ли не ценой приобретения всей избы. Не так давно я имел удовольствие встретить этих давних моих знакомых при посещении музея народного творчества в Загорске, где им, конечно, и место, впрочем, на избе в деревне они производили большее впечатление.

К нашему прибытию лодка была уже готова и гребцы сидели на своих местах. Посредине ладьи был установлен специально приспособленный стол, на котором кипел самовар и были расставлены закуски и сладости.

Путешествие длилось несколько часов, причем делались остановки, во время которых желающие ловили рыбу, или отправлялись за грибами, либо же просто гуляли. Во время плавания пелись песни при деятельном участии гребцов. Эти и подобные увеселения неизменно оставляли во мне какое-то странное и непонятное чувство, казалось бы, люди собирались повеселиться, все было тщательно продумано и хорошо организовано, а вот главного-то, веселья, не было. Все лишь играли веселость, и при этом плохо играли. Невольно зарождалась мысль, что все это устраивается

лишь для того, чтобы, как говорится, пустить пыль в глаза, показать, «вот как у нас»!

Такой же характер носило и обычное вечернее времяпрепровождение. Бардыгины любили музыку — дети играли на рояли, на виолончели и пели. После вечернего ужина все собирались вместе и происходили импровизированные концерты, неизменно заканчивающиеся хоровым пением. В заключение всегда исполнялись революционные песни 1905 года — пели «Дубинушку», «Варшавянку», «Марсельезу». Помню, как отец, уже лежа в постели, — спали мы втроем в одной комнате, — говорил Вл. Вас. Постникову:

— Не понимаю — для чего это? Когда эти песни поют рабочие или студенты — это другое дело, мне это даже нравится — это от души. А здесь — какая-то глупая игра. Что они, революции, что ли, ждут не дождутся? Будет революция, так от них только одно мокрое место останется. Какое-то мальчишество, да и насмешка над песнями. Ведь их смелые люди сочиняли, мало ли что не нашего толку. Прости меня, никогда не пойму — зачем здесь это нужно!..

Впрочем, Бардыгины были очень гостеприимными и всячески стремились угодить своим гостям, вплоть до того, что порой ставили их в неловкое положение. Помню, однажды за завтраком я оговорился и, указывая на сардины, попросил передать мне шпроты. Хозяйка смущенно заметила мне, что, к сожалению, шпротов у них нет, а это сардины. М. Н. Бардыгин молча прислушался к этому разговору и вышел на минуту из комнаты. Когда через несколько часов мы сели обедать, передо мной стояла банка шпрот. Оказывается, еще во время завтрака Михаил Никифорович срочно снарядил верхового в Егорьевск за злополучной банкой и он, проскакав туда и обратно около сорока верст, поспел, как ему и было заказано, ко времени обеда. Кстати, я отнюдь не был любителем консервиро-

ванных рыбок, но на этот раз мне волей-неволей пришлось отдать им честь, чтобы не обидеть хозяев.

Бардыгины, насколько мне известно, не принимали почти никакого участия в общественной деятельности, а если и строили какие-нибудь больницы, школы или даже музеи, то главным образом для собственных надобностей, то есть исходя из потребностей своих фабрик и заводов. Ими была выпущена книга «Род Бардыгиных», название которой ясно определяет как ее рекламный характер, так и узкий интерес этого издания. Свои огромные капиталы они использовали исключительно для себя и для удовлетворения своих прихотей, искренно считая, что они имеют на это полное право.

Вспоминается еще одна из бардыгинских прихотей. Вскоре после смерти моего двоюродного дяди А. П. Бахрушина Бардыгины купили у его вдовы принадлежавший ей особняк на Воронцовом поле. Этот дом стоял рядом с церковью, от которой был отделен кирпичной стеной. Когда женился старший сын Бардыгина, в доме была срочно проломана стена и сделан специальный выход, затем была разрушена часть каменной церковной ограды. Новый выход из дома и вход в церковь, где должно было происходить венчание, были соединены деревянным помостом, обитым красным сукном и снабженным белой балюстрадой наподобие тех дорожек, которые сооружались в Кремле для «высочайших выходов». В день венчаний свадебный кортеж в церковь и обратно следовал по царским мосткам.

После революции 1917 года Бардыгины оказались среди тех немногочисленных русских капиталистов, у которых были очень значительные вклады в иностранных банках, и они все, за исключением младшего сына, эмигрировали за рубеж.

Среди наших отдаленных родственников или даже

скорее свойственников была еще одна характерная для того времени фигура. Мой троюродный брат был женат на падчерице некоего Алексея Михайловича Чудакова. Каково было происхождение этого человека, я никогда точно не знал. Известно мне только, что он был женат на очень богатой купеческой вдове Гарелиной, которая была старше его. Чувствовалось, что мои родители несколько презрительно относились к этому браку, так как Гарелина особенно привлекательной внешностью не отличалась и было ясно, что Чудаков женился на деньгах. Но человек он был энергичный и деловой, хорошо ориентировавшийся в окружающей обстановке. В частной жизни он вполне оправдывал свою фамилию, так как чрезвычайно любил чудить, но чудил он не ради органической потребности к этому, а из-за «искусства ради искусства». Среди его чудачеств было и меценатство, которое и сблизило его с моим отцом. Чудаков был вечно окружен какими-то молодыми художниками, которых он разыскивал в школе живописи и ваяния, приближал к себе, подкармливал и повсюду таскал за собой. Все эти бесчисленные Пети, Миши и Вани (фамилии их никогда не упоминались) должны были за это зарисовывать понравившийся Чудакову вид или здание либо рисовать карикатуру на кого-либо из его знакомых. Летом эти художники переселялись к нему на дачу и поступали на полное его иждивение. Об этой даче, которая была расположена недалеко от Малаховки на станции Удельная, стоит сказать несколько слов. Она была выстроена на довольно большом участке земли, сравнительно вдалеке от железной дороги, в каком-то ампирно-дачном стиле, и, по мысли хозяина, его владение со временем должно было превратиться в миниатюрную барскую усадьбу прошлого, со всеми ее прихотями. Когда я посетил Чудакова, на территории участка уже был выстроен театр на сто или сто пятьдесят мест, декорации для которого писали те

же художники, а играть должны были любители, но, насколько мне известно, сцена так и осталась неосвоенной. Рядом с театром располагалась гордость хозяйна — выкопанный по его распоряжению пруд, ловить рыбу в котором я и был приглашен.

Пруд действительно представлял из себя некое «чудо». Это была яма площадью не более пятнадцати квадратных саженей и глубиной в полтора-два аршина, наполненная водой из ближайшего колодца, с которым была соединена пожарным шлангом. Ввиду того что яма была выкопана в глинистой почве, вода в ней была цвета какао и постепенно всасывалась в грунт, отчего ее приходилось ежедневно подкачивать. По прихоти хозяина в этот отвратительный аквариум были посажены всевозможные рыбы самых разнообразных пород, до стерлядей, судаков и севрюжек включительно. Ловля в этой яме походила на ловлю в живорыбном садке в Охотном ряду. Обезумевшая от голода и «жилищных условий» несчастная рыба с жадностью бросалась чуть ли не на голый крючок, не считаясь с периодом клева и временем суток, лишь бы поскорей покончить со своей мучительной жизнью.

Чудаков совмещал в себе чрезвычайно трезвого дельца с фантазером маниловского типа. Так, например, он мечтал написать книгу, какую, точно не знаю, — для этого он добросовестно записывал в книжечку, с которой не расставался, все понравившиеся ему народные присказки, меткие выражения и характерные обороты речи, утверждая, что это ему нужно для книги.

Перед самой войной 1914 года он перевел в Англию какую-то очень значительную сумму денег для приобретения нужных ему товаров. Война помешала сделке, и деньги остались за границей. Это позволило Чудакову после эмиграции развернуть (и не без успеха, как доходили слухи) в Лондоне суконную торговлю. Что стало с ним впоследствии и написал ли он свою

книгу, мне неизвестно, да, по совести говоря, я этим особенно и не интересовался.

Чудаков был, конечно, покультурнее Бардыгина, но сущность их была одна и та же — возведение узкого круга личных интересов в цель жизни.

Совсем другим видом капиталиста был мой дядюшка со стороны матери, Василий Васильевич Носов. Собственно говоря, по традициям семьи и по своему характеру, он был чужд повадок этих новых финансовых заправил, но среда постепенно его «перевоспитывала», благо нрава он был флегматичного. Немаловажную роль в этом перевоспитании сыграла и его жена Ефимия Павловна, рожденная Рябушинская, втравившая его в свой образ жизни и привившая ему свои взгляды и вкусы.

Как я уже говорил, когда дядя женился, дед мой Носов выстроил себе новый деревянный дом, а старый особняк на Введенской площади подарил сыну. В него и развернулась деятельность Ефимии Павловны. Дед с явным неодобрением следил за всем тем, что происходило в его старом особняке, бывал там редко, лишь в исключительных случаях, но не вмешивался в жизнь любимого сына и единственного наследника. Дядя принимал самое активное участие в работе фабрики, и на этом его интересы кончались, а его супруга широко пользовалась теми огромными прибылями, которые давало дело, для удовлетворения своих фантазий.

Ефимия Павловна широко меценатствовала, но это меценатство резко отличалось от меценатства Мамонтова, Третьякова, Морозова и им подобным. Она не ставила перед собой задачи содействовать развитию и процветанию русского искусства, а ограничивалась более скромной — прославления себя в искусстве. Сомов и Головин писали ее портреты, Голубкина лепила ее бюст, Серов, Сапунов и Судейкин расписывали стены и плафоны ее особняка, и поэт Михаил Кузмин созда-

вал для задуманного ею любительского спектакля пьесе «Венецианские безумцы». Декорации и костюмы были выполнены по эскизам Судейкина и впоследствии изданы отдельной книгой вместе с пьесой. В конечном итоге это была та же бардыгинская книга, та же самореклама, но сделанная не в лоб, а более утонченно и искусно.

Ефимия Павловна собирала старинные силуэты и портреты русских мастеров XVIII века, но не ради их изучения или сохранения, а просто так — надо же что-нибудь собирать, чтобы не отстать от других, раз на коллекционерство мода. И даже здесь она ухитрилась рекламировать себя — репродукции силуэтов из ее собрания появлялись даже в специальных зарубежных изданиях.

Так же как и для Бардыгина, заграница для Ефимии Павловны была недостижимым образцом совершенства, перед которым она благоговела и которому стремилась всячески подражать. Это подражание выявлялось в слепом следовании всем новейшим, и часто весьма нелепым, парижским модам, в англазированном выезде и лошадях и даже в почтовой бумаге.

Летом в своем имении Кучино она устраивала порфорсные охоты и пейпер-чейсы, где мужчины были одеты чуть ли не в красные фраки. Ее дочери воспитывались по английской методе, и в доме поддерживались английские порядки.

Вопреки чисто внешней, кажущейся стороне, взгляды этих людей не только не были передовыми, а, наоборот, отличались необычайной отсталостью и узостью. Помню, как перед самой революцией я как-то случайно встретил дядю у деда. Он поинтересовался, кем я собираюсь стать после окончания войны. Я искренно ответил, что перспектива работать на фабрике меня мало прельщает и я мечтаю заняться литературным трудом, а на первых порах думаю попробовать

свои силы, сотрудничая в журналах и газетах. Он сделал презрительную гримасу:

— Фу! Стать газетчиком! Незавидная доля!

После подобного замечания я счел излишним продолжать разговор, так как понял, что мы говорим на разных языках и все равно никогда друг друга не поймем.

После октябрьской революции особняк Носовых был реквизирован и в нем был организован районный музей. После ликвидации районных музеев он был передан местному райсовету и, естественно, здание подверглось переоборудованию. Все в нем переделывалось, и росписи замечательных русских художников грозила гибель, но среди лиц, руководивших переделкой дома, нашелся кто-то, распорядившийся не трогать живописи, а аккуратно забить ее фанерой и оклеить обоями.

Мне не приходилось посещать этот дом впоследствии, но предполагаю, что замурованная живопись Серова цела в нем и до сего времени.

Достойным братом Е. П. Носовой был Николай Павлович Рябушинский, или, как его называли в Москве, Коля Золотое Руно. Эта кличка была дана ему по двум причинам. Жаждавший популярности, он решил противопоставить себя петербургским эстетам и стать московским Дягилевым. Не имея ни эрудиции, ни таланта, ни тонкого вкуса последнего, он все же сумел случайно объединить вокруг себя группу одаренных деятелей искусства, с помощью которых начал издавать декадентский художественный журнал «Золотое руно», в подражание дягилевскому «Миру искусства». Благодаря деятельности его сотрудников издание оказалось неплохим и принесло некоторую ироническую славу своему издателю. Помимо этого, Н. П. Рябушинский был блондин и, желая оригинальничать, завивал свою шевелюру и прямоугольно под-

стриженную и довольно длинную бороду локонами барашком, что напоминало мифологическую овечью шкуру, из-за которой герои Древней Греции предприняли свое рискованное путешествие в Колхиду.

Все же не «Золотое Руно» принесло Рябушинскому широкую, но скандальную известность, а выстроенный им особняк в Петровском парке. Воздвигнуто было это здание архитектором В. Д. Адамовичем в ампирно-декадентском стиле и по воле владельца стало именоваться «Вилла Черный лебедь». Свое новоселье хозяин справлял особенно торжественно — была разослана масса приглашений, отпечатанных на великолепной бумаге с маркой дома — в черном овале силуэт лебедя и надпись «Вилла Черный лебедь».

Изумленным взорам прибывших и выдавших виды гостей предстала действительно необычайная картина. Все дорожки небольшого садика — дело было летом — были обрамлены рядом больших пальм, высаженных прямо в грунт, а клумба перед террасой была сплошь засажена орхидеями и прочими тропическими растениями. В довершение всего этого у собачей конуры сидел на цепи молодой леопард. За обеденным столом вся сервировка, начиная с тарелок, ножей и вилок вплоть до скатертей и салфеток, была украшена той же маркой с черным лебедем: Рюмки и стаканы из тончайшего венецианского стекла прибыли из-за границы, где выполнялись по особому заказу хозяина.

Помню, как отец, возвратившись на дачу после этого торжества и показывая взятую на память рюмку, украшенную неизменным черным лебедем, с возмущением говорил:

— Черт знает что! Показывает ширину мошны, а толку от этого никому нет. Меня все время зло разбирало, — иной раз приходится отказаться от интересных и нужных для музея вещей, а здесь деньги на ветер

бросают... Мало их драли, когда мальчишками были, вот в них дурь-то и осталась...

Действительно, вся эта затея стоила не одну сотню тысяч золотых рублей, которые могли бы быть использованы куда более продуктивно, но капиталистические замашки Рябушинского не позволяли этого, — он также думал только о себе.

Особым видом капиталиста того времени был Василий Павлович Берг. Дворянин по происхождению, он еще в молодости порвал со своим сословием, женился на купчихе и стал считать себя всецело принадлежащим к торгово-промышленному классу. С вьющейся окладистой черной бородой лопатой, с гладко припомаженными черными волосами и длиннющими желтыми ногтями, вызывавшими отвращение у моей матери, он был принят в лучших кругах московской купеческой аристократии, которой было по душе его ренегатство.

Берг владел какими-то приисками на Урале, которые приносили ему огромные доходы. Жил он постоянно в Москве на Арбате, в собственном довольно безвкусном особняке, где ныне помещается театр имени Вахтангова. Здесь он несколько раз в год устраивал роскошные ужины и обеды для своих знакомых. Этим и ограничивались расходы Берга, если не считать те деньги, которые он тратил на своего единственного сына.

Сей отпрыск рода Бергов, которому едва минуло шестнадцать лет, привык, чтобы любые его желания немедленно исполнялись родителями, которые считали это своим первейшим долгом. Рассказывая знакомым о своем сыне, который всегда именовался ими по имени отчеству, они сообщали, что по его желанию он располагает собственным выездом, имеет своего камердинера и часто устраивает маленькие званые ужины для своих друзей. Берги неоднократно выражали желание познакомиться с Павлом Васильевичем, который был мне

ровесником, но мои родители находили каждый раз приличные предлоги, мешавшие этому знакомству, за что я им глубоко признателен.

Как-то однажды, при поездке за границу, мы случайно оказались в одном вагоне с Бергами. Когда Василий Павлович шел в ресторан или выходил на большой станции, то он неукоснительно брал с собой маленький чемоданчик. На какой-то остановке они случайно выходили вместе с моим отцом.

— Да оставьте в вагоне ваш чемодан,— заметил отец,— что вы с ним все носитесь!

— Ах, Алексей Александрович, охотно бы, да не могу. Все руки оттянул — смотрите, какая тяжесть! — и Берг протянул отцу злополучный чемодан, который оказался весьма увесистым.

— Ого! Да вы что, камни в него, что ль, наложили?

— Совершенно верно — камешки.

— То есть как?

— А очень просто. Каждый коллекционирует то, что его интересует. Вы вот театральную старину, Иван Абрамович Морозов — картинки, его двоюродный братец — гравюры, а я вот интересуюсь и коллекционирую камешки. Вещи портативные и благодарные — хлеба, как говорится, не простят и всегда в цене будут.

С этими словами Берг приоткрыл свой чемодан, в котором было аккуратно уложено множество чем-то наполненных замшевых мешочков. Оказывается, каждый из них содержал бриллианты различного веса.

Берг не доверял никаким банкам, ни своим, ни зарубежным, не верил ни в какие акции или процентные бумаги и все свои доходы обращал в алмазы, в которых хорошо разбирался.

В общежитии Василий Павлович Берг был человеком хорошо воспитанным и довольно приятным. Он много путешествовал и был наблюдателен, так что его беседа во время поездок была в достаточной мере зани-

мательной. В особенности он хорошо разбирался в гастрономических достопримечательностях тех или иных мест. Очень любя детей и подростков, он легко находил с ними общую тему разговора. Помню, как, подъезжая к Варшаве, он осведомился у меня, приходилось ли мне когда-нибудь пробовать настоящие польские сардельки и пить кофе по-варшавски. Получив отрицательный ответ, он немедленно упросил моих родителей отпустить меня с ними на остановке в ресторан и там угостил меня этими блюдами, действительно мастерски приготовленными в Польше. Бегло говоря по-польски, он долго растолковывал официанту, как надо приготовить сардельки и кофе, и в данном случае его знание языка и гастрономическая эрудиция обеспечили высокое качество заказанных блюд. Помню также, как он смутил меня, предложив мне рюмку коньяку, от которой я, конечно, отказался.

— А вот, — заметил он, — мой сын Павел Васильевич любит выпить во время обеда рюмку коньяку или хорошего хереса.

Это заявление очень меня шокировало, так как я знал, что его сын мой одноклассник, а мне в те годы полагалось по особо торжественным дням полбокала шампанского или иногда стакан воды, разбавленный красным вином, из расчета 90 процентов воды и 10 процентов вина.

Все эти люди, которые мне сейчас вспомнились, сколь бы различны они ни были как по своему характеру, так и по воспитанию, имели одну общую черту — беспредельный эгоизм. Самовлюбленные и самодовольные до крайности, они были твердо убеждены, что на самом законном основании являются избранниками судьбы. Глядя на неудачников и обездоленных, к какому бы классу они ни принадлежали, эти «избранники» редко ощущали чувство сострадания и никогда — угрызений совести. Они всегда находили какие-то веские

для себя аргументы, чтобы доказать, что бедняки либо сами виноваты, либо это «закон природы». Исполняя малейшие, взбредшие им на ум от пресыщения пустые и тщеславные желания, они никогда не задумывались над тем, что всем своим богатством они обязаны России и русскому народу. Они не только не чувствовали себя в долгу перед родиной и своим народом, а, наоборот, презирали и всячески поносили их в разговорах. Эти люди жили только для себя, не считая нужным служить даже своему классу. Лишь очень немногие из них занимались общественной работой, и то делали это из расчета достигнуть со временем не только богатства, но и государственной власти. А остальные смотрели на общественных деятелей как на каких-то идиотов. Вот почему эти люди возбуждали против себя негодование представителей старого московского купечества, тоже постоянно думавших об обогащении, но одновременно не забывавших своих патриотических идейных традиций, крепко помнивших, что они сами выходцы из простого народа.

Мой отец не только никогда не чуждался общественной работы, но, наоборот, постоянно ею увлекался. Он был деятельным гласным Городской думы, заведовал Театральным бюро Всероссийского театрального общества, руководил Введенским народным домом, который благодаря ему стал серьезным театром, с которым считались театральные критики, завоевавшим признание широких рабочих масс и простого люда, обслуживать которых он и был призван. Помимо этого, отец заседал в бесчисленных периодических комиссиях и комитетах по сооружению памятников, организации музеев и выставок и был постоянным членом ряда научных обществ. Его блестящие организаторские способности и обширные дружеские связи с артистическими и художественными кругами Москвы способствовали успеху руководимых им предприятий.

Своеобразным московским событием стали ежегодные маскарады в Большом театре, которые устраивал отец в пользу Дома ветеранов сцены Театрального общества. Для этих вечеров он ухитрился уговорить Нежданову выступать в роли графа Альмавивы в «Севильском цирюльнике», а Збруеву и Собинова спеть Дона Базилио и Розину, а то выпускал артистов балета Балашову и Мордкина в танце с пением куплетов или заставлял своего приятеля режиссера Н. А. Попова исполнять фанданго в женском испанском костюме. Маскарады всегда предвещали что-то новое и неожиданное, а потому имели неизменный успех.

К концу 1910-х годов этот род деятельности отца значительно расширился. Так называемые благотворительные вечера стали модой в кругу «высшего общества», которое под видом помощи бедным веселилось со спокойной душой, а устроители этих «полезных» увеселений зачастую не считали грехом забрать часть вырученных денег в свой собственный карман. В этом отношении особенно отличались так называемые учреждения ведомства императрицы Марии, где орудовали чиновники, наторелые в отношении всевозможных краж. По этим соображениям отец всегда наотрез отказывался участвовать в каких-либо начинаниях этого ведомства и соглашался работать лишь в тех учреждениях, где он мог лично проследить, что вырученные деньги дойдут в неприкосновенности до тех, кому они предназначались. Так, в течение нескольких лет он был постоянным устроителем «вербных базаров», ежегодно устраиваемых в залах Благородного собрания, ныне Дома Союзов, в пользу детских попечительств Московской городской Думы.

Вербная неделя, предшествовавшая Страстной и празднику Пасхи, испокон веков была периодом народных увеселений. В четверг на Красной площади,

у Кремлевской стены, открывалась огромнейшая ярмарка. Здесь как московские, так и пригородные кушеры продавали свои незатейливые товары, но и городские мелкие ремесленники не чуждались раскинуть там свои палатки. Главною особенностью этого торжища было то, что на нем продавались и покупались по преимуществу не хозяйственные, а увеселительные товары. Это, в полном смысле слова, был детский базар. Чего-чего там только не продавалось: и огромные шары, летавшие по воздуху, и золотые рыбки, и птицы, и обезьянки, сфабрикованные из синели, и всякие забавные головоломки, и совершенно ныне вышедшие из употребления морские жители и тещины языки, а также бесчисленное количество всевозможных сластей, многие из которых изготовлялись тут же и продавались «с пылу, с жару». Порой иной разгулявшийся затейник покупал сразу десять шаров, привязывал к ним здесь же приобретенного большого картонного паяца или куклу и пускал их в высь поднебесную, к общему удовольствию зрителей. Главным посетителем этого базара был простой люд — рабочие (благо, в конце недели многие фабрики закрывались), мастеровые, мещане, мелкое купечество — и все обязательно семейно. На «огромный» капитал в двадцать — тридцать копеек там можно было приобрести уйму товара, начиная от всяких свистулек и кончая живыми золотыми рыбками в банке. На этом древнейшем московском народном торжище всегда чувствовалось неподдельное, подлинное веселье, и приходится удивляться, что в наши дни не делаются попытки его возродить.

Одной из особенностей вербного торга было то, что каждый новый год на нем появлялись какие-нибудь новинки, созданные изобретательной фантазией народа, а выкрики торговцев крепко западали в память своей остроумной изощренностью. Редкое крупное по-

литическое событие не находило себе отражения на этом базаре.

Моя мать каждый год водила меня на «Вербу», и это доставляло мне большое удовольствие. Московская знать принимала также участие в этом весеннем базаре, но считала для себя неприличным «гулять» вместе с простым народом, а потому превращала субботу и воскресенье в своеобразную выставку своего тщеславия. Длинная вереница экипажей двигалась по кругу по Красной площади, в погожие дни растягиваясь по Тверской, чуть ли не до Белорусского вокзала. В экипажах сидели расфранченные и явно скучающие московские богатеи, щеголяя своими туалетами и роскошными выездами и наблюдая, как веселится народ. Лишь немногие наиболее «демократически настроенные» семьи отпускали на вербный торг своих детей под бдительным надзором гувернеров и гувернанток, которые своим присутствием исключали уже настоящее непринужденное веселье.

Учитывая эту склонность московской знати отмежеваться в эти дни от простого народа, и были придуманы вербные базары в Благородном собрании. До отца базары организовывал его старший брат, но после скоропостижной смерти последнего эта обязанность перешла к его младшему брату, как бы по наследству. Здесь отцу снова чрезвычайно пригодились его артистические связи, при помощи которых базары стали и интереснее и прибыльнее. Надо признаться, что на этих базарах было в достаточной мере и занимательно, и весело, в особенности для нас, непосредственно занятых какими-нибудь заданиями, но той непосредственной непринужденности, которая царила на Красной площади, здесь, конечно, не было.

Вербные базары способствовали моему знакомству с молодежью, среди которой до этого у меня почти не было товарищей. В особенности я сблизился с семьей

Кондрашовых. Кондрашovy принадлежали к старому русскому купечеству — их прадед еще в XVIII веке основал в России первую шелкоткацкую фабрику, изделия которой по качеству превосходили зарубежные ткани, а знаменитые кондрашовские портретные платки украшают поныне советские музеи. Молодежи в этой семье было много, и с нею мы часто запросто веселились как у них дома, так и на даче.

Особенно привлекательна была старшая дочь Кондрашовых, Наташа, которая имела особенность так заразительно смеяться по всякому пустяку, что даже самые хмурые и брюзгливые люди не могли в такие минуты не улыбаться.

Из всей общественной деятельности отца наибольшее количество времени и забот отнимал у него Введенский народный дом. Дела в нем шли настолько хорошо, что отец решил открыть летний филиал театра в Сокольниках. Это начинание также увенчалось полным успехом. Дела театра приводили к нам в дом его деятелей и в первую очередь режиссеров. Двое из них стали нашими постоянными завсегдатаями. Сперва у нас появился Петр Петрович Лучинин. Сибарит по характеру, любивший вкусно поесть, крепко поспать и от души посмеяться, он одним своим видом успокаивал и вселял уверенность в каждого. Дальний потомок знаменитого М. В. Ломоносова, он был человеком культурным, обладавшим хорошим запасом знаний. В области своих прямых режиссерских обязанностей он, несомненно, был человеком одаренным, за что его и ценил отец. Однако по темпераменту Лучинин был полной антитезой отцу, что приводило к постоянным стычкам между ними. Иной раз отец доходил до полного отчаяния.

— Что мне с ним делать, — восклицал он, — ведь талантливый и знающий человек, но лень, лень!..

Все это в конце концов привело к разрыву, и место

Лучинина занял Николай Федорович Аксагарский. Собственно говоря, его настоящая фамилия была Рихтер и происходил он из обрусевших немецких дворян. Николай Федорович значительно отличался от Лучинина, он был аккуратен и исполнительен, но и у него была склонность если не к лени, то к созерцательной отрешенности. Кроме того, он пламенно любил природу, был заядлым охотником и рыболовом, и эта-то черта и сблизила его особенно с отцом. Помимо этого, как натура артистическая, он немного пел, немного играл на гитаре и этим самым стал необходимым нам, молодежи, которая стала бывать у нас и сосредоточивалась вокруг моей младшей тетки, которая часто у нас гостила.

Тем временем годы шли и события следовали одно за другим. Осенью 1911 года в Киеве был убит Столыпин. Этот небывалый по дерзости террористический акт взволновал общественность самым своим фактом, так как в конце концов Столыпина жалело только дворянство, и то наиболее реакционная ее часть, и деревенское кулачество. Торгово-промышленные круги относились к нему равнодушно, так как считали, что он мало делал для их укрепления и заботился лишь об интересах дворян. Однако все признавали, что Столыпин был единственным государственным деятелем царствования Николая II, правда, управлявшим методом виселиц, казней и ссылок. Волновало и другое, что выстрел был произведен провокатором, агентом охранного отделения. Это было ярким свидетельством того, что в правительственных органах творится что-то уж очень неладное.

Впоследствии мой близкий друг, киевский предводитель дворянства А. И. Дубяго рассказывал мне как очевидец обстоятельства этого события. Это произошло во время антракта в Киевском оперном театре. После того как зажгли свет в зрительном зале, царь долгое

время не уходил из ложи и смотрел на публику в партере. Столыпин стоял около своего кресла, которое было перед креслом Дубяго. Богров прошел мимо них к оркестру, в это время Николай II ушел из ложи, тогда он вернулся назад и в расстоянии полутора шагов выхватил из кармана револьвер и, не целясь, в упор выстрелил в Столыпина. Тот схватился за грудь и стал оседать на ручку кресла. Дубяго подхватил его под мышки, Столыпин прошептал: «Это ничего, это сейчас пройдет». Тут подскочили люди и вынесли его из зала. Пуля попала в Владимирский крест и рикошетировала в область плевры.

Не прошло и года, как новое событие всколыхнуло всю страну. На Ленских приисках произошел зверский расстрел рабочих, по своей бессмысленности и жестокости равнявшийся Кровавому воскресенью. Это было новым доказательством полной неспособности правительства. Помню, как мой дед Носов, стоявший на весьма реакционных позициях, узнав об этом, воскликнул:

— Что они там, наверху, совсем с ума сошли! Хотят вконец озлобить против нас рабочих!

Однако верхи, по-видимому, считали подобные происшествия в порядке вещей и беспечно продолжали справлять различные юбилеи, обставляя их необычайной пышностью. Приближался юбилей Отечественной войны 1812 года, события, особенно близкого Москве, которая и делалась центром всех предполагаемых торжеств.

Среди многочисленных мероприятий, связанных с этой датой, было и устройство грандиозной юбилейной выставки, вся организация которой была возложена на моего отца. Выставка заняла весь верхний этаж Исторического музея и, по общим отзывам, удалась. В память о ней остался большой, роскошно изданный каталог. Не стоило бы упоминать об этом событии, если

бы не один любопытный инцидент, который произошел при ее организации. Среди экспонатов, предназначенных для выставки, были законченные эскизы художника Рубо к подготавливаемой им панораме Бородинского сражения. Не помню подробностей, но уже при поступлении этого экспоната произошли какие-то споры — Рубо обуславливал место их развески, а отец на это не соглашался и, в конечном итоге, вовсе отказался от эскизов, под предлогом, что панорама еще не написана. Рубо этого не ожидал и обратился за помощью к своему покровителю великому князю Николаю Михайловичу, который оказал соответствующее давление, и эскизы были вновь приняты на выставку, на открытии которой был царь. Через несколько дней после этого Рубо вдруг потребовал свои эскизы обратно и, естественно, получил отказ. Он снова прибегнул к Николаю Михайловичу, который лично знал отца и неоднократно пользовался материалами из его собраний для своих изданий.

Великий князь в довольно резкой форме потребовал немедленного возвращения Рубо его эскизов, но отец категорически отказал, указав, что выставка устраивалась не только для царя, но и для тех, кто ее посещает, и он не считает возможным что-либо изменять после того, как экспозиция была принята. Рубо пришлось ожидать окончания выставки. Через несколько дней после этого отец где-то, чуть ли не на Бородинском поле, встретился с Николаем Михайловичем, который с кем-то беседовал. Разговор шел о Москве. Искоса взглянув на отца, великий князь нарочито громко произнес:

— Да, Москва своеобразный город! Здесь купцы приказывают великим князьям, которым приходится подчиняться их самодурству!

На Бородинское поле отец попал по особым причинам. Когда в комитет по организации музея 1812 года был передан ряд вещей, хранившихся в различных

учреждениях, среди них была походная церковь Александра I. Церковь эта была заключена в добротный сделанный деревянный ящик размером с кубический метр. Иконостас, престол, хоругви были так хитроумно сконструированы, что без труда вмещались в этот ящик вместе с облачением церковнослужителей и серебряной, позолоченной утварью. Несмотря на то что эта церковь почти целый век хранилась в сундуке, она считалась функционирующей. По положению об этой церкви, она должна была постоянно храниться у своего старосты. Комитет избрал старостой моего отца, принимая во внимание, что у него дома музей и экспонат будет в сохранности, и, как видно будет, не ошибся. Николай II пожелал, чтобы на Бородинском поле торжественная служба происходила в этой походной церкви, и, таким образом, отец был принужден погрузить ящик в автомобиль и ехать в Бородино. Пробираясь по ужасающему проселку от шоссе к полю, он в каком-то лесу натолкнулся на другой автомобиль, прочно увязший в огромной луже. К своему удивлению, он увидел рядом с машиной В. Ф. Джунковского и еще какого-то мужчину в форменной фуражке гражданского ведомства. В. Ф. Джунковский замолился:

— Алексей Александрович! Подвезите Бога ради, а то мы здесь, как видите, крепко засели.

Последующую дорогу Владимир Федорович оживленно беседовал с отцом, а его спутник упорно молчал, отвечая лишь короткими фразами. «Какой-то мрачный тип», — подумал отец. Впоследствии он узнал, что это была действительно мрачная фигура — министр юстиции, пресловутый Щегловитов, которого в Петербурге иначе не звали, как «Ванька-Каин».

На Бородинских торжествах отца больше всего поразило, что на высочайшем завтраке, после пышного молебствия, почти все продукты оказались настолько тухлыми, что некоторые пришлось срочно убирать со

стола. Это был уже признак развала при самом дворе.

Октябрьская революция застала походную церковь Александра I мирно стоящей в нашей кладовой. Когда вышло распоряжение об изъятии церковных ценностей, отец о ней не заявил, так как рассудил, что это не церковная, а музейная ценность. После смерти отца мы с матерью тщетно ломали голову над тем, что делать с этой церковью. Помог случай. Незадолго до войны 1941 года я занимался в Исторической библиотеке. Там мое внимание привлек старичок военный. Как-то мы сдавали книги вместе, и он услышал мою фамилию.

— Простите, — спросил полковник, — а вы не сын Алексея Александровича?

На мой утвердительный ответ он стал рассказывать, как дружил с моим отцом, работая в Комитете по организации музея 1812 года. Это был полковник Афанасьев, фамилию которого мы неоднократно слышали от отца. Здесь я и рассказал ему о церкви, и спросил совета, что с ней делать. Он был поражен, что церковь цела, и через несколько дней ее у нас забрали в Исторический музей.

Если юбилей войны 1812 года справлялся торжественно, то последовавшее за ним в 1913 году трехсотлетие царствования дома Романовых отмечалось пышно, однако первое событие носило всенародный характер, а второе оставляло равнодушным самые широкие слои населения и вылилось в официальное и чисто дворянское празднество. Люди по принуждению и от нечего делать ходили смотреть на все зрелища, относясь к ним абсолютно индифферентно.

На этот раз царь, приехав в Москву, остановился, как в коронацию, в Петровском дворце. Оттуда он торжественно выезжал в столицу. Царь впереди верхом, за ним в два ряда, во всю ширину Тверской улицы, верхом же его генералы-адъютанты, а за ними царица в экипаже, запряженном à la Домон, то есть цугом,

три пары лошадей без кучера, с двумя форейторами и конвойными — кубанскими казаками на запятках. По одну сторону улицы стояли войска, а по другую мы, грешные, учащиеся средних учебных заведений. Как обычно, звонили все московские колокола, и у каждой церкви, по пути следования, царя встречал священник в полном облачении и с крестом в руках, в окружении причта¹ с хоругвиями и иконами. Через несколько дней в Кремле был устроен смотр учащихся средних учебных заведений, которые строем проходили мимо царя, как солдаты. За это им «пожаловали» романовские медали. Для этого учащихся предварительно соответственно муштровали унтер-офицеры. Было это и у нас в училище, но мои родители смотрели на это с неодобрением и были очень довольны, что я отказался участвовать в этом параде. Милости как из рога изобилия посыпались на дворянство — им дарились специальные золотые портсигары с сомнительным по достоверности гербом дома Романовых, жаловались наследственные значки и прочие подарки, украшенные той же фамильной эмблемой. Остальные сословия были обнесены милостями. Любопытно, что о Минине и Пожарском в эти дни даже не вспоминали, потолковывали что-то об установке памятника патриарху Гермогену и келарю Ав. Палицыну, но вскоре об этом забыли и ограничились канонизацией Гермогена и открытием его мощей. Вышло и дешево и сердито.

Все это празднество носило какой-то бутафорский характер и почти изгладилось из моей памяти, зато другое торжество, в котором я случайно оказался одним из центров внимания, оставило более яркие воспоминания.

Как я уже говорил, мой дед Бахрушин до конца своих дней радел к судьбе своего родного города Зарай-

¹ П р и ч т — церковнослужители одного прихода.

ска. Его очень волновало то обстоятельство, что в этом глухом уголке нет хорошей, поместительной бесплатной больницы. В 1912 году он выделил для ее постройки соответствующие суммы денег, заказал планы и архитектурные проекты, обеспечив соответствующим капиталом, на проценты с которого больница могла бы безбедно существовать, и решил приступить к постройке. По его желанию она должна была носить не только его имя, но и двух его умерших братьев, а руководство и ответственность за строительство были возложены на зарайское городское самоуправление.

Весной к деду приехал зарайский городской голова с докладом о ходе дела и с просьбой назначить день закладки больницы и присутствовать на этом тожестве. Выразив сомнение, что он сможет приехать (деду тогда было уже за девяносто лет), он сказал, что пришлет своих представителей. Вскоре после этого он назначил таковыми моего отца и старшего внука своего старшего брата.

— Да и Юрку захвати с собой, — добавил дед отцу, — пусть на свой родной город поглядит.

Ехать с нами вместе попросился еще тесть троюродного брата А. М. Чудаков, для того, говорил он, чтобы набраться впечатлений, необходимых ему для его будущей книги.

Одним летним днем, часов в семь утра к нам в Малаховку заехал троюродный брат на своем автомобиле, вместе с Чудаковым, и мы тронулись в путь по Рязанскому шоссе, которое было рядом. Все шло хорошо, и мы должны были часам к десяти быть в Зарайске. Но, не доезжая верст тридцать до города, у нас лопнула шина. С тех пор как свершали эту поездку, прошло всего лет сорок с небольшим, но за этот срок техника автомобильной езды значительно ушла вперед. В те времена запасные колеса у машин отсутствовали и шины не были защищены металлическими плашками.

Когда лопалась камера, надо было поднять машину домкратом, засунуть между ободом и крышкой долото и через образовавшуюся щель вытащить камеру, затем на ее место всунуть другую, вытащить долото и надувать ручным насосом. В лучшем случае подобная операция длилась час, а иногда и больше. Подобное происшествие было любимым зрелищем деревенских мальчишек, которые, не без успеха, стремились его вызвать искусственно. Для этого поперек шоссе сооружались миниатюрные надолбы — под тщательно замаскированными кучками пыли таились осколки битых бутылок, кривые гвозди и кусочки колючей проволоки. Горе было шоферу не заметить предательских шероховатостей на шоссе и проехать по ним.

Видимо, в том районе эта забава вошла крепко в быт населения, так как через несколько верст у нас лопнула вторая шина. Все это задержало нас в пути более трех часов, и, вместо того чтобы прибыть на закладку к одиннадцати утра, как было назначено, мы поспедали только к трем часам. Наконец перед нами стали вырисовываться вдали контуры древнего Зарайска.

Не доехав версты три до города, мы заметили вдали скачущего нам навстречу верхового. Вдруг он осадил коня, видимо, стал вглядываться, а затем, круто повернув, поскакал обратно, махая какой-то белой тряпкой. Через несколько минут он снова повернул и поспешил нам навстречу. Он объяснил нам, в чем дело, — оказалось, что на шоссе было выставлено человек десять махальных, которые должны были своевременно известить население о том, что мы подъезжаем, — автомобили в Зарайске были редкостью. Приблизившись к городу, к нашему смущению, мы услышали трезвон всех колоколов тамошних церквей — нам была подготовлена если не царская, то, во всяком случае, митрополичья встреча. При въезде в Зарайск нас ожидал городской голова с золотой цепью своего достоин-

ства на шее, приветствовавший нас краткой речью и севший в нашу машину, чтобы указывать нам путь.

Нас подвезли к каменному зданию школы, воздвигнутой также моими дедами, и предложили отдохнуть и закусить. Мы отказались от того и другого, чтобы не задерживать закладку и не заставлять себя ждать лишнее время.

Через полчаса, не более, мы, переодетые и помывшиеся, были уже на месте закладки, где собралась несметная толпа народа — почти все население города, как нам сказали. Шел длинный и скучный молебен, затем кидали золотые и серебряные монеты в углубление в фундаменте, которое тут же было замуровано, причем каждый клал кирпич, предварительно обмазанный цементом и услужливо подаваемый ему каменщиком. Во время богослужения я неоднократно смотрел на толпу, и меня поразило то чувство какого-то благоговения, которое отражалось на всех лицах. Видно было, что все эти простые люди сознают все значение происходящего — у них будет хорошая бесплатная больница, куда можно будет обращаться, не унижаясь ни перед кем. Здесь я как-то реально ощутил всю мудрость моего деда, который тратил свои деньги не на украшение храмов и не на их постройку, а на удовлетворение необходимейших нужд народа — на школы, больницы, инвалидные дома.

После закладки в актовом зале училища состоялся торжественный банкет, на котором присутствовали все должностные лица города и, как теперь говорится, представители общественности Зарайска. Во главе стола сидели отец и городской глава, по бокам от них мы, знатные гости, затем протопоп, игуменья местного монастыря, в миру какая-то грузинская княжна, гласные Думы, командир местного полка, полицмейстер, директор училища и так далее. Организовывал банкет какой-то гласный Думы, маленький кругленький лы-

сый старичок с красным загорелым лицом и белыми усами, в парусиновом суровом костюме. Он суетился, рассаживая гостей по чинам, бегал куда-то на кухню, шутил, но одновременно казался чем-то расстроенным. Городской голова объяснил его настроение — в Рязани были заказаны и должны были прибыть стерляди и осетр, но из-за неисправности железнодорожного пути задержались в дороге почти на целый день и не успели к назначенному сроку. Под командой старика было человек десять официантов в побуревших от времени фраках и в крахмальных сорочках образца 80-х годов прошлого столетия.

Во время пиршества провозглашались бесконечные тосты — первый был за здоровье деда, после чего встал соборный протоиерей, человек, как и подобает его сану, атлетического телосложения, и, налившись кровью, проревел такое многолетие, что стекла в окнах задребезжали. Все остальные подхватили его многолетие и трижды его пропели. Это повторялось после каждого тоста. Когда голова предложил почтить память моих усопших дедов вставанием, репертуар дьякона был соответственно изменен и он с тем же старанием возгласил «Вечная память», также подхваченное остальными. Все это напоминало картину Соломаткина, и веяло от этого чем-то сугубо провинциальным. Присутствующие были приветливы и радушны, кушали с аппетитом, но без жадности и были искренно довольны, что все это у них так хорошо организовано. Банкет длился бесконечно долго, и отец, поняв мое состояние, предложил мне покинуть общество и пройтись по Зарайску, на что я с радостью согласился.

Город с его узкими, поросшими травой немощными улочками, деревянными тротуарами и маленькими домишками с неизменной лавочкой у ворот каждого напомнили мне Поречье и Духовщину. Но вот за поворотом вдруг возникли мощные стены древнего кремля

с боевыми башнями и главами старинного собора за оградой. Героическое прошлое этого славного форпоста Москвы, его борьба за самостоятельность России,дохнувшее на меня от этих величественных памятников старины, сразу вызвало к нему чувство уважения и любви. Я бродил по гулким плитам собора и долго смотрел на суровый лик Николая Чудотворца, освещенного многочисленными лампадами. На груди святого красовалась тяжелая золотая «португальская гривна», некогда выбитая в Лиссабоне как награда Васко да Гамо и отказанная иконе князем Милославским еще в XVI веке. Думалось о том, что наши предки были не так уж безграмотны и достаточно хорошо разбирались в окружающем, если повесили эту гривну именно на шею Николая Чудотворца, издавна считавшегося покровителем всех «плавающих и путешествующих». Долго стоял я на высоком откосе над живописной рекой Осетр и вспоминал прекрасную княгиню Евпраксию Черниговскую, не пожелавшую стать наложницей Батты и «заразившуюся»¹ с малолетним сыном с этого откоса во время осады города татарами в XIII веке. Воображение воскрешало несметные орды татар, двигавшихся по простиравшейся передо мной бескрайней степи, тонувшей в голубоватой дымке, и кучку отважных защитников города, предпочитавших борьбу и смерть позорной сдаче и плену. Как-то плохо верилось, что подвыпившие и бестолково галдевшие люди, с которыми я только что сидел за столом в актовом зале училища, потомки тех славных защитников города и что они способны были бы повторить их подвиг. От этого становилось грустно.

Моей прогулке по городу значительно мешало то обстоятельство, что я превратился в живой экспонат. За

¹ З а р а з и т ь — поражать, убивать, разить насмерть (устар.).

мною всюду следовала на почтительном расстоянии небольшая кучка людей, с любопытством меня разглядывавшая. Ввиду того что некоторые отставали, а другие приставали, кучка эта никогда не редела. Это чрезвычайно мешало наблюдениям и раздражало.

Была уже ночь, когда мы, на этот раз без аварий, достигли Малаховки, где нас ждал ужин и покойная постель.

Жизнь в Малаховке текла своим обычным чередом, с той только разницей, что в доме появилась молодежь — мои новые знакомые Кондрашovy и кое-кто из их близких товарищей. Молодое поколение внесло с собой ту атмосферу возвышенной романтики, которая присуща ее возрасту. Объектами поклонения стали моя молодая тетка и ее приятельница Наташа Кондрашова. Наши затеи вовлекли в свою орбиту и старших, которые неожиданно вдруг почувствовали себя значительно моложе. Съезд гостей бывал в пятницу и в субботу, собиралось восемь-девять приезжих. В жаркие летние дни на прогулку отправлялись обычно после вечернего чая, часов в десять, и гуляли до утренней зари. Н. Ф. Аксагарский и В. К. Трутовский были нашими постоянными спутниками. Иной раз с нами отправлялись и отец с матерью, и В. В. Постников, и даже дед Носов. Прогулки сменялись рыбной ловлей, непосредственное участие в которой принимали Н. Ф. Аксагарский, отец, дед и я, а остальные ограничивались ролями наблюдателей. Когда наступала осень, организовывались непрерывные грибные походы, впрочем, не выходя из нашего парка, можно было легко набрать лукошко-другое боровиков. В конце сентября мы с неизменной грустью покидали Малаховку, и при расчете отец всегда давал уже задаток на будущее лето, оставляя дачу за собою, так как намерение приобрести свой клочок земли становилось «бесплодным мечтанием» и многочисленныe, никому не нужные вещи, приобре-

тенные отцом «для будущего имения», продолжали загромождать московские комнаты или покоились на чердаках.

Московская зима пролетала быстро, и в феврале в Малаховку отправлялись уже первые возы. Так было и в 1913 году. Уже после этого отец как-то где-то кого-то встретил, спросившего его, не раздумал ли он покупать имение.

— Раздумать-то не раздумал, — ответил он, — да толку мало — все равно то, чего хочешь, не найдешь.

— А вот сейчас именице продается — рекомендую, посмотрите — земли не так много, близко от Москвы, река, дом, лес, а главное, на полном ходу, а о цене, думаю, договоритесь!

Абсолютно не веря в это дело, отец все же просил сообщить продающему своей номер телефона и сказал, когда именно его застать дома. Не прошло и двух дней, как ему позвонили и не замедлили явиться с планами и фотографиями. Продавец рассказывал об имении чудеса, что продается все, вплоть до столового серебра, заготовленного варенья и наливок, не говоря уже о посуде и столовом и постельном белье. Впрочем, добавлял он, лучше всего туда съездить и убедиться лично.

Родители мои призадумались. С одной стороны, как будто все подходило, а с другой, смущало то обстоятельство, что имение продается буквально на полном ходу. Чем это вызвано? Начались семейные советы с дедами, с В. К. Трутовским, с сестрами матери, владевшими своими поместьями. Естественно, все говорили, что надо сперва посмотреть, а потом решать.

Одним мартовским утром моя мать со своей младшей сестрой и в сопровождении В. К. Трутовского и Н. Ф. Аксагарского отправились на станцию Апрелька, по Брянской железной дороге, для личного знакомства с имением. Возвратились они поздно, к вечеру. Матери и тетке усадьба понравилась, но дорога

привела их в совершеннейшее уныние — в этом и крылась причина такого исключительного «полного хода»: для того чтобы покрыть несчастные сорок верст, отделявшие имение от города, требовалось затратить не менее четырех-пяти часов. Это и решило дело: мать и ее сестра категорически высказались против покупки, тем более что были и другие обстоятельства — родители не хотели обременять себя такими обширными владениями, они мечтали о ста, ста пятидесяти десятинах, а здесь было четыреста, да и цена, по их мнению, была очень высокой. Против их мнений решительно восстал В. К. Трутовской, который находил их доводы неубедительными. Н. Ф. Аксагарский молчал, но все время твердил о том, что отцу необходимо лично ознакомиться со всем.

Отец мнения своего не высказал, а через несколько дней выбрал время и, забрав с собой Аксагарского и меня, отправился в Апрелевку. Сорок верст, отделявшие эту станцию от Москвы, поезд шел два с половиной часа, так как на каждом разъезде стоял по двадцать и более минут. Вагоны были грязные и зашарпанные, пассажиры — по преимуществу крестьяне. Брянская дорога, несмотря на свое огромное стратегическое значение, была частной, и акционеры совершенно не были заинтересованы в пассажирском движении. На некоторых перегонах поезд вдруг замедлял ход и в окно вагона было видно, как из какого-либо тамбура валились под откос мешки и выпрыгивал пассажир, который заблаговременно попросил машиниста попридержать состав у своей деревни. В других местах сигналили у полотна, поезд снова замедлял ход и подбирал пассажиров. Словом, дело там велось подомашнему.

Наконец мы прибыли к месту нашего назначения. Маленькая, захудалая станция, рядом два крохотных заводешка (кирпичный и грамофонных пластинок),

потребительская лавка, казенка и два-три утлых домика — все это в лесу. На станции дежурил единственный извозчик Павел, который и повез нас в имение. Он оказался исключительно словоохотливым, без умолку рассказывал нам о бывшем владельце купце Власове, о соседях, о деревенских новостях, все время прерывая свою речь стереотипным и совершенно бесстрастным обращением к лошадям: «Но! Но! Г...но!»

Затем каждый раз ронял в нашу сторону:

— Извините, это так, повадка у меня такая!

Однако мы мало обращали внимания как на его извинения, так и рассказы, будучи всецело заняты сбережением собственных жизней. От станции с версту тянулась проселочная торная дорога, которая представляла из себя жидкий кисель из грязи, местами достигавший глубины аршина. Под этим киселем таились невидимые рытвины и косогоры, так что тарантас вдруг принимал чуть ли не вертикальное положение, и мы цеплялись за что ни попало, так как под нами зияла бездна. Летом эта дорога превращалась в ряд труднопроходимых глиняных торосов¹, на которых экипажи ломали рессоры и оси. Впоследствии один наш знакомый весной утопил на этой дороге свой чемодан, который выпал из тарантаса и погиб безвозвратно — найти его не удалось. Эта часть пути была шоссирована лишь перед самой войной 1914 года, после того как московский предводитель дворянства Шлиппе и еще кто-то, едучи на юбилей старика Шереметева в Михайловское, оба в парадных придворных мундирах, были вывалены из экипажа в самом грязном месте.

Уж по пути со станции мы обратили внимание на некоторую особенность Апрелевки, отличавшую ее от обычных подмосковных местностей, где нам приходилось бывать. По причине плохой связи с городом,

¹ Торосы — лужи.

отсутствия дач и наличия исключительно помещичьих усадеб здесь еще были живы феодально-крепостнические порядки. При встречах на дороге все обязательно здоровались друг с другом, ехавшие навстречу крестьяне молча сворачивали с дороги и пропускали «барский» экипаж, но если навстречу ехала телега с поклажей, пропускать ее обязан был «барин». Впоследствии мы столкнулись с тем, что крестьяне вели беседу с помещиком на «ты», что «барский» дом не полагалось запираить на ночь и что взять чужое здесь считалось величайшим грехом. Помню, как я однажды на рыбной ловле позабыл на берегу подсачок и ведерко, а хватился их только через несколько дней. Каково было мое удивление найти их на том же месте, где я их оставил, в полном порядке, хотя они и носили следы обследования, которому, видимо, подвергались со стороны пытливых деревенских мальчишек.

В усадьбе нас встретил садовник, который и повел нас осматривать владения. Дом был хороший, каменный, выстроенный в стиле русского ампира, но изуродованный двумя нелепыми вышками, красовавшимися на крыше. Нам сказали, что это было специально сделано по желанию единственной, обожаемой родителями дочери владельца. Внутри комнаты были просторные и удобные, но, за исключением двухсветного зала с хорами, чрезвычайно безвкусно и нелепо отделаны. Так, одна комната была расписана в мавританском стиле и напоминала баню, а другая в помпейском, — терракотовые стены придавали ей какую-то зловещую мрачность. Далее мы ознакомились с экономией, прошли в парк, мельком издали взглянули на поля и лес. Отец смотрел все чрезвычайно внимательно.

Когда мы возвратились в дом, нас ожидал накрытый скатертью стол с кипящим самоваром, нарезанной ломтиками провесной ветчиной и вареньем, были расставлены приборы и чашки с серебряными ложками. Са-

довник указал нам, что все это оставляется хозяевами в придачу к имению.

Отдав должное угощению, обогащенному собственными запасами, мы двинулись в обратный путь. Прибыв на станцию, мы узнали, что поезд запаздывает на полтора часа, хотя он и считается пригородным. Однако эти сведения сообщались лишь в утешение пассажиров, так как опоздал он на два с лишним и в пути прибавил еще более получаса к своей задержке, так что вместо того, чтобы прибыть в Москву к пяти часам, мы приехали в восемь. Наши попутчики по вагону утешали нас тем, что бывают случаи, когда поезда опаздывают и на пять часов, а опаздывают они всегда, да и вообще пассажирских поездов-то только пять пар в сутки. Из-за этого, по их словам, большинство предпочитают ездить за четырнадцать верст на станцию Голицыно Брестской железной дороги.

Приехав домой, поговорив с матерью и взвесив все «за» и «против», отец твердо решил отказаться от покупки, так как цена имения ему не подходила. Он уведомил об этом продающего, который поинтересовался суммой, которую может предложить отец, но она в свою очередь его не устраивала, и он сказал, что на днях заедет за планами и фотографиями. Мы же после этого стали собираться в Малаховку.

Именины отца, 17 марта, по традиции праздновались на даче, куда мы уже «начерно» перебрались. Спустя несколько дней после этого дед Бахрушин спросил отца, как обстоит дело с приобретением имения. Получив ответ, что из-за плохого сообщения, а главное, из-за цены отец отказался от покупки, дед, расспросив еще о кое-каких подробностях, поинтересовался планами владения, которые и были ему доставлены, благо продавец еще не взял их обратно.

Наутро дед встретил отца фразой:

— Не по-купецки ты, Алеша, рассуждаешь — цена

не дорогая, а даром отдают. Ты сам сказывал, что даже родительское благословение, иконы в серебряных ризах и те в доме остаются, не говоря уже обо всем другом, — где ж тут дорого? Больше половины имения — лес, пашни-то не более ста десятин, ты, чай, посевами-то заниматься не будешь, тебе сено нужно будет, а луга-то все около реки — значит, заливные и против дома оба берега твои — никто тебе фабрику там строить не будет. Лес, луга, своя мельница на ходу, это, брат, все деньги. Золото, а не именье! Сообщение, говоришь, плохое! Так ведь мы вперед идем, а не назад. Второй путь проведут, дорога важная, прямо путь в Украину, шоссе сделают, тогда имению цены не будет! Ты лучше прямо скажи — не дорого, а денег много. Это верно будет. Сколько просят-то?

Отец назвал сумму.

— Многовато! А овчинка стоит выделки. Сколько у тебя денег на это дело определено?

Отец указал половину того, что просил продавец.

— Покупай, поторгуйся еще и покупай, а что тебе не хватает — я доложу. С Богом, в добрый час!

Тем временем и продавец, поразмыслив, решил несколько сбавить цену — одним словом, незадолго до Пасхи мечта моих родителей осуществилась и они наконец стали обладать своим, правда несколько великоватым, клочком земли. Срочно ликвидировав все дела в Малаховке, мы начали новое переселение. Встретив, как обычно, праздник Пасхи в Москве, вместе с дедом, мы переехали в наше новое летнее местожительство.

В. К. Трутовский подробно описал всю эпопею покупки имения в обширной поэме «Песня о новом помещике», взяв в качестве образца пушкинскую «Песнь о вещем Олеге» и начинавшейся словами:

Как ныне Бахрушин решил Алексей
Помещиком стать под Москвою,

Торопит жену он свою поскорей:
Купи мне именье с рекою,
Чтоб мог у себя бы я рыбу ловить,
Купаться и в лес за грибами ходить...

Далее описывалась поездка матери, раздумья, споры, закончившиеся тем, что отец:

На все промолчал политично
И, быв уж вполне в покупной полосе,
Смотреть все решил самолично.

В финале поэмы говорилось об окончательном переезде в имение.

Первое лето нашего житья на новом месте было периодом его первичного освоения, ознакомления с новыми условиями и планирования переделок и изменений. Мать раздумывала о преобразованиях по части птичника, скотного двора, огорода, цветника и ведения сельского хозяйства в целом, я изучал наилучшие места рыбной ловли и сбора грибов, а отец, немедленно сложив две нелепые вышки, венчавшие дом, планировал капитальную перестройку всего здания.

Однако дальше незначительных изменений и подробной разработки переделок и достроек отец в этом году не шел, так как был всецело поглощен делами музея: его заветная цель как будто была достигнута и дело жизни венчалось переходом собрания в собственность государства, и тем самым оно становилось достоянием народа и предоставлялось для бесплатного всеобщего обозрения.



огда отец еще был холостым и только начинал свое собирательство, его посетили известный артист А. А. Рассказов и историк театра А. Ярцев. Тогда еще незначительное собрание отца все же поразило старого актера. Сама собой завязалась беседа, сущность которой в тот же вечер, 7 июня 1894 года, Ярцев запечатлел в альбоме отца.

«Александр Андреевич Рассказов,— писал он,— с чувством говорит, что встретил здесь всех своих наставников, сослуживцев, товарищей, всех тех, с кем связаны воспоминания его молодости. В этих словах, в этом тоне сказался смысл и значение исторического театрально-музыкального музея, создания которого должны желать все любящие русский театр. Несомненно, что такой музей когда-нибудь,— и чем скорее, тем лучше,— организуется в России, и в нем собрание Алексея Александровича займет первое место. Я говорю об этом смело потому, что могу засвидетельствовать высказанное Алексеем Александровичем желание принести когда-нибудь свое собрание в дар будущему музею или какому-либо другому государственному или общественному учреждению. Да сбудется реченное им».

Однако осуществить задуманное еще тогда удалось лишь через девятнадцать лет.

Быстрый рост музея и в особенности обилие материалов, приносимых в дар, с одной стороны, укрепляли отца в его первоначальном намерении, а с другой, осложняли его осуществление, так как многие жертвователи, особенно москвичи, ставили обязательным условием, чтобы их вещи никогда не уходили из Москвы.

Отец умел стимулировать порывы тех людей, которые дарили ему экспонаты. В каждом отделе музея он завел «дежурные» витрины. Когда он узнавал, что кто-нибудь из жертвователей или их близкие собирались посетить его, то в одной из этих витрин немедленно устраивалась временная выставка — в ней располагалось все, что имелось в музее, касающееся посетителя, причем наиболее интересное и ценное пряталось. При осмотре музея гость подводился к этой витрине, и отец со вздохом объяснял:

— Вот, к сожалению, все, что я имею о вас. Даже обидно, что такой крупный деятель театра, как вы, так слабо отражен в музее. Ну, что ж поделаешь?..

Этот маневр неизменно увенчивался успехом. В посетителе заговаривало артистическое честолюбие, и вскоре от него поступал ценный и щедрый вклад. Отец даже заказал специальные картонные этикетки, на которых золотом было написано: «Дар такого-то».

Не привыкший и не любивший просить что-либо для себя, отец решительно отступал от этого правила, когда дело касалось музея.

Стоило умереть кому-либо из театральных деятелей, как отец являлся на панихиду, когда покойник лежал еще на столе, и безо всякого смущения начинал разговор со вдовой или с детьми о «наследстве». В театрах посмеивались над этой его особенностью и говорили, что «вслед за гробовщиком сейчас же приезжает Бахрушин», а моя мать, крайне деликатная по своему

характеру, всегда удивлялась, «как он так может», на что отец обычно отвечал:

— А чего тут стесняться-то? Я ведь не для себя прошу, а для музея. Покойник будет только мне благодарен, что я позабочусь о сохранении его памяти. А то ведь все прахом пойдет, в уборную или в печку.

И, конечно, он был прав. Сколько ценных материалов ему удалось таким образом спасти от гибели и сохранить! И сколько пропало из-за того, что, по его выражению, его «руки были коротки и до них не доставали»!

Впервые о передаче музея государству отец заговорил с одним из наших частых посетителей — управляющим конторой спб. имп. театров В. П. Погожевым, которого он очень уважал за его искренний интерес к театральному прошлому. Впоследствии, как известно, этот интерес Погожева воплотился в опубликовании целого ряда ценнейших документов по истории московских и спб. театров.

Погожев отнесся к этому предложению очень сочувственно. Состоялось знакомство отца с директором театров Всеволожским, который одобрил этот проект. Делу был дан ход, но сразу же начали возникать всякие бюрократические препятствия, так как отец ставил некоторые непеременимые условия передачи своего собрания. Слухи об этих переговорах проникли в прессу, и в столичных газетах стали появляться заметки и статьи по этому поводу. Вскоре московская печать, отображая голос общественности, стала настойчиво выражать протест против предполагаемого дирекцией театров перевода музея в Петербург. Отец твердо помнил желание многих жертвователей, а поэтому и ставил условием учреждение Театрального музея при московских театрах. Этот вопрос и явился основным моментом разногласий. Попытки отца оказать давление из Москвы не увенчались успехом, так как управляю-

ший московскими театрами В. А. Теляковский проявил к этому начинанию полное равнодушие. Кроме того, появились и еще другие значительные препоны — дирекция театров не могла гарантировать бесплатность и общедоступность собрания, на которых настаивал отец, сохранение его в нераспыленном виде и тому подобное. Дело, попав в бюрократическую петербургскую машину, принимало формальный характер, что было абсолютно неприемлемо для отца. Пришлось отказаться от этой идеи, что отец и сделал, ясно определив свои взгляды на вещи в интервью с корреспондентами, заявив, что ему нужен «музей не по названию только, а с идейной постановкой дела».

Впрочем, в ту пору это крушение его надежд мало его расстроило. Шел 1901 год, музею исполнилось только семь лет, и время еще терпело. Однако через некоторое время он снова начал переговоры о передаче своего собрания Историческому музею, но и здесь ни до чего договориться не удалось. Отец не торопился.

В 1904 году умер его двоюродный брат и наставник по части коллекционерства А. П. Бахрушин. После него осталась редчайшая библиотека и обширнейшее собрание русской старины, которые были переданы Историческому музею. Все это было принято, перевезено в музей и на долгие годы похоронено в его кладовых.

На вопрос отца, когда начнут описывать и экспонировать собранное его двоюродным братом, следовал ответ:

— Надо подождать, штаты маленькие, рук не хватает, когда-нибудь разберем.

А спустя некоторое время собрание А. П. Бахрушина стало постепенно расплываться по другим хранилищам, и имя собирателя осталось лишь в виде *exlibris*'ов на книгах.

Все это чрезвычайно расстроило отца, и он с новой энергией стал искать место, куда бы пристроить свое

собрание, которое все продолжало расти. Как гласный Думы он предложил передать свой музей в собственность московского городского самоуправления. Но маститые отцы города, лишь услышав об этом, стали всячески отмахиваться от этой напасти.

— Что вы?! Мы с третьяковским и солдатенковским собраниями достаточно горя хлебнули. А тут вы еще с вашим! Увольте, Христа ради!

Попробовал он сунуться еще куда-то, куда именно — уже не помню, и всюду ответ был один — «отказать». Отец был в отчаянии — огромное собрание, уже тогда стоившее сотни тысяч, предлагаемое бесплатно государственным учреждениям, оказывалось никому не нужным. Сломить чиновничью косность оказалось невозможным.

Кто-то из тогдашних художников нарисовал карикатуру и подарил ее отцу — корабль, на борту которого написано «Музей Бахрушина», разбивается в щепы о скалу с надписью «Бюрократия».

Чем бы все это кончилось, сказать трудно. На помощь отцу, как всегда, пришел счастливый случай.

Летом в 1909 году он, неожиданно для себя, был избран в состав комитета по постройке Пушкинского дома при Академии наук. Отец расценил свое избрание как очень высокую честь, глубоко уважая старейшее русское научное учреждение. Несмотря на свою занятость, он никак не возражал против вынужденных теперь частых поездок в Петербург.

На первых же заседаниях комиссии он познакомился с академиками-словесниками, не ожидая, что среди них его имя уже достаточно известно и об его музее хорошо осведомлены. Начались расспросы, слышались возгласы удивления тому, что имеется в коллекциях музей из области памятников отечественной литературы.

— Да, вот вы удивляетесь, — сказал отец, — говори-

те, какие ценности! А эти ценности, видимо, никому не нужны. Сколько ни предлагаю их в дар — все отказываются!

Последовали новые вопросы. Отец подробно сообщил о своих мытарствах.

— А это все потому, — сказал кто-то из академиков, — что вы не тому, кому надо, предлагаете. Предложите нам — мы возьмем!

— Знаю я вас, петербуржцев, — усмехнулся отец, — вы сейчас же потребуете перевоза музея к вам, а я на это не пойду!

— Почему? Конечно, это желательно, но не обязательно. Знаете, если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Можем и мы к вам поездить. Да и вообще Академии наук давно пора завести свой филиал в Москве.

На этом разговор и кончился. На следующем же заседании он был продолжен и углублен. Масла в огонь подливал достаточно хорошо знакомый с музеем служащий Академии Вл. Ал. Рышков. Со стороны Академии проявить в этом деле инициативу решили три академика: Никитин, С. Ольденбург и Н. Котляревский. Они обещали приехать в Москву, ближе ознакомиться с музеем и прозондировать, как отнесется к подобному предложению отдел русского языка и словесности Академии наук.

Из Петербурга отец возвратился в приподнятом настроении, полный надежд, но следовал завету деда — верил, но не вверялся обещаниям, полученным в Академии. Академики молчали, зато к нам зачастили Б. Л. Модзалевский и В. А. Рышков, которые все время подогревали ожидания отца. В ту пору, когда он уже был готов окончательно махнуть на все рукой, к нам в конце сентября 1909 года неожиданно приехал Н. Котляревский. Он подробно и долго осматривал музей, задавая бесчисленные и, казалось мне, кавер-

зные вопросы. После этого он еще долго сидел в нижнем кабинете отца, выясняя всякие подробности, и, уезжая, сказал, что вполне удовлетворен осмотром и будет соответственно докладывать президенту Академии вел. князю Константину.

После отъезда Котляревского находившийся при его посещении музея В. К. Трутовский записал в альбоме отца: «День знаменательный в истории нашего дорогого музея Алексея Александровича! Начались переговоры об его дальнейшей судьбе: о переходе его из свободного сословия в официальное! Что-то даст будущее? Казенное добро, говорят, не горит, не тонет. Если так — дай Бог!»

Будущее не заставило себя ждать. Вскоре из Петербурга пришло письмо, сообщавшее, что все дело улажено и что отцу надлежит написать прошение о приеме музея в дар Академии наук и вручить бумагу лично президенту.

В конце года состоялась первая встреча отца с вел. князем Константином, который принял решение, спросил о музее и сказал, что вопрос будет поставлен на повестку дня ближайшего заседания конференции. Несмотря на то что эта встреча носила официальный характер, оба произвели друг на друга благоприятное впечатление.

Отец остался в Петербурге, ожидая окончательного решения, так как заседание конференции было назначено через несколько дней. В день самого заседания он очень нервничал и целый день почти безвыходно сидел в гостинице. Наконец появился Вл. А. Рышков с сияющим лицом и с поздравлениями: музей принят Академией наук и вел. князь желает лично ему сообщить об этом завтра. На другой день встреча состоялась, и после поздравления вел. князь сказал:

— Самое главное сделано: ваш музей теперь — государственное учреждение, его двери будут бесплат-

но открыты для всех, и он будет в Москве, как вы и хотели, но предупреждаю вас, сейчас начинается самое скучное — оформление этого дела. Неизбежные формальности и, увы! связанная с этим чиновничья волокита. Ну что же, заручимся терпением и будем подгонять и напоминать. А Академия при вашей помощи займется срочной выработкой положения о музее, которое ляжет в основу законопроекта. При составлении положения надо учесть и внести в него все ваши пожелания. Вы и Академия теперь одно целое, так что выясняйте все подробности дальнейшей работы, а главное, сразу завязывайте тесную связь с нами.

На следующее утро уже все газеты сообщили о переходе музея в собственность государства. Тесная связь Академии с музеем была завязана сразу. Вскоре к нам в Москву приехал В. Л. Модзалевский, который приступил к описи и изучению хранящейся у нас опеки Пушкина и к просмотру рукописного фонда музея. Вот здесь-то ему и удалось в папке автографов неизвестных лиц обнаружить никогда не публиковавшуюся поэму Лермонтова и несколько его других стихотворений, также никогда не издававших печати.

Одновременно началась кропотливая работа по выработке положения о музее. Она велась параллельно и в Москве и в Петербурге при самом деятельном участии отца и вел. князя. Все пункты тщательно обдумывались, согласовывались, редактировались и фиксировались. К осени 1910 года положение было выработано, и оставалось его утвердить на конференции Академии, но один пункт остался несогласованным — отец настаивал на своей редакции, а вел. князь на своей. И этот пункт касался меня.

По проекту отца после его смерти почетное попечительство музеем переходило к моей матери, а по проекту вел. князя после смерти отца оно переходило к моей матери, а после ее смерти ко мне. Отец протесто-

вал против подобной «наследственности». Было решено окончательно согласовать этот спорный пункт на заседании Конференции, которая была назначена на октябрь месяц.

На этот раз Академия собралась во дворце в Павловске в летней резиденции вел. князя. Отцу было предложено прибыть на заседание за полчаса до его начала. В назначенный срок отец приехал во дворец и уже в передней был встречен вел. князем, который радостно его приветствовал как старого знакомого, запросто взял под руку и повел в комнаты. Пораженный исключительным изяществом и красотой ныне не существующего дворца¹, отец невольно останавливался и задавал вопросы хозяину, а вел. князь в свою очередь хотел узнать все музейные новости: не было ли каких притеснений отцу от Академии, что поступило нового в музей, как относятся в Москве к передаче музея и так далее.

— Разговор наш шел через пень колоду, — рассказывал потом отец, — ни о каком этикете и помину не было — так, собрались два приятеля и толкуют...

Вдруг вел. князь оборвал беседу, пристально посмотрел на отца и спросил:

— Алексей Александрович, почему вы так упорно хотите обидеть вашего сына?

Отец ответил, что он далек от мысли меня обижать, но что это вопрос принципиальный — музей стал государственным учреждением и семейственности в нем не место.

— Жена — дело другое, — сказал он, — без нее, может, и музея-то не было бы. Знаете, иная женщина в ее положении только бы и думала о тряпках да об удовольствиях, а моя жена помогала и поддерживала меня во

¹ Дворец был взорван гитлеровцами при отступлении.
(Примеч. Ю. А. Базрушина.)

всем. Иной раз общипывалась, но никогда меня не упрекала за музейные траты, да и сама в музее работала. А сын — что? Он еще мальчишка, ему четырнадцать лет, что он понимает? Да что еще из него получится — неизвестно? Я лично — против вашего проекта.

Вел. князь не стал спорить, а начал расспрашивать отца обо мне — где я учусь, какие у меня успехи, интересуюсь ли я музеем, в чем этот интерес выявляется и так далее. Отец подробно отвечал на все эти вопросы. В конце вел. князь выдержал паузу и сказал:

— Эх, Алексей Александрович, понимаю я, что вам сейчас нелегко расставаться с любимым детищем. Все равно что любимую дочь отдать кому-нибудь замуж на сторону. Но, простите, думаете вы только о себе, о ваших принципах. Поставьте себя на минуту в положение вашего сына, после того как ни вас, ни супруги вашей не будет на свете. Вы достаточно рассказали мне о нем, подумайте, приятно ли ему будет, когда на ваше место назначат какого-нибудь чурбана чиновника (к сожалению, в подобных у нас недостатка нет) и он начнет все ломать, что вы с такой любовью создавали. Не желал бы я тогда быть на месте вашего сына.

Отец задумался. Этого только и надо было вел. князю, и он добавил:

— Не будем решать этот вопрос сейчас. Пора идти — нас ждут. Я поставлю этот спорный пункт на голосование — решим большинством голосов.

Конференция решила дело в мою пользу. Отец, как он признался, молчал. Вел. князь был очень доволен и задержал у себя отца после заседания. Он подробно показал ему дворец и угощал чаем. Это свидание отразилось на всех последующих отношениях отца и вел. князя.

Раньше чем продолжать, надо сказать несколько слов о вел. князе, о человеке, личность и деятельность которого, по вполне понятным причинам, еще не освещены.

щены, но несомненно в будущем привлекут более пристальное внимание.

Константин Константинович был вырожденком в семье Романовых. При дворе и в правящих сферах на него смотрели как на какого-то блаженного и оказывали ему почтение только постольку, поскольку он был двоюродным дядей царя. При дворе Константин Константинович бывал редко и только в официальных случаях и ни с кем из своих высокопоставленных родственников не дружил. Он предпочитал замкнутую жизнь в стенах своих дворцов и общение с людьми литературы, искусства и науки.

Отец вел. князя, генерал-адмирал Константин Николаевич, щеголял модными в его время либеральными взглядами, принимал активное участие в подготовке отмены крепостного права, был основателем существующего поныне «Военно-морского вестника», к участию в котором привлек А. Н. Островского, И. А. Гончарова и других видных писателей, и поощрял независимые взгляды своих детей. Но если в Константине Николаевиче либерализм был некоей рисовкой, оригинальничаньем, данью моде, то в Константине Константиновиче либерализма не было, а была насущная, искренняя тяга к подлинному демократизму. Эта-то его черта больше всего раздражала придворные сферы, которые охотно возводили на него любой поклеп. Вел. князь был серьезным поэтом-лириком и хорошим переводчиком. Некоторые его стихи пережили революцию и еще до этого проникли в народ¹, но в придворных кругах усиленно распространялись слухи, что все эти стихи «правит» Майков, хотя и после смерти Майкова вел. князь с не меньшим успехом продолжал свою литературную деятельность. Он постоянно шокировал двор своими

¹ Например, песня «Умер, бедняга, в больнице военной».
(Примеч. Ю. А. Бахрушина.)

знакомствами и своим участием в любительских спектаклях, где выступал вместе с актерами-профессионалами.

Своих детей он воспитывал в демократических взглядах. Его сын Игорь рассказывал мне, что когда его отдали в Кадетский корпус, то вскоре туда приехал вел. князь и просил собрать класс, в котором учился его сын. Когда ребята были собраны, вел. князь обратился к ним с речью, в которой просил раз и навсегда забыть, что его сын — сын вел. князя, а если он будет сам об этом напоминать, то отучать его от подобных мыслей самым простым и энергичным образом. Здесь вел. князь плюнул в ладонь, сжал кулак и наглядно показал, каким образом производить эту операцию.

— Так что, ребята, — добавил вел. князь, — если он будет приходиться ко мне в воскресенье в отпуск без синяков, я буду вас всех презирать.

— И вот, — рассказывал Игорь Константинович, — благодаря папаше ребята первое время лупцевали меня надо — не надо, чтобы только их не презирали.

Однажды мой дядя поехал с семьей за границу. Ехали куда-то далеко, кажется, из Берлина в Рим. В поезде моя двоюродная сестра, которой было лет четырнадцать, случайно познакомилась с русской девочкой-однолеткой. Новые знакомые быстро сдружились, выбегали вместе из вагона на больших станциях, обменивались впечатлениями о виденном и прочитанном. К концу путешествия они решили продолжать знакомство по почте и обменялись записками с адресами. Каково было удивление моего дяди и его семьи, когда, развернув после прощания записку, они узнали, что новая подруга их дочери — дочь вел. князя Константина Константиновича. Все же моя двоюродная сестра написала своей новой знакомой, та ответила, и в течение долгих лет их отношения крепили и не прерывались вплоть до замужества Татьяны Константиновны, избравшей себе спутника жизни не из среды

мелкопоместных немецких князей, а вышедшая замуж за правнука героя 1812 года, скромного младшего офицера кн. Багратиона.

Константин Константинович был убежденным семьянином. Он никогда не принимал участия в скандальных великокняжеских кутежах, никогда не заводил романов. В этом его не могла упрекнуть даже злобствующая «великосветская» молва, которая расценивала и эти его особенности также как некий вид юродства.

При этом надо сказать, что семейная жизнь вел. князя оставляла желать много лучшего. Его жена, Саксен-Альтенбургская принцесса Елизавета Маврикиевна, была женщиной крайне недалекой, причем до конца своих дней ярой пруссофилкой, а ее муж всю жизнь терпеть не мог немцев и был пламенным патриотом. Вначале молодость сглаживала эти противоречия, но с годами они ощущались все острее и острее и в конце концов привели к внезапной и неожиданной смерти Константина Константиновича. Таким образом, все его радости сосредотачивались в детях, воспитанием которых он лично руководил. Любимым его сыном был рано погибший Олег, затем дочь Татьяна, Игорь, Константин и маленький Дмитрий. Старшие сыновья Иван и Гавриил заботили отца. Черты вырождения проглядывали в них очень ярко, и хотя ничего отрицательного мне о них слышать не приходилось, они все же были определенно неполноценными. Недаром впоследствии один из них стал диаконом и служил в церкви.

Подлинная жизнь вел. князя была в искусстве и в особенности в литературе. Мне приходилось видеть письма Константина Константиновича, адресованные никому не известным начинающим поэтам, людям самого незначительного положения, в которых вел. князь собственноручно отвечал на их вопросы. На восьми — двенадцати страницах он чрезвычайно подробно объ-

яснял законы стихосложения и давал советы и делал замечания по поводу присланных ему стихов. В моей библиотеке имеется книга французских стихов, принадлежавшая Константину Константиновичу, вся испещренная его карандашными заметками. К своим занятиям поэзией он относился не как дилетант, а как профессионал и безусловно был серьезным, профессиональным поэтом, хотя, конечно, и не первого положения.

Начал свою карьеру вел. князь в Измайловском полку. Здесь он положил очень много труда на возрождение былых литературных традиций этого полка. Как он сам говорил, ему претила пустая и праздная жизнь офицерства, наполненная только бесцельным швырянием денег, соревнованиями в роскоши и тщеславии, кутежами и дебошами. В полку им было учреждено литературно-художественное общество «Измайловские досуги», которое втянуло офицерство в занятия литературой, живописью, театром, коллекционерством и тому подобное. Многие офицеры этого общества впоследствии регулярно выступали в печати. На собраниях «Досугов» часто бывали Майков, Полонский, Голенищев-Кутузов и другие.

В борьбе с роскошью и тщеславием Константин Константинович, нарушая этикет, приезжал в полк на извозчике и никогда не сидел в театре в первом ряду. Его пример заставил и других офицеров отказаться от дорогостоящих и разорявших их собственных выездов и сидеть в партере не ближе третьего ряда.

Во всех поступках Константина Константиновича человек всегда доминировал над вел. князем. Эта-то глубокая человечность и была причиной того, что отец так близко и быстро нашел с ним общий язык. И больше всего отец ценил в вел. князе то, что он оказал огромную услугу не ему лично, а тому делу, которому он посвятил всю свою жизнь и любовь.

«Положение о музее» было утверждено, разногласия согласованы, казалось бы, все уже было сделано, однако именно теперь начались те «хождения по мукам», о которых в свое время предупреждал вел. князь. На эти «хождения» потребовалось еще около двух лет. «Положение» поступило на одобрение трех министерств: народного просвещения, внутренних дел и финансов, затем оно было передано в Совет Министров на утверждение, после чего было направлено в Государственную думу. Вел. князь лично все время подталкивал продвижение «Положения» по инстанциям, благодаря чему дело было оформлено, по тогдашним понятиям, молниеносно.

Тем временем отец был занят выбором кандидатуры ученого хранителя музея. После долгих размышлений и обсуждений он окончательно остановился на Владимире Александровиче Михайловском.

В. А. Михайловский был одним из старейших завсегдатаев наших суббот. Сын мелкого чиновника, он, по окончании курса Московского университета, поступил на должность учителя словесности в Московское балетное училище, где со временем занял должность инспектора классов. Убежденный поклонник Малого театра и в частности М. Н. Ермоловой, он именно на этой почве и сошелся с отцом. Беззаветно преданный интересам театрального искусства, он на свое скромное жалованье собрал прекрасную библиотеку, которая помогла ему в исследовательских литературных работах по истории театра. Постоянно печатаясь в сборниках и журналах, он приобрел некоторую известность среди немногих тогдашних театроведов. Самым любопытным в В. А. Михайловском было то, что в нем мирно уживались восторженный, увлекающийся театрал и типичный казенный чиновник. Карьеризм был ему чужд, но зато уклад его жизни был примером размеренности и аккуратности. Старый холостяк, он одиноко жил

в своей маленькой казенной квартире, окруженный пыльными книгами и рукописями, никак не нарушавшими раз и навсегда заведенного им повседневного порядка. Михайловский не пропускал ни одной театральной премьеры и ни одного выступления М. Н. Ермоловой в Малом театре. Другие театры он игнорировал. Наблюдая М. Н. Ермолову десятки, а может, и сотни раз в одной и той же роли, он, придя домой, аккуратно заносил в тетрадь свои впечатления, отмечая каждую деталь ее игры и не замечая, что, главное-то, живая Ермолова и ее воздействие на зрителей тонут в этих мелочах. У него был свой узкий круг знакомых, в число которых входили тенор Барцал, театровед Шамбинаго, зубной врач, театрал Коварский, артист Малого театра И. Рыжов и некоторые другие. С ними он регулярно встречался два раза в неделю в литературно-художественном кружке и в немецком клубе. После скромного ужина с пивом и оживленных разговоров о театре друзья расставались до новых встреч на следующей неделе. Как истый студент, раз в год, в Татьянин день, Владимир Александрович «кутил», то есть позволял себе выпить бутылочку-другую вина, впрочем, никогда не превышая какого-то, им установленного лимита. В субботу он неизменно ходил в баню и любил попариться на верхней полке. После этой операции он появлялся у нас на вечернем собрании какой-то глянцеви́тый, с своим неизменным старомодным пенсне на тесемочке, неудобно примостившимся на маленьком, чрезвычайно розовом носике, гармонировавшем по цвету с тугими кудряшками волос, потерявшими свою былую огненную задорность благодаря рано закрашившейся в них седине. Этот-то человек, столь схожий с отцом по своим увлечениям Малым театром и столь отличавшийся от него по своему темпераменту, и был избран для воплощения научной сущности музея.

Наконец в июне 1912 года Государственная дума

среди прочей «вермишели» пропустила и одобрила «Положение о музее». Осталась последняя инстанция — утверждение царя. Эта, в сущности, простая формальность могла, и надолго, задержать дело. На этот раз вел. князь решил сам побеспокоить своего царственного племянника, благодаря чему в исключительно короткий срок, в июле месяце «Положение» было уже подписано царем и стало законом Российской империи.

Мытарства музея и моего отца закончились, и как некий их апофеоз оставалось лишь справить торжественный акт передачи. Для урегулирования этого вопроса отцу снова пришлось ехать в Петербург на свидание с вел. князем. Надо было согласовать с ним кандидатов в почетительный совет и в ученые хранители, а также фиксировать дату передачи. По каким-то причинам отъезд отца из Москвы задержался, и он попал в Петербург лишь в начале 1913 года. Кандидатуры были быстро согласованы, но в отношении ученого хранителя дело обстояло сложнее, так как он должен был быть назначен конференцией Академии. Вел. князь рекомендовал включать постепенно Михайловского в работу, так как едва ли его кандидатура встретит возражения, а оформить позднее. В конце разговора вел. князь обратился к отцу:

— Ну, теперь ваш музей окончательно перешел государству. Скажите, что вы хотите за это получить?

Отец весь передернулся и довольно резко ответил:

— Я, ваше высочество, передавал музей государству не для того, чтобы что-то получить, а для того, чтобы сохранить его, обеспечить и сделать общедоступным. Все это совершилось так, что я достаточно вознагражден. А получают люди за службу, а я, как вам известно, пока что на казенной службе не состоял!

Вел. князь улыбнулся:

— Вы не горячитесь. Вполне разделяю и понимаю

ваше отношение к моему вопросу. Иного от вас и не ожидал. Но в данном случае дело обстоит несколько сложнее. Правительство не может принимать от частных лиц подарки, да еще ценные, не отблагодарив их. Общественное мнение справедливо обвинит его в неблагодарности, и, в первую очередь, обвинит Государя, как главу государства, так что он должен вас отблагодарить.

Отец подумал.

— Ну что же, если это необходимо — я согласен. В таком случае прошу Государя принять меня, но не вместе со всеми, как это делается при представлении, а отдельно, и вот тогда пусть он меня и поблагодарит. Это меня вполне устроит.

Константин Константинович озабоченно качнул головой.

— Иными словами, вы хотели бы получить аудиенцию... Скажу откровенно — таких прецедентов еще не бывало. Однако раз это ваше желание — попробуем. Может быть, и сочтут возможным сделать для вас исключение; ведь ваш дар — тоже исключение.

На этом свидание и кончилось, и дата официальной передачи музея была ориентировочно намечена на осень 1913 года.

Последующее время все протекало под знаком подготовки к этому событию. Отец раза три менял развеску и расположение экспонатов, желая, по его словам, «показать товар лицом». Что-то срочно доделывалось, переделывалось и докупалось. Словом, жизнь музея была ключом. Помимо этого, надо было объездить всех будущих членов совета, заручиться их согласием и предупредить о предполагаемой дате передачи.

В совет вошли следующие лица: от Малого театра — Г. Н. Федотова, М. Н. Ермолова, А. А. Яблочкина и А. И. Южин; от Художественного театра — К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко; от Большого

театра — Н. А. Салина; от театра Зимина — С. И. Зимин; от театра Незлобина — К. Н. Незлобин; от частных театров — Ф. А. Корш и А. И. Чарин; от Театрального общества — Н. А. Попов; от Исторического музея — кн. Н. С. Щербатов; от Оружейной палаты — В. К. Трутовский; от бывшей оперы Мамонтова — С. И. Мамонтов; от Московской городской думы — А. Д. Алферов; от московской театральной общности — М. А. Стахович и Н. М. Мионов; от Театрально-литературного комитета — Н. В. Давыдов и, наконец, от Академии наук — академики Ф. Е. Корш, А. Н. Веселовский и И. А. Бунин, а также В. А. Рышков. Все были своевременно извещены, и согласие всех было получено. В. А. Михайловский, как будущий хранитель музея, должен был присутствовать на торжественном заседании, но сидеть отдельно, не за общим столом, как не входящий в состав совета.

Наконец, наступило знаменательное в жизни музея 25 ноября 1913 года. В три часа должно было начаться заседание, но уже с раннего утра в доме стоял дым коромыслом. Что-то еще раз протирали, чистили, подправляли. Отец страшно нервничал и волновался. Ему все казалось, что что-то произойдет такое, что сорвет заседание.

Наша большая столовая с утра была подготовлена для заседания. Большой стол раздвинут, накрыт специально сшитой голубой суконной скатертью, стулья расставлены по количеству ожидаемых членов совета и перед каждым местом положена бумага и остро заточенные карандаши. В комнате рядом, в зимнем саду, были расставлены столики для корреспондентов и стенографисток московских и петербургских газет. Телефон звонил непрерывно — представители прессы просили разрешения приехать, узнавали новости, телефонировали и просто любопытные знакомые, и фоторепортеры.

В начале первого приехал В. А. Рышков. В своем вицмундире и в орденах он казался каким-то чужим. Сели обедать в моей комнате за маленьким столом. Ели как на станции, торопясь, хотя торопиться было некуда. Появление Рышкова несколько успокоило отца, но ненадолго. Он все время срывался с места и спешил то в столовую взглянуть, не очень ли испортили вид комнаты фотографы, которые готовили там свои юпитеры и аппараты, то в музей еще раз что-либо проверить. Вскоре после обеда приехал В. А. Михайловский, затем остальные «свои»: Н. А. Попов, А. И. Чарин — все они были чужие в своих фраках или вицмундирах, украшенные регалиями. Глаз отдохнул, лишь когда приехал Вл. К. Трутовский в своем обычном пиджаке, но с картонкой. Как всегда пошутив со всеми, он обратился ко мне:

— Ну, теперь веди меня в свою комнату, надо надеть маскарадный костюм и елочные украшения.

Спустя некоторое время он вошел в сверкающем камергерском мундире и «во всей славе» своих орденов.

Кстати, недавно мне пришлось побывать в Оружейной палате. В одной из зал я увидел на стойке блестящий придворный костюм. Этикетка на нем гласила: «Камергерский мундир хранителя Оружейной палаты Вл. К. Трутовского». Невольно мне вспомнился памятный день 25 ноября 1913 года...

Около двух было массовое нашествие корреспондентов. Устраивать и обслуживать их пришлось мне. К половине третьего стали съезжаться остальные члены совета. Вся в белом, величественная и вместе с тем застенчивая, приехала М. Н. Ермолова, с нею массивный А. И. Южин, во фраке и орденах, кн. Щербатов в нелепых ботфортах и придворном егермейстерском мундире, весь сморщенный и взъерошенный маленький старикашка академик Ф. Е. Корш, снобистый, скупаю-

щий и ко всему равнодушный И. А. Бунин. Последними в прихожую вошли В. И. Немирович-Данченко и К. С. Станиславский. Немирович-Данченко у нас бывал часто, но Станиславского вне сцены я увидел впервые. Помню, меня поразило чисто гротесковый контраст их фигур. Отсутствовали только двое — Федотова по болезни и Мамонтов, который, как бывший осужденный, постеснялся приехать.

Собравшиеся сидели в гостиной и вели случайные разговоры. Пробыло три часа. Вел. князя не было. Волнение отца достигло наивысшей точки — ему уже мерещился срыв заседания и неловкое положение, в которое он попал по отношению к собравшимся. Прошло десять минут. Вдруг раздался звонок в парадную и зычный и вместе испуганный голос полицейского пристава: «Едут!»

Через минуту в переднюю быстрыми шагами вошел мужчина лет пятидесяти, высокого роста, в генеральской шинели. В. А. Рышков, как служащий Академии, сошел вниз в переднюю и подал ему портфель с напечатанным текстом речи. Отец, как еще не служащий Академии, но хозяин дома, сошел вниз только до половины лестницы. Мать, сестра и я стояли наверху. Раздевшись, Константин Константинович стал быстро подниматься по лестнице и, поравнявшись с отцом, взял его под руку. Выходил он странно — ступал иной раз через ступеньку, но обязательно подтягивал отстающую ногу к ступившей вперед. Рана, полученная чуть ли не под Плевной, давала о себе знать всю жизнь.

Поздоровавшись с нами, он по предложению отца прошел в его кабинет. Отец стал докладывать ему порядок заседания. Вел. князь почти его не слушал и все время прерывал вопросами и замечаниями: «Чьей кисти картина? А что это такое? Откуда это у вас?» и после конца доклада отца он обратился ко мне с вопросами, где я учусь, интересуюсь ли музеем, кто мой

любимый русский писатель. В это время я внимательно рассматривал Константина Константиновича — у него было довольно сухое, властное лицо, очень асимметричное, с явными признаками вырождения. Но стоило ему заговорить, и вся внешняя официальная маска с него спадала, уступая место крайне простому, бесхитроственному человеку с очень добрыми и внимательными глазами. Он хорошо, искренно улыбался, но как-то немного печально. Говорил он в нос, несколько нараспев и заметно картавил, но голос был добрый и располагающий к себе. Увидав портрет матери работы К. Маковского, он обернулся к ней и, качнув головой, заметил:

— Нельзя сказать, чтобы художник вам польстил.

Остановившись перед какой-то картиной, изображавшей морской вид, он долго на нее смотрел и в задумчивости произнес:

— Море, море, как я люблю море, но, увы! оно меня не любит! — И потом, обернувшись к нам, с доверительной улыбкой, добавил: — Меня в свое время отец определил на флот — это было в традициях семьи — второй сын шел в моряки, но каждый раз, как я ступал на корабль, даже в безветрие, меня начинало так рвать, что родителям пришлось отказаться от семейных традиций и пустить меня в сухопутную службу.

Увидя закрытую дверь в библиотеку, он с наивным любопытством спросил:

— А что там? Библиотека? А туда можно?

Войдя в комнату, он сразу застыл перед первоклассным портретом Павла I.

— Какой прекрасный портрет прадеда! — с восхищением сказал он и прибавил: — Он, конечно, был сумасшедшим, но, вы знаете, я все-таки его люблю. Какая-то была в нем романтика, стремление не признавать и идти наперекор всем общепринятым придворным порядкам!

Потом, как бы спохватившись, он воскликнул:

— Слушайте, там ведь нас ждут, ведите меня скорее, а то ведь рассматривать интересные вещи и говорить с вами я могу часами!

В гостиной вел. князю были представлены все члены совета, причем с каждым он обменялся несколькими словами. Будучи убежденным поклонником искусства Художественного театра, он особенно тепло поздоровался с К. С. Станиславским.

— Давно я вас не видал,— сказал он,— как вы поседели, совсем белый... Впрочем, это неважно, было только сердце молодо!

Константин Сергеевич, как обычно, сконфузился, покраснел и пробормотал что-то, а Константин Константинович уже обратился к Немировичу-Данченко:

— Вас не узнаешь, у вас совсем другая борода. Раньше была такая,— и он сделал движение рукой, как бы расправляя свою бороду на две стороны,— а теперь такая,— за этим последовало движение снизу вверх от подбородка,— не знаю, что лучше? Пожалуй, так солиднее по вашему положению.

Немирович был озадачен, не зная, принимать ли это замечание в шутку или всерьез.

Во время представления Константин Константинович не упускал случая, время от времени, незаметно глянуть на стены, сплошь увешанные картинами.

По окончании этой церемонии все прошли в столовую, за исключением матери, сестры и меня. Перед началом заседания вел. князь обратил внимание на наше отсутствие и спросил отца, сидевшего рядом с ним, почему нас нет. Отец ответил, что, по правилам Академии, посторонние на ее заседания не допускаются.

— Какие же они посторонние? — удивился вел. князь.— Ваша жена и ваш сын — будущие попечители музея, что же касается вашей дочери, то, кто знает, может, и она когда-нибудь станет им тоже.

И, обратясь к В. А. Рышкову, просил немедленно пригласить нас. Матери был поставлен стул за общим столом, а мы с сестрой остались стоять в дверях, тем более что мне приходилось все время отлучаться к телефонным звонкам.

После произведенной фотосъемки вел. князь открыл заседание. Его речь носила официальный характер и выражала глубокую убежденность в будущем процветании музея. Затем А. А. Яблочкина зачитала письмо Федотовой, в котором престарелая артистка посылала свое приветствие новому государственному учреждению. После этого выступил Ф. Е. Корш. В своей речи он говорил о том, что он такой же коренной москвич, как Иван Великий, царь-колокол и царь-пушка, почти столь же древний и что он, как патриот своего города и преданный член Академии, с особой радостью присутствует на зарождении в Москве академического учреждения, которое отныне будет объединять две столицы. Выступивший вслед за ним Южин выразил глубокое удовлетворение тем, что наконец государство признало труд русского актера столь же полезным, как и труды ученого, писателя, художника, и приняло Театральный музей под свое покровительство. От имени города Москвы А. Д. Алферов принес благодарность отцу за то, что по его желанию музей навсегда останется в Москве. Из остальных выступлений запомнилась речь В. И. Немировича-Данченко, указавшего, что русский народ издавна извлекает из недр души таланты, оживляя духовную жизнь родины. В этом велика была роль русского театра, который делал историю, но не думал об истории. Переход музея в собственность государства знаменует собой признание роли театра в создании русской национальной культуры. В заключение говорил М. А. Стахович, и, ссылаясь на право и обязанности членов попечительного совета пополнять музей, просил принять от него

в дар неопубликованное письмо Мочалова к С. Т. Аксакову. Он тут же зачитал письмо и передал его отцу.

После окончания всех выступлений наступила очередь отца отвечать на речи присутствовавших. Он необычайно волновался. Лист с написанной речью дрожал в его руке. Он побледнел и говорил не своим голосом. Когда он дошел до слов «когда во мне утвердилось убеждение, что собрание мое достигло тех пределов, при которых располагать его материалами единолично я уже не считал себя вправе, я задумался над вопросом — не обязан ли я, сын великого русского народа, предоставить это собрание на пользу этого народа», — он вдруг потерял самообладание и голос его задрожал. В эту минуту он почувствовал, как кто-то схватил и крепко сжал его руку под столом. Он не сразу сообразил, что это был вел. князь, но это рукопожатие помогло ему овладеть собой и дочитать свою речь.

После окончания заседания все прошли вниз и начался осмотр музея. А я быстренько собрал бумажки, лежавшие перед каждым, с их заметками и храню их до сих пор.

Объяснения давали мой отец, В. К. Трутовский, Н. А. Попов, а потом и я. Вначале я стал показывать музей небольшой группе, в которую входил К. С. Станиславский. Он рассеянно слушал объяснения, поверхностно скользил взглядом по экспонатам и незаметно, но упорно отставал от остальных. Продолжая давать объяснения, я не терял из виду Станиславского. Как только ему удавалось остаться одному, он с величайшим вниманием начинал рассматривать содержимое витрин и выставленные рисунки и портреты. Тут я понял, что он принадлежит к числу тех посетителей музеев, которые изучают их материалы под своим углом зрения и что ему объяснения только мешают.

Вскоре к моей группе подошел кто-то другой из показывавших, а я перешел дальше. В одну из таких

смен объясняющих, которые были заранее предусмотрены, я заметил вел. князя с отцом, дававшим ему объяснения. Вел. князь поманил меня рукой и, обратясь к отцу, сказал:

— Алексей Александрович, будет вам за мной ухаживать! Пойдите, займитесь с другими гостями, а мне будет показывать музей ваш сын, благо вы мне говорили, что он это часто делает.

Пришлось мне вести дальше Константина Константиновича. Он все время перебивал меня вопросами, иногда отклоняясь в сторону и спрашивая о самых общеизвестных, с моей точки зрения, вещах, например, кто был Щепкин или какие оперы написал Чайковский. Лишь впоследствии я сообразил, что это был своеобразный и тонко проведенный экзамен будущему почетному попечителю музея.

Вот мы остановились перед витриной А. П. Ленского. Я показал рисунки, гримировальные принадлежности, роли, портреты. Вел. князь обратил внимание на зарисовку артиста в роли Прокофьева в «Цепях» Немировича-Данченко. Монокль, шикарно сидящий фрак, тщательно расчесанные усы и холеная бородка.

— У тебя есть фрак? — неожиданно спросил меня Константин Константинович.

Я ответил, что нет.

— А хотелось бы тебе надеть фрак? — задал он новый вопрос.

Я несколько оторопел, но откровенно признался, что никогда об этом не думал и не представляю себя во фраке.

— И правильно делаешь, — заметил вел. князь, — все в свое время, когда-нибудь наденешь. А интересно бы взглянуть на тебя во фраке!

Я тогда не придавал значения этому разговору и вспомнил о нем позднее в совершенно неожиданных обстоятельствах.

После осмотра музея все собрались у отца в нижнем кабинете, пить чай. Заблаговременно разведав, что вел. князь любит пить чай с ромом, отец раздобыл где-то очень старого рома в какой-то необыкновенной бутылке. Перед чаем всех попросили расписаться в альбомах — в официальном Литературно-театрального музея и в нашем, домашнем. Вел. князь начал первым и своим размашистым почерком написал «Константин», затем взял наш альбом, немного подумал и расписался «К. Р.», сказав:

— В этом альбоме другая подпись неуместна!

После этого стали писать другие и приступили к чаепитию. Разговоры вращались вокруг музея и новых театральных постановок. Вел. князь не спешил и держался так просто, что вскоре всякий этикет был забыт. Беседа оживилась, приняв непринужденный, свободный характер. Люди спорили, перебивали друг друга, шутили. В одну из случайных пауз вел. князь взглянул на меня и сказал:

— Ну что ж, скоро тебе служить, — ведь теперь единственным сыновьям льгот не полагается. Тогда уж прямо в наш полк, в Измайловский. Я хотя официально в нем не числюсь, но до сих пор считаю его своим.

Затем, обратясь к отцу с матерью, добавил:

— В Измайловском полку, пожалуй, в единственном, офицеры имеют какие-то духовные потребности — интересуются искусством, театром, сами пишут, рисуют, лепят, и нет этих безобразных кутежей, карт и пустого чванства, которое, к сожалению, наблюдается в других полках. Когда придет время, вспомните обо мне.

Эти слова вел. князя врезались мне в память, и впоследствии я воспользовался его рекомендацией, хотя он уже лежал тогда в могиле.

Посидев у нас часа полтора, вел. князь уехал, и за ним последовала часть наших гостей. Остались свои да

еще, кажется, Ф. А. Корш и Н. В. Давыдов. К праздничному ужину приехали еще несколько человек из близких к музею — В. В. Постников, И. Е. Бондаренко, моя тетка (младшая сестра матери) и еще кто-то.

Во время ужина произносились тосты, высказывались пожелания, строились планы. Отец не забывал время от времени посматривать на часы, так как ему надо было поехать на вокзал проводить вел. князя. Ему очень не хотелось покидать нас, и он это не скрывал. Вл. К. Трутовский предложил ему взять с собой и меня.

— Вдвоем вам веселее будет, да и вообще такой знак внимания будет нелишне оказать, — мотивировал он свое предложение. Вл. А. Рышков горячо поддержал эту мысль.

И вот мы уже на вокзале в царских комнатах. Здесь собрался кое-кто. Есть и знакомые — московский губернатор, градоначальник и другие. Отец стоит и беседует с ними до того, как дежурный сообщает, что вел. князь подъехал.

Должностные военные лица выстраиваются в шеренгу, мы, как неофициальные штатские, отходим в глубь комнаты. Вел. князь входит своей порывистой походкой, отдает общий поклон собравшимся представителям властей и, завидя нас, подходит прямо к нам.

— Ну зачем вы приехали, вы же устали, у вас гости, да еще его притащили, — говорит он и сразу начинает расспрашивать, что произошло после его отъезда, что говорят о заседании и так далее.

В это время в комнату с грохотом вваливается адъютант вел. князя с его портфелем и небольшим чемоданом. Он быстрой, но неуверенной походкой идет к дверям на перрон, но в это время палаш попадает ему между ног, и он с грохотом растягивается на полу. Адъютант вдрызг пьян. Вел. князь настораживается, но не оборачивается. На одну секунду губы его кривятся саркастической улыбкой, но он продолжает свой разго-

вор с отцом, делая вид, что ничего не слышал и не заметил. Кто-то помогает адъютанту встать с пола, подбирает его вещи и под руку выводит на перрон.

Когда поезд отходит, вел. князь стоит у окна и дружески машет нам рукой...

На другое утро после этого исторического дня жизнь музея потекла своей обычной чередой. Так же собирались по субботам, так же поступали в музей все новые и новые материалы, отец так же разрывался между служебными, общественными и музейными делами, и только ежедневно сидящий в библиотеке, что-то разбиравший В. А. Михайловский знаменовал новый этап музейного бытия.

Приблизительно через месяц после передачи музея на имя моего отца, матери и меня из Петербурга пришло три конверта, скрепленных большой сургучной великокняжеской печатью. По вскрытии в них оказались приглашения посетить генеральную репетицию пьесы вел. князя «Царь Иудейский» в Эрмитажном театре. Для отца это не было неожиданностью, так как вел. князь не раз говорил ему, что просит его обязательно посмотреть спектакль, но никто из нас не ожидал, что приглашение получит моя мать, а тем более я. Пришлось собираться в дорогу и ехать в Петербург.

В столицу мы приехали дня за два до репетиции, так как у отца помимо этого были там дела. Встречал нас Вл. А. Рышков, и сейчас же по прибытии в гостиницу с ним была проведена консультация, в чем мне быть на репетиции, неужели во фраке? После всестороннего обсуждения этого вопроса было решено, что я, по молодости лет, могу быть и в смокинге, постольку поскольку парадного мундира реального училища у меня нет, а заказывать таковой не стоит, так как мне осталось учиться только несколько месяцев.

Смокинг, крахмальная рубашка и прочее было закуплено и пригнано мне по росту.

В назначенный день и час мы были в театре. Меня сразу ошеломили и показная нарядность парадной придворной толпы, и тонкое изящество восхитительного маленького зрительного зала, и крутой, как в цирке, амфитеатр, и партер, с единственными тремя креслами для царя, царицы и вдовствующей Государыни, все это было необычайно, не такое, как везде. Сидели мы в ряду десятом, все вместе, но этот ряд помещался на уровне лож бельэтажа Большого театра.

Наконец начался спектакль. Состав исполнителей был, что теперь называется, самодеятельный, любительский, лишь несколько артистов были профессионалы — М. А. Ведринская, Е. И. Тиме, В. Фокина, П. Владимиров и другие. Ставил спектакль Н. Н. Арбатов, которого я хорошо знал по нашим субботам. В одном из антрактов он пришел поздороваться с матерью, блистая пенсне и ослепительной фракной манишкой, с как всегда тщательно расчесанными холеными блондинистыми усами и бородкой клинышком.

Постановка была хорошая, не уступавшая в тщательности и продуманности Московскому Художественному театру. Декорации, костюмы, бутафория не оставляли желать лучшего. Хорошо звучала прекрасная музыка Глазунова. Что же касается до актерской игры, — я тогда уже в этом деле разбирался, — то она была какая-то разношерстная — ансамбля не было.

Вел. князь, игравший Иосифа Аримафейского, не столько играл, сколько декламировал своим своеобразным, но красивым и певучим голосом. В его игре все было очень грамотно, но не было главного — актерского дарования. В этом отношении генерал Теплов, воплощавший образ Симона Кириянина, непосредственностью и яркой реалистичностью своей игры отодвигал Иосифа на второй план. Ярко и смело рисовал Понтия Пилата капитан Герхен. Созданный им образ доминировал надо всеми остальными. Рядом

с ним даже профессиональные артисты казались лишь любителями. Кстати, большой успех, выпавший на его долю в «Царе Иудейском», заставил Герхена впоследствии попытать свои силы в настоящем театре, однако из этого ничего не получилось.

В одном из антрактов, когда отец ушел повидаться и поговорить с кем-то, а к нам подсел Вл. Ал. Рышков, я заметил, как какая-то актерская голова выглядывает слева от сцены в щелку между занавесом и порталом. Я обратил на это внимание матери и Рышкова, а голова все больше высывалась в щель и явно кого-то искала в нашем районе зрительного зала.

— Вы знаете — это вел. князь, — неуверенно заметил Рышков, а голова вдруг начала кому-то кивать.

— Мне кажется, что он ищет вас, — добавил Вл. Ал., — попробуйте слегка ему поклониться.

Мы с матерью, полупривстав с места, кивнули головами. Вел. князь оживился, быстро закивал в ответ и, отбросив всякое стеснение, совсем высунулся в щель и стал показывать рукой то на меня, то на свою грудь. Я понял сразу, что он хотел сказать, что случай надеть фрак для меня представился. Кивнув еще раз на прощанье, он быстро скрылся за занавесью. В этой мальчишеской и вместе с тем глубоко человеческой выходке был весь Константин Константинович.

На всю жизнь запомнился и комический случай, происшедший со мной во время этой репетиции. Антракты были длинные, и во время одного из них я вышел в фойе, где придворные лакеи разносили присутствующим чай, пирожные, бутерброды и прохладительные напитки. Здесь я воочию убедился в том, насколько русская придворная знать была падка до дарового угощения. Подносы разбирались приглашенными молниеносно, причем форменным образом тарелки вырывались друг у друга из рук, а фрукты и конфеты запихивались в сумочки и карманы. Я до

сего времени терпеть не могу «а ля фуршетов», для одновременного манипулирования чашкой и тарелкой необходима природная ловкость, которой я никогда не отличался. Однако хотелось пить, и я взял чашку чая со сливками и тарелочку с пирожными и бутербродами. Ставши в сторонку, я с интересом разглядывал своеобразную по форме чашку двора Константиновичей. В это время неподалеку от меня появился лакей с очередной порцией угощения. К нему сразу бросилось несколько лиц, и кто-то в азарте поддал локтем мою руку, державшую блюдце. Чашка подпрыгнула вверх и, расплескивая кругом чай со сливками, закрутилась в воздухе, как мельница. Совершенно непонятным для меня образом я успел ее поймать, когда она уже была на аршин от пола. Само собой разумеется, что после этого я послал к черту все великокняжеские угощения и пошел на свое место в зрительный зал, на ходу вытирая платком новый, испорченный сливками смокинг.

На другой день мы обедали вместе с Н. Н. Арбатовым, который много рассказывал о постановке «Царя Иудейского». Константин Константинович чрезвычайно серьезно работал над ролью, как дай Бог работать любому профессиональному актеру. Только благодаря этому ему удалось грамотно провести ее, так как актер он был безусловно слабый. Очень много помогал великий князь Арбатову в самой постановке, обращая внимание на каждую мелочь, настойчиво требуя полной логики действия. На этой почве происходили постоянные анекдоты. Так, например, в последнем действии Иоанна вместе с другими женщинами идет ко гробу Христа. Раннее утро, туман. Вся природа одета в печальный пепельный цвет. Медленно поднимаются женщины вверх по тропинке. Впереди Иоанна в сером костюме и темном головном покрывале. Шествие скрывается за кулисами. Проходит некоторое время. Встает солнце, туман исчезает, природа оживает в преддверии ясного

радостного дня. Из-за кулисы выбегает возбужденная Иоанна и на фоне восхода ликующе восклицает: «Христос воскрес!» Она в серебристом белом одеянии и как бы сама светится. Вел. князь прерывает репетицию:

— Где вы переоделись? — спрашивает Константин Константинович.

— Там, — растерянно отвечает Ведринская и машет вправо, — за кулисами.

— Понимаю, — отвечает вел. князь, — но где вы оставили ваш костюм?

— В уборной, — следует ответ окончательно сбитой с толку актрисы.

— Да не об этом я вас спрашиваю! Что ж вы, у гроба Господня переодевались, что ли?

Подобных случаев было множество. Чрезвычайно мешали работе наблюдатели, которые все время засылались на черновые репетиции. Под видом завязтых театралов они какими-то неведомыми путями появлялись в зрительном зале, рассыпались в комплиментах, благодарили, но все прекрасно знали, что из театра эти люди немедленно побегут в Синод и полицию для подробного доклада. Церковные верхи при благосклонном покровительстве самого царя делали все возможное, чтобы не допустить пьесу к показу, видя в ней поругание религии и оскорбление веры. На неоднократные протесты и просьбы вел. князя не допускать посторонних на репетиции следовали постоянные извинения и обещания исполнить его желание, но через некоторое время эти неизвестные снова появлялись в театре. Все это, по словам Арбатова, чрезвычайно нервировало и постановщиков и исполнителей.

Заключительный аккорд перехода музея в казну прозвучал лишь в начале января 1914 года. В конце декабря отец получил извещение церемониальной части двора, что 10 января ему будет дана аудиенция

в Царском Селе. Пришлось срочно заказывать академический мундир и ехать в Петербург.

Аудиенция отцу была назначена на другой день после премьеры «Царя Иудейского» в Эрмитажном театре, на которую он также получил приглашение. На этот раз в театре присутствовала вся царская фамилия. В одном из антрактов отец пришел на сцену в уборную вел. князя, который чрезвычайно волновался, так как решалась судьба его пьесы. Он просил отца приехать к нему в Мраморный дворец на другой день вечером, часов в десять. На прощанье он сказал:

— Как видите — я исполнил ваше желание. Завтра Государь лично выскажет вам свою признательность. Не забудьте завтра ко мне. — И добавил, смеясь: — Форма одежды — пиджак.

На другой день в десять часов утра отец был уже на императорской станции Царскосельского вокзала, где его ждал царский поезд — паровоз и вагон-салон. Вместе с ним ехало еще несколько неизвестных ему лиц. Как только поезд отошел от перрона, появился лакей с чаем, кофеем и утренним завтраком. Отец уже закусил в гостинице и от угощения отказался.

На вокзале в Царском Селе поезд ожидали придворные экипажи, и один из них доставил отца во дворец. Здесь его встретил дежурный гофмаршал, который проводил его в приемную и соответствующе инструктировал: «В 11 часов начнется прием, будут вызывать по имени, отчеству и фамилии, отвечать только на вопросы императора, самому вопросов не задавать, аудиенция продлится минут пять, выходя, не поворачиваться спиной к Государю».

Помимо отца в приемной еще было человека дватри. Присутствовавшие с любопытством рассматривали скромный мундир отца, украшенный жалким орденом Анны III степени и двумя юбилейными медалями (больших золотых медалей отец, как и дед, никогда не

надевал, считая их наградой для дворцовых швейцаров). Не желая быть объектом внимания, он подошел к окну и стал с любопытством рассматривать устройство отопления — окна не были замазаны на зиму, но от них веяло теплым свежим воздухом, так как калориферы были помещены между двойными рамами. Из задумчивости его вывел неожиданно заданный вопрос:

— Что это вы с таким интересом рассматриваете? — Сзади отца стоял пожилой сановник в орденах и лентах, в густо зашитом золотом мундире.

— Да вот смотрю на отопление и думаю — хорошо бы так же у себя в имении устроить.

— А-а! Вы, значит, помещик. А смею спросить, где ваше имение?

— Под Москвой, станция Апрелевка по Брянской дороге.

— Брянскую дорогу я знаю. Кстати, как там сейчас пригородные поезда ходят?

— Надо бы хуже, да некуда, — ответил отец, — пять поездов в день, одноколька, на разъездах стоишь до бесконечности, сорок верст до Москвы тащимся часа три, да еще поезда опаздывают на два-три часа. Черт знает что, а не дорога. И казна никак ее выкупить не может.

— Выкуп — дело сложное, его сразу не разрешишь!

— Ну, хоть бы второй путь построили до Малоярославца.

— Насколько мне известно, это имеется в виду.

— Это долгая история, а мне кажется, что все упирается в пайщиков: зачем им беспокоиться о том, что пассажирское движение ни на что не похоже и что дорога в военном отношении важная, — им бы только дивиденды шли... В конце концов все они жулики!..

На это сановник ничего не ответил и, видимо, желая переменить разговор, спросил:

— Вы каким идете?
— Право, не знаю, как вызовут!
— Наверное, я пойду первым, — сказал собеседник отца и успокоительно добавил: — Я не надолго, минут десять, не больше!

В этот момент пробило одиннадцать часов и открылась дверь царского кабинета. Камер-лакей провозгласил:

— Бахрушин, Алексей Александрович!

Отец вошел в кабинет царя. Николай II сидел за письменным столом, но при входе отца встал, вышел из-за стола и пошел к нему, протягивая руку.

— Мы ведь с вами давно знакомы, — сказал он, — рад вас видеть у себя и поблагодарить вас за ваш щедрый дар. Великий князь мне рассказывал чудеса. Скажите, вы давно собираете?

Отец ответил. За этим последовал еще ряд вопросов, столь же незначительных и формальных. После каждого ответа отца следовала пауза, во время которой царь обратной стороной согнутой левой кисти руки расправлял свои усы, затем новый вопрос, начинавшийся обычно словом «Скажите».

К концу аудиенции царь спросил:

— Скажите, а вы видели вчера «Царя Иудейского»?

Получив утвердительный ответ, он спросил:

— Какое у вас впечатление?

Отец воодушевился — он еще ни с кем не делился впечатлениями о вчерашнем спектакле и с увлечением начал высказывать свои мысли. Николай II неожиданно перебил его:

— А чего, собственно говоря, мы стоим? Садитесь, пожалуйста!

Они сели в мягкие кресла, царь достал свой портсигар и, протягивая отцу, предложил закурить. Отец

продолжал излагать свои впечатления. Николай II, видимо, с интересом его слушал.

— А в общем, — заключил отец, — я считаю этот спектакль безусловно интересным и думаю, что он будет иметь успех у публики.

Наступила пауза. Наконец царь, рассматривая кончик своей горящей папиросы и не глядя на отца, проговорил:

— Да, конечно, но, к сожалению, разрешить его к представлению нельзя!

Услышав этот приговор над пьесой дружественно к нему настроенного вел. князя, отец немедленно забыл все наставления гофмаршала, а также и то, с кем он разговаривает.

— Почему вы так думаете? — несколько запальчиво спросил он.

Царь недоуменно улыбнулся, но ответил:

— Да, видите ли, появление такой пьесы на сцене оскорбит религиозные чувства многих. Актеры будут исполнять роли святых — это недопустимо! А потом не забудьте, что если разрешить эту пьесу, то ее будут ставить всюду, даже в провинции. Мы не гарантированы, что там ее не будут ставить кое-как и что это не превратится в глумление над Евангелием.

— Это, конечно, верно, но можно было бы разрешить ее постановку только некоторым театрам, скажем, императорским, Художественному и наиболее солидным из частных.

— Да... но это вызовет споры, нарекания. Потом мы не должны забывать, что русский простой народ очень религиозен и мы не имеем права смущать его такими пьесами.

— История знает, что в свое время были такие зрелища, как шествие на осляти, Пещное действие, где изображались святые, да еще в церкви, и это не смущало народ.



Алексей Александрович Бахрушин. 1910 г.



Алексей Федорович Бахрушин, прадед Ю. А. Бахрушина.

Наталья Ивановна Бахрушина, прабабка Ю. А. Бахрушина.



Театральный музей им. А. А. Бахрушина. *Фотография 1913 г.*



Александр Алексеевич Бахрушин, дед Ю. А. Бахрушина.
1904 г.



Е. М. и А. А. Бахрушины, бабушка и дед Ю. А. Бахрушина.
1850-е гг.



Сад перед домом Бахрушиных. *1900-е гг.*



**Василий Александрович Бахрушин, двоюродный дед
Ю. А. Бахрушина. 1888 г.**

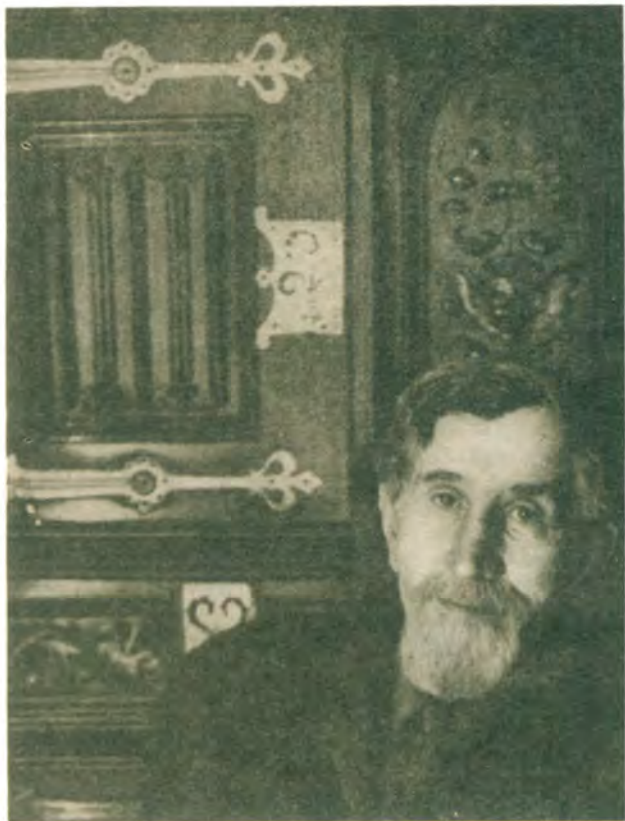
Василий Дмитриевич Посов с дочерью Верой. 1874 г.



Интерьер дома Бахрушиных. Спальня. 1900-е гг.



**Семья Бахрушиных. Слева направо: Кира, Вера Васильевна,
Юрий, Алексей Александрович.**



Юрий Алексеевич Бахрушин перед входом в музей.



Интерьер дома Бахрушиных. Гостиная. 1900-е гг.



В. В. и А. А. Бахрушины. 1895 г.



Ю. А. Бахрушин. 1910 г.



Сергей Александрович Бахрушин.



Алексей Петрович Бахрушин. Карикатура. 1900 г.



Интерьер дома Бахрушиных. Столовая. 1900-е гг.



В. В. Бахрушина с сыном Юрием. 1901 г.



В. В. Постников.



К. Варламов. Карикатура бр. Н. и С. Легатов.



Закладка здания больницы в г. Зарайске. 1914 г.



Н. И. Музиль и А. М. Кондратьев.



Л. Собинов. Дарственная надпись А. А. Бахрушину. 1898 г.

Т. Сальвини. 1900 г.



В. И. Немирович-Данченко. Дарственная надпись А. А. Бахрушину. 1899 г.

Э. К. Павловская.



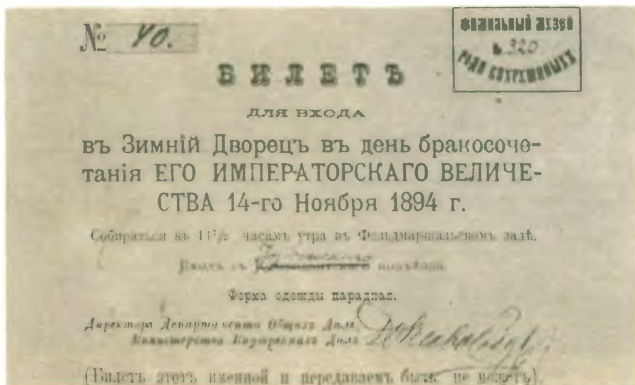
Л. Рославлева. Дарственная надпись А. А. Бахрушину.



Вл. А. Рышков. 1913 г.



М. Н. Ермолова. 1919 г.



Билет выдан гласному Московской городской думы Александру Алексеевичу Бахвущину.



Марианна Кирцингер. Эскизы костюмов для артистов Шереметевского театра. Конец XVIII в. Париж.



Проект вывески фабрики Бахрушиныхъ.



Торжественный акт передачи музея Российской имп. Академии наук. 1913 г.

— Это, конечно, было, но очень давно, при этом, как вам известно, церковь запретила подобные зрелища, и кому, как не руководителям церкви, знать, что допустимо и что недопустимо с точки зрения религии для простого народа.

— Видите ли, но не надо забывать что простой народ в театры почти не ходит, большинство публики — интеллигенция.

— Да! Но интеллигенцию мы также не вправе развращать подобными пьесами.

Здесь, как и признался отец, он окончательно забыл, с кем он говорит, и вспыхнул:

— Простите, но, видимо, вы не сознаете, что говорите. Скажу о себе — я человек религиозный, но всегда занят и в церковь хожу редко. Для меня лично и для таких, как я, было бы только полезно, скажем, Великим постом посмотреть такую пьесу. Она бы укрепила веру, а не расшатала бы ее.

Царь несколько удивленно вскинул брови.

— Не судите по себе — вы исключение! — После этого он встал. Протягивая руку отцу, он добавил:

— Еще раз выражаю вам благодарность за ваш дар, а также за интересную беседу!

Отец, пятясь, вышел из кабинета. На часах было без четверти двенадцать. Сановник, беседовавший с отцом и рассчитывавший попасть первым, встретил его укоризненным качанием головы.

— Ну, вы знаете, это уже безбожно! Я думал вас задержать не более как на пять — десять минут, а вы меня задержали на целых сорок пять. За всю свою службу я не видел столь длительной аудиенции!

Отец хотел что-то ответить, но в это время камерлакей возгласил:

— Коковцев, Владимир Николаевич!

Сановник, поклонившись отцу, прошел в кабинет царя.

Вконец обескураженный отец, отказавшись от дворцового завтрака, поспешил обратно в Петербург.

Впоследствии, рассказывая нам во всех подробностях об аудиенции, он добавлял:

— Совсем опростоволосился, — царя чуть ли не дураком обозвал, а премьер-министра прямо назвал жуликом — ведь он главный акционер Брянской дороги. Нет, видимо, придворная служба не для меня!

В тот же вечер отец звонил у скромненького полуподвального подъезда Мраморного дворца. Ему открыл бравый денщик и вместо приветствия сообщил: «Пожалуйста-с! Ждут-с!»

Пока он раздевался, вел. князь вышел в прихожую. Он был в домашней, военной тужурке без погон и орден. Они прошли вместе в кабинет, небольшую полуподвальную комнату, скромно, но уютно обставленную. Большой письменный стол с многочисленными фотографиями детей. Удобная тахта с подушками. Сзади виднелась дверь в следующую, совсем маленькую комнату — спальню вел. князя.

Константин Константинович обратился к денщику:

— Подай-ка нам чайку да винца, — вы, кажется, красное пьете, сухое?

Затем он предложил отцу сесть на тахту и расположился с ним рядом.

Когда денщик принес заказанное, вел. князь посмотрел на поданное и добавил:

— Нет, голубчик, ты дай нам все хозяйство — спиртовочку, запасный чайник, а после этого ложись спать. Алексея Александровича я сам провожу.

После этого, обратясь к отцу, сказал:

— Ну, рассказывайте!

Отец во всех подробностях передал свой разговор с царем.

Константин Константинович задумался и наконец проговорил:

— Напрасно вы так за меня вступились. С моей пьесой все было заранее предрешиено. Я это ожидал. А вот вы свои отношения с Государем испортили. Я его знаю. Он, конечно, и виду не подал, что придал какое-либо значение вашим словам, но он их не забудет. К сожалению, мой племянник злопамятен и мелочен. Это его и наше несчастье... Расскажите-ка мне лучше ваши впечатления от спектакля!

Помня свои оплошности, отец стал излагать свои мысли на этот раз чрезвычайно осторожно, в такой форме, чтобы, сказав правду, никого не задеть. Константин Константинович начал его слушать, но вдруг положил свою руку на его и прервал словами:

— Знаете, хвалить меня в глаза всегда найдется достаточно охотников. От вас я жду другого — откровенности. Я ведь тоже кое-что понимаю. Мне важно проверить себя, увидеть то, что я не заметил. Говорите прямо — наши отношения это не испортит.

После этого разговор принял другую форму. Великий князь слушал очень внимательно, потянулся к столу за блокнотом и стал что-то записывать, кивал одобрительно головой. Дав отцу высказаться, он стал задавать ему вопросы. Потом разговор коснулся театра и театральных новинок, игры отдельных актеров. Затем говорили о музее, о матери, обо мне. Константин Константинович коснулся своей семьи.

— По всему было видно, — рассказывал потом отец, — что его любимцами были сын Олег и дочь Татьяна. Хорошо говорил об Игоре, назвал его сорванцом, добавив, что он немного старше Юры и что судить о нем окончательно еще трудно. Очень меня поразило, — говорил отец, — что он ни слова не сказал о великой княгине. Мало того, когда мы говорили обо мне, он сказал: «Вы счастливее, что ваша жена так вас понимает, поддерживает и помогает вам». Видно, у него не все в этом отношении благополучно.

Во время разговора вел. князь встал с тахты, отец последовал его примеру.

— Чего вы вскочили? Сидите, пожалуйста, — сказал Константин Константинович и, подойдя к спиртовке, зажег ее и поставил подогреть чайник. Затем налил отцу и себе. После этого стал в раздумье ходить по комнате.

— Да-а!.. — наконец с сердцем проговорил он. — Что они от меня хотят? Что им нужно? Они лезут буквально во все мои дела — в Академию, в мою семью, в мою личную жизнь! И все это под видом добрых советов, наставлений... Видите ли, я мало обращаю внимания на политические взгляды моих академиков, зачем я отдал своего сына Олега в Царскосельский лицей, а не в Кадетский корпус, — это нарушение всех традиций царской фамилии, дурной пример! Теперь о моей пьесе: они говорят, что она повод к опасной ереси, призыв к толстовству! Где там толстовство, при всем желании не могу понять!.. Иной раз начинаешь завидовать брату Николаю, который сидит себе в ссылке в Ташкенте, никто его не трогает, делает что хочет. Сколько приходится терпеть — представить трудно! Вы помните всю эту историю с Горьким, когда государь заставил отменить решение Академии об его избрании? Что мне надо было делать? Уходить в отставку! Я так и решил, а потом подумал и изменил свое намеченное решение. Ведь это было бы только на руку им. Назначили бы вместо меня какую-нибудь другую «высочайшую особу», которой бы вопросы русского искусства, науки были бы абсолютно безразличны, а многим достойным людям стало бы очень трудно работать. Я обманул их надежды и остался, но за это меня осудил противоположный лагерь. Но я по совести считаю, что поступил правильно. Ведь как-никак, а наша русская Академия сейчас располагает такими силами, которым может позавидовать любая Академия Европы. Вот только в Академии

и в кругу своей семьи — я человек, я живу. А об остальном лучше не вспоминать!..

Он тяжело сел на тахту, печально улыбнулся и добавил:

— А потому давайте говорить о более интересных вещах.

В дальнейшем разговор коснулся современной поэзии. Вел. князь откровенно признался, что он не понимает теперешних символистов, хотя среди них безусловно имеются талантливые люди. Он лично считает, что задача поэзии будить добрые чувства людей, и он, по мере своих сил и возможностей, стремится идти по пути наших поэтов-классиков, у которых все просто и искренно. В его стихах на религиозные темы, так же как и в «Царе Иудейском», многие склонны видеть мистицизм. Это неверно, его к этим темам влекли поэтичность образов и высокие чувства.

Отец нам признавался:

— Здесь я уже молчал и только поддакивал. Ведь мое поэтическое образование кончалось на Майкове и Полонском. Я и вел. князя почти не знаю, кроме романсов. А о символистах почти понятия не имею, хотя со многими из них знаком.

Разговор переходил с темы на тему, совершенно не обременяя собеседников. Отец уже несколько раз пытался встать и откланяться, но вел. князь каждый раз сажал его обратно и говорил, что еще рано. Наконец, когда часы пробили три часа ночи, отец решительно встал и начал прощаться. Вел. князь подал ему пальто, стараясь не шуметь в прихожей, так как где-то поблизости спал денщик, и отпер выходную дверь. Выглянув наружу, он сказал:

— Эх, с удовольствием бы вас проводил. Очень люблю зимой ночью бродить по Петербургу, но у меня ведь еще один спектакль и боюсь простудиться.

Приехав в Москву, отец, как всегда, во всех мель-

чайших подробностях описал нам свои приключения. Я тогда, правда нерегулярно, вел уже дневник. В него я записал все основное из рассказа отца.

Финальный аккорд передачи музея отзвучал, но окончательная точка была поставлена несколько позже, а тем временем течение музейной жизни стало постепенно вступать в новое русло. Все чаще появлялись у нас никому не известные посетители, провинциалы, иностранцы. Газетная шумиха, поднятая вокруг передачи музея, сильно его рекламировала. Официально он еще не был открыт для широкого обозрения, посетители допускались лишь с личного каждый раз разрешения отца, но если он бывал дома, то редко кому отказывал и водил по музею сам или поручал это мне.

Наши субботние и воскресные приемы продолжались и также оживились.

В одну из суббот к нам приехал гостивший в Москве Ю. М. Юрьев. Он впервые смотрел музей. Особое внимание он уделил витрине А. П. Ленского, несколько раз к ней возвращался, подробно рассматривал экспонаты. Уже ночью, сидя за чаем, он рассказывал:

— Ведь я, собственно говоря, коренной москвич, а петербуржец по недоразумению или, скорей, силой необходимости. Случилось это так. Я был учеником Ленского, Александра Павловича. В его юбилей мы, его ученики, решили его чествовать. Накупили цветов, венков, бутоньерок и взяли литерную ложу. Отправились в театр. Вдруг какой-то театральный чиновник увидел все эти атрибуты чествования, донес начальству и получил приказ все наши подношения арестовать. Началась, естественно, словесная перепалка, в пылу которой я обругал чиновника «чиновником». После этого управляющий конторой Пчельников видеть меня не мог и, когда я кончил театральное училище, попросил убрать меня из Москвы в Петербург. Делать нечего! Вот я и служу в Питере уже более двадцати лет!

Вскоре после своего юбилея нас посетила А. А. Яблочкина, поблагодарить за поздравление и вручить отцу с матерью свою фотографию. Александра Александровна бывала у нас не раз, всегда с интересом осматривала музей и не спешила уезжать, что всегда ценили в ней мои родители. И на этот раз она обстоятельно рассказывала о Малом театре, о своих делах. Разговор коснулся М. Г. Савиной. Отец сказал, что это единственная женщина, которую он ненавидит, но всегда признавал и будет признавать ее замечательный ум.

— Да! — согласилась А. А. Яблочкина. — Она удивительно умная женщина! Помню, в начале своей артистической деятельности захотелось мне ехать служить в Петербург. Об этом узнала Савина. Вот она встретила меня и говорит: «Эх, матушка, куда вам в Петербург. Вас там съедят. Ведь у нас каждая актриса покровителя имеет». А я-то, — добавила Яблочкина, — в это время еще не понимала, что значит иметь покровителя.

Ругали методы управления Теляковского. Яблочкина вспоминала такой случай. Она была ученицей А. П. Ленского, а последнего очень не любил чиновник особых поручений при директоре В. А. Нелидов. Вот раз Ленский поручил Яблочкиной в какой-то пьесе роль старухи. Ей это не очень понравилось, но она так любила и уважала Ленского, что возражать и разговаривать с ним не стала. Во время репетиций Нелидов все время юлил около нее, возмущаясь, что дают играть старух молоденьким, хорошеньким актрисам. На спектакль приехал Теляковский. В последнем антракте к Яблочкиной подходит какой-то чиновник и говорит, что директор просит ее зайти к нему в ложу после спектакля. Яблочкина кое-как доигрывает последний акт, все время волнуясь мыслью, зачем она понадобилась Теляковскому. После конца она форменным обра-

зом бежит в ложу, где директор восседает в окружении театральных чиновников. Поздоровавшись с Яблочкиной и усадив ее в кресло, Теляковский попросил чиновников выйти, после чего обратился к ней с вопросом:

— Скажите, Александра Александровна, как вам нравится Александр Павлович Ленский?

Яблочкина сразу поняла, в чем дело, и стала отвечать на все вопросы очень осторожно. Разговор длился очень долго. Наконец, убедившись, что от нее ничего не добьешься, Теляковский вздохнул и отпустил ее домой...

В марте месяце состоялось утверждение Вл. А. Михайловского ученым хранителем музея. В конце того же месяца обсуждался и принимался план ближайших работ музея. Было решено, что все вещи, поступающие от отца, будут заноситься в инвентарную книгу и в карточный каталог. Впоследствии карточный каталог будет увеличен и станет издаваться в виде подробного каталога музея.

В начале апреля императорский двор поставил окончательную точку в деле передачи музея отца государству. Правда, эта точка более походила на кляксу.

Одним обычным утром, развернув газету, отец узнал, что ему вне очереди пожалован орден Владимира 4-й степени — то есть что он, по выражению того времени, «перепрыгнул» сразу через два ордена. Пожалование было, конечно, из ряда вон выходящее, но оно в корне нарушало условие отца, что ему никаких наград за передачу музея дано не будет. Он вспылил невероятно. Ругался, говорил, что это безобразие, что это неуважение к нему и тому подобное. Недолго думая, он сел за стол и стал писать заявление о том, что отказывается от ордена. Когда черновик был написан и отец простыл, он решил посоветоваться и позвонил Вл. Кон. Трутовскому, который и не замедлил к нему приехать.

Как сейчас помню, в кабинете отца кроме него и Трутовского сидели мы с матерью. Отец, волнуясь, прочитал свое заявление. Трутовский помолчал, подумал и попросил его себе для прочтения. Читал долго и внимательно. Снова подумал, медленно сложил в четверть... и разорвал. Отец побледнел:

— Что это значит?

— А значит это то, что это не годится и что писать такие заявления вы не будете!

— Нет, буду!

— Нет, не будете, — невозмутимо, с улыбкой сказал Трутовский.

— Почему?

— А вот почему. Во-первых, вы теперь государственный чиновник, и если вы отказываетесь от ордена, то вы должны подать в отставку. Это раньше, когда вам давали медали за общественную деятельность, вы могли от них отказаться — вы были свободным человеком, а теперь это кончилось. Это раз, а второе соображение еще более веское. Этот ваш отказ весьма неблагоприятно отразится на вел. князе. Вы знаете, его и так недолюбливают, а тут, конечно, станут на этом играть — вот, ваш протезе, пожалуйста, какое непочтение властям оказывает...

Последнее соображение было ушатом холодной воды для отца. Он сразу замолк и окончательно расстроился, осознав свое бессилие.

Трутовский понял его состояние и пришел к нему на помощь.

— А в конце концов, кто может вас заставить носить этот орден? Положите его в стол и забудьте про него. Точно его и не было.

Отец улыбнулся, — очевидно, такое предложение ему понравилось. Во всяком случае, сколько я помню, отец за всю свою жизнь лишь два раза надевал орден Владимира 4-й степени.

Глава шестнадцатая



од 1913-й крепко врезался в мою память — переход в последний, выпускной класс средней школы, передача музея Академии и приобретение родителями Подмосковной были событиями, в корне изменившими привычный ход нашей жизни. Для меня лично близкое знакомство с русской деревней оказалось, несомненно, наиболее важным. До этого я жил в деревне как дачник, посещал ее как путешественник или, в лучшем случае, бывал гостем в усадьбах родных. О русском крестьянине я знал не более того, что смог почерпнуть из классической литературы, а это, в большинстве, уже относилось к более или менее далекому прошлому. Здесь же я впервые вплотную столкнулся с русской деревней, с ее бытом, мог вволю наблюдать смены времен года и испытывать чарующее обаяние русской природы в той ее непосредственной дикости, в которой пребывал тогда еще забытый Богом и людьми Верейский уезд Московской губернии.

Перед окончательным переселением в Апрелевку мои родители срочно собрали сведения у своих родных и знакомых, владевших имениями, как и что им надо

делать и как поступить в тех или иных случаях усадьбы жизни. Полученные сведения часто были противоречивыми и, как выяснилось впоследствии, явно недостаточными, что повлекло за собой свершение некоторых ошибок.

Насколько память мне не изменяет, приехали мы в имение на первый день Пасхи, после традиционной встречи праздника с дедом Бахрушиным. Вся прислуга была отправлена туда заблаговременно и встретила нас у дверей дома с хлебом-солью и иконой. Сейчас же после этого явился предупрежденный кухаркой Авдотьей Степановной священник нашей церкви Василий Михайлович и отслужил в зале молебен. Потом мы устраивались, разбирались, пили чай, ужинали и легли спать в приподнятом настроении.

На другое утро только что мы отпили утренний чай, как нам сообщили, что крестьяне нашего села пришли поздравить нас с новосельем и праздником. Мы всей семьей вышли на крыльцо, крестьяне обнажили головы и, кланяясь, нестройным хором высказали свои поздравления и пожелания. Мужчины поднесли каравай хлеба отцу, а женщины свежие яйца и топленое масло — матери. Отец поблагодарил, сказал, что надеется, что мы будем жить в мире, и отдал пришедших десятирублевым золотым, чем они остались очень довольны. За этими поздравителями появились другие и третьи, из более отдаленных, но наших же деревень, с которыми происходила та же процедура. Об этом мои родители были предупреждены знакомыми помещиками и знали, как поступать, но когда во второй половине дня прибыли крестьяне из соседней деревни, относившейся к владениям другого помещика, это вызвало недоумение, однако отец с матерью приняли их и отдали наравне с нашими. Впоследствии мы выяснили, что это было сделано «на законном основании», так как сельцо Горки, имевшее придел в нашей церкви, испокон веков

как бы наполовину считалось в сфере нашего духовно-нравственного влияния.

Наше село носило громкое, но неизвестно откуда взявшееся наименование Афинеева, переделанное крестьянами в более простое и доступное — Финеево. Это вычурное, классическое название появилось в начале XVII века, так как до этого деревня называлась Пушкино. В XVI веке оно принадлежало князьям Коркодиновым, переходя в приданое сперва к Милюковым, а потом к Корсаковым, к концу столетия оказалось во владении буйного, вспыльчивого окольного ¹ А. П. Протасьева. Того самого Протасьева, который, заспорив «на государевом дворе» с боярином Хрущевым, проломил ему голову кирпичом, за что «великий государь Алексей Михайлович» повелел Хрущевым «доправить с Протасьева бесчестия четверо» и «вместо кнута бить батогами бесщадно». Видимо, после этого произошло удаление Протасьева от двора и его переселение в Афинеево, где он, быть может, во искупление своего греха заложил каменную церковь в характерных для конца XVII века архитектурных формах. В начале второй половины XVIII века Афинеево перешло во владение Захара Егоровича Волинского, родственника злополучного министра Анны Иоанновны, оклеветанного и казненного Бироном. При Волинском в усадьбе был построен каменный барский дом, первоначально, по-видимому, соединенный с церковью. Своего расцвета усадьба достигла в конце XVIII века, когда в ней жил московский губернский предводитель дворянства Ступишин. В этот период усадьба покрывается сетью искусственных прудов, создаются острова, строятся вычурные мосты и паромы, воздвигаются мыльни и миловиды и насаждается регулярный липовый парк, а дорога в Москву обсаживается береза-

¹ Окольный чин — старинный дворцовый чин.

ми. После смерти Ступишиных именье достается их дальнему родственнику, известному издателю журнала «Отечественные записки» П. П. Свиныну, который в нем не живет, но владеет им до второй половины XIX века. В конце концов он вывозит из усадьбы все наиболее ценное, а старинный, по словам очевидцев, очень красивый барский дом продает на слом. После этого Афинеево становится уже купеческим владением, перейдя в собственность московского перевозчика мебели Ступина. Новый хозяин стал всячески эксплуатировать свое именье — сводил лес, поставил хорошую мельницу с крупорушкой — и одновременно превратил его в некий купеческий «Монплеизир», выстроив полузимнюю дачу, где появлялся изредка со своими друзьями и отдыхал «от трудов праведных». Культурный слой этого периода характеризовался несметным количеством пустых бутылок из-под вин самых разнообразных марок, которые еще в наше время неожиданно обнаруживались то под дачей, то где-нибудь в лесу, то извлекались из земли во время копки цветников и в особенности изобиловали в реке и в прудах. В конце века именье перешло к своему последнему владельцу, тоже купцу Н. Н. Власову. Он стал постепенно приводить его в культурный вид и выстроил каменный дом, в котором мы и поселились. Это здание было воздвигнуто на месте старого дома Волынского, на высоком берегу реки Десны, но в связи с новыми законами о соблюдении определенного расстояния между жилым строением и церковью оказалось несколько смещенным влево, отчего была нарушена симметрия планировки прудов и березовой аллеи на дороге в Москву. Остатки барских затей Ступишина в виде старых фундаментов, куч полуразвалившегося кирпича, сгнивших свай от мостиков и паромов и впадин от уже несуществующих прудов легко обнаруживались еще и в наше время. В незапамятные времена на месте нашей усадьбы, по-

видимому, было расположено финское поселение, что подтверждали как каменные топоры, находимые во время земляных работ, так и многочисленные курганные захоронения. Один из таких курганов я впоследствии раскопал под руководством В. К. Трутовского, но ничего интересного не нашел, кроме лежащего на боку скрюченного полуистлевшего человеческого скелета, нескольких бусинок и глиняного горшка в головах.

Единственным реальным памятником старины, сохранившимся в усадьбе, была церковь, но и она была значительно изуродована последующими «обновлениями». К старинной церкви XVII века была пристроена, видимо при Ступишиных, высокая колокольня в стиле готики XVIII века и придел с античным фронтоном с колоннами. Внутри церковь ремонтировалась дважды — иконостас богатейшей резьбы по дереву и запрестольные иконы — при Волынском, а стенная роспись — при Ступине. Последняя была особенно безобразна. Был в церкви и некий раритет — в каменной нише, за решеткой, была помещена деревянная резная фигура Христа в темнице, в человеческий рост. Подобные изображения в свое время были запрещены Синодом, как носящие католический характер, но здесь она каким-то образом уцелела и особо почиталась крестьянами, которые постоянно украшали ее цветами и одели в нелепую парчовую хламиду. В 1812 году в Афинееве стояли части польского корпуса Понятовского, и кто-то из офицеров отметил это событие на полях большого запрестольного Евангелия.

Вскоре после нашего переезда к отцу явился священник с группой наиболее почтенных стариков крестьян с просьбой быть старостой церкви. Отец, недолюбливавший таких должностей, категорически отказался. Произошла некоторая неловкая заминка, после чего один из наиболее старых крестьян сказал:

— Ты уж нас не обижай. У нас завсегда ведется,

что помещик — староста. А то так выходит, что ты хочешь от нашего общества отколоться. Против мира не иди!

Аргумент, а главное, серьезный и даже несколько повелительный тон, каким он был произнесен, возымел действие на отца, и он согласился.

Мое знакомство с крестьянами началось с первого же года нашего житья в Апрелевке. Моя мать нагрозила меня некоторыми усадебными обязанностями, среди которых была продажа крестьянам под покос небольших луговин, которые имелись в нашей лесной даче. Дело в том, что после отмены крепостного права мировым посредником в нашем районе был чрезвычайно порядочный и принципиальный помещик, который всемерно соблюдал интересы крестьян. Это была редкость, и благодарная память о нем бережно сохранилась окружным населением. Результатом его деятельности было то, что чересполосица была не у крестьян, а у помещиков, так как лучшая пахотная земля была отрезана деревенским. В связи с этим наша усадьба оказалась разрезанной надвое, причем лесная дача отстояла от имения в трех верстах. Вот там-то я и сдавал покосы, что обязывало меня присутствовать и на мирских сходках и вообще общаться с крестьянами. Помимо этого, я свел знакомство со стариками, которые рассказывали мне о прошлом, что меня всегда живо интересовало. Несколько людей мне особенно памяты.

Встает передо мной высокий строгий старик Иван Саламатин. Ему было уже за восемьдесят. Он хорошо помнил крепостное право, служил в солдатах при Николае Павловиче, но в Севастополь не попал — «в новобранцах тогда ходил», пояснял он. От военной службы у него осталась выправка — был всегда подтянут и строен, как молодой — и краткость и точность ответов. Не был словоохотлив, но зато как скажет, словно отрубит. Его авторитет в деревне был незыблем.

Служил он церковным сторожем и каждую ночь ежедневно выбивал часы на колокольне — всегда точно и аккуратно. Он был моим неизменным гидом по имению.

— Вот это место, — пояснял он в рубежном овраге, — прозывается «солонец». Тут ключ был соленой воды. Скотина ею очень опивалась. Помещик, — лет сто с лишним тому назад, старики сказывали, велел его завалить. Чего ни делали — ничего не брало. Тогда привезли с Москвы чугунную плиту пудов на двадцать и свалили ее здесь да поверх еще земли насыпали. После этого ключ под землю ушел.

Указывая на участок возле усадьбы, обнесенный канавой, он объяснил:

— А вот тут ранжереи были, парники, фруктовый сад — я еще это помню. Только ими никто не занимался, а уж Ступин приказал все сровнять, деревья вырубить и травой засеять.

На вопрос, как жилось до воли, отвечает:

— Нам, нечего говорить, обижаться не на что было. Барин здесь не жил, а вместо него был управляющий немец. Воровал он крепко, почитай, половина доходов к нему в карман шла. Мы все об этом знали, и как он начнет нас прикручивать, мы сейчас ему — это ты оставь, а то барину про все твои художества отпишем. Он и присмирееет. Ну, а другим окрест, знамо, тяжело было. Вот только барин Кругликов, царство небесное, душевный был человек — у него мужики как господа жили. Вон у некоторых избы каменные — сами небось видели!

Свою семью Саламатин воспитал в тех же строгих правилах, которых держался и сам. Когда он умер, вскоре после нашего переезда, место церковного сторожа занял его старший сын Василий. Он был честным и хорошим человеком, но не обладал ни умом, ни исполнительностью своего отца, быть может оттого, что ему

не пришлось служить в солдатах. Часы ночью он выбивал кое-как, иной раз давал пятнадцать ударов вместо двенадцати или вовсе пропускал наступивший час. Да и в своей внешности не был столь подтянут и аккуратен, как его отец. Крестьяне относились к нему хорошо, но с его мнением не считались. Зато младший сын Иван во всем чрезвычайно походил на отца. В свое время он служил в гвардии и совершал кампанию 1877/78 годов, переходил Дунай. Отличался от отца тем, что был несколько застенчив и нерешителен. Мать часто с ним советовалась, но он сразу никогда не решался предложить что-либо свое или не одобрить ее решение. Он был сравнительно начитан, но любил серьезные книги. Читал Толстого, Пушкина, Некрасова и книги духовно-нравственного содержания. Помню, как уже после октябрьской революции, когда мы фактически бросили имение, собрался мирской сход, чтобы решить, что делать с оставшимися после нас продуктами — кадкой соленых огурцов, картошкой и кадушкой квашеной капусты. После долгих и бурных дебатов было решено разделить все поровну между всеми. Ивана Ивановича на сходке не было — он был в отъезде и возвратился домой только вечером, когда жена ему и сообщила о дележке продуктов.

— Так! — произнес он. — Ну-ка, покажи, что нам досталось.

Немедленно были вынесены небольшой тазик с капустой, десятка два огурцов и не более полумешка картошки.

Иван Иванович все это осмотрел и кивнул дочери:

— Бери-ка картошку и иди за мной!

После чего, взяв в руки тазики с капустой и огурцами, направился прямо к уборной во дворе.

— Вали туда картошку! — сурово приказал он дочери, после чего собственноручно опрокинул туда и капусту и огурцы.

Жена всплеснула руками и охнула.

— Мне чужого не надо;— строго сказал он,— мне моего хватит. Не надо было самовольничать, а сказать в районе, оттуда бы приехали и взяли и отдали бы кому следует!

Поступок Ивана Ивановича стал немедленно широко известен в деревне, произвел большое впечатление, бурно обсуждался и заставил многих задуматься.

У Ивана Ивановича была красавица дочь, но ее жизнь сложилась как-то неудачно.

Полной противоположностью Саламатина был Егор Мельников. В каждой деревне были и до сих пор имеются такие никчемущие мужики. Хозяйство свое он запустил и бросил, любил крепко выпить, наплодил массу детей, которые влачили почти беспризорный образ жизни, так как его жена была всецело поглощена заботой вести дом так, чтобы он окончательно не развалился. Он был своеобразным романтиком и фантазером и мастером на все руки, но чтобы сделать что-нибудь, он обязательно должен был увлечься задачей. Он чинил ружья, тачал сапоги, мог самостоятельно сделать телегу или свалять валенки. Он далеко не был бедняком (я сам был свидетелем, когда он уплатил очень крупную сумму денег за приглянувшееся ему ружье), но постоянно нуждался. Значительные деньги, которые иногда попадали ему в руки, как-то текли между пальцами. После революции ему дали избу, большой приусадебный участок, широко помогли хозяйственным инвентарем, но этого хватило не более чем года на два, после чего он снова впал в свое первобытное состояние.

Его любимым занятием была охота и рыбная ловля — на этой почве я с ним и подружился. Мои родители, желая ему помочь, предложили ему должность лесника и егеря, которую он охотно принял, что, кстати, не мешало ему часто грубить моей матери или принимать решения без ее ведома. Еще задолго до революции он пришел к убеждению, что все общее,

а потому не признавал чужой собственности и с легкой душой браконьерствовал в любом лесу, не интересуясь, кому он принадлежит, и присваивал себе все, что плохо лежало.

Охотник он был азартный. Помню, как мы с ним однажды охотились и он указал мне на сидящего на дереве рябчика. Как известно, эта птица, стремясь укрыться, настолько прижимается к дереву, что ее трудно разглядеть. Так было и со мной. Выведенный из себя моей медлительностью, Егор бросил по моему адресу трехэтажное ругательство, выхватил из моих рук ружье и, почти не целясь, сбил рябчика.

Он не верил ни в Бога, ни в черта, поэтому я был искренне удивлен, когда он мне задал вопрос, собирается ли мой отец пригласить в церковь певчих на престольный праздник Ивана Постного.

«Уж очень я люблю церковное хорошее пение — душа радуется и все кругом забывается», — пояснил он мне свой интерес к этому вопросу. Бывал он в церкви дважды в году — на престольный праздник и на Пасху. Я наблюдал за ним в церкви — его некрасивое рябое лицо лучилось каким-то внутренним светом и было абсолютно ясно, что он находится в полном публичном одиночестве.

Не могу не сказать два слова о комической фигуре деда Ефима-лысого, как его звали в деревне. Маленький, юркий, с багрово-красным лицом, сизым носом и огромной седой бородой лопатой, он, сияя своей огромной лысиной и хрипя, как испорченная машина, — он страдал сильнейшей одышкой, — появлялся всюду, где видел хоть несколько собравшихся человек. Он обладал редким духом противоречия и был принципиальным заядлым спорщиком. Стоило кому-нибудь сказать «да», как он немедленно говорит «нет», и наоборот. Мне пришлось присутствовать на сходке, на которой Ефим, как всегда, с большим запалом кистил

последними словами нашего священника, человека очень порядочного и всеми глубоко уважаемого. Он яростно отвергал всякие возражения и твердо стоял на своем. Наконец никто не стал ему перечить и перешли к другим вопросам. В конце собрания кто-то мимоходом напрасно обвинил в чем-то того же священника. Ефим немедленно взвился с места и, бия себя в грудь, стал убежденно доказывать, какой замечательный человек наш батюшка. Кто-то, улыбаясь, напомнил ему его же выступление вначале. Ефим ничуть не смутился:

— А что?! Вот я это самое и говорил, а коли вы не поняли — я не виноват!

Пил Ефим зверски, но был непременно гостем на всех свадьбах, часто исполнял обязанности дружка-большого, так как был общепризнанным балагуром и острословом.

Его жена, бабушка Марья, была замечательной женщиной, которая воспитала своих многочисленных детей в правилах самой строгой морали. Мне редко приходилось встречать в любом слое общества более деликатного человека, чем ее дочь Наташа, с которой я впоследствии был коротко знаком.

Но если с крестьянами мы успели завязать добрососедские отношения на первых же порах нашего жития в Афинееве, которое, кстати, по желанию отца было переименовано в Верино в честь матери, то с соседями помещиками мы не спешили знакомиться. Оказалось, что тем самым мы грубо нарушали элементарные правила деревенского приличия и поступали в высшей степени неучтиво.

Законы помещичьего общежития предписывали каждому новому помещику обязательно нанести визиты своим ближайшим соседям вскоре после переезда на новое местожительство. В результате мы, наподобие Онегина, в первое же лето прослыли неучами, гордеца-

ми и невежами. Все это произошло оттого, что никто из знакомых моих родителей не предупреждал их о существовании подобного правила и о необходимости его соблюдения.

Ближайшим нашим соседом был помещик Кругликов. Наши владения разделялись узким, но довольно длинным и извилистым заливом реки, излюбленным местом гнездования диких уток. Я уже с лета заметил там несколько выводков. В день разрешения охоты мы с дедом Носовым отправились на лодке в залив с двустволками и соответствующим запасом патронов. Стоило нам въехать в залив, как шесть упитанных уток сорвались из камышей и, свистя крыльями, устремились во владения нашего соседа. Мы с дедом выпалили и промазали. Вдруг камыши перед нами раздвинулись и в прогалине появился мужчина. Одет он был довольно своеобразно — высокие болотные сапоги, залатанные штаны и синяя ситцевая русская рубаха. Поверх всего этого был надет замызганный большой брезентовый фартук. Он был без головного убора — мягкие черные усы спадали вниз на небольшую эспаньолку, приметная лысина увеличивала и без того высокий лоб. Голубые глаза смотрели внимательно и одновременно насмешливо.

— На каком это основании вы моих уток стреляете? — спокойно спросил он.

— Утки снялись с нашей стороны и только полетели в вашу сторону, так что мы стреляли наших уток, — возразил дед.

— Ну, это еще вопрос — во всяком случае, если бы вы не промазали, то они были бы убиты на моей земле, — это было сказано с явной насмешкой.

Дед вспылил, я ему поддакнул в том же тоне. Началась словесная перепалка, причем, надо сказать, весь пыл и жар исходил только от нас, так как незнакомец возражал нам хоть и ядовито, но чрезвычайно

спокойно, и насмешливые искорки все ярче и ярче разгорались в его глазах.

На какой-то наш особенно яростный выпад он вдруг неожиданно спросил:

— А собственно говоря, с кем я имею честь разговаривать?

Этот вопрос застал нас в полный расплах, и мы, сразу сбавив тон, сообщили, что мы новые владельцы Финеева.

— А-а-а,— протянул он,— очень приятно наконец познакомиться, хотя и при таких обстоятельствах. А я ваш сосед Кругликов. Зашли бы как-нибудь ко мне — познакомились бы поближе. А что касается охоты — пожалуйста, считайте мои владения вашими владениями.

После этого он учтиво поклонился и исчез так же неожиданно, как и появился. Мы были смущены всем происшедшим и, прекратив неудачную охоту, возвратились домой. После всестороннего обсуждения этого события на общем совете было решено, что я на другой же день вечером отправлюсь с визитом к Кругликову.

Бенедикт Георгиевич Кругликов был чрезвычайно характерной фигурой предреволюционной помещицкой России. Он был старейшим помещиком уезда. Его отдаленный предок, французский мушкетер Никола де Мануар, поступил на службу к царю Алексею Михайловичу и получил «на прокорм» восемьсот десятин земли и сельцо Горки, которые и принадлежали нашему соседу. Уже после революции он передал мне древний пергамент, собственноручно подписанный королем Людовиком XII, пожаловавшим дворянство кому-то из Мануаров. Вместе с этим документом была и грамота царя Алексея о жалованье Никола де Мануару земель «на прокорм». В этом документе фамилия француза была уже переосмыслена царскими дьяками, и он именовался просто Николевым. Через столетие

после этого один из прямых потомков французского мушкетера стал известным в свое время поэтом и драматургом, пропагандистом просвещенного абсолютизма. В своих стихах выступал он против насилия, в пьесах — нарушал законы классицизма, а в эпиграммах издевался над правителями. Одна из таких эпиграмм ограничила его свободу. Когда Павел I праздновал спуск фрегата «Благодать», названного так в честь фаворитки царя Анны Гагариной (в переводе с греческого слово «Анна» означает благодать), и злополучный корабль во время схода со стапелей опрокинулся, Николев имел неосторожность сказать:

Ни в чем удачи нет уроду,
И «Благодать» не лезет в воду.

Эта эпиграмма была причиной того, что опрометчивому поэту было приказано жить в своем имении в Горках. Опальный поэт к тому времени ослеп, но продолжал работать, диктуя свои произведения единственной дочери. За это он и получил в литературных кругах прозвище «российского Мильтона», а благоволивший к нему до ссылки Павел I называл его «ясновидящим слепцом».

Его единственная дочь вышла замуж за некоего Кругликова. Дядя Бенедикта Георгиевича был видный музыкальный критик 60-х годов С. Н. Кругликов, а его отец, Георгий Николаевич, тем мировым посредником, о котором тепло вспоминали местные крестьяне. Впоследствии он стал мировым судьей.

Г. Н. Кругликов был убежденным демократом и по мере своих сил и возможностей стремился помогать крестьянству — так, например, в результате его хлопот в Горках была открыта сельская школа, единственная в округе. Он всегда глубоко переживал рабскую заботность и нужду русского крестьянина и рассказывал с болью в сердце об одном поразившем его случае в его

судейской практике. Где-то в уезде были казенные леса, которые граничили с имением печальной памяти «героя» Порт-Артура, генерала Стесселя. Однажды, охотясь, генерал забрел в казенный лес, убил какую-то птицу или зверя и был застигнут на месте преступления лесником. В результате происшедшего объяснения Стессель дал леснику в зубы. Лесник подал жалобу в суд. Кругликов, по своей обязанности, постарался кончить дело миром и посоветовал генералу уплатить пострадавшему за нанесенное оскорбление рублей сто. Во время суда Стессель признал свою вину и спросил лесника, согласен ли он получить двадцать пять рублей и взять свою жалобу обратно. Не ожидавший такого поворота дела лесник, низко кланяясь Стесселю, пролепетал:

— Покорнейше вас благодарю, ваше превосходительство, — за двадцать-то пять рублей можно и второй раз по зубам съездить, если вам желательно.

Г. Н. Кругликов был человеком вспыльчивым и горячим. Он очень любил деревню и не терпел городской жизни. Жили Кругликовы в двухэтажном каменном флигеле, чудом уцелевшем в 1812 году, когда вся усадьба и обширный барский дом были разграблены и сожжены французами. Его жена, в противоположность мужу, была убежденной городской жительницей и терпеть не могла деревни. Не желая огорчать свою супругу, Кругликов порою совсем не посещал деревни и жил в городе. Однажды к нему приехал деревенский староста с докладом, что в доме течет крыша, дымят печи, имеются еще кое-какие неполадки и что необходимо срочно производить ремонт. Кругликов обратился к сидевшей здесь же жене с вопросом, будет она жить в деревне или нет. Она ответила, что рада бы, но он знает, что в деревне у нее всегда болит голова и обостряются все ее недомогания.

— Хорошо, — сказал Кругликов и, обратясь к ста-

росте, заявил: — Никакого ремонта не будет, а ты скажи крестьянам, чтобы все забирали из барского дома к себе. Рамы, двери пускай снимают, мне ничего не надо!

Крестьяне, полагая, что барин одумается, несколько повременили с исполнением приказа, но, не получая новых распоряжений, кончили тем, что на законном основании растащили все.

В то время, когда мы поселились в Апрелевке, от флигеля барского дома сохранились одни каменные стены и всюду обнаруживались запущенные остатки некогда великолепного имения. Заросший и потерявший всякий вид английский парк, затянутые водорослями копаные пруды с островами, разрушенный сход от главного дома к реке, заросли одичавшей сирени, жасмина, акаций были единственными жалкими остатками былого великолепия.

Своего единственного сына Бенедикта Георгиевича Кругликов отдал в наиболее демократическое высшее учебное заведение того времени, в Петровскую сельскохозяйственную академию, в которой он учился в период 1905 года, где близко сошелся с революционно настроенными студентами и примкнул к кружку эсэров.

После окончания академии он женился и переселился на постоянное жительство в Горки, где приспособил под жилье маленькое каменное здание, в котором во время оно проживал привратник барской усадьбы.

Из Академии Кругликов вынес революционные взгляды, а от отца унаследовал его вспыльчивость и демократичность. Так, например, он считал, что пользоваться наемным трудом преступно, а потому самолично обрабатывал свою землю, пахал, боронил, сеял и жал, косил и заготовлял на зиму дрова. Это, естественно, заработало ему репутацию чудака как среди окружающих помещиков, так и крестьян, которые за глаза называли его диким барином, а в глаза

величали его Диком Егорычем. Он был очень добрым человеком и прекрасным семьянином, что не мешало ему, повздорив из-за пустяка с женой, отправляться спать в ноябре месяце в поле в стог сена и платонически ухаживать за всякой хорошенькой девушкой.

Небольшого роста, коренастый, необычайно подвижный, он обладал редкой физической силой и прекрасным здоровьем, закаленным гимнастикой, купаньем до морозов и постоянным трудом на свежем воздухе. В лунные ночи, летом, он любил кататься на лодке, оглашая окрестности своим приятным тенором, распевая революционные и народные песни. Он никогда не посещал церкви, за исключением пасхальной заутрени, и не принимал у себя иконы в церковные праздники, но это не мешало ему дружить со священником, которого он часто посещал, любил и уважал.

К этому-то Дику Егорычу я и отправился с визитом. Крохотная комнатка его дома, заботами его очаровательной жены Надежды Осиповны, была исключительно уютно обставлена. Все в ней было чрезвычайно просто, никакой претензии на роскошь и в помине не было, и вместе с тем все выглядело как-то нарядно и празднично. Хозяева в несколько минут сумели рассеять мое смущение и заставили почувствовать себя как дома. Завязался оживленный и непринужденный разговор, и мой визит сразу потерял всю официальность. В ходе беседы Кругликов очень деликатно объяснил мне ошибку моих родителей, вызвавшую на них нарекания соседей. Пора было домой, о чем я и заявил хозяевам, но здесь Кругликов, со свойственным ему мальчишеством, решил меня наказать «за грехи родителей». Он встал из-за стола и категорически заявил:

— Нет — так не годится. По такому событию — приему нового соседа — необходимо выпить, но мы, к сожалению, вина не пьем и его не держим. Придется отметить это чем-нибудь более легким!

С этими словами хозяин вышел из комнаты и вскоре возвратился, держа в руках какую-то довольно грязную бутылку, которую он тут же откупорил и разлил по стаканам прозрачную, слегка желтоватую, пенящуюся влагу.

— Это, собственно говоря, почти что вода — так называемый мед нашего домашнего изготовления, — пояснил он.

Мы чокнулись и выпили. Напиток оказался чрезвычайно приятным, очень ароматичным и слегка игристым, о чем я и не замедлил сказать. После этого Кругликов стал усиленно подливать мед в мой стакан. На мои вежливые отказы он не обращал внимания, приговаривая:

— Это совершенно безвредная вещь, сладкая водичка, не более.

Я и не заметил, как прикончил бутылку, — голова была совершенно свежей, и не чувствовалось никакого опьянения. Тут я уж решительно заявил, что мне пора домой. Хозяева не протестовали. Однако попытка встать из-за стола, к моему великому ужасу, окончилась для меня неудачей — ноги мои одеревенели, отнялись и не подчинялись велениям рассудка. Я нелепо дергался на своем месте, и, видимо, состояние полной растерянности и недоумения столь ярко отразились на моем лице, что хозяева не выдержали и начали смеяться.

— Вот вам наказание за то, что не хотели с соседями знаться, — сквозь смех наконец проговорил Кругликов. — Сидите теперь здесь до утра!.. Ничего, — прибавил он, — не беспокойтесь, через полчаса все пройдет — я не виноват, это мой мед с вами играет.

Действительно, через короткое время я почувствовал, как мои ноги постепенно отходят, и я смог распространиться с радушными хозяевами, передав им приглашение моих родителей посетить нас.

Через день-другой к нам на лодке приехал Кругликов, еще издали был слышен его приятный тенор, разносивший по окрестностям слова романса Даргомыжского «Нас не в церкви венчали». С этого момента началась наша дружба с этим интересным человеком.

Собственно говоря, Кругликовым и ограничилось наше знакомство с соседями, если не считать знакомства с еще другим помещиком, которому мои родители нанесли визит, чем дело ограничилось. Остальные окрестные усадьбы либо пустовали, либо находились в процессе смены своих владельцев. Это не мешало моей природной любознательности находить удовлетворение в посещении и обследовании этих доживавших свой век, пустовавших дворянских гнезд.

По ту сторону реки ближайшим именем было село Милюково, в последнее время принадлежавшее Ляпным. Среди прекрасного старинного липового парка, раскинувшегося на берегу реки, стоял двухэтажный дом, выкрашенный охрой, с белыми колоннами. Внутри ничего примечательного, кроме великолепной мебели карельской березы, не было. Усадьба продавалась и вскоре была приобретена Ижболдинами.

Далее по течению реки расположилась вельможная усадьба Мусиных-Пушкиных, село Старо-Никольское. На крутом берегу реки высился огромный каменный дом екатерининской стройки с бельведером и стройными пилястрами, но в архитектурном отношении не представлявший особого интереса как снаружи, так и внутри. Надворные постройки более позднего времени были куда интереснее и напоминали работы Джильярди. От посещения дома у меня осталась в памяти лишь обширная библиотека, расположенная в бельведере. Парк был старинный и запущенный — висячие пруды были затянуты тиной или стояли без воды, канал, подходивший к самому дому, обвалился и высох, мосты через него были сломаны, а садовые постройки

разрушены. Некогда виды этого имения были гравированы и изданы, но мне никогда не приходилось их встречать. В давние времена эта усадьба в течение более чем ста лет находилась во владении бояр Ртищевых, один из которых руководил мастерскими Оружейной палаты и был большим знатоком искусства. От того отдаленного периода осталась замечательная церковь, к сожалению, ныне не существующая. Она стояла на месте, где когда-то высился Старо-Никольский монастырь — один из форпостов Москвы, упраздненный еще при Иоанне Грозном. Памятником того времени остался большой каменный обелиск, воздвигнутый на месте престола монастырского храма. Рядом с ним в середине XVII века была построена двухэтажная каменная церковь с лестницами, ведущими во второй этаж. Внешне это здание не представляло интереса, но внутри было чудом искусства русских резчиков по дереву. В сложнейший по своему орнаменту резной иконостас были вплетены резные фигуры святых и ангелов. Царские двери, представлявшие благовещение, были также резные. Внутри купола были расположены скульптурные фигуры евангелистов, святых и ангелов, также из дерева, но выкрашенные белой краской под мрамор, что оттеняло их на небесно-голубом фоне стен. Этот замечательный памятник «нарышкинского барокко», по моему мнению, намного превосходил знаменитый иконостас в Дубровицах. Сфотографировать внутренность церкви было невозможно из-за малой площади самого храма, который весь уходил ввысь.

В отдельном резном киоте хранилась чудотворная икона Николая-Чудотворца — вклад боярина Ртищева. Этот образ первоклассного письма был любопытен еще и тем, что был подписной и имел «летопись», то есть по его бокам была изложена вся его история. Из этой краткой записи явствовало, что первоначально икона была написана в конце XVI века, долго хранилась

в семье, пока не была похищена разбойниками во время ограбления хозяина на большой дороге. Затем образ был таинственно подкинут во двор Ртищева, но оклад с него был содран и «вапы¹ поблекли», но через несколько дней выцветшие краски каким-то чудесным образом приобрели снова прежнюю свежесть и яркость. Впрочем, это не помешало Ртищеву в самом конце XVII века отдать икону в реставрацию, которая и была блестяще выполнена живописцем Оружейной палаты Злобиным, подписавшимся на иконе.

После революции я, как-то будучи в Апрелевке, к своему огорчению узнал, что церковь в Старо-Никольском более не существует, то есть осталась только ее внешняя оболочка, а внутри все разрушено. Тут я вспомнил об иконе и, решив ее разыскать, отправился в дальнее путешествие, захватив с собой мешок. То, что я увидел, придя на место, превзошло все мои ожидания. В храме, двери которого были распахнуты настежь, творилась в полной мере мерзость запустения: свечные ящики были опрокинуты, на полу были рассыпаны медные деньги царской чеканки, в углах было нагажено и всюду валялись щепки, опилки и куски отбитого золотого левкаса. По-видимому, иконостас — творение неизвестных русских мастеров — был варварски распилен и расколот на дрова. Фигуры святых в куполе были сорваны и также уничтожены. И во всей церкви не осталось ни одной иконы — они все куда-то бесследно исчезли. Взгрустнув о виденном, я решил обойти церковь снаружи и в восточной стороне обнаружил яму, в которой в беспорядке валялось несколько икон комнатного размера. Более тщательное обследование этого «клада» не дало никаких результатов, так как доски, неоднократно поливаемые дождем и покрываемые пылью, обросли каменевшей коркой, которую оттереть

¹ В а п ы — краски (церковнослав.).

было невозможно. Вспомнив старый русский обычай пускать ненужные иконы по воде, я свалил их в свой мешок, предвидя, что на обратном пути буду идти по берегу Десны. Дойдя до реки, я вывалил свою поклажу и стал тщательно промывать каждую икону. Вода делала свое дело, грязь отмывалась, и выявлялась живопись, но искомого образа среди них не было. Вскоре русло реки запестрело вереницей пльвших по течению икон. Наконец осталась одна, последняя, которую я стал лениво промывать, но вскоре моя лень сменилась небывалой энергией, и через несколько минут передо мной лежала ртищевская икона Николы-Чудотворца, вторично обретенная, если не чудесным, то, во всяком случае, случайным образом.

В трех верстах от Старо-Никольского было расположено сельцо Воскресенки, принадлежавшее Саблиным. Имение было необитаемо. Небольшой скромный каменный дом начала XIX века, с крыльцом, подпертым двумя нелепыми бочкообразными колоннами, запущенный смешанный парк, маленькая церквушка на берегу реки — вот все незатейливые памятники старины этой усадьбы. Внутри барского дома — небольшие комнаты, не потерявшие еще своего обжитого вида, мебель середины прошлого века, какие-то картины — ничего особенного. При осмотре церквушки мое внимание привлекли два больших киота у самого входа. В них было расположено до сотни икон комнатного размера и единого, вполне грамотного письма, правда несколько вольного, походившего скорее на итальянское, нежели на русское. Я спросил о них священника.

— Это, видите ли, обет, — пояснил он, — ведь имение это в свое время принадлежало Александру Васильевичу Сухово-Кобылину. Здесь он бывал с Деманш и после ее убийства проживал, когда был под следствием. Вот он и дал обет написать эти иконы и выполнил его — хотел, видно, грех искупить.

По ту сторону железной дороги были только три имения, достойных внимания. В двух из них следов усадеб не сохранилось. Первое из них носило непонятное название Момыри. После тщательного расследования филологии этого слова мне удалось установить, что эта деревня приобретена и обстроена какой-то любвеобильной помещицей в начале XIX века, подарена мужу и соответственно названа ей «А мон марі»¹. Крестьяне быстро упростили сложное наименование несколько непонятным, но более легко произносимым словом «Момыри».

Во второй усадьбе, селе Бурцево, сохранилась крайне интересная высоченная двухэтажная розовая церковь с синими куполами. Вся устремленная ввысь, она по своей форме напоминала образцы старинной русской архитектуры. Внутри она неоднократно обновлялась и никакой исторической или художественной ценности не представляла.

Рядом с Бурцевым было расположено село Петровское, некогда принадлежавшее Демидовым. Об этой усадьбе, где дом и церковь были возведены Казаковым, неоднократно упоминалось в советской специальной литературе, и я говорю о ней лишь потому, что застал ее еще не в том виде полнейшего разрушения, в каком она сейчас находится. В то время крайне любопытный крестообразный барский дом со своими четырьмя входными лестницами-подковами, украшенными чугунными сфинксами и грифонами демидовского литья, еще был покрыт крышей и сохранял внутри инкрустированные паркетные и вычурные лесенки во второй этаж. Рядом с домом в траве валялась огромная чугунная статуя Аполлона Бельведерского, некогда венчавшая купол дома, а в парке высились многочисленные осиротевшие чугунные тумбы, выкрашенные под мрамор, но

¹ Моему мужу (*фр.*).

лишенные некогда украшавших их фигур, канувших в вечность.

В церкви привлекали внимание два надгробия Демидовых — великолепные образцы памятников подобного рода конца XVIII века. Помимо этого, в ризнице стоял прекрасный большой шкаф резного дерева иноземной работы XVI века. Многочисленные барельефы изображали библейские сцены. По-видимому, это обстоятельство и привело шкаф в церковь из барского дома.

Очевидно, в домик священника попал, также из барского дома, портрет гитариста, подписанный Тропининым, являвшийся парой к известному полотну художника.

По ту сторону железной дороги в то время еще существовал старый барский дом — небольшое одноэтажное строение самой примитивной архитектуры, но воздвигнутый еще в первой половине XVIII века. Обследовать его мне не удалось, но через застекленные входные двери я осмотрел переднюю, где мое внимание привлекли две фарфоровые табуретки в китайском стиле, характерном для ранних произведений Императорского (ныне Ломоносовского) фарфорового завода времен Елизаветы. В годы нашего переезда в Апрельку этот участок вместе со старым домом был продан и новые владельцы совершенно переделали старое здание, а куда девались вещи из него, мне неизвестно. Петровское было майоратное имение и в мое время принадлежало кн. Мещерским, абсолютно им не интересовавшимся и допустившим полное его разрушение и расхищение. Вещи из барских домов воровались там всеми, кому было не лень.

Самой любопытной усадьбой, в которую я случайно попал уже на второй год нашей жизни в Верине, было сельцо Жодочи. Как-то я поехал верхом с целью открытия «неизвестных земель» и заблудился. Какая-то

лесная, малоезженная дорога вывела меня в поле. Среди этого поля высилась купа деревьев, в которых хоронилось какое-то здание. Приблизившись, я обнаружил, что это была небольшая каменная церквушка, вероятно, построенная еще в XVIII веке. Входные двери храма были заколочены большими коваными гвоздями, крыша местами вовсе отсутствовала или была сильно повреждена, стекла в окнах разбиты, решетки погнуты. Сквозь окно я проник внутрь, спугнув целую стаю птиц, гнездившихся на остатках резного и некогда нарядного иконостаса. В сущности говоря, внутри церкви ничего не было, кроме явных следов неоднократного ограбления. Вылезши обратно, я внимательно осмотрел окрестности: никаких признаков жилья поблизости не было — кругом расстилались поля, а впереди высилась небольшая роща, куда вела дорога, проходившая мимо церкви. По ней я и поехал. В роще эта дорога круто сворачивала вправо, деревья расступились и обнажили ярко-зеленую, залитую солнцем лужайку, обрызганную золотистыми одуванчиками, в глубине которой высился чудесный русский усадебный дом с нелепо вытянутыми белыми колоннами и желтыми стенами, отливавшими медью. Казалось, я попал в усадьбу Лариных. Вокруг дома кустилась сирень, жасмин, акации, а сбоку виднелся маленький флигелечек, около которого женщина развешивала стираное белье. К ней я и подъехал.

Это оказалась жена управляющего, который ненадолго куда-то отлучился. Она мне сообщила, куда я попал и где я нахожусь, и радушно угостила меня молоком и еще горячей свежей булкой. Тем временем появился и сам управляющий — высокий, плотный мужчина мрачноватого вида, насупленный, предпочитающий слушать, а не говорить. Впоследствии я понял, что эта обманчивая внешность была следствием необычайной застенчивости. Он был полной противополож-

ностью своей жены — веселой и общительной и очень пригожей.

На просьбу показать дом он ответил согласием, но добавил:

— Смотреть-то нечего. Пустой дом. Одни ободранные стены. Брошенный дом. Мертвый.

Однако этот мертвый дом говорил громче, чем многие живые. Как я выпытал у управляющего, он был брошен владельцами в конце 40-х годов прошлого века, когда из него было вывезено почти все ценное, с их точки зрения. В дальнейшем полноправными хозяевами имения стали управляющие, так как продать усадьбу было сложно — она была майоратом. В доме никто не жил, но управители зорко следили за его сохранностью и частично приспособляли его к своим надобностям. Так, например, почти весь нижний этаж обслуживал хозяйственные потребности. В окно бывшей гостиной вели сходни, и она была использована как курятник, в двух смежных комнатах хранилась рожь и проветривались овощи. Второй этаж и комнаты, выходившие в парк, внешне сохранились в неприкосновенности. Стены были оклеены старинными обоями ручной работы, напоминавшими росписи поповских чашек, стояла мебель крепостной, домашней работы, примитивно сработанная по лучшим образцам. Особенно запомнился небольшой, но тяжеленный диван из простой березы, расписанный под карельскую. Сиденье покоилось на четырех страшных львах, резанных из дерева. Видно было, что эти львы стоили много слез и жестокой порки. Потолки хранили следы росписи, в прихожей стояли огромные лари, в которых хранилась одежда гостей и на которых сидели и дремали их выездные лакеи, сохранились немногие люстры и торшеры. Но больше всего поразила меня угловая комната. Светлая, большая и просторная, она по двум своим стенам была обставлена застекленными шкафами крас-

ного дерева, сплошь набитыми книгами, стоявшими в идеальном порядке. Сквозь стекла виднелись добротные переплеты свиной кожи и пестрел щеголеватый, зеленый и красный марокен. Раскрыв одну из нижних, глухих дверок шкафа, я увидел, что он весь наполнен связками писем и рукописей. Это был семейный архив хозяев. С этого момента я «заболел» этой комнатой. Передо мной открывалась возможность проникнуть в жизнь давно ушедших людей, узнать их заботы, радости и печали, пожить их мыслями, волнениями и переживаниями. Но как это сделать? По всем признакам, управляющий ревниво следил за сохранностью остатков хозяйского добра, что я почувствовал в разговоре с ним после осмотра дома. О том, чтобы продать или купить что-либо, и речи быть не могло. Воспользовавшись тем, что жена управляющего хотела обязательно напоить меня чаем перед отъездом, я, в ожидании этого, попросил разрешения осмотреть парк за домом. Бродя по совершенно заросшим и потерявшим всякую форму дорожкам, вившимся между столетними липами, любуясь небольшим, сплошь покрытым всевозможными водяными травами прудом, с островком посередине, осматривая жалкие остатки фруктового сада, я все время тщетно искал возможностей поближе познакомиться и с библиотекой и с архивом. Попивши чая и прощаясь с управляющим, я, под влиянием какого-то наития, сказал:

— Как я вам завидую! Я так люблю читать старинные книги и всякую старинную писанину, а у вас ее так много! Как бы мне хотелось почитать все это. Наверное, там много интересного.

Пожимая мою руку и не меняя своего угрюмого выражения лица, управляющий задумался и вдруг отрезал:

— Что ж, это можно. Приезжайте и читайте. Я не против.

Уговорившись о том, когда состоится мое посещение, я в приподнятом настроении возвратился домой. Через несколько дней я снова был в Жодочах. Управляющий встретил меня для его характера довольно приветливо и повел меня в дом, захватив чернильницу с пером и какие-то конторские книги. Придя в библиотеку, он молча указал мне на шкафы — дескать, действуйте, а сам сел за стол, раскрыл свои фолианты и углубился в работу. Скажу откровенно, я никак не ожидал находиться все время под надзором, но делать было нечего, и я принялся за обследование. С первых же шагов стало понятно, что библиотека чрезвычайно ценная — редкие книги в прекрасной сохранности, хорошие гравюры, прекрасные переплеты. Кое-что я отмечал особо и ставил в отдельный ряд. Повозившись с книгами, я принялся за рукописный отдел, который также представлял своеобразный интерес. Позанимавшись часа три, я распрощался и поехал домой, уговорившись о следующем посещении. Домой я ехал в смутном состоянии духа. Я прекрасно понимал, что все это обречено на гибель, но как спасти хотя бы часть? С управляющим не договоришься на этот счет — это ясно, значит, единственный выход — кража хотя бы наиболее ценной части виденного, но как это сделать под бдительным оком усадебного Аргуса? Ответа не находилось.

В следующий раз, когда я должен был ехать в Жодочи, погода выдалась неважная — небо заволокло тучами и временами моросил дождь, но это меня не смутило. Надев кожаную куртку и болотные сапоги с большими отворотами, я пустился в путь. На месте все пошло как обычно. Но вот, во время разборки библиотеки, какая-то записочка случайно выпала из книги, полетела на пол и бесследно исчезла. Я долго и бесплодно ее искал, недоумевая, куда она могла деться, но найти ее так и не удалось. Лишь в конце осмотра я случайно

взглянул на свои сапоги и обнаружил, что пропавшая записка завалилась за отворот моего болотного сапога. Выход был найден, и я смело вступил на путь воровства. Да! Я крал и не стыжусь этого, так как будущее меня оправдало. От всего того, что было в Жодочах, впоследствии не осталось ничего, за исключением того, что украл и спас я. Ныне все это находится в государственных хранилищах, в которые я это передал, не считая возможным владеть тем, что было приобретено таким путем.

В последующие разы я иногда брал с собой приятеля, который занимал управляющего разговором и тем самым отвлекал его внимание от того, что я делал. Впрочем, мой Аргус стал постепенно ко мне привыкать — он сделался разговорчивее и иногда ненадолго покидал меня. На следующий год он совсем ко мне привык и я стал допускаться в библиотеку в одиночестве. Это, конечно, облегчало мою задачу по выемке из архива наиболее интересного, но было малопродуктивно, так как над расшифровкой иного письма уходил целый день. В середине лета я снова начал разговор о том, чтобы брать книги и письма к себе на дом. Управляющий долго молчал — он, видимо, был тугодум, — но наконец огласил свое решение.

— Книги — не надо, здесь читайте, а вот письма и записки там разные — это, пожалуй, можно, их все одно мыши зимой жрут — я уж много выкинул.

С этого дня передо мной стала раскрываться история этой усадьбы и развертывалась незатейливая жизнь интеллигентной дворянской семьи среднего достатка.

В XVIII веке Жодочи принадлежали Н. В. Рогозину, но уже в конце столетия они перешли во владение Федора Михайловича Вельяминова-Зернова, у которого были сын Владимир и красавица дочь Анисья Федорвна, в начале XIX века вышедшая замуж за Степана

Ивановича Кологривова. От этого брака родились два сына: Николай и Иван. Семья, по-видимому, своего дома в Москве не имела и жила безвыездно либо в Жодочах, либо в Паюсове в Орловской губернии, сносясь со столицей письмами. Когда сыновья подросли, они поступили на службу. Старший — в канцелярию московского генерал-губернатора — всесильного графа Закревского — чиновником особых поручений, а младший пошел на военную службу.

Пожелтевшие от времени листки писем осторожно и предусмотрительного Николеньки, испещренные его ровным, аккуратным почерком, переносили меня в бальные залы Москвы 40-х годов или в Большой театр на премьеру балета или итальянской оперы, заставляли принимать участие во всевозможных интригах генерал-губернаторского окружения или узнавать всю подноготную скандальных столичных происшествий и великосветских сплетен. Николенька никогда не забывал подчеркнуть, что он сообщает это не для разглашения, а то «упаси Бог, граф узнает — тогда беда!». Письма Ванечки были всегда написаны наспех, неровным и небрежным почерком, с орфографическими ошибками. Здесь передо мной вставали величавые громады Кавказских гор, стычки с абреками, веселые товарищеские попойки с жженкой и удалыми песнями, выигрыши и проигрыши в карты, случайные встречи в Пятигорске и на Минеральных водах с знакомыми, с родными и с прелестными девушками. Бесшабашный и жизнерадостный, он был любимцем и баловнем матери и ничего от нее не скрывал. Ответы родителей пестрели благословениями и наставлениями и сообщениями о делах в Жодочах. А дела были неважные, доходы сокращались, и впереди зияла пропасть неизбежного разорения. Для поправки дел строились фантастические планы и предпринимались коммерческие авантюры. Был создан полотняный завод, но из него ничего не

вышло. Взамен него стали курить вино, но и это, кроме убытков, ничего не принесло, наконец, стали организовывать фарфоровую фабрику, но на это не хватило средств.

Позднее 40-х годов писем не было — жизнь Жодочей замерла, чтобы более не возродиться. В 60-х годах имение какими-то путями перешло по наследству заведующему репертуаром московских театров Ник. Ив. Пельту. Он в имении не жил и им не интересовался. Его потомки владели Жодочами и тогда, когда я разбирал библиотеку и архив.

Самым оживленным периодом в истории Жодочей было начало прошлого столетия, когда в нем жил Владимир Федорович Вельяминов-Зернов и сюда приезжали бесчисленные поклонники молодой Анисьи Федоровны. Владимир Федорович в 1805 году начал издавать журнал «Северный Меркурий» и был коротко знаком со всей литературной Москвой. Да и Анисья Федоровна баловалась пером и печаталась в «Новостях русской литературы». В те года Жодочи посещали Карамзин, оба Дмитриева — баснописец и его племянник, а впоследствии молодой П. А. Вяземский, Веневитинов. Их имена и фамилии часто мелькали в переписке, находились списки и даже подлинники трофательных мадригалов, посвященных молодой хозяйке. Однако мне тогда удалось наткнуться лишь на два автографа — маленькой записки Карамзина и шуточного стихотворения Дмитриева, посвященного Анисье Федоровне. Зато во множестве попадались стихотворения никем не подписанные, но одинаково крючковатого почерка. Я взял себе десяток, а остальную массу возвратил обратно, так как приписывал их самому хозяину. Много лет спустя я вдруг увидел в Литературном музее знакомый мне крючковатый почерк и узнал, что он принадлежит Мерзлякову. Раздобыв биографию поэта, я узнал, что летом он постоянно жил в Жодочах

и именно там сочинил свою широко известную песню «Среди долины ровные». Но делать было уже нечего — в те годы не только многочисленные рукописи Мерзлякова, но и Жодочи уже не существовали.

Среди книг много попадалось первых изданий (помню, например, «Бедную Лизу») и произведений с дарственными надписями авторов, но на книги было «табу», и мне удалось тайком вынести лишь прекрасный список «Горя от ума» Грибоедова. В 20-х годах я как-то попал в Петровское в больничную аптеку и заметил кривоногий стол, под ножку которого была подложена какая-то книга. Вытащив ее, я увидел, что это «Басни» Крылова с дарственной надписью Анисье Федоровне, сделанной самим автором. На мою пламенную просьбу отдать или продать книгу я получил ответ:

— Нет! Как же? Стол будет качаться, а она как раз, а мне работать надо.

Мне удалось просмотреть не более десятой части жодочевского архива и шкафа три книг: начавшаяся война 1914 года и мобилизация в армию не дали мне возможности закончить это дело.

Вспоминается еще один комический случай моего плутания по новым, неизведанным местам. Раз как-то я поехал куда-то очень далеко и сбился с пути. После долгого блуждания я наконец попал на какую-то заброшенную дорогу в лесу, которая привела меня к монастырской ограде. Необходимость ориентироваться, усталость и любопытство заставили меня слезть с лошади и войти в ворота. Монастырь оказался женский и на редкость бедный — небольшая церковка и вокруг нее кельи и хозяйственные помещения, все сплошь деревянные. На просьбу осмотреть церковь услужливая монашка повела меня в храм. По дороге я стал расспрашивать, где я нахожусь и как мне добраться до дому. Моя спутница мигом мне все объяснила и поинтересо-

валась, кто я такой. Я назвал себя. Услышав мою фамилию, она переменялась в лице — на нем появилось выражение недоверия, перемешанного с прямым ужасом, наступила пауза, во время которой она внимательно смотрела мне в глаза, а затем последовал новый вопрос: кем мне приходится Александр Алексеевич. Узнав, что это мой родной дед, она всплеснула руками и опрометью побежала от меня, истошным голосом взывая к какой-то проходившей вдали другой монашке:

— Где мать-игуменья? Скорей ее сюда, скорей!

Я стоял один, как ошарашенный, среди монастырского двора с, вероятно, чрезвычайно глупым видом, не зная, что мне делать и как объяснить происшедшее. Пока я соображал, вдалеке появилась спешащая ко мне изо всех сил пожилая старуха, а за ней человек пятнадцать монашек.

Я не сразу понял, в чем дело, так как все говорили одновременно, перебивая друг друга, но наконец все объяснилось. Я уже ранее упоминал, что сестра моего деда, вследствие какого-то трагического романа, совсем молодой покинула свет и ушла в монастырь. Это и оказалась та обитель, куда постриглась бабушка и где впоследствии она игуменствовала чуть не сорок лет. Монастырь был на редкость бедный и походил больше на религиозную трудовую коммуну. Дед был почти единственным человеком, который, по просьбе сестры, время от времени посылал туда какие-то деньги, так что в данных обстоятельствах я оказался внуком «благодетеля» и мне воздавались по этому случаю соответствующие почести.

Мать-игуменья самолично показывала мне церковь, водила на могилу бабушки и обязательно хотела, чтобы была отслужена какая-то церковная служба, но, к моему счастью, священник пошел в лес по ягоды и его трудно было сыскать. Все же мне не удалось отвертеться от чаепития, против которого я особенно не возра-

жал, так как день был жаркий. Не был забыт и мой злополучный коняга, который также был напоен водой и угощаем овсом.

Когда я тронулся в обратный путь, все население монастыря во главе с игуменьей вышло меня провожать за ограду. Все это было поистине во чужом пиру похмелье.

Само собой разумеется, что поездки по соседним усадьбам и изучение окрестностей не исчерпывали всю мою жизнь в имении. Верные себе, мои родители стали сразу приучать меня к деревенской жизни, заставляя практически знакомиться со всеми сельскохозяйственными работами. Косьбу я воспринимал туго, брал либо чересчур низко и зарывался в землю, тупя косу, либо ударялся в другую крайность и оставлял на поле траву чуть ли не в четверть вышиной. Так я толком косить и до сегодняшнего дня не умею. Жать я научился быстро и делал это хорошо, чему всецело обязан местному священнику, моему учителю. Несмотря на то что это искусство не мужское дело, он, рано овдовев, принужден был овладеть им и считался первым жнецом в округе. Крестьяне говаривали: «За ним никакая самая шустрая баба не угонится». Утомительная это работа, а всего труднее вязать снопы. И спина и руки горят и ноют, а пот, стекая со лба, попадает в глаза и жжет, как огонь.

Мать стремилась как можно скорее механизировать все сельскохозяйственные процессы. У нас появились конные сеялки, грабли, косилки, молотилки, веялки и прочий сельский инвентарь. С машинами у меня дело пошло лучше. Здесь я на опыте постиг, насколько машинный труд легче ручного. Но тут же случилось со мной одно происшествие, которого я не забуду до дня моей смерти.

Косил я как-то на машине. Лошадь попалась старая да притом еще ленивая, а я почему-то спешил и пото-

му, не скупясь, поощрял ее концом вожжей, в которые было вплетено кнутовище. Огрев ее как-то особенно удачно, я пустил свою клячу быстрым аллюром, но вдруг почувствовал, что какая-то неведомая сила стаскивает меня с сиденья, на котором я не в силах удержаться. После короткой и безуспешной борьбы я рухнул прямо на ножи. Помню только, как отчаянно тарахтела косилка, и от ужаса перед тем, что неизбежно должно было произойти, я весь сжался и закрыл глаза. Но стоило мне только коснуться земли, как машина встала как вкопанная. Я открыл глаза — передо мной блестели острые ножи косилки, за которые я судорожно схватился пальцами правой руки, — еще четверть оборота колеса, то есть еще какая-нибудь десятая доля секунды, и ножи начисто бы отрезали мне пальцы. В чем же было дело? Оказывается, стегая лошадь, я захлестнул себя кнутовищем, конец которого попал в колесо и стал наматываться на спицы. В момент моего падения кнутовище намоталось до отказа и намертво затормозило ход машины. К моему счастью, конец вожжей оказался крепким и выдержал, да и лошадь особенно не стремилась преодолеть сопротивление. Домой я пришел еще бледный, с дрожащими руками. С этого времени прошло более сорока лет, а и теперь при воспоминании у меня бегают мурашки по спине и дрожат пальцы. Видимо, судьбе было угодно сохранить мои пальцы, и я своим писанием стараюсь по силе возможностей оправдать ее предначертание. Но это уже мистика!

Все же и машины не всегда облегчали труд. Казалось бы, велика ли работа на молотилке или веялке? Знай подавай снопы в барабан и смотри только, чтобы рукав рубахи не попал на зубцы — затянет, — или крути ручку, как шарманщик. Но погода жаркая, разогреться, вспотеешь, а кругом пыль и острая, как битое стекло, шелуха от колосьев с затвердевшими усами-

иглами. Все это летает в воздухе, попадает за ворот рубахи, прилипает к телу и зудит нестерпимо. Кончишь работу и скорее все долой и в речку. Зато ночью спишь как убитый, безо всяких сновидений и просыпаешься на том же боку, на котором заснул. Свежий воздух и физический труд делают свое дело.

Мать увлекалась налаживанием молочного хозяйства и птичника, а также садоводством и пчелами. В последнем отношении ее наставником стал наш священник, у которого была неплохая пасека. Как священник, так и Кругликов, у которого также были пчелы, подарили матери на развод по улью. При их периодическом осмотре понадобилась моя помощь. Я вооружался разведенным дымарем, надевал на голову нелепую сетку, и мы храбро отправлялись на пасеку. На первых порах пчелы встречали нас враждебно. Однажды, сразу, точно стоворившись, три пчелы угостили меня своим ядом. Я, конечно, распух, температура поднялась у меня до 38 градусов, но все это ненадолго, после этого я стал несколько стесняться пчел. Впрочем, через некоторое время мы привыкли друг к другу, и я настолько обнаглел, что отказался от сетки, только повязывал голову, ибо укус неизбежен, если пчела запутается в волосах. Перестал я бояться пчел и потому, что мой организм привык к их яду, который производил на меня не больше впечатления, чем укус комара. Аромат нагретого солнцем пчелиного воска и меда и до сего времени пленяет меня и кружит голову.

Отдавали мы дань с отцом и дедом Носовым рыбной ловле. Помню как сейчас нашу первую рыбалку вскоре после переезда в имение. Решили пойти ниже плотины — по полученным сведениям, там клевало лучше. Отправились втроем: отец, Н. Ф. Аксагарский и я. Старшие вскоре выбрали местечко и закинули удочки. Не клевало. Тогда я отправился дальше по берегу

искать место. Шел, закидывал, ждал некоторое время и двигался дальше. Так я добрал до поворота реки, опять забросил снасть, и не прошло и двух-трех минут, как мой поплавок стремительно потащило вниз. Я подсек и почувствовал какую-то громадную рыбину. В те времена моя рыболовная квалификация была еще очень низкой, а потому я схватил удилище обеими руками и стал тащить что было силы. В результате мое удилище треснуло пополам и его верхний конец стал быстро клониться к воде. Здесь я уже заорал что было мочи своим компаньонам и все же ухитрился перехватить удилище. Подбежавшие вовремя отец и Аксагарский с подсачком помогли мне вытащить добычу. Это оказался крупный язь до четырех фунтов веса. Этот язь был первой рыбой, пойманной в Афинееве. Естественно, что после этого у нас создалось преувеличенное мнение о рыбных богатствах нашей речушки. Впрочем, крупную рыбу мы там лавливали, и не раз. Помню, что и отец как-то попал в аналогичное со мною положение. Он поехал ловить окуней в пруду, который был на той стороне реки, как раз против дома. Вместо окуней ему сразу на две удочки одновременно попались два линя, из которых один весил около шести фунтов. Подсачка с ним не было, и он истошным голосом вопил о помощи. К счастью, его услышал дед Носов, который быстро перебрался на тот берег и оказал необходимую помощь.

Осенью под руководством деда организовывались охоты с загонем. Для этого мобилизовались все деревенские мальчишки, с небывалым азартом принимавшиеся за дело. Один из них совершенно замечательно брехал по-собачьи — от гончей не отличишь. За этот талант он пользовался особой благосклонностью деда и получал добавочное вознаграждение «за лай». Помню свою первую охоту на зайца. Меня предварительно проинструктировали, вручили берданку почтенного

возраста и поставили на номер. Я терпеливо ждал, прислушиваясь к приближающемуся гону. Передо мной, в перелеске виднелась желто-бурая полянка, окаймленная низкорослыми деревьями, терявшими последние листья. Вдруг прямо передо мной из кустов выскочил уже вылинявший белый заяц и пустился по опушке. Он был от меня шагах в восьмидесяти, то есть явно вне выстрела, но я уверенно поднял ружье и, не целясь, выстрелил. Видимо, он был обречен судьбой, так как перевернулся через голову и пал мертвый. При ближайшем рассмотрении он был поражен единственной дробинкой в глаз. Дед был в восторге от моей удачи и здесь же обещал подарить мне настоящее ружье. Должен признаться, что потом я часто и много ходил на охоту по зайцу и неоднократно стрелял, но больше не встречал обреченных судьбой косоглазых. Это был мой единственный заяц.

Помимо этого, осенью, конечно, все увлекались собиранием грибов, которых было множество и которые солились, сушились, мариновались и жарились до тех пор, пока не ударяли первые морозы. Пора было собираться в Москву. С начала зимнего периода увеличивалось количество дел моего отца, и хотя он и продолжал вырывать дня три в неделю, чтобы приехать в Верино, но это давалось с трудом. Все меры к тому, чтобы к нам был проведен телефон, были приняты, но это могло осуществиться только к будущему лету. Что касается меня, то, благодаря занятиям в училище, я мог приезжать в деревню только на воскресенье.

В этом году мы окончательно перебрались в Москву очень поздно — только в конце октября. Отец снова был занят с утра до вечера, и мы дома видели его только урывками, но наши субботы протекали обычным порядком. Они далеко не всегда были людными, и беседы на них порой не отличались значительностью, но все же неизменно вращались вокруг вопросов театра и искус-

ства. Как я уже упоминал, в те годы я стал регулярно вносить в свой дневник «события дня», а так как я достиг уже восемнадцатилетнего возраста, мое присутствие на субботних сборищах стало постоянным. К сожалению, многие из моих записей пропали, но некоторые сохранились. Восстанавливаю по ним одну из наших рядовых суббот.

Собрались, как всегда, в десятом часу вечера. Вначале разговор шел об юбилее А. А. Яблочкиной. Все ее упрекали в том, что, играя Василису Милентьевну, она не дала ничего своего — все федотовское. Обсуждение «Василисы Милентьевны» послужило поводом для кое-каких воспоминаний, и беседа приняла другой оборот. А. И. Чарин вспоминал, что, когда он играл в местечке Юзовке, около Харькова, во время представления этой пьесы произошел забавный инцидент. Когда Колычев, произнося слова:

Коль говоришь, что любишь, так люби,
А не вертись: забудь обычай женский
Обманывать...—

закалывал Василису, кто-то из райка, указывая на Грозного, неистово завопил: «Старика бей!»

В той же Юзовке шел «Трильби» с М. М. Петипа, который оговорился в одной сцене и, вместо того чтобы сказать: «Мой адрес: улица Тир-Лиард, № 12, не забудьте», сказал: «Мой адрес: улица Тир-Лиард, № 13, не забудьте». На это какой-то завсегдаятай из райка глубокомысленно, на весь театр, произнес: «Эва! переехал!»

Разговоры о Юзовке, по ассоциации, заставили Н. Ф. Аксагарского вспомнить другой случай. В 1903—1904 году в Харькове большой нелюбовью публики пользовался издатель крайне реакционной газеты «Южный край» Иозефович. Он имел обыкновение присутствовать на всех представлениях гастрологи-

рующего театра. Обычно после второго звонка, когда театр погружался в темноту и тишину, Иозефович подходил к рампе, становился спиной к сцене и начал рассматривать зрителей. Как-то кто-то из зрителей верхних мест, увидев его в таком положении, довольно громко произнес: «Иозефович, сядь!» Этот одинокий возглас был тут же подхвачен окружающими, и через несколько секунд весь зрительный зал загремел призывом: «Иозефович, сядь!» Иозефович сел. Тогда тот же робкий голос едва слышно шепнул: «Иозефович, встань!» И снова через несколько секунд это новое повеление громко слышалось отовсюду, Иозефович вскочил и опрометью бросился из театра, в котором после этого долгое время не появлялся.

Отец вспомнил, как у Корша в бенефис Киселевского шли «Денежные тузы». На сцену пришел его свояк П. А. Протопопов и начал бороться с бенефициантом. Наконец Протопопов одолел Киселевского, повалил его на пол и сел на него верхом. В это время кто-то по ошибке дал занавес. Это развеселило весь зрительный зал.

Это напомнило Чарину аналогичный случай. Во время масленицы актеры у Корша обыкновенно приходят с утра в театр и уже не уходят до ночи. Вот во время одного утренника захотелось актерам поесть блинов. Послали уборщицу в ближайший трактир. Она раздобыла блинов и идет по сцене с судком, а занавес поднялся. Помощник режиссера показывает ей, чтобы она шла обратно, а та ничего не понимает и идет прямо в бутафорскую реку. Тогда режиссер, пренебрегая всем, кричит: «Куда? Куда? Вода! вода!» Уборщица обалдела, поставила судок на пол и задрала юбку.

Не меньше смеха вызвал и другой инцидент, происшедший в Ростове-на-Дону. Антрепризу держал Си-нельников. Шла «Смерть Иоанна Грозного» с Далматовым — Грозным и Самойловым-Мичуриным — Годуно-

вым. В четвертом акте Самойлов-Мичурин по приказу Грозного идет взять синодик за кулисы, а помощник режиссера позабыл его приготовить. Время не терпит, и помреж сует нервничающему Годунову свою записную книжку с приказом читать под суфлера. Начинается чтение, Самойлов-Мичурин плохо слышит, что ему подают, и врет отчаянно. Наконец подходит фраза:

Помилуй, Господи, и упокой
Крестьян опальных сел и деревень
Боярина Морозова, числом
До тысячи двухсот.

Самойлов-Мичурин половину недослышал, но первые две строчки произнес правильно, а затем:

Боярина Морозова со чадами
До тысячи двухсот!

Далматов не выдержал, истово перекрестился и глубоко-комысленно произнес:

Огромное семейство.

Зрительный зал загрохотал от хохота.

Чарин припомнил, как оговорился Валентинов у Корша в пьесе «Ночное». Он совершенно не знал роли и вел ее все время под суфлера. Недослышек было тьма, но все они сходили не замеченными публикой, но наконец одна заставила весь театр разразиться смехом. Вместо того чтобы произнести: «Тебе-то, бабушка, хорошо, ты на пасеке сидишь», Валентинов выпалил: «Тебе-то, бабушка, хорошо, ты напакостил и сидишь...»

После этого разговор переменялся. Возмущались, что не разрешают праздновать столетие со дня рождения Шевченко. Потом разговор как-то коснулся докторов. Чарин рассказал о случае, происшедшем с ним

в Берлине. Приехав в Берлин, он захотел посоветоваться относительно своего здоровья с бывшим лейб-медиком Александра III профессором Лейденом. Знакомый Чарина, некто Редер, взялся свозить его к профессору, предупредив, что врачу за визит надо уплатить тридцать марок и чтобы Чарин положил в бумажник только эту сумму. После консультации Чарин, прощаясь, вручил Лейдену тридцать марок. Тот посмотрел и сказал: «Мало». Чарин заверил, что он, к сожалению, более не может и что даже и денег-то у него с собой нет больше. Тогда профессор протянул руку и преспокойно потребовал: «Позвольте ваш бумажник». Убедившись, что денег в нем нет, он вздохнул, поклонился и выпроводил Чарина из кабинета.

Разъехались во втором часу.

Это была рядовая суббота, но бывали субботы и многолюднее, и интереснее, и оживленнее. В этом году, правда, их количество несколько сократилось, так как, возвратившись из деревни в конце октября, мы через полтора месяца, в середине декабря, вместо обычной поездки за границу снова перебрались в Апрелевку. Это была моя первая зима за городом. Я не люблю этого времени года, не люблю холода, морозов, но зима в деревне, в особенности в тихий, морозный, солнечный день, полна такой неизменной прелести, что ради этого можно пренебречь всем. Выйдешь из дома, снег переливается всеми цветами радуги, тишина такая, что в ушах звенит, над деревенскими избами синий дым столбом поднимается в небо, а пойдешь — и заскрипит дорога под мягкими валенками.

Многое врезалось в память от этой первой зимы в деревне. К праздникам надо было сооружать елку. Решили выбрать и срубить ее своими силами. Нам запрягли двое розвальней, на одни сели отец с матерью, а на другие мы с Аксагарским, и, захватив топоры и веревки, весь поезд отправился на нашу лесную дачу.

Погода была чудесная. Приехав туда, отперли избушку лесника, растопили печку, поставили самовар и, пока мать готовила чай и разбирала привезенную с собой еду, отправились в лес. Снег девственный, никем не потревоженный, лишь расписанный многочисленными узорами следов зайцев, лисиц, тетеревей и прочих своих обитателей, лежал ровным, пушистым покровом. Лапы могучих елейгнулись под тяжестью снежных наметов, которые изредка тревожила пугливая белка. Тогда снег ссыпался вниз, обдавая серебристой пылью, быстро таявшей на лице.

Скоро подходящее дерево было найдено, свалено, приторочено к саням, и мы возвратились в лесную сторожку. За чаепитием и беззаботными разговорами мы и не заметили, как быстро стало темнеть. Наконец, спохватившись, вышли наружу, а от хорошей погоды и следа не осталось — все небо заволочло низкими тяжелыми тучами, и разыгралась поземка. Быстро собравшись, мы пустились в обратный путь, но здесь повалил снег, который был быстро превращен ветром сперва в вьюгу, а затем в буран. Когда мы выехали из лесу, уже ничего кроме сплошных непроницаемых полотнищ снега не было видно. Даже бубенцы на хомутах лошадей заглохли. Наши сани ехали передовыми, я правил. Как только мы выехали на дорогу, я бросил вожжи, предоставив лошади самой разбираться в пути. Саней матери с отцом, которые ехали сзади, естественно, видно не было, так как мы на наших-то санях скорее угадывали, чем видели голову своей лошади. Но коняга не подвел, через полчаса езды по бокам дороги возникли туманные силуэты нашей деревни, и спустя несколько минут мы с елкой были уже дома. Но родители пропали, а буран не унимался. Ждали полчаса, час, а их все нет. Пришлось идти к церковному сторожу и просить его каждые четверть часа выбивать часы на колокольне. Но и это не помогло, оставалось одно —

ждать окончания непогоды. Часа через два, когда уже смеркалось, ветер стал утихать и небо постепенно очищаться. Отец с матерью приехали, когда уже небо было покрыто звездами. Оказывается, они не бросили вожжей, как я, и быстро потеряли ориентацию. Часа через полтора блужданий они наконец выехали к какому-то домику. Это оказалось усадьбой мелкопоместного помещика Даксергофа, отстоявшей от нашей верстах в двенадцати. Там они и пережидали непогоду в компании на редкость разговорчивого и темпераментного хозяина, большого любителя старины.

Последующие дни проходили в подготовке и украшении елки. На второй день праздника мать пригласила на елку всех деревенских ребятишек. Они явились толпой, внося с собой в зал морозную свежесть зимнего вечера. Сперва робели, конфузились, с немым удивлением взирали на разукрашенное дерево, но когда мать стала оделять их гостинцами и подарками, их застенчивость стала проходить. Посыпались вопросы, появилось желание поближе познакомиться со всем тем, что висело на елке, конечно, потрогать руками. А когда стали играть в горелки и в прочие игры, уже все окончательно осмелели и почувствовали себя свободно. Пробыв у нас часа четыре, они веселой гурьбой отправились по домам.

К Новому году морозы стали крепчать. В новогоднюю ночь, после встречи, мы взглянули на наружный градусник — он показывал 32 градуса ниже нуля по Реомюру, то есть почти 40 градусов по теперешнему исчислению. Мы, молодежь, а тогда ее собралось достаточно у нас, решили, конечно, идти гулять, чтобы испытать «полярный холод». Надо признаться, что мы оказались разочарованными — то ли от необыкновенной неподвижности воздуха, то ли оттого, что мы вышли из жарко натопленного дома, да еще выпив вина, но особого холода не ощущалось, было только

трудно дышать да особенно ярко горели звезды и необычно звонко скрипел снег под ногами. Но красиво было сказочно. Наш парк принял какие-то фантастические очертания. Здесь-то и родилась у нас мысль о новой забаве, которую мы осуществили на другой день.

Выбрав в парке небольшую и хорошо запорошенную снегом елочку, с тем расчетом, чтобы ее хорошо было видно из дома, мы днем осторожно прикрепили к ее ветвям свечи, которые и зажгли, когда наступила ночь. Картина получилась волшебная, никакие елочные украшения не смогли конкурировать с тем богатством, которым разукрасила природа не только нашу елку, но и ее ближайших соседок. Все кругом искрилось и сияло, переливаясь разноцветными отблесками. Эти «елки для зайцев» мы впоследствии повторяли неоднократно.

Остался в памяти и еще один вечер. Посторонних никого не было. На дворе было морозно. В комнате горели камин, до которых отец был большой охотник. Сам он занимался у себя в кабинете. Поздно вечером он вышел размяться в другие комнаты и забрел в гостиную. Здесь задорно трещал камин и сидели все мы, каждый углубленный в свои дела. Отец долго молча смотрел на огонь, а потом подошел к пианино. Он взял переплетенные тома старых нот, доставшихся нам с прочим имуществом имения от прежних владельцев, и стал их просматривать. Там все были романсы времен его юности. Затем он открыл крышку и стал играть. Игра отца была чисто дилетантской — он учился мало и руководствовался больше слухом, — но отличалась редкой выразительностью и исключительной мягкостью туше. Затем он стал напевать вполголоса, а потом зашел и в полный голос. Мы все застыли, так как отец никогда не пел, — я лично слушал его в первый раз. Он пел один романс за другим, вспоминал арии, которые

он исполнял, его мягкий бархатный баритон звучал все свободнее и свободнее. Наконец он закрыл крышку инструмента, встал, оживленный и веселый, потянулся и заявил:

— Хорошенького понемножку. Пора чай пить да спать!

Это был единственный раз, когда я слышал пение отца. Праздники промелькнули быстро, и мы снова очутились в Москве. Вся первая половина этого года прошла у меня под знаком подготовки к выпускным экзаменам. Помимо усиленных занятий, были и тревожные думы о будущем. Надо было остановиться на каком-либо высшем учебном заведении, в котором я мог бы продолжать образование. Сердце лежало у меня только к историко-филологическому факультету Московского университета, но путь в него был закрыт ввиду того, что в реальном училище, которое я оканчивал, латынь не преподавалась, а без этого языка в университет не принимали. Решено было, что я подготовлюсь по-латыни дома и сдам экзамен экстерном, но это оказалось невыполнимым, так как занятий без латыни хватало. Идти в техническое я никак не хотел. Оставались Сельскохозяйственная академия, Коммерческий и Лазаревский институт. После долгих раздумий я все больше и больше склонялся к Лазаревскому институту, благо языки мне давались легко. Но в этом отношении дело еще терпело, а сейчас все внимание приходилось обращать на предстоящие экзамены. Когда наши в марте месяце перебрались в имение, я, как всегда, переселился к деду Носову, где жил и мой двоюродный брат Кирилл Енгальчев, находившийся в таком же положении, как и я. Весной, когда наступила экзаменационная пора, подготовка вдвоем пошла успешнее. О деревне пришлось забыть. Даже иное воскресенье приходилось сидеть в Москве за учебниками.

Наконец все оказалось позади — экзамены были сданы более чем благополучно, даже по математике. Наступил день, когда нам торжественно вручили аттестаты, и все учителя здоровались с нами за руку. В тот же день вечером я наскоро собрался и укатил в Апрельку.

Родители отметили мое окончание училища подарком — мне была презентована верховая лошадь и приобретено новое, удобное седло. Лошадка была немолодая, смиренная, ходила она вполне прилично, а главное, могла идти и в упряжке. Впрочем, у ней были свои причуды. Так, идя быстрым аллюром, она вдруг решала прекратить это дело и останавливалась как вкопанная. Не зная об этой ее особенности, я, в первый раз при такой выходке, перелетел через голову лошади, которую она предусмотрительно опустила, и репкой ткнулся в землю. Однако все обошлось благополучно, тем более что мой конь преспокойно стоял и с любопытством смотрел, что вышло из его маневра. Своей лошади я дал громкое имя Гамлет.

Дед Носов подарил мне охотничью двустволку и билет члена Охотничьего Общества.

В этом году я всецело предался деревенской жизни и до конца июля съездил в Москву только один раз, чтобы подать свои бумаги в Лазаревский институт. Отец начал уже в Верине серьезные преобразования — пристраивалось крыло к дому, возводились въездные ворота и решетки, сооружалась лестница к реке, внутри дом перекрашивался и передельвался. Телефон уже соединил нас с Москвой.

С конца июня встала знойная погода. Грозы были редкостью. С утра воздух был уже раскален и неподвижен. Дали были окутаны сиреневой дымкой, и пахло гарью. Горели где-то леса и торфяные болота. К середине дня становилось невыносимо. Люди, сидя в комнатах, обливались потом. Лишь с закатом солнца жара

начинала постепенно спадать, но в доме было столь же душно, как и днем. Ища спасения от палящего зноя, все живое стремилось в воду. Наши собаки все время валандались в речке. Даже птицы, выбрав мелкое место около берега, трепыхались в воде. Люди не отставали от животных. Каждую свободную минуту мы лезли купаться, но это мало помогало — вода была как парное молоко и освежала только на время купанья. Спать в комнатах было невозможно. Я вылезал в окно верхнего этажа, выволакивал за собой тюфяк и располагался на крыше, но как только подымалось раннее летнее солнышко, приходилось спасаться в душевные комнаты. Рыба не клевала, забившись под коряги в студеной глубине.

Распорядок дня весь переменялся. Полевые работы как у нас, так и в деревне производились только ранним утром и поздним вечером дотемна. Днем все вымирало. Не слышно было даже песен. Молчали и голосистые, неугомонные деревенские девки и даже горластые пехоты. В пятницу, когда обычно приезжали гости из Москвы, мы следовали малаховским традициям и отправлялись гулять после вечернего чая, часов в одиннадцать ночи, и бродили до восхода солнца. Разница была лишь в том, что в Малаховке это легко можно было и не делать, а в данных условиях иначе поступить было нельзя.

Несмотря на то что эта погода ничего угрожающего не предвещала — зима была снежная и ранней весной лили обильные дожди, благодаря чему травы были хорошие, уборка прошла быстро, сено было сухое и душистое, а рожь и овес наливались прекрасно. Жара действовала угнетающе, она давила и создавала тревожное настроение.

На всю жизнь мне запомнилась суббота 11 июля 1914 года. К вечеру ждали гостей. Солнце палило с утра, как обычно. Часов около четырех я отправился

в купальню, залез в воду и стал блаженствовать. Вдруг с берега раздался голос Наташи Кондрашовой, неожиданно приехавшей с часовым поездом, а не с четырехчасовым, как обычно.

— Ну, ты там скоро кончишь прохладиться? Другим тоже охота покупаться!

На это я ответил не особенно вежливо, но искренно:

— Подожди! Все в свое время — ожидание только увеличит удовольствие.

— Валяй, валяй, скорее, — возразила она, — я газеты интересные привезла — в Сараеве убили австрийского наследника Франца-Фердинанда.

— Как убили? Что же, он умер?

— Раз я сказала убили — значит, умер!

Это сообщение меня заинтересовало, и я вскоре освободил купальню.

Познакомившись с газетами, я стал думать о другом — о том, куда пойдем гулять ночью и что будем делать завтра. Убили так убили, — значит, такова судьба.

Надо признаться, что в те годы не только люди моего возраста, но и большинство старших имели очень относительное понятие о законах развития человеческого общества. А из тех немногих, которые разбирались в этом деле, мало кто предвидел все последствия происшествия в Сараеве.

Я лично в то лето очень хорошо понимал, что годы моей беззаботной юности навсегда миновали, что я вступил в новый период моей жизни, в период молодости, когда придется уже самому шевелить мозгами, не ожидая, что кто-то подумает вместо тебя, но я был очень далек от мысли, что стою в преддверии величайшей политической и социальной катаклизмы, которая перевернет весь мир вверх дном.

*Москва — Витенево
1941—1955 гг.*

Комментарии

Текст печатается по авторизованной машинописной рукописи с авторской правкой. Рукопись хранится в ГЦТМ, ф. 1 (оп. 2), ед. хр. 3133. Авторские купюры в тексте восстановлены и отмечены угловыми скобками. Все сноски в тексте составительские, авторские выделены особо. Публикуемые фотографии — из фондов ГЦТМ.

Стр. 30. *...патриархальными традициями...* — Оправдывающийся тон автора продиктован идеологической атмосферой времени написания книги и, конечно, желанием увидеть свой труд опубликованным.

Удастся ли мне это — не знаю. — К сожалению, воспоминания не были продолжены.

Стр. 31. *«Из мрака времен».* — Первоначальное название книги.

Стр. 35. *...провозгласившего Александра II идеалом монарха.* — В книге «Былое и думы» Герцен писал: «...бывают времена, в которые люди мысли соединяются с властью, но это только тогда, когда власть ведет вперед, как при Петре I, защищает свою страну, как в 1812 году. ...врачует ее раны и дает ей вздохнуть, как при Генрихе IV и, может быть, при Александре II» (Герцен А. И. Собр. соч.: В 8 т. М.: Правда, 1975. С. 242).

Стр. 36. *...остановились у подъезда королевского дома...* — Об этом вспоминает также А. П. Бахрушин, очевидец события. Он жил в отцовском доме в Кожевниках, недалеко от Лужнецкой улицы. «Как сквозь сон помню посещение императо-

ром Александром II дома Л. М. Королева (...) в конце лета или осенью. Нас маленьких (полагаю, в начале 60-х годов) нянька водила вечером посмотреть на съезд, и мы видели страшно загроможденную улицу и ярко освещенные окна дома М. Л. Королева. Народу было массы. (...) То была честь Москве, честь московскому купечеству, честь русскому человеку!» (Бахрушин А. П. Кто что собирает (Из записной книжки А. П. Бахрушина). М., 1916. С. 142.)

Стр. 41. ...*царь лично открывал ярмарку-выставку.* — Макарьевская ярмарка открывалась ежегодно с середины XVI в. на левом берегу Волги. Затем была переведена на левый берег Оки напротив Нижнего Новгорода и стала официально называться Нижегородской. К концу XIX столетия она стала крупнейшей в Европе. Обороты здесь ежегодно исчислялись сотнями миллионов рублей. Это был огромный перевалочный пункт из Европы в Азию. Тут также устраивались художественные выставки, выступления артистов. Именно здесь приобрели известность Шаляпин, Коровин, Врубель. Конст. Коровин вспоминал: «Деревянные дома в различных вывесках, во флагах. Пестрая толпа народа. Ломовые, везущие мешки с овсом, хлебом. Блестящие сбруи лошадей, разносчики с рыбой, баранками, кренделями. Пестрые, цветные платки женщин. А вдаль — Волга. И за ней — Нижний Новгород. Горят колокола церквей... Какая бодрость и сила!»

Стр. 42. ...*не пожалели старики, чтобы одеть своих наследников.* — Ср.: «Двадцать семь детей из московского и нижегородского родовитого купечества составили отряд рынд, одетых в красивые белые кафтаны с секирами на плечах. Молодые люди были подобраны один к одному. Костюмы были дорогие. У многих были подлинные серебряные секиры» (Бурышкин П. А. Москва купеческая. М.: Столица, 1990. С. 65, 66).

Стр. 65. ...*завел специальный альбом.* — Одна из самых больших ценностей рукописного фонда ГЦТМ. В нем имеются автографы М. Савиной, М. Дальского, К. Варламова, П. Стрепетовой, Ф. Шаляпина, Л. Собинова, Т. Сальвини, Ц. Кюи, К. Бальмонта, А. Белого, В. Вересаева, А. Глазунова, А. Ремизова, Ал. Бенуа, В. Брюсова, М. Баттистини и др. Вот некоторые записи: «Нет, я не унываю — в жизни еще много прекрасного — есть природа, есть семья, есть искусство!» Вера Пашенная. 28 июня 1918 г. «Чисто русские простота и ра-

душие В. В. и А. А. Бахрушиных удивительно благотворно и успокоительно действуют на болеющую душу. Русское им спасибо за это!» В. Давыдов. 27 мая 1918 г. (ф. 1., ед. хр. 4935, 4983).

Стр. 76. ...подарила отцу в музей все письма к ней великого композитора. — Ныне в ГЦТМ хранятся 27 писем П. И. Чайковского к Э. К. Павловской. Часть из них была опубликована, приведем некоторые.

4 фев. 1844 г.

«Дорогая, чудная Эмилия Карловна!

Я доведен испытанными волнениями до такого состояния, что решил сегодня же уехать за границу и искать отдыха в дальнем путешествии. Спасибо Вам, несравненная Marie, за неописанно-чудное исполнение роли. Дай Бог Вам всякого счастья и успеха! Никогда не забуду глубоких впечатлений, доставленных Вашим дивным талантом. Целую Ваши ручки. Ваш до гроба

П. Чайковский.

14 марта 1885 г.

⟨...⟩ Спасибо Вам, добрейшая, дорогая, милая благодетельница, за чудный портрет. Лучшего подарка нельзя было мне сделать, как столь удачное изображение моей Татьяны, Марии, будущей Оксаны, Чародейки и т. п.

Будьте эдоровы, покойны и счастливы! Если найдется свободная минуточка, напишите в более или менее близком будущем... горячо Вас любящему и верному другу

П. Чайковскому.

Поздравляю с новым контрактом. Сергею Евграфовичу дружески кланяюсь» (ЦГТМ, ф. 201, ед. хр. 4, 11).

Стр. 83. ...писал длинные письма отцу... — В ГЦТМ в отделе рукописей хранится 47 писем Е. Н. Опочинина к А. А. Бахрушину, с 1898 по 1919 г. В основном письма эти деловые, касающиеся пополнения театральной коллекции: известно, что Опочинин был одним из основных ее вкладчиков. Есть письма и личные, подчеркивающие доверительный характер отношений двух замечательных людей. Первое письмо к Бахрушину было написано 14 сентября 1898 г.,

непосредственно после знакомства с бахрушинским собранием:

«Многоуважаемый Алексей Александрович! Приехав вечером домой, я, несмотря на поздний час, принялся за поиски у себя чего-нибудь пригодного для Вашего собрания. Результаты этих поисков, по необходимости поверхностных, — посылаю и прошу покорно не взывать за их незначительность. Ex-libris Шуберта нашел пока один, да и то попорченный. Знаю, что где-то у меня есть лучше, но найти сейчас не мог. <...> Автографов нашел пока штук 20. Рассчитываю найти еще по крайней мере 100. Дело в том, что их отыщется немало в моей старой переписке. Писем всего около 4 тысяч. Следовательно, есть что поискать.

Здесь у меня есть еще порядочная пачка бумаг из вотчинного архива графов Дмитриевых-Мамоновых, попавшая ко мне по родству. Среди этих бумаг нет интересных автографов, но есть курьезы. <...>

От души благодарен Вам за радушие и гостеприимство, а также за любезность, с какой Вы предоставили мне возможность познакомиться с Вашей богатой и интересной коллекцией. Буду очень рад, если чем-нибудь буду в состоянии способствовать ее пополнению.

С искренним уважением и преданностью
Ваш покорный слуга *Е. Н. Опочинин*
(ГЦТМ, ф. 1, ед. хр. 2196).

Следующее письмо, помеченное 11 января 1905 г., интересно прежде всего как свидетельство очевидца событий того года:

«Не знаю, в Москве Вы или еще в Кисловодске, многоуважаемый Алексей Александрович, но наудачу пишу в Кисловодск. Немного времени прошло с моего последнего к Вам письма, но много «воды утекло»... Вы, конечно, из телеграмм уже знаете о страшных событиях в Петербурге, а теперь то же начинается и в Москве. Говорят, забастовало уже 9 фабрик, в том числе и Ваша. Последнее, впрочем, только слух, Вам, вероятно, лучше знать. Из газет завтра не выйдет только одна — «Новости дня», остальные пока не покинуты наборщиками. Сегодня было уже несколько столкновений рабочих с казаками на окраинах, но серьезное «дело» будто бы

произойдет 14-го и затем 20-го. Как видите, театром военных действий теперь, кроме местностей Дальнего Востока, будут обе наши столицы... Между прочим, здесь ожидается общая стачка и забастовка почтальонов и телеграфистов, так что и писать Вам мне больше не придется, хотя я с полной готовностью желал бы сообщить Вам обо всем, что здесь происходит. Как бы то ни было, а времена мы переживаем исторические <...>

Население Москвы пока только в тревоге, но если случится, что обещают — перерыв водопроводной магистрали и забастовка газовых заводов и электрических станций, — то будет и паника, которая царит теперь в Питере. Хорошо, что Ваша семья теперь далеко от Москвы, в тихом и хорошем уголке Кавказа! Я Вам невольно завидую. За себя я, конечно, ничего не боюсь, но за моих малышей, думается, позволительно и бояться.

Приходит мне в голову еще одно опасение — за все, что собрано у Вас в доме. Вот в такие времена нельзя знать, на что бросится толпа, а Замоскворечье теперь считают едва ли не центром рабочего движения. Однако я не сомневаюсь, что домовничать у Вас оставлен народ надежный, и, Бог даст, все обойдется. Во всяком случае, что бы ни понадобилось Вам, пожалуйста, располагайте мною вполне. Пишите, а еще лучше телеграфируйте, и я сделаю все, что надо и что в силах сделать.

Простите, хотел бы порассказать Вам еще о многом, но писать больше не могу, — так взволновали меня последние вести.

Искренне уважающий и преданный Вам *Е. Н. Опочинин*.

P.S. Не откажите передать мой душевный привет Вере Васильевне и Юрочке, а «Александру Алексеевичу» (младший сын Бахрушиных. — *Н. С.*) пожелание доброго здоровья (ЦГТМ, ф. 1, ед. хр. 2227).

Стр. 98. *Делами фабрики дядя не занимался...* — Ср.: «Это был большой оригинал. Вставал он (Сергей Александрович Барухшин. — *Н. С.*) обычно в три часа пополудни и ехал в амбар, где состоял кассиром суконного склада. Приезжал он, когда уже запирали» (Б у р ы ш к и н П. А. Москва купеческая. С. 127).

Стр. 110. *...времен Очакова и покоренья Крыма...* — неточ-

ная цитата из «Горе от ума» А. С. Грибоедова: «Времен очаковских и покоренья Крыма».

Стр 112. ...его мощи не были еще открыты... — Прославление Серафима Саровского и открытие его мощей торжественно совершились 19 июля 1903 г. Об этом знаменательном для России дне вспоминает кн. Владимир Волконский, крупный государственный деятель тех лет: «(...) Когда я ехал в Саров (...) и выехал на большую дорогу, то вплоть до монастыря я ехал рядом с почти непрерывной цепью богомольцев; шли молодые, шли в одиночку, шли семьями, шли старики и такие калеки, что понять было трудно, как эти люди вообще могли двигаться, а шли они десятки и сотни верст, в самую жару в середине июля. Помню старенькую-старенькую, сгорбленную старушку, сама от древности едва двигалась, а тащила за собой тележку — небольшой ящик с деревянными кружками вместо колес, — и в этом ящике была положена — иначе выразиться нельзя — еще более древняя старушка, уже десятки лет недвижимая, а подвигались они таким образом, по обочинам дорог, уже много месяцев, чтобы поспеть к торжеству прославления старца Серафима: поспели, я их видел там, обе довольны — сподобились... Чем ближе к монастырю, тем вереница идущих богомольцев становилась все гуще, а в окружающем монастырь и принадлежащем ему лесу были толпы их. Всюду были построены бараки, устроены походные кухни, медицинские пункты: все, что было возможно сделать для такого наплыва народа, было сделано. (...) Через день или два, кажется 17 июля, приехали на лошадях из Арзамаса Государь, Императрица и почти вся Царская Семья. Встреча была в лесу, на границе Нижегородской губернии, в версте от монастыря; кроме официальных лиц, были группы от разных народностей Тамбовской губернии. Удивительно красива была депутация мордвы. Их одежда, головные уборы и невиданные украшения, которыми сплошь были увешаны мордовки, производили впечатление чего-то древнего, полудикого, языческого; почетные татары в своих цветных халатах, поневы крестьянок — все это на фоне столетнего бора и освещенное полуденным июльским солнцем делало всю картину встречи поразительно красочной, врезающейся в память. Внутри, за стеной монастыря и вокруг него было море голов. (...) Все были один другому действительно други; иначе на-

звать это настроение, как умиленным, я не могу; и эта умиленность, эта ласковость царила над всем Саровом и над всеми под его сень пришедшими. Хорошо было очень! <...>

За все время, что Государь был в Сарове, словом, за все время «торжеств», не было ни одного случая недовольства, настроение оставалось все время хорошее, ласковое ко всем. Государь свободно ходил всюду; по отношению к нему народ был трогателен. Все, что Государю пришлось увидеть и почувствовать в Сарове, осталось у него глубоким и хорошим воспоминанием, он любил о нем говорить; я слышал от него фразу: «Когда вспоминаешь о Сарове, как-то тут захватывает», — и показал на горло (Москва. 1991. № 5. С. 164, 165).

Стр. 117. *...где он якобы принимал Александра I...* — Имеется в виду версия, по которой Александр I не умер в Таганроге, а, приняв монашеский сан, находился несколько лет в Саровской обители у преподобного Серафима Саровского, а после его смерти жил в Сибири в образе чудотворного старца Федора Кузьмича. См. подробно в кн. Даниила Андреева «Роза мира». М.: Прометей, 1991. С. 169—172.

...ездили мы и в Дивеево... — В Дивеево, вблизи от Саровской пустыни, находился женский монастырь, основанный преп. Серафимом Саровским.

Стр. 129. *...факт посещения вел. княгиней Каляева в тюрьме.* — Речь идет о вел. княгине Елизавете Федоровне, великомученице, супруге вел. князя Сергея Александровича, сестре императрицы Александры Федоровны. После смерти мужа она полностью отдала себя служению ближним. Основала в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия, госпиталь. После революции сочла своим долгом остаться в России, где в ее помощи нуждались сотни страждущих. В 1918 г. была арестована большевиками и сброшена живой в Алапаевскую шахту.

В ГЦТМ сохранились ее письма к А. А. Бахрушину, касающиеся их совместной деятельности в делах благотворения. Приводим два из них:

Алексей Александрович!

Благодаря заботливости и энергии Вашей еще с декабря месяца началась работа по организации сбора «Красное Яичко» в пользу несчастных детей, пригретых моими трудо-

выми артелями, ночлежными домами и «Маяком» на Хитровом рынке.

Сбор прошел в удивительном порядке, без всяких недоразумений и без пропажи кружек.

Несмотря на дурную погоду 28-го марта — холод с мокрым снегом, кружки дали около 38 000 рублей. Такой блестящий результат меня крайне радует и радует потому, что жители Москвы от богатого и бедного вносили свою лепту и крупными суммами и в большом количестве медными деньгами, — давали каждый, кто что мог.

От всего сердца благодарю Вас за Ваш громадный труд, который Вы посвятили на пользу дорогому моему сердцу делу спасения несчастных детей, радуюсь вместе с Вами успешными плодами его и надеюсь, что Господь Бог Вам даст силы и здоровья и в будущем помогать мне в этом добром деле.

Примите от меня на память в знак глубокой благодарности пасхальное яйцо и мои лучшие Вам и Вашей семье пожелания к светлым дням Св. Пасхи.

Уважающая Вас
Елизавета.
4 апр. 1914 г.
Москва

Алексей Александрович!

Обычный сбор на «Красное Яичко» в пользу детей улицы, призываемых в моих трудовых артелях, ночлежных домах и «Маяком» на Хитровом рынке, превзошел мои ожидания.

В эти грозные, но главные для русского оружия месяцы, конечно, все пожертвования естественно притекали на помощь страждущим нашим богатырям, их семьям, на праздничные подарки героям на местах боев.

Невзирая на это, Москва, как и раньше, откликнулась своим отзывчивым сердцем на мой призыв и внесла на «Красное Яичко» свою добрую лепту около 50 000 руб. Благодаря удивительной энергии Вашей организационная работа сбора, протекавшая в прошлые годы до 4 месяцев, в этом году заняла не более 2 недель и тем дала возможность всем лицам, принявшим участие в этой организации, посвятить свое время огромному делу заботы о наших воинах-героях.

От всего сердца благодарю Вас за громадный труд и сердечную о моем деле заботу. Радуюсь за тех несчастных детей,

которым Москва подарила Красное Яичко к Светлым дням Христова Воскресения.

Примите от меня в знак глубокой благодарности и на добрую память Пасхальное яйцо и мои сердечные пожелания Вам и семье Вашей полного благополучия на многие годы.

Елизавета.

4 марта 1915 г.

Москва

(ГЦТМ, ф..1 (оп. 2) ед. хр. 725, 726).

Стр. 130. ...князь *Сергей впервые в жизни раскинул мозгами.*— Подобные «шутки» как нельзя лучше характеризуют нравственное состояние так называемого образованного общества начала века, когда общественное мнение, как правило, принимало сторону убийц-террористов, а не убиенных ими людей. Об атмосфере того времени писал Сергей Фудель: «Ужас положения растет с каждым днем. Я говорю не о политическом положении страны, не о торжестве той или другой партии и даже не о голоде и нищете, неминуемо грозящих населению. Как пастырь церкви, я вижу ужас положения в том душевном настроении, которое постепенно овладевает всеми без исключения. Это настроение есть — ненависть. Вся атмосфера насыщена ею. Все дышит ею. Она растет с каждым часом: у одних к существующему порядку, у других — к забастовщикам; одна часть населения проникается ненавистью к другой... Чувствуется, что любовь иссякла... и в этом бесконечный ужас положения. К нам, пастырям церкви, обращаются наши прихожане с неотступной просьбой указать — где же выход, умоляют принять какие-либо меры умиротворения и спасения... У нас есть собственное оружие, которое всегда при нас и единственное только действительно к господствующему чувству. Это средство — общественная молитва к Господу Любви «о умножении в нас любви и искоренении ненависти и всякой злобы» (Новый мир, 1991. № 3. С. 195).

Стр. 142. ...его присутствии на Пушкинском заседании в университете в 1880 году.— В марте 1880 г. в Москве состоялось торжество по случаю открытия памятника Пушкину. В Московском университете в эти дни проходили публичные заседания, на одном из которых выступил Ф. М. Достоевский. Речь его, где прозвучали слова о всечеловечности русского гения, произвела огромное впечатление.

Стр. 153. ...*Замоскворечье роднилось с Лефортовым...* — Имеется в виду породнение двух крупных купеческих кланов — Бахрушиных и Носовых. Первые жили в Замоскворечье, вторые — в Лефортово.

Стр. 160. ...*но и обвинить в этом других.* — Имеется в виду подозрение, выдвинутое против А. В. Сухова-Кобылина в 1850-х годах и громкий уголовный процесс в связи с загадочным убийством его гражданской жены, француженки Луизы Симон-Демаиш. Несмотря на то что были наказаны и сосланы в Сибирь его дворовые люди, от недомолвок и порочащих его слухов писателю не удалось избавиться до конца своей жизни.

В ГЦТМ хранится дело по расследованию убийства и некоторые документы и письма писателя. Вот одно из них, министру юстиции графу В. Н. Панину, 1853 г. «Ваше Сиятельство. Закон не позволяет мне видеть Вас, но оскорбление, нанесенное моему имени, и страдание, которые я безвинно и противузаконно должен был вытерпеть, дают мне право беспокоить Вас. Я не имею никакой нужды в оправдании. Взгляд Ваш на дело убедит Вас в этом, но я прошу Вас именем того правосудия, которого Вы главнейший орган, обратить строгое внимание Ваше на вопрос: за что я был взят и содержим в тюрьме и почему трехлетнее судопроизводство не отстранило мое имя от дела по смертоубийству. Это вопрос о чести гражданина, и я не могу допустить в себе мысли, чтобы он не был первым вопросом судебного правосудия. Прилагая у сего записку, содержащую не мои рассуждения, а одни ссылки на страницы дела, я глубоко убежден, что высокая справедливость Ваша и Ваше сердце оправдают мой поступок перед Вами. Имею честь пребыть Вашего Сиятельства милостивого Государя покорный слуга Александр Сухово-Кобылин (ГЦТМ, ф. 273, ед. хр. 1).

Стр. 163. ...*приглашен К. Маковский.* — К. Е. Маковский сам изъявил желание писать портрет В. В. Бахрушиной, о чем свидетельствует письмо художника Василия Кривенко к А. А. Бахрушину, от 21 июля 1899 г.: «Давно мы, дорогой Алексей Александрович, не перекидывались с Вами словечками. Вот я пишу и посылаю письмо через посредство нашего знаменитого художника, одним словом, через Константина Егоровича Маковского. Мы беседовали с ним о портретной

живописи, и я невольно перенесся в Лужнецкие бахрушинские палаты, мне вновь обрисовался поэтический облик Вашей милой супруги, и я принялся на память рисовать ее портрет... Константин Егорович воспыла желанием быть представленным Вашей супруге, его художественная натура не выдержала, заговорила... Простите, голубчик, за мою смелость и предложение постучаться письмом в Ваши двери. Я знаю Ваши эстетические чувства и уверен, что Вы примете все здесь написанное самым добродушным образом, то есть так, как и должно быть...» (Театральная жизнь. 1990. № 23).

Стр. 240. *Когда он только что проехал Анненгофскую рощу...* — Анненгофская роща находилась в юго-восточной части Лефортова, между современными Красноказарменной, Авиамоторной улицами и Краснокурсантским проездом. Получила название от дворца «Летний Анненгоф», построенного архитектором В. В. Растрелли в 1731 г. (не сохранился). В 1904 г. роща была уничтожена сильным ураганом. 1907 г. указан Ю. А. Бахрушиным неверно.

Стр. 244. *...и художниками-«мирискусниками»...* — Такие художники, как Бенуа, Врубель, Добужинский, Сомов, Сапунов, Судейкин, Бакст, Коровин, Грабарь, Головин, Серебрякова, Мамонтин и другие, входили в группу «Мир искусства». Так же назывался художественно-литературный журнал, издававшийся в Петербурге в 1899—1904 гг. под редакцией С. П. Дягилева и А. Н. Бенуа. «Мирискусники» во главе с Дягилевым стали инициаторами знаменитых «Русских сезонов» в Париже.

Стр. 248. *...немало претерпеть за свой титул и положение до революции.* — О тяжелой судьбе Павла Сергеевича Шереметева и его сына Василия Павловича в послереволюционные годы см. в статье З. Ерошок «Шереметевы» (Комс. правда. 1990. 23 мая).

Стр. 249. *...знаменитого кусковского театра.* — Граф Петр Борисович Шереметев в своем подмосковном имении Кусково основал театр, снискавший громкую славу. Заботу о театре взял на себя впоследствии сын графа Николай Петрович, который сам играл на виолончели в крепостном оркестре. Для обучения актеров приглашались лучшие музыканты, балетмейстеры, знатоки драматического искусства. Посетителей Кускова поражало и непривычно уважительное отношение

к актерам. На протяжении почти четверти века шереметевский театр оставался лучшим среди множества других домашних театров. «Новыми Афинами» назвал Кусково Херасков.

Стр. 258. ...из труда Висковатова... — Правильное название книги — «Историческое описание одежды и вооружения российских войск с древнейших времен до 1855 г.» (СПб., 1841—1862).

Стр. 260. ...только спасибо скажут. — Ср. с описанием Марины Цветаевой посещения А. А. Пушкиным в 1896 г. их дома на Трехпрудном: «Позвонили, и залой прошел господин. Из гостиной, куда он прошел, сразу вышла мать, и мне тихо:

— Муся! Ты видела этого господина?

— Да.

— Так это — сын Пушкина. Ты ведь знаешь памятник Пушкина? Так это его сын. Почетный опекун. Не уходи и не шуми, а когда пройдет обратно — гляди. Он очень похож на отца. Ты ведь знаешь его отца? <...>

— Так смотри, Муся, запомни, — продолжал уже отец, — что ты нынче, четырех лет от роду, видела сына Пушкина. Потом внукам своим будешь рассказывать...» (Цветаева М. Мой Пушкин. М.: Сов. писатель, 1967. С. 47, 48).

Стр. 271. ...сия новая купеческая Параша Жемчугова... — Прасковья Ивановна Жемчугова-Ковалева, выдающаяся крепостная артистка, вышла замуж за графа Николая Петровича Шереметева.

...одной из первых миллионерш России. — Есть другая версия женитьбы С. Т. Морозова на Зинаиде Григорьевне: «Савва Тимофеевич был женат на бывшей работнице Никольской мануфактуры... Сначала она вышла замуж за одного из фабрикантов из семьи Зиминых, овдовела, и потом на ней женился Савва Тимофеевич» (Бурыйшкин П. А. Москва купеческая. С. 114, 115).

Стр. 277. ...мои родители очень дружили с Желябужскими... — Судя по письмам М. Ф. Андреевой (Желябужской) В. В. Бахрушиной, о большой дружбе говорить не приходится, по крайней мере со стороны Бахрушиных. В письме от 17 февр. 1897 г. М. Ф. Андреева буквально умоляет чету Бахрушиных посетить организованные ею и ее мужем благотворительные вечера в Обществе искусства и литературы: «<...>. Хотя Вы тогда довольно сурово объявили мне, что

билеты возьмете, а на концерт, должно быть, не приедете, а я все-таки надеюсь — авось Вам придет добрая мысль не только взять билеты, но и приехать, чем бы Вы доставили искреннее нам удовольствие. Усердно прошу Алексея Александровича не капризничать и уговорить и себя и свою милую жену прослушать наш концерт. Программа довольно интересная. (...) (Мария Федоровна Андреева. Переписка, воспоминания, статьи, документы, воспоминания о М. Ф. Андреевой. М.: Искусство, 1968. С. 37.)

Стр. 279. *...не смог выкарабкаться из создавшегося положения и погиб.* — С. П. Мамонтов был оправдан судом, но в полной мере уже никогда не смог оправиться от постигшего его удара. В ГЦТМ хранится «Дело Мамонтова, Арцыбушева, Кривошеина и др.», полный и подробный отчет о ходе дела. Интересна характеристика С. П. Мамонтова, данная на суде его защитником Ф. Н. Плевако: «Нет, Мамонтов не злодей. Да, этот человек повредил людям, с умыслом принести им, всем вам пользу. А это надо всегда различать. Савва Мамонтов ошибся... Но вместе с ним ошиблись и три министра: Тыртов, Хилков и Витте (ГЦТМ, ф. 155, ед. хр. 72).

Стр. 280. *...причудливой формы роялю...* — Рояль С. И. Мамонтова, на котором играл С. В. Рахманинов, находится сейчас на постоянной шальянской экспозиции в ГЦТМ.

Стр. 305. *...духовного журнала «Русский паломник».* — Печатный орган православного Палестинского общества, основателем которого был вел. князь Сергей Александрович.

Стр. 331. *...на серовский портрет...* — Находится в Государственном историческом музее, в фонде А. П. Бахрушина.

Стр. 332. *...Любови Гордеевны Торцовой.* — Героиня комедии А. Н. Островского «Бедность не порок».

Стр. 335. *...здание театра в Богословском переулке...* — Братья Петр, Василий и Александр Алексеевичи Бахрушины сдали Ф. А. Коршу в двенадцатилетнее пользование на выгодных для него условиях принадлежащий им дом с громадным садом и прудами, находящийся на Петровке. Архитектор М. Н. Чичагов планировал приступить к постройке каменного здания на две тысячи зрителей. Бахрушины ассигновали на постройку театра 50 000 руб. Ныне в этом здании на ул. Москвина располагается филиал МХАТа.

Стр. 395. ...попросили Плещеева написать о ней рецензию. — Известны и другие многочисленные факты бескорыстной помощи А. А. Бахрушина молодым артистам. Об этом красноречиво свидетельствует письмо Ю. Н. Седовой к В. В. Бахрушиной, присланное из Италии в 1929 г. в связи со смертью А. А. Бахрушина:

«(...) вспоминаю все мелочи в жизни и те радости, которые давал нам, артистам, Ваш дорогой Ал. Ал. Его подношения цветов были так искренни и чисты, что мы, артисты, не можем забыть подобного отношения. Когда подавалась корзина с известной лентой, все знали, от кого, тут не было секретов или ухаживания, а он умел ценить дарование и поощрял молодых артисток. Помню, как однажды Анна Павлова и я приехали в Москву на концерт, только что выпущенные из школы. Ал. Ал. пригласил нас завтракать и за завтраком все как-то конфузился, мы это заметили и стали его допрашивать; тогда он, видя наше любопытство, говорит: хочу вам поднести цветы, но ведь вы не возьмете корзины с собой в Петербург, а это большие деньги — 300 руб. Так вот, поезжайте и купите себе на эти деньги по шляпке. Мы были в восторге — иметь шляпки по 150 руб. тогда и во сне нам не снилось. Вот Вам образчик золотого сердца и как он понимал артистку. Я за границей 20 лет, но на подобных людей даже нет намека. Мир праху его, и всегда помяну его в своей молитве. (...) Я работаю в Неаполе в таком же государств. театре как и наши, но увы! Мизерия, несмотря что второй после Skala в Милане. У меня и школа, и постановки, но людей тех нет. На балерину смотрят, как на что-то низкое, искусство убито, и чтобы его создать вновь, стоит мне здоровья. Из-за этого пришлось удалить со сцены моих девочек, обе вышли замуж, и я уже бабушка. (...) Здесь хорошо только тем, кто может получить работу, иначе не завидуйте. Еще держится русский балет своими традициями у Дягилева, но вчера умер бедный Дягилев, и едва ли найдется его заместитель. (...) Черкните о смерти Ал. Ал., о его последней минуте. В нашей деревне даже нет русск. газеты, кроме дымящего Везувия и раскопок Помпеи, малоинтересного для жизни».
(ГЦТМ, ф. 1 (оп. 2), ед. хр. 616.)

Стр. 424. *Выборгское воззвание*... — группы депутатов 1-й Государственной думы, в основном кадетов, к гражданам

России (10.07.1906) с призывом отказаться от уплаты налогов и службы в армии в знак протеста против роспуска Думы. Практических последствий не имело. В сентябре 1906 г. кадеты отрелись от этих призывов. 167 человек были приговорены к трехмесячному заключению и лишены избирательных прав.

Стр. 514. *...столыпинская реакция...* — Устойчивое выражение, одно из многочисленных идеологических клише советского времени. Петр Аркадьевич Столыпин на посту министра внутренних дел, а затем — председателя Сов. министров стремился возродить Россию после первой русской революции. Стремился остановить, обезвредить разрушающие ее силы, не дать ей прийти к национальной катастрофе. «...Великая заслуга Столыпина, — говорил В. В. Розанов, — состояла в том, что он боролся с революцией как государственный человек, а не как глава полиции. <...> Революция при нем стала одолеваться морально...» (Цит. по: Наш современник. 1991. № 3. С. 152, 154).

Стр. 568. *...они все же были определенно неполноценными.* — Подобная оценка детей вел. князя Константина Константиновича не соответствует действительности. Братья Иоанн, Константин и Игорь, будучи офицерами, проявляли незаурядную храбрость во время войны с Германией, за что кн. Иоанн получил Георгиевское оружие. Солдаты на фронте говорили о братьях-князьях: «Братья Константиновичи хорошо служат». Все трое в 1918 г. были зверски замучены большевиками и сброшены живыми в Алапаевскую шахту. См. об этом в кн.: М и л л е р Любовь. Святая мученица Российская Великая княгиня Елизавета Феодоровна. Франкфурт-на-Майне, 1988.

Именной указатель

- Абельс Л. К.*, подруга по гимназии В. В. Носовой-Бахрушиной — 207, 209, 212
- Абрикосов*, сосед Енгычаловых по имению «Новоселки», последователь Л. Н. Толстого — 387, 388
- Аванцо Б. А.*, моск. комиссионер, торговец худ. предметами и произв. искусства — 63, 162, 184
- Аврамек Ульрих Иосифович* (1853—1937), виолончелист, гл. хормейстер и дирижер оркестра Большого театра с 1882 г. — 53
- Адамович В. Д.*, архитектор — 528
- Адлер*, приятельница Н. А. Никулиной — 412, 413
- Адольф В.*, московский педагог — 423
- Акимова* (Ребристова), *Софья Павловна* (1824—1889), актриса Малого театра, исполнительница комических ролей — 144
- Аксагарский* (Рихтер) *Николай Федорович*, режиссер Введенского народного дома — 508, 509, 537, 548—550, 637, 640, 643
- Аксаков Сергей Тимофеевич* (1791—1859) — 580
- Александр I* (1777—1825), российский император с 1801 г. — 90, 117, 314, 478, 479, 540, 541
- Александр II* (1818—1881), российский император с 1855 г. — 35, 36, 81, 129, 172, 208, 364, 391, 467, 470
- Александр III* (1845—1894), российский император с 1881 г. — 109, 118, 157, 195, 247, 643

- Алексеевы*, крупные фабриканты — 516
- Алексей Михайлович* (1629—1676), русский царь с 1645 г. — 614
- Алексий* (1304—1378), митрополит московский — 394
- Аллей*, бывший владелец телешовского имения в Малаховке.
Владелец магазина в Москве «Мюр и Мерелиз» — 294, 295
- Алферов А. Д.*, член Государственной думы — 574, 579
- Альтани Ипполит Карлович* (Павлович) (1864—1919), дирижер и хормейстер, гл. дирижер Большого театра — 53, 72, 73
- Андреева* (наст. фам. Юрковская, по мужу Желябужская)
Мария Федоровна (1868—1953), актриса МХТ, обществ. деятельница, гражданская жена А. М. Горького — 277
- Анна Иоанновна* (1693—1740), российская императрица с 1730 г. — 604
- Антропов Алексей Петрович* (1716—1795), главн. живописец Святейшего Синода, академик Имп. акад. художеств — 97
- Арбатов* (наст. фам. Архипов) *Николай Николаевич* (1868—1926), режиссер, педагог — 585, 587, 588
- Аршеневский Василий Николаевич*, знакомый А. А. Бахрушина — 267, 268
- Ауслендер Сергей Абрамович* (1886/1888—1943), прозаик, театр. критик, драматург — 258
- Афанасьев*, полковник — 541
- Бабурин Саша*, товарищ Ю. А. Бахрушина по реальному училищу К. Ф. Воскресенского — 311
- Багратион*, князь, правнук П. И. Багратиона, героя войны 1812 г. — 568
- Байдаковы*, близкие знакомые А. А. Бахрушина — 150, 152
- Байрон Джордж Ноэль Гордон* (1788—1824) — 295
- Бакст* (наст. фам. Розенберг) *Лев Самойлович* (1866—1924), живописец, график, театр. художник — 100
- Балашова*, певица — 533

- Балиев Никита Федорович* (1877/1886? — 1936), театр. деятель, эстрадный артист и режиссер, основал театр-кабаре «Летучая мышь». В 1920 г. эмигрировал за границу — 418
- Баллод Франц Владимирович*, домашний учитель Ю. А. Бахрушина, преподаватель коммерческого училища — 228, 229
- Барановская*, владелица дач «Красотка» и «Мавритания» в Кисловодске, где жили Бахрушины — 123
- Баратынский Евгений Абрамович* (1800—1844), поэт — 371, 375
- Бардыгин Михаил Никифорович*, фабрикант — 516—522, 525, 526
- Барцал Антон Иванович* (1847—1927), певец Большого театра (1878—1903), профессор Моск. консерватории (1898—1921) — 571
- Баттистини Матиа* (1857—1928), ит. артист оперы. В 1893 г. впервые пел в России. Посещал дом А. А. Бахрушина — 136
- Батый* (Бату) (1208—1255), монг. хан, внук Чингисхана — 547
- Батюшков Константин Николаевич* (1787—1855) — 459
- Бауман Николай Эрнестович* (1873—1905), профессиональный революционер — 201
- Бахрушин Александр Алексеевич* (1823—1916), крупный фабрикант и благотворитель, отец А. А. Бахрушина — 48—52, 151, 152, 155, 289, 313—316, 319, 325, 326, 332, 333—350, 365, 376—378, 542, 543, 553, 554, 634
- Бахрушин Александр Алексеевич* (1902/1901? — 1905/1904?), младший сын Алексея Александровича Бахрушина — 121, 122, 130—133
- Бахрушин Алексей Александрович* (1865—1929), основатель музея, театральный и общественный деятель, крупный фабрикант — 37—39, 44, 59, 63—65, 84, 107, 108, 121, 122, 126—128, 130, 134—169, 176—182, 200, 201, 241, 242, 250, 258—261, 267, 268, 272—280, 287—299, 329, 330, 337,

- 339—342, 360, 370, 371, 393, 394, 398, 400, 401, 404, 405, 411, 413—422, 488—493, 505, 506, 508, 528, 532—536, 538—541, 543, 553, 554, 556—565, 569, 570, 598, 600, 601, 637, 639, 641, 644, 645—648
- Бахрушин Алексей Петрович* (1853—1904), известный коллекционер, двоюродный брат А. А. Бахрушина — 65, 84, 109, 112, 142, 148, 149, 522, 559
- Бахрушин Алексей Федорович* (1800—1848), фабрикант, родоначальник Бахрушиных, дед А. А. Бахрушина — 315—326, 333
- Бахрушин Василий Алексеевич* (1832—1906), крупный фабрикант и благотворитель, дядя А. А. Бахрушина — 51, 325, 326, 331—335, 366—370
- Бахрушин Владимир Александрович* (1859—1905), старший брат А. А. Бахрушина — 51, 68, 101, 121, 122, 136, 316, 321, 322, 342, 372, 373, 377, 535
- Бахрушин Константин Петрович* (1856—?), двоюродный брат А. А. Бахрушина — 51
- Бахрушин Сергей Александрович* (1864—1922), младший брат А. А. Бахрушина, коллекционер, знаток русской живописи — 51, 91, 94—100, 125, 136, 138, 142
- Бахрушин Сергей Владимирович* (1884—?), приват-доцент Моск. университета, гласный городской Думы, двоюродный брат Ю. А. Бахрушина — 347
- Бахрушин Петр Алексеевич* (1819—1894), крупный фабрикант и благотворитель, дядя А. А. Бахрушина — 51, 145, 316, 325—331, 333—335
- Бахрушина Вера Васильевна* (1871—1942), жена А. А. Бахрушина, мать Ю. А. Бахрушина — 32, 33, 37, 38, 44, 50, 107, 108, 151—155, 163—166, 195, 196, 207—218, 221, 222, 231, 233, 234, 236, 237, 252, 289, 291, 292, 356, 403—405, 506, 555, 564, 576, 578, 579, 595, 635, 644, 645, 648
- Бахрушина* (урожд. Митрофанова) *Екатерина Ивановна* (1822—1898), жена П. А. Бахрушина — 328
- Бахрушина* (урожд. Постникова) *Елена Михайловна* (1823—1893), мать А. А. Бахрушина — 135, 136, 146—148, 332

- Бахрушина* (в замуж. Сёмина) *Кира Алексеевна* (1906—1968), дочь А. А. Бахрушина — 197, 576, 578, 579
- Бахрушина* (урожд. Потоловская или Потлавская) *Наталья Ивановна* (1793—1862), жена А. Ф. Бахрушина, бабушка А. А. Бахрушина — 319, 325—327
- Бегичева-Шиловская* (урожд. Вердеревская) *Мария Васильевна* (1825—1879), певица-любительница — 107
- Безекирский Василий Васильевич* (1835—1919), скрипач и композитор, солист оркестра Большого театра (1861—1890), профессор музыкально-драматического училища Моск. филармонического общества — 53
- Белинский Виссарион Григорьевич* (1811—1848) — 344
- Белосельская*, княгиня — 394
- Бенуа Александр Николаевич* (1870—1960), рус. живописец, график, театр. художник — 92
- Бернар Сара* (1844—1923), фр. актриса — 415
- Берг Василий Павлович*, фабрикант — 529—531
- Берг Павел Васильевич*, сын В. П. Берга — 529, 530
- Бирон Эрнст Иоанн* (1690—1772), граф, фаворит имп. Анны Иоанновны, госуд. деятель — 604
- Бисмарк Отто Эдуард Леопольд* (1815—1898), князь, 1-й рейхсканцлер Герм. империи (1871—1890). Осуществил объединение Германии — 230
- Блюменталь-Тамарина* (урожд. Климова) *Мария Михайловна* (1859—1938), актриса театра Ф. А. Корша, с 1933 г. Малого театра — 508
- Богословский*, священник, преподаватель Закона Божия в Реальном училище К. Ф. Воскресенского — 304
- Богоявленский С. К.*, преподаватель истории в Реальном училище К. Ф. Воскресенского, впоследствии член-корр. Академии наук — 301
- Богров Дмитрий (Мордка) Григорьевич* (? — 1911), убийца П. А. Столыпина — 537, 538
- Богущ*, домашний врач Бахрушиных — 537, 538—547
- Божовский Василий Константинович* (1869—1914), зав. постановочной частью моск. театров — 401, 402

- Бойто Арриго* (1842—1918), ит. композитор и поэт — 493
- Большакова Екатерина Ивановна*, приятельница Г. Н. Федотовой — 405
- Бондаренко И. Е.*, знакомый А. А. Бахрушина, знаток искусства — 583
- Бооль Николай Константинович фон* (1860—1938), театр. деятель — 266
- Боровиковский Владимир Лукич* (1757—1825), художник — 173, 379, 383, 389
- Браз Осип Эммануилович* (1872—1936), живописец и педагог — 100
- Брискорн Сережа*, товарищ Ю. А. Бахрушина по Реальному училищу К. Ф. Воскресенского — 310
- Бунин Иван Алексеевич* (1870—1953) — 574, 576
- Бурев.* владелец моск. часовой фирмы — 473
-
- Вагнер Рихард* (1813—1883), нем. композитор — 490
- Валентина Константиновна*, первая домашняя учительница Ю. А. Бахрушина — 218
- Валентинов*, актер театра Корша — 642
- Валуев Петр Александрович* (1815—1890), граф, гос. деятель, министр внутр. дел (1861—1868), председатель кабинета министров (1879—1880) — 37
- Ван-Дейк Антонис* (1599—1641), фламандский художник — 235
- Ванло*, нидерландский художник — 416, 498
- Варламов Александр Егорович* (1801—1848), композитор, певец и педагог — 265
- Варламов Константин Александрович* (1848—1915), актер Малого театра, сын композитора А. Е. Варламова — 261—265
- Варшер*, преподаватель второй Моск. женской гимназии, где училась В. В. Бахрушина — 209
- Василий*, по прозвищу «дядя Василий Пузанос», столяр в доме Бахрушиных — 43, 44, 222, 285—287

- Василий Карлович*, управляющий имением Н. Д. Телешева в Малаховке — 292, 294
- Василий Михайлович*, священник в деревне Афинеево — 603
- Васко да Гама* (1469—1524), португ. мореплаватель — 547
- Ведринская М. А.*, актриса — 585, 588
- Веллинг Р. Ф.*, детский врач Бахрушиных — 101
- Вельяминов-Зернов Владимир Федорович* (? — 1831), владелец усадьбы «Жодочи» в нач. XIX в., ред. журн. «Северный Меркурий» (1805 г.) — 630, 632
- Вельяминов-Зернов Федор Владимирович*, владелец усадьбы «Жодочи» в конце XVIII в. — 630
- Вельяминова-Зернова Анисья Федоровна*, жена В. Ф. Вельяминова-Зернова — 630, 632, 633
- Веневитинов Дмитрий Владимирович* (1805—1827), поэт — 632
- Верещагин Василий Васильевич* (1842—1904), художник. Погиб при взрыве броненосца «Петропавловск» в Порт-Артуре во время русско-японской войны — 119
- Вернер Фридрих Людвиг Захария* (1768—1823), нем. поэт, драматург — 210
- Веселовский Александр Николаевич* (1838—1906), литературовед, академик Петербург. акад. наук — 574
- Виктория Иннокентьевна*, компаньонка Е. Г. Терлецкой — 103, 104
- Вильгельм II Гогенцоллерн* (1859—1941), герм. император и прусский король в 1888—1918 гг. — 131, 490, 491
- Висковатов Александр Васильевич* (1804—1858), военный историк, автор многочисленных трудов по истории военного искусства — 259
- Витгенштейн Петр Христианович* (1769—1843), граф, генерал-фельдмаршал. В Отечественной войне 1812 г. командовал корпусом на Петербургском направлении — 111
- Витте Сергей Юльевич* (1849—1915), граф, министр финансов, позднее председатель Совета министров — 137

- Владимир III Мономах* (1053—1125), князь смоленский, черниговский, переяславский, вел. князь киевский с 1113 г. — 244
- Владимиров П.*, актер — 585
- Власов Н. Н.*, купец — 605
- Войнов Василий Михайлович*, инспектор Реального училища К. Ф. Воскресенского — 300
- Волков Федор Григорьевич* (1729—1763), актер и театр. деятель, создатель первого постоянного русского театра, «отец русского театра» — 156
- Волховской Петр Александрович* (наст. фам. Попов), артист оперетты — 48, 77—79, 241
- Вольтер* (наст. имя Мария Франсуа Аруз, 1694—1778), — 415
- Волынский Захар Егорович*, помещик — 604, 606
- Воронец Александр Митрофанович*, директор Реального училища К. Ф. Воскресенского — 298—300
- Воронова* (в замуж. Морозова), жена И. В. Морозова, балерина — 283
- Воскресенский К. Ф.*, основатель Реального училища на Мясницкой в Москве, где учился Ю. А. Бахрушин — 296, 298, 299
- Всеволожский Иван Александрович* (1835—1909), директор императорских театров (1881—1899) — 149
- Врубель Михаил Александрович* (1856—1910), художник-живописец, график, театр. художник — 168, 169, 279
- Высоцкий Константин Федорович*, преподаватель рисования в Реальном училище К. Ф. Воскресенского — 307, 308
- Вяземский Павел Петрович* (1820—1888), князь, сын П. А. Вяземского — 80, 632
- Вяльцева Анастасия Дмитриевна* (1871—1913), артистка эстрады и оперетты, исполнительница цыганских романсов — 254, 284
- Габричевский Георгий Норбертович* (1860—1907), микробиолог, основатель научн. школы. Организовал в Моск. ун-те бактериологич. лаб. и Бактериологич. ин-т. Совм.

- с Н. Ф. Филатовым ввел сывороточное лечение дифтерии — 38, 39
- Гавриил Константинович*, вел. князь, сын вел. князя Константина Константиновича — 568
- Газарина Анна*, фаворитка Павла I — 615
- Гарелина* (Чудакова), жена А. М. Чудакова — 523
- Гарин-Виндинг Дмитрий Викторович* (паст. фам. Виндинг) (? — 1922), театрально-обществ. деятель, актер, педагог грима Малого театра — 251
- Гедимины*, литовские короли — 437
- Гельцер*, жена А. Ф. Гельцера — 267, 268
- Гельцер Анатолий Федорович* (1852—1918), театр. художник, декоратор Большого театра — 58, 267, 268
- Гельцер Василий Федорович* (1841—1909), артист балета, педагог — 58
- Гельцер Екатерина Васильевна* (1876—1962), балерина Большого театра — 92
- Генрих IV* (1553—1610), король Франции и Наварры — 176
- Георгий Александрович* (1871—1899), вел. князь, наследник-цесаревич, младший брат Николая II — 195
- Гермоген (Ермоген)* (около 1530—1612), патриарх всероссийский, канонизирован Православной церковью — 542
- Герцен*, капитан — 585, 586
- Гете Иоганн Вольфганг* (1749—1832) — 210
- Гиляровский Владимир Александрович* (1853—1935), писатель — 266
- Глазов Владимир Гаврилович*, министр нар. просвещения — 274
- Глазунов Александр Константинович* (1865—1936), композитор, дирижер, педагог, музыкально-общественный деятель — 585
- Глинка*, смоленский помещик — 479, 480
- Гоголь Николай Васильевич* (1809—1852) — 11, 111, 158, 315, 470, 483
- Голенищев-Кутузов Арсений Аркадьевич* (1848—1913), поэт — 569

- Голицын В. М.*, князь, моск. городской голова, почётный гражданин Москвы — 200
- Голицыны*, владельцы поместья Кузьминки — 240
- Головин Александр Яковлевич* (1863—1930), театр. художник, живописец — 525
- Голубкина Анна Семеновна* (1864—1927), скульптор — 525
- Гончаров Иван Александрович* (1812—1891) — 566
- Горбунов Иван Федорович* (1831—1896), актер, автор-рассказчик, писатель, исследователь истории русск. театра — 65, 149, 150, 247, 500, 501
- Горев* (наст. фам. Васильев) *Федор Петрович* (1850—1910), актер провинц. театров, императорских, театра Корша в Москве, театра Яворской в Петербурге — 68
- Горький Алексей Максимович* (1868—1936) — 277, 596
- Грбавь Игорь Эммануилович* (1871—1960), академик, живописец, искусствовед, художественный критик, музейный деятель — 99
- Грант*, мисс, гувернантка Ю. А. Бахрушина — 223, 224, 228
- Грибоедов Александр Сергеевич* (1795—1829) — 158, 403, 633
- Губонин*, из известной купеческой семьи, лейтенант — 123, 124
- Гумберт I* (1844—?), король Италии, сын короля Виктора-Эммануила — 193
- Гучков Николай Иванович*, моск. городской голова (1905—1912), брат А. И. Гучкова, председателя Гос. думы — 419
- Гюго Виктор Мари* (1802—1885) — 415
- Давыдов Владимир Николаевич* (наст. имя и фам. Иван Николаевич Горелов; 1849—1925), актер Александринского театра — 574, 583
- Даксергоф*, помещик — 645
- Далматов* (наст. имя Василий Пантелеймонович Лучич; 1852—1912), актер Александринского театра — 641, 642
- Даргомыжский Александр Сергеевич* (1813—1869), композитор — 620

- Дашков*, коллекционер старинных вин и редких автографов — 156—159
- Даццаро Иосиф Александрович*, моск. комиссионер, торговец художественными предметами и произведениями искусства — 184
- Девойд (Девойод) Жюль* (1842—1901), фр. певец, гастролировал в России — 136
- Демидовы*, заводчики, владельцы имения в Петровском — 624, 625
- Державин Гаврила Романович* (1743—1816) — 459
- Десятовский*, преподаватель математики в Первом казенном реальном училище, где держал экзамены Ю. А. Бахрушин — 235
- Джунковский Владимир Федорович* (1865—1938), моск. губернатор, командир корпуса жандармов — 248, 513, 514, 540
- Джури* (в замуж. Карзинкина) *Аделаида Антоновна* (1872—1963), балерина Большого театра (1891—1905), преподавательница танца в Хореографическом училище Большого театра (1926—1946) — 283
- Диесперов Александр Федорович*, репетитор Ю. А. Бахрушина — 296
- Диккенс Чарлз* (1812—1870) — 193, 295
- Дмитриев Иван Иванович* (1760—1837), поэт — 632
- Дмитрий Иванович*, классный надзиратель в Реальном училище К. Ф. Воскресенского — 308
- Дмитрий Константинович*, вел. князь, сын вел. князя Константина Константиновича — 568
- Долгоруков Владимир Андреевич*, моск. генерал-губернатор в 1870-х гг., зять Александра II — 366—370
- Достоевский Федор Михайлович* (1821—1881) — 80, 142, 143
- Дубасов Федор Васильевич* (1845—1912), адмирал, моск. генерал-губернатор (1905—1906) — 269
- Дубяго А. И.*, киевский предводитель дворянства, друг Ю. А. Бахрушина — 537, 538

- Дудин Иван Осипович*, домашний учитель Ю. А. Бахрушина — 224—226, 311
- Дюма Александр* (1802—1870) — 415
- Дягилев Сергей Павлович* (1872—1929), театр. деятель, антрепренер, организатор «русских сезонов» за рубежом — 527
- Екатерина II* (1729—1796), российская императрица с 1762 г. — 97
- Елизавета I Тюдор* (1533—1603), англ. королева с 1558 г. — 504
- Елизавета Маврикиевна*, вел. княгиня, бывш. принцесса Саксен-Альтенбургская, жена вел. князя Константина Константиновича — 568
- Елизавета Петровна* (1709—1761), российская императрица с 1741 г. — 625
- Елизавета Федоровна* (1864—1918), вел. княгиня, великомученица, основательница Марфо-Мариинской обители. Канонизирована русской зарубежной Правосл. церковью в 1981 г. — 129, 303
- Елисеев*, крупный торговец, купец — 126
- Енгальчев Александр Ельпидифорович*, князь, отец И. А. Енгальчева — 378—382, 389
- Енгальчев Иван Александрович*, князь, муж В. В. Носовой, старшей сестры В. В. Бахрушиной — 56, 205, 213, 360, 378, 380—383, 385, 388, 391, 392
- Енгальчев Кирилл Иванович*, двоюродный брат Ю. А. Бахрушина — 381, 382, 384, 385, 388, 391, 647
- Енгальчев Николай Александрович*, князь, брат И. А. Енгальчева — 380, 381
- Енгальчев Порфентий*, князь, прадед И. А. Енгальчева — 379
- Ермолова Мария Николаевна* (1853—1928) — 60, 62, 68, 138, 144, 154, 406, 411, 414, 570, 571, 573, 575
- Ефремов Петр Александрович* (1830—?), библиограф, библиофил — 148

- Желябужская*, см. Андреева М. Ф. — 277
- Жерар Франсуа* (1770—1837), придворный художник Наполеона I, представитель классицизма — 90
- Живокини Василий Игнатьевич* (1805—1830), актер Малого театра — 263, 264
- Жорж Маргерит Жозефин* (наст. фам. Веймер; 1787—1867), фр. актриса — 416
- Жуковский Василий Андреевич* (1783—1852) — 260
- Забелин Иван Егорович* (1820—1908), историк — 148
- Забелло*, смоленский помещик — 431, 433, 435—440
- Закревский Арсений Андреевич* (1786—1865), граф, гос. деятель, ген. от инфантерии, министр внутр. дел (1828—1831), моск. генерал-губернатор (1848—1859), бывший владелец бахрушинской усадьбы Ивановское — 371, 372, 375, 631
- Закревская* (урожд. Толстая) *Аграфена Федоровна* (1799—1879), жена А. А. Закревского, воспета Пушкиным и Баратынским, бывшая владелица бахрушинской усадьбы Ивановское — 371, 375, 376
- Закревская Лидия Арсентьевна*, дочь А. Ф. и А. А. Закревских — 376
- Зверев*, священник, преподаватель Закона Божия в Реальном училище К. Ф. Воскресенского, настоятель Марфо-Мариинской обители — 303, 304
- Збруева Евгения Ивановна* (1868—1936), артистка оперы, педагог — 533
- Зимин Сергей Иванович* (1875—1942), основатель и режиссер оперного театра в Москве — оперы Зимины (1904—1917) — 574
- Золотницкий Николай Федорович*, преподаватель фр. яз. в Реальном училище Е. Ф. Воскресенского, известный ихтиолог, директор Моск. аквариума — 302
- Золоторев*, генерал канцелярии генерал-губернатора Москвы — 153, 154

- Иван IV Васильевич Грозный* (1530—1584), вел. князь всея Руси, первый рус. царь с 1547 г.— 504, 579, 621
- Иван Иванович*, классный надзиратель в Реальном училище К. Ф. Воскресенского — 308, 309
- Иван (Иоанн) Константинович* (1886—1918), вел. князь, сын вел. князя Константина Константиновича — 568
- Иванов Иван Михайлович*, преподаватель математики в Реальном училище К. Ф. Воскресенского — 300, 301
- Иванова-Дункель В.*, артистка оперетты, выступала на Дальнем Востоке, в Харбине — 251
- Ивашев Ваня*, товарищ Ю. А. Бахрушина по Реальному училищу К. Ф. Воскресенского — 311
- Игнатьев*, граф, муж Е. Н. Роциной-Инсаровой — 399
- Игорь Константинович* (1894—1918), вел. князь, сын вел. князя Константина Константиновича — 567, 568, 595
- Ижболдины*, помещики — 620
- Иоанн Кронштадтский* (Сергиев; 1829—1908), вел. православный пастырь и молитвенник XX в. Канонизирован в 1990 г.— 147, 148
- Иозефович*, ред. харьковской газ. «Южный край» в 1900-х гг.— 640, 641
- Казаков Матвей Федорович* (1738—1812), архитектор, один из основоположников рус. классицизма — 624
- Казанский И. М.*, преподаватель русского языка в Реальном училище К. Ф. Воскресенского — 301
- Калыев Иван* (1877—1905), террорист из круга Бориса Савинкова, убийца вел. князя Сергея Александровича — 129, 130
- Каменский*, граф — 372
- Канова А.* (1757—1822), ит. скульптор — 90
- Карамзин Николай Михайлович* (1766—1826) — 459, 632
- Карелин*, преподаватель второй Моск. женской гимназии — 209
- Карзинкин Александр Сергеевич*, купец — 283
- Карзинкин Михаил Сергеевич*, купец — 283

- Карзинкин Саша*, товарищ Ю. А. Бахрушина по Реальному училищу К. Ф. Воскресенского — 310
- Карзинкин Сергей Сергеевич*, купец — 283—310
- Карзинкина* (в замуж. Телешова), жена писателя Н. Д. Телешова — 290
- Карнилов*, владелец фарфорового завода — 363
- Карсавина Тамара Платоновна* (1885—1978), балерина, звезда «русских сезонов» в Париже — 128
- Кассо Лев Аристидович* (1865—1914), министр нар. просвещения (1910—1914) — 312, 313
- Качалов Василий Иванович* (наст. фам. Шверубович; 1875—1948), актер МХТ — 418
- Келлер*, графиня, бывш. владелица бахрушинской усадьбы Ивановское — 367, 371—373
- Келлер*, бр., Георгиевские кавалеры с крейсера «Варяг», знакомые А. А. Бахрушина — 124
- Кибер К. А.*, химик, член моск. отдела мануфактурного и коммерч. советов — 320
- Кипренский Орест Адамович* (1782—1836), художник — 97, 379, 383, 389
- Кирилл Владимирович*, вел. князь — 120
- Киселев Вася*, товарищ Ю. А. Бахрушина по Реальному училищу К. Ф. Воскресенского — 309—311
- Киселевский Иван Платонович* (1839—1898), актер Александринского театра (1882—1888), моск. театра Корша (1891—1894), театра Соловцова в Киеве с 1894 г. — 641
- Кламрот*, первая скрипка оркестра Большого театра, учитель С. А. Бахрушина — 136, 137
- Коварский*, зубной врач, театрал — 571
- Ковганкин Симеон*, священник, домашний учитель Закона Божия Ю. А. Бахрушина — 218—221
- Коклен Бенуа Констан* (К. — старший; 1841—1909), фр. актер — 415
- Коковцов Владимир Николаевич* (1853—1943), граф, министр финансов, председатель совета министров (1911—1914) — 593, 594

- Кологривов Степан Иванович*, владелец усадьбы Жодочи в нач. XIX в. — 630, 631
- Кологривовы Николай и Иван*, дети С. И. Кологривова — 631
- Кондратьев Алексей Михайлович* (1846—1913), гл. режиссер Малого театра (1901—1907) — 62, 64—68, 150
- Кондрашова Наташа*, из семьи суконных фабрикантов, приятельница Ю. А. Бахрушина — 536, 548, 650
- Кондрашovy*, фабриканты-суконщики — 536, 548
- Константин Аниподистович*, первый домашний учитель рисования Ю. А. Бахрушина, преподаватель Строгановского училища — 224
- Константин Николаевич* (1827—1892), вел. князь, сын Николая I, отец вел. князя Константина Константиновича — 85, 86, 362, 456, 566, 577
- Константин Костантинович*, вел. князь, президент Академии наук, поэт, драматург — 562, 564—566, 568, 569, 572, 573, 576—579, 581, 589, 591, 594—597
- Константин Константинович* (1890—1918), вел. князь, сын вел. князя Константина Константиновича — 568
- Конфуций* (551—479 до н. э.), древнекитайский мудрец — 215
- Коркодиновы*, князья — 604
- Коровин Константин Алексеевич* (1861—1939), художник — 276
- Короленко Владимир Галактионович* (1853—1921), писатель — 79
- Королев Михаил Леонтьевич*, городск. голова — 35—37
- Королева Татьяна Андреевна*, жена М. Л. Королева — 37
- Корсаковы*, помещики — 604
- Корш Федор Акимович* (1852—1927), антрепренер, организовал в Москве театр (театр Корша) в 1882 г. — 335, 402, 417, 574, 583, 641, 642
- Корш Федор Евгеньевич* (1843—1915), филолог, академик Петербург. акад. наук — 574, 575, 579
- Котляревский Нестор Александрович* (1863—1925), литературовед, академик Петербург. акад. наук — 561, 562

- Котоньи Антонио* (1831—1918), ит. артист оперы, в 1872—1894 ежегодно выступал на сцене ит. оперы в Петербурге, пел и в Москве — 136
- Красильщиков Николай Михайлович*, певец, ученик Э. К. Павловской, из известной купеческой семьи — 75
- Крейман Франц*, основатель частной гимназии на Петровке в Москве, где учился А. А. Бахрушин — 137, 138
- Криштофович Иосиф Евментьевич*, смоленский помещик — 447—449, 451, 452, 454—461, 463, 472
- Криштофович Евментий*, герой 1812 г.— 458, 459
- Кругликов Бенедикт Георгиевич*, помещик, сосед Бахрушиных в Апрелевке — 613, 614, 617—620, 637
- Кругликов Георгий Николаевич*, мировой судья — 608, 615—617
- Кругликов С. Н.*, муз. критик 1860-х гг.— 615
- Кругликова Надежда Осиповна*, жена Кругликова Б. Г.— 618
- Крылов Иван Андреевич* (1768—1844) — 633
- Кубелик Ян* (1880—1940), чешский скрипач и композитор — 278
- Кузмин Михаил Алексеевич* (1872—1936), поэт, прозаик, драматург, композитор — 525
- Куприн Александр Иванович* (1870—1938) — 308
- Куприянов Николай Александрович*, купец, собиратель театр. реликвий — 62, 63, 149
- Кутузов Михаил Илларионович* (1745—1813), светлейший князь Смоленский, полководец, генерал-фельдмаршал — 447
- Кюи Цезарь Антонович* (1835—1918), композитор, муз. критик — 254
- Лазаревик*, владелец катка на Петровке в Москве — 151, 152
- Ландэ*, преподаватель рисования в Первом казенном реальном училище, где держал экзамены Ю. А. Бахрушин — 235
- Лао Цзы* (604 до н. э.— ?), китайский философ, писатель — 215
- Ларошфуко Франсуа де* (1613—1680), фр. писатель — 215

- Лебедева Варвара Семеновна*, экономка Носовых — 196, 210, 359—364
- Левитан Исаак Ильич* (1860—1900), художник — 279
- Лейден Эрнст* (1832— ?), германский клинист, лейб-медик Александра III — 643
- Лекен Анри Луи* (1729—1778), фр. актер — 415, 416, 497, 498
- Ленин Владимир Ильич* (1870—1924) — 507
- Ленский Александр Павлович* (1847—1908), актер Малого театра, режиссер, педагог — 65, 68, 114, 581, 598—600
- Лентовский Михаил Валентинович* (1843—1906), актер, театр. деятель, режиссер и антрепренер театров оперетты и феерии (с 1876 г.) — 255
- Леонардо да Винчи* (1452—1519) — 186
- Леоненко*, врач в Малаховке — 509—513
- Лермонтов Михаил Юрьевич* (1814—1841) — 563
- Лесли*, смоленский помещик — 464, 471, 472
- Лессинг Г.* (1729—1788), нем. просветитель, писатель, критик, драматург, автор «Лаокоона» — 138, 210
- Липгарт*, владелец дома на Мясницкой в Москве, где помещалось Реальное училище К. Ф. Воскресенского — 296, 297, 309
- Литке Федор Петрович* (1797—1882), граф, адмирал, мореплаватель и географ, участник кругосветной экспедиции 1817—1819 гг. В. М. Головина — 456
- Ломоносов Михайло Васильевич* (1711—1765) — 536
- Лубэ Эмиль* (1838—1929), президент Франции в 1899—1906 гг., сторонник образования Антаиты — 345, 346
- Лужский Василий Васильевич* (наст. фам. Калужский; 1869—1931), актер, режиссер и театр. педагог. Один из основателей МХТ — 418
- Лукка Паолина* (1841—1908), австр. артистка оперы, выступала в Москве — 136
- Лучинин Петр Петрович*, режиссер Введенского народного дома — 536
- Любавский*, преподаватель второй Моск. женской гимназии — 209

- Людвик XII* (1462—1515), фр. король с 1498 г., из династии Валуа — 614
- Людвик XIV* (1638—1715), фр. король с 1643 г., из династии Бурбонов — 504
- Людвик XV* (1710—1774), король Франции — 499, 504, 514
- Ляпины*, помещики — 620
- Ляшков Д. И.*, суфлер Александринского театра — 264
- Мазини Анджело* (1844—1926), ит. артист оперы, гастролировал в России — 136
- Майков Аполлон Николаевич* (1821—1897), поэт — 566
- Макаров Степан Осипович* (1848/49—1904), флотоводец, океанограф, вице-адмирал. Погиб на броненосце «Петропавловск», подорвавшимся на mine во время русско-японской войны — 119
- Маковский Константин Егорович* (1839—1915), художник, коллекционер — 163, 164, 577
- Максимов Сергей Васильевич* (1833—1901), этнограф, писатель — 47, 48
- Макшеев Владимир Александрович* (1843—1901), актер Малого театра — 45, 47, 48, 162
- Мамонтов Савва Иванович* (1841—1918), театр. деятель, меценат, основатель и режиссер русской частной оперы, крупный промышленник — 145, 279, 280, 525, 574, 576
- Мамонтовы*, крупные фабриканты — 516
- Мануар Никола де* (Николаев), фр. мушкетер, служил при царе Алексее Михайловиче — 614
- Мария Александровна* (?—1880), российская императрица, супруга имп. Александра II — 37
- Мария Ананьевна*, няня Ю. А. Бахрушина — 43—45, 54, 202, 285
- Марлитт*, нем. писательница — 210
- Маркевич Болеслав*, писатель — 375
- Маркс Карл* (1818—1883) — 94

- Марс* (наст. имя Анн Франсуаз Ипполит Буте; 1779—1847), фр. актриса — 415, 416, 496—499
- Марья*, крестьянка села Новоселки — 390, 391
- Махаев*, художник крепостного театра в Кусково — 114
- Медведева* (в замуж. Гайдукова) *Надежда Михайловна* (1832—1899), актриса Малого театра — 138, 144
- Медичи Козимо Старший* (1389—1464), из флорентийского рода Медичи, правителей Флоренции, меценат и покровитель искусств — 244
- Мейндорф*, барон, председатель моск. отдела мануфактурного и коммерческого советов — 324
- Мейнцингер*, владелец кожевенного завода в С.-Петербурге — 316
- Мельников Егор*, крестьянин дер. Афинсево — 610
- Мерзляков Алексей Федорович* (1778—1830), поэт — 632, 633
- Мещерские*, князья, владельцы имения в Петровском — 625
- Милюковы*, помещики — 604
- Минин Кузьма Минич* (? — 1616), нижегородский посадский, организатор народного ополчения, освободившего в 1612 г. Москву от поляков — 542
- Миронов В. Ф.*, зав. Ваганьковским кладбищем в 1920-х гг. — 403
- Миронов Николай Михайлович*, коллекционер, член попечительского совета Театр. музея им. А. А. Бахрушина — 403, 404, 574
- Михаил Александрович* (1878—1918), вел. князь, брат Николая II — 195
- Михайлов Н.*, часовщик в г. Поречье Смоленской губернии — 473
- Михайловский Владимир Александрович* (1862—1920), историк театра, старший хранитель музея им. А. А. Бахрушина — 570—572, 574, 575, 584, 600
- Михей*, бывш. рабочий с фабрики Бахрушиных, дворник в доме А. А. Бахрушина — 337, 338
- Михельсон*, генерал, однокашник А. А. Бахрушина по гимназии Креймана — 141

- Модзалевский Борис Львович* (1874—1928), литературовед, пушкинист — 561, 563
- Мозжухин Иван Ильич* (1889—1939), киноактер, с 1920 г. жил за рубежом — 417
- Молчанов Анатолий Евграфович* (1856—1921), ред. «Ежегодника имп. театров», пред. Совета РТО (1900—1904), муж М. Г. Савиной — 174
- Мольер* (наст. фам. Поклен) *Жак Батист* (1622—1673) — 294, 295
- Мордкин Михаил Михайлович* (1881—1944), артист балета, балетмейстер, педагог. В 1924 г. эмигрировал за рубеж — 533
- Морозов Иван Абрамович* (1871—1921), промышленник, коллекционер новой западноевропейской и русск. живописи — 282—284, 530
- Морозов Иван Викулович*, из семьи фабрикантов — 283
- Морозов Савва Тимофеевич* (1863—1905), моск. промышленник, меценат, один из директоров МХТа — 271, 525
- Морозова Евдокия Сергеевна* (Дося), жена И. А. Морозова, балетная артистка — 283, 284
- Морозова Зинаида Григорьевна*, жена С. Т. Морозова, позже жена А. Рейнбота, покровительница художеств. интеллигенции — 270—272, 507
- Моррей*, знакомый Ю. А. Бахрушина по Ницце — 502—505
- Москвин Иван Михайлович* (1874—1946), актер МХАТа — 418
- Мочалов Павел Степанович* (1800—1848) — 63, 315, 580
- Муравьев Михаил Николаевич* (1796—1866), граф, гос. деятель, генерал-губернатор Сев.-Зап. края. За жестокость при подавлении польск. восстания 1863 прозван «вешателем» — 109, 110
- Муравьев-Амурский Николай Николаевич* (1809—1881), граф, гос. деятель и дипломат. Генерал-губернатор Восточной Сибири в 1847—1861 гг. — 379, 389
- Муромцев Сергей Андреевич* (1850—1910), юрист, публицист,

- проф. Моск. универс. Один из лидеров кадетов. Предс.
1-й Гос. думы — 424, 425
- Музиль Николай Игнатьевич* (1839—1906), актер Малого
театра — 47, 53, 68—72, 101, 150
- Мусины-Пушкины*, владельцы усадьбы в селе Старо-Николь-
ское — 620
- Муцухито* (1852—1912), император Японии с 1867 г. — 119
- Мюллер Георг Элиас* (1850—1934), нем. психолог, один из
основателей эксперим. психологии. Труды по проблемам
психофизики, памяти — 229
- Наполеон I Бонапарт* (1769—1821) — 90, 149, 176, 296, 479
- Наполеон III* (Луи Наполеон Бонапарт) (1808—1873), фр.
имп. (1852—1870), племянник Наполеона I, сын Луи
Бонапарта, бывш. голландского короля — 124, 181
- Нарышкин Семен Кириллович* (1710—1775), создатель кре-
постного оркестра рожечников — 114
- Нежданова Антонина Васильевна* (1873—1950), артистка
оперы — 533
- Незлобин Константин Николаевич* (1857—1930), актер,
режиссер, антрепренер (Незлобинский театр) — 258,
574
- Некрасова*, гражданская жена С. С. Карзинкина, балери-
на — 283
- Немирович-Данченко Василий Иванович*, брат Вл. Ив. Неми-
ровича-Данченко, знакомый А. А. Бахрушина — 180, 181
- Немирович-Данченко Владимир Иванович* (1858—1943), ос-
нователь и режиссер МХТ, драматург — 48, 192, 193,
573, 576, 578, 579, 581
- Нелидов В. А.*, чиновник особых поручений при дир. Имп.
театров — 599
- Нестеров Михаил Васильевич* (1862—1942), художник — 299
- Никитин Петр Васильевич* (1849—?), филолог, академик,
ректор Петерб. унив. с 1891 г. — 561
- Николай I* (1796—1855), российский император с 1825 г. —

- 117, 259, 260, 303, 364, 372, 383, 391, 453—456, 477, 607
- Николай II* (1868—1919), российский император с 1894 г. — 117—119, 129, 130, 193—196, 199, 537, 538, 540, 589, 591—593, 595, 596
- Николай Константинович*, вел. князь — 596
- Николай Николаевич* (1831—1891), вел. князь, генерал-инспектор по инженерной части (1856—1864), брат Александра II — 456
- Николай Михайлович* (1859—1919), вел. князь, внук Николая I, президент Рус. историч. об-ва — 539
- Николаев Николай Петрович* (1758—1815), поэт, драматург, член Российской академии, до 1785 г. был на военной службе, затем ослеп и с 1801 г. безвыездно жил в Москве — 615
- Никулина Надежда Алексеевна* (1845—1923), актриса Малого театра — 65, 68, 144, 406, 412—415
- Ноев*, владелец магазина — 55
- Носов Василий Васильевич*, дядя В. Д. Носова — 352
- Носов Василий Васильевич*, брат В. В. Бахрушиной — 121, 243, 245, 358, 525—527
- Носов Василий Дмитриевич*, фабрикант-суконщик, отец В. В. Бахрушиной, дед Ю. Л. Бахрушина — 38, 39, 43, 109, 117, 151, 263, 264, 313, 350—358, 418, 508, 525, 538, 613, 614, 637—639, 647, 648
- Носов Дмитрий Васильевич*, отец В. Д. Носова, дед В. В. Бахрушиной — 351
- Носов Иван Васильевич*, дядя В. Д. Носова — 351
- Носов Игнат Васильевич*, дядя В. Д. Носова — 351, 352
- Носова В. В.* — см. Бахрушина В. В.
- Носова Августа Васильевна*, мл. сестра В. В. Бахрушиной — 109, 112, 203, 211, 313, 364, 365, 583
- Носова* (в замуж. Енгальчева) *Варвара Васильевна*, сестра В. В. Бахрушиной — 112, 392
- Носова* (в замуж. Силина) *Екатерина Васильевна*, старш. сестра В. В. Бахрушиной — 210, 363, 364

- Носова Клавдия Дмитриевна*, мать В. В. Бахрушиной, бабушка Ю. А. Бахрушина — 114
- Носова Софья Васильевна*, мл. сестра В. В. Бахрушиной — 211
- Образцов Сергей Владимирович* (1901—1992), актер и режиссер театра кукол — 489
- Обухов С. Т.*, управляющий конторой Большого театра — 401, 402
- Олег Константинович*, вел. князь, сын вел. князя Константина Константиновича — 568, 595, 596
- Озеров*, смоленский помещик — 440, 447
- Ольденбург Сергей Федорович* (1863—1934), востоковед, член Петербург. акад. наук, с 1900 г., академик АН СССР — 561
- Опочинин Евгений Николаевич* (1858—1928), историк театра, литератор, многолетний друг семьи Бахрушиных — 47, 79—84, 393
- Опочинина Ольга Николаевна*, жена Е. Н. Опочинина — 82
- Островский Александр Николаевич* (1823—1886), драматург, переводчик, театральный деятель — 332, 406, 413, 483, 566
- Павел I* (1754—1801), российский император с 1796 г. — 173, 577, 615
- Павлова Анна Павловна* (Матвеевна) (1881—1931), балерина — 128
- Павловская* (урожд. Бергман) *Эмилия Карловна* (1853—1935), оперная певица, педагог — 61, 73—76, 123, 223
- Павловский Сергей Евграфович* (1848—1915), певец, режиссер оперной труппы Большого театра, муж Э. К. Павловской — 48, 73—77, 89, 112, 203, 241, 243, 401, 420
- Палицын Ав.*, келарь, ведающий монастырским хозяйством — 542
- Паллас Петр Симон* (1741—1811), естествоиспытатель, академик Петербург. акад. наук, автор книги «Флора России» — 246

- Пальмин Иван Осипович* (1861—1908), актер провинц. театров, упр. бюро РТО (1897—1908) — 241, 242
- Панина* (наст. фам. Васильева) *Варвара Васильевна* (Варя), (1872—1911), эстрадн. певица, исполнительница цыганских песен — 120, 254, 284
- Панормов-Сокольский Иван Андреевич*, антрепренер — 250
- Парра Даниель*, скульптор — 277
- Паскаль Блез* (1623—1662), фр. математик, физик, религ. философ и писатель — 215
- Пастухов*, ред. газеты «Московский листок» — 79
- Патти Аделина* (1843—1919), ит. артистка оперы, гастролировала в Москве в 1870—1880-х гг. — 136
- Пекё Марсель*, м-ль, гувернантка Ю. А. Бахрушина — 220, 221, 223
- Пельт Николай Иванович*, зав. репертуаром моск. театров — 632
- Переяславцев П. А.*, полицмейстер Большого театра — 58
- Перловы Василий А., Сергей Васильевич* (1832—1910), на сцене их домашнего театра выступал молодой А. А. Бахрушин — 145
- Петипа Мариус Мариусович* (1850—1919), актер — 640
- Петипа Мария Мариусовна* (1857—1930), балерина — 100
- Петр I* (1672—1725), российский император с 1682 г. — 90, 113, 469, 504
- Петр III* (1728—1762), российский император с 1761 г. — 97
- Петрушкин*, владелец дома в Кожевниках, где располагалась фабрика А. Ф. Бахрушина — 316
- Платон* (428 или 427 до н. э.—348 или 347), древнегреч. философ, ученик Сократа — 215
- Платон* (Петр Левшин; 1737—1812), митрополит московский — 469
- Плещеев Александр Алексеевич* (1858—1944), критик и историк балета, драматург, журналист, в 1919 г. эмигрировал за границу — 393—396, 398, 399
- Плещеев Алексей Николаевич* (1825—1893), поэт — 394, 395

- Плюшар Адольф Александрович* (1806—1865), издатель, типограф — 107
- Победоносцев Константин Петрович* (1827—1907), член гос. совета, обер-прокурор Синода в 1880—1905 гг. — 130, 194
- Погожев Владимир Петрович* (1851—1935), упр. Петербург. конторой имп. театров — 558
- Пожарский Дмитрий Михайлович* (1578—1642), князь, боярин, полководец, нар. герой, соратник К. Минина — 542
- Полонский Яков Петрович* (1819—1898), поэт — 569, 597
- Понятовский Станислав Август* (1732—1798), последний польский король (1764—1795) — 606
- Попов Николай Александрович* (1871—1949), режиссер, драматург, театр. деятель — 48, 393, 533, 574, 575, 580
- Попов С. А.*, старшина охотничьего клуба в Москве — 423
- Постников А. Н.*, химик, создатель особой эмалевой краски, дядя А. А. Бахрушина — 173
- Постников Владимир Васильевич* (? — 1940), купец, коллекционер, зять и друг А. А. Бахрушина — 38, 45, 47—49, 63, 91—94, 101, 102, 112, 148, 199, 203, 241, 393, 426—487, 515, 517, 518, 548, 583
- Постников Петр Иванович*, моск. хирург, однокашник А. А. Бахрушина по гимназии Креймана — 138—141
- Потемкин Григорий Александрович* (1739—1791), генерал-фельдмаршал, фаворит и ближайший помощник Екатерины II — 50, 448
- Правдин Осип Андреевич* (наст. имя Трейлебен Оскар Августович; 1846—1921), актер Малого театра — 508
- Прогоржельский*, преподаватель химии в Реальном училище К. Ф. Воскресенского. Директор Моск. зоологического сада — 301, 302
- Протасьев А. П.*, окольный — 604
- Протопопов*, родственник Киселевского И. П. — 641
- Прохоров Василий Васильевич*, дв. брат В. В. Бахрушиной — 364
- Прохоровы Александра Александровна, Федор Кузьмич*, знакомые А. А. Бахрушина — 489

- Пчельников Павел Михайлович* (1851—1913), упр. конторой и училищем моск. имп. театров (1882—1898), цензор спектаклей на частных сценах — 266
- Пушкин Александр Александрович* (1833—1914), сын А. С. Пушкина, генерал — 259, 260
- Пушкин Александр Сергеевич* (1799—1837) — 84, 158, 207, 260, 310, 315, 371, 375, 563, 609
- Пушкина* (урожд. Гончарова) *Наталья Николаевна* (1812—1863), жена А. С. Пушкина — 260
- Пыляев Михаил Иванович* (1842—1899), историк — 148
- Разумовский*, граф, владелец усадьбы Горенки — 246
- Раков*, владелец суконной фабрики в Москве — 351, 352
- Рассказов Александр Андреевич* (1832—1902), актер Малого театра, провинц. антрепренер — 150, 556
- Рафаил*, подольский священник — 376
- Рахманинов Сергей Васильевич* (1873—1943) — 92
- Рашель* (наст. имя и фам. Элиза Рашель Феликс; 1821—1858), фр. актриса — 415
- Редер*, знакомый А. И. Чарина — 643
- Рейнбот* (Резвый) *Анатолий Александрович*, градоначальник Москвы после 1905 г., генерал — 269—272, 507
- Рени Гвидо* (1575—1642), ит. художник, председатель болонской школы — 376
- Репин Илья Ефимович* (1844—1930), художник — 173
- Реформатский Леонид Николаевич*, домашний учитель Ю. А. Бахрушина, автор хрестоматий и трудов по истории литературы — 226, 227
- Рогозин Николай Васильевич*, владелец усадьбы Жодичи в XVIII в. — 630
- Рогозины Анисья и Владимир Федоровичи*, дети Ф. М. Рогозина — 114
- Розанов М. Н.*, преподаватель второй Моск. женской гимназии — 209
- Розенфельд Иосиф*, часовщик моск. фирмы Буре в г. Поречье Смоленской губернии — 473, 474

- Рославлева Любовь Андреевна* (1874—1904), балерина Большого театра — 58, 253
- Россини Джоаккино Антонио* (1792—1868), ит. композитор — 495
- Рош Дени*, дир. парижской Гранд-опера — 415, 417
- Рощина-Иксарова Екатерина Николаевна* (урожд. Пашенная; 1883—?), актриса провинц. театров, в 1924 г. эмигрировала за границу — 398, 399
- Ртищевы*, бояре — 621, 622
- Рубо Франц Александрович* (1856—1928), художник — 539
- Рыжов Иван Андреевич* (1866—1932), актер Малого театра — 571
- Рыжова Варвара Николаевна* (1871—1963), актриса Малого театра — 508
- Рышков Виктор Александрович* (1863—1926), драматург, писатель — 400
- Рышков Владимир Александрович* (1865—1938), чиновник особых поручений при Российской академии наук — 393, 399—401, 561, 562, 574—576, 579, 583, 584, 586
- Рыкалова Надежда Васильевна* (1824—1914), актриса Малого театра — 144
- Рюмины*, владельцы усадьбы Кучино — 243, 245
- Рябов Степан Яковлевич*, дирижер Большого театра — 58, 73, 124
- Рябушинская Александра Павловна*, из семьи фабрикантов, лингвист — 244
- Рябушинская* (в замуж. Жолтовская) *Елизавета Павловна*, из семьи фабрикантов, жена архитектора И. В. Жолтовского — 244
- Рябушинская* (в замуж. Носова) *Ефимия Павловна*, из семьи фабрикантов, меценатка, невестка В. В. Бахрушиной — 244, 245, 525, 526
- Рябушинская Надежда Павловна*, из семьи фабрикантов, обществ.-политич. деятельница, жена племянника К. С. Станиславского — 244

- Рябушинский Михаил Павлович*, фабрикант, создатель метеорологической станции под Москвой — 244
- Рябушинский Николай Павлович* (1876—1951), фабрикант, меценат, живописец, издатель журнала «Золотое руно» — 244, 527—529
- Рябушинский Павел Михайлович* (ум. 1889), крупный фабрикант и финансист, основатель банкирского дома бр. Рябушинских, тесть В. В. Носова, владелец усадьбы Кучино — 243, 245
- Рябушинский Павел Павлович*, крупный фабрикант, владелец банка и газеты «Утро России» — 244
- Рябушинский Степан Павлович*, фабрикант, коллекционер — 243, 245
- Саблины*, владельцы сельца Воскресенки — 623
- Садовские*, династия актеров Малого театра — 68, 406
- Садовский Пров Михайлович* (1874—1947), актер Малого театра, внук родоначальника театр. династии Садовских, муж балерины Л. А. Рославлевой — 69, 253
- Садовская* (урожд. Лазарева) *Ольга Осиповна* (1850—1919), актриса Малого театра — 508
- Савина Мария Гавриловна* (1854—1915), актриса Александринского театра — 174, 260, 261, 599
- Саламатин Иван*, крестьянин деревни Афинеево — 607, 608
- Саламатин Иван Иванович*, крестьянин деревни Афинеево — 609, 610
- Саламатин Василий*, крестьянин деревни Афинеево — 608, 609
- Салина* (в замуж. Юрасовская) *Надежда Васильевна* (1864—1956), певица Моск. частной рус. оперы (1885—1887), Большого театра (1888—1908), педагог — 574
- Сальвини Томмазо* (1829—1915), ит. актер — 60—62
- Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович* (1826—1889) — 79, 312
- Самарин*, владелец дома на Петровке в Москве, где помещалась частная гимназия Креймана, в которой учился А. А. Бахрушин — 137

- Самарин Иван Васильевич* (1817—1885), актер Малого театра, ученик и последователь М. С. Щепкина — 65, 114
- Самойлов-Мичурин*, актер — 641, 642
- Самозвалов С.*, часовщик в г. Поречье Смоленской губернии — 473
- Сапунов Николай Николаевич* (1880—1912), театр. художник и живописец — 525
- Сарматов*, актер — 252, 253
- Свиньин Павел Петрович* (1788—1839), писатель, издатель журнала «Отечественные записки» — 605
- Святополк-Мирский Петр Дмитриевич* (1857—1914), министр внутр. дел России (1904—1905), князь генерал-лейтенант — 401
- Седова Юлия Николаевна* (1880—?), балерина, педагог. В 1918 г. эмигрировала за границу — 395
- Серафим Саровский* (Мошнин Прохор Сидорович; 1759—1833), подвижник православной церкви, канонизирован в 1903 г. — 112, 117
- Сергей Александрович* (1857—1905), вел. князь моск., генерал-губернатор — 118, 129, 130
- Серов Валентин Александрович* (1865—1911), художник — 163, 278, 525, 527
- Силин Сергей Николаевич*, муж Е. В. Силиной (урожд. Носовой), сестры В. В. Бахрушиной — 112—114, 213, 392
- Симон-Деманш Луиза*, гражданская жена А. В. Сухова-Кобылина — 623
- Синельников Николай Николаевич* (1855—1939), актер, режиссер, антрепренер, педагог, театр. деятель — 250
- Скальковский Константин Аполлонович* (1843—1906), театр. и балетный критик, по образованию горный инженер — 395, 398
- Скиталец (Петров) Степан Гаврилович* (1869—1941), писатель — 305
- Скриб Огюстен Эжен* (1791—1861), фр. драматург — 415
- Смирнов Дмитрий Алексеевич* (1882—1944), артист оперы. Брал уроки пения у Э. К. Павловской — 75, 123, 227, 228

- Собинов Леонид Витальевич* (1872—1934), певец — 92, 533
- Соболев Дмитрий Пименович*, крестьянин дер. Новоселки — 385—387
- Собольщиков-Самарин* (наст. фам. Собольшиков) *Николай Иванович* (1868—1945), актер, режиссер — 250
- Соколов*, директор Первого казенного реального училища, где держал экзамены экстерном Ю. А. Бахрушин — 229, 236, 237
- Соколов-Жамсон Павел Ананьевич* (1847—1908), актер, антрепренер провинц. театров, драматург — 250
- Солдатенковы*, крупные фабриканты, меценаты — 516
- Соловцов* (наст. фам. Федоров) *Николай Николаевич* (1857—1902), актер, антрепренер Русск. драм. театра в Киеве (театр Соловцова) — 250, 251
- Соломаткин Мон Иванович* (1837—1883), художник — 546
- Сомов Константин Андреевич* (1869—1939), художник — 92, 525
- Соля*, см. Носова С. В.
- Сорокоумовский*, купец, владелец усадьбы Горенки — 247
- Стессель*, генерал — 616
- Станиславский Константин Сергеевич* (1863—1938), создатель и гл. режиссер МХАТа, актер МХАТа — 68, 86, 145, 377, 410, 411, 573, 576, 578, 580
- Стахович Михаил Александрович* (1861—1923), публицист, обществ. деятель — 574, 579, 580
- Стефанеско*, известный в Москве цимбалист, выступавший в доме А. А. Бахрушина — 55
- Столыпин Петр Аркадьевич* (1862—1911), гос. деятель, председатель Совета министров с 1906 г. — 309, 514, 537, 538
- Ступишин*, моск. губернский предводитель дворянства — 604—606
- Струйский Петр Петрович* (1862—1925), режиссер, антрепренер провинц. театров, построил в Москве Замоскворецкий театр — театр Струйского (1914), ныне филиал Малого театра — 250
- Ступин*, купец — 606, 608

- Сытин Иван Дмитриевич* (1851—1934), моск. издатель и книготорговец, редактор-издатель газеты «Русское слово» — 205
- Суворов Александр Васильевич* (1729—1800), полководец — 44, 238, 447
- Судейкин Сергей Юрьевич* (1882—1946), живописец, график, театр. художник — 525, 526
- Судьбинин Серафим Николаевич*, скульптор — 164, 165
- Суриков Василий Иванович* (1848—1916), художник — 255
- Сухово-Кобылин Александр Васильевич* (1817—1903), драматург — 159, 160, 623
- Тальма Франсуа Жозеф* (1763—1826), фр. актер — 415
- Таманьо Франческо* (1850—1905), ит. оперный певец, гастролировал в России в 1870—1880-х гг. — 136
- Тартаков А. И.*, приятель А. А. Бахрушина — 124
- Татьяна Константиновна*, вел. княжна, дочь вел. князя Константина Константиновича — 567, 568, 595
- Твердышев*, сибирский откупщик — 374
- Телешов Николай Дмитриевич* (1867—1957), писатель — 290, 294, 295
- Теляковский Владимир Аркадьевич* (1860—1924), упр. моск. конторой имп. театров (1898—1901), директор имп. театров (1901—1917) — 266—269, 559, 599, 600
- Теплов*, генерал — 585
- Терлецкая Екатерина Григорьевна*, владелица усадьбы в Гирееве — 102, 103
- Терлецкий Александр*, владелец усадьбы в Гирееве — 103
- Терлецкий Иван Александрович*, владелец усадьбы в Гирееве, сын А. Терлецкого — 103—107, 291
- Тетя Юля*, знакомая А. А. Бахрушина и В. В. Носовой (Бахрушиной) — 213
- Тиме Е. И.*, актер — 585
- Тина* или *Стина*, см. Носова А. В. — 211
- Толстая* (урожд. Берс) *Софья Андреевна* (1844—1919), жена Л. Н. Толстого — 421

- Толстой Николай Николаевич* (1823—1860), брат Л. Н. Толстого — 386
- Толстой Лев Николаевич* (1828—1910) — 215, 383, 386, 388, 418—424, 609
- Толстой Федор Андреевич*, граф, прежний владелец бахрушинского поместья Ивановское — 374
- Толстые*, владельцы Ивановского, родовой вотчины — 373, 374
- Трепов Дмитрий Федорович* (1855—1906), моск. обер-полицмейстер (1896—1905), петербург. генерал-губернатор с 1905 г. — 118
- Третьяковы*, крупные фабриканты, меценаты — 516, 525
- Трутовский Владимир Константинович* (1862—1932), ученый, хранитель Оружейной палаты, профессор-археолог, искусствовед, многолетний друг семьи Бахрушиных — 47, 84—91, 98, 99, 112, 128, 129, 243, 393, 548—550, 554, 555, 562, 574, 575, 580, 583, 600, 601, 606
- Трутовский Константин Александрович* (1826—1893), живописец и график, отец В. К. Трутовского — 84—86, 91
- Трутовская (Мошнина) Александра Владимировна*, жена В. К. Трутовского, племянница преподобного Серафима Саровского — 89
- Тургенев Иван Сергеевич* (1818—1883) — 79, 143, 308, 380, 382, 383, 386, 387, 409
- Уваров Костя*, товарищ Ю. А. Бахрушина по Реальному училищу К. Ф. Воскресенского — 310
- Уваров Симеон*, священник, преподаватель Закона Божия в Реальном училище К. Ф. Воскресенского — 304—307
- Уайстлер Джеймс* (1834—1903), амер. живописец. Был близок к фр. импрессионистам — 215
- Уточкин Сергей Исаевич* (1876—1915/16), один из первых русских летчиков — 481
- Федотова Гликерия Николаевна* (1846—1925), актриса Малого театра — 65, 68, 138, 144, 405—412, 573, 576, 579, 640
- Федотыч*, крестьянин дер. Новоселки — 384, 385

- Фет Афанасий Афанасьевич* (1820—1892) — 380, 383, 387, 388
- Фигнер Медья Ивановна* (урожд. Мей; 1859—1952), оперная певица, жена Н. Н. Фигнера — 260
- Фигнер Николай Николаевич* (1857—1918), оперный певец — 260
- Фидлер*, основатель гимназии в Москве — 204
- Филарет* (Дроздов Василий Михайлович; 1782—1867), митрополит московский и коломенский — 363
- Фильд*, преподаватель музыки в семье Енгальчевых — 389
- Фишер Федор Федорович*, известный в Москве мебельщик — 59, 60
- Фонвизин Денис Иванович* (1744 или 1745—1792) — 459
- Фокина В.*, актриса — 585
- Франц Иосиф I* (1830—1916), император Австрии и король Венгрии, из династии Габсбургов — 192
- Франц Фердинанд* (1863—1914), австр. эрц-герцог, племянник императора Франца Иосифа I, наследник престола — 114
- Фридрих II Великий* (1740—1786), прусский король, писатель, полководец, дипломат — 504
- Хомутов*, генерал, посещал фабрику А. Ф. Бахрушина — 324, 325
- Хохлов*, сын П. А. Хохлова — 257
- Хохлов Павел Акинфиевич* (1854—1919), оперный певец — 256, 257
- Хренников Александр*, товарищ Ю. А. Бахрушина по Реальному училищу К. Ф. Воскресенского — 306
- Хрущев*, боярин — 604
- Циглер*, организатор заговора против Петра I — 113
- Чаннинг Вильям Элмери* (1780—1842), амер. богослов и писатель — 215

- Чайковский Петр Ильич* (1840—1893) — 581
- Чарин Андрей Иванович* (наст. фам. Галкин), артист театра
Корша — 402, 403, 574, 575, 640—643
- Чекатто Вергилий Иванович*, владелец антикварного мага-
зина в Москве — 61, 162
- Черниговская Евпраксия*, княгиня — 547
- Чезов Антон Павлович* (1860—1904) — 247, 277, 278
- Чудаков Алексей Михайлович*, дальний родственник Бахру-
шиных — 523—525, 543
- Шалыпин Федор Иванович* (1873—1938) — 123, 276, 277, 279,
280, 401, 493, 494
- Шамбинаго*, театровед — 571
- Шевандины*, смоленские помещики — 477—479
- Шевченко Тарас Григорьевич* (1814—1861) — 642
- Шекспир Вильям* (1564—1616) — 295
- Шеншины*, владельцы родового имения Новоселки — 380
- Шеншин Афанасий Неофитович* (1775—1854), отец Фета —
382
- Шеншина Надежда Афанасьевна* (в замуж. Борисова; 1832—
1869), сестра А. А. Фета — 387
- Шереметев Сергей Дмитриевич*, граф (ум. 1918), владелец
усадьбы Кусково — 247—249
- Шереметев Павел Сергеевич*, граф (ум. 1943), историк,
художник, владелец усадьбы «Кусково», сын С. Д. Ше-
реметева, хороший знакомый А. А. Бахрушина —
64, 247
- Шлиппе*, моск. предводитель дворянства — 551
- Штюрмер Борис Владимирович* (1848—1917), ярославский
губернатор, председатель сов. мин., министр внутр. и ин.
дел России в 1916 г. — 159
- Шумилина-Мочалова Екатерина Павловна*, актриса, дочь
П. С. Мочалова — 257, 258
- Щегловитов Иван Григорьевич* (1861—1918), министр юсти-
ции (1906—1915), предс. гос. совета России — 540

- Щепкин Михаил Семенович* (1788—1863) — 63, 406, 410, 411, 581
- Щербатов Н. С.*, князь, член попечительного совета театр. музея им. А. А. Бахрушина — 574, 575
- Щукин Сергей Иванович*, коллекционер — 281, 282
- Эдуард* (1841—1910), король Англии с 1901 г. Содействовал созданию Антанты — 114
- Эфрос Николай Ефимович* (1867—1923), театр. критик, историк театра — 48
- Эйнем*, владелец кондитерского магазина в Москве — 126, 487
- Южин Александр Иванович* (наст. фам. Сумбатов; 1857—1927), актер Малого театра, директор с 1923 г., драматург — 402, 411, 573, 575, 579
- Юон Константин Фёдорович* (1875—1958), живописец, театр. художник, график — 225, 311, 312
- Юрьев Юрий Михайлович* (1872—1948), актер Александринского театра — 598
- Яблочкина Александра Александровна* (1866—1964), актриса Малого театра — 402, 412—414, 573, 579, 599, 600, 640
- Ягужинский Сергей Иванович*, художник — 47, 48, 221
- Яновская*, приятельница Н. А. Никулной — 412
- Ярцев Алексей Алексеевич* (1858—1907), историк театра, театр. критик — 556
- Ячменева* (в замуж. Карзинкина), жена М. С. Карзинкина, балерина — 283



Содержание

<i>Н. Сочинская. Слово о России</i>	5
---	---

ВОСПОМИНАНИЯ

<i>Введение</i>	32
Глава первая	35
Глава вторая	59
Глава третья	101
Глава четвертая	134
Глава пятая	170
Глава шестая	207
Глава седьмая	238
Глава восьмая	291
Глава девятая	314
Глава десятая	366
Глава одиннадцатая	393
Глава двенадцатая	426
Глава тринадцатая	488
Глава четырнадцатая	515
Глава пятнадцатая	556
Глава шестнадцатая	602
<i>Комментарии</i>	651
<i>Именной указатель</i>	666

Бахрушин Ю. А.

Б 30 Воспоминания/Подгот. текста, вступит. ст. и коммент. Н. Сочинской. — М.: Худож. лит., 1994. 702 с.

ISBN 5-280-02442-22

«Воспоминания» Ю. А. Бахрушина — это не только история детства и отрочества самого автора, но и история знаменитого купеческого рода Бахрушиных, история российского коллекционирования и создания Театрального музея.

Б 4702010204-050 **КБ-28-42-1992**
028(01)-94

ББК 84(2Рос=Рус)6

Ю. А. Бахрушин
ВОСПОМИНАНИЯ

Зав. редакцией С. Князева

Редактор Н. Гришкина

Художественный редактор Е. Ененко

**Технические редакторы Л. Ковнацкая,
В. Кулагина**

**Корректоры О. Добромыслова,
Л. Овчинникова**

ИБ № 7080

Издат. лицензия ЛР № 010153 от 27 декабря 1991 г.

Сдано в набор 18.09.91. Подписано в печать 20.12.93. Бумага офсетная. Формат 70×100^{1/32}. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать офсетная. Усл. печ. л. 28,51+альб.=29,16. Усл. кр.-отт. 58,64. Уч.-изд. л. 31,66+альб.=32,2. Тираж 20 000 экз. Изд. № П-4325. Заказ 1794. «С»—222.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882. ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Издание подготовлено в типографии «Печатный Двор». 197110. Санкт-Петербург, П-110, Чкаловский пр., 15.

Ордена Трудового Красного Знамени Тверской полиграфкомбинат Комитета Российской Федерации по печати. 170024, г. Тверь, проспект Ленина, 5.







